С. В. КОВАЛЕВСКАЯ · ВОСПОМИНАНИЯ · ПОВЕСТИ

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ
ПОВЕСТИ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ



С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ
ПОВЕСТИ

к 125-летию
со дня рождения



ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
МОСКВА
1974

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

П. Я. КОЧИНА

К $\frac{70404\text{-}130}{042\ (02)\text{-}74}$ без объявления



С. В. КОВАЛЕВСКАЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Знаменитый русский математик Софья Васильевна Ковалевская была талантливой писательницей, оставившей большое литературное наследство.

К сожалению, задумав много интересных вещей, Ковалевская не все успела закончить. Часть начатых повестей представлена отрывками.

В разное время ее произведения были опубликованы в России и за границей. Впервые «Литературные сочинения» С. В. Ковалевской были собраны в небольшой книге М. М. Ковалевским (СПб., 1893). Он же годом раньше опубликовал в Женеве повесть «Нигилистка».

В 1945 г. Академией наук СССР была издана книга «С. В. Ковалевская. Воспоминания детства и биографические очерки». «С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма» были изданы в 1951 и 1961 гг. Много сделал для подготовки этих изданий С. Я. Штрайх.

В 1960 г. В. А. Путинцев подготовил книгу «С. В. Ковалевская. Воспоминания детства. Нигилистка».

В книгах, опубликованных в царское время в России, ввиду цензурных ограничений приходилось делать ряд купюр. Некоторые главы «Воспоминаний», имеющиеся в шведских, французских и немецких изданиях, отсутствуют в русских. Издание 1961 г. частично восполнило этот пробел.

Настоящее издание является наиболее полным собранием литературных сочинений С. В. Ковалевской.

Тексты произведений печатаются с первых русских изданий, с исправлением имевшихся в них опечаток.

Главы, опущенные в русских изданиях, даны в виде добавлений — это глава «Воспоминания из времени польского восстания», взятая из шведского издания; главы «Палибино» и «О Достоевском», представляющие подлинный текст С. В. Ковалевской, с рукописи (эти главы вошли в шведское издание, последняя в сокращенном виде).

Впервые публикуется целиком отрывок повести «Нигилист». То, что эта рукопись, начинающаяся словами «5 фунтов винограду», есть повесть о Чернышевском, было установлено Л. А. Воронцовой. Также впервые публикуется по черновику рукописи С. В. Ковалевской глава «Кузен Мишель». Помещены не известные ранее ее стихотворения: «13 апреля», «Груня», «Жалоба мужа». В Архиве АН СССР сохранились написанные С. В. Ковалевской страницы с набросками, очевидно, начала больших произведений: «На выставке», «Шведские впечатления», «Драма в шведской крестьянской семье», «Амур на ярмарке», «Путовская барыня», «Ивар

Монсон», «Отрывок из романа». В настоящем издании приводятся все эти отрывки.

В конце книги приведена пьеса С. В. Ковалевской и А.-К. Леффлер «Борьба за счастье».

С. В. Ковалевская принадлежала к передовой части русской интеллигенции 70—80-х годов прошлого века. В ее произведениях отражены передовые идеи той эпохи, описаны встречи с Ф. М. Достоевским, английской писательницей Дж. Элиот, имеется очерк о ее современнике М. Е. Салтыкове-Щедрине.

В свое время «Воспоминания детства» Ковалевской вызвали восторженные отклики. Критика давала им высокую оценку и ставила это произведение в один ряд с «Записками охотника» И. С. Тургенева, «Детством», «Отрочеством» и «Юностью» Л. Н. Толстого. Видные литераторы отмечали тонкую наблюдательность писательницы, способность ее к глубокому психологическому анализу, образный выразительный язык.

Знакомство с произведениями С. В. Ковалевской несомненно принесет пользу и доставит удовольствие современному читателю.

В статье академика М. В. Нечкиной «Софья Ковалевская — общественный деятель и литератор», написанной для настоящего издания, дается анализ идейного развития и литературного творчества С. В. Ковалевской, характеризуются события той исторической эпохи, в которую она жила.

Примечания составлены П. Я. Кочиной и А. Р. Шкирич. В примечаниях частично использованы комментарии С. Я. Штрайха к книге «С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма» (1961) и В. А. Путинцева в книге «Софья Ковалевская. Воспоминания детства. Нигилистка» (1960). Были учтены интересные сведения, предоставленные нам академиком М. П. Алексеевым по поводу статьи «Воспоминания о Джорже Эллиоте». Л. А. Воронцова дала примечания к повести «Нигилист» и частично к очеркам и отрывкам. Некоторую помощь в составлении примечаний оказали В. С. Рыкалов и Д. Я. Броун.

Текст подготовлен Л. Д. Опульской.

Переводы со шведского языка сделаны дочерью С. В. Ковалевской, Софьей Владимировной Ковалевской, и Т. И. Лебедкиной.

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

ПОВЕСТИ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

I

Первые воспоминания

Хотелось бы мне знать, может ли кто-нибудь определить точно тот момент своего существования, когда в первый раз возникло в нем отчетливое представление о своем собственном *я*, — первый проблеск сознательной жизни. Когда я начинаю перебирать и классифицировать мои первые воспоминания, со мной всякий раз повторяется то же самое: эти воспоминания постоянно как бы раздвигаются передо мною. Вот, кажется, нашла я то первое впечатление, которое оставило по себе отчетливый след в моей памяти; но стоит мне остановить на нем мои мысли в течение некоторого времени, как из-за него тотчас начинают выглядывать и вырисовываться другие впечатления — еще более раннего периода. И главная беда в том, что я никак не могу определить сама, какие из этих впечатлений я *действительно* помню, т. е. действительно пережила их, и о каких из них я только слышала позднее в детстве и вообразила себе, что помню их, тогда как в действительности помню только рассказы о них. Что еще хуже — мне никогда не удается вызвать ни одно из этих первоначальных воспоминаний во всей его чистоте, не прибавив к нему невольно чего-либо постороннего во время самого процесса воспоминания.

Как бы то ни было, вот та картина, которая одна из первых рисуется передо мною всякий раз, когда я начинаю вспоминать самые ранние годы моей жизни [1].

Гул колоколов. Запах кадила. Толпа народа выходит из церкви. Няня сводит меня за руку с паперти, бережно охраняя меня от толчков. «Не ушибите ребеночка!» — умоляет она поминутно теснящихся вокруг нас людей.

При выходе из церкви к нам подходит знакомый няни в длинном подряснике (должно быть, дьякон или дьячок) и подает ей просфору: «Кушайте на здоровье, сударыня», — говорит он ей.

— А ну-ка, скажите, как вас зовут, моя умница? — обращается он ко мне.

Я молчу и только гляжу на него во все глаза.

— Стыдно, барышня, не знать своего имени! — трунит надо мной дьячок.

— Скажи, маточка: меня мол зовут Сонечка, а мой папаша генерал Крюковской! [2] — поучает меня няня.

Я стараюсь повторить, но выходит, должно быть, нескладно, так как и няня, и ее знакомый смеются.

Знакомый няни провожает нас до дому. Я всю дорогу припрыгиваю и повторяю слова няни, коверкая их по-своему. Очевидно, этот факт для меня еще нов, и я стараюсь запечатлеть его в моей памяти.

Подходя к нашему дому, дьячок указывает мне на ворота.

— Видите ли, маленькая барышня, на воротах висит крюк, — говорит он, — когда вы забудете, как зовут вашего папеньку, вы только подумайте: «висит крюк на воротах Крюковского — сейчас и вспомните».

И вот, как ни совестно мне в этом признаться, этот плохой дьячковский каламбур врезался в моей памяти и составил эру в моем существовании; с него веду я мое летосчисление, первое возникновение во мне отчетливого представления, кто я такая, какое мое положение в свете.

Соображая теперь, я думаю, что мне было тогда года два-три и что происходила эта сцена в Москве, где я родилась [3]. Отец мой служил в артиллерии [4], и нам часто приходилось переезжать из города в город, следуя за ним по делам его службы.

За этою первою, отчетливо сохранившеюся в моем воспоминании сценой следует опять длинный пробел, на сером, туманном фоне которого выделяются только в виде рассеянных светлых пятнышек разные мелкие дорожные сценки: собирание камешков на шоссе, ночлеги на станциях, кукла моей сестры, выброшенная мною из окна кареты, — ряд разбросанных, но довольно ярких картин.

Сколько-нибудь связные воспоминания начинаются у меня лишь с того времени, когда мне было лет пять и когда мы жили в Калуге [5]. Нас было тогда трое детей: сестра моя Анюта [6] была лет на шесть меня старше, а брат Федя [7] года на три моложе.

Детская наша так и рисуется перед моими глазами. Большая, но низкая комната. Сто́ит няне стать на стул, и она свободно достает рукою до потолка. Мы все трое спим в детской; были толки о том, чтобы перевести Анюту спать в комнату ее гувернантки, француженки, но она не захотела и предпочла остаться с нами.

Наши детские кроватки, огороженные решетками, стоят рядом, так что по утрам мы можем перелезать друг к другу, не спуская ног на пол. Несколько поодаль стоит большая нянина кровать, над которой высится целая гора перин и пуховиков. Это — нянина гордость. Иногда днем, когда няня в добром расположении духа, она позволяет нам поваляться на своей постели. Мы взбираемся на нее при помощи стула, но лишь только мы взберемся на самый верх, гора эта тотчас под нами проваливается, и мы погружаемся в мягкое море пуха. Это нас очень забавляет.

Стоит мне подумать о нашей детской, как тотчас же, по неизбежной ассоциации идей, мне начинает чудиться особенный запах — смесь ладана, деревянного масла, майского бальзама и чада от сальной свечи. Давно уже не приходилось мне слышать нигде этого своеобразного запаха; да я думаю, не только за границей, но и в Петербурге, и в Москве его теперь редко где услышишь; но года два тому назад, посетив одних

моих деревенских знакомых, я зашла в их детскую, и на меня пахнул этот знакомый мне запах и вызвал целую вереницу давно забытых воспоминаний и ощущений.

Гувернантка-француженка не может войти в нашу детскую без того, чтобы не поднести брезгливо платка к носу.

— Да отворяйте вы, няня, форточку! — умоляет она няню на ломаном русском языке.

Няня принимает это замечание за личную обиду.

— Вот что еще выдумала, басурманка! Стану я отворять форточку, чтобы господских детей перепростудить! — бормочет она по ее уходе.

Стычки няни с гувернанткой повторяются тоже аккуратно, каждое утро.

Солнышко уже давно заглядывает в нашу детскую. Мы, дети, один за другим начинаем открывать глазки, но мы не торопимся вставать и одеваться. Между моментом просыпания и моментом приступления к нашему туалету лежит еще длинный промежуток возни, кидания друг в дружку подушками, хватания друг дружки за голые ноги, лепетание всякого вздора.

В комнате распространяется аппетитный запах кофе; няня, сама еще полуодетая, сменив только ночной чепец на шелковую косынку, неизбежно прикрывающую ей волосы в течение дня, вносит поднос с большим медным кофейником и еще в постельке, неумытых и нечесаных, начинает угощать нас кофе со сливками и с сдобными булочками.

Откушав, случается иногда, что мы, утомленные предварительной возней, опять засыпаем.

Но вот дверь детской отворяется с шумом, и на пороге показывается рассерженная гувернантка.

— Comment! vous êtes encore au lit, Annette! Il est onze heures. Vous êtes de nouveau en retard pour votre leçon! * — восклицает она гневно.

— Так неможно долго спать! Я будут жаловаться генералу! — обращается она к няне.

— Ну, и ступай, жалуйся, змея! — бормочет ей вслед няня и, по ее уходе, долго не может успокоиться и все продолжает ворчать:

— Уж господскому дитяти и поспать-то вдоволь нельзя! Опоздала к твоему уроку! Вот велика беда! Ну, и подождешь — не важная фря!

Однако, несмотря на ворчанье, няня все же считает теперь нужным приняться серьезно за наш туалет, и, надо сознаться, если приготовления к нему тянулись долго, зато сам туалет справляется очень быстро. Вытрет нам няня лицо и руки мокрым полотенцем, проведет раза два гребешком по нашей растрепанной гриве, наденет на нас платьице, в котором нередко не хватает нескольких пуговиц, — вот мы и готовы!

Сестра отправляется на урок к гувернантке, мы же с братом остаемся

* Как! вы еще в постели, Анюта! Уже одиннадцать часов. Вы снова опоздали к уроку! (*франц.*).

в детской. Не стесняясь нашим присутствием, няня подметает пол щеткой, подняв целое облако пыли; прикроет наши детские кроватки одеяльцами, встряхнет свои собственные пуховики, — и затем детская считается прибранною на весь день. Мы с братом сидим на клеенчатом диване, с которого местами содрана клеенка и большими пучками вылезает конский волос, и играем нашими игрушками. Гулять нас водят редко, только в случае исключительно хорошей погоды, да еще в большие праздники, когда няня отправляется с нами в церковь.

Кончив урок, сестра тотчас опять прибегает к нам. С гувернанткой ей скучно, а у нас веселее, тем более, что к нашей няне часто приходят гости, другие няни или горничные, которых она угощает кофеем и от которых можно услышать много интересного.

Иногда заглянет к нам в детскую мама. Когда я вспоминаю мою мать в этот первый период моего детства, она всегда представляется мне совсем молоденькой, очень красивой женщиной. Я вижу ее всегда веселой и нарядной. Чаще всего вспоминается она мне в бальном платье, декольте, с голыми руками, со множеством браслетов и колец. Она собирается куда-нибудь в гости, на вечер, и зашла проститься с нами.

Лишь только она покажется, бывало, в дверях детской, Анюта тотчас подбежит к ней, начнет целовать ей руки и шею и рассматривать и перебирать все ее золотые безделушки.

— Вот и я буду такая красавица, как мама, когда вырасту! — говорит она, нацепляя на себя мамины украшения и становясь на цыпочки, чтобы увидеть себя в маленьком зеркальце, висящем на стене. Это очень забавляет маму.

Иногда и я испытываю желание приласкаться к маме, взобраться к ней на колени; но эти попытки как-то всегда оканчиваются тем, что я, по неловкости, то сделаю маме больно, то разорву ей платье и потом убегу со стыдом и спрячусь в угол. Поэтому у меня стала развиваться какая-то дикость по отношению к маме, и дикость эта еще увеличивалась тем, что мне часто случалось слышать от няни, будто Анюта и Федя — мамины любимчики, я же — нелюбимая.

Не знаю, была ли это правда или нет, но няня часто повторяла это, не стесняясь моим присутствием. Может быть, это ей только так казалось именно потому, что она сама любила меня гораздо больше других детей. Хотя она одинаково вырастила нас всех троих, но меня почему-то считала по преимуществу своей питомицей и потому обижалась за меня за всякую оказываемую мне, по ее мнению, обиду.

Анюта, как значительно старшая, пользовалась, разумеется, большими преимуществами против нас. Она росла вольным казаком, не признавая над собой никакого начала. Ей был открыт свободный доступ в гостиную, и она с малолетства заслужила себе репутацию прелестного ребенка и привыкла занимать гостей своими остроумными, подчас очень дерзкими выходками и замечаниями. Мы же с братом показывались в парадных комнатах только в экстренных случаях; обыкновенно мы и завтракали, и обедали в детской.

Иногда, когда у нас бывали гости к обеду, в детскую вбежит ко времени десерта мамина горничная, Настасья.

— Нянюшка, оденьте поскорей Феденьке его голубую шелковую рубашечку и ведите его в столовую! Барыня хотят его гостям показать, — говорит она.

— А Сонечку во что приказано одеть? — спрашивает няня сердитым голосом, так как уже предвидит, какой будет ответ.

— Сонечку не надо. Она и в детской посидит! Она у нас домоседка! — с хохотом отвечает горничная, зная, как этот ответ рассердит нянюшку.

И, действительно, няня усматривает в этом желании показать гостям одного Феденьку жестокую обиду мне и долго потом ходит сердитая, бормочет что-то под нос, глядит на меня соболезнующим взором и, проводя рукой по моей голове, приговаривает: «Бедная ты моя, ясонька!»

Вот вечер. Няня уже уложила меня и брата в кроватку, но сама еще не сняла с головы своей неизменной шелковой косынки, снятие которой обозначает у нее переход от бдения к покою. Она сидит на диване перед круглым столом и в обществе Настасьи распивает чай.

В детской полутемно. Из мрака выступает только желтым пятном грязноватое пламя сальной свечи, с которой няня подолгу забывает «снять», а в противоположном углу комнаты голубенький, трепещущий огонек лампадки вырисовывает на потолке причудливые узоры и ярко озаряет благословляющую руку спасителя, рельефно выступающую из посеребренной ризы.

Совсем почти рядом со мной я слышу ровное дыхание спящего брата, а из угла, за лежанкой, доносится тяжелое носовое посвистывание приставленной к нам для услуг девочки, курносой Феклуши, няниной souffre-douleur *. Она спит тут же в детской на полу, на куске серого войлока, который она расстилает по вечерам, а на день прячет в чуланчик.

Няня и Настасья разговаривают вполголоса и, воображая себе, что мы крепко спим, не стесняясь, перебирают все домашние события. А я между тем не сплю, а, напротив того, внимательно прислушиваюсь к тому, что они говорят. Многого я, разумеется, не понимаю; многое мне неинтересно; случается, я засну посередине какого-нибудь рассказа, не дослушав до конца. Но те отрывки их разговора, которые доходят до моего сознания, складываются в нем в фантастические образы и оставляют по себе неизгладимый след на всю жизнь.

— Ну, как же мне не любить ее, мою голубушку, больше других детей, — слышу я, говорит няня, и я понимаю, что речь идет обо мне. — Ведь я ее, почитай, одна совсем вынянчила. Другим до нее и дела не было. Когда Анюточка-то у нас родилась, на нее и папенька, и маменька, и дедушка, и тетушки наглядеться не могли, потому что она первенькая

* козел отпущения (*франц.*).

была. Я ее, бывало, и понянчить-то как следует не успею: поминутно то тот, то другой ее у меня возьмет! Ну, а с Сонечкой другое было дело.

На этом месте рассказа, повторяемого очень часто, няня всегда таинственно понижает голос, что заставляет меня, разумеется, еще больше навострить уши.

— Не вовремя она родилась, моя голубушка, вот что! — говорит няня полушепотом.— Барин-то наш почитай что накануне самого ее рождения в Английском клубе проигрались, да так, что все спустили — барынины брильянты пришлось закладывать! Ну, до того ли тут было, чтобы радоваться, что бог дочку послал! Да к тому же и барину, и барыне непременно сынка хотелось. Барыня, бывало, все говорит мне: «Вот увидишь, няня, будет мальчик!» Они все и приготовили как следует мальчику: и крестик с распятием, и чепчик с голубенькой ленточкой, — ан нет, вот поди!— родилась опять девочка! Барыня так огорчились, что и глядеть на нее не хотели, только уж Феденька их потом утешил.

Этот рассказ повторялся няней очень часто, и я всякий раз слушала его с тем же любопытством, так что он прочно врезался в моей памяти.

Благодаря подобным рассказам во мне рано развилось убеждение, что я нелюбимая, и это отразилось на всем моем характере. У меня все более и более стала развиваться дикость и сосредоточенность.

Приведут меня, бывало, в гостиную — я стою, насупившись, ухватившись обеими руками за нянино платье. От меня нельзя добиться слова. Как ни уговаривает меня няня, я молчу упорно и только поглядываю на всех исподлобья, пугливо и злобно, как травленый зверек, пока мама не скажет, наконец, с досадой: «Ну, няня, уведите вы вашу дикарку назад в детскую! С ней только стыд один перед гостями. Она, верно, свой язычок проглотила!»

Посторонних детей я тоже дичилась, да и видела я их редко. Я помню, впрочем, что когда мы на прогулке с няней встречали иногда уличных девочек или мальчиков, играющих в какую-нибудь шумную игру, я часто испытывала зависть и желание присоединиться к ним. Но няня никогда не пускала меня. «Что ты, маточка! Как можно тебе, барышне, играть с простыми детьми!» — говорила она таким укоризненным и убежденным голосом, что мне — я как теперь помню — тотчас же самой становилось стыдно моего желания. Вскоре у меня прошла даже и охота, и уменье играть с другими детьми. Я помню, что когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: «да скоро ли она уйдет?»

Всего счастливее я бывала, когда оставалась наедине с няней. По вечерам, когда Федю уже уложат спать, а Анюта убежит в гостиную, к большим, я садилась рядом с няней на диване, прижималась к ней совсем близко, и она начинала рассказывать мне сказки. Какой глубокий след эти сказки оставили в моем воображении, я сужу по тому, что хотя теперь, наяву, я и помню из них только отрывки, но во сне мне и до сих пор, нет-нет, да вдруг и приснится то «черная смерть», то «волк-оборотень», то 12-тиголовый змей, и сон этот всегда вызовет во мне такой же

безотчетный, дух захватывающий ужас, какой я испытывала в пять лет, внимая няниным сказкам.

К этому же времени моей жизни со мной стало происходить что-то странное: на меня по временам стало находить чувство безотчетной тоски — angoisse *. Я это чувство живо помню. Обыкновенно оно находило на меня, если я ко времени наступления сумерек оставалась одна в комнате. Играю я себе, бывало, моими игрушками, ни о чем не думая. Вдруг оглянусь и увижу за собой резкую, черную полосу тени, выползающую из-под кровати или из-за угла. На меня найдет такое ощущение, точно в комнату незаметно забралось что-то постороннее, и от присутствия этого нового, неизвестного у меня вдруг так мучительно заноет сердце, что я стремглав бросаюсь в поиски за няней, близость которой обыкновенно имела способность успокаивать меня. Случалось, однако, что это мучительное чувство не проходило долго, в течение нескольких часов.

Я думаю, что многие нервные дети испытывают нечто подобное. В таких случаях говорят обыкновенно, что ребенок боится темноты, но это выражение совсем неверно. Во-первых, испытываемое при этом чувство очень сложно и гораздо более походит на тоску, чем на страх; во-вторых, оно вызывается не собственно темнотою или какими-нибудь связанными с ней представлениями, а именно ощущением надвигающейся темноты. Я помню тоже, что очень похожее чувство находило на меня в детстве и при совсем других обстоятельствах, например если я во время прогулки вдруг увижу перед собой большой недостроенный дом, с голыми кирпичными стенами и с пустотой вместо окон. Я испытывала его также летом, если ложилась спиной на землю и глядела вверх, на безоблачное небо.

У меня стали показываться и другие признаки большой нервности, например до ужаса доходящее отвращение ко всяким физическим уродствам. Если при мне расскажут о каком-нибудь цыпленке с двумя головами или о теленке с тремя лапами, я содрогнусь всем телом и затем, на следующую ночь, наверное увижу этого урода во сне и разбужу няню пронзительным криком. Я и теперь помню человека с тремя ногами, который преследовал меня во сне в течение всего моего детства.

Даже вид разбитой куклы внушал мне страх; когда мне случалось уронить мою куклу, няня должна была подымать ее и докладывать мне, цела ли у нее голова; в противном случае она должна была уносить ее, не показывая мне. Я помню и теперь, как однажды Анюта, поймав меня одну без няни и желая подразнить меня, стала насильно совать мне на глаза восковую куклу, у которой из головы болтался вышибленный черный глаз, и довела меня этим до конвульсий.

Вообще я была на пути к тому, чтобы превратиться в нервного, болезненного ребенка, но скоро, однако, все мое окружающее переменилось и всему предыдущему настал конец.

* томление, тоска, чувство страха (*франц.*).

II

⟨*Воровка*⟩[1]

Когда мне было лет около шести, отец мой вышел в отставку и поселился в своем родовом имении Палибино в Витебской губернии. В это время уже упорно ходили слухи о предстоящей «эманципации»[2], и они-то и побудили моего отца серьезнее заняться хозяйством, которым до тех пор заведовал управляющий.

Вскоре после нашего переезда в деревню произошел в нашем доме один случай, оставшийся у меня очень живо в памяти. Впрочем, и на всех в доме этот случай произвел такое сильное впечатление, что впоследствии о нем вспоминали очень часто, так что мои собственные впечатления так перепутались с позднейшими рассказами, что я не могу отличить одни от других. Поэтому я расскажу этот случай так, как он теперь представляется мне.

Из детской нашей вдруг стали пропадать разные вещи; глядишь, то то вдруг исчезнет, то другое. Стоит няне забыть про какую-нибудь вещь в течение некоторого времени, когда она опять ее хватится, ее уже нигде не оказывается, хотя няня готова побожиться, что сама, собственноручно, прибрала ее в шкаф или комод. Сначала эти пропажи принимались довольно хладнокровно, но когда они стали повторяться все чаще и чаще и распространяться на предметы все более и более ценные, когда вдруг пропали одни за другими: серебряная ложечка, золотой наперсток, перламутровый перочинный ножик, — в доме поднялась тревога. Сделалось очевидным, что у нас завелся домашний вор. Няня, считавшая себя ответственной за целость детских вещей, переполошилась больше всех других и порешила во что бы то ни стало накрыть вора.

Подозрения естественным образом должны были прежде всего пасть на бедную Феклушу, приставленную к нам для услуг девочку. Правда, что Феклуша уже года три как была приставлена к детской, и за все это время няня ни в чем подобном ее не замечала. Однако, по мнению няни, это еще ровно ничего не доказывало. «Прежде она мала была, не понимала цены вещей, — рассуждала няня, — теперь же выросла и умнее стала. К тому же у нее тут на деревне семья живет — вот она ей и таскает барское добро».

На основании подобных соображений няня прониклась таким внутренним убеждением в Феклушиной виновности, что стала относиться к ней все суровее и немилостивее, а у несчастной запуганной Феклуши, инстинктом чувствующей, что ее подозревают, стал являться все более и более виноватый вид.

Но как ни подсматривала няня за Феклушей, однако долго ее ни в чем уличить не могла. А между тем пропащие вещи не находились, а новые все пропадали. В один прекрасный день исчезла вдруг Анютина копилка, постоянно стоявшая в нянином шкафу и заключавшая в себе рублей сорок, если не больше. Сведение об этой последней пропаже

дошло даже до моего отца; он потребовал нянюшку к себе и строго приказал, чтобы вор был найден непременно. Тут уж все поняли, что дело не до шуток.

Няня была в отчаянии; но вот раз ночью просыпается она и слышит: из угла, где спит Феклуша, доносится какое-то странное чавканье. Уже настроенная на подозренья, няня осторожно, без шума, протянула руку к спичкам и вдруг зажгла свечу. Что же она увидела?

Сидит Феклуша на корточках, между колен держит большую банку с вареньем и уписывает его за обе щеки, еще подлизывая банку корочкой хлеба.

А надо сказать, что за несколько дней перед тем экономка жаловалась, что у нее из кладовой стало пропадать варенье.

Вскочить с постели и схватить преступницу за косу было, разумеется, для няни делом одной секунды.

— А! попалась, негодница! Говори, откуда у тебя варенье? — закричала она громовым голосом, немилосердно потрясая девочку за волосы.

— Няня, голубушка! Я не виновата, право! — взмолилась Феклуша. — Портниха, Марья Васильевна, вчерась вечером мне эту банку подарили; наказали только, чтобы я вам не показывала.

Оправдание это показалось няне из рук вон неправдоподобным.

— Ну, матушка, и врать-то ты, как видно, не мастерица, — сказала она презрительно: — ну, статочное ли дело, чтоб Марья Васильевна тебя вареньем угощать вздумала?

— Няня, голубушка, не вру я! Ей, ей, это правда! Хоть сами у нее спросите. Я им вчерась утюги нагревала, они мне за это варенья и пожаловали. Приказали только: «не показывай нянюшке, а то она забранится, что я тебя балую», — продолжала утверждать Феклуша.

— Ну, ладно, завтра поутру разберем! — решила нянюшка и, в ожидании утра, заперла Феклушу в темный чуланчик, откуда еще долго доносились ее всхлипыванья.

На следующее утро приступлено было к следствию.

Марья Васильевна была портниха, уже много лет жившая в нашем доме. Она была не крепостная, а вольная, и пользовалась бо́льшим почетом против остальной прислуги. У нее была своя собственная комната, в которой она и обедала с господского стола. Она вообще держала себя очень гордо и ни с кем из остальной прислуги не сближалась... Ее очень ценили у нас в доме за то, что она была так искусна в своем мастерстве. «Просто золотые руки», — говорили о ней. Ей было, я думаю, лет уже под сорок; лицо у нее было худое, болезненное, с большущими черными глазами. Она была некрасива, но, я помню, старшие всегда замечали, что у нее вид очень distingué *, «совсем и не подумаешь, что она простая швейка!» Одевалась она всегда чисто и аккуратно, и комнату свою тоже держала в большом порядке, даже с некоторой претензией на элегант-

* благовоспитанный (*франц.*).

ность. На окне у нее всегда стояло несколько горшков гераниума, стены были увешаны дешевенькими картинами, а на полке, в углу, были расставлены разные фарфоровые вещицы — лебедь с позолоченным клювом, туфля вся в розовых цветочках, которыми я в детстве очень восхищалась.

Для нас, детей, Марья Васильевна представляла особый интерес вследствие того, что о ней шел следующий рассказ: в молодости она была красивой и здоровенной девушкой и состояла в крепостных у какой-то помещицы, у которой был взрослый сын-офицер. Этот последний приехал раз в отпуск и подарил Марье Васильевне несколько серебряных монет. На беду в эту самую минуту в девичью вошла старая барыня и увидела в руках у Марьи Васильевны деньги. «Откуда они у тебя?» — спрашивает; а Марья Васильевна так испугалась, что, вместо ответа, взяла и проглотила эти деньги.

С ней тотчас сделалось дурно; она вся почернела и упала, задыхаясь, на пол. Ее едва удалось спасти, но она долго проболела, и с тех пор навсегда пропала ее красота и свежесть. Старая помещица скоро после этой истории умерла, а от молодого барина Марья Васильевна получила вольную.

Нас, детей, этот рассказ о проглоченных деньгах страшно интересовал, и мы часто приставали к Марье Васильевне, чтобы она рассказала нам, как все это было.

К нам, в детскую, Марья Васильевна заходила довольно часто, хотя и не жила с няней в больших ладах; мы, дети, тоже любили забегать в ее комнату, особенно ко времени сумерек, когда ей волей-неволей приходилось откладывать в сторону свою работу. Тогда она садилась к окну и, подперши голову рукой, заунывным голосом начинала петь разные старинные трогательные романсы: «Среди долины ровные» или «Черный цвет, мрачный цвет». Она пела ужасно заунывно, но я в детстве очень любила ее пенье, хотя мне всегда становилось от него грустно. Случалось иногда, ее пенье прерывалось припадком страшного кашля, который мучил ее уже в течение многих лет и от которого, казалось, должна бы надорваться ее плоская, сухая грудь.

Когда на следующее утро после описанного происшествия с Феклушей няня обратилась к Марье Васильевне с вопросом: «правда ли, что она дала девочке варенья?», — Марья Васильевна, как и следовало ожидать, сделала удивленное лицо.

— Что вы, нянюшка, выдумали? Стану я девчонку так баловать! У меня и у самой-то варенья нет! — сказала она обиженным голосом.

Теперь дело было ясно; однако Феклушина наглость была так велика, что, несмотря на это категорическое заявление, она продолжала настаивать на своем.

— Марья Васильевна! Христос с вами! Неужто вы забыли? Да вчерась же вечером сами вы меня позвали, похвалили за утюги и дали мне варенья, — говорила она отчаянным, прерывающимся от слез голосом, вся трясясь как в лихорадке.

— Должно быть, ты больна и бредишь, Феклуша, — ответила Марья Васильевна спокойно, не обнаруживая ни малейшего волнения на своем бледном, бескровном лице.

Теперь уже и для няни, и для всех домашних не оставалось сомнения в виновности Феклуши. Преступницу отвели и заперли в чулан, удаленный от всех других помещений.

— Посидишь тут, негодница, не евши и не пивши, пока не сознаешься! — сказала няня, поворачивая ключ в тяжелом замке.

Происшествие это, само собой разумеется, наделало шуму во всем доме. Каждый из прислуги выдумывал какой-нибудь предлог, чтоб прибежать к няне и потолковать с ней об этом интересном деле. В детской нашей весь день был настоящий клуб.

Отца у Феклуши не было, а мать ее жила на деревне, но приходила к нам в дом помогать прачке стирать белье. Она, разумеется, скоро узнала о случившемся и прибежала в детскую, рассыпаясь в громких жалобах и уверениях, что дочка ее невинна. Однако няня скоро ее усмирила.

— Не очень-то ты шуми, матушка! Вот погоди, ужо доберемся, куда дочка-то твоя краденые вещи таскала! — сказала она ей так строго и с таким многознаменательным взглядом, что бедная женщина оробела и убралась восвояси.

Общественное мнение высказывалось решительно против Феклуши. «Если она стащила варенье, значит она и другие вещи воровала», — говорили все. Общее негодование против Феклуши потому и было так сильно, что эти таинственные и повторяющиеся пропажи уже в течение многих недель тяжелым бременем тяготели над всей прислугой: каждый боялся в душе, как бы, неравно, не заподозрили его самого; поэтому открытие вора было облегчением для всех.

Однако Феклуша все не сознавалась.

В течение дня няня несколько раз пошла проведать свою узницу, но она упорно твердила свое: «Я ничего не воровала. Бог накажет Марью Васильевну за то, что она обижает сироту».

Под вечер мама зашла в детскую.

— Уж не слишком ли вы, няня, строги к этой несчастной девчонке? Как же оставлять ребенка целый день без пищи! — сказала она озабоченным голосом.

Но няня и слышать не хотела о милости.

— Что вы, сударыня? Такую да жалеть! Ведь она, мерзавка, чуть было честных людей под подозрение не подвела! — говорила она так убежденно, что мама не решилась настаивать и ушла, не выхлопотав никакого облегчения в участи маленькой преступницы.

Наступил следующий день. Феклуша все не сознавалась. Ее судьями стало уже овладевать некоторое беспокойство, но вдруг, ко времени обеда, няня пришла к нашей матери с торжествующим видом.

— Призналась наша птичка! — сказала она радостно.

— Ну, а где же краденые вещи? — спросила мама очень естественно.

— Еще не признается, куда их дела, негодница! — ответила няня оза-

боченным голосом. — Мелет всякую чепуху. Говорит — «запамятовала». Но вот, погодите, посидит у меня взаперти еще часок, другой — может и вспомнит!

Действительно, к вечеру Феклуша сделала полное признание и рассказала очень обстоятельно, что крала все эти вещи с целью их потом, когда-нибудь, продать; но так как удобного случая все не представлялось, то она долго прятала их под войлоком в углу своего чуланчика; когда же она увидела, что вещей хватились и стали не на шутку разыскивать вора, она струсила и сначала подумала положить вещи назад на место, но потом побоялась это сделать, а наместо того завязала все эти вещи узлом в свой передник и забросила их в глубокий пруд, за нашей усадьбой.

Все так жаждали какого-нибудь разрешения в этом тяжелом и мучительном деле, что не стали подвергать Феклушин рассказ слишком строгой критике. Потужив немножко о даром пропавших вещах, все этим объяснением удовлетворились.

Виновницу выпустили из заточения и произвели над нею краткий и справедливый суд: решили выпороть ее хорошенько и потом отослать назад в деревню, к ее матери.

Несмотря на Феклушины слезы и на протесты ее матери, приговор этот был тотчас же приведен в исполнение; затем на место Феклуши взяли к нам в детскую другую девочку для услуг. Прошло несколько недель. Порядок в доме мало-помалу восстановился, и о прошедшем стали все забывать.

Но вот раз вечером, когда в доме уже все затихло, и няня, уложив нас спать, сама собиралась на покой, дверь детской тихонько растворилась, и в ней показалась прачка Александра — Феклушина мать. Она одна упорно восставала против очевидности и, все не унимаясь, продолжала утверждать, что «дочку ее задаром обидели». Несколько раз уже были у них по этому поводу жестокие стычки с няней, пока няня, наконец, не махнула рукой и не запретила ей входа в детскую, решив, что все равно глупую бабу не урезонишь.

Но сегодня у Александры был вид такой странный и многозначительный, что няня, взглянув на нее, тотчас поняла, что она пришла не повторять свои обычные пустые жалобы, а что произошло нечто новое и важное.

— Посмотрите-ка, нянюшка, какую я вам покажу штучку, — сказала Александра таинственно, и оглядевшись осмотрительно кругом комнаты и убедившись, что никого постороннего нет, она вытащила из-под своего передника и подала няне перламутровый перочинный ножичек, наш любимый, тот самый, который находился в числе украденных и якобы заброшенных Феклушею в пруд вещей.

Увидев этот ножик, няня развела руками.

— Где же вы его нашли? — спросила она с любопытством.

— В том-то всё и дело — где нашла, — отвечала Александра протяжно. Она несколько секунд молчала, очевидно наслаждаясь смущением ня-

нюшки. — Садовник наш, Филипп Матвеевич, дали мне свои старые брюки заштопать; в кармане их и нашелся ножичек, — произнесла она, наконец, многозначительно.

Этот Филипп Матвеевич был немец и занимал одно из первых мест в рядах аристократии нашей дворни. Он получал довольно большое жалованье, был холост, и хотя на беспристрастный взгляд показался бы просто жирным, уже немолодым довольно противным немцем с рыжими типическими четырехугольными баками, но между нашей женской прислугой он считался красавцем.

Услышав это странное показание, няня в первую минуту и сообразить ничего не могла.

— Откуда же у Филиппа Матвеевича мог взяться детский ножичек? — спрашивала она растерянно. — Ведь он и в детскую, почитай, что никогда не входит! Да и статочное ли дело, чтобы такой человек, как Филипп Матвеевич, стал детские вещи воровать?

Александра глядела на нянюшку несколько минут молча, долгим, насмешливым взглядом; потом она нагнулась к самому ее уху и проговорила несколько фраз, в которых часто повторялось имя Марьи Васильевны.

Луч истины начал мало-помалу прокладывать себе путь в уме нянюшки.

— Те, те, те... Так вот оно как! — проговорила она, разводя руками. — Ах ты, смиренница! Ах, негодница!.. Ну, погоди, выведем же мы тебя на чистую воду! — воскликнула она затем, вся преисполнившись негодования.

Оказалось, как мне рассказывали впоследствии, что Александра уже давно возымела подозрения против Марьи Васильевны. Она заметила, что эта последняя затеяла шашни с садовником. — Ну, а сами посудите, — говорила она няне, — стал ли бы такой молодец, как Филипп Матвеевич, задаром такую старуху любить? Верно она его подарками задабривает. — И действительно, она скоро убедилась, что Марья Васильевна дарит ему и вещи, и деньги. Откуда же они у нее берутся? И вот устроила она целую систему подсматриванья за ничего не подозревавшей Марьей Васильевной. Этот ножичек оказался лишь последним звеном в длинной цепи улик.

История выходила такая интересная и занимательная, как и ожидать нельзя было. У няни внезапно проснулся тот страстный инстинкт сыщика, который так часто дремлет в душе у старых женщин и побуждает их с азартом кидаться на расследование всякого запутанного дела, хотя бы это последнее вовсе и не касалось их. В данном же случае няню побуждало в ее рвении еще и то, что она чувствовала за собой большой грех против Феклуши и горела желанием поскорее его искупить. Поэтому между ней и Александрой тотчас же был заключен оборонительный и наступательный союз против Марьи Васильевны.

Так как у обеих женщин была уже полная нравственная уверенность в виновности этой последней, то они решились на крайнюю меру: подо-

браться к ее ключам и, улучив минутку, когда она уйдет со двора, вскрыть ее сундук.

Задумано и сделано! Увы! Оказалось, что они были совершенно правы в своих предположениях. Содержимое сундука вполне подтвердило их подозрения и доказало несомненнейшим образом, что несчастная Марья Васильевна была виновница всех маленьких краж, наделавших столько шума за последнее время.

— Какова мерзкая! Значит, она и варенье-то бедной Феклуше подсунула, чтоб глаза отвести и на нее все подозрения свалить! У, безбожница! Ребенка малого, и того не пожалела! — говорила няня с ужасом и омерзением, совсем забывая, какую роль она сама играла во всей этой истории и как она своей жестокостью довела бедную Феклушу до ложного показания на самое себя.

Можно себе представить негодование всей прислуги и вообще всех домашних, когда ужасная истина была обнаружена и стала всем известна.

В первую минуту, сгоряча, отец наш пригрозил было послать за полицией и засадить Марью Васильевну в тюрьму; однако, ввиду того, что она была уже пожилая болезненная женщина и так долго прожила в нашем доме, он скоро смягчился и порешил только отказать ей от места и отослать ее обратно в Петербург.

Казалось бы, Марья Васильевна сама должна бы быть довольной этим приговором. Она была такой искусной портнихой, что ей нечего было бояться остаться без хлеба в Петербурге. А какое предстояло ей положение в нашем доме после подобной истории? Вся остальная прислуга завидовала ей прежде и ненавидела ее за гордость и высокомерие. Она это знала и знала тоже, как жестоко пришлось бы ей теперь искупить свое прежнее величие. И между тем, как ни странно это может показаться, она не только не обрадовалась решению моего отца, но, напротив того, стала умолять о помиловании. В ней сказалась какая-то кошачья привязанность к нашему дому, к насиженному у нас углу.

— Мне недолго осталось жить, я чувствую, что скоро умру. Каково мне перед смертью таскаться по чужим людям! — говорила она.

— Дело было совсем не в этом, — пояснила мне, впрочем, няня, вспоминая со мной всю эту историю много лет спустя, когда я уже была взрослой. — Ей просто невмоготу было от нас уезжать, так как Филипп-то Матвеевич оставался, и она знала, что если она раз уедет, то никогда уже его больше не увидит. Видно, уж больно он люб был ей, если ради него она, всю жизнь прожившая честно, на старости лет на такое дело пошла.

Что касается Филиппа Матвеевича, то ему удалось совсем сухим из воды выйти. Может быть, он и действительно говорил правду, когда утверждал, что, принимая подарки Марьи Васильевны, не знал их происхождения. Во всяком случае, так как хорошего садовника найти было трудно, а сад и огород нельзя было оставить на произвол судьбы, то решено было удержать его у нас, по крайней мере до поры до времени.

Не знаю, была ли няня права насчет причин, заставлявших Марью Васильевну так упорно цепляться за свое место в нашем доме, но как бы то ни было, в день, назначенный для ее отъезда, она пришла и повалилась моему отцу в ноги.

— Лучше оставьте меня без жалованья, накажите как крепостную, только не выгоняйте! — умоляла она, рыдая.

Отца тронула такая привязанность к нашему дому, но, с другой стороны, он боялся, что если он простит Марью Васильевну, то это подействует деморализирующим образом на остальную прислугу. Он был в большом затруднении, как ему поступить, но вдруг ему пришла в голову следующая комбинация.

— Послушайте, — сказал он ей, — хоть воровство и большой грех, я все-таки мог бы простить вас, если бы ваша вина состояла только в том, что вы воровали. Но ведь из-за вас пострадала невинно девочка. Подумайте, что по вашей вине Феклушу подвергли такому позору — публично высекли. За нее я вас простить не могу. Если вы непременно хотите у нас оставаться, то я могу на это согласиться только под тем условием, что вы попросите у Феклуши прощенье и в присутствии всей прислуги поцелуете у нее руку. Хотите вы на это пойти, тогда с богом, оставайтесь!

Все ожидали, что Марья Васильевна на такое условие никогда не пойдет. Ну, как ей, такой гордячке, повиниться публично перед крепостной девчонкой и поцеловать у нее руку! И вдруг, к общему удивлению, Марья Васильевна согласилась.

Через час после этого решения уже вся дворня собралась в сенях нашего дома, чтобы посмотреть на любопытное зрелище: как Марья Васильевна будет целовать руку у Феклуши. Отец мой именно требовал, чтобы это произошло торжественно и публично. Народу собралось много; каждому хотелось посмотреть. Господа присутствовали тоже, да и мы, дети, выпросили позволение быть при этом.

Никогда не забуду я той сцены, которая теперь воспоследовала. Феклуша, сконфуженная той честью, которая так неожиданно выпала ей на долю, да и опасаясь, быть может, чтобы Марья Васильевна не стала потом мстить ей за свое вынужденное унижение, пришла к барину и стала просить, чтобы он избавил ее и Марью Васильевну от целованья руки.

— Я ей и так прощаю, — говорила она, чуть не плача.

Но папа, настроив себя на возвышенный диапазон и убедивший сам себя, что поступает согласно требованиям строгой справедливости, только прикрикнул на нее: «Ступай, дура, и не суйся не в свое дело! Не ради тебя это делается. Если бы *я* перед тобой провинился, понимаешь ли, я сам, твой барин, то и я должен бы поцеловать тебе руку. Ты этого не понимаешь? Ну, так и молчи и не разговаривай!»

Перепуганная Феклуша не смела больше возражать и, вся трясясь от страха, пошла и стала на свое место, ожидая своей участи, как виновная.

Марья Васильевна, бледная, как полотно, прошла сквозь расступившуюся перед ней толпу. Она шла как-то машинально, точно во сне, но

лицо ее было такое решительное и злое, что страшно становилось на него смотреть. Губы ее были судорожно сжаты и бескровны. Она подошла совсем близко к Феклуше. «Прости меня!» — вырвалось из ее уст каким-то болезненным криком; она схватила Феклушину руку и поднесла ее к губам так порывисто и с выражением такой ненависти, точно собиралась укусить ее. Но вдруг судорога передернула все ее лицо, пена показалась вокруг рта. Она упала на землю, корчась все телом и испуская пронзительные, неестественные крики.

Открылось впоследствии, что она и прежде была подвержена нервным припадкам, род падучей, но она тщательно скрывала их от господ, боясь, что ее не станут держать, если о них узнают. Те же из прислуги, которые проведали о ее болезни, не выдавали ее из чувства солидарности.

Я и передать не могу того впечатления, которое было вызвано ее теперешним припадком. Нас, детей, разумеется, поспешно увели, и мы были так перепуганы, что сами были близки к истерике.

Но всего живее осталась у меня в памяти та внезапная перемена, которая произошла после этого в настроении нашей дворни. До тех пор все относились к Марье Васильевне со злобой и ненавистью. Ее поступок казался таким низкими и черным, что каждому доставляло некоторого рода наслаждение выказать ей свое презрение, чем-нибудь досадить ей. Теперь же все это внезапно изменилось. Она сама вдруг представилась в роли пострадавшей, жертвы, и общественное сочувствие перешло на ее сторону. Между прислугой поднялся даже затаенный протест против моего отца за излишнюю строгость его приговора.

— Конечно, она была виновата, — говорили вполголоса другие горничные, собираясь у нас в детской для совещаний с няней, как бывало обыкновенно после всякого важного происшествия в нашем доме. — Ну, хорошо, пожурил бы ее сам генерал, барыня бы ее собственноручно наказали, как в других домах водится, все это не так обидно, стерпеть можно. А тут вдруг, на, поди, что выдумали! У такого сверчка, у соплявки Феклушки, на виду перед всеми руку целовать! Кто такую обиду выдержит!

Марья Васильевна долго не приходила в себя. Ее припадки повторялись в течение нескольких часов одни за другими. Очнется, придет в себя, потом вдруг опять забьется и начнет выкрикивать. Пришлось послать в город за доктором.

С каждой минутой увеличивалось сострадание к больной и росло недовольство против господ. Я помню, как посреди дня в детскую вошла мама и, видя, что няня, совсем не в положенное время, заботливо и суетливо заваривает чай, спросила очень невинно: — Для кого вы это, няня?

— Для Марьи Васильевны, разумеется. Что ж, по-вашему, ее, больную, и без чая оставить следует? У нас, у прислуги, душа-то христианская! — ответила няня таким грубым и задорным голосом, что мама совсем сконфузилась и поспешила уйти.

И та же няня, за несколько часов перед тем, если бы ей дали волю, была бы способна избить Марью Васильевну до полусмерти.

Через несколько дней Марья Васильевна поправилась к великой радости моих родителей и зажила у нас в доме по-прежнему. О том, что произошло, не поминалось больше; я думаю, что даже между дворней не нашлось бы никого, кто бы попрекнул ее прошлым.

Что до меня касается, то я с этого дня стала испытывать к ней какую-то странную жалость, смешанную с инстинктивным ужасом. Я уже не бегала к ней в комнату, как прежде. Встречаясь с нею в коридоре, я невольно прижималась к стене и старалась не глядеть на нее: мне все чудилось — вот-вот она сейчас упадет на пол и станет биться и кричать.

Марья Васильевна, должно быть, замечала это мое отчуждение и старалась разными путями вернуть себе мое прежнее расположение. Я помню, как она чуть ли не ежедневно выдумывала для меня какие-нибудь маленькие сюрпризы: то принесет мне цветных лоскутков, то сошьет новое платье моей кукле. Но все это не помогало: чувство какого-то тайного страха к ней не проходило у меня, и я убегала, лишь только мы оставались с ней наедине.

Вскоре, впрочем, я поступила под начальство моей новой гувернантки, которая положила конец всякой моей короткости с прислугой.

Мне живо помнится, однако, следующая сцена: мне было уже тогда лет семь или восемь; однажды вечером, накануне какого-то праздника, кажется благовещения, я пробегала по коридору мимо комнаты Марьи Васильевны. Вдруг она выглянула из двери и окликнула меня:

— Барышня, а барышня! Зайдите-ка ко мне, посмотрите, какого я для вас жаворонка из теста испекла!

В длинном коридоре было полутемно, и кроме меня и Марьи Васильевны никого не было. Взглянув на ее бледное лицо с большущими черными глазами, мне вдруг стало так жутко, что, вместо ответа, я опрометью пустилась бежать от нее.

— Что, барышня, видно совсем меня разлюбили, брезгуете мной! — проговорила она мне вслед.

Не столько самые слова, сколько тон, которым она проговорила их, сильно поразил меня; однако я не остановилась, а продолжала бежать. Но, вернувшись в классную и успокоившись от моего страха, я все не могла забыть ее голоса, глухого и печального. Весь вечер мне было не по себе. Как я ни старалась резвостью и усиленной шаловливостью заглушить то неприятное ноющее чувство, которое шевелилось у меня на сердце, но оно все не унималось. Марья Васильевна не выходила у меня из головы и, как всегда бывает относительно человека, которого обидишь, она вдруг стала казаться мне ужасно милою, и меня стало тянуть к ней.

Рассказать гувернантке о том, что случилось, я не решалась; дети всегда конфузятся говорить о своих чувствах. К тому же, так как нам запрещено было сближаться с прислугой, то я знала, что гувернантка, пожалуй, еще похвалит меня; я же инстинктом чувствовала, что хвалить меня не за что. После вечернего чая, когда пришла мне пора идти спать, вместо того, чтобы отправиться прямо в спальню, я решилась забежать к Марье Васильевне. Это была некоторого рода жертва с моей стороны,

так как для этого мне приходилось пробежать одной по длинному пустынному, теперь уже совсем темному коридору, которого я всегда боялась и обходила по вечерам. Но теперь у меня явилась отчаянная храбрость. Я бежала, не переводя духа, и, совсем запыхавшись, как ураган, ворвалась в ее комнату.

Марья Васильевна уже отужинала; по случаю праздника она не работала, а сидела за столом, покрытым белою чистою скатертью, и читала какую-то книжку божественного содержания. Перед образами теплилась лампадка; после темного страшного коридора комнатка ее показалась мне необыкновенно светлой и уютной, а она сама такой доброй и хорошей.

— Я с вами проститься пришла, милая, милая Марья Васильевна! — проговорила я одним залпом, и, прежде чем я успела кончить, она уже подхватила меня и стала покрывать меня поцелуями. Она целовала меня так порывисто и так долго, что мне снова стало жутко, и я начала уже подумывать, как бы мне вырваться от нее, опять ее не обидев, когда припадок жестокого кашля заставил ее, наконец, выпустить меня из своих объятий.

Этот ужасный кашель преследовал ее все сильнее и сильнее. «Всю ночь я сегодня, как собака, пролаяла», — говорила она, бывало, сама о себе с какою-то угрюмой иронией.

С каждым днем становилась она все бледнее и сосредоточеннее, но упорно отклоняла предложения моей матери обратиться за советом к доктору; у нее являлось даже какое-то злобное раздражение, если кто-нибудь заговаривал о ее болезни.

Таким образом протянула она года два или три, почти до самого конца оставаясь на ногах; она слегла лишь дня за два, за три перед смертью, и агония ее, говорят, была очень мучительна.

По распоряжению моего отца ей устроили очень пышные (по деревенским понятиям) похороны. Не только вся прислуга, но и вся наша семья, даже сам барин, на них присутствовали. Феклуша тоже шла за гробом и рыдала навзрыд. Одного Филиппа Матвеевича на ее похоронах не было: не дождавшись ее смерти, он еще за несколько месяцев перед тем перешел от нас на другое, более выгодное место где-то вблизи Динабурга.

III

⟨Мисс Смит⟩[1]

С переездом в деревню все в доме у нас круто изменилось, и жизнь моих родителей, до тех пор веселая и беспечная, сразу приняла более серьезную складку.

До тех пор отец мало обращал на нас внимания, считая воспитание детей женским, а не мужским делом. Анютой он занимался немножко

более, чем другими детьми, так как она была старшая и очень забавна. Он любил побаловать ее при случае, зимою брал ее иногда с собою покататься в саночках и любил похвастаться ею перед гостями. Когда ее шалости превышали всякую меру и решительно выводили из терпения всех домашних, на нее приходили иногда с жалобой к отцу, но он обыкновенно обращал все дело в шутку, и она сама отлично понимала, что хотя он иногда, для виду, делает строгое лицо, но в сущности сам готов посмеяться ее проказам.

Что касается нас, младших детей, то отношение отца к нам ограничивалось тем, что при встрече с нами он справлялся у няни, здоровы ли мы, ласково щипал нас за щеки, чтобы убедиться, плотненькие ли они у нас, и иногда брал нас на руки и подбрасывал кверху. В торжественные дни, когда отец отправлялся куда-нибудь на официальное представление и облекался в полную парадную форму, с орденами и звездами, нас призывали в гостиную «полюбоваться на папашу в параде», и это зрелище доставляло нам необычайное удовольствие; мы прыгали вокруг него, хлопая в ладоши от восторга при виде его сияющих эполет и орденов.

Но по приезде в деревню это благодушное отношение, существовавшее до тех пор между отцом и нами, внезапно изменилось. Как нередко случается в русских семьях, отец вдруг сделал неожиданное открытие, что дети его далеко не такие примерные, прекрасно воспитанные дети, как он полагал.

Началось это, кажется, с того, что мы с сестрой раз убежали из дому, заблудились, пропадали целый день, а когда нас разыскали к вечеру, мы успели объесться волчьими ягодами и проболели несколько дней.

Это происшествие показало, что надзор за нами крайне плох. За этим первым открытием пошли другие; разоблачение следовало теперь за разоблачением. До сих пор все твердо верили, что сестра моя чуть ли не феноменальный ребенок, умный и развитой не по летам. Теперь же вдруг оказалось, что она не только из рук вон избалована, но для двенадцатилетней девочки до крайности невежественна, даже писать правильно по-русски не умеет.

Что еще хуже — за француженкой открылось что-то такое нехорошее, что при нас, детях, и говорить об этом не полагалось.

Смутно вспоминаются мне эти печальные дни, последовавшие за нашим побегом, как род тяжелого домашнего бедствия. В детской целый день шум, крик и слезы. Все перессорились между собой и всем достается, и правому, и виноватому. Папаша гневается, мама плачет, нянюшка ревет, француженка ломает руки и укладывает свои пожитки. Мы с сестрой присмирели, притихли и пикнуть не смеем, так как теперь каждый срывает на нас свою досаду, и малейший проступок ставится нам в тяжелую вину. Тем не менее, мы с любопытством и даже не без некоторого детского злорадства следим за тем, как старшие ссорятся, и ждем — «чем-то все это разрешится?»

Отец, не любивший полумер, решился на коренное преобразование всей системы нашего воспитания. Француженку прогнали, нянюшку

отставили от детской и определили смотреть за бельем, а в дом взяли двух новых лиц: гувернера поляка [2] и гувернантку англичанку [3].

Гувернер оказался тихим и знающим человеком, давал превосходные уроки, но собственно на воспитание мое имел мало влияния [4]. Зато гувернантка внесла в нашу семью совсем новый элемент.

Хотя она воспитывалась в России и хорошо говорила по-русски, но она вполне сохранила все типические особенности англосаксонской расы: прямолинейность, выдержку, уменье всякое дело довести до конца. Эти качества давали ей громадное преимущество над остальными домашними, которые все отличались совсем противоположными свойствами, и ими объясняется то влияние, которое она приобрела в нашем доме.

Поступив к нам, все ее старания стали клониться к тому, чтобы устроить из нашей детской род английской nursery *, в которой она могла бы воспитать примерных английских мисс. А бог ведает, как трудно было завести рассадник английских мисс в русском помещичьем доме, где веками и поколениями привились привычки барства, неряшливости и «спустя рукава». Однако, благодаря ее замечательной настойчивости, она все же до известной степени добилась своего.

С сестрой моей, привыкшей до тех пор к полной свободе, ей, правда, никогда не удалось справиться. Года полтора, два прошли у них в постоянных стычках и столкновениях. Наконец, когда Анюте минуло 15 лет, она окончательно вышла из повиновения. Фактически акт ее освобождения из-под опеки гувернантки выразился тем, что кровать ее перенесли из детской в комнату рядом с маминой спальней. С этого дня Анюта стала считаться взрослой барышней, и гувернантка при всяком удобном случае торопилась выразить как-нибудь осязательно, что теперь ей уже нет дела до Анютиного поведения, что она умывает себе руки.

Но зато она еще с большим ожесточением сосредоточила все свои заботы на мне, изолируя меня от всех домашних и ограждая меня, как от заразы, от влияния старшей сестры. Этому стремлению к сепаратизму с ее стороны благоприятствовали размеры и устройство нашего деревенского дома, в котором семьи три-четыре свободно могли бы проживать одновременно, вполне не зная друг друга.

Почти весь нижний этаж, за исключением нескольких комнат для прислуги и для случайных гостей, был отведен гувернантке и мне. Верхний этаж, с парадными комнатами, принадлежал маме и Анюте. Федя с гувернером помещались во флигеле, а папин кабинет составлял основание трехэтажной башни и лежал совсем в стороне от остального жилья. Таким образом, те различные элементы, из которых состояла наша семья, имели каждый свои самостоятельные владения и могли, не стесняясь друг другом, вести каждый свою особую линию, встречаясь только за обедом да за вечерним чаем.

* детской (*англ.*).

IV

Жизнь в деревне

Стенные часы в классной пробили семь. Эти семь повторенных ударов доходят до моего сознания сквозь сон и порождают во мне печальную уверенность, что теперь, сейчас, придет горничная Дуняша будить меня; но мне спится еще так сладко, что я стараюсь убедить себя, будто эти противные семь ударов только почудились мне. Повернувшись на другую сторону и плотнее натянув на себя одеяло, спешу воспользоваться сладким, кратковременным блаженством, доставляемым последними минуточками сна, которому, я знаю, сейчас наступит конец.

И, действительно, вот скрипит дверь, вот слышатся тяжелые шаги Дуняши, входящей в комнату с ношею дров. Затем ряд знакомых, каждое утро повторяющихся звуков: шум от грузно сбрасываемой на пол охапки, чирканье спичками, треск лучинок, шелест и шуршанье пламени. Все эти привычные звуки доходят до моего слуха сквозь сон и усиливают во мне ощущение приятной неги и нежелания расстаться с теплой постелькой. «Еще минуточку, только минуточку бы поспать!» Но вот шелест пламени в печке становится все громче и ровнее и переходит в мерное, правильное гуденье.

— Барышня, вставать пора! — раздается над самым моим ухом, и Дуняша безжалостной рукой стягивает с меня одеяло.

На дворе только что начинает светать, и первые бледные лучи холодного зимнего утра, смешиваясь с желтоватым светом стеариновой свечи, придают всему какой-то мертвенный, неестественный вид. Есть ли что-нибудь неприятнее на свете, как вставать при свечах! Я сажусь в постели на корточках и медленно, машинально начинаю одеваться, но глаза мои невольно опять слипаются и приподнятая с чулком рука так и застывает в этом положении.

За ширмами, за которыми спит гувернантка, уже слышится плесканье водой, фырканье и энергичное обтиранье.

— Don't dowdle, Sonja! If you are not ready in a quarter of an hour, you will bear the ticket «lazy» on your back during luncheon! * — раздается грозный голос гувернантки.

С этой угрозой шутить нельзя. Телесные наказания изгнаны из нашего воспитания, но гувернантка придумала заменить их другими мерами устрашения; если я в чем-нибудь провинюсь, она пришпиливает к моей спине бумажку, на которой крупными буквами значится моя вина, и с этим украшением я должна являться к столу. Я до смерти боюсь этого наказания; поэтому угроза гувернантки имеет способность мгновенно разогнать мой сон. Я моментально спрыгиваю с кровати. У умывальника уже ждет меня горничная с приподнятым кувшином

* Не мямли, Соня! Если ты не будешь готова через четверть часа, ты выйдешь к завтраку с билетиком «лентяйка» на спине! (*англ.*).

в одной и с большим лохматым полотенцем в другой руке. По английской манере, меня каждое утро обливают водой. Одна секунда резкого, дух захватывающего холода, потом точно кипяток прольется по жилам, и затем во всем теле остается удивительно приятное ощущение необыкновенной живучести и упругости.

Теперь уже совсем рассвело. Мы выходим в столовую. На столе пыхтит самовар, дрова в печке трещат, и яркое пламя отсвечивается и множится в больших замерзших окнах. Сонливости во мне не осталось более и следа. Напротив того, у меня теперь так хорошо, так беспричинно радостно на душе; так хотелось бы шуму, смеха, веселья! Ах, если бы у меня был товарищ, ребенок моих лет, с которым можно бы подурачиться, повозиться, в котором бы, так же как и во мне, ключом кипел избыток молодой, здоровой жизни! Но такого товарища нет у меня, я пью чай сам-друг с гувернанткой, так как другие члены семьи, не исключая и брата, и сестры, встают гораздо позднее. Мне так неудержимо хочется чему-нибудь радоваться и смеяться, что я делаю даже слабые попытки заигрыванья с гувернанткой. На беду, она сегодня не в духе, что часто случается с ней по утрам, так как она страдает болезнью печени; поэтому она считает своим долгом усмирить неуместный порыв моей веселости, заметив мне, что теперь время для ученья, а не для смеха.

День начинается у меня всегда уроком музыки. В большой зале наверху, в которой стоит рояль, температура весьма прохладная, так что пальцы мои коченеют и пухнут, и ногти выступают на них синими пятнами.

Полтора часа гамм и экзерсизов, аккомпанируемых однообразными ударами палочки, которою гувернантка выстукивает такт, охлаждают значительно то чувство жизнерадостности, с которою я начала мой день. За уроком музыки следуют другие уроки. Пока сестра училась тоже, я находила в уроках большое удовольствие; тогда, впрочем, я была еще такая маленькая, что серьезно меня почти не учили; но я выпрашивала позволенье присутствовать при уроках сестры и прислушивалась к ним с таким вниманием, что на следующий раз случалось нередко, что она, большая 14-тилетняя девочка, не знает заданного урока, я же, семилетняя крошка, запомнила его и подсказываю его ей с торжеством. Это забавляло меня необычайно. Но теперь, когда сестра перестала учиться и перешла на права взрослой, уроки утратили для меня половину своей прелести. Я занимаюсь, правда, довольно прилежно, но так ли бы я училась, если бы у меня был товарищ!

В 12 часов завтрак. Проглотив последний кусок, гувернантка отправляется к окну исследовать, какая погода. Я слежу за ней с трепещущим сердцем, так как это вопрос очень важный для меня. Если термометр показывает менее 10° мороза и притом нет большого ветра, мне предстоит скучнейшая полуторачасовая прогулка вдвоем с гувернанткой взад и вперед по расчищенной от снега аллее. Если же, на мое счастье, сильный мороз или ветрено, гувернантка отправляется на неизбежную, по ее по-

нятиям, прогулку одна, меня же, ради моциона, посылает наверх, в залу, играть в мячик.

Игру в мяч я не особенно люблю; мне теперь уже двенадцать лет; я сама считаю себя уже совсем большой, и мне даже обидно, что гувернантка еще считает меня способной увлекаться такою детскою забавой, как игра в мяч; тем не менее я выслушиваю приказание с большим удовольствием, так как оно предвещает мне полтора часа свободы.

Верхний этаж принадлежит специально маме и Анюте, но теперь они обе сидят в своих комнатах; в большой зале никого нет.

Я несколько раз обегаю вокруг залы, погоняя перед собою мячик; мысли мои уносятся далеко. Как у большинства одиноко растущих детей, у меня уже успел сложиться целый богатый мир фантазий и мечтаний, существование которого и не подозревается взрослыми. Я страстно люблю поэзию; самая форма, самый размер стихов доставляют мне необычайное наслаждение; я с жадностью поглощаю все отрывки русских поэтов, какие только попадаются мне на глаза, и я должна сознаться — чем высокопарнее поэзия, тем она более приходится мне по вкусу. Баллады Жуковского долго были единственными известными мне образцами русской поэзии. В доме у нас никто особенно этою отраслью литературы не интересовался, и хотя у нас была довольно большая библиотека, но она состояла преимущественно из иностранных книг; ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова в ней не было. Я никак не могла дождаться того дня, когда в первый раз досталась мне в руки хрестоматия Филонова[1], купленная по настояниям нашего учителя. Это было настоящим откровением для меня. В течение нескольких дней спустя я ходила как сумасшедшая, повторяя вполголоса строфы из «Мцыри» или из «Кавказского пленника», пока гувернантка не пригрозила, что отнимет у меня драгоценную книгу.

Самый размер стихов всегда производил на меня такое чарующее действие, что уже с пятилетнего возраста я сама стала сочинять стихи[2]. Но гувернантка моя этого занятия не одобряла; у нее в уме сложилось вполне определенное представление о том здоровом, нормальном ребенке, из которого потом выйдет примерная английская мисс, и сочинение стихов с этим представлением никак не вяжется. Поэтому она жестоко преследует все мои стихотворные попытки; если, на мою беду, ей попадется на глаза клочок бумажки, исписанный моими виршами, она тотчас же приколет его мне к плечу, и потом, в присутствии брата и сестры, декламирует мое несчастное произведение, разумеется, жестоко коверкая и искажая.

Однако гонение это на мои стихи не помогало. В двенадцать лет я была глубоко убеждена, что буду поэтессой. Из страха гувернантки я не решалась писать своих стихов, но сочиняла их в уме, как старинные барды, и поверяла их моему мячику. Погоняя его перед собой, я несусь, бывало, по зале и громко декламирую два моих поэтических произведения, которыми особенно горжусь: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». В голове у меня задумана

длинная поэма «Струйка», нечто среднее между «Ундиной» и «Мцыри», но из нее готовы пока только первые десять строф. А их предполагается 120.

Но муза, как известно, капризна, и не всегда поэтическое вдохновение нисходит на меня как раз в то время, когда мне приказано играть в мяч. Если муза не является на зов, то положение мое становится опасным, так как искушения окружают меня со всех сторон. Рядом с залой находится библиотека, и там на всех столах и диванах валяются соблазнительные томики иностранных романов или книжки русских журналов. Мне строго-настрого запрещено касаться их, так как гувернантка моя очень разборчива насчет дозволенного для меня чтения. Детских книг у меня немного, и я все их уже знаю почти наизусть; гувернантка никогда не позволяет мне прочесть какую-нибудь книгу, даже предназначенную для детей, не прочтя ее предварительно сама; а так как она читает довольно медленно и ей постоянно некогда, то я нахожусь, так сказать, в хроническом состоянии голода насчет книг; а тут вдруг под рукой у меня такое богатство! Ну, как тут не соблазниться!

Я несколько минут борюсь сама с собой. Я подхожу к какой-нибудь книжке и сначала только заглядываю в нее; переверну несколько страничек, прочту несколько фраз, потом опять пробегусь с мячиком, как ни в чем не бывало. Но мало-помалу чтение завлекает меня. Видя, что первые попытки прошли благополучно, я забываю об опасности и начинаю жадно глотать одну страницу за другой. Нужды нет, что мне попался, может быть, не первый том романа; я с таким же интересом читаю с середины и в воображении восстанавливаю начало. Время от времени, впрочем, я имею предосторожность сделать несколько ударов мячиком, на тот случай, чтобы — если гувернантка вернется и придет подсмотреть, что я делаю, — она слышала, что я играю, как мне приказано.

Обыкновенно моя хитрость удается. Я вовремя услышу шаги гувернантки, подымающейся по лестнице, и успею к ее приходу отложить книжку в сторону, так что гувернантка останется в убеждении, что я все время забавлялась игрою в мяч, как следует хорошему добронравному ребенку. Раза два или три в детстве случилось мне так увлечься чтением, что я ничего не заметила, пока гувернантка как из-под земли не выросла передо мною и не накрыла меня на самом месте преступления.

В подобных случаях, как вообще после всякой особенно важной провинности с моей стороны, гувернантка прибегала к крайнему средству: она посылала меня к отцу с приказанием самой рассказать ему, как я провинилась. Этого я боялась больше всех других наказаний.

В сущности, отец наш вовсе не был строг с нами, но я видела его редко, только за обедом; он никогда не позволял себе с нами ни малейшей фамильярности, исключая, впрочем, тех случаев, когда кто-нибудь из детей бывал болен. Тогда он совсем менялся. Страх потерять кого-нибудь из нас делал из него как бы совсем нового человека. В голосе, в манере говорить с нами являлась необычайная нежность и мягкость; никто не умел так приласкать нас, так пошутить с нами, как он. Мы реши-

тельно обожали его в подобные минуты и долго хранили память о них. В обыкновенное же время, когда все были здоровы, он придерживался того правила, что «мужчина должен быть суров», и потому был очень скуп на ласки.

Он любил быть один, и у него был свой собственный мир, в который никто из домашних не допускался. По утрам он уходил на хозяйственную прогулку один или в обществе управляющего; почти всю остальную часть дня сидел в своем кабинете. Кабинет этот, лежащий совершенно в стороне от других комнат, составлял как бы святую святых в доме; даже мать наша и та никогда не входила в него, не постучавшись предварительно; детям и в голову бы не пришло явиться в него без приглашения.

Поэтому, когда скажет, бывало, гувернантка: «Ступай к отцу, похвастайся ему, как ты вела себя!» — я испытываю настоящее отчаяние. Я плачу, упираюсь, но гувернантка неумолима и, взяв меня за руку, подводит или, вернее, протаскивает через длинный ряд комнат к двери в кабинет и тут предоставляет меня моей участи, а сама уходит.

Теперь плакать уже бесполезно; к тому же передняя рядом с кабинетом, и я уже вижу в ней фигуру какого-нибудь праздного, любопытного лакея, который с обидным интересом наблюдает за мной.

— Опять, видно, провинились, барышня! — слышу я за собой полусожалительный, полунасмешливый голос папашиного камердинера Ильи.

Я не удостоиваю его ответом и стараюсь придать себе вид как ни в чем не бывало, как будто я пришла к отцу по собственному желанию. Вернуться назад в классную, не выполнив приказания гувернантки, я не решалась. Это значило бы усугубить вину явным непослушанием; стоять тут у двери мишенью для насмешек лакеев — невыносимо. Не остается ничего иного, как постучаться в двери и храбро пойти навстречу моей участи.

Я стучусь, но очень тихо. Проходят опять несколько мгновений, которые кажутся мне вечными.

— Постучитесь громче, барышня! папенька не слышат! — замечает снова несносный Илья, которого, очевидно, очень занимает вся эта история.

Нечего делать, я стучусь опять.

— Кто там? Войдите! — раздается, наконец, голос отца из кабинета.

Я вхожу, но останавливаюсь в полутемноте, у порога. Отец сидит за своим письменным столом спиною к двери и не видит меня.

— Да кто же там? Что надо? — окликает он нетерпеливо.

— Это я, папа. Меня Маргарита Францевна прислала! — всхлипываю я в ответ.

Теперь отец уже догадывается, в чем дело.

— А-а! Ты, верно, опять провинилась! — говорит он, стараясь придать своему голосу как можно более суровое выражение. — Ну, рассказывай! Что натворила?

И вот я, всхлипывая и запинаясь, начинаю мой донос на самое себя.

Отец выслушивает мою исповедь рассеянно. Его понятия о воспитании весьма элементарны, и вся педагогика подводится им под рубрику женского, а не мужского дела. Он, разумеется, и не подозревает, какой сложный внутренний мир успел уже сложиться в голове той маленькой девочки, которая стоит теперь перед ним и ждет своего приговора. Занятый своими «мужскими» делами, он и не заметил, как я мало-помалу вырастала из того пухленького ребенка, каким была лет пять назад. Его, видимо, затрудняет, что сказать мне и как поступить в данном случае. Мой поступок кажется ему маловажным, но он твердо верит в необходимость строгости при воспитании детей. Ему внутренне досадно на гувернантку, которая не умела уладить такого простого дела сама, а послала меня к нему; но раз уже прибегли к его вмешательству, он должен проявить свою власть. Поэтому, чтобы не ослабить авторитета, он старается придать себе вид строгий и негодующий.

— Какая ты скверная, нехорошая девочка! я очень тобой недоволен, — говорит он и останавливается, потому что не знает, что сказать больше. — Поди, стань в угол! — решает он, наконец, так как из всей педагогической мудрости у него сохранилось в памяти только то, что провинившихся детей ставят в угол.

И вот, можете себе представить, мне, большой двенадцатилетней девице, мне, которая за несколько минут пред тем переживала с героиней прочитанного украдкой романа самые сложные психологические драмы, мне приходится пойти и стать в угол, как малому, неразумному ребенку.

Отец продолжает свои занятия у письменного стола. В комнате воцаряется глубокое молчание. Я стою, не шевелясь, но, боже мой! чего только не передумаю я и не перечувствую в эти несколько минут! Я так ясно понимаю и сознаю, до какой степени все это положение глупо и нелепо. Какое-то чувство внутренней стыдливости перед отцом заставляет меня повиноваться молча и не дает мне разреветься, сделать сцену. А между тем чувство горькой обиды, бессильного гнева подступает к горлу и душит меня. «Какие это пустяки! Что мне значит постоять в углу», — внутренне утешаю я себя, но мне больно, что отец может и хочет меня унизить, и это тот самый отец, которым я так горжусь, которого ставлю выше всех!

Хорошо еще, если мы остаемся одни. Но вот кто-то стучится в дверь, и в комнату, под тем или другим предлогом, является несносный Илья. Я отлично знаю, что предлог выдуманный, что он просто пришел из любопытства, посмотреть, как барышня наказана; но он и вида не подает, делает свое дело, не торопясь, как будто ничего не замечая, и только уходя бросает на меня насмешливый взгляд. О, как я ненавижу его в эту минуту!

Я стою так тихо, что, случается, отец и забудет обо мне и заставит простоять довольно долго, так как, разумеется, я из гордости ни за что не попрошу сама прощения. Наконец отец вспомнит обо мне и отпустит со словами: «Ну, иди же, и смотри не шали больше!» Ему и в голову не

приходит, какую нравственную пытку перенесла его бедная маленькая девочка за эти полчаса. Он бы, вероятно, сам испугался, если бы мог заглянуть мне в душу. Через несколько минут он, разумеется, совсем забудет об этом неприятном ребяческом эпизоде. А я между тем ухожу из его кабинета с чувством такой недетской тоски, такой незаслуженной обиды, как мне, может быть, раза 2—3 приходилось испытывать впоследствии, в самые тяжелые минуты моей жизни.

Я возвращаюсь в классную притихшая и присмиревшая. Гувернантка довольна результатами своего педагогического приема, так как в течение многих дней после этого я так тиха и скромна, что она не может нахвалиться моим поведением; но она была бы менее довольна, если бы знала, какой след оставил у меня на душе этот акт моего усмирения.

Вообще во всех моих воспоминаниях детства черной нитью проходит убеждение, что я не была любима в семье. Кроме случайно подслушанных толков прислуги, развитию этого печального убеждения способствовала в значительной степени та жизнь особняком, которую я вела с моей гувернанткой.

Судьба гувернантки тоже была невеселая. Некрасивая, одинокая, уже немолодая, отставшая от английского общества, но никогда вполне не освоившаяся в России, она сосредоточила на мне весь тот запас привязчивости, всю ту потребность в нравственной собственности, на какую только была способна ее крутая, энергичная, неподатливая натура. Я действительно составляла центр и средоточие всех ее мыслей и забот и придавала значение ее жизни; но любовь ее ко мне была тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности.

Мать моя и гувернантка были две натуры столь противоположные, что никакой симпатии между ними быть не могло. Мать моя и по характеру, и по наружности принадлежала к числу тех женщин, которые никогда не старятся[3].

Между нею и отцом была большая разница лет, и отец вплоть до старости продолжал относиться к ней, как к ребенку. Он называл ее Лиза и Лизок, тогда как она величала его всегда Васильем Васильевичем. Случалось ему даже в присутствии детей делать ей выговоры. «Опять ты говоришь вздор, Лизочка!» — слышали мы нередко. И мама нисколько не обижалась на это замечание, а если продолжала настаивать на своем, то только как избалованный ребенок, который вправе желать и неразумного.

Гувернантки нашей мама положительно побаивалась, так как свободолюбивая англичанка нередко резала ее жестоким манером и в детских наших комнатах признавала себя одну полновластной хозяйкой, маму же принимала как гостью. Поэтому мама и заглядывала к нам не часто, и в воспитание мое совсем не вмешивалась.

Что до меня касается, то я в душе очень восхищалась своей мамой, которая казалась мне красивее и милее всех знакомых нам барынь; но в то же время я постоянно испытывала некоторую обиду: за что это она меня любит меньше других детей?

Сижу я, бывало, вечером в классной. Уроки мои к завтрашнему дню все уже готовы, но гувернантка все еще под разными предлогами не пускает меня наверх. Между тем сверху, из залы, которая расположена прямо над классной, доносятся звуки музыки. Мама имеет привычку играть по вечерам на фортепьяно. Она играет целыми часами, наизусть, сочетая, импровизируя, переходя от одной темы к другой. У нее очень много музыкального вкуса и удивительно мягкое туше, и я ужасно люблю слушать, как она играет. Под влиянием музыки и усталости от выученных уроков на меня находит наплыв нежности, желание к кому-нибудь прижаться, приголубиться. Остается уже всего несколько минут до вечернего чая, и гувернантка, наконец, отпускает меня. Я взбегаю наверх и застаю следующую сцену: мама уже перестала играть и сидит на диване, а по обеим ее сторонам, прижавшись к ней, Анюта и Федя. Они смеются, болтают о чем-то так оживленно, что и не замечают моего прихода. Я стою несколько минут возле них, молча, в надежде, что они меня заметят. Но они продолжают говорить о своем. Этого достаточно, чтобы охладить весь мой пыл. «Им и без меня хорошо», — проходит у меня по душе горькое, ревнивое чувство и, вместо того, чтобы броситься к маме и начать целовать ее милые белые руки, как я представляла себе внизу, в классной, я забиваюсь куда-нибудь в угол, поодаль от них, и дуюсь, пока не позовут нас к чаю и вскоре затем пошлют меня спать.

V

Мой дядя Петр Васильевич

Это убеждение, что в семье меня любят меньше других детей, огорчало меня очень сильно, тем более что потребность в сильной и исключительной привязанности развилась во мне очень рано. Следствием этого было то, что лишь только кто-нибудь из родственников или друзей дома почему-то выказывал ко мне немного больше расположения, чем к брату или к сестре, я, с моей стороны, тотчас начинала испытывать к нему чувство, граничащее с обожанием.

Я помню в детстве две особенно сильные привязанности — к двум моим дядям. Один из них был старший брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский[1]. Это был чрезвычайно живописный старик высокого роста, с массивной головой, окаймленной совсем белыми густыми кудрями. Лицо его с правильным строгим профилем, с седыми взъерошенными бровями и с глубокой продольной складкой, пересекающей почти снизу доверху весь его высокий лоб, могло бы показаться суровым, почти жестоким на вид, если бы оно не освещалось такими добрыми, простодушными глазами, какие бывают только у ньюфаундлендских собак, да у малых детей.

Дядя этот был в полном смысле слова человеком не от мира сего. Хотя он был старший в роде и должен бы был изображать главу семей-

ства, но на самом деле каждый, кому только вздумается, помыкал им, и все в семье так и относились к нему, как к старому ребенку. За ним давно установилась репутация чудака и фантазера. Жена его умерла несколько лет тому назад; все свое довольно большое имение он передал своему единственному сыну, выговорив себе лишь очень незначительный ежемесячный пенсион, и, оставшись таким образом без определенного дела, приезжал часто к нам в Палибино и гостил целыми неделями. Приезд его всегда считался у нас праздником, и в доме всегда становилось как-то и уютнее и оживленнее, когда он бывал у нас.

Любимым его уголком была библиотека. На всякое физическое движение он был ленив непомерно, и целыми днями просиживал, бывало, неподвижно на большом кожаном диване, поджав под себя одну ногу, прищурив левый глаз, который был у него слабее правого, и весь уйдя в чтение «Revue des deux Mondes» [2], своего любимого журнала.

Чтение до запоя, до одури было его единственною слабостью. Политика очень занимала его. С жадностью поглощал он газеты, приходившие к нам раз в неделю, и потом долго сидел и обдумывал: «Что-то нового затевает этот каналья Наполеошка?» В последние годы его жизни Бисмарк тоже задал ему немало головоломной работы. Впрочем, дядя был уверен, что «Наполеошка съест Бисмарка», и, немного не дожив до 1870 года, так и умер в этой уверенности.

Лишь только дело касалось политики, дядя обнаруживал кровожадность необычайную. Уложить на месте стотысячную армию ему нипочем было. Не меньшую беспощадность выказывал он, карая в воображении преступников. Преступник был для него лицом фантастическим, так как в действительной жизни он всех находил правыми.

Несмотря на протесты нашей гувернантки, он всех английских чиновников в Индии приговорил к повешению. «Да, сударыня, всех, всех!» — кричал он и в пылу увлеченья крепко ударял кулаком по столу. Вид у него тогда был такой грозный и свирепый, что всякий, войдя в комнату и увидя его, верно испугался бы. Но внезапно он, бывало, стихнет, и на лице его изобразится смущение и раскаяние — это он вдруг заметил, что своим неосторожным движением потревожил нашу общую любимицу, левретку Гризи, только что было пристроившуюся сесть рядом с ним на диване.

Но больше всего увлекался дядя, когда нападал в каком-нибудь журнале на описание нового важного открытия в области наук. В такие дни за столом у нас велись жаркие споры и пересуды, тогда как без дяди обед проходил обыкновенно в угрюмом молчании, так как все домашние, за отсутствием общих интересов, не знали, о чем говорить друг с другом.

— А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер [3] придумал? — скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери. — Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно. А, каково? понимаете ли вы, чем это пахнет?

И начнет дядя передавать присутствующим содержание только что прочитанной им журнальной статьи, невольно, почти бессознательно украшая и пополняя ее и выводя из нее такие смелые заключения и последствия, которые, верно, не грезились и самому изобретателю.

После его рассказа начинается жаркий спор. Мама и Анюта обыкновенно переходят тотчас же на сторону дяди и преисполняются энтузиазмом к новому открытию. Гувернантка, по свойственному ей духу противоречия, почти столь же неизменно становится в ряды оппозиции и с яростью начинает доказывать неосновательность, подчас даже греховность высказываемых дядею теорий. Учитель подает иногда голос, когда дело идет о какой-нибудь чисто фактической справке, но от прямого участия в споре благоразумно уклоняется. Что же касается папы, то он изображает из себя скептического, насмешливого критика, который не берет сторону ни того, ни другого из противников, а только зорко подмечает и отчеканивает все слабые пунктики обоих лагерей.

Споры эти принимают иногда очень воинственный характер и по какой-то роковой случайности почти всегда кончаются тем, что от вопросов чисто абстрактного свойства вдруг возьмут да и перескачут в область мелких личных пикировок.

Самыми ожесточенными противницами выступают всегда Маргарита Францевна и Анюта, между которыми ведется глухая «семилетняя» война, прерываемая только периодами вооруженного выжидательного перемирия.

Если дядя поражает смелостью своих обобщений, то гувернантка, с своей стороны, отличается не меньшей гениальностью по части приложений. В самых отвлеченных, по-видимому, удаленных от жизни научных теориях она вдруг усмотрит довод для осуждения Анютиного поведения, столь неожиданный и оригинальный, что все только руками разведут.

Анюта не остается в долгу и отвечает так зло и дерзко, что гувернантка выпрыгивает из-за стола и объявляет, что после такой обиды она не останется у нас в доме. Всем присутствующим становится неловко и не по себе; мама, ненавидящая ссоры и истории, берет на себя роль посредницы, и после долгих переговоров все дело оканчивается миром.

Я и теперь помню, какую бурю подняли в нашем доме две статьи в «Revue des deux Mondes». Одна — об единстве физических сил (отчет о брошюре Гельмгольца) [4], другая — об опытах Клода Бернара [5] над вырезыванием частей мозга у голубя. Вероятно, и Гельмгольц, и Клод Бернар очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживающую где-то в захолустье Витебской губернии.

Но не одна политика и отчеты о новейших изобретениях имели способность волновать моего дядюшку Петра Васильевича. С одинаковым увлечением читал он и романы, и путешествия, и исторические статьи. За неимением лучшего он готов был читать даже наши детские книги. Никогда ни у кого, за исключением разве у иных подростков, не встре-

чала я такой страсти к чтению, как у него. Казалось бы, чего невиннее такой страсти и чего легче для богатого помещика, как удовлетворить ей! А между тем у дядюшки Петра Васильевича почти совсем не было своих собственных книг, и он лишь в последние годы своей жизни, и то благодаря нашей палибинской библиотеке, приобрел возможность пользоваться тем единственным наслаждением, которое он ценил.

Благодаря необычайной слабости его характера, идущей в такой разрез с его суровой, величавой наружностью, он всю свою жизнь находился под чьим-нибудь гнетом, и притом под гнетом столь жестким и самовластным, что об удовлетворении каких-либо прихотей или личных вкусов не могло быть для него и речи.

Вследствие этой же слабости характера он был признан в детстве неспособным к военной службе, единственной считавшейся в то время приличной для столбового дворянина, и так как нрава он был смирного и к шалостям не склонен, то нежные родители порешили оставить его дома, дав ему лишь настолько образования, сколько требовалось, дабы не попасть в недоросли из дворян. До всего, что он знал, он или додумался сам, или вычитал это впоследствии из книг. А сведения у него действительно были замечательные, но, как у всех самоучек, разбросанные и неровные. По одному предмету очень большие, по другому — совсем ничтожные.

Выросши, он продолжал жить дома, в деревне, не обнаруживая ни малейшего самолюбия и довольствуясь самым скромным положением в семье. Младшие, гораздо более блестящие братья относились к нему свысока, добродушно-покровительственно, как к безвредному чудаку. Но вдруг неожиданное счастье свалилось на него как с неба: первая красавица и самая богатая невеста всей губернии, Надежда Андреевна Н., обратила на него свое внимание. Увлеклась ли она его красивой наружностью, или просто рассчитала, что он будет именно таким мужем, какого ей надо, что приятно будет всегда иметь у своих ножек это большое покорное, преданное ей существо, — бог ведает. Как бы то ни было, она ясно дала понять, что охотно пойдет за него замуж, если он посватается.

Сам Петр Васильевич не посмел бы и мечтать о чем-либо подобном, но многочисленные тетушки и сестрицы поспешили растолковать ему, какое на его долю выпало счастье, и, прежде чем он успел опомниться, он уже оказался нареченным женихом красивой, властной, избалованной Надежды Андреевны.

Но счастья из этого союза не вышло.

Хотя все мы, дети, были проникнуты тем убеждением, что дядя Петр Васильевич существует на свете преимущественно для нашего удовольствия и, не стесняясь, болтали с ним всякий вздор, какой нам ни вздумается, — однако все мы точно инстинктом чувствовали, что одного вопроса никогда не следует касаться: никогда не надо спрашивать дядю о его покойной жене.

Насчет тетушки Надежды Андреевны ходили между нами самые мрачные легенды. Старшие, т. е. отец, мать и гувернантка, никогда не

упоминали ее имени в нашем присутствии. Но на тетушку Анну Васильевну, младшую незамужнюю сестру моего отца, находил иногда болтливый стих, и она начинала сообщать нам разные ужасы про «покойную сестрицу Надежду Андреевну».

— Вот была аспид! Упаси, боже! Меня и сестрицу Марфиньку она просто поедом ела! Да и брату Петру от нее доставалось! Бывало, как рассердится она на кого-нибудь из прислуги, сейчас прибежит к нему в кабинет и требует, чтобы он собственноручно наказал провинившегося. Он, по доброте своей, не хочет, пробует ее урезонить; куда тебе! От его резонов она только пуще рассвирепеет; на него самого накинется, начнет его всякими скверными словами ругать. И байбак-то он, и на мужчину совсем не похож!.. Со стороны слушать совестно. Наконец, видит, что словами его не проберешь, схватит в охапку его бумаги, книги, что ни попадется ей под руку на его столе, — да все это в печку. «Чтоб не было этого сора в моем доме!» — кричит. Случалось даже, сымет она с ноги туфельку, да и ну хлестать его по щекам. Право! Так и хлещет. А он ничего себе, мой голубчик, только руки ее пробует удержать, да так осторожно, чтоб ей больно не сделать, и кротко ей выговаривает: «Что ты, Наденька, опомнись! Как тебе не стыдно? Да еще при людях!» А у нее и стыда никакого нет.

— Как же дядя мог выносить такое обращение? Как он не бросил свою жену! — восклицаем мы в негодовании.

— Э, милые, да разве жену-то законную сбросишь как перчатку! — отвечает тетушка Анна Васильевна. — Да и то сказать надо, как она им ни помыкала, а все ж таки он ее без памяти любил.

— Неужели он ее любил? Злую такую!

— И как еще любил, детушки, жить без нее не мог! Как порешили-то ее, так ведь он так затосковал, что чуть рук на себя не наложил.

— Что это вы такое говорите, тетенька? Как это ее порешили? — спрашиваем мы с любопытством.

Но тетушка, заметив, что наговорила лишнее, внезапно обрывает свой рассказ и начинает энергично вязать свой чулок, чтобы показать нам, что продолжения не будет. Однако любопытство наше разожжено, и мы не унимаемся.

— Тетенька, голубчик, расскажите! — пристаем мы к ней.

Тетушка и сама-то, видно, разболталась, не может остановиться.

— Да так вот... собственные крепостные девки ее задушили! — отвечает она вдруг.

— Господи! какие ужасы! Как же это случилось? Тетенька, друг милый, расскажите! — восклицаем мы.

— Да так, очень просто! — повествует Анна Васильевна. — Осталась она раз ночью одна в доме, брата Петра и детей куда-то услала. Вечером ее любимая горничная, девка Маланья, ее и раздела, и разула, и в постель уложила как следует, да вдруг как захлопает в ладоши! По этому знаку в спальню изо всех соседних комнат явились другие девки, да кучер Федор, да садовник Евстигней. Сестрица Надежда Андреевна, как

взглянула на их лица, сейчас поняла, что не ладно дело; да только не сробела она, не растерялась. Как крикнет она на них: «Куда это вы, черти, лезете? С ума вы сошли! Сию минуту все вон!» Они, по привычке, и струсили, и попятились уже было к дверям, да Маланья, та смелее была, начала других уговаривать. «Что вы, трусы подлые? Своей шкуры не жалеете, что ли? Ведь она вас завтра всех в Сибирь упечет!» Ну, они тут и опомнились — всей гурьбой подступили к ее кровати, схватили сестрицу-покойницу за руки да за ноги, навалили на нее перину и стали ее душить. Она-то их и упрашивает, и денег, и добра всякого сулит! Нет, уж ничего их не берет. А Маланья, ее любимица, еще всех подговаривает: «Полотенце-то, полотенце мокрое ей на голову накиньте, чтобы пятен синих на лице не осталось». Они же сами, холопья подлые, потом и повинились. На суде, под розгами, все подробно рассказали, как что было. Ну, да и их же за это, за их хорошее дело, по головке не погладили. Многие, из них, почитай что, и по сю пору в Сибири гниют!

Тетушка умолкает, а мы от ужаса тоже молчим.

— Ну, смотрите, не проговоритесь папеньке или маменьке о том, что я сдуру вам наболтала! — напутствует нас тетушка. Но мы и сами понимаем, что о подобных вещах ни с папой, ни с мамой, ни с гувернанткой говорить нельзя. Выйдет только история.

Зато вечером, когда наступает время ложиться спать, этот рассказ преследует меня и не дает мне уснуть.

Когда я была раз в дядином именье, я видела там портрет тетушки Надежды Андреевны, написанный масляными красками, во весь рост, той обычной шаблонной манерою, какой писались все портреты того времени. И вот теперь она, как живая, представляется мне. Маленького роста, изящная, как фарфоровая куколка, в алом бархатном платье, декольте, с гранатовым ожерельем на пышной белой груди, с ярким румянцем на круглых щечках, с надменным выражением в большущих черных глазах и с стереотипной улыбкой на розовом крошечном ротике. И я стараюсь представить себе, как еще расширились эти большущие глаза, какой ужас изобразился в них, когда она вдруг увидела перед собой своих смиренных рабов, пришедших убить ее!

Потом мне начинает представляться, что я сама на ее месте. Пока Дуняша раздевает меня, мне вдруг приходит в голову: а что если и ее доброе круглое лицо вдруг преобразится и станет злым; если она вдруг захлопает в ладоши и в комнату войдут Илья и Степан, и Саша и скажут: «Мы пришли вас убить, барышня!»

Я вдруг не на шутку пугаюсь этой нелепой мысли, так что не удерживаю Дуняшу, как обыкновенно, а напротив, почти рада, когда она, кончив мой ночной туалет, уходит, наконец, унося с собой свечу. Однако я все же не могу уснуть и долго лежу в темноте с открытыми глазами, нетерпеливо поджидая, скоро ли придет гувернантка, оставшаяся наверху играть в карты с большими.

Всякий раз, когда я остаюсь наедине с дядей Петром Васильевичем, этот рассказ тоже невольно возвращается мне на ум, и мне странным и

непонятным кажется, как этот человек, так много перестрадавший на своем веку, теперь так спокойно, как ни в чем не бывало, играет со мною в шахматы, строит мне кораблики из бумаги или волнуется по поводу только что вычитанного им где-то проекта о восстановлении старого русла Сыр-Дарьи или по поводу другой какой-нибудь журнальной статьи. Детям всегда так трудно представить себе, что кто-нибудь из их близких, которого они привыкли видеть запросто, в домашнем обиходе, пережил что-нибудь из ряда вон выходящее, трагическое, на своем веку.

Иногда у меня являлось просто какое-то болезненное желание расспросить дядю, как все это было. Смотрю я на него подолгу, бывало, не спуская глаз, и все мне представляется, как этот большой сильный умный мужчина трепещет перед маленькой красавицей женой и плачет, и руки ей целует, а она рвет его бумаги и книги или, сняв с ноги туфельку, шлепает его по щекам.

Раз, только один раз в течение всего моего детства, не удержалась я и дотронулась до дядиного больного места.

Это было вечером. Мы были одни в библиотеке. Дядя, по обыкновению, сидел на диване, поджав ноги, и читал; я бегала по комнате, играя в мячик, но, наконец, устала, присела рядом с ним на диване и, уставившись на него, предалась своим обычным размышлениям на его счет.

Дядя опустил вдруг книгу и, ласково погладив меня по голове, спросил:

— О чем ты это задумалась, деточка?

— Дядя, а вы были очень несчастны с вашей женой? — сорвалось у меня вдруг, почти невольно, с языка.

Никогда не забуду я, как подействовал этот неожиданный вопрос на бедного дядю. Его спокойное строгое лицо вдруг все избороздилось мелкими морщинками, как от физической боли. Он даже руки вперед протянул, словно отстраняя от себя удар. И мне стало так жаль его, так больно и так стыдно. Мне почудилось, что и я, сняв с ноги туфельку, ударила его по щекам.

— Дядя, голубчик, простите! Я не подумав спросила! — говорила я, ласкаясь к нему и пряча на его груди мое раскрасневшееся от стыда лицо. И доброму же дяде пришлось утешать меня за мою нескромность.

С тех пор я уже никогда больше не возвращалась к этому недозволенному вопросу. Но о всем остальном я смело могла расспрашивать дядюшку Петра Васильевича. Я считалась его любимицей, и мы, бывало, часами просиживали вместе, толкуя о всякой всячине. Когда он бывал занят какой-нибудь идеей, он только о ней одной мог и думать, и говорить. Забывая совершенно, что он обращается к ребенку, он нередко развивал передо мною самые отвлеченные теории. А мне именно то и нравилось, что он говорит со мною как с большой, и я напрягала все усилия, чтобы понять его или, по крайней мере, сделать вид, будто понимаю.

Хотя он математике никогда не обучался, но питал к этой науке глубочайшее уважение. Из разных книг набрался он кое-каких математических сведений и любил пофилософствовать по их поводу, причем

ему часто случалось размышлять вслух в моем присутствии. От него услышала я, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах подобного же рода, — смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.

Говоря об этих первых моих соприкосновениях с областью математики, я не могу не упомянуть об одном очень курьезном обстоятельстве, тоже возбудившем во мне интерес к этой науке.

Когда мы переезжали на житье в деревню, весь дом пришлось отделать заново и все комнаты оклеить новыми обоями. Но так как комнат было много, то на одну из наших детских комнат обоев не хватило, а выписывать-то обои приходилось из Петербурга, это было целой историей, и для одной комнаты выписывать решительно не стоило. Все ждали случая, и в ожидании его эта обиженная комната так и простояла много лет с одной стеной, оклеенной простой бумагой. Но, по счастливой случайности, на эту предварительную оклейку пошли именно листы литографированных лекций Остроградского[6] о дифференциальном и интегральном исчислении, приобретенные моим отцом в его молодости.

Листы эти, испещренные странными, непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной, пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом[7]. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти, да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.

Когда, много лет спустя, уже пятнадцатилетней девочкой, я брала первый урок дифференциального исчисления у известного преподавателя математики в Петербурге, Александра Николаевича Страннолюбского[8], он удивился, как скоро я охватила и усвоила себе понятия о пределе и о производной, «точно я наперед их знала». Я помню, он именно так и выразился. И дело, действительно, было в том, что в ту минуту, когда он объяснял мне эти понятия, мне вдруг живо припомнилось, что все это стояло на памятных мне листах Остроградского, и самое понятие о пределе показалось мне давно знакомым.

VI

Дядя Федор Федорович Шуберт[1]

Моя привязанность к другому моему дядюшке, брату моей матери, Федору Федоровичу Шуберту, была совсем иного свойства.

Этот дядюшка, единственный сын покойного дедушки, был значительно моложе моей матери; он жил постоянно в Петербурге и в ка-

честве единственного мужского представителя семьи Шубертов пользовался безграничным обожанием своих сестер и многочисленных тетушек и кузин, старых девиц.

Его приезд к нам в деревню считался настоящим событием. Мне было лет девять, когда он приехал к нам в первый раз. О дядином приезде толковали много недель наперед. Ему отвели лучшую комнату в доме, и мама сама присмотрела за тем, чтобы в нее поставили самую покойную мебель. Навстречу ему выслали в губернский город, лежащий в 150 верстах от нашего имения, карету, уложив в нее шубу, меховой коврик и плед, чтобы дядя не простудился, так как это было уже поздно осенью.

Вдруг, накануне того дня, когда ожидали к нам дядю, смотрим мы — подъезжает к парадному крыльцу простая телега, запряженная тройкой почтовых кляч, и из нее выскакивает молодой человек в легком городском пальто, с кожаной сумкой, перекинутой через плечо.

— Боже мой! Да ведь это брат Федя! — вскрикнула мама, выглянув из окна.

— Дяденька, дяденька приехали! — разнеслось по всему дому, и все мы выбежали в переднюю встречать гостя.

— Федя, бедный! Как же ты это на перекладных приехал? Разве ты не встретил высланного за тобой экипажа? Тебя, должно быть, растрясло всего? — говорила соболезнующим голосом мама, обнимая брата.

Оказалось, что дядя выехал из Петербурга сутками раньше, чем предполагал.

— Христос с тобой, Лиза! — говорил он, смеясь и отирая морозные капли с усов перед тем, чтобы поцеловать сестру — я не воображал себе, что ты столько возни поднимешь из-за моего приезда! Зачем было за мной высылать? Разве я старая баба, что не могу 150 верст в телеге проехать!

Дядя говорил грудным очень приятным тенором, как-то особенно картавя. Он был на вид еще совсем молодым человеком. Каштановые, подстриженные под гребенку волосы стояли на его голове густым бархатистым бобром, румяные щеки лоснились от мороза, карие глаза глядели задорно и весело, а из-за пухлых ярко-красных, окаймленных красивыми усиками губ поминутно выглядывал ряд крупных белых зубов.

«Экий молодец этот дядя! Вот прелесть», — думала я, оглядывая его с восхищением.

— Кто это? Анюта? — спросил дядя, указывая на меня.

— Что ты, Федя! Анюта уж совсем большая. Это только Соня! — обиженным голосом поправила его мама.

— Господи, вот выросли-то у тебя дочки! Смотри, Лиза, ты и опомниться не успеешь, как они тебя в старухи запишут! — сказал дядя смеясь, и поцеловал меня. Я невольно застыдилась и вся раскраснелась от его поцелуя.

За обедом дядя занимает, разумеется, почетное место, возле мамы. Он кушает с большим аппетитом, что не мешает ему, однако, все время без умолку разговаривать. Он рассказывает разные петербургские новости

и сплетни и часто смешит всех и сам закатывается веселым, звонким хохотом. Все слушают его очень внимательно: даже папа относится к нему с большим почтением, без тени той высокомерной, покровительственно-насмешливой манеры, которую он так часто принимает с приезжающими к нам молодыми родственниками и которую эти последние очень не любят.

Чем больше я смотрю на своего нового дядю, тем более он мне нравится. Он уже успел вымыться и переодеться, и по его свежему здоровому виду никто бы не догадался, что он только что приехал с дороги. Пиджак из плотной английской материи с искрой сидит на нем как-то особенно ловко, не как на других. Но больше всего нравятся мне его руки, большие, белые, холодные, с блестящими ногтями, похожими на крупный розовый миндаль. Во все время обеда я не спускаю с него глаз и даже есть забываю — так я занята его разглядыванием [2].

После обеда дядя садится на маленький угловой диванчик в гостиной и сажает меня к себе на колени.

— Ну, давай знакомиться, mademoiselle, моя племянница! — говорит он.

Дядя начинает расспрашивать меня, чему я учусь, что читаю. Дети обыкновенно знают сами гораздо лучше, чем думают взрослые, какие их сильные, какие слабые коньки; так, например, я отлично знаю, что учусь хорошо и что все считают меня очень avancée * в науках для моих лет. Поэтому я очень довольна, что дядя вздумал меня об этом спрашивать, и отвечаю на все его вопросы очень охотно и свободно. И я вижу, что дядя очень доволен мной. «Вот какая умница! Уж все это она знает!» — повторяет он ежеминутно.

— Дядя, расскажите-ка и вы мне что-нибудь! — пристаю я к нему в мою очередь.

— Ну, изволь; только такой умной барышне, как ты, нельзя рассказывать сказки, — говорит он шутливо, — с тобой можно говорить только о серьезном. — И он начинает рассказывать мне про инфузорий, про водоросли, про образование коралловых рифов. Дядя сам-то не так давно вышел из университета, так что все эти сведения свежи в его памяти, рассказывает он очень хорошо, и ему нравится, что я слушаю его с таким вниманием, широко раскрыв и уставив на него глаза.

После этого первого дня каждый вечер стало повторяться то же самое. После обеда и мама, и папа отправляются вздремнуть с полчасика. Дяде нечего делать. Он садится на мой любимый диванчик, берет меня на колени и начинает рассказывать про всякую всячину. Он предлагал и другим детям послушать; но сестра моя, которая только что соскочила со школьной скамейки, побоялась, что уронит свое достоинство взрослой барышни, если станет слушать такие поучительные вещи, «интересные только для маленьких». Брат же постоял раз, послушал, нашел, что это невесело, и убежал играть в лошадки.

* успевающей, идущей вперед (*франц.*).

Что же до меня касается, то наши «научные беседы», как дядя в шутку прозвал их, стали для меня невыразимо дороги. Моим любимым временем изо всего дня были те полчасика после обеда, когда я оставалась наедине с дядей. К нему я испытывала настоящее обожание; откровенно признаться, не поручусь я даже, что не примешивалось к этому чувству какой-то детской влюбленности, на которую маленькие девочки гораздо способнее, чем думают взрослые. Я чувствовала какой-то особенный конфуз всякий раз, когда мне приходилось произносить дядино имя, хотя бы просто спросить «дома ли дядя?». Если за обедом кто-нибудь, заметя, что я не спускаю с него глаз, спросит, бывало: «а что, Софа, видно ты очень любишь своего дядю», — я вспыхну до ушей и ничего не отвечу.

В течение всего дня я почти не встречалась с ним, так как моя жизнь шла совсем отдельно от жизни взрослых. Но постоянно, и во время уроков, и во время рекреаций, я только и думала: «Скоро ли наступит вечер! Скоро ли я останусь с дядей!»

Однажды, в то время, когда он гостил у нас, к нам приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Эта Оля была единственная девочка моих лет, с которой мне случалось встречаться. Ее привозили к нам, впрочем, не очень часто, но зато оставляли на весь день, иногда даже она у нас и ночевала. Она была девочка очень веселая и живая, и хотя характеры наши и вкусы были очень несхожи, так что настоящей дружбы между нами не существовало, но я все же обыкновенно радовалась ее приезду, тем более, что в честь его я освобождалась от уроков и мне давался праздник на целый день.

Но теперь, увидя Олю, первою моей мыслью было: «как же будет после обеда?» Главную прелесть моих бесед с дядей составляло именно то, что мы оставались с ним вдвоем, что я имела его совсем для себя одной, и я уже наперед чувствовала, что присутствие глупенькой Оли все испортит.

Поэтому я встретила мою приятельницу с гораздо меньшим удовольствием, чем обыкновенно. «Не увезут ли ее сегодня пораньше?» — думалось мне с тайной надеждой в течение всего утра. Но нет! Оказалось, что Оля уедет только поздно вечером. Что было делать? Скрепя сердце, я решилась открыться моей подруге и попросить ее не мешать мне.

— Слушай, Оля, — сказала я ей вкрадчивым голосом: — я буду весь день играть с тобой и делать решительно все, что ты ни захочешь. Но зато уж после обеда, сделай милость, уйди ты куда-нибудь и оставь меня в покое. После обеда я всегда разговариваю с моим дядей, и нам тебя совсем не надо!

Оля согласилась на мое предложение, и я в течение всего дня честно исполняла мою часть договора. Я играла с ней во все игры, какие она ни придумывала, брала на себя какие роли она мне ни назначала, из барыни превращалась в кухарку и из кухарки в барыню, по первому ее слову. Наконец, позвали нас к обеду. За столом я сидела как на иголках. «Сдержит ли Оля свое слово?» — думалось мне, и я исподтишка с бес-

покойством поглядывала на свою подругу, выразительными взглядами напоминая ей наш договор.

После обеда я, по обыкновению, подошла к папеньке и маменьке к ручке, а потом протиснулась к дяде и ждала, что-то он скажет.

— Ну что, девочка, будем мы сегодня беседовать? — спросил дядя, ласково ущипнув меня за подбородок. Я так и подпрыгнула от радости и, весело ухватившись за его руку, собиралась уже идти с ним в наш заветный уголок. Но вдруг увидела, что вероломная Оля тоже направляется вслед за нами.

Оказалось, что мои уговоры только испортили дело. Очень может быть, что если бы я ей ничего не говорила, она, увидя, что мы с дядей собираемся беседовать о серьезном и питая спасительный страх ко всему, что напоминает ученье, сама поторопилась бы от нас убежать. Но видя, что я так дорожу рассказами дяди и что я хочу во что бы то ни стало от нее отделаться, она вообразила себе, что мы верно, говорим о чем-нибудь очень интересном, и ей захотелось тоже послушать.

— А можно и мне пойти с вами? — спросила она умоляющим голосом, подняв на дядю свои голубые умильные глаза.

— Разумеется, можно, милочка, — ответил дядя и взглянул на нее очень ласково, очевидно, любуясь ее хорошеньким розовым личиком.

Я бросила на Олю гневный, негодующий взгляд, который, однако, не сконфузил ее нимало.

— Да ведь Оля этих вещей не знает. Она все равно ничего не поймет, — попробовала я заметить сердитым голосом. Но и эта попытка отделаться от навязчивой подруги ни к чему не повела.

— Ну, так мы будем говорить сегодня о вещах попроще, так, чтобы и Оле было интересно, — сказал дядя добродушно, и взяв нас обеих за руки, направился с нами к дивану.

Я шла в угрюмом молчании. Эта беседа втроем, причем дядя будет говорить для Оли, сообразуясь с ее вкусами и ее пониманием, была вовсе не тем, чего мне хотелось. Мне казалось, что у меня отняли что-то принадлежащее мне по праву, неприкосновенное и дорогое.

— Ну, Софа, полезай ко мне на колени! — сказал дядя, по-видимому, и не замечая совсем моего дурного расположения духа.

Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.

— Не хочу! — ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась.

Дядя посмотрел на меня удивленным, смеющимся взглядом. Понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на душе, и захотелось ли ему подразнить меня — я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей: «Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!»

Оля не заставила повторить себе это приглашение дважды и, прежде чем я опомнилась, прежде чем я успела сообразить, что случилось, она уже оказалась на моем месте у дяди на коленях. Этого уже я никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот — не входило мне

в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами.

Я была слишком поражена, чтобы выразить какой бы то ни было протест; я только молча широко раскрытыми глазами глядела на мою счастливую подругу; а она, чуть-чуть сконфуженная, но все же очень довольная, восседала себе у дяди на коленях как ни в чем не бывало. Сложив свой маленький ротик в уморительную гримаску, она силилась придать своему круглому детскому личику выражение серьезности и внимания. Вся она раскраснелась, даже шейка и голые ручонки стали пунцовыми.

Глядела я на нее, глядела, и вдруг — клянусь, я теперь и сама не знаю, как это случилось, — произошло нечто ужасное. Меня точно подтолкнул кто-то. Не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вдруг, неожиданно для самой себя, вцепилась зубами в ее голую, пухленькую ручонку, немножко повыше локтя, и прокусила ее до крови.

Мое нападение было так внезапно, так неожиданно, что в первую секунду все мы трое остались ошеломленными и только молча глядели друг на друга. Но вдруг Оля пронзительно взвизгнула, и от визга ее все очнулись.

Стыд, горький, отчаянный стыд охватил меня. Я опрометью побежала вон из комнаты. «Гадкая, злая девчонка!» — напутствовал меня рассерженный голос дяди.

Моим обычным убежищем во всех важных бедах моей жизни была комната, принадлежавшая прежде Марье Васильевне, теперь отведенная нашей бывшей няне. Там и теперь искала я спасения. Спрятав голову в колени доброй старушки, я рыдала долго и продолжительно, и няня, видя меня в таком положении, не расспрашивала меня ни о чем, а только, гладя мои волосы, осыпала меня ласкательными именами. «Бог с тобой, моя ясонька! Успокойся, родная!» — говорила она, и мне, в моем возбужденном состоянии духа, так отрадно было выплакаться хорошенько у нее на коленях.

По счастью, в этот вечер гувернантки моей не было дома: она на несколько дней уехала в гости к соседям. Поэтому никто не хватился меня. Я могла вволю наплакаться у няни. Когда я несколько успокоилась, она напоила меня чайком и уложила в кроватку, где я в ту же секунду уснула крепким, свинцовым сном.

Но, когда я проснулась на следующее утро и вдруг вспомнила, что было вчера, мне стало так стыдно, что я думала, что никогда больше не решусь глядеть в глаза людям. Однако все обошлось гораздо лучше, чем я ожидала. Олю увезли еще вчера вечером. Очевидно, она была так благородна, что не нажаловалась на меня. По лицам всех в доме было видно, что они ничего не знают. Никто не попрекал меня вчерашним, никто не дразнил меня. Дядя, и тот делал вид, будто ничего особенного не произошло.

Однако, странное дело, с этого дня чувства мои к дяде совсем изменили свой характер. Послеобеденные наши беседы не возобновлялись



Е. Ф. Корвин-Круковская
(1874)



В. В. Корвин-Круковский
(1874)



М. Ф. Смит



И. И. Малевич
(фото получены
от Г. Н. и Д. Д. Зыковых)



С. В. Ковалевская
(1865)

более. Вскоре после этого эпизода он уехал назад в Петербург, и хотя впоследствии мы часто встречались, и он всегда был очень добр ко мне, и я его очень любила, но прежнего обожания к нему я уже никогда больше не испытывала.

VII

Моя сестра

Но несравненно сильнее всех других влияний, отразившихся на моем детстве, было влияние моей сестры Анюты.

Чувство, которое я питала к ней с самого моего детства, было очень сложное. Я восхищалась ею непомерно, подчинялась ей во всем беспрекословно и чувствовала себя очень польщенной всякий раз, когда она дозволяла мне принять участие в чем-нибудь, что занимало ее самое. Для сестры моей я пошла бы в огонь и в воду, и в то же время, несмотря на горячую привязанность к ней, в глубине души гнездилась у меня и крупица зависти, той особого рода зависти, которую мы так часто почти бессознательно испытываем к людям, нам очень близким, которыми мы очень восхищаемся и которым желали бы во всем подражать.

А между тем завидовать моей сестре грешно было, так как судьба ее была, собственно говоря, далеко не веселая.

Родители мои переехали на постоянное жительство в деревню именно к тому времени, когда она начала выходить из детского возраста.

Незадолго до нашего переезда вспыхнуло польское восстание [1], и так как имение наше лежало на самой границе Литвы и России, то отголосок этого восстания коснулся и нас. Большинство соседних помещиков, и преимущественно самые богатые и образованные, были поляки; многие из них оказались более или менее серьезно скомпрометированными; у некоторых именья были конфискованы; почти все обложены контрибуциями. Многие добровольно побросали свои усадьбы и уехали за границу. В годы, следовавшие за польским восстанием, молодежи как-то совсем и не видно было в наших краях; она вся куда-то улетучилась. Оставались только дети да старики, безобидные, напуганные, боявшиеся собственной тени, да разный пришлый люд чиновников, купцов и мелкопоместных дворян.

Понятно, что при подобных условиях деревенская жизнь не была особенно весела для молоденькой девушки. К тому же все предварительное воспитание Анюты было такого рода, что никаких деревенских вкусов у нее развиться не могло. Она не любила ни гулять, ни собирать грибы, ни кататься на лодке. К тому же зачинщицею всяких подобных удовольствий всегда являлась англичанка-гувернантка, а существовавший между нею и Анютою антагонизм был так велик, что стоило одной из них выступить с каким-нибудь предложением, чтобы другая тотчас же отнеслась к нему враждебно. Одно лето пристрастилась Анюта, правда,

к верховой езде, но это было, кажется больше из подражания героине какого-то занимавшего ее тогда романа. Так как подходящего спутника не находилось, то вскоре одинокие прогулки верхом в сопровождении одного скучающего кучера ей надоели, и ее верховая лошадь, окрещенная ею романтическим именем «Фрида», скоро перешла к более скромной должности — развозить по полям управляющего и стала опять известна под своей первоначальной кличкой «Голубки».

О том, чтобы сестра занялась хозяйством, не могло быть и речи: до такой степени подобное предложение показалось бы нелепым и ей самой, и всем ее окружающим. Все воспитание ее было направлено к тому, чтобы развить из нее блестящую светскую барышню. Чуть ли не с семилетнего возраста она привыкла быть царицей на всех детских балах, на которые ее часто возили, пока родители жили в больших городах. Папа очень гордился ее детскими успехами, о которых шло в нашей семье много преданий.

— Нашу Анюту, когда она вырастет, хоть прямо во дворец вези! Она всякого царевича с ума сведет! — говаривал, бывало, папа, разумеется, в виде шутки; но беда была в том, что не только мы, младшие дети, но и сама Анюта принимала эти слова всерьез.

В ранней своей молодости сестра моя была очень хороша собой: высоконькая, стройная, с прекрасным цветом лица и массою белокурых волос, она могла назваться почти писаной красавицей, а кроме того, у нее было много своеобразного charme. Она сама отлично сознавала, что могла бы играть первую роль в любом обществе, а тут вдруг деревня, глушь, скука.

Она часто приходила к отцу и со слезами на глазах упрекала его за то, что он ее держит в деревне. Отец сначала только отшучивался, но иногда он снисходил до объяснений и очень резонно доказывал ей, что в теперешнее трудное время это обязанность каждого помещика жить в своем поместье. Бросить теперь имение значило бы разорить всю семью. На эти доводы Анюта не знала, что возразить. Она только чувствовала, что ей-то от этого не легче, что ее-то молодость дважды не повторится. После подобных разговоров она уходила к себе в комнату и горько плакала.

Впрочем, раз в год, зимою, отец отправлял обыкновенно мать и сестру на месяц или недель на шесть в Петербург погостить у тетушек. Но поездки эти, стоившие массу денег, пользы собственно не приносили. Они только разжигали в Анюте вкус к удовольствиям, а удовлетворения не доставляли. Месяц в Петербурге пройдет всегда так быстро, что она и опомниться не успеет. Такого человека, который бы мог направить ее ум на серьезное, она в том обществе, куда ее возили, встретить не могла. Женихов подходящих тоже не представлялось. Нашьют ей, бывало, нарядов; свезут раза три-четыре в театр или на бал в дворянское собрание; кто-нибудь из родственников устроит вечер в ее честь, наговорят ей комплиментов ее красоте; потом, только что она начнет входить в настоящий вкус всего этого, опять увезут ее в Палибино, и опять нач-

нется для нее безлюдье, безделье, скука, скитание целыми часами из угла в угол по огромным комнатам палибинского дома, переживание в мыслях недавних радостей и страстные, бесплодные мечты о новых успехах на том же поприще.

Чтобы хоть чем-нибудь наполнить пустоту своей жизни, сестра постоянно выдумывала себе какие-нибудь искусственные увлечения, и так как жизнь ее домашних тоже была очень бедна внутренним содержанием, то обыкновенно все в доме с жаром накидывались на всякую ее новую затею, как на предлог для разговоров и для волнений. Одни порицали ее, другие сочувствовали ей, но для всех она доставляла приятный перерез в обычном однообразии жизни.

Когда Анюте было всего лет пятнадцать, она проявила первый свой акт самостоятельности тем, что набросилась на все романы, какие только находились в нашей деревенской библиотеке, и поглотила их неимоверное количество. По счастью, никаких «дурных» романов у нас в доме не имелось, хотя в плохих и в бездарных недостатка не было. Главное же богатство нашей библиотеки состояло в массе старых английских романов, преимущественно исторических, в которых действие происходило в средние века, в рыцарский период. Для сестры моей эти романы были настоящим откровением. Они ввели ее в неведомый ей до тех пор чудесный мир и дали новое направление ее фантазии. С ней повторилось то же самое, что за много веков перед тем было с бедным Дон Кихотом: она уверовала в рыцарей и самое себя вообразила средневековой барышней.

На беду еще наш деревенский дом, огромный и массивный, с башней и готическими окнами, был построен немного во вкусе средневекового замка. Во время своего рыцарского периода сестра не могла написать ни единого письма, не озаглавив его: Château Palibino *. Верхнюю комнату в башне, долго стоявшую без употребления, так что даже ступеньки крутой ведущей в нее лестницы заплесневели и расшатались, она велела очистить от пыли и паутин, увесила ее старыми коврами и оружием, выкопанным где-то в хламе на чердаке, и превратила ее в свое постоянное местопребывание. Как теперь вижу я ее гибкую, стройную фигуру, облеченную в плотно обтягивающее ее белое платье, с двумя тяжелыми белокурыми косами, свешивающимися ниже пояса. В этом облачении сидит сестра за пяльцами, вышивает бисером по канве фамильный герб короля Матвея Корвина и глядит в окно, на большую дорогу, не едет ли рыцарь.

— Soeur Anne, soeur Anne! Ne vois tu rien venir?

— Je ne vois que la terre qui poudroit et l'herbe qui verdoit! ** [2]

Наместо рыцаря приезжал исправник, приезжали акцизные чиновники, приезжали жиды скупать у отца водку и быков, а рыцаря все не было. Наскучило, наконец, сестре ждать его, и рыцарский период прошел у нее столь же быстро, как и начался.

* Замок Палибино (*франц.*).

** Сестра Анна, сестра Анна! Не видишь ли ты — идет кто-нибудь? — Я вижу только пылящую землю и зеленеющую траву (*франц.*).

В тот самый момент, когда она еще бессознательно начинала набивать себе оскомину от рыцарских романов, попался ей в руки удивительно экзальтированный роман «Гаральд» [3].

После Гастингского сражения «Эдит-Лебединая шея» нашла в числе убитых труп любимого ею короля Гаральда. Перед самою битвою он совершил клятвопреступление, смертный грех, и умер, не успев покаяться. Душа его обречена на вечные муки.

После этого дня исчезла и Эдит из родного края, и никто из ее близких не слыхал более о ней. С тех пор прошло много лет, и самая память об Эдит начала забываться.

Но на противоположном берегу Англии, среди диких скал и лесов стоит монастырь, известный своим строгим уставом. Там живет уже много лет одна монахиня, наложившая на себя обет вечного молчания и восхищающая всю обитель подвигами своего благочестия. Она не знает покоя ни днем, ни ночью; в ранние часы утра и в глухую полночь виднеется ее коленопреклоненная фигура перед распятием Христа в монастырской часовне. Всюду, где есть какой-нибудь долг совершить, помощь подать, чужое страдание утешить, — всюду является она первою. Ни один человек не умирает в околотке без того, чтобы над его смертным одром не склонилась высокая фигура бледной монахини, без того, чтобы чела его, уже покрытого холодным предсмертным потом, не коснулись ее бескровные уста, скованные страшным обетом вечного молчания.

Но никто не знает, кто она такая, откуда она пришла. Лет двадцать тому назад явилась к воротам монастыря закутанная черным покрывалом женщина и после долгого таинственного разговора с игуменьей навсегда осталась тут.

Тогдашняя игуменья давно уже умерла. Бледная монахиня все расхаживает тут, как тень, но никто из ныне живущих в монастыре не слыхал звука ее голоса.

Молодые монахини и бедный люд во всей окрестности поклоняются ей, как святой. Матери приносят к ней больных детей, чтобы она коснулась их рукою, в надежде, что они исцелятся от одного ее прикосновения. Но есть также люди, которые поговаривают, что, верно, в молодости она была великой грешницей, если ей приходится путем такого самобичевания искупать прошлое.

Наконец, после многих, многих лет самоотверженной работы наступает ее смертный час. Все монахини, и молодые, и старые, столпились у ее смертного одра; сама мать-игуменья, уже давно лишившаяся употребления ног, велела перенести себя в ее келью.

Вот входит священник. Властью, данной ему господом нашим Иисусом Христом, он разрешает умирающую от наложенного ею на себя обета молчания и заклинает ее поведать им перед кончиной, кто она такая, какой грех, какое преступление тяготеет на ее совести.

Умирающая с усилием приподнимается на постели. Ее бескровные губы словно окаменели в их долгом молчании и отвыкли от людской речи; в течение нескольких секунд они шевелятся судорожно и маши-

нально, прежде чем им удается издать какой-нибудь звук. Наконец, повинуясь приказанию своего духовного отца, монахиня начинает говорить, но голос ее, не раздававшийся в течение двадцати лет, звучит глухо и неестественно.

— Я — Эдит, — с трудом произносит она. — Я невеста погибшего короля Гаральда.

При звуке этого имени, проклинаемого всеми благочестивыми служителями церкви, робкие монахини в ужасе совершают крестное знамение. Но священник говорит:

— Дщерь моя, ты любила на земле великого грешника. Король Гаральд проклят нашей общей святой матерью — католической церковью, и не будет ему никогда прощения: вечно гореть ему в адском огне. Но бог видел *твое* многолетнее подвижничество. Он оценил твое раскаяние и слезы. Иди с миром. В райской обители ждет тебя другой, бессмертный жених.

Впалые, словно восковые щеки умирающей внезапно покрываются румянцем. В ее, казалось, давно поблекших глазах вспыхивает страстный, лихорадочный огонь.

— Не надо мне рая без Гаральда! — восклицает она к ужасу всех присутствующих монахинь. — Если Гаральд не прощен, пусть и меня не зовет бог в свою обитель!

Монахини стоят молча, оцепенелые от ужаса, а Эдит, с неестественным усилием приподнявшись со своего одра, повергается ниц перед распятием.

— Великий боже! — взывает она своим надломленным, уже почти нечеловеческим голосом. — За один миг страданий твоего сына ты снял со всего человечества печать прирожденного греха. А я в течение двадцати лет умираю каждый день, каждый час медленной, мучительной смертью. Ты видел, ты знаешь мои страдания. Если я заслужила ими перед тобой — прости Гаральда! Яви мне перед смертью знамение: когда мы прочтем «Отче наш», пусть загорится сама собою свеча перед распятием. Тогда я буду знать, что Гаральд прощен.

Священник читает «Отче наш». Торжественно, внятно произносит он каждое слово. Монахини, и молодые, и старые, шепотом повторяют за ним святую молитву. Между ними нет ни одной, которая не проникнулась бы жалостью к несчастной Эдит, которая не отдала бы охотно собственной жизни за спасение души Гаральда.

Эдит лежит распростертая на земле. Ее тело уже сведено судорогой, и вся ее угасающая жизнь сосредоточилась только в ее глазах, устремленных на распятие.

Свеча все не загорается.

Священник прочел молитву. «Аминь», провозгласил он печальным голосом.

Чуда не совершилось. Гаральд не прощен.

Из уст благочестивой Эдит вырвался вопль проклятия, и взор ее погас навеки.

И вот этот-то роман совершил перелом во внутренней жизни моей сестры[4]. Ее воображению в первый раз в жизни ясно представились вопросы: есть ли будущая жизнь? Все ли кончается смертью? Встретятся ли два любящих существа на том свете и узнают ли друг друга?

С той необузданностью, которую она вносила во все, что делала, сестра вся проникнулась этими вопросами, точно она первая на них натолкнулась, и ей преискренне стало казаться, что она не может жить, не получив на них ответа.

Как теперь помню, был чудесный летний вечер; солнце уже стало садиться; жара спала, и в воздухе все было так удивительно стройно и хорошо. В открытые окна врывался запах роз и скошенного сена. С фермы доносилось мычанье коров, блеянье овец, голоса рабочих, — все разнообразные звуки деревенского летнего вечера, — но такие измененные, смягченные расстоянием, что их стройная совокупность только усиливала ощущение тишины и покоя.

У меня на душе было как-то особенно светло и радостно. Я умудрилась вырваться на минутку из-под бдительного надзора гувернантки и стрелой пустилась наверх, на башню, посмотреть, что-то делает там сестра. И что же я увидела?

Сестра лежит на диване, с распущенными волосами, вся залитая лучами заходящего солнца, и рыдает навзрыд, рыдает так, что, кажется, грудь у нее надорвется.

Я испугалась ужасно и подбежала к ней.

— Анюточка, что с тобой?

Но она не отвечала, а только замахала рукой, чтобы я ушла и оставила ее в покое. Я, разумеется, только пуще стала приставать к ней. Она долго не отвечала, но, наконец, приподнялась и слабым, как мне показалось, совсем разбитым голосом проговорила:

— Ты все равно не поймешь. Я плачу не о себе, а о всех нас. Ты еще дитя, ты можешь не думать о серьезном; и я была такою, но эта чудная, эта жестокая книга, — она указала на роман Бульвера, — заставила меня глубже заглянуть в тайну жизни. Тогда я поняла, как призрачно все, к чему мы стремимся. Самое яркое счастье, самая пылкая любовь — все кончается смертью. И что ждет нас потом, да и ждет ли что-нибудь, мы не знаем и никогда, никогда не узнаем! О, это ужасно, ужасно!

Она опять зарыдала и уткнулась головой в подушку дивана.

Это искреннее отчаяние 16-летней девушки, в первый раз наведенной на мысль о смерти чтением экзальтированного английского романа, эти патетические, книжные слова, обращенные к десятилетней сестре, все это, вероятно, заставило бы улыбнуться взрослого. Но у меня сердце буквально замерло от ужаса, и я вся преисполнилась благоговением к важности и серьезности мыслей, занимающих Анюту. Вся краса летнего вечера внезапно померкла для меня, и я даже устыдилась той беспричинной радости, которая за минуту перед тем переполняла все мое существо.

— Но ведь мы же знаем, что есть бог и что после смерти мы пойдем к нему, — попробовала я, однако, возразить. Сестра посмотрела на меня кротко, как взрослый на ребенка.

— Да, ты еще сохранила детски чистую веру. Не будем больше говорить об этом, — сказала она голосом очень печальным, но вместе с тем преисполненным такого сознания превосходства надо мной, что я тотчас почему-то устыдилась ее слов.

После этого вечера с сестрой моей произошла большая перемена. Несколько дней после этого она ходила кротко-печальная, изображая всем своим видом отречение от благ земных. Все в ней говорило: memento mori *. Рыцари и прекрасные дамы с их любовными турнирами были забыты. На что любить, на что желать, когда все кончается смертью!

Сестра не дотрогивается больше ни до единого английского романа; они ей все опротивели. Зато она жадно поглощает «Imitation de Jésus Christ» ** и решается, подобно Фоме Кемпийскому, путем самобичевания и самоотречения заглушить возникающие в душе сомнения [5].

С прислугой она небывалым образом кротка и снисходительна. Если я или младший брат о чем-нибудь просим ее, она не ворчит на нас, как бывало иногда прежде, а тотчас уступает нам, но с видом такой душу сокрушающей résignation ***, что у меня сжимается сердце и пропадает всякая охота к веселью.

Все в доме преисполнились уважением к ее благочестивому настроению и обращаются с ней нежно и осторожно, как с больной или с человеком, потерпевшим тяжелое горе. Только гувернантка недоверчиво пожимает плечами, да папа подтрунивает за обедом над ее туманным видом, «son air ténébreux» ****. Но сестра покорно переносит насмешки отца, а с гувернанткой обращается с такой изысканной вежливостью, которая бесит последнюю, пожалуй, больше грубости. Видя сестру свою такою, и я ничему не могу радоваться; даже стыдно, что я еще не довольно сокрушаюсь, и втайне завидую силе и глубине чувств своей старшей сестры.

Продолжалось это настроение, однако, недолго. Приближалось 5 сентября: это были именины моей матери, и день этот всегда праздновался у нас в семье с особенной торжественностью. Все соседи, верст на пятьдесят в окружности, съезжались к нам; набиралось человек до ста, и уже всегда к этому дню устраивалось у нас что-нибудь особенное: фейерверк, живые картины или домашний спектакль. Приготовления начинались, разумеется, задолго наперед.

Мать моя была большая любительница домашних спектаклей и сама играла хорошо и с большим увлечением. В нынешнем году у нас только что отстроили постоянную сцену, совсем как следует, с кулисами, зана-

* помни о смерти (*лат.*).
** «Подражание Иисусу Христу» (*франц.*).
*** покорности судьбе (*франц.*).
**** «мрачным видом» (*франц.*).

весью и декорациями. В соседстве было несколько старых записных театралов, которых всегда можно было завербовать в актеры. Матери очень хотелось домашнего спектакля, но теперь, когда у нее была взрослая дочь, ей как будто совестно было выказывать слишком много азарта к этому делу; ей бы хотелось, чтобы все это устроилось якобы для удовольствия Анюты. А Анюта тут-то, как нарочно, напустила на себя монашеское настроение духа!

Помню я, как осторожно, несмело подступала к ней мать, стараясь навести ее на мысль о домашнем спектакле. Анюта сдалась не тотчас же; сначала она обнаруживала большое презрение ко всей этой затее: «как хлопотливо! и к чему!» Наконец, она согласилась, как бы уступая желаниям других.

Но вот съехались участвующие, приступили к выбору пьесы. Это, как известно, дело нелегкое: надо, чтоб пьеса была и забавна, и не слишком вольна, и не требовала большой постановки. В этом году остановились на французском водевиле «Les oeufs de Perette» *. Анюте в первый раз приходилось участвовать в домашнем спектакле на правах взрослой барышни; ей досталась, разумеется, главная роль. Начались репетиции; у нее обнаружился удивительный сценический талант. И вот, боязнь смерти, борьба веры с сомнениями, страх таинственного au delà ** — все улетучилось. С утра до вечера звучит по всему дому звонкий голос Анюты, распевающий французские куплеты.

После маминых именин она опять горько плакала, но уже по другой причине: потому что отец не хотел сдаться на ее убедительные просьбы поместить ее в театральную школу, — она чувствовала, что ее призвание в жизни — быть актрисой.

VIII

⟨Нигилизм Анюты⟩ [1]

В то время, когда Анюта мечтала о рыцарях и проливала горькие слезы о судьбе Гаральда и Эдит, большинство интеллигентной молодежи в остальной России было охвачено совсем другим течением, совсем другими идеалами. Поэтому увлечения Анюты могут показаться, пожалуй, странным анахронизмом. Но тот уголок, в котором лежало наше имение, был так удален от всяких центров, такие крепкие, высокие стены ограждали Палибино от внешнего мира, что волна новых веяний могла достигнуть в наш мирный заливчик лишь долгое время спустя после того, как она поднялась в открытом море. Зато, когда эти новые течения дошли, наконец, до берега, они сразу охватили Анюту и увлекли ее за собой.

* «Яйца Перетты» (*франц.*).
** потустороннего мира (*франц.*).

Как, откуда и каким образом появились в нашем доме новые идеи — сказать трудно. Известно, что таково уже свойство всякой переходной эпохи — оставлять по себе мало следов. Исследует, например, палеонтолог какой-нибудь пласт геологического разреза и находит в нем массу окаменелых следов резко характеризованной фауны и флоры, по которым он может создать в своем воображении всю картину тогдашнего мироздания; поднялся он пластом выше, и вот перед ним совсем иная формация, совсем новые типы, а откуда они взялись, как развились они из прежних, — он сказать не может.

Окаменелые экземпляры вполне развитых типов всюду находятся во множестве, ими битком набиты все музеи, но рад-радешенек бывает палеонтолог, если ему где-нибудь случайно удастся выкопать череп, несколько зубов, кусочек отдельной кости какого-нибудь переходного типа, по которым он может воссоздать в своей научной фантазии тот путь, каким совершалось развитие. Можно подумать, что природа сама ревниво стирает и сглаживает все следы своей работы; она как будто щеголяет совершенными образцами своего творчества, в которых ей удалось воплотить какую-нибудь вполне развитую мысль, но она немилосердно уничтожает самую память о своих первых неуверенных попытках.

Жили себе жители Палибино мирно и тихо; росли и старились; ссорились и мирились друг с другом; ради препровождения времени спорили по поводу той или другой журнальной статьи, того или другого научного открытия, вполне уверенные, однако, что все эти вопросы принадлежат чуждому, удаленному от них миру и никогда непосредственного соприкосновения с их обыденной жизнью иметь не будут. И вдруг, откуда ни возьмись, совсем рядом с ними объявились признаки какого-то странного брожения, которое, несомненно, подступало все ближе и ближе и грозило подточиться под самый строй их тихой, патриархальной жизни. И не только с одной какой-нибудь стороны грозила опасность; она шла как будто разом, отовсюду.

Можно сказать, что в этот промежуток времени, от начала 60-х до начала 70-х годов, все интеллигентные слои русского общества были заняты только одним вопросом: семейным разладом между старыми и молодыми. О какой дворянской семье ни спросишь в то время, о всякой услышишь одно и то же: родители поссорились с детьми. И не из-за каких-нибудь вещественных, материальных причин возникали ссоры, а единственно из-за вопросов чисто теоретических, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями!» — вот только и всего, но этого «только» вполне достаточно, чтобы заставить детей побросать родителей, а родителей — отречься от детей.

Детьми, особенно девушками, овладела в то время словно эпидемия какая-то — убегать из родительского дома. В нашем непосредственном соседстве пока еще, бог миловал, все обстояло благополучно; но из других мест уже приходили слухи: то у того, то у другого помещика убежала дочь, которая за границу — учиться, которая в Петербург — к «нигилистам».

Главным пугалом всех родителей и наставников в палибинском околотке была какая-то мифическая коммуна [2], которая, по слухам, завелась где-то в Петербурге. В нее — так, по крайней мере, уверяли — вербовали всех молодых девушек, желающих покинуть родительский дом. Молодые люди обоего пола жили в ней в полнейшем коммунизме. Прислуги в ней не полагалось, и благородные барышни-дворянки собственноручно мыли полы и чистили самовары. Само собою разумеется, что никто из лиц, распространявших эти слухи, сам в этой коммуне не был. Где она находится и как она вообще может существовать в Петербурге, под самым носом у полиции, никто точно не знал, но тем не менее существование подобной коммуны никем не подвергалось сомнению.

Вскоре и в непосредственной близости от нашего дома стали обнаруживаться признаки времени.

У приходского священника, отца Филиппа, был сын, всегда прежде радовавший сердца своих родителей добронравием и послушанием. И вдруг, кончив курс в семинарии чуть ли не первым учеником, этот примерный юноша ни с того, ни с сего превратился в непокорного сына и наотрез отказался идти в священники, хотя ему стоило только руку протянуть, чтобы получить выгодный приход. Сам его преосвященство, архиерей, призвал его к себе и уговаривал не покидать лона церкви, ясно намекая, что стоит ему захотеть, и будет он приходским священником в селе Иванове (одном из богатейших в губернии). Конечно, для этого ему надо наперед жениться на одной из дочерей прежнего священника, потому что уж исстари так водится, что приход идет, так сказать, в приданое за одной из дочек покойного батюшки. Но и эта заманчивая перспектива не прельстила молодого поповича. Он предпочел уехать в Петербург, поступить своекоштным в университет и обречь себя в течение четырех лет ученья на чай да на сухую булку.

Бедный отец Филипп потужил о неразумии своего сына, но он еще мог бы утешиться, если бы этот последний поступил на юридический факультет, как известно, самый хлебный. Но сын его вместо того пошел в естественники и в первые же каникулы, приехав домой, такую понес ахинею, якобы человек происходит от обезьяны и якобы проф. Сеченов доказал, что души нет, а есть рефлексы, что бедный огорошенный батюшка схватил кропильницу и стал кропить сына святой водой.

В прежние годы, приезжая к отцу на каникулы из семинарии, молодой попович не пропускал ни одного семейного праздника у нас в доме без того, чтобы не явиться к нам с поклоном, и за праздничным обедом, как подобает молодому человеку в его положении, сидел на нижнем конце стола, с аппетитом уписывая именинный пирог, но в разговор не вмешиваясь.

Нынешним же летом, на первых же именинах, случившихся после его приезда, молодой попович блистал своим отсутствием. Зато он явился к нам однажды в неположенный день и на вопрос человека: «что ему угодно?» — ответил, что просто пришел к генералу с визитом.

Отец мой уже наслышался немало про «нигилиста» поповича; он не преминул заметить его отсутствие на своих именинах, хотя, разумеется, и вида не подал, что обратил внимание на столь маловажное обстоятельство. Теперь же он вознегодовал, что молодой выскочка вздумал явиться к нему запросто в гости, как ровня, и решил дать ему хороший урок; поэтому он велел сказать ему через лакея, что «генерал принимает людей, приходящих к нему по делу, и просителей только по утрам, до часу».

Верный Илья, всегда понимавший своего барина на полуслове, выполнил возложенное на него поручение именно в том духе, в каком оно было ему дано. Но молодой попович не сконфузился нимало и, уходя, проговорил очень развязно: «Скажи твоему барину, что с этого дня ноги моей в его доме не будет».

Илья и это поручение исполнил, и можно представить себе, сколько шуму наделала выходка молодого поповича не только у нас, но и во всем околотке.

Но всего поразительнее было то, что Анюта, услышав о происшедшем, самовольно прибежала в кабинет отца и с раскрасневшимися щеками, задыхаясь от волнения, заговорила: «Зачем ты, папа, обидел Алексея Филипповича? Это ужасно, это недостойно так обижать порядочного человека».

Папа глядел на нее изумленными глазами. Его удивление было так велико, что в первую минуту он даже не нашелся, что ответить дерзкой девчонке. Впрочем, Анютин внезапный припадок смелости уже успел выдохнуться, и она поторопилась убежать к себе в комнату.

Оправившись от удивления и обсудив все хорошенько, отец решил, что лучше не придавать выходке дочери большого значения, а отнестись к делу с шутливой стороны. За обедом, в присутствии Анюты, он рассказал сказку про одну царскую дочь, вздумавшую заступаться за конюха; разумеется, и царевна, и ее protégé были выставлены в ужасно смешном виде. Отец наш был мастер острить, и все мы страшно боялись его насмешек. Но сегодня Анюта слушала папину сказку, не смущаясь нимало, а напротив, с задорным и вызывающим видом.

Свой протест против той обиды, которой подвергся попович, Анюта выразила тем, что стала всячески искать встреч с ним где-нибудь у соседей или на прогулке.

Кучер Степан рассказывал однажды за ужином в людской, что видел собственными глазами, как их старшая барышня разгуливала по лесу вдвоем с поповичем. «И потеха же была на них смотреть! Барышня идет себе молча, потупившись, зонтиком в ручках поигрывает. А он себе шагает с ней рядом, своими длинными ножищами — ну, ни дать, ни взять долговязый журавль. И все-то он что-то разглагольствует и руками размахивает. А то вдруг вытащит из кармана растрепанную книжку и давай из нее громко читать, словно урок ей держит».

Действительно, надо сознаться, что молодой попович мало походил на того сказочного принца или на того средневекового рыцаря, о которых

когда-то мечтала Анюта. Его нескладная долговязая фигура, длинная жилистая шея и бледное лицо, окаймленное жидкими желтовато-русыми волосами, его большие красные руки с плоскими, не всегда безупречно чистыми ногтями, но всего пуще его неприятный вульгарный выговор на О, несомненно свидетельствующий о поповском происхождении и о воспитании в бурсе, все это не делало из него очень обольстительного героя в глазах молодой девушки с аристократическими привычками и вкусами. Трудно было заподозрить Анюту в том, что ее интерес к поповичу основан на романтической подкладке. Очевидно, что дело было в чем-то другом.

И, действительно, главный prestige молодого человека в глазах Анюты заключался в том, что он только что приехал из Петербурга и навез оттуда самых что ни на есть новейших идей. Мало того, он имел даже счастье видеть собственными очами — правда, только издали — многих из тех великих людей, перед которыми благоговела вся тогдашняя молодежь [3]. Этого было вполне достаточно, чтобы сделать и его самого интересным и привлекательным. Но, сверх того, Анюта еще могла благодаря ему получать разные книжки, недоступные ей иначе. В доме нашем из периодических журналов получались лишь самые степенные и солидные: «Revue des deux Mondes» и «Atheneum» из иностранных, «Русский вестник» [4] — из отечественных. В виде большой уступки духу времени отец мой согласился в нынешнем году подписаться на «Эпоху» Достоевского [5]. Но от молодого поповича Анюта стала доставать журналы другого пошиба: «Современник» [6], «Русское слово» [7], каждая новая книжка которых считалась событием дня у тогдашней молодежи. Однажды он принес ей даже нумер запрещенного «Колокола» (Герцена) [8].

Нельзя сказать, чтобы Анюта сразу и без критики приняла все новые идеи, проповедуемые ее приятелем. Многие из них возмущали ее, казались ей слишком крайними, она восставала против них и спорила. Но, во всяком случае, под влиянием разговоров с поповичем и чтения доставаемых им книг она развивалась очень быстро и изменялась не по дням, а по часам.

К осени попович успел так основательно поссориться со своим отцом, что тот попросил его уехать и не возвращаться на следующие каникулы. Но семена, заброшенные им в голову Анюты, продолжали расти и развиваться.

Она изменилась даже наружно, стала одеваться просто, в черные платья с гладкими воротничками, и волосы стала зачесывать назад, под сетку. О балах и выездах она говорит теперь с пренебрежением. По утрам она призывает дворовых ребятишек и учит их читать, а встречая на прогулках деревенских баб, останавливает их и подолгу с ними разговаривает.

Но всего замечательнее то, что у Анюты, ненавидевшей прежде ученье, явилась теперь страсть учиться. Наместо того, чтобы, как прежде, тратить свои карманные деньги на наряды и тряпки, она выписывает теперь целые ящики книг, и притом вовсе не романов, а книг с такими мудреными названиями: «Физиология жизни», «История цивилизации» и т. д.

Однажды пришла Анюта к отцу и высказала вдруг совершенно неожиданное требование: чтобы он отпустил ее одну в Петербург учиться. Отец сначала хотел обратить ее просьбу в шутку, как он делывал и прежде, когда Анюта объявляла, что не хочет жить в деревне. Но на этот раз Анюта не унималась. Ни шутки, ни остроты отца на нее не действовали. Она горячо доказывала, что из того, что отцу ее надо жить в именье, не следует еще, чтобы и ей надо было запереться в деревне, где у нее нет ни дела, ни веселья.

Отец, наконец, рассердился и прикрикнул на нее, как на маленькую.

— Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану! — сказал он.

Анюта поняла, что настаивать бесполезно. Но с того дня отношения между нею и отцом стали очень натянутые; у них у обоих явилось взаимное раздражение друг против друга, и раздражение это росло с каждым днем. За обедом, единственным временем дня, когда они встречались, они теперь почти никогда не обращались прямо друг к другу, но в каждом их слове чувствовалась шпилька или язвительный намек.

Вообще в семье нашей стал происходить теперь небывалый разлад. Общих интересов и прежде было немного, но прежде все члены семьи жили каждый сам по себе, просто не обращая большого внимания друг на друга. Теперь же образовалось словно два враждебных лагеря.

Гувернантка с самого начала выступила ярой противницей всех новых идей. Анюту она окрестила нигилисткой и «передовой барышней». Это последнее название звучало как-то особенно ядовито в ее устах. Инстинктом чувствуя, что Анюта что-то такое затевает, она стала подозревать ее в самых преступных замыслах: убежать тайком из дома, обвенчаться с поповичем, поступить в пресловутую коммуну. Поэтому она стала бдительно и недоверчиво наблюдать за каждым ее шагом. А Анюта, чувствуя, что гувернантка за ней подсматривает, нарочно, чтобы подразнить ее, стала окружать себя раздражительною и обидною таинственностью.

То воинственное настроение, которое господствовало теперь в доме нашем, не замедлило отразиться и на мне. Гувернантка, и прежде не одобрявшая моего сближения с Анютой, теперь стала ограждать свою воспитанницу от «передовой барышни», словно от заразы. Насколько могла, она мешала мне с сестрой оставаться наедине и на каждую мою попытку убежать из классной наверх, в мир взрослых, стала смотреть как на преступление.

Этот бдительный надзор гувернантки страшно надоедал мне. Я тоже чутьем чувствовала, что у Анюты завелись какие-то новые, прежде небывалые интересы, и мне страстно хотелось понять, в чем именно дело. Всякий раз почти, когда мне случалось вбежать неожиданно в комнату Анюты, я заставала ее за письменным столом, что-то пишущей; я пробовала несколько раз допытаться у нее, что такое она пишет, но так как Анюте уже не раз доставалось от гувернантки за то, что она не только

сама с пути сбилась, но и сестру совратить хочет, то, боясь новых упреков, она всегда прогоняла меня от себя.

— Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим! — говорила она нетерпеливо.

Я возвращалась в классную с чувством досады и раздражения на гувернантку, из-за которой и сестра мне ничего сказать не хочет. Бедной англичанке все труднее и труднее становилось ладить со своей воспитанницей. Из разговоров, которые велись за обедом, я поняла, главным образом, то, что слушать старших теперь не в моде. Вследствие этого чувство субординации во мне очень ослабело. Ссора моя с гувернанткой происходила теперь почти ежедневно, и после одной особенно бурной сцены эта последняя объявила, что не может более оставаться у нас.

Так как угроза уехать повторялась ею не раз и прежде, то вначале я не обратила на нее большого внимания. На этот раз, однако, дело оказалось серьезным. С одной стороны, гувернантка зашла уже слишком далеко и не могла с честью отказаться от своей угрозы; с другой стороны, постоянные сцены и истории так всем надоели, что родители мои не стали ее удерживать, в надежде, что без нее, быть может, в доме станет тише.

Но до самого конца мне не верилось, что гувернантка уедет, пока не наступил, наконец, самый день отъезда.

IX

Отъезд гувернантки. Первые литературные опыты Анюты

Большой старомодный чемодан, аккуратно обтянутый холщовым чехлом и перевязанный веревками, с утра стоит в передней. Над ним высится целая батарея картоночек, корзиночек, мешочков, узелков, без которых ни одна старая дева не может пуститься в путь. Старенький тарантас, запряженный тройкой в самой простой подержанной сбруе, которую кучер Яков всегда пускает в дело, когда предстоит дальняя дорога, уже ждет у подъезда. Горничные суетятся, вынося и прибирая разные мелочи и безделушки, но папашин камердинер Илья стоит неподвижно, лениво прислонившись к косяку двери и выражая всей своей пренебрежительной позой, что предстоящий отъезд уже не ахти какой важный и что из-за него подымать суматоху в доме не стоит. Семья наша вся собралась в столовой. Следуя обычному порядку, отец приглашает всех присесть перед дорогой; господа занимают передний угол, а несколько поодаль теснится вся собравшаяся дворня, почтительно присевшая на кончиках стульев. Несколько минут проходят в благоговейном молчании, во время которого невольно охватывает душу чувство нервной тоски, неизбежно вызываемое всяким отъездом и расставанием. Но вот отец подает знак встать, крестится на образа, остальные следуют его примеру, и затем начинаются слезы и обниманья.

Я гляжу теперь на мою гувернантку, в ее темном дорожном платье,

увязанную теплым пуховым платком, и она вдруг представляется мне совсем иною, чем я привыкла ее видеть. Она как будто внезапно постарела; ее полная энергичная фигура словно осунулась; глаза ее, «молниеносные», как мы тихонько, в насмешку, прозвали их, от которых не ускользал ни один из моих проступков, теперь красны, припухли и полны слез. Кончики губ ее нервно вздрагивают. В первый раз в жизни она кажется мне жалкою. Она обнимает меня долго, судорожно, с такой порывистой нежностью, которой я никогда от нее не ожидала.

— Не забывай меня, пиши. Ведь шутка ли расставаться с ребенком, которого я вырастила с пятилетнего возраста! — говорит она, всхлипывая. Я тоже припадаю к ней и начинаю отчаянно рыдать. Мною овладевает жестокая тоска, чувство невозвратимой утраты — точно с ее отъездом вся наша семья распадается. И к этому примешивается еще сознание собственной виновности. Мне до боли стыдно вспомнить, что все последние дни, не далее как сегодня поутру, меня охватывало тайное ликованье при мысли о ее отъезде и о предстоящей свободе.

«Так вот и я дождалась своего, вот она и взаправду уезжает, вот мы и без нее остаемся». И в эту минуту мне так ее жалко, что я бы, кажется, бог знает что дала, чтобы ее удержать. Я цепляюсь за нее, точно не могу от нее оторваться.

— Пора ехать, чтобы засветло поспеть в город, — говорит кто-то. Вещи уже все снесены в экипаж. Гувернантку тоже подсаживают. Еще одно долгое, нежное обниманье.

— Барышня, берегитесь, не попадите под лошадей! — кричит кто-то, и экипаж трогается.

Я взбегаю наверх, в угловую комнату, из окон которой видна вся длинная, с версту, березовая аллея, ведущая от дома на большую дорогу, и припадаю лицом к стеклу. Пока виден экипаж, я не могу оторваться от окна, и чувство моей собственной виновности все усиливается. Боже мой! Как мне жаль в эту минуту уехавшую гувернантку! Все мои столкновения с ней — а их было особенно много за это последнее время — кажутся мне теперь в совсем ином свете, чем прежде.

«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто, никто не любит!» — думается мне с поздним раскаянием, и всхлипывания мои становятся все громче и громче.

— Это ты о Маргарите так сокрушаешься? — спрашивает, пробегая мимо меня, брат Федя. В голосе его слышатся и удивление, и насмешка.

— Оставь ее, Федя. Это делает ей честь, что она такая привязчивая, — слышу я за собой наставительный голос старой тетки, которую никто из детей не любит, почему-то считая ее фальшивой. Как насмешка брата, так и слащавая похвала тетки действуют на меня одинаково неприятным, отрезвляющим образом. Я с детства не могла выносить, чтобы люди, мне равнодушные, утешали меня в сердечном горе. Поэтому я с гневом отталкиваю руку, которую тетка, в виде ласки, положила мне на плечо, и, пробормотав сердито: «Я вовсе не сокрушаюсь и я вовсе не привязчивая», — убегаю к себе в комнату.

Вид опустелой классной чуть было не пробудил во мне нового пароксизма отчаяния; только мысль, что никто не будет мешать мне теперь быть с моей сестрой сколько мне угодно, несколько утешила меня. Я решилась тотчас же побежать к ней и посмотреть, что она делает.

Анюта расхаживает взад и вперед по большой зале. Она всегда предается этому моциону, когда чем-нибудь особенно занята или озабочена. Вид у нее тогда такой рассеянный, лучистые зеленые глаза становятся совсем прозрачными и не видят ничего, что делается вокруг. Сама того не замечая, она ходит в такт со своими мыслями: если мысли печальные, и походка становится томная, медленная; оживляются мысли, она начинает что-нибудь придумывать, и походка ускоряется, так что под конец она не ходит, а бегает по комнате. Все в доме знают эту привычку и подтрунивают над ней за это. Я часто исподтишка наблюдаю за ней, когда она ходит, и мне бы так хотелось знать, о чем-то думает Анюта.

Хотя я по опыту знаю, что приставать к ней в это время бесполезно, но, видя теперь, что прогулка ее все не прекращается, я теряю, наконец, терпение и делаю попытку заговорить.

— Анюта, мне очень скучно! Дай мне одну из твоих книжек почитать! — прошу я умильным голосом.

Но Анюта все продолжает ходить, точно не слышит.

Опять несколько минут молчания.

— Анюта, о чем ты думаешь? — решаюсь я, наконец, спросить.

— Ах, отстань, пожалуйста! Слишком ты еще мала, чтобы я тебе все говорила, — получаю я презрительный ответ.

Теперь уже я в конец разобижена. «Так ты вот какая, ты и говорить со мной не хочешь! Вот теперь Маргарита уехала, я думала, мы будем жить с тобой так дружно, а ты меня гонишь! Ну, так я же уйду и любить тебя совсем, совсем не буду!»

Я почти плачу и собираюсь уходить, но сестра окликает меня. В сущности, она сама горит желанием рассказать кому-нибудь о том, что ее так занимает, а так как ни с кем из домашних она об этом говорить не может, то за неимением лучшей публики и двенадцатилетняя сестра годится.

— Послушай, — говорит она, — если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.

Слезы мои мигом высыхают; гнева как не бывало. Я клянусь, разумеется, что буду молчать, как рыба, и с нетерпением ожидаю, что-то она мне скажет.

— Пойдем в мою комнату, — говорит она торжественно. — Я покажу тебе что-то такое, что-то такое, чего ты, верно, не ожидаешь.

И вот она ведет меня в свою комнату и подводит к старенькому бюро, в котором — я знаю — хранятся ее самые заветные секреты. Не торопясь, медленно, чтобы продлить любопытство, она отпирает один из ящичков и вынимает из него большой, делового вида, конверт с красной печатью, на котором вырезано: «Журнал Эпоха». На конверте стоит адрес: Домне

С. В. Ковалевская
(1885)





А. В. Корвин-Круковская
(Жаклар)
(конец 60-х годов)



Е. Ф. Корвин-Круковская
акварель Л. Брюллова
из собрания Государственного Русского музея,
Ленинград

Никитишне Кузьминой (это имя нашей экономки, которая всей душой предана сестре и за нее в огонь и в воду пойдет). Из этого конверта сестра вынимает другой, поменьше, на котором значится: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Крюковской» и, наконец, подает мне письмо, исписанное крупным мужским почерком. Письма этого нет у меня в настоящую минуту, но я так часто читала и перечитывала его в детстве, и оно так врезалось в моей памяти, что я думаю, я почти слово в слово могу передать его.

«Милостивая государыня, Анна Васильевна! Письмо ваше, полное такого искреннего и милого доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присылаемого вами рассказа.

Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам свои первые литературные опыты на оценку. В вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более и более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.

Вот эти-то качества так подкупают в вас, что я боюсь, не нахожусь ли я и теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который вы мне ставите: «разовьется ли из вас со временем крупная писательница?»

Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем же № моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую вам: пишите и работайте; остальное покажет время [1].

Не скрою от вас — есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить; общее же впечатление самое благоприятное.

Потому, повторяю, пишите и пишите. Искренно буду рад, если вы найдете возможным сообщить мне побольше о себе; сколько вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно все это знать для правильной оценки вашего таланта.

Преданный Вам Федор Достоевский».

Я читала это письмо, и строки разбегались перед моими глазами от удивления. Имя Достоевского было мне знакомо; в последнее время оно часто упоминалось у нас за обедом в спорах сестры с отцом. Я знала, что он один из самых выдающихся русских писателей; но какими же судьбами пишет он Анюте и что все это значит? Одну минуту мне пришло в голову, не дурачит ли меня сестра, чтобы потом посмеяться над моим легковерием.

Кончив письмо, я глядела на сестру молча, не зная, что сказать. Сестра, видимо, восхищалась моим удивлением.

— Понимаешь ли ты, понимаешь! — заговорила, наконец, Анюта голосом, прерывающимся от радостного волнения. — Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот, видишь, он находит ее хорошею и напечатает в своем журнале. Так вот сбылась-таки моя заветная мечта. Теперь я русская писательница! — почти прокричала она в порыве неудержимого восторга.

Чтобы понять, что значило для нас это слово «писательница», надо вспомнить, что мы жили в деревенской глуши, вдали от всякого, даже слабого, намека на литературную жизнь. У нас в семье много читали и выписывали книг новых. К каждой книжке, к каждому печатному слову не только мы, но и все наши окружающие относились как к чему-то приходящему к нам издалека, из какого-то неведомого, чуждого и не имеющего с нами ничего общего мира. Как ни странно это может показаться, однако факт, что до тех пор ни сестре, ни мне не приходилось даже видеть ни одного человека, который бы напечатал хоть единую строку. Был, правда, в нашем уездном городе один учитель, про которого вдруг разнесся слух, что он написал корреспонденцию в газетах про наш уезд, и я помню, с каким почтительным страхом все к нему стали после этого относиться, пока не открылось, наконец, что корреспонденцию эту написал совсем не он, а какой-то проезжий журналист из Петербурга.

И вдруг теперь сестра моя — писательница! Я не находила слов выразить ей мой восторг и удивление; я только бросилась ей на шею, и мы долго и нежничали, и смеялись, и говорили всякий вздор от радости.

Никому из остальных домашних сестра не решалась рассказать о своем торжестве; она знала, что все, даже наша мать, испугаются и все расскажут отцу. В глазах же отца этот ее поступок, что она без спросу написала Достоевскому и отдала себя ему на суд и посмеяние, показался бы страшным преступлением.

Бедный мой отец! Он так ненавидел женщин-писательниц и так подозревал каждую из них в проступках, ничего не имеющих общего с литературой! И ему-то было суждено стать отцом писательницы[2].

Лично отец мой знал только одну писательницу, графиню Ростопчину[3]. Он видел ее в Москве в то время, когда она была блестящей светской красавицей, по которой вся знатная молодежь того времени — и мой отец в том числе — безнадежно вздыхала. Потом, много лет спустя, он встретил ее где-то за границей, кажется в Баден-Бадене, в зале рулетки.

— Смотрю я, глазам не верю, — рассказывал часто отец: — идет графиня, а за нею целый хвост каких-то проходимцев, один другого хуже, вульгарнее. Все они кричат, смеются, гогочут, обращаются с нею запанибрата. Подошла она к игорному столу и стала швырять золотой за золотым. У самой глаза горят, лицо красное, шиньон на боку. Проиграла все до последнего золотого и кричит своим адъютантам: «Eh bien, mes-

sieurs, je suis vidée! Rien ne va plus *. Идем запивать горе шампанским!» Вот до чего доводит женщину писательство!

Понятно после этого, что сестра не торопилась похвастаться ему своим успехом. Но эта таинственность, которою она должна была окружать свой первый дебют на литературном поприще, придавала ему особенную прелесть. Помню я, какой был восторг, когда несколько недель спустя пришла книжка «Эпохи» и в ней, на заглавном листе, мы прочли: «Сон», повесть Ю. О—ва (Юрий Орбелов был псевдоним, выбранный Анютой, так как, разумеется, под своим именем она печатать не могла).

Анюта, разумеется, еще раньше прочла мне свою повесть по сохранившемуся у нее черновику. Но теперь, со страниц журнала, повесть эта показалась мне совсем новою и удивительно прекрасною.

Содержание этого рассказа было следующее. Героиня, Лиленька, живет среди людей пожилых, потрепанных жизнью и запрятавшихся в тихий уголок, чтобы в нем искать покоя и забвения. Такой же страх к жизни и ее треволнениям стараются они внушить и Лиленьке. Но ее манит и влечет к себе эта неизвестная жизнь, от которой до нее доносятся лишь смутные отголоски, как отдаленный плеск волны скрытого за горами моря. Она верит, что есть места,

Где люди живут веселее,
Где жизнью живут, а не ткут паутин.

Но как попасть к таким людям? Незаметно для самой себя Лиленька заразилась предрассудками той среды, в которой живет. Почти бессознательно представляется ей на каждом шагу вопрос: прилично ли барышне так поступать или нет? Ей бы хотелось вырваться из того тесного мира, в котором она живет, но все некомильфотное и вульгарное ее пугает.

Однажды на городском гулянье она знакомится с молодым студентом (разумеется, герой повести того времени должен был быть студентом). Этот молодой человек производит на нее глубокое впечатление, но она держит себя так, как прилично благовоспитанной барышне, и виду не показывает, что он ей нравится, и знакомство их так на этой встрече и обрывается.

Поскучала после этого Лиленька на первых порах, потом успокоилась, и лишь когда случайно, среди различных сувенирчиков ее бесцветной жизни, которыми, как у большинства барышень, набиты ящики ее комода, ей попадалась какая-нибудь безделушка, напоминающая этот незабвенный вечер, она торопилась захлопнуть ящик и потом весь день ходила недовольная и угрюмая.

Но вот однажды приснился ей сон: пришел к ней студент и стал ее упрекать, зачем она не пошла за ним. Перед Лиленькой во сне проходит ряд картин жизни честной, трудовой, с милым ей человеком, в среде умных товарищей, жизни, полной теплого, ясного счастья в настоящем и

* Ну вот, господа, я опустошена! Больше ничего не будет (*франц.*).

необъятного запаса надежд на будущее. «Смотри и кайся! Такая была бы наша жизнь с тобой!», — говорит ей студент и исчезает.

Проснулась Лиленька и под влиянием своего сна решилась пренебречь заботой о том, что прилично для молодой девушки. Она, никогда до сих пор не выходившая из дому иначе, как в сопровождении горничной или лакея, уходит теперь тайком, берет первого попавшегося ваньку и едет в ту дальнюю бедную улицу, где — она знает — живет ее милый студент. После многих поисков и приключений, обусловленных ее неопытностью и бестолковостью, она находит, наконец, его квартиру, но там от жившего с ним вместе товарища узнает, что бедняга уже несколько дней назад умер от тифа. Товарищ рассказывает, как тяжела была его жизнь, какую нужду он терпел и как в бреду несколько раз поминал какую-то барышню. В утешение или в укор плачущей Лиленьке он говорит ей стихи Добролюбова:

Боюсь, чтобы и смерть не разыграла
Обидной шутки надо мной.
. . . .
Боюсь, чтоб все, чего желал так жадно
И так напрасно я живой,
Не улыбнулось мне отрадно
Над гробовой моей доской[4].

Вернулась Лиленька домой, и никто из ее домашних никогда не узнал, где она пропадала этот день. Но у нее самой навсегда сохранилось убеждение, что она прогуляла свое счастье. Она прожила недолго и умерла, сокрушаясь о даром потраченной молодости, которую и помянуть было нечем[5].

Первый успех Анюты придал ей много бодрости, и она тотчас же принялась за другой рассказ, который окончила в несколько недель. На этот раз героем ее повести был молодой человек Михаил, воспитанный вдали от семьи, в монастыре, дядей монахом. Эту вторую повесть Достоевский одобрил гораздо более первой и нашел ее зрелее. Образ Михаила представляет некоторое сходство с образом Алеши в «Братьях Карамазовых». Когда, несколько лет спустя, я читала этот роман по мере того, как он выходил в свет, это сходство бросилось мне в глаза, и я заметила это Достоевскому, которого видела тогда очень часто.

— А ведь это, пожалуй, и правда! — сказал Федор Михайлович, ударив себя рукой по лбу, — но, верьте слову, я и забыл о Михаиле, когда придумывал своего Алешу. Разве, впрочем, бессознательно он мне пригрезился, — прибавил он, подумав.

Но при печатании этой второй повести дело не обошлось, однако, так благополучно, как в первый раз. Произошла печальная катастрофа: письмо Достоевского попало в руки нашего отца, и вышла ужасная история.

Произошло это опять 5 сентября, достопамятный день в летописях нашего семейства. Собралось у нас, по обыкновению, множество гостей. В этот самый день ожидали почту, приходившую к нам в имение всего раз в неделю. Обыкновенно экономка, на имя которой Анюта переписывалась с Федором Михайловичем, выходила встречать почтальона и отбирала от него свои письма, прежде чем он относил почту к барину. Но на этот раз она захлопоталась с гостями; на беду тот почтальон, который обыкновенно привозил почту, выпил маленько по случаю барыниных именин, т. е. оказался мертвецки пьяным, и на место его послали мальчика, не знавшего заведенных порядков. Таким образом, сумка с почтою попала в кабинет папаши, не подвергшись предварительному осмотру и очищению.

Отцу тотчас бросилось в глаза страховое письмо на имя нашей экономки со штемпелем журнала «Эпоха». Что за притча такая? Он велел позвать к себе экономку и заставил ее открыть письмо в своем присутствии. Можно или, лучше сказать, невозможно представить себе, что за сцена воспоследовала. На беду еще в этом именно письме Достоевский посылал сестре гонорар за ее повести: помнится, триста с чем-то рублей. Это обстоятельство, т. е. что сестра тайком ото всех получает деньги от незнакомого мужчины, показалось отцу таким позорным и обидным, что с ним сделалось дурно. У него была болезнь сердца да еще желчные камни в печени; доктора говорили, что всякое волнение для него опасно, может привести к внезапной смерти, и возможность подобной катастрофы была общим пугалом всех членов семейства. При всякой неприятности, которую дети ему причиняли, у него чернело лицо, и нами тотчас овладевал страх, что мы убьем его. А тут вдруг такой удар! И как нарочно — весь дом полон гостями!

В этом году в нашем уездном городе квартировал какой-то полк; по случаю маминых именин все офицеры и с ними полковник съехались у нас и в виде сюрприза привезли полковых музыкантов.

Именинный обед уже часа три как кончился. В большой зале наверху были зажжены все люстры и канделябры, и гости, успевшие отдохнуть после обеда и переодеться к балу, начали сходиться. Офицерики, пыхтя и тужась, натягивали белые перчатки; воздушные барышни в тарлатановых платьях и огромных кринолинах, бывших тогда в моде, вертелись перед зеркалами. Моя Анюта в обычное время относилась свысока ко всему этому обществу, но теперь нарядная обстановка, бальная музыка, пропасть света, сознание, что она на балу самая красивая и нарядная, все это опьяняло ее. Забыв свое новое достоинство русской писательницы, забыв, как мало походят эти красные, потные офицерики на тех идеальных людей, о которых она мечтала, она кружилась между ними, улыбалась всем и каждому и наслаждалась сознанием, что всем им кружит головы.

Ждали только отца, чтобы начать танцы. Вдруг в комнату вошел человек и, подойдя к маме, сказал ей: «Их превосходительство нездоровы. Просят вас пожаловать к себе в кабинет».

Всем сделалось жутко. Мама поспешно встала и, подбирая рукой шлейф своего тяжелого шелкового платья, вышла из залы. Музыкантам, ожидавшим в соседней комнате условного знака, чтобы заиграть кадриль, приказали подождать.

Прошло полчаса. Гости начали беспокоиться. Наконец, вернулась мама. Лицо ее было красно и взволнованно, но она старалась казаться покойной и улыбалась принужденно, натянуто. На заботливые вопросы гостей: «что такое с генералом?» она отвечала уклончиво:

— Василий Васильевич почувствовал себя не совсем хорошо, просит вас извинить его и начать танцы без него.

Все заметили, что происходит что-то неладное, но из приличия никто не настаивал; к тому же всем хотелось поскорее танцевать, раз уже собрались и нарядились для этого. И вот танцы начались.

Проходя мимо матери в фигуре кадрили, Анюта заботливо заглянула ей в глаза и прочла в них, что произошло что-то недоброе. Улучив минутку, в антракте между двумя танцами, она отвела мать в сторону и пристала к ней с расспросами.

— Что ты наделала! Все открыто! Папа прочел письмо Достоевского к тебе и чуть не умер на месте со стыда и отчаяния, — сказала бедная мама, с трудом сдерживая слезы.

Анюта страшно побледнела, но мама продолжала:

— Пожалуйста, хоть теперь сдержи себя. Вспомни, что у нас гости, которые все рады про нас посплетничать. Поди и танцуй, как будто ничего не случилось.

Итак, мать и сестра продолжали танцевать почти вплоть до утра, обе вне себя от страха при мысли о той грозе, которой предстояло разразиться над их головами, лишь только разъедутся гости.

И, действительно, гроза разразилась ужасная.

Пока все не разъехались, отец никого не пускал к себе на глаза и сидел, запершись у себя в кабинете. В антрактах между танцами мать и сестра убегали из залы и прислушивались у его дверей, но войти не смели, а возвращались к гостям, терзаясь мыслью: что с ним теперь? не худо ли ему?

Когда все в доме утихло, он потребовал Анюту к себе и чего-чего только не наговорил ей! Одна его фраза особенно врезалась ей в памяти:

— От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать с него деньги, можно всего ожидать! Теперь ты продаешь твои повести, а придет, пожалуй, время — и себя будешь продавать!

Бедная Анюта так и похолодела, услышав эти ужасные слова. Положим, она в душе сознавала, что это вздор; но отец говорил так уверенно, тоном такого глубокого убеждения; его лицо было такое убитое, сокрушенное, притом его авторитет в ее глазах все еще был так силен, что у нее невольно, хоть на минуту, явилось мучительное сомнение: не ошиблась ли она? Не совершила ли, сама не сознавая, чего-нибудь ужасного и непристойного?

Несколько дней после этого, как всегда бывало после всякой домашней истории, все в доме ходили как в воду опущенные. Прислуга сейчас обо всем проведала. Папашин камердинер Илья, по своей похвальной привычке, подслушал весь разговор отца с сестрой и объяснил его по-своему. Весть о случившемся, разумеется, в преувеличенном и искаженном виде, разнеслась по всему околотку, и долгое время спустя между соседями только и было толков, что об «ужасном» поступке палибинской барышни.

Мало-помалу буря улеглась, однако. У нас в семье произошел феномен, часто повторяющийся в русских семьях: дети перевоспитали родителей. Начался этот процесс перевоспитания с матери. В первую минуту, как всегда бывало при столкновениях детей с отцом, она всецело взяла его сторону. Ей стало страшно, что он захворает, и она вознегодовала: как это может Анюта так огорчать отца! Видя, однако, что уговоры не помогают, а что Анюта ходит печальная и обиженная, ей стало жаль и ее. Скоро у нее явилось любопытство прочесть Анютину повесть, а потом тайная гордость, что ее дочь — писательница. Таким образом, ее сочувствие перешло на сторону Анюты, и отец почувствовал себя совсем одним.

В первую минуту, сгоряча, он потребовал от дочери обещания, что она больше писать не будет, и только под этим условием соглашался простить ее. Анюта, разумеется, дать такое обещание не соглашалась, и вследствие этого они не разговаривали целыми днями, и сестра не являлась даже к обеду. Мать бегала от одного к другой, уламывая и уговаривая [6].

Наконец, отец сдался. Первым шагом его на пути уступок было то, что он согласился прослушать Анютину повесть.

Чтение происходило очень торжественно. Вся семья была в сборе. Вполне сознавая важность этой минуты, Анюта читала голосом, дрожащим от волнения. Положение героини, ее порывания вон из семьи, ее страдания под гнетом налагаемых на нее стеснений — все это так походило на собственное положение автора, что это каждому невольно бросалось в глаза. Отец слушал молча, не проронив ни слова во все время чтения. Но когда Анюта дошла до последних страниц и, сама едва сдерживая рыдания, стала читать, как Лиленька, умирая, сокрушалась о даром потраченной молодости, на глазах у него вдруг выступили крупные слезы. Он встал, не говоря ни слова, и вышел из комнаты. Ни в этот вечер, ни в следующие дни он не говорил с Анютой о ее повести; он только обращался с ней удивительно мягко и нежно, и все в семье понимали, que sa cause était gagnée *.

Действительно, с этого дня в нашем доме началась эра мягкости и уступок. Первым проявлением этой новой эры было то, что экономка, которой отец сгоряча отказал от места, получила свое милостивое прощение и осталась при должности.

* что ее дело выиграно (*франц.*).

Вторая мера кротости была еще поразительнее: отец разрешил Анюте писать Достоевскому, под условием только показывать ему письма, и при будущей поездке в Петербург обещал ей лично с ним познакомиться[7].

Как уже было сказано, мать и сестра почти каждую зиму ездили в Петербург, где у них была целая колония тетушек, старых дев. Они занимали целый дом на Васильевском острове и при приезде матери и сестры отводили им у себя комнаты две-три. Отец оставался обыкновенно в деревне; меня тоже оставляли дома, на попечениях гувернантки. Но в нынешнем году, так как англичанка уехала, а новоприбывшая швейцарка еще не пользовалась достаточным доверием, то мать, к моей неописанной радости, решила и меня взять с собою.

Выехали мы в январе, пользуясь последним хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом нелегким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе на почтовых и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.

Сколько приготовлений было к этой дороге! На кухне стряпали и жарили столько вкусных вещей, что их хватило бы, кажется, на целую экспедицию. Повар наш славился во всем околотке своею слойкой, и никогда не прилагал он столько старания к этому делу, как когда готовил сдобные пирожки на дорогу господам.

И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только множеством озер и озерков. Зимою эти озера представляли из себя большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались окружающие их темные сосны.

Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше! Забудешься на минутку, вдруг проснешься от толчка, и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая, — все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг ярким лучом выступит в уме сознание: где мы, куда едем, и как много хорошего, нового предстоит впереди, — вся душа переполнится таким ярким, захватывающим счастьем!

Да, чудесная была эта дорога! И осталась она чуть ли не самым светлым воспоминанием моего детства.

X

Знакомство с Ф. М. Достоевским[1]

По приезде в Петербург Анюта тотчас написала Достоевскому и попросила его бывать у нас. Федор Михайлович пришел в назначенный день. Помню, с какой лихорадкой мы его ждали, как за час до его прихода уже стали прислушиваться к каждому звонку в передней. Однако этот первый его визит вышел очень неудачный.

Отец мой, как я уже сказала, относился с большим недоверием ко всему, что исходило из литературного мира. Хотя он и разрешил сестре познакомиться с Достоевским, но лишь скрепя сердце и не без тайного страха.

— Помни, Лиза, что на тебе будет лежать большая ответственность, — напутствовал он мать, отпуская нас из деревни. — Достоевский — человек не нашего общества. Что мы о нем знаем? Только — что он журналист и бывший каторжник. Хороша рекомендация! Нечего сказать! Надо быть с ним очень осторожным.

Ввиду этого отец строго приказал матери, чтобы она непременно присутствовала при знакомстве Анюты с Федором Михайловичем и ни на минуту не оставляла их вдвоем. Я тоже выпросила позволение остаться во время его визита. Две старые тетушки-немки поминутно выдумывали какой-нибудь предлог появиться в комнате, с любопытством поглядывая на писателя, как на какого-то редкого зверя, и, наконец, кончили тем, что уселись тут же на диване, да так и просидели до конца его визита.

Анюта злилась, что ее первое свидание с Достоевским, о котором она так много наперед мечтала, происходит при таких нелепых условиях; приняв свою злую мину, она упорно молчала. Федору Михайловичу было и неловко, и не по себе в этой натянутой обстановке; он и конфузился среди всех этих старых барынь, и злился. Он казался в этот день старым и больным, как всегда, впрочем, когда бывал не в духе. Он все время нервно пощипывал свою жидкую русую бородку и кусал усы, причем все лицо его передергивалось.

Мама изо всех сил старалась завязать интересный разговор. С своею самою светскою любезною улыбкой, но, видимо, робея и конфузясь, она подыскивала, что бы такого приятного и лестного сказать ему и какой бы вопрос предложить поумнее.

Достоевский отвечал односложно, с преднамеренной грубостью. Наконец, à bout de ses ressources *, мама тоже замолчала. Посидев с полчаса, Федор Михайлович взял шапку и, раскланявшись неловко и торопливо, но никому не подав руки, вышел.

По его уходе Анюта убежала к себе и, бросившись на кровать, разразилась слезами.

* исчерпав свои возможности (*франц.*).

— Всегда-то, всегда-то все испортят! — повторяла она, судорожно рыдая.

Бедная мама чувствовала себя без вины виноватой. Ей было обидно, что за ее же старания всем угодить на нее же все сердятся. Она тоже заплакала.

— Вот ты всегда такая: ничем не довольна! Отец сделал по-твоему, позволил тебе познакомиться с твоим идеалом, я целый час выслушивала его грубости, а ты нас же винишь! — упрекала она дочь, сама плача, как ребенок.

Словом, всем было скверно на душе, и визит этот, которого мы так ждали, к которому так наперед готовились, оставил по себе претяжелое впечатление.

Однако, дней пять спустя, Достоевский опять пришел к нам и на этот раз попал как нельзя более удачно: ни матери, ни тетушек дома не было, мы были одни с сестрой, и лед как-то сразу растаял. Федор Михайлович взял Анюту за руку, они сели рядом на диван и тотчас заговорили как два старые, давнишние приятеля. Разговор уже не тянулся, как в прошлый раз, с усилием переползая с одной никому не интересной темы на другую. Теперь и Анюта, и Достоевский как бы торопились высказаться, перебивая друг друга, шутили и смеялись.

Я сидела тут же, не вмешиваясь в разговор, не спуская глаз с Федора Михайловича и жадно впивая в себя все, что он говорил. Он казался мне теперь совсем другим человеком, совсем молодым и таким простым, милым и умным. «Неужели ему уже 43 года! — думала я. — Неужели он в три с половиной раза старше меня и больше чем в два раза старше сестры! Да притом еще великий писатель: с ним можно быть совсем как с товарищем!» И я тут же почувствовала, что он стал мне удивительно мил и близок.

— Какая у вас славная сестренка! — сказал вдруг Достоевский совсем неожиданно, хотя за минуту перед тем говорил с Анютой совсем о другом и как будто совсем не обращал на меня внимания.

Я вся вспыхнула от удовольствия, и сердце мое преисполнилось благодарностью сестре, когда в ответ на это замечание Анюта стала рассказывать Федору Михайловичу, какая я хорошая, умная девочка, как я одна в семье ей всегда сочувствовала и помогала. Она совсем оживилась, расхваливая меня и придумывая мне небывалые достоинства. В заключение она сообщила даже Достоевскому, что я пишу стихи: «право, право, совсем недурные для ее лет!» И несмотря на мой слабый протест, она побежала и принесла толстую тетрадь моих виршей, из которой Федор Михайлович, слегка улыбаясь, тут же прочел два-три отрывка, которые похвалил. Сестра вся сияла от удовольствия. Боже мой! Как любила я ее в эту минуту! Мне казалось, всю бы жизнь отдала я за этих милых, дорогих мне людей.

Часа три прошли незаметно. Вдруг в передней раздался звонок: это вернулась мама из Гостиного двора. Не зная, что у нас сидит Достоев-

ский, она вошла в комнату еще в шляпе, вся нагруженная покупками, извиняясь, что опоздала немножко к обеду.

Увидя Федора Михайловича так запросто, одного с нами, она ужасно удивилась и сначала даже испугалась. «Что бы сказал на это Василий Васильевич!» — было ее первою мыслью. Но мы бросились ей на шею, и, видя нас такими довольными и сияющими, она тоже растаяла и кончила тем, что пригласила Федора Михайловича запросто отобедать с нами.

С этого дня он стал совершенно своим человеком у нас в доме и, ввиду того, что наше пребывание в Петербурге должно было продолжаться недолго, стал бывать у нас очень часто, раза три, четыре в неделю.

Особенно хорошо бывало, когда он приходил вечером и, кроме него, у нас чужих не было. Тогда он оживлялся и становился необыкновенно мил и увлекателен. Общих разговоров Федор Михайлович терпеть не мог; он говорил только монологами и то лишь под условием, чтобы все присутствующие были ему симпатичны и слушали его с напряженным вниманием. Зато, если это условие было выполнено, он мог говорить так хорошо, картинно и рельефно, как никто другой, кого я ни слышала [2].

Иногда он рассказывал нам содержание задуманных им романов, иногда — сцены и эпизоды из собственной жизни. Живо помню я, например, как он описывал нам те минуты, которые ему, приговоренному к расстрелянию, пришлось простоять, уже с завязанными глазами, перед взводом солдат, ожидая роковой команды: «стреляй!» — когда вдруг, наместо того, забил барабан и пришла весть о помиловании.

Помнится мне еще один рассказ. Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок. Впоследствии я слышала другую, совсем различную, версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами, которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет [3].

Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.

Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись, наконец, религии.

Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.

— Есть бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.

— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг бога и проникнулся им. Да, есть бог! — закричал я, — и больше ничего не помню.

— Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик! Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!

Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели, как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.

Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.

Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся:

— Не бойтесь, — сказал он, — я всегда знаю наперед, когда это приходит.

Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним действительно был жестокий припадок.

Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.

Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя. Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.

Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего нуте-

шествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии в мюнхенской галерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки «О мировой красоте и гармонии».

Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута; за минуту перед тем ничего не болело, и вдруг заноет старая рана, и ноет, ноет.

Начинает наш помещик думать и соображать: что бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.

Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память... И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.

Вспомнил он, как однажды после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами он изнасиловал десятилетнюю девочку[4].

Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.

— Федор Михайлович! Помилосердуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом.

Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский, только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.

Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать его очень полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него.

Под конец нашего пребывания в Петербурге мама задумала сделать прощальный вечер и созвать всех наших знакомых. Само собою разумеется, она пригласила и Достоевского. Он долго отказывался, но маме, на свою беду, удалось-таки уломать его.

Вечер наш вышел пребестолковый. Так как родители мои уже лет десять жили в деревне, то настоящего «своего» общества у них в Петербурге не было. Были старые знакомые и друзья, которых жизнь уже давно успела развесть в разные стороны.

Некоторым из этих знакомых удалось сделать в эти десять лет блестящую карьеру и забраться на очень высокую ступеньку общественной лестницы. Другие же, наоборот, подпали оскудению и обнищанию и влачили серенькое существование в дальних линиях Васильевского острова, едва сводя концы с концами. Общего у всех этих людей ничего не было; почти все они, однако, приняли мамино приглашение и приехали на наш вечер из старой памяти, pour cette pauvre, chère Lise *.

* ради этой милой бедняжки Лизы (*франц.*).

Общество собралось у нас довольно большое, но очень разношерстное. В числе гостей была супруга и дочери одного министра (сам министр обещал заехать на минутку под конец вечера, однако слова не сдержал) [5]. Был также какой-то очень старый лысый и очень важный сановник немец, о котором я помню только, что он пресмешно чмокал беззубым ртом и все целовал маме руку, приговаривая:

— Она была очень короша, ваша мать. Никто из дочек так не корошa!

Был какой-то разорившийся помещик из остзейских губерний, проживающий в Петербурге в безуспешных поисках за выгодным местом. Было много почтенных вдов и старых дев и несколько академиков, бывших приятелей моего дедушки. Вообще преобладающий элемент был немецкий, чинный, чопорный и бесцветный.

Квартира тетушек была очень большая, но состояла из множества маленьких клетушек, загроможденных массою ненужных, некрасивых вещиц и безделиц, собранных в течение целой долгой жизни двух аккуратных девствующих немочек. От большого числа гостей и множества зажженных свечей духота была страшная. Два официанта в черных фраках и белых перчатках разносили подносы с чаем, фруктами и сладостями. Мать моя, отвыкшая от столичной жизни, которую прежде так любила, внутренне робела и волновалась: все ли у нас как следует? Не выходит ли слишком старомодно, провинциально? И не найдут ли ее бывшие приятельницы, что она совсем отстала от их света?

Гостям никакого не было дела друг до друга. Все скучали, но как люди благовоспитанные, для которых скучные вечера составляют неизбежный ингредиент жизни, безропотно подчинялись своей участи и переносили всю эту тоску стоически.

Но можно представить себе, что сталось с бедным Достоевским, когда он попал в такое общество! И видом своим, и фигурой он резко отличался от всех других. В припадке самопожертвования он счел нужным облачиться во фрак, и фрак этот, сидевший на нем и дурно, и неловко, внутренне бесил его в течение всего вечера. Он начал злиться уже с самой той минуты, как переступил порог гостиной. Как все нервные люди, он испытывал досадливую конфузливость, когда попадал в незнакомое общество, и чем глупее, несимпатичнее ему, ничтожнее это общество, тем острее конфузливость. Возбуждаемую этим чувством досаду он, видимо, желал сорвать на ком-нибудь.

Мать моя торопилась представить его гостям; но он, вместо привета, бормотал что-то невнятное, похожее на воркотню, и поворачивался к ним спиной. Что всего хуже, он тотчас изъявил притязание завладеть всецело Анютой. Он увел ее в угол гостиной, обнаруживая решительное намерение не выпускать ее оттуда. Это, разумеется, шло в разрез со всеми приличиями света; к тому и обращение его с ней было далеко не светское: он брал ее за руку; говоря с ней, наклонялся к самому ее уху. Анюте самой становилось неловко, а мать из себя выходила. Сначала она пробовала «деликатно» дать понять Достоевскому, что его поведение нехо-

рошо. Проходя мимо, якобы не нарочно, она окликнула сестру и хотела послать ее за каким-то поручением. Анюта уже было поднялась, но Федор Михайлович прехладнокровно удержал ее:

— Нет, постойте, Анна Васильевна, я еще не досказал вам.

Тут уж мать окончательно потеряла терпение и вспылила.

— Извините, Федор Михайлович, но ей, как хозяйке дома, надо занимать и других гостей, — сказала она очень резко и увела сестру.

Федор Михайлович совсем рассердился и, забившись в угол, молчал упорно, злобно на всех озираясь.

В числе гостей был один, который с первой же минуты сделался ему особенно ненавистен. Это был наш дальний родственник со стороны Шубертов; это был молодой немец, офицер какого-то из гвардейских полков [6]. Он считался очень блестящим молодым человеком; был и красив, и умен, и образован, и принят в лучшем обществе — все это как следует, в меру и не чересчур. И карьеру он делал тоже как следует, не нахально быструю, а солидную, почтенную; умел угодить кому надлежит, но без явного искательства и низкопоклонства. На правах родственника он ухаживал за своей кузиной, когда встречал ее у тетушек, но тоже в меру, не так, чтобы это всем бросалось в глаза, а только давая понять, что он «имеет виды».

Как всегда бывает в таких случаях, все в семье знали, что он возможный и желательный жених, но все делали вид, как будто и не подозревают подобной возможности. Даже мать моя, оставаясь наедине с тетушками, и то лишь полусловами и намеками решалась коснуться этого деликатного вопроса.

Стоило Достоевскому взглянуть на эту красивую рослую, самодовольную фигуру, чтобы тотчас возненавидеть ее до остервенения.

Молодой кирасир, живописно расположившись в кресле, выказывал во всей их красе модно сшитые панталоны, плотно обтягивающие его длинные стройные ноги. Потряхивая эполетами и слегка наклоняясь над моей сестрой, он рассказывал ей что-то забавное. Анюта, еще сконфуженная недавним эпизодом с Достоевским, слушала его со своею несколько стереотипною салонною улыбкой, «улыбкой кроткого ангела», как язвительно называла ее англичанка-гувернантка.

Взглянул Федор Михайлович на эту группу, и в голове его сложился целый роман: Анюта ненавидит и презирает этого «немчика», этого «самодовольного нахала», а родители хотят выдать ее замуж за него и всячески сводят их. Весь вечер, разумеется, только за этим и устроен!

Выдумав этот роман, Достоевский тотчас в него уверовал и вознегодовал ужасно.

Модною темою разговоров в эту зиму была книжка, изданная каким-то английским священником, — параллель православия с протестантизмом. В этом русско-немецком обществе это был предмет, для всех интересный, и разговор, коснувшись его, несколько оживился. Мама, сама немка, заметила, что одно из преимуществ протестантов над православными состоит в том, что они больше читают евангелие.

— Да разве евангелие написано для светских дам? — выпалил вдруг упорно молчавший до тех пор Достоевский. — Там вон стоит: «Вначале сотворил бог мужа и жену» или еще: «Да оставит человек отца и мать и да прилепится к жене». Вот как Христос-то понимал брак! А что скажут на это все матушки, только о том и думающие, как бы выгоднее пристроить дочек!

Достоевский проговорил это с пафосом необычайным. По своему обыкновению, когда волновался, весь он съеживался и словно стрелял словами. Эффект вышел удивительный. Все благовоспитанные немцы примолкли и таращили на него глаза. Лишь по прошествии нескольких секунд все вдруг сообразили всю неловкость сказанного и все заговорили разом, желая заглушить ее.

Достоевский еще раз оглядел всех злобным, вызывающим взглядом, потом опять забился в свой угол и до конца вечера не проронил больше ни слова.

Когда он на следующий раз опять явился к нам, мама попробовала было принять его холодно, показать ему, что она обижена; но, при ее удивительной доброте и мягкости, она ни на кого не могла долго сердиться, а всего менее на такого человека, как Федор Михайлович, поэтому они скоро опять стали друзьями, и все между ними пошло по-старому.

Зато отношения между Анютой и Достоевским как-то совсем изменились с этого вечера, точно они вступили в новый фазис своего существования. Достоевский совершенно перестал импонировать Анюте; напротив того, у нее явилось даже желание противоречить ему, дразнить его. Он же, со своей стороны, стал обнаруживать небывалую нервность и придирчивость по отношению к ней; стал требовать отчета, как она проводила те дни, когда он у нас не был, и относиться враждебно ко всем тем людям, к которым она обнаруживала некоторое восхищение. Приходил он к нам не реже, а, пожалуй, чаще и засиживался дольше прежнего, хотя все почти время проходило у него в ссорах с моей сестрой.

В начале их знакомства сестра моя готова была отказаться от всякого удовольствия, от всякого приглашения в те дни, когда ждала к нам Достоевского, и, если он был в комнате, ни на кого другого не обращала внимания. Теперь же все это изменилось. Если он приходил в такое время, когда у нас сидели гости, она преспокойно продолжала занимать гостей. Случалось, ее куда-нибудь приглашали в такой вечер, когда было условлено, что он придет к ней; тогда она писала ему и извинялась.

На следующий день Федор Михайлович приходил уже сердитый. Анюта делала вид, что не замечает его дурного расположения духа, брала работу и начинала шить.

Достоевского это еще пуще сердило; он садился в угол и угрюмо молчал. Сестра моя тоже молчала.

— Да бросьте же шить! — скажет, наконец, не выдержав характера, Федор Михайлович и возьмет у нее из рук шитье.

Сестра моя покорно скрестит руки на груди, но продолжает молчать.

— Где вы вчера были? — спрашивает Федор Михайлович сердито.

— На балу, — равнодушно отвечает моя сестра.

— И танцевали?

— Разумеется.

— С троюродным братцем?

— И с ним, и с другими.

— И вас это забавляет? — продолжает свой допрос Достоевский.

Анюта пожимает плечами:

— За неимением лучшего и это забавляет, — отвечает она и снова берется за свое шитье.

Достоевский глядит на нее несколько минут молча.

— Пустая вы, вздорная девчонка, вот что! — решает он, наконец.

В таком духе часто велись теперь их разговоры.

Постоянный и очень жгучий предмет споров между ними был нигилизм. Прения по этому вопросу продолжались иногда далеко за полночь, и, чем дольше оба говорили, тем больше горячились и в пылу спора высказывали взгляды гораздо более крайние, чем каких действительно придерживались.

— Вся теперешняя молодежь тупа и недоразвита! — кричал иногда Достоевский. — Для них всех смазные сапоги дороже Пушкина!

— Пушкин действительно устарел для нашего времени, — спокойно замечала сестра, зная, что ничем его нельзя так разбесить, как неуважительным отношением к Пушкину.

Достоевский, вне себя от гнева, брал иногда шляпу и уходил, торжественно объявляя, что с нигилисткой спорить бесполезно и что ноги его больше у нас не будет. Но завтра он, разумеется, приходил опять как ни в чем не бывало.

По мере того, как отношения между Достоевским и моей сестрой, повидимому, портились, моя дружба с ним все возрастала. Я восхищалась им с каждым днем все более и более и совершенно подчинилась его влиянию. Он, разумеется, замечал мое беспредельное поклонение себе, и оно ему было приятно. Постоянно ставил он меня в пример сестре.

Случалось Достоевскому высказать какую-нибудь глубокую мысль или гениальный парадокс, идущий в разрез с рутинной моралью, — сестре вдруг вздумается притвориться непонимающею; у меня глаза горят от восторга — она же нарочно, чтобы позлить его, ответит пошлой, избитой истиной.

— У вас дрянная, ничтожная душонка! — горячился тогда Федор Михайлович, — то ли дело ваша сестра! Она еще ребенок, а как понимает меня! Потому что у нее душа чуткая!

Я вся краснела от удовольствия, и если бы надо было, дала бы себя разрезать на части, чтобы доказать ему, как я его понимаю. В глубине души я была очень довольна, что Достоевский не выказывает теперь к сестре такого восхищения, как в начале их знакомства. Мне самой было очень стыдно этого чувства. Я упрекала себя в нем, как в некотором роде

измене против сестры и, вступая в бессознательную сделку с собственной совестью, старалась особенной ласковостью, услужливостью искупить этот мой тайный грех перед нею. Но угрызения совести все же не мешали мне чувствовать невольное ликованье каждый раз, когда Анюта и Достоевский ссорились.

Федор Михайлович называл меня своим другом, и я пренаивно верила, что стою ближе к нему, чем старшая сестра, и лучше его понимаю. Даже наружность мою он восхвалял в ущерб Анютиной.

— Вы воображаете себе, что очень хороши, — говорил он сестре. — А ведь сестрица-то ваша будет со временем куда лучше вас! У нее и лицо выразительнее, и глаза цыганские! А вы смазливенькая немочка, вот вы кто!

Анюта презрительно ухмылялась; я же с восторгом впивала в себя эти неслыханные дотоле похвалы моей красоте.

— А ведь, может быть, это и правда, — говорила я себе с замиранием сердца, и меня даже пресерьезно начинала беспокоить мысль, как бы не обиделась сестра тем предпочтением, которое оказывает мне Достоевский.

Мне очень хотелось знать наверное, что сама Анюта обо всем этом думает и правда ли, что я буду хорошенькой, когда совсем вырасту. Этот последний вопрос меня особенно занимал.

В Петербурге мы спали с сестрой в одной комнате, и по вечерам, когда мы раздевались, происходили наши самые задушевные беседы.

Анюта, по обыкновению, стоит перед зеркалом, расчесывая свои длинные белокурые волосы и заплетая их на ночь в две косы. Это дело требует времени; волосы у нее очень густые, шелковистые, и она с любовью проводит по ним гребнем. Я сижу на кровати, уже совсем раздетая, охватив колени руками и обдумывая, как бы начать интересующий меня разговор.

— Какие смешные вещи говорил сегодня Федор Михайлович! — начинаю я, наконец, стараясь казаться как можно равнодушнее.

— А что такое? — спрашивает сестра рассеянно, очевидно, совершенно уже забыв этот важный для меня разговор.

— А вот о том, что у меня глаза цыганские и что я буду хорошенькой, — говорю я и сама чувствую, что краснею до ушей.

Анюта опускает руку с гребнем и оборачивается ко мне лицом, живописно изогнув шею.

— А ты веришь, что Федор Михайлович находит тебя красивой, красивее меня? — спрашивает она и глядит на меня лукаво и загадочно.

Эта коварная улыбка, эти зеленые смеющиеся глаза и белокурые распущенные волосы делают из нее совсем русалку. Рядом с ней, в большом трюмо, стоящем прямо против ее кровати, я вижу мою собственную маленькую смуглую фигурку и могу сравнить нас. Не могу сказать, чтобы это сравнение было мне особенно приятно, но холодный, самоуверенный тон сестры сердит меня, и я не хочу сдаться.

— Бывают разные вкусы! — говорю я сердито.

— Да, бывают странные вкусы! — замечает Анюта спокойно и продолжает расчесывать свои волосы.

Когда уже свеча затушена, я лежу, уткнувшись лицом в подушку, и все еще продолжаю свои размышления по этому же предмету.

«А ведь, может быть, у Федора Михайловича такой вкус, что я ему нравлюсь больше сестры, — думается мне и, по машинальной детской привычке, я начинаю мысленно молиться: — Господи, боже мой! пусть все, пусть весь мир восхищаются Анютой, — сделай только так, чтобы Федору Михайловичу я казалась самой хорошенькой!»

Однако моим иллюзиям на этот счет предстояло в ближайшем будущем жестокое крушение.

В числе тех talents d'agrément*, развитие которых поощрял Достоевский, было занятие музыкой. До тех пор я училась игре на фортепьяно, как учатся большинство девочек, не испытывая к этому делу ни особенного пристрастия, ни особенной ненависти. Слух у меня был посредственный, но так как с пятилетнего возраста меня заставляли полтора часа ежедневно разыгрывать гаммы и экзерсисы, то у меня к 13 годам уже успела развиться некоторая беглость пальцев, порядочное туше и уменье скоро читать по нотам.

Случилось мне раз, в самом начале нашего знакомства, разыграть перед Достоевским одну пьесу, которая мне особенно хорошо удавалась: вариации на мотивы русских песен. Федор Михайлович не был музыкантом. Он принадлежал к числу тех людей, для которых наслаждение музыкой зависит от причин чисто субъективных, от настроения данной минуты. Подчас самая прекрасная, артистически исполненная музыка вызовет у них только зевоту; в другой же раз шарманка, визжащая на дворе, умилит их до слез.

Случилось, что в тот раз, когда я играла, Федор Михайлович находился именно в чувствительном, умиленном настроении духа, потому он пришел в восторг от моей игры и, увлекаясь по своему обыкновению, стал расточать мне самые преувеличенные похвалы: и талант-то у меня, и душа, и бог знает что!

Само собою разумеется, что с этого дня я пристрастилась к музыке. Я упросила маму взять мне хорошую учительницу, и во все время нашего пребывания в Петербурге проводила каждую свободную минутку за фортепьяно, так что в эти три месяца действительно сделала большие успехи.

Теперь я приготовила Достоевскому сюрприз. Он как-то раз говорил нам, что из всех музыкальных произведений всего больше любит la sonate pathétique** Бетховена и что эта соната всегда погружает его в целый мир забытых ощущений. Хотя соната и значительно превосходила по трудности все до тех пор игранные мною пьесы, но я решилась разучить ее во что бы то ни стало, и действительно, положив на нее про-

* изящных, приятных талантов (*франц.*).
** патетическую сонату (*франц.*).

пасть труда, дошла до того, что могла разыграть ее довольно сносно. Теперь я ожидала только удобного случая порадовать ею Достоевского. Такой случай скоро представился.

Оставалось уже всего дней пять-шесть до нашего отъезда. Мама и все тетушки были приглашены на большой обед к шведскому посланнику, старому приятелю нашей семьи. Анюта, уже уставшая от выездов и обедов, отговорилась головной болью. Мы остались одни дома. В этот вечер пришел к нам Достоевский.

Близость отъезда, сознание, что никого из старших нет дома и что подобный вечер теперь не скоро повторится, — все это приводило нас в приятно возбужденное состояние духа. Федор Михайлович был тоже какой-то странный, нервный, но не раздражительный, как часто бывало с ним в последнее время, а, напротив, мягкий, ласковый.

Вот теперь была отличная минута сыграть ему его любимую сонату; я наперед радовалась при мысли, какое ему доставлю удовольствие.

Я начала играть. Трудность пьесы, необходимость следить за каждой нотой, страх сфальшивить скоро так поглотили все мое внимание, что я совершенно отвлеклась от окружающего и ничего не замечала, что делается вокруг меня. Но вот я кончила с самодовольным сознанием, что играла хорошо. В руках ощущалась приятная усталость. Еще совсем под возбуждением музыки и того приятного волнения, которое всегда охватывает после всякой хорошо исполненной работы, я ждала заслуженной похвалы. Но вокруг меня была тишина. Я оглянулась: в комнате никого не было.

Сердце у меня упало. Ничего еще не подозревая определенного, но смутно предчувствуя что-то недоброе, я пошла в соседнюю комнату. И там пусто! Наконец, приподняв портьеру, завешивавшую дверь в маленькую угловую гостиную, я увидела там Федора Михайловича и Анюту.

Но, боже мой, что я увидела!

Они сидели рядом на маленьком диване. Комната слабо освещалась лампой с большим абажуром; тень падала прямо на сестру, так что я не могла разглядеть ее лица; но лицо Достоевского я видела ясно: оно было бледно и взволнованно. Он держал Анютину руку в своих и, наклонившись к ней, говорил тем страстным, порывчатым шепотом, который я так знала и так любила.

— Голубчик мой, Анна Васильевна, поймите же, ведь я вас полюбил с первой минуты, как вас увидел; да и раньше, по письмам уже предчувствовал. И не дружбой я вас люблю, а страстью, всем моим существом...

У меня в глазах помутилось. Чувство горького одиночества, кровной обиды вдруг охватило меня, и кровь сначала как будто вся хлынула к сердцу, а потом горячей струей бросилась в голову.

Я опустила портьеру и побежала вон из комнаты. Я слышала, как застучал опрокинутый мною нечаянно стул.

— Это ты, Соня? — окликнул меня встревоженный голос сестры. Но я не отвечала и не останавливалась, пока не добежала до нашей спальни, на другом краю квартиры, в конце длинного коридора. Добежав, я тотчас же принялась раздеваться торопливо, не зажигая свечи, срывая с себя платье, и еще полуодетая бросилась в постель и зарылась с головой под одеяло. У меня в эту минуту был один страх: неравно сестра придет за мной и позовет назад в гостиную. Я не могла их теперь видеть.

Еще не испытанное чувство горечи, обиды, стыда переполняло мою душу, главное — стыда и обиды. До сей минуты я даже в сокровеннейших моих помышлениях не отдавала себе отчета в своих чувствах к Достоевскому и не говорила сама себе, что влюблена в него.

Хотя мне и было всего 13 лет, я уже довольно много читала и слышала о любви, но мне как-то казалось, что влюбляются в книжках, а не в действительной жизни. Относительно Достоевского мне представлялось, что всегда, всю жизнь будет идти так, как шло эти месяцы.

«И вдруг, разом, все, все кончено!» — твердила я с отчаянием, и только теперь, когда уже все казалось мне невозвратно потерянным, ясно сознавала, как я была счастлива все эти дни, вчера, сегодня, несколько минут тому назад, а теперь, боже мой, теперь!

Что такое кончилось, что изменилось, я и теперь не говорила себе прямо; я только чувствовала, что все для меня отцвело, жить больше не стоит!

«И зачем они меня дурачили, зачем скрытничали, зачем притворялись?» — упрекала я их с несправедливым озлоблением.

«Ну, и пусть он ее любит, пусть на ней женится, мне какое дело!» — говорила я себе несколько секунд спустя, но слезы все продолжали течь, и в сердце ощущалась та же нестерпимая, новая для меня боль.

Время шло. Теперь мне бы хотелось, чтобы Анюта пришла за мной. Я негодовала на нее, зачем она не приходит. «Им дела нет до меня, хоть бы я умерла! Господи! Если бы мне в самом деле умереть!» И мне вдруг стало невообразимо жалко самое себя, и слезы потекли сильнее.

«Что-то они теперь делают? Как им, должно быть, хорошо!» — подумалось мне, и при этой мысли явилось бешеное желание побежать к ним и наговорить дерзостей. Я вскочила с постели, дрожащими от волнения руками стала шарить спичек, чтобы зажечь свечу и начать одеваться. Но спичек не оказалось. Так как вещи свои я все разбросала по комнате, то одеться в темноте я не могла, а позвать горничную было стыдно; поэтому я опять бросилась на кровать и опять принялась рыдать с чувством беспомощного, безнадежного одиночества.

Первые слезы, когда организм еще не привык к страданию, утомляют скоро. Пароксизм острого отчаяния сменился тупым оцепенением.

Из парадных комнат не доносилось до нашей спальни ни единого звука, но в соседней кухне слышно было, как прислуга собиралась ужинать. Стучали ножи и тарелки; горничные смеялись и разговаривали. «Всем весело, всем хорошо, только мне одной . . .»

Наконец, по прошествии, как мне казалось, нескольких вечностей, раздался громкий звонок. Это вернулись с обеда мама и тетушки. Послышались торопливые шаги лакея, идущего отворять; затем в передней раздались громкие веселые голоса, как всегда, когда возвращаются из гостей.

«Достоевский, верно, не ушел еще. Скажет ли Анюта сегодня маме, что случилось, или завтра?» — подумалось мне. А вот я и его голос различила в числе других. Он прощается, торопится уйти. Напряженным слухом я могу даже расслышать, как он надевает галоши. Вот опять захлопнулась парадная дверь, и вскоре после этого по коридору раздались звонкие шаги Анюты. Она отворила дверь спальни, и яркая полоса света упала мне прямо на лицо.

Моим заплаканным глазам этот свет показался обидно, нестерпимо ярким, и чувство физической неприязни к сестре внезапно подступило к горлу.

«Противная! радуется!» — подумалось мне с горечью. Я быстро повернулась к стене и притворилась спящею.

Анюта, не торопясь, поставила свечу на комод, потом подошла к моей кровати и простояла несколько минут молча.

Я лежала, не шевелясь, притаив дыхание.

— Ведь я вижу, что ты не спишь! — проговорила, наконец, Анюта.

Я все молчала.

— Ну, хочешь дуться, так дуйся! Тебе же хуже, ничего не узнаешь! — решила, наконец, сестра и стала раздеваться как ни в чем не бывало.

Помнится, мне снился в эту ночь чудесный сон. Вообще это очень странно: когда бы в жизни ни обрушивалось на меня большое, тяжелое горе, всегда потом, в следующую за тем ночь, снились мне удивительно хорошие, приятные сны. Но как тяжела зато бывает минута пробуждения! Грезы еще не совсем рассеялись; во всем теле, уставшем от вчерашних слез, чувствуется после нескольких часов живительного сна приятная истома, физическое довольство от восстановившейся гармонии. Вдруг, словно молотком, стукнет в голове воспоминание того ужасного, непоправимого, что совершилось вчера, и душу охватит сознание необходимости снова начать жить и мучиться.

Много есть в жизни скверного! Все виды страдания отвратительны! Тяжел пароксизм первого острого отчаяния, когда все существо возмущается и не хочет покориться и постигнуть еще не может всей тяжести утраты. Едва ли не хуже еще следующие за тем долгие, долгие дни, когда слезы уже все выплаканы и возмущение улеглось, и человек не бьется головой о стену, а сознает только, как под гнетом обрушившегося горя у него на душе совершается медленный, невидимый для других процесс разрушения и одряхления.

Все это очень скверно и мучительно, но все же первые минуты возвращения к печальной действительности после короткого промежутка бессознательности — чуть ли не самые тяжелые из всех.

Весь следующий день я провела в лихорадочном ожидании: «что-то будет?» Сестру я ни о чем не расспрашивала. Я продолжала испытывать к ней, хотя и в слабейшей уже степени, вчерашнюю неприязнь и потому всячески избегала ее.

Видя меня такой несчастной, она попробовала было подойти ко мне и приласкать меня, но я грубо оттолкнула ее с внезапно охватившим меня гневом. Тогда она тоже обиделась и предоставила меня моим собственным печальным размышлениям.

Я почему-то ожидала, что Достоевский непременно придет к нам сегодня и что тогда произойдет нечто ужасное, но его не было. Вот мы уже и за обед сели, а он не показывался. Вечером же, я знала, мы должны были ехать в концерт.

По мере того, как время шло, и он не являлся, мне как-то становилось легче, и у меня стала даже возникать какая-то смутная, неопределенная надежда. Вдруг мне пришло в голову: «Верно, сестра откажется от концерта, останется дома, и Федор Михайлович придет к ней, когда она будет одна».

Сердце мое ревниво сжалось при этой мысли. Однако Анюта от концерта не отказалась, а поехала с нами и была весь вечер очень весела и разговорчива.

По возвращении из концерта, когда мы ложились спать и Анюта уже собиралась задуть свечу, я не выдержала, и не глядя на нее, спросила:

— Когда же придет к тебе Федор Михайлович?

Анюта улыбнулась.

— Ведь ты же ничего не хочешь знать, ты со мной говорить не хочешь, ты изволишь дуться!

Голос у нее был такой мягкий и добрый, что сердце мое вдруг растаяло, и она опять стала мне ужасно мила.

«Ну, как ему не любить ее, когда она такая чудная, а я скверная и злая!» — подумала я с внезапным наплывом самоуничижения.

Я перелезла к ней на кровать, прижалась к ней и заплакала. Она гладила меня по голове.

— Да перестань же, дурочка! Вот глупая! — повторяла она ласково. Вдруг она не выдержала и залилась неудержимым смехом. — Ведь вздумала же влюбиться, и в кого? — в человека, который в три с половиной раза ее старше! — сказала она.

Эти слова, этот смех вдруг возбудили в душе моей безумную, всю охватившую меня надежду.

— Так неужели же ты не любишь его? — спросила я шепотом, почти задыхаясь от волнения.

Анюта задумалась.

— Вот видишь ли, — начала она, видимо, подыскивая слова и затрудняясь: — я, разумеется, очень люблю его и ужасно, ужасно уважаю! Он такой добрый, умный, гениальный! — она совсем оживилась, а у меня опять защемило сердце, — но как бы тебе это объяснить? я люблю его

не так, как он... ну, словом, я не так люблю его, чтобы пойти за него замуж! — решила она вдруг [7].

Боже! как просветлело у меня на душе; я бросилась к сестре и стала целовать ей руки и шею. Анюта говорила еще долго.

— Вот видишь ли, я и сама иногда удивляюсь, что не могу его полюбить! Он такой хороший! Вначале я думала, что, может быть, полюблю. Но ему нужна совсем не такая жена, как я. Его жена должна совсем, совсем посвятить себя ему, всю свою жизнь ему отдать, только о нем и думать. А я этого не могу, я сама хочу жить! К тому же он такой нервный, требовательный. Он постоянно как будто захватывает меня, всасывает меня в себя; при нем я никогда не бываю сама собою.

Все это Анюта говорила, якобы обращаясь ко мне, но, в сущности, чтобы разъяснить себе самой. Я делала вид, что понимаю и сочувствую, но в душе думала: «Господи! Какое должно быть счастье быть постоянно при нем и совсем ему подчиняться! Как может сестра отталкивать от себя такое счастье!»

Как бы то ни было, в эту ночь я уснула уже далеко не такая несчастная, как вчера.

Теперь уже день, назначенный для отъезда, был совсем близок. Федор Михайлович пришел к нам еще раз, проститься. Он просидел недолго, но с Анютой держал себя дружественно и просто, и они обещали друг другу переписываться. Со мной его прощанье было очень нежное. Он даже поцеловал меня при расставании, но, верно, был очень далек от мысли, какого рода были мои чувства к нему и сколько страданий он мне причинил.

Месяцев шесть спустя сестра получила от Федора Михайловича письмо, в котором он извещал ее, что встретился с удивительной девушкой, которую полюбил и которая согласилась пойти за него замуж. Девушка эта была Анна Григорьевна, его вторая жена. «Ведь если бы за полгода тому назад мне кто-нибудь это предсказал, клянусь честью, не поверил бы!» — наивно замечал Достоевский в конце своего письма.

Сердечная рана зажила тоже скоро. Те несколько дней, которые мы оставались еще в Петербурге, я все еще ощущала небывалую тяжесть на сердце и ходила печальнее и смирнее обыкновенного. Но дорога стерла с души моей последние следы только что пережитой бури.

Уехали мы в апреле. В Петербурге стояла еще зима; было холодно и скверно. Но в Витебске нас встретила уже настоящая весна, совсем неожиданно, в каких-нибудь два дня вступившая во все свои права. Все ручьи и реки выступили из берегов и разлились, образуя целые моря. Земля таяла. Грязь была невообразимая.

По шоссе все шло кое-как, но, доехав до нашего уездного города, нам пришлось оставить на постоялом дворе нашу дорожную карету и нанять два плохих тарантасика. Мама и кучер ехали и беспокоились: как-то мы доберемся! Мама главным образом боялась, что отец будет упрекать ее, зачем она так долго засиделась в Петербурге. Однако, несмотря на все аханья и стоны, ехать было отлично.

Помню я, как мы, уже поздно вечером, проезжали бором. Ни мне, ни сестре не спалось. Мы сидели молча, еще раз переживая все разнообразные впечатления прошедших трех месяцев и жадно втягивая в себя тот пряный, весенний запах, которым пропитан был воздух. У обеих до боли щемило сердце каким-то томительным ожиданием.

Мало-помалу совсем стемнело. По причине дурной дороги мы ехали шагом. Ямщик, кажется, задремал на козлах и не прикрикивал на лошадей: слышалось только шлепанье их подков по грязи да слабое, порывистое бряцанье бубенчиков. Бор тянулся по обеим сторонам дороги, темный, таинственный, непроницаемый. Вдруг, при выезде на полянку, из-за леса словно выплыла луна и залила нас серебристым светом, да так ярко и так неожиданно, что нам даже жутко стало.

После нашего объяснения в Петербурге с сестрой мы уже не касались никаких сокровенных вопросов, и между нами все еще существовало точно стеснение какое-то, что-то новое разделяло нас. Но тут, в эту минуту, мы, как бы по обоюдному соглашению, прижались друг к другу, обнялись и обе почувствовали, что нет больше между нами ничего чуждого и что мы близки по-прежнему. Нас обеих охватило чувство безотчетной, беспредельной жизнерадостности. Боже! как эта лежащая перед нами жизнь и влекла нас, и манила, и как она казалась нам в эту ночь безгранична, таинственна и прекрасна! [8]

ПОВЕСТИ

НИГИЛИСТКА[1]

I

Мне было двадцать два года, когда я поселилась в Петербурге. Месяца три перед тем я окончила курс в одном из заграничных университетов и с докторским дипломом в кармане вернулась в Россию. После пятилетней уединенной, почти затворнической жизни в маленьком университетском городке петербургская жизнь сразу охватила и как будто опьянила меня. Забыв на время те соображения об аналитических функциях, о пространстве, о четырех измерениях, которые еще так недавно наполняли весь мой внутренний мир, я теперь всей душой уходила в новые интересы, знакомилась направо и налево, старалась проникнуть в самые разнообразные кружки и с жадным любопытством присматривалась ко всем проявлениям этой сложной, столь пустой по существу и столь завлекательной на первый взгляд сутолоке, которая называется петербургской жизнью. Все меня теперь интересовало и радовало. Забавляли меня и театры, и благотворительные вечера, и литературные кружки с их бесконечными, ни к чему не ведущими спорами о всевозможных абстрактных темах. Обычным посетителям этих кружков споры эти уже успели приесться, но для меня они имели еще всю прелесть новизны. Я отдавалась им со всем увлечением, на которое способен болтливый по природе русский человек, проживший пять лет в неметчине, в исключительном обществе двух-трех специалистов, занятых каждый своим узким, поглощающим его делом и не понимающих, как можно тратить драгоценное время на праздное чесание языка. То удовольствие, которое я сама испытывала от общения с другими людьми, распространялось и на окружающих. Увлекаясь сама, я вносила новое оживление и жизнь в тот кружок, где вращалась. Репутация ученой женщины окружала меня известным ореолом; знакомые все чего-то от меня ждали, обо мне успели уже прокричать два-три журнала; и эта еще совсем новая для меня роль знаменитой женщины хотя и смущала меня немного, но все же очень тешила на первых порах. Ну, словом, я находилась в самом благодушном настроении духа, так сказать, переживала свою lune de miel* известности и

* медовый месяц (*франц.*).

в эту эпоху своей жизни, пожалуй, готова была бы воскликнуть: «Все устроено наилучшим образом в наилучшем из миров».

Сегодня я находилась в особенно благодушном настроении. Вчера была на вечере в редакции одного нового, только что открывшегося журнала, где и мне было предложено сотрудничать[2]. Это новое дело живо увлекало всех участников, и редакторские субботы отличались необычайным оживлением. Я вернулась домой в третьем часу ночи, встала сегодня поздно, долго провозилась за своим утренним чаем и с интересом пробежала несколько газет. Увидав объявление, что продается по случаю резной книжный шкаф, я съездила его посмотреть; по дороге встретилась на конке с одной знакомой дамой, состоявшей, подобно мне, членом комитета только что открывшихся Высших женских курсов[3], потолковала с ней «о делах», побывала еще у двух-трех знакомых, и, часам к четырем вернувшись домой, сидела теперь в покойном кресле перед затопленным камином и с удовольствием оглядывала свой нарядный кабинет. После пятилетнего мытарства по различным меблированным комнатам у немецких хозяек я была теперь довольно чувствительна к новому для меня удовольствию своего уютного уголка. В передней позвонили.

«Кто бы это был?» — подумала я, перебирая в голове имена своих разнообразных знакомых, и с некоторым беспокойством кинула взгляд в зеркало, чтобы убедиться, в порядке ли мой туалет.

В комнату вошла высокая молодая женщина в простой суконной шубке. По близорукости я не сразу могла решить, знаю ли эту особу или нет, тем более что черный головной платок почти совсем скрывал ее лицо, оставляя открытым лишь маленький, правильный, слегка подрумяненный морозом носик. Любезно, хотя и с некоторым недоумением во взгляде, поднялась я навстречу гостье.

— Извините меня, что я решилась вас обеспокоить, хотя и не знаю вас лично, — заговорила вошедшая. — Я Вера Баранцова[4]. Впрочем, вы вряд ли помните мое имя, хотя родители наши и были соседями по именью. Недавно я прочла о вас в газетах. Я знаю, что вы долго учились за границей, и о вас повсюду идет молва, что вы хороший и серьезный человек. Вот мне и пришло в голову, что вы можете помочь мне советом.

Все это пришедшая проговорила торопясь и залпом, но чрезвычайно приятным, грудным голосом. Я была и смущена и польщена этим доказательством собственной известности. В первый раз незнакомый человек обращался ко мне за советом.

— Ах, я очень рада! Пожалуйста, садитесь, Да снимите же вашу шубку, — забормотала я приветливо, тоже сильно конфузясь.

Вера сбросила с головы черный платок. Я была поражена, увидав такую красавицу.

— Я совсем одна на свете и ни от кого не завишу. Моя личная жизнь кончена. Для себя я ничего не жду и не хочу. Но мое страстное, мое пламенное желание — это быть полезной «делу». Скажите, научите меня, что мне делать? — проговорила Вера вдруг, без предисловия, сразу приступая к цели своего визита.

От всякой другой это странное, неожиданное начало могло бы поразить неприятно, показаться битьем на эффект, но Вера говорила так просто, в голосе ее слышалась такая искренняя, взволнованная, умоляющая нотка, что я и не подумала удивиться.

Эта высокая, стройная девушка с матово-бледным лицом и с задумчивыми синими глазами стала мне вдруг необыкновенно близка и симпатична. Один только был у меня страх, что я не оправдаю ее доверия, не сумею ответить как следует на ее обращение, не смогу дать ей никакого полезного совета. И собственная жизнь последних трех-четырех месяцев вдруг показалась мне пустой и мелочной; все наполнявшие меня интересы утратили смысл и значение; внезапный упрек совести кольнул меня в сердце. «Что я ей скажу? Чем помогу ей?»

Не зная, с чего начать, я пригласила Веру присесть и приказала подать чай. В России ни один разговор по душе не обходится без самовара. Что поразило меня в Вере с первого часа нашего знакомства, это — полнейшее равнодушие ко всему внешнему. Она походила на тех ясновидящих, зрение которых так поражено присутствием видимого им одним предмета, что не способно к восприятию других впечатлений. Я спросила ее, давно ли она в Петербурге, хорошо ли устроилась в отеле? Но на все эти банальные вопросы Вера отвечала рассеянно и с некоторым недовольством. Мелочи жизни, видимо, нимало не занимали ее. Хотя ей ни разу не приходилось еще жить в Петербурге, но столичная жизнь не удивляла и не интересовала ее. Она всецело была занята одной мыслью — найти назначение, цель в жизни. Меня сильно влекло к этой молодой девушке, столь не похожей на тех, каких я знала прежде. Я постаралась поэтому заслужить ее доверие, проникнуть в сокровеннейшие ее мысли. На ее вопрос я ответила, что не могу дать ей совета, пока не узнаю ее ближе. Я попросила Веру бывать у меня возможно часто и рассказать мне все ее прошлое. Вера сама только и думала о том, как бы высказаться, и на все мои вопросы отвечала с резкой откровенностью. Не прошло многих недель, и я проникла в ее сердце и стала читать в нем настолько ясно, насколько одной женщине возможно читать в сердце другой.

II

Семья графов Баранцовых — знатная дворянская семья, хотя и нельзя сказать, чтобы она была очень старинного рода. Ее официальная родословная выведена, правда, чуть ли не до Рюрика, но в полной достоверности сего документа позволено сомневаться; вполне установлено лишь то, что некий Ивашка Баранцов служил рядовым в роте ее величества императрицы Екатерины II, с лица был кровь с молоком, а ростом косая сажень, и так сумел заслужить перед матушкой-государыней, что за верную службу сразу был произведен в капралы и пожалован поместьем в пятьсот душ крестьян и тысячью рублями — души были дешевы, а деньги дороги в то время. С этой поры началось процветание рода Баранцовых. Графским титулом они были пожалованы Александром I, при дворе которого красивая графиня Баранцова играла некоторое время очень видную роль. Впрочем, в семейных летописях этого рода, за послед-

ние сто лет, насчитываются не одни только успехи; терпел он и превратности.

Все Баранцовы отличаются пылкостью и необузданностью желаний, и свойство это не раз вводило их в беду. Не одно богатое поместье, не одна доходная волость были ими за это время проиграны в карты или спущены на лошадей и на красавиц. В судьбе баранцовской семьи наступало тогда временное помрачение; но по милости божьей эта легкая тучка скоро рассеивалась солнышком государевой милости. Кто-нибудь из Баранцовых всегда умудрялся вовремя сослужить службу царю и отечеству, и новые богатые поместья являлись на место утраченных, так что в общей сложности семья продолжала расти и преуспевать. Но если поместья быстро спускались и быстро наживались в их роде, зато одно драгоценное наследство переходило у них неизменно из поколения в поколение, от отца к сыну и от матери к дочери — это была необыкновенная, так сказать, фамильная красота. Все Баранцовы хороши собой. Не только уродов или безобразных, но и просто дурнушек между ними не полагается. Как бы испытывая естественное влечение к красоте или инстинктом предугадывая Дарвина, все графы Баранцовы женились на красавицах, все их дочери находили себе красавцев мужей; так что теперь фамильный тип установился прочно и так хорошо известен в русской аристократии, что, если вам скажут про кого: у него или у нее совсем баранцовское лицо, и в вашем воображении не выступит тотчас же определенный образ — высокий, статный рост, матово-белое продолговатое лицо с легким, прозрачным румянцем на щеках, низкий, широкий лоб с тонким узором синеватых жилок на висках, черные, как воронье крыло, волосы и синие, с черными ресницами глаза, — то это значит, что вы к аристократии не принадлежите и в делах of the upper ten thousands * в России ничего не смыслите.

Этот баранцовский тип такой прочный и живучий, что в доброе старое крепостное время в нем заметили даже способность переходить на крестьян и на дворню в графских именьях. Удивительное было дело! Стоит только самому барину или молодым господам погостить у себя в усадьбе, непременно потом в той или другой крестьянской избе — и притом все в таких, где бабы молодые и пригожие, — родится на свет ребенок, ну вылитый маленький Баранцов, с такими же тонкими, благородными чертами лица, как и у детей в господском доме.

Граф Михаил Иванович Баранцов был достойным отпрыском своего семейства. Красавец собой, он имел счастье родиться в начале царствования Николая, в период полного расцвета петербургской гвардии. Прослужив несколько лет в кирасирском полку, сокрушив множество женских сердец и честно заслужив себе между товарищами лестное прозвище «гроза мужей», он, в молодых еще годах, влюбился без памяти в дальнюю свою родственницу, Марью Дмитриевну Кудрявцеву, тоже носив-

* верхних десяти тысяч (*англ.*).

шую на своем красивом, точно выточенном резцом великого художника лице явную печать баранцовского рода. Встретив с ее стороны взаимность, он обвенчался с ней и продолжал служить. Может быть, он дослужился бы до высоких чинов, но в начале царствования Александра II с ним случилась маленькая неприятность, причина которой тоже лежала в бурной баранцовской крови и в роковой баранцовской красоте. Приревновав свою красавицу жену к другому гвардейскому офицеру, он вызвал его на дуэль и убил наповал. Историю затушили с грехом пополам, но молодому графу все же неловко было оставаться после этого в своем полку: он был вынужден подать в отставку и уехать в именье, которое только что унаследовал от своего отца, скончавшегося как раз впору.

Это было в 1857 году. В Петербурге ходили уже неясные слухи о предстоящей эмансипации крестьян, но до Борков, так звали именье графов Баранцовых, эти слухи еще не доходили. Там все еще шло добрым, старым порядком. Как велико было в то время состояние графа Михаила Ивановича, в точности не знал никто, всех менее он сам. Именье было большое, хотя и далеко не таких уже размеров, как прежде. Покойник папаша, будь ему добрая память, тоже любил пожить себе в удовольствие, и еще при нем была вырублена большая часть леса и продано немало десятин лугов. Михаил Иванович после почти пятнадцатилетней службы в кирасирах, разумеется, не без долгов оставил Петербург. Свое правление он начал с того, что для покрытия старых грехов продал еще порядочный кусочек земли, да и на остальное именье выдал новую закладную. Пока, однако, все это устраивалось благополучно, и графа не беспокоили. Староста был молодец; все умел устроить без шуму, без лишних разговоров: когда барину нужны были деньги, они всегда оказывались у него под рукой.

В эпоху их переселения в деревню граф Михаил Иванович и графиня Марья Дмитриевна, несмотря на трех подрастающих дочерей, все еще были и считали себя очень молодыми людьми. Забот и обязанностей они за собой никаких не ведали, и никто не отрицал за ними права жить в полное себе удовольствие.

Жизнь в деревне пошла прежним путем, веселая и вольная. Все в доме еще при покойном барине было заведено на широкую, барскую ногу: тридцать выездных лошадей на конюшне, английский сад, оранжереи и теплицы, масса праздной, ленивой дворни. Единственное изменение, которое привезли с собой молодые господа, состояло в том, что к затеям старого барства они присоединили много разных столичных, более утонченных прихотей, о которых прежде в деревне не грезили. В парадных комнатах перебили всю мебель шелковой материей. Полы и окна прежде стояли голые — теперь всюду разостлали ковры и навесили портьеры. Лакеи ходили прежде в засаленных сюртуках с барского плеча — теперь им пошили форменные ливреи. Кухню отдали в распоряжение повара, учившегося в Английском клубе, а в девичьей к толпе доморощенных горничных, с утра до ночи занятых шитьем, вышиваньем, плетеньем кружев, присоединили еще франтоватую камеристку из вольных.

Своим примером молодые господа имели благотворное влияние и на соседей. Губернатор в речи, произнесенной им на обеде в честь новоприезжих, сказал недаром, что они внесли новую жизнь в губернию. Действительно, с их приездом началась эра праздников, пиров и удовольствий. Никто не хотел ударить в грязь лицом перед столичными гостями. Помещики и помещицы стряхивали с себя деревенскую лень. Прежние бесхитростные забавы, тяжелые именинные обеды, карты и пляска заменились теперь более утонченными, так сказать, интеллектуальными удовольствиями. В первый же год после переезда графов Баранцовых в имение в их губернском городе состоялся любительский спектакль, концерт с живыми картинами и маскарад по подписке.

И Михаил Иванович и Марья Дмитриевна были в восторге от произведенного ими в губернии впечатления, и оба вполне прониклись важностью своей, так сказать, цивилизаторской миссии. Граф произнес даже на одном официальном обеде спич о значении английской gentry * и о желательности, чтобы русские помещики превратились в английских landlord' ов **.

Графиня тоже трудилась немало для облагороживания провинциальных нравов. Она считала себя обязанной выписывать дорогие туалеты из Петербурга. Дом Баранцовых был всегда открыт для гостей. Обед был поздний, по-городскому, и все домашние были обязаны переодеваться перед обедом, как водится у англичан. За закуской подавалась не простая очищенная, а английская горькая.

Дом Баранцовых, тяжеловесной старинной постройки с каменными стенами аршина в два толщиной по наружному виду напоминал огромный четырехугольный ящик, к которому, бог знает для чего, прилеплены в разных местах фантастические фонари и балкончики. Вообще он был того определенного, хотя, кажется, еще ни в одном учебнике архитектуры не отмеченного стиля, который следовало бы назвать крепостным стилем. Всего было много, материалом всюду сорили, но все было как-то грубо и топорно. На всем было видно, что дом этот строился в такое время, когда труд был даровой и все обходились домашними средствами. Кирпичи обжигались на своем заводе, паркеты изготовлялись из своего леса и своими крепостными; даже архитектор, делавший план, и то был крепостной.

По внутреннему расположению комнат дом Баранцовых тоже не отличался от большинства помещичьих домов того времени; наверху жили господа, внизу были детские; подвальный этаж был отведен под кухню и для прислуги.

До подвального этажа графиня спускалась только в светлый праздник, когда шла христосоваться со всей дворней; но в детские она иногда заглядывала и в простые дни, когда позволяло ей время, то есть когда не было

* дворянство (*англ.*).
** помещиков, землевладельцев (*англ.*).

гостей или она сама не собиралась в гости, — это, впрочем, случалось не очень часто.

В детских баранцовского дома росли и развивались три барышни на попечении двух гувернанток, из которых одна, m-lle Julie, была высокая, очень живая и разговорчивая брюнетка неопределенного возраста, а другая, m-me Night, — почтенная вдовица со строгим монументальным лицом, обрамленным крупными седыми буклями. Сверх этих двух гувернанток при детях состояло еще немало другого народа: старая няня, горничная Анисья и девчонка для побегушек.

Ну, словом, все было так, как и следовало быть в порядочном барском доме. Все три барышни были высоки для своих лет, у всех троих были отличные густые волосы, которые по утрам заплетались в косу, а к обеду распускались по плечам, и все три обещали со временем быть красавицами.

Две старших, Лена и Лиза, стояли, так сказать, уже на пороге детской, и в скорости им предстояло выпорхнуть в гостиную. Одной из них было четырнадцать, другой тринадцать лет. Обе они уже со страстным любопытством прислушивались к каждому доносящемуся до них отголоску из верхнего этажа, и обе сильно роптали на то, что их водят еще в коротеньких платьях.

Третья барышня, Вера, была еще совсем маленькой девчонкой, лет восьми, с кругленьким румяным лицом и с тем страстным созерцательным взглядом, который почти всегда бывает в глазах ребенка, живущего своей особой детской жизнью. Она пока ни на что не роптала. Как у всех детей, жизнь которых идет правильно, в ней были сильно развиты консервативные инстинкты; ко всему окружающему она была привязана бессознательною, животною привязанностью холеного комнатного зверька, и ей еще ни разу не приходило в голову усомниться в достоинствах кого-нибудь из ее близких. Ее мама была лучшая из мам, ее детская — лучшая из детских.

Да и действительно, все в доме шло прекрасно. Всякий сверчок знал свой шесток, и всем жилось мирно, покойно, как всегда бывает во всяком обществе, где есть прочные устои и где отдельной личности не предоставлено биться головой об стену, ища какого-то своего собственного, отдельного исхода.

Вообще о любви и думалось, и шепталось, и мечталось немало в нижнем, как и в верхнем этаже баранцовского дома.

Да и что, в самом деле, кроме радостей и печалей любви, могло, казалось, перерезать прямую, ровную, как полотно, дорогу, расстилавшуюся пред всеми тремя барышнями Баранцовыми. Во всех остальных отношениях их жизнь была определена и предусмотрена наперед. У папы с мамой совсем было решено, что Митино пойдет в приданое за Леной, Степино — за Лизой, а Борки достанутся младшей — Вере.

Знали тоже и граф, и графиня, что в свое время, годика через три-четыре, непременно явится какой-нибудь гусар или драгун и уведет Лену;

потом, немного погодя, явится другой гусар и уведет Лизу. А там придет черед и за Верой.

Будут дети жить не в Борках, а в другом доме, будет им прислуживать не Анисья, а другая какая-нибудь горничная, но за этими маленькими изменениями повторит каждая мамину судьбу, как и мама повторила судьбу бабушки. Все это было очень просто и очень верно и зналось само собой, не думая, как знается то, что и завтра будет обед, и послезавтра.

Но все эти верные и несомненные расчеты внезапно пересеклись одним неожиданным событием, то есть, по правде сказать, событие это было не совсем неожиданное, так как уже лет двадцать о нем говорилось, к нему готовилась Россия; но, как и все великие события, оно имело то свойство, что когда наконец совершилось, всем показалось, что оно налетело врасплох и застало всех неприготовленными.

Первую тень этого грядущего события увидела Вера при следующих обстоятельствах. В конце 1860 года был у Баранцовых семейный обед, на котором, кроме обычных тетушек, бабушек и близких соседей, присутствовал еще один редкий и почтенный гость — дядюшка из Петербурга, важный сановник в каком-то министерстве. Приехал он всего сегодня поутру и за обедом, разумеется, почти что один говорил, рассказывал разные новости из высших правительственных сфер, о которых по газетам ничего ведь не узнаешь.

Однако во время обеда графиня несколько раз перебила его, именно тогда, когда рассказ становился всего оживленнее.

— Stépan! prenez garde *, —говорила она, таинственно кивая головой на разносивших блюда лакеев, хотя эти последние и сохраняли обычную вполне безучастную мину.

После десерта перешли в гостиную. Граф сам удостоверился, закрыты ли двери во всех соседних комнатах.

— Vous pouvez parler, Stépan! ** — сказал он торжественно.

Вера сидела на коленях у нового дядюшки, с которым она уже успела подружиться. На нее не обратили внимания, думая, вероятно, что она еще ничего не поймет.

— C'est fait! L'empereur a souscrit le projet qui lui a été présenté par la comission ***, — торжественно проговорил дядюшка.

У мамы, разливавшей в эту минуту кофе, бессильно опустились руки; ложечка зазвенела о блюдечко, и несколько капель кофе пролились на дорогую скатерть.

— Mon Dieu, mon Dieu ****, — проговорила она, падая в кресло и закрывая лицо руками.

* Степан! будьте осторожны (*франц.*).
** Можете говорить, Степан! (*франц.*).
*** Все кончено! Государь подписал проект, представленный ему комиссией (*франц.*).
**** Боже мой, боже мой! (*франц.*).

Все присутствующие сидели как ошеломленные дядиными словами.

— Неужели действительно совсем уже решено? — тихим, насильственно-спокойным голосом спросил папа.

— Совсем и нерушимо! В начале февраля манифест разошлют по всем приходским церквам, чтобы девятнадцатого объявить его народу, — помешивая свой кофе, отвечает дядя.

— Значит, остается теперь только положится на милость божью, — со вздохом говорит папа.

Несколько минут общего тяжелого молчания.

— Господа, да ведь что ж это? По-моему, это грабеж, да и только, — раздается вдруг голос старика Семена Ивановича — папиного дяди.

Он вскакивает в волнении со своего места и ударяет кулаком по столу. Белые волосы его развеваются вокруг его разгоряченного, гневного лица.

— Не кричите, дядя, бога ради! Les domestiques peuvent entendre *, — пугливо умоляет мама.

— Да объясните же вы мне наконец, что же это такое будет? Значит, слушатся нас теперь перестанут, так, что ли? — с растерянным и обиженным видом вмешивается в разговор старая тетка Арина Ивановна.

— Не приставай с пустяками, сестра, — нетерпеливо отстраняет ее рукой папа, — дай расспросить Степана обо всем толком, как следует.

Мужчины собираются кучкой вокруг Степана Михайловича, который начинает что-то горячо толковать. Дамы все продолжают отчаиваться.

— Comment est-ce que l'empereur, qui a l'air si bon, peut nous faire tant de peine **, — удивляется одна из них.

Человек входит убрать кофе. Все моментально смолкают.

— Барышня, вы оставались сегодня в гостиной после обеда. Не слыхали ли, о чем господа толковали? — спрашивает поздним вечером Анисья, укладывая маленькую барышню спать.

Из того, что говорилось в гостиной, Вера поняла, что всему их семейству грозит какая-то беда. Никто и не подумал о том, чтобы приказать ей молчать, но кастовая жилка уже так сильна в породистом зверьке, что она отвечает с достоинством:

— Я ничего не слыхала, Анисья!

Хотя теперь уже всем известно, что манифест не только подписан государем, но и разослан по всем приходам, однако до последнего дня, до последней минуты господа продолжают бояться, чтобы прислуга, неравно, этого не услыхала.

Прислуга, с своей стороны, и виду не подает, что что-либо знает, и все разговоры в передней и в буфете столь же живо смолкают при приближении кого-нибудь из господ, как разговоры в гостиной при появлении кого-либо из людей.

* Прислуга может услышать (*франц.*).

** Как мог государь, который кажется таким добрым, причинить нам столько горя (*франц.*).

Но вот наступило, наконец, это грозное, это давно ожидаемое, это чреватое последствиями 19 февраля[5]. Вся семья Баранцовых едет в церковь. После обедни священник прочтет манифест.

К девяти часам утра уже все в доме готовы и одеты. Все сегодня делается лихорадочно и в то же время торжественно, вроде того, как бывает, например, когда едут на похороны. Все боятся промолвить лишнее слово.

Дети и те чувствуют инстинктом важность и торжественность сегодняшнего дня, ведут себя тихо и смирно и ни о чем не смеют расспрашивать.

У парадного подъезда стоят две коляски. Экипажи вычищены с иголочки; на лошадях лучшая сбруя; кучера в новых кафтанах. Папа тоже во всем параде, в мундире и с орденами. Мама в дорогой бархатной мантильке; дети разряжены, как куколки.

В переднюю коляску садятся господа: граф и графиня на переднем, три девочки на заднем сидении. В другом экипаже размещаются гувернантки, экономка и управляющий. Остальная дворня отправляется в церковь пешком. Кроме малых ребят и выжившего из ума старого Матвея, никого не остается дома.

До церкви три версты. Во время дороги мама часто подносит к глазам раздушенный платок. Папа сурово молчит.

Вся площадь перед папертью черна народом. Собралось тысячи две-три мужиков и баб из окрестных деревень. Издали кажется, что это одна сплошная масса серых зипунов, среди которых то здесь, то там краснеет яркий бабий головной платок.

— Ce spectacle me fait mal! Je pense involontairement à 89[6] *, — истерически бормочет графиня.

— De grâce, taisez-vous, ma chère **, — взволнованным шепотом отвечает граф.

И сегодня, как и всегда по праздникам, церковный сторож поджидает на колокольне появления господской коляски, и лишь только она показывается на повороте дороги, колокола начинают звонить.

Церковь набита битком; кажется, яблоку негде упасть; но по старой закоренелой привычке вся эта сплошная толпа почтительно расступается перед господами и пропускает их вперед, на их обычное место у правого клироса.

— Миром господу помолимся, — провозглашает священник, выходя из алтаря в полном облачении.

— И духове твоему, — отвечает хор певчих.

Вся эта густая, серая, темная масса молится сегодня, как один человек, сосредоточенно, исступленно. Мужики и бабы часто крестятся и кладут земные поклоны. Смуглые, суровые, изборожденные глубокими мор-

* Это зрелище меня удручает! Я невольно вспоминаю 89-й год (*франц.*).

** Ради бога, замолчите, дорогая (*франц.*).

щинами лица, как судорогой, сведены напряженностью молитвы и ожидания.

Храм воздыханья, храм печали,
Убогий храм земли моей,
Тяжеле вздохов не слыхали
Ни римский Петр, ни Колизей[7].

Но сегодня не вздохи и не стоны слышатся в этом храме. Сегодня в нем, да не только в нем одном, но и в каждой из многих ста тысяч церквей земли русской возносят к небу такие жаркие, преисполненные бесконечной веры и страстного упования молитвы, какие, может быть, ни разу с тех пор, как земля стоит, не возносились зараз целым стомиллионным народом.

«Господи, владыко наш! Смилуешься ли ты над нами? Скорбь наша велика и многолетня! Будет ли теперь лучше?»

Что-то скажет царский манифест? До сих пор даже и господам содержание его известно только по слухам. В доподлинности же никто еще ничего не знает, так как манифесты разосланы священникам, запечатанные казенной печатью, которая будет взломана лишь по окончании обедни.

От необычайного скучения черного народа и от множества зажженных свечей в маленькой спертой церкви, несмотря на открытые двери и окна, становится нестерпимо душно. Тяжелый запах потного платья и грязных сапог смешивается с гарью восковых свечей и с благоуханием ладана. Дым кадила синими клубами возносится кверху. Воздуха не хватает; грудь вздымается тяжело и болезненно, и это физическое страдание от затрудненного дыхания, присоединяясь к напряженности ожидания, становится нестерпимой мукой, вызывает чувство безотчетного страха.

— Скоро ли, скоро ли? — истерически шепчет графиня, судорожно сжимая руку мужа.

Священник выносит крест. Проходит добрых полчаса, пока все присутствующие успевают к нему приложиться. Кончилось, наконец, прикладывание. Священник на минуту скрывается в алтаре и затем снова появляется на амвоне; в руках у него сверток гербовой бумаги, с которого висит большая казенная печать.

Глубокий, протяжный вздох проносится по церкви, словно вся толпа вздохнула зараз, одной грудью. Но в эту минуту происходит неожиданное замешательство. Огромное большинство народа, которому не удалось пробраться в церковь, спокойно оставалось на паперти, пока шла обедня, но теперь терпения не хватает. В открытой настежь двери толпа делает дружный и неожиданный натиск вперед, происходит нечто невообразимое. Люди, стоящие впереди, кучами валятся на ступеньки амвона. Крики, ругательства, стоны, визг детей.

— Mon Dieu! mon Dieu! prenez pitié de nous! * — чуть не плачет гра-

* Боже мой! боже мой! будь милостив к нам! (*франц.*).

финя, хотя ей, под защитой клироса, и не грозит никакой опасности. Дети тоже вне себя от страха.

Через несколько минут порядок в церкви восстановлен. Снова безмолвная, напряженная, благоговейная тишина. Все слушают жадно, сдерживая дыхание, порой только вырвется глухой, сдавленный свист из груди старика, страдающего одышкой, или заплачет грудное дитя: но мать так поспешно, так испуганно принимается его укачивать, что ребенок смолкает моментально.

Священник читает медленно, нараспев, растягивая слова, так же, как он читает евангелие.

Манифест написан канцелярским, книжным языком. Мужики слушают, не переводя духа, но, как они ни напрягают свои головы, из этой грамоты, решающей для них вопрос — быть или не быть, одни отдельные слова доходят до их понимания. Общий смысл остается для них темным. По мере того как чтение приближается к концу, страстная напряженность их лиц мало-помалу исчезает и заменяется выражением тупого, испуганного недоумения.

Священник кончил чтение. Мужики все еще не знают наверное, вольные они или нет, и главное, — жгучий, жизненный для них вопрос, — чья теперь земля? Молча, понурив головы, толпа начинает расходиться.

Господская коляска подвигается шагом среди кучек народа. Мужики раздвигаются перед ней и снимают шапки, но не кланяются, как бывало, в пояс и хранят странное, зловещее молчание.

— Ваше графское сиятельство! Мы ваши, вы наши! — раздается вдруг среди общей тишины смелый, пьяный голос, и ледявый мужичонка, в изодранном тулупе, без шапки, уже успевший нализаться, пока шла обедня, бросается к коляске, стремясь на бегу прикоснуться губами к господской ручке.

— Не суйся! — злобно отстраняет его рослый парень с угрюмым, мрачным лицом.

Вечером того же дня вся семья Баранцовых собрана в маленькой гостиной графини. Кроме домашних и m-lle Julie, тут еще и тетушка Арина Ивановна и дядюшка Семен Иванович. В обыкновенное время все сидят по вечерам в разных комнатах, но сегодня чувство общей беды заставляет всех держаться вместе, тесной кучкой. Мама лежит на кушетке в мигрени. M-lle Julie прикладывает ей свежие компрессы к вискам. Папа, заложив руки за спину, расхаживает по комнате мрачный и задумчивый. Дядюшка забился в угол и глубокомысленно сопит. Тетушка раскладывает гранпасьянс, время от времени громко вздыхая.

На дворе поднялась к вечеру страшная метель; в трубе словно живой кто-то возится и завывает тоскливо и протяжно.

Вдруг налетит порыв ветра, хлопнет ставней, загремит железными листами на крыше. Графиня всякий раз вздрогнет и привскочит на кушетке. В комнате становится все темней и темней. Ампель на столе, как ее ни заводи, горит тускло и копотно; очевидно, следовало бы подлить

масла. Но все делают вид, будто этого не замечают. Прислуга вся сегодня разбежалась куда-то, и никому не хочется встать и позвать лакея.

— Мужики у лесковского барина намедни дом спалили! — выговаривает неожиданно тетушка.

— И не то еще спалят! — слышится из угла зловещее карканье старого дяди.

— Да, заварили кашу! — продолжал он через несколько минут унылым, пророческим глосом. — Посмотрим, каково ее будет расхлебывать. Пусть вот она, — он указывает рукою на m-lle Julie, — порасскажет нам, каково было у них в восемьдесят девятом году.

— Mon Dieu! mon Dieu! que l'avenir est terrible *, — нервно шепчет мама.

— Полноте вздор болтать! Русский мужик не якобинец. — Папа говорит спокойно, ободряюще, но видно, что тон этот напускной, что он сам далеко не спокоен.

— Ах нет, Michel, мужик наш зверь, мужик наш хуже французского! — Мама в волнении привстает на кушетке и опирается на локоть. — Ты ведь знаешь, что мужики нас ненавидят...

В соседней комнате скрипит дверь. Все вздрагивают и пугливо оглядываются. У мамы вырывается испуганное «ах!»

Это пришел Степан доложить, что чай подан.

Вере пора ложиться спать. В детской никого нет. Она отворяет дверь в коридор. Снизу из людской, где ужинают люди, доносятся неясные звуки голосов, звон ножей о тарелки, раскаты хохота.

Вере строго запрещено бегать в людскую; но сегодня о ней забыли. Ей и страшно, и хочется взглянуть, что-то там делается. Несколько минут она стоит в нерешительности; но она не робкого десятка; любопытство берет верх, и она стрелой пускается вниз, в подвальный этаж.

Там идет пир горой. Поутру настроение духа прислуги было сдержанное, даже несколько подавленное; боязно было еще верить; но к вечеру диапазон повысился. За ужином откуда-то взялась водка; все подпили, сдержанности не осталось и помину. У всех пылают лица, глаза подернулись влагой, волосы растрепаны.

Запах щей и ржаного хлеба, смешанный с тяжелыми парами водки и с едким, разъедающим глаза дымом махорки, нестройные звуки гармоники, пьяные голоса, покрывающие друг друга, — вот что охватило Веру при входе в людскую. При появлении барышни все внезапно стихло и подтянулось; но только на минуту; скоро опять поднялся шум.

— Барышня, а барышня! Подь-ка сюда! Не бойсь! — послышался пьяный голос кучера. — Что, господа наверху плачут, чай? Жаль им, что тиранить-то нас им больше не дадут?

— Неправда! Неправда! Вас никто не тиранил. Папа с мамой добрые!

* Боже мой! боже мой! как ужасно будущее! (*франц.*).

Эти слова криком вырываются у Веры. Она в бессильном гневе топает ногой о землю. Баранцовская кровь проснулась. Ей бы хотелось ударить, прибить этих бесстыжих холопов. Негодование и обида совсем заглушили в ней страх.

— Не тиранили! Как же! А дедушка-то ваш покойный мало на своем веку людей изувечил? Зачем он Андрюшку-столяра не в очередь в солдаты сдал? Зачем он девку Ариньюна скотный двор сослал? — раздаются с разных сторон несколько голосов разом.

Гармоника смолкла. Вся дворня собралась кучкой, и посыпались рассказы про доброе старое время, рассказы страшные, возмутительные, какие и во сне не грезились Вере.

— Но ведь то был дедушка, а папа с мамой добрые!

Вера не кричит теперь; она говорит тихо, сквозь слезы, пристыженным голосом.

Минутное молчание.

— Да, молодые господа ничего себе, добрые! — как бы нехотя соглашаются несколько человек.

— Это теперь наш барин присмирел, а как холостым был, и он-таки порядком над нами, девками, надругался, — злобно замечает старая подпившая ключница.

— Безбожники вы! Греховодники! Ребенка малого не жалеете! — раздается вдруг гневный, негодующий голос няни.

Она уже давно хватилась своей питомицы и бегала за ней по всему дому; но ей и в голову не приходило искать ее в людской.

Долго не может уснуть в эту ночь Вера. Новые, страшные, унизительные мысли бушуют в ее голове. Она сама не могла бы объяснить хорошенько, чего ей так жалко, почему ей так горько, так мучительно стыдно. Она только лежит в своей постельке и плачет, плачет. А снизу, из подвального этажа, все доносится топанье ног, нестройные звуки гармоники и пьяные, бессвязные взвизгивания плясовой песни.

III

После эмансипации все в доме сразу переменилось. Доходы с имения так уменьшились, что пришлось все хозяйство поставить на иную ногу. Староста из молодца внезапно превратился в мерзавца; то и дело грубил барину, во всем находил затруднения и никогда не приносил денег в срок. Надо было его отставить и взять нового, но с этим все пошло еще хуже. Чуть ли не каждый день словно из земли вырастали старые векселя и обязательства, подписанные графом так давно, что он и забыть о них успел. При виде всякого нового векселя граф выходил из себя, кричал о подлоге, но платить все-таки приходилось. Скоро явилась необходимость продать и Митино, и Степино, и заливные луга, и лес; остались одни

только Борки с незначительным клочком земли. Главная беда была в том, что покупать именья теперь мало было охотников, и все шло за полцены.

Большую часть дворни пришлось распустить; та же прислуга, которая осталась в доме, с детства привыкла к лени и безделью и теперь ворчала с утра до ночи на то, что ей прибавилось работы. У господ сердиться и «быть не в духе» сделалось нормальным состоянием. Между собой они тоже постоянно ссорились; но теперешние ссоры так же мало походили на прежние, как холодный обложной осенний дождь мало походит на хороший весенний ливень. Не из-за ревности ссорились теперь граф с графиней, а из-за денег, не из-за чего иного, как из-за денег. Всякий раз, когда графиня приходила просить денег на хозяйство, граф осыпал ее упреками за расточительность, небрежность, отсутствие порядка. Ни один заказ нового платья ей самой или дочкам не обходился без домашней сцены. С другой стороны, стоило графу заикнуться о поездке в город или к кому из соседей, чтобы у графини тотчас разыгрались нервы; но не хорошеньких соседок опасалась она теперь, а того, что муж проиграется в карты или иначе как-нибудь истратит деньги.

С каждым днем дела шли хуже и хуже. Приходилось отказываться от одной прихоти за другой, но денег все-таки не хватало, и концы все не сходились с концами. Как все непрактичные люди, граф с графиней принялись за экономию не с того конца, с какого следовало: в домашнем обиходе они урезывали себя в самом необходимом, дрожали над каждым куском сахара, над каждым сальным огарком; но все крупные расходы по дому и имению оставались те же. Управляющий, староста, экономка, повар, кучер — все это по-старому наживалось на счет господ, с тою только разницею, что прежде каждый воровал в меру и, так сказать, по-божески; теперь же постоянные сцены, попреки зря, правому и виноватым, вечные угрозы отказать от места ожесточали прислугу: каждый торопился нахапать как можно больше напоследок, и барское добро расточалось с азартом и озлоблением.

Все в доме носило теперь неуютный, скряжнический отпечаток. Под давлением ежедневных разъедающих дрязг и неприятностей и граф, и графиня опустились как-то вдруг, внезапно. Когда Вера впоследствии вспоминала свою мать, ей всегда представлялось две различных и вовсе непохожих друг на друга женщины: одна — молодая, красивая, жизнерадостная — это мама ее детства; другая — капризная, сварливая, неряшливая, отравляющая жизнь себе и другим — это мама позднейшего периода.

У всех соседей дела шли на тот же лад. Помещики утратили почву под ногами и стояли недоумевающие, беспомощные, ничего не понимая в том, что с ними творилось. Об удовольствиях и весельях не было и помину. Когда соберутся два-три помещика вместе — сидят они и плачутся, и отводят души жалобами на мужиков и на правительство. Все наиболее молодые и энергичные между ними в отчаянии махнули рукой на хозяйство и уехали в Петербург искать службы. В усадьбах остались одни старики.

Лена и Лиза Баранцовы были теперь взрослыми барышнями. Обе изнывали от деревенской скуки и горько роптали на судьбу. Действительно, она сыграла с ними злую шутку. Что сталось со всеми их блестящими надеждами? Все их детство, все их воспитание было, так сказать, только приготовлением к тому счастливому дню, когда наденут на них длинное платье и выпустят в свет. И вот пришел этот день и, кроме скуки, ничего не принес.

Вере тоже жилось не особенно весело. Первая мера экономии в семье Баранцовых состояла в том, чтобы распустить весь персонал детской. M-me Night отказали под каким-то благовидным предлогом; m-lle Julie соскучилась и сама уехала. Родители Веры решили, что держать для нее одной специальную гувернантку было им не по средствам. В губернском городе открылась в это время первая женская гимназия; но туда поступали все больше мещанки, дочери мелких чиновников и купцов, и графиня Баранцова с самого начала возымела отвращение к этому заведению. Решено было отдать Веру в Смольный монастырь. Разговоры об этом шли чуть ли не год; наконец графиня написала своей старинной приятельнице в Петербург, прося ее хорошенько все разведать об условиях приема, и вдруг получился неожиданный и досадливый ответ, что Вера уже выросла из тех лет, как могла бы быть принята в Смольный.

Граф теперь приказал Лене и Лизе заняться воспитанием младшей сестры.

Но это решение пришлось далеко не по вкусу молодым барышням.

— В гувернантки нас готовили, что ли? — ворчали они и принялись за дело нехотя.

Вера была, по их словам, и глупа, и ленива, и непонятлива. Ни один урок не обходился без слез. И учительницы, и ученица пользовались всяким предлогом, чтобы сократить его, и так как родители, с своей стороны, скоро, по-видимому, забыли этот несчастный вопрос о воспитании младшей дочери, то уроки мало-помалу совсем прекратились, и в четырнадцать лет Вера оказалась вполне предоставленной самой себе.

Летом еще шло кое-как. Она целые дни проводила в одичавшем парке или бегала по окрестным полям и лесам. Крестьянские ребятишки ее дичились, да, по правде сказать, и она их боялась не меньше. Когда ей случалось проходить через село, ей всегда казалось, что все над ней смеются и презирают ее; она начинала испытывать какое-то инстинктивно враждебное чувство к мужикам.

Зимой Вере жилось еще хуже, чем летом. Она слонялась по целым дням из угла в угол по большим пустым комнатам, не находя себе нигде дела. Со скуки стала она было рыться в книжном шкафу, но там оказались одни только французские романы, а Вера уже успела почти совсем забыть французский язык, на котором она так хорошо болтала пяти лет.

Всего хуже было то, что все в доме постоянно были не в духе. Куда ни придет Вера, все между собой ссорятся, и ей от всех достается. Заглянет она к сестрам — те бранятся из-за какого-нибудь пустяка, из-за тряпки, которую поделить не могут. Если же они, против чаяния, в доб-

ром между собой согласии, то уж наверное обе жалуются на родителей: «Сами небось не так жили, когда молоды были. Спустили все состояние, а мы теперь сиди и скучай в деревне».

Придет Вера к матери: застанет там сцену с горничной или экономкой. Побежит она в людскую: там и того хуже.

Ну, словом, казалось, что все только затем и жили на свете, чтобы взаимно мучить и грызть друг друга. Единственная в доме, которая никого не мучила, никого не грызла и ни на что не жаловалась, это была старая няня. У этой только одна была забота на душе: как бы лампадка перед образом в углу ее комнатки не погасла. Дадут ей несколько копеек на покупку масла — вот она и счастлива, и довольна. Полуслепую, отслужившую свою службу старушку оставили при доме, но все как будто о ней забыли; иногда по целым дням никто и не заглянет к ней за перегородку. Разве горничная вспомнит и принесет ей чего-нибудь поесть или ее прежняя любимица Вера забежит к ней вечерком. Всякий раз при входе в нянину крошечную каморку, где всегда стоит какой-то особенный запах — смесь ладана, деревянного масла и камфары, — удивительное чувство покоя охватывает Веру.

— Скучно, няня, — говорит она, уныло опускаясь на низенький стул и прислоняя голову к деревянному столу.

— Чего, светик, скучать. Богу надо молиться, — спокойно, ласково отвечает няня тем самым голосом, каким уговаривала, бывало, Веру, когда ей было пять лет.

И Вера действительно следует няниному совету и начинает молиться. Молится она горячо, страстно, с каким-то исступлением. Увлечение религией, ее обрядовой, внешней стороной начинает мало-помалу наполнять праздную, скучную жизнь предоставленного себе ребенка.

В нынешнем году три недели перед рождеством Вера соблюдала строжайший пост и в самый сочельник ничего не ела до звезды. Зато, когда к началу сумерек приехали, по обыкновению, попы и стали служить всенощную перед временным алтарем, устроенным в углу столовой, она чувствовала такую приятную слабость во всех членах, словно у ней не было больше тела и она каждую минуту была бы в состоянии отделиться от земли.

Синий дым кадил застилает всю комнату густым туманом, сквозь который мерцает пламя восковых свечей. Пронзительно сладкий запах ладана вызывает легкое головокружение.

— Свете тихий, святые славы, — поют певчие, и Вере кажется, что голоса их доносятся откуда-то издалека.

«Ничего, ничего мне на свете не надо, только служить тебе, господи!» — думает она с умилением.

Душа ее преисполнена чудной, светлой радости, восторженное рыдание вырывается у ней из груди.

В этот самый день над Верой совершилось чудо — по крайней мере она сама признала чудом то, что с ней случилось.

Хотя старая няня была безграмотна, она, тем не менее, хранила у себя

как святыню несколько книг религиозного содержания, из которых иногда просила свою маленькую барышню почитать ей вслух. В числе этих книг было «Житие сорока мучеников и тридцати мучениц». Вера, начав раз читать, сама так увлеклась этой книгой, что выпросила ее у няни и зачитывалась ею по целым часам.

«Зачем я не родилась в то время?» — думала она часто с сожалением.

Но в самый тот сочельник, когда она в душе произнесла обет всю свою жизнь посвятить богу, случилось с ней следующее: сидела она вечером одна в бывшей классной, и вдруг попался ей на глаза старый номер «Детского чтения», которое когда-то выписывали для ее сестер. От нечего делать стала она его перелистывать, и первое, что ей открылось, был трогательный рассказ о трех английских миссионерах в Китае, сожженных на костре рассвирепевшими язычниками. И это было всего лет пять-шесть назад. В Китае и теперь язычники! Там и теперь можно стяжать себе мученический венец.

«Господи! Это ты сам надоумил меня! Ты сам указываешь мне путь и призываешь на подвиг!»

В волнении и в восторге Вера бросилась на колени. В том факте, что этот старый журнал попался ей на глаза именно сегодня, как бы в ответ на ее жаркую молитву во время всенощной, она видела несомненное доказательство божеского промысла.

С этого дня ее судьба была решена в ее собственных глазах. Все ее мечты приняли определенный образ и определенное направление. Все касающееся Китая ее теперь живо интересует, и у нее выступает румянец, лишь только за обедом речь случайно коснется этой страны. Одного только боится Вера: как бы, чего доброго, Китай не обратился в христианство прежде, чем она успеет совсем вырасти.

IV

Дом Баранцовых стоял на возвышении; к северу гора спускалась отлого к большому пруду, выкопанному, разумеется, руками крепостных людей. Здесь был разбит сад в версальском вкусе с прямыми, выложенными щебнем дорожками, с цветочными клумбами в форме ваз или сердец и со множеством жасминных, сиреневых и липовых беседок. Когда-то эта сторона дома пленила бы взгляд всякого любителя подстриженной природы; теперь же, когда вместо прежнего садовника-артиста с целым штатом помощников при саде состоял всего один мужик-самоучка да два мальчика, он представлял жалкий, мизерный вид. Пруд зарос тиной и служил рассадником бесчисленных поколений комаров; беседки расшатались. На дорожках пробивалась трава. Ничего нет печальнее вычурного помещичьего сада, когда о нем перестанут заботиться.

Зато с другой, нелицевой стороны, над которой меньше мудрили и где природе было предоставлено распоряжаться по-своему, и теперь было очень хорошо. Непосредственно к дому примыкала дубовая рощица, а за

ней гора крутым обрывом спускалась к ручью, который в половодье шумел и пенился, во время же засухи представлял из себя песчаную лощинку, в самой середине которой сочилась жиденькой струйкой водица. Весь обрыв густо зарос кустарником; весной он стоял как молоком облитый белыми душистыми цветами черемухи и весь гремел песнями иволги, малиновки, пеночки и разных других мелких птичек. Иногда сюда прилетали и соловьи. Осенью здесь была масса орехов и дикой малины. Зимою же его так заносило снегом, что он представлял одну сплошную покатую белую массу, из которой то здесь, то там торчали черные прутья.

Этим обрывом и заканчивались с этой стороны владения Баранцовых. На противоположном берегу ручья шла уже земля другого помещика, Степана Михайловича Васильцева. Этот последний, впрочем, до сего времени мало беспокоил графов, так как никогда не жил в своей усадьбе. Дом его, деревянный и одноэтажный, вечно стоял с забитыми дверями и с заколоченными ставнями, а запущенный сад превратился в зеленый, тенистый пустырь, в котором, под сенью старых лип, лопух достигал громадных, баснословных размеров, и пушистые головки куриной слепоты повсюду белели рядом с мелкими цветами одичавших колокольчиков, гвоздики и венериных голубков.

Про Васильцева шла молва, что он очень ученый человек. Зимой он жил в Петербурге, где состоял профессором в Технологическом институте; летом, в каникулярное время, уезжал обыкновенно за границу; о своем же небольшом, унаследованном от отца именье он, по-видимому, совсем и забыл. Но в эту достопамятную зиму перед крыльцом васильцевского дома остановились однажды почтовые сани с бубенчиками; в санях сидели два жандарма, а между ними сам владелец усадьбы.

Дело было очень просто. Васильцев уже давно слыл либералом и состоял на довольно плохом счету у многих влиятельных лиц в Петербурге. В эту зиму по случаю какой-то годовщины профессора и студенты Технологического института устроили банкет, на котором должен был присутствовать великий князь, высокий покровитель заведения. Его высочество дал понять, что ему нежелательно встречаться с Васильцевым; последнему это, разумеется, передали, но он ответил, что пусть в таком случае ему пришлют официальное запрещение участвовать в банкете, в котором он считает себя одним из хозяев, как и всякий другой профессор; официального запрещения, разумеется, не последовало, и в назначенный день он вместе с другими профессорами спокойно занял свое место за столом в актовом зале института.

Дня через два после этого происшествия к нему явился с визитом начальник тайной полиции и любезно предложил ему подать в отставку и отправиться на жительство в свое родовое именье, без права выезда из оного. Для большей безопасности во время дороги к нему приставили двух ангелов-хранителей в жандармских мундирах.

При таких обстоятельствах совершилось водворение Степана Михайловича Васильцева в его отцовской усадьбе.

Легко представить себе, какую сенсацию произвело это событие во всей окрестности. О новоприезжем и о причинах его неожиданного появления пошли немедленно самые нелепые и преувеличенные толки; многие подозревали в нем опасного конспиратора; это подозрение окружало его таинственным, в то же время и устрашающим, и привлекательным нимбом, так как в России люди и консервативного образа мыслей, если только непосредственно не принадлежат к тайной полиции, всегда испытывают невольное, инстинктивное уважение ко всякому политическому преступнику.

Баранцовы были ближайшими соседями Васильцева. Не удивительно поэтому, что у двух старших барышень, Лены и Лизы, явилось чувство какого-то естественного права собственности на интересного соседа, посылаемого им самим небом. Он был холост и хотя, по совести говоря, не мог уже считаться молодым человеком, так как ему перевалило за сорок, и еще того менее мог бы прослыть Адонисом, — но при теперешней бедности на женихов и он мог назваться хорошей партией.

Васильцев, вероятно, удивился бы немало, если бы ему сказали, какую роль он играл в разговорах и планах двух девиц. По странной случайности, он в течение всего следующего лета не мог выйти из дому, чтобы не встретиться то с Леной, то с Лизой, и, что еще страннее, чтобы не застать их всегда в каких-нибудь причудливых костюмах и в необычайных, живописных положениях. То вдруг наткнется он на резвую Лену, которая, как белка, взобралась на дерево и лукаво смотрит на него из-за густой листвы; то увидит он томную Офелию — Лизу, мечтательно склонившуюся к пруду с венком незабудок в руках. И надо было послушать, как испуганно-грациозно вскрикивали барышни, когда их заставали так врасплох.

Но все эти встречи ни к чему не вели. Поклонится Васильцев обрубковато и сухо — и был таков. Разговора никакого не выходило. Не удивительно поэтому, если барышни наконец пришли к заключению, что такого грубого, неотесанного медведя, как их сосед, и свет не производил.

Но если с Леной и Лизой знакомство Васильцева не клеилось, зато с Верой оно завязывалось очень просто и, надо сознаться, далеко не поэтическим образом.

Лето приближалось к концу; начиналась осень, дождливая, грязная, с ранними темными вечерами. Вынужденная, непривычная скука однообразной деревенской жизни все еще часто выгоняла Васильцева за ворота его дома и заставляла его искать развлечения в длинных прогулках. Но, как все люди, никогда не жившие в русской деревне, он часто встречал на своем пути затруднения и попадал, как ему казалось, в большие опасности.

В профессорском кружке, где Васильцев вращался до тех пор, меньше всего пришло бы кому-либо в голову заподозрить его в трусости; наоборот, товарищи постоянно дрожали, как бы он своей неуместной строптивостью и их не подвел под ответ. Когда профессорской карьере его был

положен столь неожиданный конец, даже самые храбрые из его приятелей печально соглашались:

— Это было неизбежно! Разве с такой буйной головой, как у Васильцева, можно прожить в России!

Сам Степан Михайлович сознавал себя в душе очень смелым человеком. В своих сокровенных мечтах — в тех мечтах, в которых не признаешься даже близкому другу, — он любил воображать себя в разных необычайных положениях и не раз из глубины своего кабинета участвовал в защите баррикады.

Тем не менее, несмотря на свою всеми признанную храбрость, к деревенским собакам, про которых шла молва, что они прошлой весной растерзали прохожую побирушку, и к деревенскому быку, который уже два раза подымал на рога пастуха, Васильцев питал, надо признаться, очень большое почтение и всячески избегал ближайшего с ними знакомства.

Однажды случилось ему отойти довольно далеко от дома. Большая дорога осталась в стороне. Шел он, по привычке заложив руки за спину, понурив голову, погруженный в мысли и не глядя по сторонам. Вдруг, очнувшись, он увидел себя в довольно затруднительном положении: кругом его топкий луг, в котором, чуть сойдешь с узенькой тропинки, нога уходит по щиколотку в жидкую кашицу. Перед ним довольно широкий ручей, а сзади слышится топот и мычание деревенского стада.

— Эй, пастух! Придержи твою скотину, — подумал было закричать Васильцев.

Но пастух, мальчишка лет пятнадцати, слабосильный и слабоумный — затем его отдали в пастухи, что он ни к какому другому делу не годился, — только промычал что-то бессвязное в ответ и загоготал глупым, идиотским смехом.

Васильцев стоял в нерешительности.

— Прыгайте через ручей. Он ведь не глубок! — раздался вдруг молодой, почти детский голос, в котором звучали нотки смеха.

Васильцев посмотрел в ту сторону, откуда пришел ему добрый совет, и увидел на холмике, на противоположном берегу ручья, шагах в двадцати от себя, не то барышню, не то просто девочку, лет пятнадцати, в соломенной шляпке, обвитой выцветшей ленточкой, и в простеньком ситцевом платье, слишком узком в груди и коротком внизу и в рукавах.

Вера, тоже загнанная сюда скукой, уже давно, от нечего делать, наблюдала этого забавного, худого человека, затруднявшегося перед такими пустяками.

— Прыгайте смелей! — закричала она еще раз, но Васильцев все не решался.

Тогда Вера сбежала с холма, бесстрашно зашлепала старенькими ботинками по топкому лугу, притащила откуда-то доску и с размаха перебросила ее через ручей, густо обдав грязью свои белые чулки и серые панталоны соседа.

Очутившись в безопасности, Васильцев, разумеется, тотчас же устыдился своей трусости. Торопливо и конфузливо поблагодарив свою спасительницу, он стоял перед нею, растерянно и принужденно улыбаясь. Уйти немедленно, оставив по себе такое невыгодное впечатление, ему не хотелось; но он решительно не знал, как завязать разговор с этой маленькой дикаркой, разглядывавшей его с беззастенчивым любопытством подростка.

— Что это у вас за книжка? Можно взглянуть? — нашелся он наконец.

У Веры под мышкой ее драгоценные жития.

Васильцев раскрыл наудачу и прочел следующее:

«Император Диоклетиан, осерчав на честного мученика Исидора, повелел страже отвести его в Капитолий. . .»

— Что за чепуха такая! — невольно вырвалось у Васильцева.

Гневно, негодующе сверкнули синие баранцовские глаза. Быстро схватив свою книгу, Вера повернулась спиной и зашагала по направлению к дому, не оглядываясь.

В течение вечера Васильцеву не раз, против его воли, приходил на ум утренний комический эпизод, и воспоминание это всякий раз вызывало в нем и смех, и легкую досаду.

На следующий день, сам не отдавая себе отчета, он опять отправился на место вчерашнего посрамления. К своему удивлению, он застал там и Веру. С задумчивым, сосредоточенным лицом она стояла у ручья и как будто поджидала Васильцева.

— Здравствуйте! — сказал он, дружески протягивая ей руку.

— Неужто это все неправда? — проговорила она вместо ответа, подымая на него свои большие глаза, взгляд которых был теперь тревожный, почти умоляющий.

Вчера, услышав такой нелестный отзыв о своей любимой книге, она начала с того, что рассердилась, но скоро гнев сменился другим, более тяжелым чувством.

«Все говорят, что сосед умный и ученый. Он должен все это знать. Ну что, как и в самом деле все это о мучениках сказка?»

Сомнение это было так мучительно, что разъяснить его надо было во что бы то ни стало.

— Это вы о книге, что ли? — засмеялся Васильцев. — Ну, сами вы посудите, барышня. Император Диоклетиан царствовал в Византии, а Капитолий находится в Риме. Как же он мог велеть страже отвести туда честного мученика Исидора?

— Ах, вы об этом! Значит, только это неправда?

— Как только? Кажется, достаточно!

— Ну, а то правда, что мученики были?

— Конечно, были.

— И резали их, и жгли, и зверями травили?

— Все это проделывалось.

— Слава богу! — вырвалось облегченным вздохом у Веры.

— Как слава богу, что терзали-то их?

Оригинальная девочка решительно начинала забавлять Васильцева.

— Ах, не то, разумеется, не то! — конфузясь, заторопилась Вера, — я хочу сказать, слава богу, что хоть тогда-то были такие хорошие люди, святые, мученики.

— Мученики есть и теперь, — серьезно проговорил Васильцев.

Вера взглянула на него удивленным долгим взглядом.

— Да, в Китае! — сообразила она наконец.

Васильцев опять засмеялся.

— Зачем искать так далеко! Есть и ближе!

Вера все смотрела на него, и на лице ее отражалось все большее и большее недоумение.

— Разве вы никогда не слыхали, что и у нас в России сажают людей в тюрьму, ссылают в Сибирь, подчас даже вешают? Как же вы спрашиваете, есть ли мученики?

— Да ведь у нас же ссылают только злодеев, преступников! ..

Эти слова вырвались у Веры сами собой; не успела она их выговорить, как яркая краска залила ей лицо: «Ведь сосед-то сосланный!»

— Случается, что ссылают и за другое, — проговорил Васильцев вполголоса.

Некоторое время они продолжали идти рядом, молча, Вера — потупив голову и нервно теребя пальцами кончики шейного платка. Странные, как будто даже совсем несообразные мысли начинали целым роем возникать в ее голове. Она ужасно боялась сказать что-нибудь глупое, неравно, обидит соседа, но вопрос был такой для нее важный, такой животрепещущий, что останавливаться соображениями приличия нельзя было.

— За что вас сослали? — проговорила она вдруг очень быстро, не глядя на Васильцева.

Тот ухмыльнулся.

— Вам очень хочется знать? — спросил он, как бы поддразнивая.

Вера только головой кивнула в ответ, но лицо ее говорило за нее.

— И о мучениках современных тоже хотите знать?

Глаза Веры загорелись еще ярче.

— Хотите, я вам расскажу? Только наперед предупреждаю: придется говорить и о многом другом.

Верино лицо сияет.

— И о Диоклетиане, и о Капитолии придется, пожалуй, говорить. Будете слушать?

— Буду, буду!

V

На следующий же день Васильцев явился с визитом к графу Баранцову. Знакомство завязалось скоро, и когда через несколько времени Васильцев пожелал давать Вере бесплатные уроки, то предложение это было принято с благодарностью, тем более что граф, несмотря на свою беспечность, по временам испытывал некоторое угрызение совести при мысли, что млад-

шая дочь рода Баранцовых растет столь же не обремененная познаниями, как любая деревенская девчонка.

Сестры Веры с этого времени не сомневались более в том, что ей удалось пленить собою соседа. Они шутливо поздравили ее с победой. Подтруниванья над ее «поклонником» скоро вошли у них в привычку.

Вначале эти разговоры и поддразниванья сердили и конфузили Веру. Мало-помалу, однако, она стала находить в них своего рода прелесть. Как хотите, всегда лестно, когда говорят, что кто-нибудь в вас влюблен. Вера даже и в собственных глазах выросла и поважнела с тех пор, как у ней завелся обожатель.

— Ну что? Как он был с тобой сегодня? Не объяснился еще? Да не скрытничай, пожалуйста! Рассказывай все! — приставали к ней сестры после каждого ее урока с Васильцевым.

И Вера, почти что против воли, начинала рассказывать и, тоже против воли, немножко прибавляла. Бог знает, впрочем, как это выходило! Сестры так хорошо умели объяснить и растолковать каждое слово, сказанное Васильцевым, что оно и действительно начинало казаться совсем не таким, как в ту минуту, когда было произнесено.

Вера и сама не заметила, как сосед мало-помалу завладел ее мыслями и как образ его видоизменился. «Долговязый, невзрачный, немолодой господин, с песочным лицом и такими близорукими глазами, что они, кажется, и в очках ничего не видят!» Вот как описала бы она соседа тотчас после их знакомства у канавы. Теперь же, когда он сделался ее признанным обожателем, ей так хотелось возвести его в герои, что она ежедневно стала открывать в нем новые достоинства. Сегодня она нашла, что у него улыбка приятная; завтра заметила, что, когда он смеется, у него образуются вокруг глаз такие потешные, милые морщинки, и эти морщинки вдруг ей ужасно полюбились.

Она жила теперь в состоянии какого-то хронического, безотчетного ожидания. К каждому уроку готовилась с сердцебиением и во время самого урока сидела нервная, взволнованная, в постоянном трепете: «Не сегодня ли?»

Вера и Васильцев одни в комнате. Урок кончен, но учитель уходить еще не собирается. Он отложил книгу в сторону, опустился в кресло, подпер голову рукой и задумался. Это случается с ним нередко. Вера сидит рядом неподвижно. Ей почему-то стало вдруг неловко, страшно пошевелиться. Она уставилась глазами в небольшую смуглую худую руку Васильцева и машинально разглядывает одну толстую синюю жилку, которая, начавшись у кисти, раздвигает в сторону несколько темных волосков и, поспешно суживаясь, извивается до среднего пальца.

Начало уже смеркаться; все предметы мало-помалу тускнеют и очертания стушевываются. По мере того как рука Васильцева задергивается, словно дымкой, Вера бессознательно напрягает зрение. На нее находит какое-то странное оцепенение; с каждой минутой все труднее и труднее ей пошевельнуться; сердце колотится сильными, полными ударами; в ушах поднялся звон, словно где-то далеко вода льется.

Васильцев вдруг очнулся из забытья.

— Верочка, милая... — начал он мягко, как бы продолжая прежнюю мысль, и ласково положил свою руку на ее.

«Вот оно! — как молния мелькнуло в голове Веры. — Сейчас будет объяснение».

Но ее нервы слишком напряжены. В груди вдруг что-то сжалось и подступило к горлу; еще одно слово, и она задохнется.

— Пожалуйста! Пожалуйста! Не говорите! Я и так знаю! — вырвалось у ней сдавленным криком.

Она рванулась и отскочила в противоположный угол комнаты.

Ошеломленный Васильцев несколько мгновений глядел на нее молча, растерянно.

— Верочка, что с тобой? — спросил он наконец тихо, боязливо.

Звук его голоса сразу привел Веру в себя, и ей вдруг стало ясно, что она сделала большую, страшную глупость.

Как ей теперь быть? Как ему объяснить?

— Я думала... мне показалось...— бормотала она несвязно, задыхаясь.

Васильцев не сводил с нее глаз, и выражение испуганного недоумения мало-помалу сменялось на его лице выражением неприятного досадливого подозрения.

— Вера, я хочу, я требую, чтобы вы мне сказали, что такое вам показалось!

Он стоит перед ней и крепко держит ее руки. Его голос звучит сурово, металлически. Голубые близорукие глаза, как два винта, впиваются в ее лицо. Под влиянием этого пристального, допытывающего взгляда Вера чувствует, что теряет всякую волю, всякое самообладание. Она знает, что признание будет ужасно, но если бы дело шло о жизни и смерти, она все-таки не могла бы ему не ответить, не могла бы не сказать правды.

— Я думала.., что вы влюблены в меня! — послышался наконец чуть внятный, прерывающийся шепот.

Васильцев, как ужаленный, выпустил ее руки.

— Ах, Вера, и вы не лучше других, такая же кисейная барышня! — проговорил он укоризненно и вышел из комнаты.

Вера осталась одна, несчастная, уничтоженная.

«Господи! Стыд какой! Как жить после такого позора!» Эта мысль первая приходит ей в голову на следующее утро, после нескольких часов тревожного, лихорадочного забытья.

Еще рано. С кроватей сестер доносится их ровное, мерное, сонное дыхание. Они вчера ничего не заметили, ни о чем не догадываются; но что они скажут, когда узнают! Быть в течение целого месяца героиней интересного, увлекательного романа и вдруг оказаться просто глупой, заносчивой девчонкой! «О, какой стыд, какой стыд!»

Вера прячет голову под одеяло и плачет горько, конвульсивно, кусая зубами подушку, чтобы заглушить рыдания.

Лена повернулась на своей кровати. Сестры начинают просыпаться.

«Только бы они ничего не заметили!» Эта мысль внезапно осушает

Верины слезы. Она встает как ни в чем не бывало, одевается, в течение всего дня ходит, разговаривает, даже смеется, как будто ничего не случилось. Иногда ей действительно удается забыть на минуту о вчерашнем, но на сердце все та же тупая, неотвязная, новая совсем боль.

Опять наступил день, назначенный для урока.

«Что-то теперь будет!» — думает Вера и вся холодеет при мысли о свидании с Васильцевым.

К трем часам прибегает мальчик из соседней усадьбы с письмом от барина: он нездоров, просит извинить его, на урок прийти не может.

«Слава богу!» — думает Вера с облегчением.

Опять начинается для нее прежняя скучная, незанятая жизнь, как было до Васильцева. Опять слоняется она по целым дням из угла в угол, не зная, что с собой делать, за что приняться. Как ни скрытничала она, сестры все же что-то такое заподозрили и пристают с обидными, навязчивыми расспросами. Вера всячески избегает теперь их общества.

Таким образом прошла одна неделя, началась другая. Васильцев все не являлся. «Никогда он не придет больше!» — думала Вера с какою-то злобною тоскою. Но однажды сидела она одна в пустой классной, рассеянно и безынтересно перелистывая уже раз десять прочитанную книгу, как вдруг в коридоре послышались знакомые шаги.

Кровь вся прилила ей к сердцу; на минуту ей показалось, что оно перестало биться. Первым ее импульсом было вскочить и убежать, но, прежде чем она успела выполнить свое намерение, Васильцев был уже в комнате.

Вид у него был спокойно-добродушный, совсем как всегда, как будто ничего особенного не произошло и этих мучительных десяти дней и не было совсем. А Вера? Она так ненавидела его в эту неделю, но теперь наплыв безумной, дух захватывающей радости вдруг охватил все ее существо. Конечно, ей было стыдно, до боли стыдно, но радость все же была преобладающим чувством.

— Вера, дружок мой, так продолжаться не может! — Он говорит ровным, ласковым голосом, словно обращается к ребенку. — Между нами вышло маленькое недоразумение, — очень неприятное, досадное недоразумение, — но теперь мы потолкуем хорошенько раз навсегда и потом совсем забудем о нем и будем друзьями по-прежнему. Ведь мне уж сорок три года, Верочка; ведь я старик, чуть не в три раза старше вас; вы мне в дочки годитесь, а не в жены. Влюбиться в вас было бы с моей стороны не только глупостью, но и подлостью. Да я, слава богу, и не думал никогда в вас влюбляться. Зато полюбил я вас сильно и искренно, и крепко хочется мне, чтобы из вас хороший человек вышел. Ведь только кисейные барышни воображают себе, что не может мужчина побыть получасу в их обществе, чтобы тотчас не начать им куры строить, а ведь вы же не кисейная барышня? Не правда ли?

Вера стоит молча, потупив голову; крупные слезы дрожат на ее длинных ресницах, но она и не думает ненавидеть Васильцева в эту минуту.

— Послушайте, друг мой, дайте мне вашу руку, — продолжает Степан

Михайлович. — Чтобы доказать вам, как я дорожу вашей дружбой, я скажу вам то, чего уже много, много лет никому не говорил. Раз в жизни я действительно любил одну девушку. Лучше, милее ее я никогда не встречал женщины. Но судьба ее была ужасна. Это было сейчас после Каракозовского покушения[3]. Тогда ведь всех хватали и забирали; достаточно было одного неосторожного слова, чтобы попасть в тюрьму. И ее посадили. Тюрьмы были переполнены, и ей пришлось просидеть шесть месяцев в сыром, темном подвале, который водой заливало. А она была нежная, слабая такая! Когда пришла наконец очередь разобрать ее дело, оказалось, что никаких улик против нее нет. Пришлось ее выпустить. Но в этом ужасном подвале она схватила страшную болезнь, хуже какой нет, кажется, на свете: у ней сделался костоед лица — тюремный костоед, он так и называется. В течение целых трех лет после этого, Верочка, она умирала медленной смертью. Я, разумеется, не отходил от нее ни шагу за все это время: каждый день должен был я видеть, как ужасная, неумолимая болезнь обезображивает, съедает ее, живую. Страдания ее были так велики, что даже я, который любил ее больше всего на свете, должен был звать смерть как избавление. Теперь вы понимаете, Верочка, что когда человек перенесет такое в жизни, то он не может смотреть на любовь как на шутку. Да, поистине сказать, в стране, где подобные вещи возможны, и права почти не имеешь думать о личной любви, о личном счастье...

Голос Васильцева пресекся от волнения. Вера горько, молча рыдала.

Немного погодя Васильцев показал ей портрет своей бывшей невесты до ее страшной болезни: красивое интеллигентное смуглое лицо с темными, мечтательными глазами. Вере показалось, что никогда в жизни не видала она лица лучше этого; с благоговением прикоснулась она к портрету губами, как к лику мученицы, и со слезами на глазах повторила свой прежний детский обет добиваться мученического венца. Только не в Китай она за ним отправится; теперь она знает, что венец этот составляет удел многих в России.

С этого дня недоразумений между Верой и Васильцевым больше не было, и дружба их была скреплена прочно, навсегда.

VI

На дворе конец апреля. Весна в нынешнем году пришла как-то разом, внезапно. После того как вскрылись реки и сошел снег, долго еще стояли холода; все развивалось медленно, вяло, словно нехотя, шаг вперед — два назад. Каждую травку, каждую былинку как будто упрашивать и уговаривать надо было, чтобы она решилась стряхнуть с себя зимнюю спячку и высунуть из-под земли кончик нежного, зябкого листочка. Настоящего весеннего азарта ни в ком не замечалось.

Вдруг раз ночью собрался тихий, теплый дождик, и с этой минуты какое-то волшебство пошло. Словно бродила какие-то стали сыпаться на землю вместе с мелкими, душистыми каплями весеннего дождя. Все зашевелилось, все вдруг возгорелось желанием жить. Каждый заторопился,

полез вперед, толкая и давя других, как будто боясь опоздать к сроку. Всякий решился постоять за себя и за свое право на существование.

Проснулись на следующее утро жители Борков, да так и ахнули. Что это за одну ночь поделалось! Не узнать ни сада, ни полей, ни леса. Вчера вечером все это было черно, голо; теперь все подернулось легким зеленым налетом. И воздух не тот, что вчера. И пахнет не так, и дышится иначе.

В настоящую минуту — самый разгар спешной неугомонной весенней горячки. Березки уже оделись нежной, прозрачной, как кружево, листвой. Огромные набухшие почки тополя роняют на землю клейкие, смолистые чешуйки, наполняя воздух пряным, опьяняющим ароматом. Желтая душистая пыльца с ольховых и орешниковых сережек носится повсюду вместе с беленькими лепестками черемухи и вишни. Ели пустили вверх огромные светлые ростки, которые торчат прямо, как свечи, и странно выделяются среди старых, прошлогодних хвой. Только дуб один стоит еще голый, угрюмый, словно и не помышляя о весне.

С юга каждый день прилетают новые гости. Уже с неделю тому назад обрисовался на небе первый черный треугольник журавлей. Дятел застучал в дупле старого бука. Ласточки снуют под крышей балкона, разыскивая свои старые гнезда, и ведут ожесточенную борьбу с воробьями, успевшими в течение зимы завладеть их старинной собственностью.

Из почвы поднимаются теплые испарения. Кажется, так и чувствуешь, как там, внизу, в недрах земли, идет какая-то странная, таинственная работа. Шагу сделать нельзя, чтобы не ступить на зародыш какой-нибудь новой, молодой жизни — плесени, травки или насекомого. В пруду идут оживленные любовные объяснения. Каждая канавка так и кишит миллиардами самых разнообразных, самых причудливых форм существования; и все это копошится, все это хлопочет, все это проникнуто сознанием важности своего собственного я.

В бывшей классной баранцовского дома сидит, склонившись над письменным столом, молодая девушка, лет восемнадцати, стройная и высокая, с тонким, словно выточенным, профилем и с задумчивыми синими глазами, окаймленными черными ресницами. Перед ней на столе лежит открытая книга, томик Добролюбова, но видно, что ей трудно сосредоточить мысли на том, что она читает. Она поминутно подымает голову, откидывается на спинку стула; руки ее начинают машинально играть костяным ножиком, а в глазах является выжидательное, напряженное выражение, как будто она прислушивается, не идет ли кто.

В этой молодой красавице трудно было узнать прежнего смуглого, худенького подростка Веру. После памятного ей объяснения с Васильцевым прошло три года. По-видимому, эти годы прошли тихо, без всяких событий и потрясений, но для Веры они были богаты внутренним содержанием. Дружба ее с Васильцевым все росла и крепла; зато от всех своих домашних она как-то совсем отбилась. Сестрам надоело дразнить ее соседом, и они махнули на нее рукой. Так как близость ее с Васильцевым

началась, когда она была девочкой, то родители, по привычной беспечности, не считали нужным ей препятствовать и теперь, когда Вера стала взрослой барышней.

За последнее время, однако, акции Васильцева в глазах соседей-помещиков сильно упали. За ним числилось несколько очень важных провинностей. Во-первых, он отдал своим крестьянам без выкупа всю землю, которою они прежде владели оброчно, и тем не только нанес чувствительный ущерб собственному карману, но и показал зловредный пример всему уезду; во-вторых, его заподозривали в том, что он и в чужие дела мешается, дает чужим крестьянам непрошенные советы и расстроил не одну хитроумную комбинацию, придуманную то тем, то другим помещиком при разделе с бывшими крестьянами.

Вообще, хотя явно ни в чем противозаконном Васильцева нельзя было уличить, тем не менее все соглашались, что он ведет себя совсем не так, как следовало бы в его положении, и, по-видимому, совершенно забывает, что ссылка в собственное имение за политические дела обязывает человека к особой осторожности. Кое-кто из приятелей пробовал уже намекнуть ему, что и губернатор начинает на него зубы точить, но он и на это не обратил никакого внимания.

Тогда как помещики дулись на Васильцева, крестьяне души в нем не чаяли и не могли нарадоваться его приезду. В первое время они, правда, дичились его и даже к отдаче им земли без выкупа отнеслись недоверчиво.

Потом они решили, что он, должно быть, простоват. Мало-помалу они убедились, однако, что и глупостью его поступков объяснить нельзя. Увидели они, что всякий раз, когда обратишься к нему за делом, получишь от него либо помощь, либо толковый, разумный совет. С этих пор ему от мужиков отбоя не стало. Надо ли разъяснить какой-нибудь запутанный семейный вопрос или написать прошение в суд — так они к нему гурьбой и тащатся.

В свободное время Вера с Васильцевым занимаются чтением и разговорами; разговоры у них бесконечные, все больше о предметах абстрактных, их лично не касающихся. Как и три года назад, так и теперь часто говорят они о современных «мучениках»; Вера, как и прежде, нет, в сто раз сильнее прежнего, преисполнена решимости пойти по их стопам.

Но мученический венец — это впереди, когда-нибудь, в отдаленном будущем; теперь же, пока, жизнь ее чудно хороша и с каждым днем становится все полнее и лучше.

Только вот последние дни были скучноваты, тоскливы. Васильцеву пришлось куда-то уехать по делам крестьян; две недели его не было дома. Страшно как тянется время, когда нет надежды вечером поговорить с другом! Как-то ни к чему и охоты нет, никакое дело в руках не спорится!

Но, слава богу, конец этим дням! Сегодня пополудни прибежал маль-

чик из соседней усадьбы сказать, что барин вернулся и вечером будет с ними чай кушать.

«Через каких-нибудь полчаса он здесь будет!»

Наплыв такой сильной, неудержимой радости охватил Веру, что она не могла усидеть на месте, бросила в сторону книгу и подошла к окну. Косые лучи заходящего солнца обдали ее огненным румянцем и заставили быстро-быстро зажмурить глаза.

«Как хорошо на дворе! Никогда еще, кажется, не было такой восхитительной, такой дивной весны! И как все растет! Просто чудеса, да и только! Сегодня поутру совсем была голая горка, а теперь целые пригоршни можно бы нарвать буковиц и подснежников. Точно из земли они готовые выползли! В сказке говорится про одного молодца, у которого было такое тонкое зрение, что он видел, как трава растет. Да весной это не мудрено! Если бы только глядеть попристальней, кажется, и я бы могла... Что это? Кукушка в лесу закуковала. Первая в нынешнем году... Господи, какая прелесть! Так хорошо, что даже сердце щемит и плакать хочется!»

Когда вошел, наконец, Васильцев, Вера бросилась навстречу ему так горячо, что он потерял обыкновенное самообладание.

Он берет ее за обе руки и смотрит на нее нежно и с восхищением.

— Что с вами случилось, Вера? Я с первого взгляда просто и не узнал вас! Две недели тому назад я оставил вас девочкой, а нахожу...

Он не договаривает, но взор его говорит недосказанное.

Верины щеки покрываются ярким румянцем, и она невольно опускает глаза. Ей так хорошо, так отрадно с ним. Эти две недели действительно произвели в ней какую-то перемену. Никогда прежде не холодели у ней руки и не пылали так щеки в его присутствии. Машинально, чтобы скрыть свое волнение, она начинает перебирать книги на столе.

— Нет, Вера, сегодня заниматься не будем. Давайте лучше так посидим.

Он опускается на стул возле открытого окна и закуривает папиросу. Вера садится рядом; сердце у нее бьется шибко, шибко, словно трепещущая птичка.

На дворе уже стемнело. Высоко над головой небо темно-синее, но, спускаясь к западу, оно постепенно бледнеет и на горизонте окаймляется светло-янтарной полосой. Лягушки на пруду затянули дружный хор. В углах комнаты и на потолке тоненький писк первых комаров сливается в протяжный, замирающий гул. Майский жук грузно пролетел мимо окна, наполнив воздух шумливым, басистым жужжаньем.

В кустах, отделяющих кухню от сада, мелькнуло что-то светлое. Женская фигура, с платочком на голове, остановилась на минуту в нерешительности, зорко осматриваясь, не следит ли за ней кто; потом быстро-быстро засеменила по направлению к роще. Через минуту оттуда доносится ласковый мужской шепот и тихий, счастливый смех. Издали со стороны фермы несутся жалобные звуки тростниковой дудочки деревенского виртуоза-пастуха.

— Расскажите мне про это дело с мужиками. Я так много страшного и гадкого слышала сегодня за столом, — начинает вдруг Вера, но она, очевидно, принуждает себя говорить; голос звучит неестественно.

Васильцев вздрагивает, словно пробужденный.

— Да, понимаю, что меня осуждают, — говорит он, проводя рукой по лбу. — Но я не отчаиваюсь, что мне удастся склонить общественное мнение в пользу этих несчастных крестьян. Я вам все это подробно расскажу, Вера, но после. Теперь не могу!..

Опять несколько минут молчания; только комары пищат и пастух заливается на своей дудочке.

— Вера, помните ли один наш разговор, три года назад. Я тогда был так уверен в себе, что никогда этого не случится... А между тем... Вера, скажите, я вам совсем стариком кажусь?

Эти последние слова вылетают чуть внятным, дрожащим шепотом. Вера хочет что-то ответить, но голос ее обрывается.

Бог знает, каким образом рука Васильцева оказывается на ее руке. От этого прикосновения у обоих захватывает дыхание, слова не приходят им на язык, обоим страшно пошевелиться.

— Степан Михайлович! Вера! Здесь ли вы? — раздается звонкий голос Лизы в коридоре.

Васильцев быстро отскакивает.

— До завтра, Вера! — говорит он и, перешагнув через низкое окно в сад, скрывается в темноте.

Весенняя ночь, волнующая, душистая, полная таинственных чар и страстного замирания, плывет по небу. Огни на селе погашены. Все звуки мало-помалу стихают. Дудочка пастуха давно умолкла. Лягушки присмирели, комары и те угомонились. Время от времени пронесется только какой-то странный шелест в кустах, на пруду всплеснет что-то или порыв ветра донесет из дальнего села жалобный вой цепного пса, томящегося одиночеством в эту чудную страстную ночь.

Вере не спится. Ей душно сегодня в большой прохладной спальне, которую она занимает теперь одна, отдельно от сестер. Она встает с постели, открывает окно и прикладывается горячей щекой к холодному стеклу. Но это ее не освежает; лицо пылает по-прежнему и так же томительно сладко замирает сердце, та же неясная, полная блаженства тревога охватывает все ее существо.

Как тихо все кругом! Роща кажется теперь огромной, глубокой; деревья стоят такие большие, черные, точно сдвинулись вместе, точно сговариваются о чем-то, точно скрывают какую-то странную важную тайну. Среди ночной тишины раздается вдруг тихий, переливчатый звон; это почтовая тройка проезжает по большой дороге. Воздух так чист, так прозрачен, что бряцание бубенчиков слышно уже издалека, верст за пять; на минуту оно замолкает; должно быть, тройка заехала за горку; но скоро оно опять раздается явственно, все ближе и ближе; видно, тройка несется быстро, во всю прыть; теперь слышно и хлопанье кнутом, и го-

лос ямщика, и лошадиный топот. Но вот опять звуки удаляются. Странно! Они точно оборвались сразу; должно быть, тройка остановилась где-нибудь поблизости.

Удивительно, право! Как волнует звук почтовых бубенчиков ночью! Ведь знаешь, что интересного некого ждать. Вернее всего — это приехал мировой посредник или становой нагрянул в село для следствия о какой-нибудь потраве. А все же, как услышишь этот тоненький серебристый звон на большой дороге, сердце так и забьется. И вдруг потянет куда-то вдаль, в какие-то неведомые страны.

«Господи, как жизнь хороша!»

Вера невольным, машинальным жестом складывает руки, как бы для молитвы. Васильцев называет себя материалистом, и Вера тоже знакома со всеми новыми теориями и думает серьезно, что совсем больше не верует в бога. Но, тем не менее, в эту минуту душа ее преисполняется страстной, беспредельной благодарности к кому-то, кто даровал ей счастье, и по старой, детской, неизгладимой привычке она обращается с горячей мольбой к богу, существования которого не признает.

«Господи! Я знаю, что на свете есть много горя, много несправедливости, много нужды! Я хочу послужить людям, я готова жизнь за них отдать! Только после, после, господи! Теперь так хочется, так мучительно хочется счастья!»

На минуту Вере удается забыться тревожным сном.

«До завтра!» — проносится вдруг ярким лучом в ее сознании, и опять начинается для нее томительно сладкая тревога, горячая, блаженная лихорадка.

Заря уже занялась на небе. Вторые петухи пропели; воробьи зачирикали под окном шумливо и озабоченно — а она все не спит, все мечется на постели с пылающим лицом и с похолодевшими руками. Лишь после восхода солнца уснула она, наконец, крепким, свинцовым сном.

Зато и спала она долго. Было поздно, уже недалеко от полудня, когда снова охватило ее неясное сознание чего-то удивительно счастливого, что произошло вчера. Как хорошо просыпаться на следующий день после большой, неожиданной радости!

Вера лежит и нежится в своей постельке.

«Что ж это я, однако? А ребятишки-то мои!» — пронеслось в ее голове.

Она вскочила и собиралась уже одеваться, но посмотрела на часы, увидела, что так поздно, и подумала, что урок все равно прогуляла и торопиться не стоит. Решив это, она опять улеглась в постель и закрыла глаза, тихо улыбаясь своему будущему близкому счастью.

В комнату, осторожно ступая и приглядываясь, не спит ли барышня, вошла горничная.

— Анисья, матушка, что ж ты меня раньше не разбудила? — весело приветствовала ее Вера.

— Я уже раз пять входила, барышня; да вы так сладко спали; жаль было вас тревожить.

«Что это у ней сегодня лицо такое странное?» — подумала Вера.

— А у нас, барышня, беда случилась! — проговорила вдруг Анисья тем особенным, взволнованным и все же как будто довольным голосом, которым прислуга всегда сообщает важные новости, какого бы свойства они ни были.

— Что такое? — вскрикивает Вера, привскакивая на кровати.

Она еще не знает, в чем дело, но сердце ее уже чует беду.

— К соседу сегодня ночью полиция нагрянула, — сообщает Анисья.

VII

Как гром разнеслось по дому ужасное известие: сегодня ночью перед крыльцом васильцевской усадьбы снова остановилась почтовая телега с жандармским полковником и двумя ангелами-хранителями более низкого чина. Полковник показал Васильцеву бумагу, снабженную казенным штемпелем и казенной печатью. В бумаге этой стояло, что дворянин Степан Михайлович Васильцев — лицо весьма опасное для спокойствия края. Поэтому губернатор на основании власти, свыше ему данной, предлагает ему переменить свое теперешнее место жительства на прекрасный, хотя и несколько более отдаленный город Вятку.

Три дня и три ночи предоставляется ему на устройство своих дел. Но по истечении этого срока предписано препроводить его к месту назначения.

Можно представить себе, какое впечатление произвело это известие на всю баранцовскую семью. Всех больше струсил сам граф. Он обладал тем, нельзя сказать редким в России, свойством, что при закрытых дверях любил пофрондировать, полиберальничать и почесать язык на счет правительства; но стоило синему воротнику мелькнуть на горизонте, и он немедленно съеживался и превращался в самого смиренного, самого верноподданного царского служителя.

В данном случае свойственная ему трусливость усугублялась еще заслуженными упреками совести: как мог он допустить такое сближение между своей дочерью и вольнодумцем? Где у него были глаза? Васильцев, вчера еще почтенный, зажиточный помещик, прекрасная партия, сегодня вдруг разом превратился в бездомного бродягу, в человека, с которым и знаться-то небезопасно. О свадьбе между ним и Верой не могло теперь, разумеется, быть и речи, и девушка оставалась навсегда компрометированной, опозоренной.

Как всегда бывало во всех затруднениях жизни, граф и теперь поторопился заглушить чувство собственной ответственности упреками другим.

— Вот, матушка, только и умеешь со своими нервами возиться, а за дочкой не могла присмотреть! — упрекнул он жену.

Графиня и сама ясно сознавала, какой позор падет на их семью от этого происшествия, и наперед уже предвкушала сладость тех невинных вопросов и соболезнований, которыми ее осыпят губернские дамы на первом же собрании в городе.

Всем домом, даже прислугой, овладела та особенная, безотчетная паника, какую вид синего мундира имеет способность вызывать в России. Все ждали неминуемой беды.

— Полиция, полиция к нам едет! — с криком вбежала доложить девочка Феня, заслышав раз на большой дороге почтовый колокольчик.

При этом страшном известии все словно обезумели от страха. Графиня убежала в свою спальню и улеглась в постель, как самое безопасное убежище. Граф бросился в комнату Веры и, схватив охапку, без разбору, все книги и бумаги, какие попались ему под руку, побросал их собственноручно в топившуюся как на беду печку. Прислуга вся куда-то разбежалась.

Оказалось, однако, что тревога была напрасная. Это просто проезжал акцизный чиновник, но все долго не могли успокоиться от пережитого волнения.

Что касается Веры, то обрушившийся на нее удар был так неожидан, так подавляющ, что она была ошеломлена им и не сразу могла постичь всю глубину своего несчастия.

Что Васильцева от нее увезут совсем, навсегда — эта мысль была так невообразимо ужасна, что как-то еще не укладывалась в ее голове. Что будет после его отъезда — она не думала. Это «после» представлялось ей какой-то черной, бездонной пропастью, в которую без головокружения и заглянуть нельзя было. В настоящую минуту ее главная тревога, ее самый настоятельный, самый мучительный страх состоял в одном: чтобы он не уехал, не простившись с нею. Увидеть его еще раз, хоть на часок, хоть на минутку, — потом будь что будет! Иногда ей казалось даже, что стоит им увидеться, и все опять будет хорошо, все так или иначе уладится.

Все ее желания, все ее мысли, все ее стремления сосредоточились теперь на одном: повидаться с ним. Но устроить свидание было нелегко. Васильцева, разумеется, держали эти дни пленником в его собственном доме, под строжайшим присмотром жандармов.

За Верой тоже был бдительный надзор. Что она собирается выкинуть какую-нибудь отчаянную штуку, все подозревали в семье; поэтому на нее наложили род домашнего ареста; днем мать и сестры ни на шаг не отпускали ее от себя; ночью Анисье было поручено следить за ней.

Прошло уже два дня, а Вере, как она ни изощряла свой ум, все не удавалось еще уйти тайком из дому. Даже весточки от Васильцева она не имела, так как прислуге было строго-настрого повелено собаки из соседней усадьбы на двор не пускать.

Оставалась всего одна ночь. Завтра чуть свет его увезут, и тогда — конец всему. При этой мысли Вере показалось, что она с ума сходит.

— Анисья, родная моя, голубушка! Отпусти меня к нему! На часок, всего на один часок! Никто не узнает, — взмолилась она приставленной к ней горничной.

— Что вы, барышня, и думать не могите! — испугалась сперва Анисья и даже руками замахала от ужаса.

— Анисья! Вспомни о твоей молодости! Сама ты мне рассказывала не раз, как вам прежде, в крепостное время, тяжело жилось. А ведь ты-то подумай: за вас же, за мужиков, Степан Михайлович страдает.

— Ох, барышня, болезная вы моя, и не говорите! Сама я знаю, что сосед добрый был барин. И нам, слугам, его жалко, поверите ли, до слез жалко! И вас, барышня, жалеем мы. Вот, думали, парочка-то будет! Не раз сердце радовалось, на вас глядючи! Да что поделаешь! Господня воля! . . Барышня, матушка, да что вы! С ума, голубушка, сошли! У меня, у холопки подлой, в ногах валяетесь.

Вера в отчаянии бросилась на колени перед Анисьей и целовала ее руки.

— Анисья, если не отпустишь меня, то знай, что на тебе моя кровь лежать будет. Вот тебе крест, что руки на себя наложу, коль не удастся повидать его до отъезда.

Не каменное было сердце у Анисьи. Со многими вздохами, со многими причитаниями обещала она, наконец, выпустить барышню с заднего крыльца немножко попоздней, когда все в доме улягутся.

Была уже ночь на дворе, когда Вера, одевшись в Анисьино платье и накинув на голову черную поношенную шаль, крадучись, вышла из дому. В последние дни опять стало холоднее, и хотя днем солнце жарко грело, но к вечеру завернул даже легкий морозец; лужи на большой дороге подернулись тонкою, как скорлупа, ледяною корочкой, которая хрустела под ногами Веры. Легкий озноб пробегал по ее членам. Так как ручей, отделявший друг от друга обе усадьбы, теперь разбушевался и вышел из берегов, то обычным путем через обрыв идти нельзя было, а приходилось делать обход версты в две. Никогда еще не случалось Вере быть одной в поле ночью. Знакомая дорога казалась ей теперь совсем иною, чем днем. Все предметы вдруг изменились и стали неузнаваемы.

Вера шла вперед, не оглядываясь. Она не чувствовала ни страха, ни волнения; даже печаль о предстоящем отъезде Васильцева и та улеглась. Легкое головокружение, далеко не неприятное, как туманом, заволакивало ее мысли. Ноги ее вдруг стали так легки; тело совсем не ощущалось. Она шла, как во сне, и опомнилась лишь перед самыми воротами васильцевской усадьбы.

Там все уже было темно; видно было, что все уже спят. Только в одном окне из-под спущенной шторы слабо пробивалась полоса света.

Вера постучалась в ворота, сперва тихо, нерешительно. Никто не откликнулся; тогда она стала стучать все сильнее и сильнее. Две собаки выскочили из-под ворот и подняли злобный, оглушительный лай. Наконец послышались шаги. Жандарм, заспанный, в башмаках на босу ногу и в мундире, небрежно накинутом на плечи, пришел с фонарем отворять ворота.

— Чего надо? Кто там ночью шляется? — проворчал он сердито. — Э-э, да это мамзель какая-то. . .

Досада сменялась удивлением.

— Мне барина надо, — проговорила Вера чуть внятно. Она дрожала всем телом, но робости большой не ощущала.

Жандарм приподнял фонарь так, чтобы свет его прямо пал на Верино лицо, и принялся ее разглядывать бесцеремонно и не торопясь.

«Горничная, надо полагать!» — решил он мысленно.

Лицо его все более и более прояснялось.

— Послушай-ка, красавица, а тебе, видно, хорошо знакома дорога к барину ночью! — проговорил он, наконец, с усмешкой. — Но сегодня, видишь ли, потрудней будет до него добраться, — прибавил он, внезапно меняя тон и становясь опять суровым.

— Пустите меня, ради Христа, пустите! — взмолилась Вера.

Из слов жандарма она поняла только, что ее не пустят к Васильцеву, что ей придется уйти, не увидев своего друга. Голос ее звучал такой мольбой, таким отчаянием, что жандарм, по природе слабый к женскому полу, не устоял.

— Ну-ну! Не реви! — успокоил он ее добродушно. — Посмотрим, чем тебе услужить сможем... А полковнику-то все-таки придется доложить... — присовокупил он, подумав немножко.

Он пропустил Веру в ворота, провел ее по двору и велел подождать в передней, а сам пошел за перегородку к полковнику, который уже лег почивать, но проснулся от шума.

То же странное оцепенение, то же полное равнодушие ко всему, как и по дороге, снова овладело Верой. Не смущаясь нимало, услышала она, как жандарм доложил своему начальнику, что любовница Васильцева пришла с ним проститься. Она услышала, как полковник отпустил вольную шуточку на ее счет и осведомился, смазливенькая ли девчонка. Все это долетало до ее слуха, не производя на нее ни малейшего впечатления, как будто касалось совсем не ее.

— Эх, черт! Пусти ее! Пусть его себе повеселится напоследок, — решил, наконец, полковник.

Жандарм отворил дверь во внутренние комнаты, и Вера стрелой бросилась туда.

— Ишь как загорелось! — засмеялся жандарм. — Но послушай-ка ты, как тебя звать, душенька, и нас не забудь в другой раз, когда милый-то твой уедет! — прокричал он ей вслед.

Но Вера ничего не слыхала. Она пробежала одним духом две-три комнаты, отделявшие ее от закрытой двери, сквозь щель которой пробивался слабый свет.

Васильцев сидел в спальной, служившей ему и кабинетом. Он еще не раздевался и был погружен в разбор своих книг и бумаг. Большая просторная комната имела теперь тот жалкий, беспорядочный вид, какой бывает обыкновенно перед отъездом. На узкой железной кровати с откинутым одеялом в углу было навалено белье, портфели и тетради. Лоскутки бумаги, разорванные письма, старые счета валялись на полу. Два больших деревянных ящика битком были набиты книгами; зато

голые полки вдоль стен имели вид обнаженных черных скелетов. Посередине комнаты лежал раскрытый чемодан, из которого торчало белье, платье и пара сапог.

Когда Вера открыла дверь, ее в первый раз, с тех пор как она вышла из дому, охватило такое сильное волнение, что на минуту ей почудилось, будто сердце у ней перестало биться. Она остановилась на пороге, будучи не в силах сделать шаг вперед или сказать единое слово.

Васильцев сидел к ней спиной, нагнувшись над письменным столом, и так был погружен в свое дело, что не заметил даже, как скрипнула дверь. Но когда через минуту он случайно обернулся и вдруг увидел бледную высокую фигуру Веры в дверях, лицо его не выразило удивления, а только одну бесконечную радость: он как будто ждал ее и был уверен, что она придет. Он бросился к ней и несколько секунд они стояли друг перед другом, взявшись за руки, молча, так как у обоих как судорогой было сжато горло. С сдавленным рыданием Вера наконец рванулась к нему.

Легкий шорох шагов послышался за дверью, в комнате почувствовалось вдруг невидимое присутствие постороннего лица. Нервная дрожь, как от физического отвращения, пробежала по всему телу Васильцева.

— Вера! друг мой, успокойся, ради бога. Мы не одни. Нас подслушивают. Не дадим этим мерзавцам любоваться нашими муками, — прошептал он сквозь зубы.

К нему внезапно вернулось все его самообладание. Он взял ее за руки и усадил рядом с собой на диване, сдвинув в сторону целый ворох книг. Лицо его было очень бледно; вокруг углов рта пробегала время от времени судорога, и синие жилы на висках натянулись, как веревки. Но он заговорил спокойным, ободряющим голосом о посторонних вещах.

— Вот в этом ящике, Вера, я отложил те книги, которые оставляю вам. Мы начинали читать с вами Спенсера [9]. Вы найдете тут несколько отметок карандашом, которые я сделал для вас...

Она сидела на диване, не шевелясь, словно застыв в одном положении; ее руки были так крепко сжаты, что ногти пальцев одной руки почти впивались в другую. Его слова доходили до ее слуха, как неясный гул без определенного смысла. Когда он обращался к ней с вопросом, она отвечала машинально кивком головы или слабой, жалкой улыбкой; говорить она не решалась, так как чувствовала, что при первом слове разразится рыданиями.

Постукивание маятника стенных часов раздавалось мерно и отчетливо. Большой шмель с тяжелым, порывчатым жужжанием метался по комнате; затихнет было на минуту, потом опять начнет неистово биться о потолок и об окна. Вера испытывала как бы физическое ощущение того, как время сочится, словно жидкость из треснувшего сосуда, капля за каплей; все меньше и меньше остается драгоценных капель. Разлука все ближе, ближе, разлука на многие годы, быть может, навсегда. И ни слова от души, ни ласки. Как чужие, сидят они друг перед другом, и все тот же легкий шорох в соседней комнате.

Пламя стеариновой свечи пожелтело вдруг; окно с опущенной шторой, казавшееся прежде большим черным пятном, приняло синевато-фиолетовый оттенок. На дворе громко пропел петух, зачирикали воробьи, замычали коровы: все — обычные предвестники весеннего утра в деревне.

Холодное, тупое отчаяние овладело Верой. Теперь в первый раз предстоящая разлука выступила во всей ее осязательной безнадежной действительности. До сих пор между ней и концом все-таки лежало еще ожидаемое счастье этого последнего свидания; безумная, безотчетная надежда на что-нибудь неопределенное была так сильна, что затемняла самую мысль о разлуке; но теперь ничего, ничего больше не оставалось. Всему был конец.

Васильцев встал с дивана, поднял штору и отворил окно. Первые лучи чудного весеннего утра хлынули снопом. Свет, шум, весенний запах цветов, весенние песни — все ворвалось зараз, радостное, торжествующее, безжалостное.

Быстрым, безотчетным движением Васильцев захлопнул окно и опустил штору. Он бросился на кушетку и горько зарыдал. Вся его рослая, сильная фигура колыхалась от рыданий.

Одним скачком Вера очутилась возле него. Она опустилась у его ног и, прижимаясь к нему всем своим существом, покрыла его поцелуями.

— Милый мой! Радость моя! Не уезжай один! Жизнь моя! Возьми меня с собой!

Васильцев сжал ее в своих объятиях. Теперь он не думал о том, чтобы ее успокоить; он отвечал на ее жаркие ласки; он прижимал ее к себе все крепче и крепче; губы их слились в первый раз в долгом, страстном поцелуе.

Внезапно Васильцев опомнился. Он резко, почти грубо, оттолкнул от сёбя Веру, встал на ноги и заходил по комнате. Одна, на коленях перед пустой кушеткой, Вера долго продолжала рыдать, горько и беззвучно.

Когда Васильцев снова подошел к ней, лицо его как-то вдруг осунулось, как после долгой тяжелой болезни.

— Вера, моя голубка, прости меня! — послышались его слова. — Много я тебе доставил горя, бедняжка моя! Как мне взять тебя с собой! Могу ли я тебя — свежее, молодое существо — приковывать к старой, полуоконченной жизни! Да если бы я и хотел, разве мне дадут? Разве твои родители не вернут тебя силой?

Голос его был глухой, надтреснутый. Вера больше не плакала; она теперь знала, что действительно пришел конец всему.

Теперь уже совсем рассвело. Скоро послышался стук в двери. Жандарм пришел объявить, что через час пора пускаться в путь.

— Вера, не лучше ли тебе уйти теперь, — тихим, глухим голосом сказал Васильцев; но она молча покачала головой; она хотела остаться при нем до конца.

Странное оцепенение, сознание как бы недействительности всего

окружающего снова овладело ею. Васильцев тоже ходил и говорил, как во сне.

Все его домочадцы, старая кухарка, староста, его приятели-мужики стали приходить один за другим, чтобы проститься.

Входя в комнату, они сперва крестились на образа, потом подходили к барину и, утерев себе усы, целовали его трижды, серьезно, торжественно, как бы совершая религиозный обряд. Несколько баб с ребятишками на руках стояли у крыльца и выражали свое горе ревом, похожим на причитания по покойнике.

Вера глядела сухими глазами на этих людей, как они входили, говорили, вздыхали, плакали; они представлялись ей какими-то автоматами, совершающими странное, сложное представление.

Жандармский полковник закусывал в соседней комнате, усердно подливая себе из графинчика.

— И вам, батюшка Степан Михайлович, не мешало бы подкрепиться перед дорогой! — проговорил он добродушным, ободряющим голосом.

Через полуоткрытую дверь он бросал украдкой любопытные взгляды на Веру, но прямо к ней не обращался, разгадав, вероятно, что она не простая горничная.

Запряженный тройкою тарантас подкатил к крыльцу. Полковник уселся в нем рядом с Васильцевым; один из жандармов поместился на козлах с кучером; другой остался еще при доме.

— Эй! с богом!

Лошади подхватили, и тарантас, покачиваясь с боку на бок, понесся по топкой дороге. Скоро он скрылся на повороте за березовой рощей. Звон бубенчиков доносился с каждой минутой все слабее и слабее. Наконец он совсем замолк. Не слыхать ничего больше, ничего, кроме обычных мелодических звуков деревенского утра весной.

Потупив голову, не оглядываясь, Вера тихо шла обратной дорогой. Цветущая черемуха осыпала ее белыми лепестками; крупные душистые капли росы полетели на нее с веток. Молодой зайчик выскочил на полянку и, усевшись на кочку, забарабанил передними лапками, призывая зайчиху, но увидев вдруг человеческое существо, откинул длинные уши назад и дал стречка в лес. Небо искрилось и сияло, как будто солнце распустилось в лазуревом эфире и залило весь небесный свод. Высоко, высоко над головами, из маленькой черной трепещущей точки неслась, наполняя все пространство, могучая песнь о счастье и любви.

VIII

Тихо, медленно тянется время. Дни ползут за днями, однообразные, тяжелые, полные серой, свинцовой тоски.

Сначала, в самое первое время после отъезда Васильцева, весь организм Веры так был потрясен пережитым ею нервным ударом, что даже печали сильной она не ощущала; всякая способность жить и волноваться

замерла в ней. Преобладающим чувством была глубокая, подавляющая усталость. Целые дни проводила она как бы в спячке, не способная ни к малейшему напряжению мысли. Случалось, что среди разговора она вдруг неожиданно засыпала. Порой только это нравственное оцепенение на миг рассеивалось как бы физическим воспоминанием последних минут, проведенных с Васильцевым. В ушах ее проносился его мягкий, ласковый голос; на губах ощущался след жгучего поцелуя. По всему ее телу пробегала страстная дрожь. И странно, после всякой такой минуты на нее находило внезапное успокоение, непоколебимая уверенность: «Так не может кончиться. Мы увидимся опять».

Время шло, и по мере того как физические силы восстановлялись, оживала способность к более острому страданию. С возвращением к обычным занятиям потребность видеть Васильцева, потребность, вскормленная трехлетней ежедневной привычкой, сказывалась все настоятельней, все мучительней. Каждая мелочь, каждый пустяк немилосердно напоминал о нем; на всякий окружающий предмет он как бы наложил свою печать; что бы она ни делала, за что бы она ни принималась, непременно встретится что-нибудь такое, что живо воскресит память о прошлом, о счастливой минуте, о маленьком, маловажном эпизоде, на который, когда он происходил, не обращалось почти внимания, но воспоминание о котором вызывало теперь жгучий, страстный наплыв отчаяния.

Всего хуже было просыпаться поутру. У ней бывали теперь такие странные, яркие сны: она видела его так реально, так жизненно, так всем своим существом ощущала его близость; притом все это происходило так вероятно, было обставлено такою массою маленьких правдоподобных деталей, совсем как в действительности, что случалось ей даже самой радостно говорить себе во сне: «Нет, уж теперь это не сон! Теперь это правда!» И вдруг, словно завеса прорвется, все моментально завертится, стушуется, расплывется, острое сотрясение пройдет по всему ее организму — и нет больше ничего. Опять она одна в постели; опять она охвачена мучительнейшим сознанием своего одиночества. Опять она лежит и корчится, и извивается в страстных безнадежных рыданиях. И что ни день, все хуже, все настоятельней становилась тоска. Домашних своих Вера и прежде чуждалась; теперь общество сестер, их мелочные интересы, их пустые разговоры стали ей невыносимы. Все казалось ей бесцветным, приторным. Когда ей приходилось быть с кем-нибудь, она только и думала, как бы поскорей уйти; ей все казалось, что ей надо остаться одной, чтобы серьезно подумать. И лишь только ее оставляли в покое, она действительно тотчас принималась думать, то есть мечтать торопливо, страстно. Картины самые безумные, самые невозможные рисовались в ее воображении: она уже столько раз переживала в уме всю сцену, как она убежит из дому, как отыщет Васильцева, где бы то ни было, хоть на дне морском. Мечты приносили минутное облегчение, но вдруг, откуда ни возьмись, явится холодная, отрезвляющая мысль: «У меня нет ни копейки денег, а до Вятки три тысячи верст! Да и куда

пойдешь в России без паспорта? С первой станции вернут по этапу». Мечты уносились и оставляли по себе горькую, приторную оскомину.

Разумной надежды не было ни малейшей. Оставалась безотчетная вера в чудо. Вначале, когда слишком одолевало горе, всегда являлось физическое возмущение: «Так страдать невозможно! Этому *будет* конец!» Но конца не приходило. Страдание становилось вещью нормальной, обыденной. Теперь, при каждом пароксизме отчаяния, горечь данной минуты еще усугублялась воспоминанием о вчерашнем и уверенностью, что и завтра будет то же.

И вдруг в тот момент, когда Вера уже совсем начала поддаваться безнадежности, когда мрачная, тупая, свинцовая тоска стала ее постоянным настроением духа, вдруг сверкнул луч счастья: она получила письмо от Васильцева. Писать ей обыкновенным образом по почте он не мог: письма были бы перехвачены либо полицией, либо ее родителями; но он умудрился прислать ей весточку через одного знакомого купца, имевшего торговые сношения с Вяткой.

Письмо было короткое, очень сдержанное, без всяких нежных излияний: видно было, Васильцев имел в виду, что оно может попасть в чужие руки. Но вряд ли когда самое длинное, самое страстное послание принесло больше радости, чем этот маленький лоскуток бумаги. Вера чуть с ума не сошла от счастья! Как всегда бывает, когда уж очень настрадается человек, при первом облегчении она так заторопилась радоваться, что ей показалось, будто теперь все прошло; горя — как не бывало. Главное было иметь от него известие. Всего ужаснее было чувство, что он вдруг куда-то пропал, как сквозь землю провалился, что даже связи никакой с ним не осталось. Теперь же, лишь только явилась возможность переписываться, отъезд его сделался обыкновенным отъездом, разлука с ним стала временной неприятностью, а не тем подавляющим, безысходным несчастьем, как прежде.

Хотя после первых же минут Вера не только знала письмо Васильцева наизусть, но даже внешний вид его как бы врезался ей в памяти, однако не проходило дня, чтобы она не читала и не перечитывала драгоценной бумажки. В первую неделю по получении письма она жила этой радостью; потом ушла вся в ожидание следующего.

Как все люди, живущие исключительно одной мыслью, одним интересом, и притом таким, в котором они поневоле должны ограничиваться пассивной, выжидательной ролью, Вера вдруг стала ужасно суеверна. В каждой мелочи видела она теперь хорошее или дурное предзнаменование, хорошую или дурную примету. У ней явилась какая-то ребяческая привычка постоянно загадывать. Когда она проснется поутру, вдруг ни с того ни с сего пронесется в голове ее мысль: «Если Анисья, войдя в комнату, первым делом поздоровается со мной, это будет значить, что все благополучно и скоро придет письмо; если же она, не говоря ни слова, подойдет сперва к окну и подымет штору, то это будет худой знак». Стоило такой нелепой мысли мелькнуть, и Вера против воли тревожно, с бьющимся сердцем начинала поджидать появления горничной

и потом была весь день бодра или печальна, смотря по тому, какой ответ дала ей пифия.

Несмотря на трудность переписываться, Васильцев в течение лета и следующей осени нашел возможность прислать Вере три письма. По мере того как он убеждался, что письма доходят благополучно по назначению, он начинал писать все свободнее и задушевнее. Последнее письмо было особенно нежное и ободряющее. Он жаловался, правда вскользь, на упорный кашель, от которого никак не может отделаться, но вообще казался в хорошем, бодром настроении духа; в первый раз даже коснулся он определенно планов на будущее.

«Мне подают надежду, — писал он, — что ссылке моей будет конец. Но если бы даже эта надежда и не оправдалась, то ведь, во всяком случае, через два с половиной года ты будешь совершеннолетней и будешь сама располагать твоей судьбой. Дитятко мое дорогое! Если бы ты только знала, каким сумасшедшим мечтам предается иногда твой старый, безумно любящий тебя друг!»

Вера себя не помнила от радости, получив это письмо. Теперь она не сомневалась в будущем. Два с половиной года — не вечность; они пройдут, а после ничто, ничто в мире не удержит ее вдали от милого.

Но увы! За этим радостным письмом других не последовало. Знакомый купец, на беду, уехал куда-то по делам на долгий срок. Он обещал, правда, что в его отсутствие его приказчик будет передавать письма. Но неделя проходила за неделей — известий все не было. Вера так твердо верила теперь в счастье, что вначале это отсутствие писем не очень даже ее беспокоило; она выдумывала всевозможные причины, чтобы объяснить его себе. Мало-помалу ее тревога усилилась и скоро стала поглощающим чувством. Все ее мысли сосредоточились на одном: получить письмо. Днем она то и дело прислушивалась, не едет ли кто от знакомого купца, ночью только о том и грезила, что ей подают конверт с милым почерком.

Мука этого бесплодного, томительного, ежеминутного ожидания становилась подчас так невыносима, что все ее существо возмущалось. Иногда даже против самого Васильцева являлась у ней горечь и злоба. «Если бы я его никогда не встречала, жила бы я себе спокойно, как сестры мои живут!» — думала она с сожалением в припадках малодушной слабости. Однажды у ней на душе поднялась такая буря противоречащих друг другу мучительных чувств, что она в каком-то неистовстве взяла и разорвала в клочки последнее его письмо. Но когда белая измятая, истерзанная бумага снегом посыпалась на пол, в ней вдруг проснулось раскаяние; явилась какая-то гадливость к самой себе, точно она сама подняла руку на то, что ей было всего дороже. Целый час потом провозилась она, собирая драгоценные клочки и слепливая их вместе на листе чистой бумаги.

Снова весна на дворе, а известий все нет. При хорошей погоде Вера уходила на обрыв, с которого был вид на соседнюю усадьбу, и часами просиживала на старой, полуразрушенной скамейке в тупой, тоскливой апатии.

Однажды сидела она так по обыкновению и вдруг увидела почтовый тарантас, который свернул с большой дороги по направлению к дому Васильцева.

«Что это значит? Куда это он? — подумала она, и сердце ее вдруг шибко, шибко забилось. — Проедет он, может быть, мимо на соседнее село? Нет, вот он, гремя, въезжает на старый полусгнивший мостик, вот он повернул в аллею. Отсюда уже другого пути нет... Господи, кто это такой?»

Волнение, охватившее ее, было так сильно, что ноги у ней затряслись, и она едва была в силах встать с места. Сердце ее кольнуло болезненным предчувствием, и в то же время и радостная дрожь по ней пробежала: «Все хоть знать буду! Все лучше неизвестности!»

Быстро набросив платок на плечи, она побежала по направлению к соседней усадьбе; но, подходя к дому, шаг ее невольно все больше и больше замедлялся; все больней, все мучительней сжималось сердце.

На поросшем травой дворе стоит пустой тарантас. Ямщик, сняв шапку и отирая пот с лица, возится с лошадьми. Парадная дверь на крыльцо, столько времени стоявшая заколоченной, теперь открыта настежь. Вера входит в переднюю, в залу — там все пусто. Пахнет сыростью, нежилым; сквозь полураскрытые ставни слабо брезжит свет.

Мебель, стулья, столы, диван — все расставлено совсем так же, как в день его отъезда. Физическое воспоминание этого ужасного утра вдруг разом, всецело охватывает ее.

Из его кабинета доносится шум, голоса. Вера идет туда. Старик дворник возится у окна со ставней, которая не поддается, так как засовы заржавели. Бывшая кухарка с большой связкой ключей в руках утирает передником слезы. В полумраке Вера едва может разглядеть еще три фигуры у письменного стола. В одной из них она признает, наконец, исправника, две другие — мужчина и женщина, в дорожном платье, совсем ей незнакомы.

Когда ставня наконец отворена, исправник с своей стороны тоже узнает ее и подходит.

— Вот позвольте представить, господа Голубинские — родственники нашего бедного Степана Михайловича. На днях получили официальное известие, что двоюродный братец их скончался в Вятке от чахотки. Вчера приехали к нам в город и обратились ко мне, чтобы я ввел их во владение. Им, по закону, родовое именье достается...

На этот раз природа оказалась милостивой к Вере; услышав грозную весть, Вера потеряла сознание. У ней открылась белая горячка. Целые недели пролежала она в бреду. Выздоровление шло медленно.

Вера стала мало-помалу возвращаться к жизни, и, как у всех воскресающих после тяжелой болезни, она испытывает теперь в высшей степени физическую радость существования. С свойственным выздоравливающим инстинктом самосохранения, она удаляла от себя все тяжелые, серьезные мысли; все ее помыслы и желания сосредоточивались теперь на мелочных радостях и печалях, какими богата жизнь больной, и ме-

лочи эти принимали в ее глазах странную, непропорциональную важность; все опять приобрело для нее прелесть новизны, как для ребенка. Она радовалась, если бульон вкусно приготовлен, и плакала, если подушку ее поправят не так, как следует. Было целым событием в доме, когда ей позволили в первый раз скушать крылышко жареного цыпленка.

Когда, наконец, настал период полного выздоровления и жизнь вошла в свою норму, прошедшее представлялось ей в отдалении, как через дымку.

Однажды, когда она уже начала сидеть в постели, отец принес ей какие-то бумаги, под которыми ей надо было подписаться. Вера слабой, дрожащей рукой начертила свое имя, но, с каким-то инстинктивным предчувствием чего-то страшного, не спросила даже, почему это нужно.

Лишь несколько недель спустя, когда она уже совсем оправилась, родители сообщили ей, что Васильцев перед смертью написал завещание, по которому оставил ей часть своего состояния.

В благодарность за это отец счел себя обязанным передать ей и письмо, которое Васильцев написал ей перед смертью.

«Ты была для меня и дочерью и возлюбленной, Вера! — писал он ей, — и теперь, умирая, о тебе я только и думаю, ты будешь как бы продолжением меня. Самому мне ничего не удалось совершить на земле. Всю мою жизнь я был праздным, бесполезным мечтателем; умру я — и следа моего не останется, как трава в поле, про которую говорится в песнях; скосили ее и высушили, и места, где она росла, не видать больше. Но ты, моя Вера, ты еще молода, ты сильна. Я знаю, я чувствую, что ты призвана к чему-то высокому и прекрасному. То, о чем я только мечтал, ты совершишь, то, что я только смутно предчувствовал, ты это выполнишь!»

С глубоким, все ее существо охватывающим благоговением читала Вера эти строки, написанные теперь уже похолодевшей навеки рукой. Ей казалось, что с ней говорит голос с того света. Прежнего страстного, негодующего отчаяния она теперь не испытывала, но она чувствовала, будто черная тень легла на всю ее жизнь и навсегда отрезала у нее возможность всякого простого, эгоистического счастья.

Болезнь Веры как будто вдруг нарушила весь строй баранцовского дома и положила конец долгому периоду спокойного, скучающего затишья. После нее посыпались вдруг перемены одна за другой.

Первая перемена была очень приятного свойства, именно такая, какую уже давно все желали и ждали: Лена сделалась невестой. В их губернский город прислали новый полк, один из офицеров этого полка и был виновником этой счастливой перемены. Вскоре после брака, однако, молодым пришлось уехать, так как полк услали совсем в другой конец России. Лиза, заскучавшая дома еще сильней прежнего, поехала к сестре с тайной надеждой между товарищами зятя найти и себе жениха.

Таким образом семья Баранцовых вдруг распалась и рассыпалась. Огромные покои старого барского дома казались теперь еще пустее прежнего.

А тут случилось вдруг новое неожиданное событие, далеко не веселое: графа хватил паралич. Но на этот еще раз смерть только постучалась в окно и прошла мимо, оставив, однако, за собой неизгладимые следы. У графа отнялись ноги и ослабела память. Он впал во второе детство. Полулежа в большом вольтеровском кресле, он весь день капризничал, плакал и требовал, чтобы его забавляли, как ребенка. Но всего тяжелее для окружающих сделалась его мания рассказывать нескончаемые истории. Целыми часами говорил он, с трудом шевеля языком. путая слова, раз сто повторяя то же самое и горько обижаясь, если его не слушают. Одна только Вера имела терпение ухаживать за больным стариком и умела понимать его все более и более бессвязную речь.

Графиня, немного приободрившаяся по случаю Лениной свадьбы, теперь окончательно пала духом и опустилась. Она стала страшно религиозна, окружила себя божьими людьми, монахами и странницами, и на все житейское махнула рукой.

Вере, которой приходилось быть сиделкой больного отца, нельзя было теперь и думать о какой-либо собственной деятельности. Ею овладела мало-помалу покорная, безнадежная апатия. Конца ее теперешнему существованию не предвиделось, так как доктора объявили, что граф может прожить еще лет десять.

По счастью, однако, эти предсказания не оправдались. Года через три смерть явилась в один прекрасный день, совсем нежданная. Граф уснул однажды спокойнее обыкновенного, но когда Вера, удивленная его продолжительным сном, пришла разбудить его, она нашла его уже похолодевшим.

На похороны в последний раз съехалась семья и потом уже окончательно распалась и разбрелась в разные стороны.

Графиня объявила дочерям, что решилась поступить в монастырь; родовое именье купил бывший управляющий; по продаже его у каждой из дочерей остался капитал тысяч в двадцать. Старшие сестры возвратились к своей жизни полковых дам.

Вера теперь осталась одна на свете полной себе госпожой. Недолго думая, решилась она поехать в Петербург и там искать себе какой-нибудь деятельности.

IX

Первое время своего пребывания в Петербурге Вера не испытывала ничего, кроме разочарования. Она убедилась, что гораздо труднее быть полезной, чем она думала. В ее глазах быть полезной значило или работать лично над разрушением деспотизма и тирании, или поддерживать тех, кто работает в этом направлении. Она не понимала, что можно быть полезной и другими простейшими способами. Но к кому обратиться за работой, которая бы подошла к ней? Ее разговоры с Васильцевым мало подготовили ее к какой бы то ни было деятельности. Они неизменно носили характер чего-то абстрактного, идеального. Благодаря Васильцеву Вера прочла ряд революционных изданий. Сам Васильцев

в своих разговорах представил ей поразительную картину всех бедствий, от которых страдает человечество, и указал ей источник этих бедствий в том факте, что современная жизнь построена на угнетении и конкуренции, а не так, как следовало бы, — на свободе и единении. Не раз заводил он с нею речь о мучениках, о всех современных героях свободы, пожертвовавших жизнью и счастьем ради торжества святого дела. И она страстно полюбила этих героев и пролила не одну слезу над их судьбой. Но ни в одном разговоре Веры с Васильцевым не было и речи о том, что ей самой нужно делать для того, чтобы уподобиться этим героям. И в годы, последовавшие за арестом Васильцева, в годы одиноких размышлений она ни разу не останавливалась над этим вопросом. Ее всегда поглощала мысль о ближайшей задаче, о разрыве всяких связей с семьей, об оставлении того тесного круга, в котором проходила ее жизнь. Ее незнание действительных условий жизни было так велико, что в ее воображении нигилисты являлись чем-то вроде правильно организованного тайного общества, работающего по определенному плану и стремящегося к достижению ясно обозначенных целей.

Поэтому она не сомневалась в том, что, раз попавши в Петербург — в этот очаг нигилистической агитации, — она немедленно будет завербована в великую подземную армию и займет в ней определенный пост, как бы скромен он ни был.

Таковы были ее мечты за все эти годы. Но вот она в Петербурге, полная госпожа собственной жизни, свободная делать, что ей вздумается. И что же? Цель так же неясна перед нею, как и прежде. Она не знает, к кому прибегнуть, как найти даже этих настоящих нигилистов. Великим разочарованием для нее было узнать, что мне лично ни один из этих нигилистов не был знаком и что я даже не верила в существование обширной революционной организации в России. Это нимало не входило в ее расчеты. Она ждала от меня лучшего.

Я, тем не менее, позволила себе дать ей совет в ожидании лучшего заняться посещением лекций по естественным наукам.

Женские курсы только что были открыты в Петербурге.

Она послушалась меня и стала ходить на лекции, но ум ее не был направлен в эту сторону. Ей не удавалось стать на один уровень со своими товарками, войти в их научные интересы. Большинство этих товарок были молодые девушки; они работали усердно, имея в виду определенную цель. Они стремились поскорей и лучше выдержать экзамен, чтобы сделаться учительницами и жить собственным трудом.

Все их интересы сосредоточивались пока на учении, и в их разговорах профессора, курсы, практические занятия составляли единственное содержание. Мировой скорбью они нимало не страдали. В свободную минуту они не прочь были собраться и при случае, то есть каждый раз, когда к их обществу присоединялись студенты, они не могли устоять от желания потанцевать и пококетничать. Все это, очевидно, нимало не отвечало меланхолической экзальтации такой мечтательницы, как Вера. Не удивительно поэтому, если, помогая им своим кошельком, она

в то же время относилась к ним как к детям и держала себя несколько вдалеке от них.

Учение также не удовлетворяло ее. «Будет еще время заниматься науками, — думала она, — надо прежде добиться того, чтобы главная часть задачи была исполнена». В этом же смысле отвечала она на все мои убеждения — более серьезно отнестись к своим занятиям.

— Я не понимаю, — говорила она мне, — как среди окружающих нас со всех сторон бедствий и под впечатлением тех страданий, на которое жалуется человечество, можно находить удовольствие в том, чтобы рассматривать под микроскопом глаз мухи; а между тем этим возвышенным предметом и занимал нас целый час наш добрый профессор В.

Убедившись в том, что Вера имеет мало вкуса к естественным наукам, я посоветовала ей заниматься политической экономией. В результате оказалось то же. Чтение ходячих трактатов по политической экономии только вызывало в ней усталость, не оставляя в то же время никакого следа в ее голове. Принимаясь за них, она наперед уже была убеждена в том, что интересующая их авторов задача — устроить человеческое благополучие — будет достигнута только тогда, когда люди разделят все между собой и не будет более ни угнетения, ни собственности.

Она считала это неоспоримой истиной, не допускавшей сомнения, не требовавшей доказательств. К чему, в таком случае, ломать себе вечно голову над всеми этими вопросами о заработной плате, о процентах, о кредите и о целом ряде столь же скучных и запутанных вещей, единственное назначение которых производить путаницу в уме и отклонять людей от их настоящей цели! В наше время всякий порядочный человек не вправе спрашивать себя: «Какую цель я поставлю для своей личной жизни?» Он может только интересоваться выбором кратчайшего пути, ведущего к достижению общей цели. Для русского такой целью может быть только социальная и политическая революция. А на эти вопросы никакие учебники политической экономии ответа не дают; следовательно, нечего их и читать. Вот как рассуждала со мною Вера. И все же, как ни покажется это странным, мы сделались друзьями. Наши свидания стали часты, и в разговорах не раз проглядывала личная симпатия. Объясняю я это той странной прелестью, какою отличалась вся личность Веры.

Черты ее лица были так благородны, каждое ее движение так грациозно и гармонично и, что всего важнее, столько было искреннего и наивного во всей ее манере держать себя, что я чувствовала себя нравственно удовлетворенною. Но спорить с нею не было возможности, и мне оставалось только жалеть о том, что ум ее мало развит и что она поэтому равнодушна ко всем великим благам современной цивилизации.

Что касается до Веры, то она предпочитала меня всем своим знакомым. Но в то же время она не могла понять, как я всецело отдаюсь занятиям математикой.

Ей казалось, что математик — своего рода чудак, занимающийся решением выраженных в цифрах шарад. Можно простить ему его ма-

нию, так как она весьма невинного свойства, но трудно отказаться от некоторого презрения к его слабости.

Таким образом, каждая из нас смотрела на другую свысока, с некоторым снисхождением. Но это не мешало нашей приязни.

А между тем время шло, и Вера, чувствуя, что не сделала еще ни одного шага к достижению намеченной ею цели, становилась все раздражительнее и нетерпеливее. Ее здоровье начало страдать от неудовлетворенности этого странного желания «посвятить себя делу». Яркий румянец стал сходить с ее щек и выражение ее больших темно-голубых глаз становилось с каждым днем более задумчивым и печальным.

Вспоминается мне, как однажды веселым зимним утром мы прогуливались по Невскому. Небо было ясно, и солнце разливало повсюду свои яркие резкие лучи. Можно было думать, что какое-то чудо перенесло нас в то светящееся царство, о котором говорят наши народные сказки. Серебром отливало от окон магазинов. Серебро блестело под ногами и разлеталось вокруг нас мелкими блестками. Столько освежающего заключал в себе чистый зимний воздух, что становилось веселее жить. Несмотря на широту тротуаров, мы с трудом могли двигаться, так как со всех сторон нас теснили прохожие. Мужчины, женщины, дети, с ярким румянцем на щеках, с уходившим в мех подбородком, дышали здоровьем и весельем.

— И сказать, — внезапно обратилась ко мне Вера, — что среди этих людей, быть может, находятся те самые, которых я так давно ищу. Не один, пожалуй, мог бы сказать мне все то, что я тщетно хочу узнать. Знаешь ли, каждый раз, когда мне приходится встретить симпатичного человека, я готова остановить его, посмотреть ему прямо в глаза и спросить, не из них ли он.

— Что же, ради меня, пожалуйста, не стесняйся, — отвечала я самым спокойным тоном, — посмотри, например, на этого офицера с блестящими золотом эполетами или на этого франтоватого адвоката, который так самодовольно рассматривает тебя в свой монокль. Не начнешь ли с них свои расспросы? Их внешность многое обещает.

Вера пожала плечами и тяжко вздохнула.

К концу зимы произошло нечто, сразу положившее конец терзаниям Веры и давшее ей возможность открыть то, чего она искала.

Еще с начала января распространился слух, что значительные аресты были произведены в различных местах России и что правительству удалось раскрыть хитро задуманный социалистический заговор. Слухи эти вскоре подтвердились: в «Правительственном вестнике» напечатан был официальный отчет, которым оповещалось верноподданным, что правосудию удалось наложить руку на целое сообщество политических преступников в числе семидесяти пяти человек [9].

После подавления польского восстания, неудачного покушения Каракозова и ссылки в Сибирь Чернышевского [10] настал в России период от-

носительного политического затишья. Правда, и в это время было немало заподозренных. Частые аресты и ссылки продолжались своим порядком. Но нельзя указать за это время ни одного общего движения. Период систематических покушений еще не наступил. Самый характер революционной пропаганды значительно изменился, не без влияния иноземных воздействий. Прежде заняты были мыслью о политических реформах и низвержении самодержавия; теперь выступили на очередь социалистические задачи. Революционная интеллигенция постепенно проникалась тем убеждением, что пока простой народ останется в невежестве и бедности, трудно ждать каких бы то ни было существенных результатов.

Чтобы добиться чего-нибудь, надо работать среди народа, искать с ним сближения, «опроститься». Людей этого поколения как нельзя лучше изобразил Тургенев в романе «Новь»[11]. К их числу, к числу наивных и далеко не преступных пропагандистов принадлежали и те семьдесят пять обвиняемых, о которых я только что упомянула. Они не орудовали ни бомбами, ни динамитом; большинство их вышло из хороших семей и не знало за собой другой вины, кроме «хождения в народ». С этой целью они одевались в крестьянские платья и шли работать на фабрики, с тайною мыслью о пропаганде в среде трудящегося люда. Всего чаще, однако, дело ограничивалось посещением кабаков и базаров, произнесением революционных речей и раздачей брошюр крестьянам. Незнакомые с нравами народа и с самым его говором, пропагандисты осуществляли свою миссию так непрактично и неловко, что после первых же попыток «произвести брожение» между рабочими хозяева фабрик и кабатчики, нередко также сами крестьяне, выдавали их головой полиции.

Как ни малы были достигнутые революционерами практические результаты, правительство, тем не менее, сочло нужным отнестись к ним с большой суровостью, в надежде положить сразу конец всякой дальнейшей пропаганде. Дан был приказ задерживать всех, кто только попадется в руки. Чтобы попасть в число заподозренных и подвергнуться аресту, достаточно было нарядиться в крестьянское платье. Схваченные препровождались в Петербург для следствия и суда. Хотя большинство их не знало друг друга, их объявляли, тем не менее, участниками общего дела. Так было и на этот раз. Начальство хотело одновременно поразить умы силою возмездия и строгостью правосудия. Правда, дело передано было на разбирательство не присяжных, а специальной судебной комиссии, по назначению от правительства, но каждому из подсудимых предоставлено было право иметь своего адвоката, и процесс должен был разбираться при открытых дверях.

Правительство, по-видимому, не сумело дать себе отчета в том, что в такой стране, как Россия, при громадности расстояния и отсутствии свободы печати политические процессы являются лучшим орудием пропаганды. Много молодых людей, разделявших одни убеждения с Верой, не нашли бы в течение ряда лет возможности «служить делу», если бы

политические процессы по временам не указывали им на то, где искать «настоящих» нигилистов. Как общее правило, подсудимые вызывают живую симпатию в самых разнообразных кружках. Если непосредственно с ними нельзя иметь сношений, так как в большинстве случаев они сидят за запорами и решетками, то с их друзьями и родственниками сношения вполне свободны; им-то и спешат показать свои симпатии. Взаимное доверие устанавливается между сочувствующими и теми, в пользу кого высказывается сочувствие; один поддерживает и возбуждает другого. Не удивительно поэтому, что после каждого политического процесса повторяется то, о чем говорится в русских былинах: на смену одного богатыря выходят десять.

И Вера испытала на себе это влияние политических процессов. При первом известии о предстоящем суде она перестала думать обо всем другом. Каждый номер «Правительственного вестника» сделался для нее предметом внимательного изучения. Она знала наизусть не только имена подсудимых, но и их адвокатов и поспешила воспользоваться первым попавшимся случаем, чтобы завязать знакомство с семьями обвиняемых [12].

Таким образом открылось перед нею то широкое поле деятельности, о котором она мечтала. Семьдесят пять семейств, повергнутых в нищету и отчаяние арестом близких им людей, нуждались в ее участии. Она могла оказать им деятельную помощь, она могла «послужить делу»: и это же давало ей возможность сразу окунуться в среду людей, близких ей по чувствам и убеждениям. Нечего и говорить, что, всецело занятая своими новыми друзьями, она сразу оборвала и посещение курсов, и свиданья со мной. Если иногда она и забегала ко мне на минуту, то только чтобы воспользоваться моим содействием и оказать услугу дорогим для нее людям. То приходилось мне устраивать подписку в пользу той или другой из потерпевших семей, то пристроить оставшегося без призора ребенка, то убедить кого-нибудь из выдающихся адвокатов взять чью-либо защиту. Словом, Вера не жалела ни собственных, ни чужих трудов.

К концу апреля следствие было кончено, и начались судебные заседания.

С шести часов плотная толпа теснилась у входа в суд. Только лица, снабженные билетами, могли проникнуть в зал заседания; остальные устраивались у входа в надежде поскорее узнать о результате. В половине девятого стали впускать публику, и мы внезапно очутились в обширном зале меж двух шпалер жандармов, которые внимательно заглядывали нам в лицо, как бы желая проверить наше право иметь входные билеты.

Достаточно было беглого взгляда, чтобы убедиться в том, что публика состоит из лиц двоякого рода. Одни пришли из любопытства, как на редкое зрелище. Это были большею частью люди хорошего общества, которым нетрудно было заручиться входными билетами. В их числе можно было видеть дам далеко не первой молодости, одетых в черное, как этого

требует хороший тон. Многие держали в руках бинокли. Видимо, они боялись упустить малейшую подробность той драмы, которая должна была развернуться на их глазах. Их любопытство было так возбуждено, что в жертву ему они согласились принести и привычку позднего вставанья и естественную боязнь всякого соприкосновения с толпой. Мужчины этой группы почти все имели вид сановный, кто в мундире, а кто только при звезде.

В первые минуты все как бы замерли в ожидании, но вскоре торжественная тишина была нарушена. Нашлись знакомые. Стали обмениваться поклонами. Любезность мужчин сказалась в желании уступить дамам лучшие места. Мало-помалу завязались разговоры — сперва шепотом, потом все громче и громче. Не происходи все это ранним утром среди голых стен и окон, на простых деревянных скамьях, можно было бы подумать, что находишься на светском собрании.

Наряду с этой группой зрителей была и другая. Ее составляли родственники и ближайшие друзья обвиняемых. Печальные, похудевшие лица, старенькое платье, мрачное, тяжелое молчание, взоры, устремленные со страхом на дверь, из которой должны были показаться обвиняемые, — все в них говорит о горестной действительности, о близости жестокой развязки.

Ровно в десять часов раздается обычный возглас: «Суд идет!» В зал входят двенадцать сенаторов, все люди преклонного возраста, у которых на груди больше орденов, чем волос на голове. И все же можно приметить в их среде все категории русского сановничества. Рядом с надутым, самоуверенным, еще не закончившим своей карьеры государственным мужем бросается в глаза и одряхлевший старец с повисшей губой и полупотухшим взглядом. Не спеша, с некоторой торжественностью опускаются они в кресла.

И вот открывается вторая боковая дверь, и на этот раз в зал суда входят в сопровождении жандармов семьдесят пять обвиняемых. Странный вид имеют эти преступники. Изможденность их лиц стоит в резком противоречии с их молодостью. Старшему нет еще и тридцати лет, младшему едва минуло восемнадцать. Все они принарядились — у всех своего рода праздничный вид. Есть между ними и хорошенькие молодые девушки. Охватившее их волнение придает глазам лихорадочный блеск и покрывает болезненной краской щеки. Долгие месяцы провели эти молодые люди в полной разобщенности с остальным миром. И вот им суждено внезапно встретиться с близкими, узнать своих в пестрой толпе присутствующих. Неудержимая, почти детская радость рисуется на их лицах. Они, по-видимому, забывают об ужасающей серьезности наступившей минуты, о близости приговора, приговора, который на многие, многие годы лишит их всякой житейской радости. Они в эту минуту не помнят ничего; они только смотрят друг на друга с радостью и умилением. Несмотря на сопротивление жандармов, многим удается пожать протянутые навстречу руки и перебросится парою слов. При виде их родственники и друзья не в силах овладеть собою: они бросаются к пере-

городке с радостными приветствиями. Я уверена, что никто из бывших в зале суда никогда не в состоянии будет забыть этой минуты.

Даже господа из высшего круга, давно потерявшие способность к сильным ощущениям, поддаются общему настроению. Их симпатии на минуту переносятся на подсудимых. Позже, когда они вернутся домой и время принесет успокоение их нервам, они не раз покраснеют при мысли о своем невольном увлечении, но в данную минуту они не владеют собою, и многие из этих почтенных дам машут платками при виде этих ужасных нигилистов. Но все это длится только минуту; и жандармам вскоре удается восстановить порядок и вернуть подсудимых на их места.

Разбирательство в полном ходу. Прокурор произносит обвинительную речь. Несмотря на важность выдвигаемых в ней фактов, подсудимые пропускают мимо ушей его красноречие. Они глядят друг на друга и пытаются передать каждый свои впечатления, если не словами, то знаками. И как ни велико пережитое ими горе, как ни страшна ожидающая их участь, они в данную минуту вполне счастливы, точно победа осталась за ними.

Прокурор — человек молодой, желающий сделать быструю карьеру. Красноречие его поэтому оглушительно. Более двух часов рисует он перед судьями мрачную картину революционного движения в России. Он сортирует обвиняемых по группам и в каждой видит возможность установить новые подразделения — и все это он делает с такою же смелостью и быстротою, с какою ботаник классифицирует растения своего гербария по родам и видам. Против каждой категории он выдвигает особые обвинения, но ядовитейшие стрелы его красноречия направлены почти исключительно против пяти подсудимых. Из этих пяти двое — женщины: одна совсем молодая девушка с бледным продолговатым лицом, с мечтательными серо-голубыми глазами. Это дочь высокопоставленного чиновника. Товарищи называют ее «святой». Другая старше по возрасту, крепкого телосложения, по-видимому, более грубой породы; ее широкое плоское лицо совсем не красиво и носит отпечаток фанатизма и упрямства.

Из мужчин — один работник с интеллигентной наружностью; другой — школьный учитель со всеми признаками скоротечной чахотки; третий — студент-медик Павленков [13], родом еврей. Он особенно вызывает ненависть и негодование прокурора.

Раз заходит речь о Павленкове, прокурор не может сдержать своей ярости: он рисует его настоящим Мефистофелем. Прочие подсудимые, несомненно, все — народ очень вредный, — утверждает он. Общество обязано устранить их в интересах собственной безопасности, но за ними все же надо признать смягчающие обстоятельства. Как бы нелепы ни были проповедуемые ими теории, они все же верят в них сами: но о Павленкове этого сказать нельзя. Для него революционная пропаганда только средство возвыситься самому и потопить других в грязи. Природа наделила его разумом свыше обыкновенного, но этим драго-

ценным даром он воспользовался только для того, чтобы повергнуть в бездну себя и других.

Следуя примеру своих французских собратий, прокурор описывает жизнь Павленкова, начиная с его ранней молодости. Он рисует его нам самолюбивым мальчишкой, растущим в среде бедных, не заслуживающих уважения родителей. Им чужды были, утверждает он, всякие нравственные принципы. И, не имея их сами, они не в состоянии были привить детям то, без чего немыслима борьба с порочными инстинктами. Богатый еврей негоциант, пораженный умом молодого Самуила, отдает его в школу; Самуил учится прилежно и с успехом, но учение не развивает в нем нравственных чувств. Получивши аттестат зрелости, он поступает в Медицинскую академию. Это был, очевидно, неожиданный успех для бедного еврейского мальчишки, братья и сестры которого, в рубище и о босу ногу, продолжают бегать по улице. Но вместо того чтобы благодарить бога и благодетеля, Павленков поддерживает и развивает в себе то злобное чувство, которое вызвали в нем бедность и унижения детства. Им постепенно овладевает неукротимая ненависть ко всему и всем, кто стоит выше его; свой ум, свои способности он направляет на то, чтобы приобрести влияние на товарищей, вышедших из лучших, нежели он, семей. В душе своей он лелеет мысль, как бы приобщить их к своим преступным замыслам.

И в этом духе прокурор говорит безостановочно. Речь свою он заканчивает просьбой, чтобы суд покарал Павленкова со всею строгостью закона. К таким преступникам, как он, жалости быть не может.

Пока прокурор громил Павленкова, я внимательно следила за лицом обвиняемого. В известном смысле наружность его была интереснее всех остальных. Он казался старше и годами, и опытом. В нем нельзя было найти и следа той детской наивности, какой дышали лица прочих обвиняемых. Это был брюнет с резкими еврейскими чертами. Глаза его поражали умом и красотою, но горькая саркастическая и вместе чувственная улыбка искажала его рот. Его красные толстые губы неприятно поражали своим контрастом с верхней частью лица, производившей тонкое впечатление. Подергивания лицевых мускулов и резкие движения рук обнаруживали его нервность. Один из всех подсудимых, он не обнаруживал ни малейшей радости при виде товарищей, и никакие влажные от слез взоры не встретили его при входе. Павленков внимательно следил за каждым словом прокурора и по временам делал заметки на бумаге, но никакое самое гневное обращение не выводило его из себя. И не будь нервных подергиваний на его лице, легко было бы принять его за равнодушного, хотя и внимательного зрителя, лично не заинтересованного в исходе дела.

После речи прокурора последовал перерыв в полтора часа. И зрители, и обвиняемые оставили зал суда. Сенаторы и адвокаты поспешили заняться завтраком, а публика разбрелась по соседним ресторанам.

Но вот заседание вновь открыто, и на очередь выступают адвокаты. Нелегкое дело быть защитником в политическом процессе. Правда, такой

процесс — отличное средство выдвинуться вперед, сделать себе имя. Но зато стоит только адвокату обнаружить в своей речи некоторый огонь и убеждение, и он сразу попадает в категорию людей подозрительных. Еще многие помнят, как за красноречивой защитой следовала административная ссылка. Но к чести адвокатского сословия надо сказать, что в его среде всегда находились люди, достаточно великодушные, чтобы отдать себя в распоряжение обвиняемых без всякой даже надежды на вознаграждение. Так было и в данном случае. И на этот раз нашлись люди, охотно принявшие на себя неблагодарную и ответственную роль защитников. Они и не думали о том, чтобы выгородить своих клиентов, отрицая всякое их участие в революционном движении. Они довольствовались тем, что рисовали в самом выгодном свете мотивы их действий; развивали смелые теории и нередко позволяли себе выражения, которые были бы немыслимы во всяком ином процессе, кроме политического.

Председатель суда не раз пробовал прерывать их. Но все усилия его были тщетны: минуту спустя они возвращались к прежнему и высказывали мысли еще более смелые и решительные.

Публика все более и более проникалась симпатией к обвиняемым. Люди светского круга, попавшие сюда из любопытства, с изумлением прислушивались к вещам, о которых дотоле им ни разу не приходилось и думать: их умственные силы были так же мало изощрены в этом направлении, как способности Веры в направлении противоположном. Подобно тому, как Вера находила социализм единственным средством к решению всех вопросов, так точно эти люди принимали на веру, что все идеи нигилистов были своего рода сумасшествием.

Не удивительно поэтому, что, знакомясь с красноречивым изложением этих идей и видя, что эти страшные нигилисты далеко не те чудовища, каких рисовало их воображение, а несчастная, полная самоотвержения молодежь, новый мир предстал перед их глазами, и они не знали более, с каким чувством отнестись к обвиняемым. О прежнем презрительном, саркастическом отношении не было и помину. Постепенно накопившиеся в них симпатии грозили перейти в энтузиазм. Одни судьи продолжали обнаруживать обычную невозмутимость. Красноречие адвокатов мало их трогало. Им наперед даны были инструкции, и приговор их можно было предсказать. По временам только заметны были в них признаки усталости и апатии.

«Когда же настанет конец всему этому?» — как бы бормотали их уста.

Наступает вечер. Председатель закрывает заседание. В ближайшее утро возобновляются дебаты и снова до ночи.

И так со дня на день в течение целой недели. Интерес публики не только не падает, но, наоборот, заметно растет.

В числе самых блестящих защит надо поставить речь Павленкова. Правда, и ему не отказано было в адвокате, но, не довольствуясь его помощью, Павленков решил воспользоваться правом самозащиты. В техническом отношении речь его была несравненно ниже тех, которые про-

изнесены были раньше. Но что дало ей особенную силу и значение — это простота и безыскусственность. Он кончил ее следующими словами:

— Господин прокурор сказал вам, что я бедный, нищий еврей, и он сказал вам правду; но потому именно, что мне известна бедность, что я вышел из рядов презираемой нации, я и сочувствую всем тем, кто страдает и борется. Когда я увидел, что не в силах сделать что-либо обыкновенными средствами, я решился прибегнуть к чрезвычайным, не задаваясь мыслью о том, легальны они или нелегальны. Но господин прокурор говорит вам, что ввиду моего убожества меня и следует наказать строже других; пусть будет так, пусть сделают со мной все, чего он хочет. Я не буду искать вашего сострадания, так как принадлежу к народу, который привык страдать и терпеть.

По окончании прений судьи удалились для постановки решения, но публика оставалась в зале. Часа два спустя они вернулись к своим местам, и председатель тихо и торжественно приступил к чтению приговора. Оно длилось около часу. Большинству подсудимых назначена была ссылка на поселение в Сибирь или в отдаленные губернии.

Одни упомянутые пять преступников присуждены были к каторге сроком от пяти до двадцати лет. Павленкову, как и можно было ожидать, назначена была высшая мера наказания.

В правительственных сферах приговор этот единогласно был признан снисходительным. Все ожидали более сурового решения.

Но не так думала собравшаяся в зале публика. Он пал на нее как грубый, ошеломляющий удар. В течение недели она жила одною жизнью с обвиняемыми, она узнала каждого из них лично, проникла в сокровеннейшие стороны его прошлого. Трудно было ей поэтому отнестись равнодушно к их судьбе. Трудно было ей стать на ту точку зрения, на какую так часто становится читатель, узнающий, что какая-то неотвратимая беда обрушилась на плечи неизвестного ему лица.

Едва кончено было чтение, в зале воцарилась мертвенная тишина, изредка прерываемая рыданиями.

Взгляды мои невольно устремились на Веру. Она стояла, держась за перила, бледная, как полотно, с широко раскрытыми глазами, с тем недоумевающим, почти экстатическим выражением, какое встречаешь на лицах мучеников.

Толпа стала расходиться медленно и безмолвно.

На дворе играла весна; вода стекала по крышам и спускалась вдоль тротуаров быстрыми ручейками. На смену миазмам врывался в грудь чистый, свежий воздух. Все пережитое за эти дни казалось не более как кошмаром. Трудно было верить в действительность всего случившегося. Как в тумане рисовались облики этих двенадцати бессильных старцев, давно испытавших все радости жизни, теперь с спокойствием и довольством произнесших приговор, которым подкошено было в корне счастье и радость семидесяти пяти молодых существ. Это не могло не показаться всякому горькой иронией.

X

Прошло несколько недель. Вера не показывалась и ничем не напоминала о себе. Я, с своей стороны, собиралась навестить ее, но как-то все был недосуг.

Однажды в конце мая, — были у меня в этот день гости за обедом, и мы только что встали из-за стола, — вдруг открывается дверь гостиной и входит Вера. Только, боже мой! как она изменилась! Я так и ахнула. Всю зиму проходила она в каком-то черном бесформенном балахоне, в монашеском подряснике, как в шутку называла я ее костюм, а сегодня внезапно явилась она в светло-голубом летнем платье, сшитом по моде и подпоясанном серебряным кавказским кушаком. Платье это удивительно шло к ней, и она казалась в нем помолодевшей лет на шесть. Но не в платье было все дело. Вид у Веры был сияющий, победоносный; на щеках играл румянец, темно-синие глаза так и искрились, так и метали огоньки. Знала я прежде, что Вера хороша собой, но что она — красавица — не подозревала я доселе.

Большинство моих гостей видело ее впервые. Вход Веры в гостиную вызвал настоящую сенсацию. Не одни мужчины, но и дамы были поражены ее красотой, и не успела она присесть, как ее окружили со всех сторон.

Прежде, когда Вере случалось зайти ко мне невзначай и встретить у меня кого-нибудь постороннего, она тотчас пряталась в угол и слова от нее нельзя было добиться. Дикарка по природе, она инстинктивно сторонилась всякого нового человека, особенно, если подозревала, что не встретит в нем сочувствия к своим идеям. Но сегодня было совсем не то. Вера находилась в каком-то милостивом, любовном настроении; ко всем относилась приветливо и благосклонно. Казалось, что великая радость ключом кипит в ней и так переполняет ее существо, что изливается сама собою на все ее окружающее.

Прежде для Веры не было ничего неприятнее комплиментов, но сегодня она и их выслушивала спокойно, с несколько высокомерной грацией, отшучиваясь от них весело, бойко и так метко, что я только дивилась, смотря на нее. Откуда берется у нее все это? И светскость, и остроумие, и кокетство! Вот оно, что значит кровь! Думаешь, нигилистка, нигилистка, а тут, глянь, — светская барышня!

Это необычайное зрелище продолжалось, однако, недолго. Оживление Веры вдруг словно оборвалось. Говорливость ее исчезла, в глазах появилось скучающее, презрительное выражение.

— Скоро ли уйдут твои гости? Мне надо поговорить с тобой о серьезном, — шепнула она мне на ухо.

Гости, по счастью, стали расходиться.

— Что с тобой, Вера? Я не узнаю тебя, — спросила я ее, едва мы остались одни.

Вместо ответа Вера указала мне на четвертый палец своей левой руки, на котором я теперь только, к крайнему изумлению, приметила гладкое золотое кольцо.

— Вера, ты выходишь замуж? — воскликнула я с изумлением.

— Уже вышла! Сегодня в час пополудни была моя свадьба.

— Вера, да как же это? Где же твой муж? — спросила я растерянно.

Лицо Веры внезапно озарилось. Блаженная, восторженная улыбка заиграла на губах.

— Мой муж в крепости. Я вышла замуж за Павленкова.

— Что ты? Ведь ты же прежде не знала его! Где же вы успели познакомиться?

— Мы и не знакомились вовсе. Я видела его издали на процессе, а сегодня за четверть часа до свадьбы мы в первый раз обменялись несколькими словами.

— Так как же это, Вера? Что же это значит? — спросила я, не понимая. — Влюбилась ты в него, что ли, с первого взгляда, как Юлия в Ромео; уж не в то ли время, когда прокурор разносил его на суде!

— Не говори пустяков, — строго перебила меня Вера, — о каком-нибудь влюблении нет тут и речи, ни с той стороны, ни с другой. Я просто вышла за него замуж, потому что должна была выйти, потому что это было единственным средством спасти его!

Я молча, вопросительно глядела на Веру.

Она уселась в углу дивана и стала рассказывать, не торопясь и не волнуясь, словно речь шла о вещах совершенно простых и обыденных.

— Вот видишь ли, после суда я имела долгий разговор с адвокатами. Они все были того мнения, что дела остальных подсудимых, кроме Павленкова, далеко не плохи. Школьный учитель, конечно, умрет месяца через два или три, но ведь он, во всяком случае, не протянул бы долго, так как у него злая чахотка. Других же всех пошлют в Сибирь. Можно надеяться, что каждый, отбывши срок ссылки, вернется в Россию и опять примется за дело. Не то ожидало Павленкова. Ему действительно приходилось плохо, так плохо, что почти лучше было бы, если бы его приговорили к расстрелянию или виселице. По крайней мере разом был бы всему конец. А то мучайся целых двадцать лет в каторге!

— Ну что ж, Вера, мало ли кого приговаривают к каторге! — заметила я несмело.

— Да, но, видишь ли, каторга-то бывает разная. Был бы он простым преступником, не политическим, не постарайся прокурор расписать его на славу, ну, тогда другое дело! Послали бы его в Сибирь, и было бы в этом лишь полбеды. В Сибири тоже ведь люди живут. Да и «политических» теперь там так много, что они — в своем роде сила; с ними и начальство принуждено бывает считаться. Теперь, если кого в Сибирь пошлют, он почти что и не горюет — знает, хоть и тяжко там будет, все когда-когда приведется и со своим братом единомышленником встретиться. Все не совсем еще отрезанный ломоть; надежда не покидает. Ну, если кто очень в Сибири стоскуется, при счастье ведь и бежать можно; немало ведь бегало из Сибири. У правительства есть острастка похуже ссылки. Для политических преступников, преступников высшего

разряда, для самых опасных существует Алексеевский равелин в Петропавловке[14]. С кем правительство хочет вконец порешить, того оно посылает отбывать каторгу не в Сибирь, а в эту дьявольскую яму. Лежит она в самом Петербурге, на виду, так сказать, у высшего начальства. О попущениях и послаблениях и речи там быть не может. Одиночная система во всей ее строгости. Кто раз попал туда — все равно, что заживо похоронен. Ни с другими заключенными видеться, ни писем от друзей получать, ни самому им вестей давать о себе не позволено. Исключен человек из списка живых — и все тут. Наше правительство, конечно, не очень церемонится, ну, а все же больно уж часто смертные приговоры подписывать и ему зазорно; что за границей скажут? Ну, вот и придумали этот Алексеевский равелин. Звучит оно лучше виселицы, а в результате то же. Сколько политических уж туда засадили, а и до сих пор не слыхать, чтоб хоть один оттуда вышел. Обыкновенно проходит несколько месяцев, много год—два, и извещают родных, что такой-то или такая-то благополучно преставились, сошли с ума или порешили с собой. Больше трех лет заключения в Алексеевском равелине, говорят, еще никто не вынес. И в эту-то яму проклятую предстояло попасть Павленкову.

Вера остановилась, вся бледная от волнения. Голос ее дрожал, и на длинных ресницах нависли слезы.

— Но как же ты-то могла спасти его? — спросила я с нетерпением.

— Погоди, узнаешь сейчас, — продолжала Вера, успокоившись несколько. — Как услышала я, какая судьба предстоит Павленкову, так мне его жаль стало, что и сказать нельзя. Днем ли, ночью из мыслей он у меня не выходит. Пошла я к его адвокату, спрашиваю: «Неужто уж так ничего и придумать нельзя?» — «Ничего, — говорит адвокат. — Будь он еще женат — тогда другое дело, была бы еще надежда! Ведь у нас по закону жена, если захочет, имеет право следовать за мужем в каторгу. Ну вот, будь у Павленкова жена, она могла бы подать прошение государю, заявляя о своем желании следовать за ним в Сибирь, и государь, может быть, смилостивился бы, не захотел бы лишить ее законного права, но, на беду, Павленков холост. . .» Ты понимаешь, — продолжала Вера, опять впадая в деловой спокойный тон, — как услышала я эти слова, тотчас же мне стало ясно, что теперь надо делать. Надо просить государя о позволении повенчаться с Павленковым.

— Но, Вера! — воскликнула я. — Неужели ты не подумала о том, что для тебя самой будет значить такой шаг! Ты ведь не знаешь, что за человек Павленков, и стóит ли он такой жертвы.

Вера взглянула на меня строгим, изумленным взглядом.

— И ты это серьезно говоришь? — спросила она. — Неужели ты сама не понимаешь, что если бы я не сделала всего, решительно всего, что было в моей власти, я бы тоже стала участницей его гибели. Скажи мне по совести, если бы ты не была еще замужем, неужели ты не сделала бы того же?

— Нет, Вера, право, не думаю, чтобы решилась, — ответила я чистосердечно.

Вера поглядела на меня пристально.

— Жаль мне тебя! — проговорила она в ответ и продолжала: — Во всяком случае, мне было ясно, что мой долг — выйти за него замуж. Но как получить на это разрешение? Вот в чем была загвоздка. Когда я сообщила адвокату о моем решении, он воскликнул в первую минуту, что об этом и думать нечего — никогда не позволят. Я и сама не знала, как приняться за дело, но вдруг вспомнилось мне, что есть один человек, который может помочь мне. Слышала ты о графе Ралове?

— О бывшем министре, кто же о нем не слыхал? Говорят, он и теперь, хотя удалился от дел, все еще — близкое лицо к государю! Но какие же у тебя с ним могут быть связи?

— Видишь ли, он нам приходится дальним родственником, но этого мало, главное: он когда-то был влюблен в мою мать, да, кажется, не на шутку. И меня, девочку, сколько раз, бывало, на руках нянчил и конфеты возил. Само собой разумеется, что до сих пор мне и в голову не приходило напомнить ему о моем существовании. Чего мне искать у таких людей, как он! Ну, а теперь я тотчас сообразила, что он может мне быть полезен. Я и написала ему письмо, прося аудиенции. Он ответил немедля и назначил мне час, когда я могу явиться.

— Ну, Вера, расскажи скорей, как обошлось у вас дело? — спросила я с любопытством. — Вот-то, воображаю, огорошила ты старика; порадовался он на свою прежнюю любимицу.

Мне вспомнилось все, что я слышала о старом графе, как он весь теперь ушел в набожность и проводит дни в посте и молитве.

Мудреное, должно быть, было свидание между ним и Верой. И при этой мысли я невольно рассмеялась.

— Нечего смеяться, ничего нет смешного, — сказала обиженным тоном Вера. — Вот ты послушай только, какая я подчас бываю умница, какие блестящие мысли приходят иногда мне в голову, — продолжала она весело. — Ты воображаешь, пожалуй, что я к нему нигилисткой явилась! Ничуть не бывало! Знаю ведь я, что все эти старые грешники, хотя и постничают на закате дней, а хорошенькие личики все же страсть как любят. Как увидят смазливую рожицу, так сейчас растают, в умиление придут, ни в чем ей отказать не могут. Вот я и принарядилась, идя к нему; по этому, собственно, случаю и платье заказала. — Вера самодовольно указала на свой наряд, — а уж вид какой скромный приняла: подумаешь, воды не замутит.

— Назначил мне граф свидание в девять часов утра. Пришла я к нему. Ну уж, скажу тебе, живут же эти вельможи! Для схимника, для смиренника, который грехи свои отмаливать хочет, в таких палатах жить бы не полагалось! У входа встретил меня швейцар с булавой, такой грозный на вид, сам на вельможу похож. Сначала и пускать меня не хотел; показала я ему письмо графа; тогда ударил он в медную доску на стене; в ту же минуту, словно из-под земли, вырос какой-то гайдук, рослый, весь в галунах, и повел меня вверх по мраморной лестнице, уставленной цветами; наверху встретил нас другой гайдук, тоже рослый,

провел меня через несколько зал и передал на руки новому лакею в ливрее. Водили меня, водили из зала в зал и из гостиной в гостиную. Всюду паркеты узорные из разноцветного дерева, блестят, как стекло, и такие скользкие, что того и гляди растянешься. Потолки расписные, на стенах зеркала в раззолоченных рамах, мебель штофная с позолотой. И всюду пусто — ни души. А лакей такой важный, идет молча, слова не проронит... Подвели меня, наконец, к самому графскому кабинету; принял нас тут графский камердинер. Другие лакеи, что прежде меня водили, все были рослые и в расшитых золотом ливреях, а этот — маленький старичок, мизерный на вид, в простом сюртуке, даже как будто поношенном, а лицо умное, хитрое — совсем дипломат. Оглядел он меня пристально, с ног до головы, точно в самую душу мне впиться хотел, потом, не торопясь, проговорил:

— Вы здесь, сударыня, обождите. Их сиятельство граф только что встали, богу молиться изволят.

Оставили меня одну в кабинете. Комната огромная, с одного конца, кажется, и не разглядишь хорошенько, что делается на другом. Только тут уж ни зеркал, ни позолоты не видно; мебель простая, дубовая, всюду темные портьеры и гардины, даже окна полузавешаны, так что в комнате царит полумрак. Один угол весь занят огромным киотом, перед которым теплятся несколько лампад.

Сижу я тут, сижу. Страшно тянется время. Графа все нет! Нетерпение, наконец, разобрало. Стала я прислушиваться. Из-за одной портьеры слышу — точно бормотание какое-то несвязное доносится. Вот приподняла я тихонько угол — вижу, другая комната, вся черным сукном обита, на католическую молельню похожа; всюду образа, распятия и лампадки; стоит там в углу маленький, тщедушный старикашка, на мумию похож, шепчет что-то, крестится поминутно и поклоны земные кладет, а два громадных лакея с обеих сторон его поддерживают и, словно куклу на пружинах, то опускают на колени, то снова на ноги становят... А один из них при этом еще громко считает, чтобы не потерять из виду, сколько земных поклонов их сиятельство сегодня положить изволили.

Так мне смешно стало глядеть на них, что и робость моя прошла. Только как сосчитал лакей до сорока, на сегодня, значит, довольно, и графа отвели от иконостаса. Я едва успела опустить портьеру и принять скромный вид, — их сиятельство уже передо мною.

Как увидали они меня, тотчас воскликнули: «Господи, да ведь это Алина (мать мою так звали), вылитая Алина!» — и прослезились даже. Стал это он меня благословлять и крестить, а я ему руки целую и тоже слезинку из глаз выжать стараюсь.

Стал мой старик старое припоминать, душой умиляться; а я, не будь дура, все под его тон подделываюсь; о деле — ни слова, а все ему разные сказки рассказываю, как мать моя постоянно его вспоминает, молится и сны о нем разные видит. И откуда это у меня все в ту минуту бралось — сама теперь не постигаю, право!

Размяк его сиятельство совсем, точно кот старый, которому за ухом щекочут. Стал он мне всякие блага сулить; планы разные на мой счет строить. Уж он чуть ли не ко двору меня представлять задумал. Да была, знаешь ли, минута, когда он на место дочери родной меня принять готов был — благо у него своей семьи нет, и жена, и дети — все померли.

Только вижу я, настала, значит, самая настоящая минута. Я вдруг в слезы и говорю ему: «Люблю я одного человека, и если не удастся мне за него замуж выйти, то ничего мне другого на свете не надо».

— Ну что ж, как же граф принял это признание? — спросила я, смеясь.

— Ничего, сперва отнесся сочувственно; стал меня утешать, чтобы я не плакала, обещал за меня постараться; только как узнал он, за кого я замуж собираюсь, — тут другая пошла история! Рассвирепел старик, слышать ничего не хочет. Совсем переменил тон, с «ты» вдруг на «вы» перешел. Уж не зовет меня ни дитяткой, ни ангелочком, а все сударыней величает. «Если, говорит, сударыня, девице приличной случится недостойного полюбить, то родственникам ее остается только одно: бога молить, чтобы он разум ее просветил». Ну, вижу я, плохо дело, совсем уже, было, отчаялась.

Вера вдруг оборвала свой рассказ и замялась.

— Ну, что же, Вера, что случилось? Доскажи, пожалуйста, — приставала я.

Вера покраснела.

— Видишь ли, я, право, и сама теперь не помню, как все это было и что я ему, собственно, сказала, — только. . . только он вдруг понял так, что мне нужно непременно выйти замуж за Павленкова, чтобы грех покрыть и честь мою спасти.

— Ах, Вера! И не стыдно тебе было бедного старика так морочить! — воскликнула я укоризненно.

Вера поглядела на меня с удивлением.

— Бедного старика морочить, — передразнила она насмешливо. — Есть чего стыдиться тоже. А ему, небось, не стыдно! При его-то положении и влиянии на государя, сколько бы он мог сделать добра, пользы принесть. А он что? Колотится лбом о землю, в надежде, авось и на небесах отведут ему такое же тепленькое местечко, как и здесь на земле. А о других ему и заботы мало. Ко мне он любовно отнесся, так почему? Потому что рожица моя ему по вкусу пришлась; старые грехи ему напомнила, кровь его старую расшевелила. Очень его за это благодарить стоит. А к остальной-то молодежи, которая гибнет, которую в Сибири гноят, хорошо он относится? Нечего сказать! Сам, небось, на своем веку сколько приговоров подписал! . . Стала бы я его обманывать, если бы с ним было возможно говорить по-человечески. Но ведь этого нельзя. Попробуй-ка я прийти и сказать ему просто, — спасите Павленкова. Он бы ответил: «Не мешайтесь не в свое дело, сударыня» — вот и весь бы был сказ. Ну как тут не обманывать.

Вера расходилась и вся раскраснелась от волнения.

— Ну, продолжай, продолжай, пожалуйста, — торопила я ее. — Дальше как было?

— Да так. Вначале он страх как рассердился; зашагал по комнате и по привычке всех стариков, когда они волнуются, стал бормотать себе под нос, да так громко, что я могла расслышать: «Несчастная девчонка! Забыться до такой степени! Из такой прекрасной семьи! Не стоит она того, чтоб из-за нее хлопотать, а из-за матери придется-таки спасти ее, негодную. Надо будет как-нибудь грех покрыть, чтобы пятна на всю семью не наложить. . .»

Ходит он так по комнате, все бормочет. А я слушаю, и смех меня берет, а вид приходится иметь такой сокрушенный. Сижу, опустив руки, глаза поднять не смею — ну, словом, Гретхен [15] — и только.

Наконец остановился он это передо мной и говорит строго так и внушительно: «Садись, Вера, и пиши сейчас государю, что припадаешь к его стопам и просишь разрешить тебе выйти замуж за твоего негодного обольстителя. Я берусь передать твое прошение и устроить все так, чтобы не было огласки».

Стала я благодарить старика, но он меня отстранил. «Не для тебя, говорит, делаю, а для твоей матери».

Села я писать под его диктовку, но тут, смотрю, опять выходит загвоздка. Диктует он мне прошение, а о Сибири в нем ни слова не упоминает. «А как же, спрашиваю я, Сибирь? Ведь я в Сибирь за мужем пойду». Старик мой даже рассмеялся. «Ну, говорит, этого с тебя не потребуют; грех будет покрыт, а потом живи себе, где хочешь, честной вдовушкой в некотором роде».

Ну уж испугалась же я, скажу тебе, как эти слова услыхала! Что тут делать? Слишком на Сибири настаивать боюсь, неравно ему это подозрительным покажется и начнет он догадываться, в чем дело. Не знаю просто, как и быть. Только вдруг точно осенило меня. Говорю ему, что от раскаяния, мол, хочу подвиг этот на себя принять, за мужем в Сибирь пойти, чтобы этим грех свой искупить. Ну, это старик мой понял, это в его было духе.

Растрогался он; сказал, что препятствовать мне не станет. «Божье это, говорит, дело!» Благословил меня даже, отпуская, образок со стены снял, мне на шею повесил.

— Ну а дальше, дальше что же было? — спрашиваю я.

— Дальше уже все, так сказать, само собой устроилось. Вернулась я домой, никому ни слова о том, где была, не говорю. Только не проходит недели, как прибегает ко мне моя квартирная хозяйка, вся красная, запыхавшись, подает мне карточку, а сама чуть может говорить от волнения: «К вам генерал приехал, важный такой; прислал наверх ливрейного лакея спросить, дома ли барышня, очень нужно их видеть; а сам внизу в коляске сидит, дожидается».

Смотрю я, на карточке стоит: «Son excellence le prince Gelobitzky» *,

* Его сиятельство князь Жлобицкий (*франц.)*.

а внизу карандашом приписано: «de la part du Comte Ralof» *, ну, я сейчас догадалась, по какому он делу приехал. «Проси», — говорю. Хозяйка моя совсем растерялась: «Ах, батюшки светы! Как тут быть! Генерал такой деликатный! А у нас не прибрано! Да как на беду еще щи сегодня к обеду варим; по всему дому дух капустный идет, так что упаси боже!» — «Ну, говорю, ничего! Будет генерал знать, что мы щи едим. Проси, все равно».

Вот слышу я, подымается генерал по лестнице, а она у нас и темная, и узенькая, и старенькая, так и скрипит под ним; поминутно он саблей за перила цепляет. Ребятишки, какие были в доме, все повыскочили; подойти близко не смеют, а стоят, засунули пальцы, кто в рот, кто в нос, и смотрят на него, как на зверя дикого.

Вот вошел ко мне генерал, нестарый еще, так, средних лет, щеголеватый; усы длинные, с проседью, стоят прямо, — видно, напомажены; духами от него так и разит. Отродясь, я думаю, не приходилось ему в такой обстановке быть, только, как светский человек, он и виду не дает, что ему это не в привычку. Хозяйка заторопилась, подставила ему кресло деревянное с обитой ручкой. Он — ничего, как будто и не заметил, сел так развязно, как в любой великосветской гостиной, каску на колени поставил, ногу вперед вытянул, обращается ко мне с любезной улыбкой и говорит: «C'est bien à la princesse Vera Barantzof, que j'ai l'honneur de parler?» ** «Да, — говорю я, — она самая и есть». Махнул он хозяйке рукой, чтобы она нас одних оставила, нагнулся ко мне, принял конфиденциальный вид и говорит, что прислал его ко мне сам государь узнать, правда ли, что я желаю за политического преступника Павленкова замуж идти и за ним в Сибирь следовать? — «Правда», — отвечаю я.

Вот и начал он меня урезонивать. Как это можно такой молодой, прекрасной девице, красавице такой, губить себя! Да подумала ли я о том, что делаю! Я, русская дворянка, выйти замуж за жида-перекреста, за государственного преступника! У детей моих не будет ни имени, ни звания! Сами же они меня попрекнут, когда вырастут!

«Обо всем этом я уже думала и передумала, — говорю я, — а все-же решения своего не меняю».

Видит генерал, что я на своем стою. Скорчил он лицо такое доброе, отеческое, глаз даже один прищурил, нагнулся ко мне, взял меня за руки и заговорил шепотом: «Я, говорит, человек немолодой. У самого дети есть. Я с вами как с дочерью родной говорить буду. Мало ли чего с девицами молодыми не бывает! Не вы первая, не вы и последняя! Из-за необдуманного шага губить свою жизнь не стоит. Государь милостив, и граф к вам расположен: много для вас сделать готов. Если и был грех, его иначе покрыть можно, мы вам и другого жениха приищем!»

А я все делаю вид, что ничего не понимаю, только свое твержу: хочу за Павленкова замуж идти, хочу за ним в Сибирь следовать.

* от графа Ралова (*франц.*).
** Я имею честь разговаривать с княжной Верой Баранцовой? (*франц.*).

Видит генерал, что ничего не поделаешь. Встал, раскланялся и ушел; а я — к адвокату Павленкова, рассказала ему все дело и говорю: «Ступайте скорей к вашему клиенту, сообщите ему, какой мы план выдумали для его спасения».

Через несколько дней пришла и бумага, что разрешается мне, графине Баранцовой, вступить в законный брак с государственным преступником евреем Павленковым после того, как он от еврейства откажется и перейдет в православную религию; а венчать нас будут в тюремной церкви [16].

Вера замолчала и задумалась. Несколько минут мы просидели, не говоря ни слова.

— Вера, — проговорила я наконец печально, — теперь уже дело сделано и тужить о нем поздно. Ты, очертя голову, бросилась в омут. Но скажи ты мне на милость, как же ты перед свадьбой ни разу не зашла ко мне, не сказала ни слова о том, что затеваешь! А ведь мы с тобой друзьями считаемся.

Вера обняла меня и засмеялась.

— Вот еще чего захотела! — проговорила она весело. — Да разве слыхано когда, чтобы люди иначе, как очертя голову, в омут бросались! Как же, по-твоему? Когда человек задумает вешаться, так, прежде чем голову в петлю сунуть, ему следует всех друзей обойти, благословения у них попросить?

— Так, значит, ты сознаешься, что бросилась в омут? — спросила я тихо.

— Видишь ли, — проговорила Вера, подумав немного, — я не стану перед тобой рисоваться, роль разыгрывать. Я скажу тебе откровенно: в ту минуту, когда пришла эта бумага и я узнала, что все препятствия устранены, добилась я своего, значит — мне бы радоваться следовало, не правда ли, а у меня вдруг на сердце кошки заскребли. И вот так-то всю неделю, что еще до свадьбы оставалась! Уж я себе и работу всякую и дела всякие придумывала, только чтобы в движении постоянно быть, — не думать ни о чем. Ну еще днем, пока я на людях, ничего было, молодцом ходила, а как ночь придет, и останусь я одна, — ну, тут просто беда, начнет сердце ныть, и стану я труса праздновать.

Вот сегодня прихожу я в тюрьму. Впустили меня. Тяжелая, железом окованная дверь захлопнулась за мной с шумом. На улице было тепло, солнце играло, а тут вдруг темнота меня охватила, сыростью пахнуло. Жутко стало на сердце. Подумалось мне, что и счастье, и свободу, и молодость — все я за дверью этой оставила. В ушах у меня даже зашумело, и почудилось мне вдруг, что суют меня в какой-то мешок, черный и бездонный.

Показала я, кому следует, бумагу. Повели меня какими-то коридорами, длинными, бесконечными. Два жандарма шли со мной, один спереди, другой сзади. Из боковых дверей постоянно высовывались какие-то фигуры в мундирах и оглядывали меня с ног до головы с наглым любопытством. Должно быть, весь тюремный персонал проведал о предстоя-

щем венчании, и каждому хотелось поглядеть на невесту. Они, не стесняясь, вслух делали разные замечания на мой счет. Я слышала, как один офицер громко сказал другому: «Ces sacrés nihilistes ne sont pas dégoutés, ma foi! C'est vraiment dommage d'accoupler un beau brin de fillette comme ça à un brigand de forçat. Passe encore, si l'on avait le droit du seigneur!» *

Товарищ ответил что-то такое, чего я не поняла, должно быть, непристойность какую-то, потому что вдруг оба громко загоготали, забрякали шпорами и, проходя мимо меня, нагнулись и нахально заглянули мне прямо в лицо, да так близко, что почти коснулись меня своими усищами.

С каждым шагом на сердце у меня все больше и больше щемило. Признаюсь тебе откровенно, если бы в эту минуту пришел кто и предложил мне отказаться от свадьбы, я бы охотно убежала назад без оглядки.

Наконец ввели меня в какую-то комнату, пустую, с голыми крашеными стенами, с двумя деревянными стульями взамен всякой мебели, оставили меня тут одну и велели подождать. Долго ли я тут сидела одна — не знаю. Время казалось мне бесконечным. В голове все более и более возникало сомнение: хорошо ли я поступаю? Не делаю ли страшной, непростительной глупости! И всего ужаснее было мне думать о нашей предстоящей встрече с Павленковым. Боялась я, что, чего доброго, не узнаю его. И что он мне скажет? Понял ли меня? Я старалась вызвать в моем воображении его образ таким, каким он представлялся мне все прошлые дни, но, как я ни пыталась это сделать, все было понапрасну.

Наконец послышались шаги, дверь отворилась, и два жандарма ввели Павленкова. Как он выглядит, какое у него лицо — я и сказать не могу. Помню только, что на нем была серая арестантская шинель и волосы были подстрижены под гребенку.

Несколько минут нас оставили одних, жандармы отошли в сторону и притворились, что не глядят.

Что между нами было, я помню как во сне. Кажется, Павленков взял меня за обе руки и сказал: «Спасибо, Вера, спасибо!» Голос у него оборвался; я тоже не находила, что сказать. Только, поверишь ли, с самой минуты, как он вошел в комнату, вдруг все мое мучение прошло. На душе стало так светло, так ясно. Сомнений — как не бывало. Я знала теперь, что поступила хорошо, что иначе и поступить не следовало. Нас повели в церковь, поставили рядом, священник взял нас за руки и стал обводить вокруг налоя. И это все мне тоже помнится теперь как в тумане. Одну минуту, когда пахнуло вдруг сильно кадилом и певчие грянули «Исаия, ликуй!», на меня даже забытье какое-то нашло: представилось мне, что вовсе и не Павленков возле меня, а Васильцев, — и голос его милый

* Эти проклятые нигилисты не лишены вкуса, черт возьми! Поистине, жаль сочетать такую лакомую штучку с разбойником, каторжником. Добро б он еще был дворянином! (*франц.*).

я услышала так ясно и отчетливо. Знаю я, хорошо знаю, что он бы меня одобрил; порадовался бы, смотря на меня. И вдруг все мне так ясно представилось; вся моя жизнь в будущем развернулась передо мной, как на карте. Пойду я в Сибирь, буду там при сосланных состоять, буду утешать их, служить им, письма их на родину пересылать.

Голос Веры пресекся, и она зарыдала.

— ...И подумать, подумать только, что всю зиму-то я промаялась, ища дела, — заговорила она голосом, звучавшим бодро и радостно. — А дело-то тут, под рукою — и какое дело! Лучшего бы я и придумать себе не могла. Признаюсь тебе откровенно: для другой бы работы, ну хоть бы для революционной пропаганды, для конспирации, я бы, пожалуй, и не годилась вовсе. Уж тут большой нужен ум, красноречие, умение на людей действовать, их себе подчинять, а у меня этого вовсе нет. К тому же постоянно бы меня жалость разбирала, как это я других под опасность подвожу. А вот в Сибирь пойти — это совсем для меня, как есть настоящее дело! И как это все просто, неожиданно, будто само собой устроилось. Господи, как я счастлива!

Она бросилась мне на шею, и мы долго целовались и плакали.

Недель шесть спустя я стояла на вокзале Николаевской железной дороги и провожала Веру в ее дальний путь. Тотчас после венчания Павленкова услали в Сибирь вместе с партией других арестантов. Большую часть дороги им предстояло пройти пешком. Теперь пришло время и Вере пуститься в путь, чтобы встретиться с мужем уже на месте. Она ехала не одна; с ней отправлялись еще две женщины, у которых были — у одной дочь, у другой — муж в числе сосланных. Они ехали, разумеется, в третьем классе, но это был еще весьма роскошный и удобный способ путешествия в сравнении с тем, какой ожидал их впереди. Железная дорога доходила в то время только до границы Европейской России; потом предстояло ехать в телегах или в санях. В самом благоприятном случае, то есть если никаких особых препятствий не встретится на пути, путешествие должно было продолжиться два-три месяца. А что ожидает их по приезде? Но все трое, казалось, об этом и не думали, все трое были спокойны и как-то торжественно-ясно радостны.

Необычайное возбуждение, в котором Вера находилась в первое время после своего смелого шага, успело улечься, и она опять ушла в себя, опять стала той тихой, мечтательной, несколько скрытной девушкой, какой я знала ее вначале. Она похудела только немного и казалась старше прежнего; но синие глаза продолжали глядеть бодро, смело вперед, и чрезвычайно трогательно было видеть, какими нежными попечениями окружала она своих двух спутниц, особенно ту, которая была постарше. Всех троих связывала, по-видимому, тесная дружба, та дружба, какую только общее несчастье умеет закрепить.

Народу на вокзале собралось много; кто пришел просто из любопытства или участия, а у кого были родственники и друзья в Сибири —

хотелось послать им поклон и весточку с отъезжающими. Полиция, разумеется, была в полном сборе.

Мне едва удалось перекинуться несколькими словами с Верой, так как все толпились вокруг нее.

Но когда раздался последний звонок, и поезд должен был тронуться, она из окна протянула мне руку на прощанье. В эту минуту мне так живо представилась та судьба, которая ожидает это прелестное юное существо, что мне сделалось тяжело на душе, и слезы так и покатились из глаз.

— Ты обо мне так плачешь? — проговорила Вера с ясной улыбкой. — Ах, если бы ты знала, как мне, напротив того, жалко вас всех, вас, которые остаетесь!

Это были ее последние слова.

⟨НИГИЛИСТ⟩[1]

«5 фунтов винограду самого лучшего, полсотни яблок ранетовых, три дюжины груш дюшес, сига маринованного, сыра честер кусок фунта в 3, шесть бутылок мадеры, 5 бутылок... кажется, вот и все, ничего не забыла; только уж, пожалуйста, пожалуйста, чтобы к восьми часам непременно было доставлено!» — диктовала деловым тоном в лавке Елисеева молодая нарядная барынька, в бархатной шубке, обитой бобром, и с такой же меховой шапочкой на пушистых каштановых волосах, молодому приказчику, почтительно заносящему ее приказания в конторскую книгу. — «А икры свежей не угодно ли будет, сударыня? Приказали бы, право! Сегодня поутру прямо из Астрахани получили, и недорога — с вашей милости 4 рублика за фунт взяли бы!» — услужливо предложил приказчик.

Барынька приказала отпустить и икры; взяла еще мармеладу, и рябчиков заливных, и пирога страсбургского, который особенно рекомендовал ей приказчик. Она покупала все, что ей ни предлагали, не торгуясь, видимо наслаждаясь и самым процессом выбиранья и заискивающим ухаживаньем за ней приказчиков. У ней был счастливый вид девочки, которой в первый раз приходилось иметь в своем распоряжении туго набитый портмоне и закупать, что ей ни вздумается, в самом дорогом магазине, не стесняясь ценой. В лавке она, очевидно, производила некоторое впечатление. Незанятые приказчики повстали с своих мест, чтобы служить ей. Другие покупатели оглядывались на нее. Набрав всякой всячины и еще раз безо всякой нужды повторив свое приказание, чтобы к восьми часам все непременно, непременно было доставлено к ней на дом, молодая барынька вышла из лавки и, провожаемая поклонами и заискивающими улыбочками приказчиков, пошла пешком вдоль по Невскому. Она шла бодро, эластической походкой, как-то подобрав кверху всю свою маленькую упругую фигурку и твердо попирая высокими каблучками миниатюрных меховых сапожков утоптанный уличный снег.

Молодой франтик офицер, проходя мимо нее, уставил монокль в глаз и, придав своему бритому лицу ‹*не разобр.*›, вполголоса, но слышно прозюзюкал «Charmante!» «Барышня, барышня, прикажите подать!» — кричали ей стоящие длинной линией у тротуара извозчики. Молодая женщина шла, не оглядываясь, только чуть заметная самодовольная улыбка

скользнула по ее губам. Что ни говорите, но когда вам 27 лет, вы уже шестой год замужем и дома двое ребят копошатся, приятно казаться еще такой молоденькой, что все принимают вас за барышню! Марья Павловна Репина [2], Маруся, как все ее называют, действительно имеет вид совсем еще девочки. Фигурка у ней крошечная, гибкая, словно стальная, с высокой грудью. Смуглое личико с нежным загаром все покрыто шелковистым пушком, словно спелый персик. Рот маленький, пунцовый, с красивым властным изгибом верхней губы. Губка эта уморительно вздергивается кверху всякий раз, когда Маруся смеется и выставляет тогда на вид ряд маленьких синевато-белых ровных зубков. С левой стороны над губкой — черная родинка, и эта-то родинка, может быть, и делает ее такой обворожительной. Не над одной только губкой есть у Маруси родинка, есть у ней другая, не менее обворожительная, но о существовании другой родинки знает только ее муж, так как Маруся на балы не ездит и не декольтируется.

Какого цвета глаза у Маруси, сказать трудно: кажутся они темными, но это зависит от длинных черных ресниц; в сущности же они бывают то синими, то темно-серыми, карими; иногда в них вдруг запрыгает множество золотых точек, и тогда кажется, точно маленький бесенок из них выглядывает. Все, что с уверенностью можно сказать о Марусиных глазах, это то, что у ней настоящие малороссийские глаза. Да и вся Маруся вылитая хохлушка. Есть в Малороссии, как известно, два типа красавиц: одни — высокие, бледные, с томной поволокой в очах, с затаенной страстностью во взоре; красавицы, перед которыми так и хочется стать на колени. Не к этому типу принадлежит Маруся, а к другому, так сказать, более обыденному. Вся ее маленькая подвижная фигурка кажется пропитанной горячими лучами полтавского солнца; от ее молодого упругого тела веет запахом степных трав; в крови точно подмешано шампанское, которое и бьет, и шипит, и рассыпается золотистыми искрами в ее чудных глазах. Встреть вы Марусю где на полях Киевской или Полтавской губернии, может быть, не обратили бы внимания на нее; там вы, наверное, встретите десятками таких женщин, как Маруся; там она принадлежит, так сказать, к типу заурядному. Но здесь, на холодных улицах Петербурга, среди белокурых малокровных немочек и чухонок не мудрено, что на нее заглядываются прохожие. К тому же Маруся решительно en beauté * сегодня; лицо у ней именно принадлежит к типу тех лиц, которые страшно безобразятся слезами и грустью и удивительно хорошеют от радости, от оживления, вроде тех южных пейзажей, которые не выносят ни туч, ни полусвета, которые надо видеть только при безоблачном небе, при ярком солнечном освещении. Но на Марусином небе не видать сегодня ни единой тучки. Весело ей идти по Невскому в этот чудный зимний день, среди этой праздничной, нарядной толпы, сознавать себя самое молодой и красивой и нарядной и видеть, что все на нее любуются и заглядываются. Весело ей смотреть на эти красивые нарядные

* во всей красе (*франц.*).

Автограф первой страницы повести «Нигилист»

магазины и думать, что все эти блестящие безделушки выставлены специально для нее, что в кармане у ней денег много, а понадобится еще — Миша еще даст. Ни в чем ей теперь не надо себе отказывать, всякую прихоть она себе позволить может! А как еще недавно все это иначе было! Всего несколько месяцев тому назад, когда они только что приехали в Петербург, как все тогда иначе было. Подумать, как весной она разревелась, да, так-таки разревелась, увидя, что прошлогоднюю мантильку поела моль; и не мудрено! Было с чего реветь: тогда это значило для для нее большое несчастье. Помнится, оно грозило ей скукой на все лето, так как, разумеется, уж она бы лучше все лето в комнате просидела, чем показаться в Павловске в старой заштопанной мантильке. Как она тогда с завистью глядела на все эти выставленные в магазинах наряды и сколько раз она обдумывала и передумывала, как бы ей урезать из хозяйственных денег достаточно! Господи, просто и смешно, и досадно это вспомнить! Что это было за скверное время! Ах! как теперь все лучше!

И воспоминание прожитых стеснений заставило Марусю еще задорнее приподнять свою головку и бодрее зашагать по Невскому. Нет, право, как подумаешь, жизнь ее просто на волшебную сказку похожа.

Родилась она в маленьком полтавском городке; отца она и не помнит, а мать ее была простая мещанка. Правда, не худо ей жилось в детстве: мать ее не обижала, баловала ее даже по-своему! Только что ж это было за баловство! Бедные они очень были! Ни нарядить Марусю как следует, ни повеселить ее мать не могла. ‹*не разобр.*›. Выросла Маруся — и того хуже стало: все говорят про нее, что она красавица, заглядываются на нее молодые люди, а замуж ее никто не берет. Женихи получше да помоложе приданого ищут, а к ней только одни старички или же дрянь всякая сватается — из рук вон дрянь какая: посватался к ней, например, старый купец Мармеладов, польстился на ее красоту, да который уж двух жен в гроб вогнал, посватался еще чиновник пьянчужка — так ведь это что за женихи; матери пригрозила, что в воду лучше бросится, чем за уродов таких идти. И горько, и досадно становилось подчас Марусе, когда думала она и сравнивала: вот и ту, и другую из ее подруг, и Машу некрасивую и глупую под венец снарядили, а она, красавица и умница, все в девках сидит. Вот и за двадцать ей перевалило, а это, как известно, в купеческом быту уж очень почтенный возраст для девиц считается; после двадцати сейчас тебя в перестарки зачислят. Когда Маруся оставалась наедине сама с собой, не раз случалось ей всплакнуть над своей собственной горькой долей; но слишком была она горда, чтоб чужим людям свое горе показать. Бывало, на девичнике иной из ее подруг у ней на сердце кошки скребут, а она и виду не показывает, звончее всех девичьи песни распевает, пуще всех долю девичью вольную расхваливает. И с каждым годом все разбитнее на вид, все бойчей на язык, все изобретательнее на выдумки разные веселые становилась Маруся. С молодыми людьми она стала обращаться надменно. Кто к ней подойдет, всякого отделает, так что молодые люди стали ее побаиваться, а подругам и в голову не входило жалеть ее или трунить над ней, что замуж ее никто не берет,

а говорили про нее напротив: «Наша Маруся волю свою так любит, что ни за какого мужчину замуж не пойдет». И такая о ней слава установилась. В это время приехал к ним в город человек один молодой, сын покойного батюшки их соборного. Говорили про него, что чудак он большой. Кончив курс в семинарии, не захотел идти в священники, хоть и место ему хорошее архиерей сулил, а пошел в университет. Долго в городе у них ничего о нем не слыхали, так как с отцом своим он перессорился; но вот умер старый батюшка, и сын вернулся наследство, какое после него осталось, получать. Поселился он на первых порах у мещанки одной, сняв у ней мезонинчик маленький в ее саду. В городе губернском всякое новое приезжее лицо на себя внимание обращает. К тому же батюшка покойный у всех почетом большим пользовался, потому и к сыну его все готовы были с лаской отнестись. Стали все ждать, что он старым знакомым отца поклонится, с визитами их обойдет. Но не тут-то было, ни к кому он и носу не кажет. От этого пуще стало всех любопытство по отношению к нему разбирать. Барышни молодые соберутся иногда вечерком толпой целой и, взявшись все под ручки, как будто ненароком, раз пять или шесть пройдутся по улице мимо его мезонина и всякий раз, проходя мимо его окон, громко начинают между собой разговаривать и пересмеиваться, а иногда так даже прямо на его счет шуточки разные отпускают. А он все ничего, и виду не показывает, что замечает, к окошку не подходит, на шутки их не отвечает. Стали ту мещанку, у которой он квартиру снимал, про него расспрашивать; так она говорит, что барин он добрый, ласковый, но целый-то божеский день все в книгах сидит и не только барышень городских приличных конфузится, но и с горничной даже простой слова лишнего не скажет: «Совсем не как барин молодой, а, прости господи, как схимник какой-то живет». И озлились, наконец, городские барышни на новоприезжего. Прозвали его дикарем и медведем и выдумали, что и вид-то у него страшный, и глаза сумасшедшие. «Ах, душенька! Как я же сегодня перепугалась! С медведем на улице повстречались. Я даже в лавку ближнюю от него шарахнулась. У-у, какой он противный!» — уверяли теперь друг друга городские барышни. Наступили святки. В это время, как известно, девушкам в купеческом быту предоставляется гораздо больше свободы, чем обыкновенно. В каждом городе ведется это обыкновение: нарядятся девушки вечером все, какая как умеет, в костюм какой попало ‹*не разобр.*› — расхаживают целой гурьбой по улицам, несмотря на мороз, песни во все горло распевают, в гости друг к другу заходят, веселятся как умеют. Однажды вечером разбуянились, развозились уж больно девушки, не знают, что бы и придумать им такого бы особенного. Случилось так, что подошли они в это самое время к мезонину, где жил учитель. Видят — у него в доме свет есть, и рисуется на окне тень его большая и согнутая. Одна из них вдруг и выдумала: «Что ж это, барышни, — говорит, — есть у нас сегодня и черкесы, и турок, и цыган много, а медведя-то у нас нет. Не годится ряженым быть без медведя. Надо нам медведя в свою компанию пригласить!“

И все поняли, что она на учителя намекает, расхохотались все и стали друг дружку подговаривать: «Вот бы вы, Саша, или ты, Груня, пошла, позвала бы его к нам». И все девушки смеются и каждая отказывается. А Маруся вдруг выскочила и говорит: «Я пойду». И стали над ней смеяться, что храбрости у ней недостает, не посмеет к учителю в дом войти. А ее их насмешки еще подзадоривают. «Вот увидите, — говорит, — что не струшу, пойду». Подошли девушки всей гурьбой к его дому; видят: в одном месте плетень у сада погнулся, перепрыгнуть легко можно. Недолго думая, Маруся взяла да и перескочила. Очутившись одна в чужом саду, в темноте струсила она маленько, но возвращаться не хочет: боится, осмеют ее подруги. Нечего делать, пошла она храбро вперед, подошла к дому, взялась за ручку входной двери — видит: дверь на замок не заперта, должно быть хозяйка квартирная забыла ее запереть или оставила, чтобы лучше ей было входить, когда понадобиться. Собралась Маруся с духом, вошла в сени и прошла прямо в комнату учителя. Учитель сидит за столом, головой совсем близко к бумаге пригнулся и строчит что-то, да так усердно строчит, что и не заметил, как дверь скрипнула, не оглянулся даже на Марусю. Постояла Маруся, посмотрела на него, и вдруг робость ее совсем прошла и смешно ей и жалко его вдруг стало. Лицо у него молодое совсем, только худое очень, нахмуренное и бледное, близорукий он, видно, так носом к бумаге и пригнулся, и губами забавно шевелит, видно, повторяя написанное; большой клок волос навис у него на лоб, прямо в глаза ему лезет, а он и этого не замечает, так усердно строчит. Подошла к нему Маруся на цыпочках, стала сзади и вдруг провела рукой по его лбу, откинула нависший клок волос назад и говорит задорно: «Что это, как вам не стыдно, у добрых людей праздник сегодня, все гуляют, веселятся, а вы все за вашими книгами сидите! Поедемте-ка лучше с нами, девушками, в санках покатаемся!» Вздрогнул учитель, взглянул на Марусю; а она в этот вечер цыганкой была одета; из-под красного платка на голове черная коса выбилась, на груди ее монисто и золотые монеты переливаются, а в глазах ее золотые искорки так и бегают, так и прыгают. Посмотрел на нее учитель сначала, как растерянный, будто ничего не понимая, потом вдруг у него тоже в глазах искорки забегали и такое у него во взоре зажглось, что хоть храбра была Маруся, а веки ее невольно к земле опустились и яркий румянец так и залил ее щеки.

— Что же это, — спрашивает учитель, — вы меня звать с собою на ваши святочные игры пришли, так ли?

— Так, — говорит Маруся, голос у ней дрожит и к глазам слезы подступают; готова бы она теперь была со стыда сквозь землю провалиться. А учитель вдруг засмеялся, да добрым таким, радостным смехом.

— Ну, спасибо вам, — говорит, — что про такого бирюка, как я, вспомнили. И в самом деле! Что в праздник-то за работой сидеть! Коли хотите меня иметь в вашей компании, так я с удовольствием!..

Встал он из-за стола, откинул бумаги и книги в сторону и заторопился. Не успела Маруся опомниться, а у него уже и шапка меховая и

шуба одета и готов он с ней к остальным девушкам идти. Ну и веселый же выдался вечер! Еще несколько молодых людей из городских к нашей компании присоединилось; взяли они несколько санок, за город поехали кататься! Ночь была чудная, морозная, лунная. Потом в гости к одной из барышень, у которой родители подобрей были, заехали; до поздней ночи у ней просидели. Господи, смеху-то, веселья сколько было. И гадали-то они, и песни пели, и в игры разные играли. А он, учитель-то, совсем своим человеком стал; учености либо важности в нем и помину не осталось. Все девушки только смотрят на него и дивятся. Сказки им стал рассказывать, да такие все необыкновенные; иная сказка страшная, так что ужас берет, а другая сказка — потешная такая, что все только за бока держатся, помирая от смеха, а у него самого лицо серьезное остается, ни жилка на нем не дрогнет, и другим еще смешней от этого станет. Откуда только у него все это бралось в этот вечер!

С этого дня стал Михаил Гаврилович[3] часто заходить к Марусе в дом. Как станет, бывало, смеркаться, уроки в гимназии кончатся, смотришь — уж учитель к ним стучится в сени.

Марусина мать скоро так его полюбила, что просто души в нем не чаяла и всячески его расхваливала: «Этот, — говорит, — не чета другим молодым людям; на него положиться можно; он не озорник. Девушку не охулит, дурной славы на нее не положит». И Маруся привыкла к учителю: полюбить его страстно не полюбила, а нравился он ей, не скучно ей в его обществе было. Только, видит бог, в голову ей тогда не входило, что в Михаиле Гавриловиче что-нибудь особенное есть, что знаменитым он человеком когда-нибудь сделается! Так, казался ей добрым малым, чудаком только немножко. Когда он к весне к ней посватался, она не сразу и решилась. Боязно ей было, да и что за судьба учительшей весь век прожить. Но выбора-то ей другого не оставалось; а тут еще одно обстоятельство подошло: место ему в другой гимназии, в губернском городе открылось, и это-то ее окончательно и решило, потому что уж очень ей родной городишко опостылел и больно уж ей хотелось из него выбраться.

Вот поженились они, переехали в другой город. Первое время — ничего себе, хорошо было. Миша в ней души не чаял, на руках ее носил, целовал ее, ласкал постоянно. Да и ей внове было хозяйкой быть, начальства никакого над собой не чувствовать. Ну, а потом, как поприелось ей все это, на новом месте, пожалуй, скучней, чем на старом, стало. Та же беднота, те же лишения. Жалованье учительское маленькое, квартира скверная, кухарка глупая и воровка. В родном городе у ней все же знакомых было пропасть. Хоть и горько завидовала она подчас богатым подругам, а все же в их компании весело было; тут же у ней и общества никакого нет. Жены других учителей все старые, чванные, только дети да кухня у них в голове. Скучно с ними.

Что всего хуже, и Миша опять за работу принялся. Как вернется из гимназии, не шутит, не балуется с молодой женой, а поцелует ее разок — и сейчас к письменному столу и давай писать. Сердилась на него Маруся

за это; да, надо признаться! Не умно она себя тогда вела, счастья своего не понимала. Сколько раз она капризничала и дулась на мужа за то, что он все пишет, и бумаги его глупые даже разорвать грозилась. Только раз пришел Миша домой весь сияющий и показал жене толстую книжку журнала и в ней на заглавном листе свое собственное имя. Маруся не сразу поняла, чему ж тут так радоваться; но когда Миша вынул из кармана франкированый конверт и вручил ей две радужных бумажки — тут Маруся вразумилась, что в работе ее мужа есть прок, и перестала мешать ему работать. Но скучно ей все же было. Даже и с прибавкой этого нового ‹*не разобр.*› дохода денег у них все-таки не хватало, так как расходы все увеличивались. Пошли у них дети; в течение трех лет Сашка да Петька родились. Начались заботы о мамках, о няньках. Скрепя сердце, готова уже была Маруся на мечтания свои прежние и рукой махнуть; видно ей ‹написано› на роду, что теперь уже все так пойдет: серая, будничная жизнь, сегодня, как вчера, завтра — как сегодня, пока и она не превратится в такую же старую, постную учительшу, как и жены всех других учителей...

Вдруг однажды приходит Миша и говорит ей, что издатель того журнала, куда он посылал свои статьи, предлагает ему место в редакции и жалованье хорошее, и в барышах с журналов, коли таковые будут, ему доля дается, и что ради этого места он бросит гимназию и все они переедут на житье в Петербург. Испугалась даже в первую минуту Маруся; никогда она прежде о таком месте не слыхала, так это известие было неожиданно; но всякая перемена в ее существовании казалась ей желательной. Не без своей приятности была при этом и мысль: как удивятся их отъезду другие учителя гимназии и как разинут рты от изумления и начнут сплетничать все их противные жены. Поэтому она не стала делать возражений и сразу согласилась на предложение мужа. Продали они старый скарб, забрали только с собой Сашку и Петьку да старую няньку, сели на чугунку и укатили в Питер. Ах, и в Петербурге же не сладко было в первое время. Словно в лесу она тут дремучем очутилась, все-то ей тут ново, все непривычно было. И холодно ей, и неприглядно тут показалось после Малороссии, и люди тут все такие холодные, расчетливые, злые; всякий обмануть тебя норовит. Сначала, как услышала она, сколько жалованья будет Миша из журнала получать, показалось ей это очень много; но как увидела она, как все в Петербурге дорого, она даже руками всплеснула. За что она прежде гривну платила, тут рубль стоит. Никто ничего даром не сделает — за все плати. Пуще прежнего пришлось ей себя стеснять да обрезывать во всем. А тут еще Миша по уши в работу ушел, на целый день, бывало, в свою противную редакцию убежит, а она — сиди себе дома да плачь. Нет, право! Марусе даже смешно теперь вспомнить, какая глупенькая она была тогда. Дурочка совсем! Всего-то она боялась, все ее пугало. Только же, слава богу, недолго это так продолжалось. Мало-помалу все проясняться стало. Журнал пошел так, как и ожидать нельзя было. О Мише вдруг все в Петербурге заговорили; всюду она слышит; «Ах, какой ваш муж умный, какой ге-

ниальный человек!» Ну кто бы, право, про него это подумал! Сразу он в знаменитости попал. Что он ни напишет, все это так нарасхват и читается. Подписчики на журнал стали являться со всех сторон; страсть, сколько их пришло! Денег вдруг явилась такая куча, что у Маруси даже голова кругом пошла. Общество у них тоже завелось, — и знакомые, и друзья, и удовольствия, ну, словом, все, решительно все!

Переехали они на другую квартиру, не то что большую, но хорошенькую, чистенькую, рядом с редакцией. Миша? Ну, он, конечно, все такой же остался!

«У ты, мой глупенький, глупый!» — так ему Маруся и говорит, и он так же посмеивается своим прежним смехом, добро и ласково, когда на жену и детей глядит; бороду свою так же пощипывает; только глаза у него стали теперь такие светлые, счастливые. А работает он страсть как много! И день весь пишет, и ночь часто до петухов над работой сидит. Маруся и не знает даже теперь, когда он ложится: чтоб ее не беспокоить, он и спать себе велел постилать на диване в кабинете. На самого себя он по-прежнему ничего почти не тратит. Ни прихотей у него, ни потребностей никаких нет. И удовольствий никаких не любит, в театры не ходит, в карты не играет, одевается по-прежнему плохо, ест — что ему ни подадут. Уж такой он, видно, век останется — чудачливый. Ну, а ей, Марусе, теперь страсть как весело! Народ у них на квартире с утра до вечера толпится, так что ей никогда, ни минуты скучно не бывает. Сначала ужасно поразило ее то общество, в которое она попала. Все приятели ее мужа показались ей какими-то волосатыми, шершавыми, грязными. И слова-то у них такие странные, разговоры у них совсем другие, чем бывало в Г. Совсем иначе она себе образованных, ученых мужчин представляла. Многому, многому пришлось ей за эти месяцы научиться! Но вот странно! В Г., бывало, учителя и жены их противные все на нее и внимания не обращают, дурочкой необразованной считают, тут же, в Петербурге, и писатели, и офицеры, и все что ни на есть самые умные ею восхищаются. Сначала, правда, вздумали они ее «развивать», приносили ей книжки разные. Она и пробовала заняться, но ничего в них не поняла и они показались ей очень скучными. Тогда ее оставили в покое и мало-помалу все их приятели переняли у Михаила Гавриловича привычку называть ее несмыслюточкой. Только теперь она не обижалась на это прозвище. Она видит, что это ей не в обиду, а напротив того, как будто в честь дается. Она приметила даже, что чем она что глупее, наивнее скажет, тем это больше всем нравится, тем больше все смеются, и слова ее потом друг другу повторяют, как будто она сказала что-то очень умное, а она, ей-богу, часто и сама не понимает, что она такого особенного сказала. Но, видно, это уж вкус у них такой. Из других женщин и девушек, которые к ним в дом и в редакцию ходят, никто на нее не похож. Все другие такие серьезные, одеваются просто, словно как будто и не женщины, а мужчины. И говорят, и держатся они тоже по-мужски; все только о дельном, о серьезном толкуют; и спорят, и горячатся, и папиросы курят. А главное, что еще смешнее, у всех у них обстрижены

волосы. Сначала Марусе это казалось ужасно смешным и безобразным, но потом она попривыкла, нашла даже, что это иногда красиво, иной особенно, которая помоложе и у которой волос курчавый, это очень к лицу. Маруся и сама стала подумывать, не пошли ли бы к ней короткие кудряшки, и сказала даже раз мужу, надув губки: «А знаешь, Миша, я косу себе хочу отрезать, что ж мне от других отличаться». А Миша только засмеялся: «Эх, — говорит, — несмыслюточка, что ты ни делай, все ж ты от других отличаться будешь. Такой, какая ты есть, такой и оставайся и косу свою береги. И думать у меня не смей ее резать». И правда, жаль бы было косу: такая она длинная, шелковистая; как вытянешь ее, так змеей черной она и скользнет вниз, чуть не до самых колен спустится. «Ах, батюшки, что ж это я размечталась, — вспомнила вдруг Маруся, проходя мимо Думы и видя, что часы показывают уже пять. — Иду себе, прохлаждаюсь, а дома ведь меня ждут. Сегодня у нас праздник. Вышла новая книжка журнала; вечером соберутся все сотрудники ее „вспрыснуть". Надо мне торопиться». И, кликнув поспешно ваньку, она велела везти себя поскорей в Эртелев переулок, в редакцию журнала «Современник».

Редакция «Современника» недавно переехала на новую квартиру, так как при быстром и необычайном успехе журнала требовалось и более просторное помещение. Все здесь было ново: и самый дом, в котором помещалась редакция, был новый, только что отстроенный, громадный, пятиэтажный с разными архитектурными украшениями, вывезенными молодым архитектором из его Studierreise * в Париже и составляющими в Петербурге еще новинку. Редакция, вместе с квартирой главного редактора Чернова, занимала весь 4-й этаж. Высоконько немножко, но лестница прекрасная, отлогая, устлана коврами сверху донизу и уставлена цветами. Внизу швейцар. Под самую редакцию отведено пять больших комнат или, вернее сказать, зал, а квартира Чернова состоит из пяти комнаток: столовой, спальной, детской, будуара Марусиного и рабочего кабинета Михаила Гавриловича. Кроме этого последнего, все другие комнаты настоящие игрушки. Марусин будуарчик весь капитонирован кретоном в больших розовых букетах. Пол устлан брюссельским ковром. Всюду понаставлены кушетки и пуфы разные; на стенах всюду полочки, уставленные разными нарядными безделушками. Маруся сразу во вкус этого вошла, сразу поняла, как все и нарядно, и уютно устроить, словно всю свою жизнь она только и делала, что разъезжала по магазинам и выбирала красивые вещицы. Вот что значит природный-то талант! Все тут у ней в будуарчике ново, блестит, как с иголочки, а между тем на на всем уже лежит такой оригинальный личный отпечаток, что, кажется, век в этом будуарчике жили, а не всего три недели тому назад в него переехали. Муж и все его волосатые приятели трунят над Марусей за ее пристрастие ко всему нарядному и изящному. «Отсталая вы, — говорят ей, — не знаете вы, сударыня, что эстетичность отжила свой век. Поря-

* Учебной поездки (*нем.*).

дочные люди живут теперь просто, по-мужицкому». Да, все они над ней смеются, а вот, поди, сами так и норовят забраться к ней в будуарчик. И много приходится бедной Марусе спорить со всеми волосатыми приятелями мужа за чистоту и неприкосновенность своего будуара. ⟨*Не разбор.*⟩ им входить в грязных сапогах прямо с улицы и не кидать окурки папирос на ее нарядный ковер.

Если у Маруси на квартирке все уже чисто и прибрано, то в самой редакции еще хаос порядочный. По всему видно, что сюда еще недавно приехали и что все это устройство заведено вновь. Белые, некрашенные полки для рукописей и газет, идущие вдоль всех стен в зале, распространяют еще запах свежей сосны. Обои во всех комнатах новые. Ручки на дверях еще ⟨*не разобр.*⟩. Словом, все еще имеет характер нового и необжитого, но к этой новизне успела примешаться порядочная доля старого беспорядка и старой грязи. Во всех углах навалены целые кипы старых, еще не разобранных рукописей и книг, с прилипшими к ним ⟨*не разобр.*⟩. Книг этих одних достаточно, чтобы придать всякому помещению вид грязи и неряшливости. Но видно по всему, что о чистоте да об опрятности не особенно и заботятся здесь. Всюду — и на паркетном полу, и на столах, и между бумагами валяются окурки папирос. Хотя все комнаты оклеены всего несколько месяцев, но местами обои оказываются уже сорванными или обрызганными чернилами. Брызги чернил также не пощадили ни сукна конторских столов, ни зеленый репс редакторских диванов. Запах сырости и свежести вновь ⟨*не разобр.*⟩ смешивается странным образом с запахом старой, годами накопленной пыли. Редакторский лакей Иван, занятый с утра до поздней ночи раздуванием самоваров для многочисленных посетителей, имеет, по-видимому, довольно оригинальное понятие о приборке комнат: по его мнению, она сводится к подбиранию забытых на столах гривенников и пятиалтынных, которым никто у господ не знает счета. И сами господа, по-видимому, разделяют это мнение Ивана и никто из них не заботится о том, чтобы внушить ему другие понятия. Зато улыбка довольства не сходит с его русого румяного лица, и от всей его плотной рослой фигуры в красной кумачовой рубашке и плисовых штанах пышет благополучием. Действительно, не житье ему, а рай тут. Господа добрые, молодые, веселый народ! Иные и сами одеваются, как он, в мужицкое платье, часто вступают с ним в разговор и толкуют ему, что ты, мол, Иван, такой же человек, как и мы. Эх, забавно, право! И целый-то день в редакции народ толпится, словно ярмарка или праздник какой. И у всех-то лица веселые, довольные. Действительно, как всегда бывает при всяком деле, идущем в гору, у всех лиц, прямо или косвенно причастных к редакции журнала «Современник», разлито теперь на лицах выражение довольства и торжества. И надо сказать, успех журнала действительно колоссальный, неслыханный, превосходящий всякие, даже самые смелые ожидания. Число подписчиков за последние два года увеличилось в 7 раз против прежнего и достигает теперь небывалой цифры — 25 000 [4]! И это только одних постоянных подписчиков, а сколько вообще всех читателей, и сказать

невозможно. Появление каждого номера ожидается с нетерпением. Всякий раз в тот день, когда должна выйти в свет новая книжка, и в самой редакции и во всех библиотеках для чтения так и толпится масса публики, коли первому схватить ее, первому узнать, какое новое слово скажет она в этот раз. И это не только здесь в Петербурге, в провинции то же самое. И там все, что есть молодого, свежего, все это выписывает «Современник» вскладчину, все это ждет от него своего лозунга и пароля, все это готово стать под его знамя и слепо идти по тому пути, который он им укажет. Никогда еще, кажется, не имел ни единый журнал в России такого могущественного социального значения, как этот. Редакция «Современника» разумеется была составлена из людей замечательных, гениальных; но главное все же было время — то чудное, живое, полное самых светлых упований и беззаветных верований время, которое переживала теперь Россия.

Гости начали сходиться уже часам к шести так, за час до обеда. На эти редакционные обеды «Современника», происходившие каждый месяц в честь выхода новой книжки, собиралось довольно много народу; не только все сотрудники и их друзья, но и много других, посторонних лиц, находившихся в какой-либо связи с кружком; и отличительной чертой этих обедов была непринужденность необычайная. По мере того, как средства журнала увеличивались, расширялось и menu обедов, изощрялось кулинарное воображение кухарки насчет разных блюд и улучшалось качество вин и закусок. В кружке любили хорошо покушать, но в сервировке и во всем остальном строго соблюдалась прежняя простота, совсем первобытная. Случалось иной раз окажется недостаток в посуде; тогда в дело пускаются и кухонные тарелки, между двумя блюдами приходится ждать целую вечность, пока кухарка успеет перемыть ножи и вилки. У Черновых, кроме старой няньки Анисьевны, было еще две прислуги: кухарка и горничная. Обе считались как бы членами семьи и тоже, якобы, принадлежали к редакции. Особенно горничная Авдотья Яковлевна, особа еще молодая, полногрудая и весьма бойкая, была решительной любимицей всего кружка и с сотрудниками обращалась властно и повелительно. По раз навсегда заведенному порядку в дни редакционных обедов часть гостей присоединялась к ‹*не разобр.*›, принимала на себя часть хозяйских обязанностей, помогала им накрывать стол и расставлять стулья. Один же из сотрудников, критик по части философии и составитель научных обозрений, бывший семинарист, человек на вид мрачный и угрюмый, всегда убегал на кухню и принимал личное участие в сооружении того или другого кушанья, за что, впрочем, и был осыпаем насмешками товарищей и получил прозвище лакомки и сластены. Так как в маленькой столовой Черновых всем бы не поместиться, то стол сегодня решено было накрыть в одной из редакционных зал, из которой ради этой цели принялись выносить кипы бумаг и лишнюю мебель.

На подмогу Марусе явились сначала двое из гостей: один из них был Петр Степанович Залесский[5], богатый молодой человек, недавно кончив-

ший курс в университете и теперь прилежно изучающий политическую экономию. Это был высокий невзрачный блондин с узкими сутуловатыми плечами и впалой грудью, вполне оправдывающий своею наружностью данную ему товарищами кличку «спаржи». Далеко не глупый человек, он был в высшей степени робкий и застенчивый, так как с детства привык трепетать перед своим отцом, богатым помещиком старого закала, державшего в страхе божием и повиновении и семью, и челядь. В сыне своем старик постоянными мелочными придирками к каждому его слову так систематически успел забить всякое проявление собственной воли, что молодой человек и сам проникся недоверием к собственным силам и только тогда и вздохнул свободно, только тогда и узнал красные дни, когда, приехав в Петербург для поступления в университет, он случайно столкнулся здесь с некоторыми членами кружка «Современника». Теория свободы, равенства, ненависти к угнетению и сочувствия ко всем угнетенным, которые он тут в первый раз услышал, были для него новым евангелием; но пуще, чем восторгом к абстрактным теориям, воспылал он любовью к самим членам кружка, от которых он в первый раз в жизни встретил ласку и теплое человеческое отношение к себе. Настоящим сотрудником журнала он еще не считался, хотя и поместил в нем две коротеньких заметки по поводу какого-то вновь вышедшего в свет иностранного сочинения по политической экономии, тем не менее он почти постоянно торчал в редакции и считался в ней своим человеком. Перед всеми женщинами из «Кружка» Залесский решительно благоговел, так как при его нескладной, перерослой и недоразвившейся фигуре душа у него была удивительно нежная и рыцарская. Он преисполнялся живейшей благодарностью к каждой женщине, если встречал с ее стороны малейшее внимание к своей особе, и не обижался нимало за те благодушные насмешки, которыми осыпало его за это товарищество.

Маруся его очень любила. Он состоял у ней на побегушках и она обращалась с ним, как с большим неуклюжим щенком.

Второй был человек совсем иного рода. Это был Степан Александрович Слеппов[6], молодой чрезвычайно талантливый писатель. Это был красивый бледный брюнет с массою черных, как воронье крыло, волос на голове и с необыкновенно томными синевато-черными глазами. Одевался он всегда в мужицкий костюм — из народничества или из кокетства — осталось вопросом, не решенным для его приятелей; во всяком случае, факт был тот, что красная шелковая рубаха удивительно шла к его цыганской наружности. Человек он был странный, неровный и причудливый. Что он делает и что собирается сделать — никто никогда наверное не знал. То вдруг запрется он на несколько недель, никуда не показывается, никого к себе не пускает; все думают, что вот принялся-таки за работу и радуются уже наперед тому гениальному произведению, которое выйдет из-под его пера. Потом вдруг по прошествии известного времени он вдруг опять появится в среде приятелей, и оказывается, что он вовсе и не думал работать. Когда к нему пристанут, что же он делал, куда пропадал это время, он, покручивая папироску,

спокойно отвечает: «Лежал все время на диване и учился кольца из дыма пускать». И ничего другого от него не добьешься, как к нему ни приставай. В другие же раза он ведет, по-видимому, жизнь самую беспутную; дома совсем и не сидит, весь день рыскает по городу, участвует во всех товарищеских сходках, по вечерам его видят в театре. Товарищи на него рукой махнут — «загулял наш Слепцов», говорят. И вдруг в один прекрасный день явится в редакцию с рукописью такого очаровательного, умного, прелестного рассказа, что редактор только руки потирает от удовольствия. Не в пример всем другим членам кружка, у которых у всех было к женщине отношение чрезвычайно идеальное, подчас даже пуритански строгое, Слепцов по отношению к прекрасному полу обнаруживал, надо сознаться, значительное легкомыслие, и романам его не было ни счета, ни числа. Однако хотя члены кружка и присваивали себе право следить за частной жизнью их друзей, но странно то, что Слепцову его легкомыслие не ставилось в особенную вину. Ему все прощалось, во-первых потому, что при каждом его новом романе он сам серьезнейшим и наивнейшим образом увлекался, а во-вторых потому, что известно было, что женщины к нему так и лезут.

Действительно, на женщин Слепцов производил обаяние необычайное, и сами женщины всегда брали его сторону и, что бы ни случилось, всегда и во всем его оправдывали. Даже суровая Авдотья Яковлевна и та всегда прояснялась, когда с ней заговаривал или начинал шутить Слепцов, и остальные сотрудники журнала горько жаловались на очевидное и несправедливое предпочтение, которое она ему оказывает. Расположение духа Слепцова никогда нельзя было предвидеть наперед; иногда он являлся на редакторские обеды желчным и злым, забивался в угол и «играл в молчанку», даже на женщин не обращал внимания: если же раскрывал рот, то только затем, чтобы беспощадно и ядовито обрезать какого-нибудь расходившегося юнца, излагающего чересчур идеальные и оптимистические теории. В другие же раза Слепцов бывал весел и дурачился, как малое дитя; и конца тогда не было всем его выдумкам и затеям. Сегодня Слепцов находился именно в одном из своих счастливых настроений, поэтому лишь только он появился в столовой, все там так ходуном и заходило. К двум первым помощникам скоро присоединились другие, и дело закипело. Старые бумаги, счета и рукописи выносились в коридор и без разбору валились в одну кучу, редакторская конторка отставлена к стене, обеденный стол раздвинут и в него вставлены две новых доски. Алексей Степанович выпросил у Ивана метлу и сам подметал сор, а ‹*не разобр.*› принес из чулана лестницу и, взобравшись на нее, зажигал свечи в люстре. Авдотья Яковлевна в коричневом шерстяном платье, плотно облегавшем ее высокую грудь, подпоясанная белым передником, с сознанием собственного достоинства, разлитым, как и всегда, на ее красивом полном лице, степенно, не торопясь, расставляла тарелки и раздавала приказания своим помощникам; а Маруся в вышитой малороссийской рубашке и плахте, с монистами на шее, с черной косой, выбившейся из-под ‹*не разобр.*› и со множеством маленьких непокорных кудряшек, об-

рамляющих ее раскрасневшееся, оживленное лицо, суетилась и прыгала, понукала ежеминутно Алексея Степановича, перекидывалась ‹*не разобр.*› и при каждой новой его выдумке хлопала руками от восторга. Из импровизированной столовой доносились в переднюю такие веселые раскаты голосов и такие взрывы смеха, что каждый вновь прибывший гость непременно первым делом туда направлялся и тоже предлагал свои услуги помочь по хозяйству. Но Маруся объявила со смехом, что у семи нянек дитя без глаз бывает, достаточно, всякое новое лицо только мешать будет; потому всякого нового гостя она немилосердно прогоняла в кабинет к мужу.

Там тоже собралось уже много народу. Кабинет Михаила Гавриловича был просторный, но убран с крайней простотой. Голый пол, голые стены, огромный письменный стол, заваленный бумагами, несколько полок с книгами, кожаный диван, служивший подчас и кроватью, несколько старых кожаных кресел и деревянных стульев — вот и все его убранство. Места на диване и на стульях все были уже заняты, и многим из гостей приходилось стоять, прислонившись спиной к стене или к книжным полкам. Один чудак уселся просто на пол, скрестя под себя ноги по-турецки. Все курили; в углу уже белелась порядочная кучка окурков, и табачный дым так синими клубами и ходил по воздуху. Сам хозяин сидел на диване, заложив ногу за ногу, и по своей всегдашней привычке одну руку опустив в карман брюк, а другою постоянно отбрасывая кверху непокорный клок волос, который тотчас же опять свешивался на лоб. Михаил Гаврилович очень любил, чтобы возле него собиралось много народу, особенно молодежи. Эти убежденные прения, эти горячие, шумные споры, где каждый старается перекричать друг друга, доставляли ему большое наслаждение; но сам он говорил немного, больше прислушивался к тому, как шумят другие, причем по его тонким с красивым изгибом губам постоянно бродила маленькая добрая усмешка. Иногда, когда что-нибудь его особенно занимало, он смеялся как бы про себя своим тихим сочувственным смехом, и от этого смеха у всех весело и радостно на душе делалось. На вид Михаилу Гавриловичу было теперь лет 35; росту он был среднего, скорей высокого, сложения худого. От постоянной книжной работы плечи у него были сутуловатые, несмотря на те гимнастические упражнения с тяжелыми гирями, которым он по принципу предавался с полчаса ежедневно, иногда настойчиво, до надоедливости рекомендуя их и всем своим приятелям. Его худое лицо с бескровными губами, с многими складками около углов рта, с зеленовато-желтыми, геморроидальными подтеками на висках, могло бы на первый, но только на самый первый взгляд, показаться лицом обыкновенного чиновника канцелярии или учителя классических языков. Это сходство, впрочем, существовало лишь в обыкновенное время, когда очки с золотым ободком скрывали его глаза. Когда же Михаил Гаврилович вступал с кем-нибудь в разговор, он всегда машинальным жестом сымал очки и разговаривал, глядя прямо в лицо собеседника, и тогда его близорукие серые глаза светились каким-то внутренним глубоким огнем, производили всегда удиви-

тельное впечатление. Вообще в те редкие случаи, когда Михаил Гаврилович вступал в разговор, он тотчас овладевал всей беседой и подчинял себе всех слушателей. Красноречие у него было какое-то особенное, совсем не цветистое: он никогда не искал фраз, слова и доводы являлись сразу и становились в ряды, как хорошо дисциплинированные солдаты, причем у слушателей обыкновенно являлось приятное самообольщение, что мысль Михаила Гавриловича стала им ясна сама собой, прежде чем он успел ее развить. Несмотря на обычную сдержанность Чернова, молодежь его обожала, и личное его влияние равнялось почти влиянию его журнальных статей. Рядом с Черновым на диване, как можно ближе к печке и все же зябко кутаясь в серый плед, сидит другой редактор «Современника», Некрасов, на средства которого сначала был основан журнал. Лицо у него, несмотря на молодость, худое, изможденное; на голове порядочная лысина; под глазами огромные синяки, а на висках и вокруг век те глубокие складки, которые образуются у людей с сильными страстями — un visage dévasté par les passions *.

В то же время есть в лице выражение хитрое и хищное; взглянув на это лицо, с первого раза трудно было определить, кому оно принадлежит. Но Некрасов — поэт и притом поэт, в настоящую минуту наиболее популярный в России. Молодежь, однако, восхищается только его стихами; к нему же лично она относится сдержанно и с некоторым недоверием. В своих звучных, чудных, стальных стихах он воспевает те же идеалы, к которым и она стремится. Но сам своей личностью, своей жизнью он молодежи не отдается. В редакцию журнала он является только, когда есть дело. Вся же остальная часть его существования идет своей особой линией. Он очень богат, живет в роскошных палатах, куда молодежь и не допускается, вечера проводит в английском клубе и с кокотками. На редакторские обеды он является, правда, аккуратно, но и тут держит себя как-то странно, якобы посторонним гостем, а не своим человеком. Никто не видал, чтобы он увлекался в споре, всегда у него ко всему отношение ироническое, как бы свысока. За все эти свойства молодежь и не любила Некрасова. Он сам чувствовал, что не может никогда сойтись с этими горячими головами. Журнал свой он основал много лет перед тем, когда время было другое, когда можно было держаться одними литературными интересами; теперь же этого одного мало! Его практический ум афериста подсказывал ему, что для того, чтобы журнал мог теперь идти хорошо, надо, чтобы во главе его стояли такие лица, в которых молодежь верит вполне, от которых ждет нового слова, разъяснения всех тех запутанных вопросов, которыми теперь начинен воздух. И у Некрасова было достаточно самокритики, чтобы понять, что ему самому таким лицом никогда не быть.

В Чернове он сразу по его статьям и по ‹*не разобр.*› угадал того человека, который ему был нужен. Поэтому и решил он, по-видимому, из

* лицо, опустошенное страстями (*франц.*).

дружбы предложить ‹*не разобр.*›. Враги Некрасова, а господь ведает, что их было немало, уверяли, что и в этом, по-видимому, бескорыстном поступке скрывался ловкий приказчичий маневр.

Разговор в кабинете был очень оживленный и, как и следовало ожидать, предмет беседы составлял новорожденный, в честь которого собрались сегодня: новая книжка журнала. Все присутствовавшие уже успели просмотреть ее и все были согласны, что этот номер по составу своему был даже удачнее всех прежних. И литературный отдел был очень хорош: первая глава повести Слепцова казалась выхваченной прямо из современной жизни, касалась самых животрепещущих интересов и обещала очень многое впереди. Новая поэма Некрасова «Плач детей, 1861» так и забирала вас за живое. Откуда только у этого холодного барича-эгоиста берутся такие горячие, прямо идущие к сердцу слова? Даже переводная часть и та была интересна: теперь печатался новый роман Шпильгагена «От мрака к свету» — сильная вещь, которая и в душе русского читателя способна зашевелить живые струны. Не в литературном отделе, однако, теперь главная сила: литература — все же только конфетка; существенный же интерес теперь весь сосредоточен на внутреннем обозрении, и вот тут-то Чернов превзошел себя. Его статья «Логика историп» [7] — это такая прелесть, такая гениальная вещь, равной которой давно, давно не появлялось у нас в России. Да, она расшевелит умы, заставит людей подумать и помыслить. И как это он умел все сказать: коснуться самых жгучих современных вопросов, высказать все, что лежит на сердце у теперешней молодежи, развить все их стремления, все их надежды и ожидания, доказать не только их законность, но и неизбежность их осуществления; и все это так, что цензура ни к чему и придраться не может. Вся статья, по-видимому, не что иное, как панегирика правительственным мерам: она вся пересыпана восхвалением царя. Чернов все время имеет вид, как будто он говорит не свои слова, а только развивает царскую мысль, только поясняет смысл и значение недавнего переворота — эмансипации крестьян — и показывает последствия, долженствующие проистечь из него неизбежно, неотвратимо, в силу неопровержимой исторической логики. После всякого существенного внезапного переворота в судьбе народа status quo немыслимо. Должно произойти одно из двух: либо силы, вызвавшие переворот, продолжают действовать, и тогда одна реформа неизбежно влечет за собой другую, либо наступает ретроградное движение, реакция. Но эта последняя может быть вызвана лишь противной партией, а не тем правительством, которое само произвело переворот этот и должно неизбежно стремиться и к развитию всех его последствий. Уничтожить, затормозить ‹*не разобр.*› можно только путем новой революции. Не сам царь обратится сам против себя, уничтожит одной рукой то, что соорудил другой. И вот на основании этих логических доводов Чернов развивал картину будущего России: полная автономия Польши и Финляндии, земля в руках народа и русский народ, свободно высказывающий свою волю и беседующий с царем при посредстве земских соборов. Вот что увидит Россия в день своего тысячелетия, которое

она через два года собирается праздновать[8]. Иные самые сильные места из статьи Чернова повторялись теперь и комментировались молодыми людьми в его присутствии, между тем как он сам сидел молча, покручивая папиросу, и только тихо и радостно ухмылялся. «Посмотрим-ка теперь, что правительство на это ответит», — говорили все с восторгом. Но разговоры о его статье были прерваны приходом новых гостей: это была целая кучка студентов и студенток, тоже принадлежавших к кружку «Современника». В нынешнем году женщины добились очень важного шага на пути женской эмансипации: им разрешен доступ на университетские лекции[9] и, разумеется, очень много женщин воспользовались этим новым правом. Все пришедшие теперь в редакцию студентки были девушки еще очень молодые; одна из них — Корали́, красивая брюнетка, с выразительным ярко-красным ртом и восточными глазами, была еврейка, дочь очень богатого и известного банкира в Петербурге. Она разошлась с отцом «из-за убеждений» и жила теперь вместе с двумя подругами в одной маленькой комнатке и без прислуги. Другая студентка, Яковлева, розовенькая, субтильная и живая блондиночка, приехала издалека, из Пермской губернии. И ее, разумеется, родители не добром отпустили одну, за тысячу верст от себя, в этот страшный Петербург, где теперь молодым людям со всех сторон грозила погибель. Но так как ее отец был все-таки добрый, хотя и отсталый, и любил ее без памяти, то она не решилась огорчить своих стариков, убежавши тайком из родительского дома; а для того чтобы получить свободу учиться, решилась на довольно оригинальное средство, только что начинавшее входить в моду между молодежью: на фиктивный брак. При том полном презрении ко всякой форме, которое характеризовало нигилизм и составляло основу так называемых «новых идей», в скором и полном торжестве которых теперь никто из молодежи не сомневался, понятно, что и церковный брак не пользовался большим уважением. «В новом обществе союз между мужчиной и женщиной будет скреплен взаимной любовью и взаимным доверием, а не будет торговой сделкой, за несоблюдение которой одна сторона может притянуть другую к суду». Эта аксиома составляла, так сказать, ABC нового катехизиса, и одним из вопросов, слишком очевидных даже для серьезного обсуждения, было то, что церковный брак есть учреждение, отжившее свой век, к которому человек развитой может прибегать лишь в том случае, когда он может служить средством для достижения какой-нибудь серьезной цели. Так как нигилизм успел уже проникнуть даже в Пермскую губернию, то среди соседей-помещиков Яковлевой нашелся один, который предложил ей пройтись с ним три раза вокруг аналоя, чтобы ценой этой маленькой прогулки получить право жить человеческой жизнью, не разбивая сердца своих стариков. Тотчас после венца молодые уехали в Петербург и здесь, чуть ли не в самый же день приезда, отправились на какие-то лекции в университет. Сегодня оба супруга, жившие, разумеется, на разных квартирах, встретились случайно в редакции. Говорили они друг другу «вы» и вообще по отношению друг к другу соблюдали утонченную и холодную вежли-

вость, как бы ужасно боясь, чтобы их в самом деле не приняли за мужа и за жену, причем ‹*не разобр.*› сдержанность их отношений составляла забавный контраст с тем бесцеремонным товарищеским тоном, который существовал между остальными девушками и мужчинами их кружка, не связанными между собой узами брака.

Третья студентка, Надя Суслова[10], была еще моложе своих товарок. На вид ей было не больше 18 лет. Небольшого роста, но крепкого сложения, со смуглым бледным лицом, с неправильными чертами и сильно заметным калмыцким типом, она скорей могла назваться дурнушкой, чем хорошенькой. Но все ее существо дышало энергией и силой, а серые умные глаза глядели так прямо и так смело из-под черной прямой линии сросшихся на переносице бровей, что придавали всему лицу печать оригинальности, почти красоты. Пройти мимо этой девушки, не заметив ее, было невозможно. В кружке она слыла «сильным человеком» и от нее ждали очень многого в будущем. Все три девушки были одеты в черные юбки и в цветные гарибальдийки, подпоясанные у пояса кожаными кушаками. У всех были короткие волосы. Они пришли в редакцию прямо из университета, где происходили сегодня очень бурные сцены; в университете начинались беспорядки. Дело в том, что инспектор вздумал вдруг ни с того, ни с сего вмешиваться в студентские дела, стеснять свободу студентов. Вчера на стенах университетских коридоров и зал вдруг появились плакаты, запрещающие студентские сходки и требующие, чтобы студенты являлись на лекции не иначе, как в форменных мундирах. Такое предписание действительно существовало и прежде, но на деле оно никогда не соблюдалось. Поэтому студенты сочли требование инспектора стеснительным и отвечали на него тем, что все толпой, человек в 500, собрались на университетском дворе и стали требовать, чтобы инспектор вышел к ним для объяснений.

Инспектор сам выйти струсил и вместо того послал за полицией. ‹*Не разобр.*› среди студентов распространился слух, что сейчас явятся жандармы. Поднялся шум, гвалт, послышались громкие крики: «Не трусить, господа, не уступать! Защищаться до последней капли крови», но более умеренные советовали разойтись, не дожидаясь прибытия жандармов. Толпа разбилась на несколько партий. Студентки, разумеется, принимали живое участие в этой животрепещущей драме. Энергичная Корали, незаметная среди толпы по причине своего маленького роста, вскочила на поваленную на университетском дворе громадную кучу дров и с этой импровизированной трибуны харангировала* товарищей. Она была того мнения, что сегодня сопротивляться было бы ‹*не разобр.*›, настоящий бунт был бы преждевременным, так как студенты еще недостаточно организованы. Ее мнение восторжествовало, и на сегодня студенты мирно разошлись по домам. Но завтра, если начальство не возьмет назад своих несправедливых требований, беспорядки начнутся, разумеется,

* увещевала (*франц.*).

снова. Это происшествие на университетском дворе в глазах всех присутствующих сделалось теперь, разумеется, главною темою всех разговоров; оно приняло размеры исторического события[11]. Университет в это время имел громадное значение и служил сборным пунктом для всей либеральной молодежи. Разговор о происшествии в университете был прерван только появлением сияющей ‹*не разобр.*› Маруси, пришедшей объявить, что обед подан. Так как час был уже поздний, и все очень голодны, то приглашение, несмотря на оживленную беседу, было встречено с восторгом и повторять его не пришлось. Гости двинулись в столовую. За столом в распределении мест не соблюдалось, разумеется, ни малейшего стеснения; хозяйка не назначала, где кому надо сидеть, а каждый гость садился где и возле кого ему вздумается. Места поближе к молодым барышням были заняты прежде всего; несмотря на бесцеремонно-товарищеский тон, господствующий в кружке между обоими полами, отношения молодых людей к барышням все же не вполне были свободны от известного ухаживанья. Как у Корали, так и у Яковлевой было пропасть обожателей; только одна суровая Суслова непреклонно и решительно отстраняла и пресекала всякое, даже самое слабое поползновение на ухаживанье за собой и по отношению к молодым людям обнаруживала самое обидное и неприступное равнодушие. Зато она сама пылала к Чернову тем восторженным, горячим и бескорыстным обожанием, какое только способна испытывать очень молодая девушка к человеку гораздо старше ее, облеченному в глазах ее ореолом гения. Она и теперь постаралась сесть к нему поближе и, не спуская с него своих серых лучистых глаз, d'une inspirée *, с жадностью ловила на лету каждое его слово, угадывая по лицу его, что он думает о том или о другом вопросе. Чтобы не иметь надобности стесняться в разговорах, на редакторские обеды из прислуги не допускался никто, кроме преданной Авдотьи Яковлевны, на которую можно было положиться, поэтому Марусе самой постоянно приходилось выскакивать из-за стола, чтобы помогать разложить кушанья; да и гости сами служили себе и соседям. В начале обеда, как обыкновенно бывает, все увлеклись едой, и споры, такие шумные и горячие в кабинете, на миг притихли, пресеклись и оборвались. По мере того, однако, как желудки насыщались, языки снова развязывались. Сначала стали возникать разговоры частные, между гостями. Между сегодняшней молодежью существовали, разумеется, свои соревнования, обиды ‹*не разобр.*›, шутки, намеки, напоминания, словом, шел тот непонятный и раздражительный для всякого постороннего лица разговор, какой всегда ведется в кружках, где много молодежи, которые все свои люди, встречаются чуть ли не ежедневно, имеют пропасть своих личных, ужасно интересных для них самих дел, старых счетов. Среди того общества, которое собралось сегодня, было, разумеется, много и мелких соревнований, ссор, симпатий и антипатий, обидных оскорблений, на которые, чтобы не уронить себя,

* вдохновенных (*франц.*).

непременно следовало ответить такой же или еще более язвительной ⟨*не разобр.*⟩ — словом, было много всей той скучной дряни, которая всегда и неизбежно заводится всюду, где ни соберутся вместе штук 10 двуногих животных, да притом еще разного пола, и которая делает всякую общественную жизнь вещью довольно нестерпимой. Теперь, однако, все эти мелкие чувства подавлялись сознанием того великого и важного, которое готовилось для всех впереди; все были проникнуты убеждением, что они все, здесь собравшиеся, суть «новые», «лучшие» люди, что они, так сказать, соль земли, и это приятное сознание смягчало все сердца и располагало их к благодушию и к милосердию друг к другу; инстинкт же человеконенавистничества, присущий всякому человеческому сердцу, находил себе исход во вражде к врагам, т. е. к ⟨*не разобр.*⟩.

Даже литературный критик и критик по части философии, постоянно сталкивающиеся между собой на страницах журнала и, кроме того, оба сильно влюбленные в Корали, и те, хотя и не щадили друг другу мелких пикировок, однако и те до поры до времени не отказывали друг другу в уважении. По мере того, как обед подвигался к концу, беседа становилась все оживленнее; к тому времени, как подали жаркое, голоса уже сливались в один общий гул. На том конце стола, где сидел Чернов, обсуждали теперь одно событие последних дней, о котором газеты по обыкновению только оповестили публику с красноречивой краткостью, но о котором в Петербурге шли теперь самые разнородные и противоречащие друг другу толки: а именно о том, что в государя, во время его недавней поездки в Париж, был сделан выстрел [12]. Событие это комментировалось и обсуждалось на все лады; однако, как это ни странно, никто в кружке не придавал ему уж чересчур большого значения. Выстрел, очевидно, был сделан человеком отдельно стоящим и не был делом какой-либо серьезной партии; поэтому никому в голову не входило, что не только отзовется на судьбе их кружка, но и будет иметь серьезное и решающиее влияние на всю внутреннюю политику России. От этого частного случая перешли естественно к вопросу о цареубийствах вообще. Коснулись французской революции, причем казнь Людовика XVI была подвергнута горячему обсуждению, и далеко не все голоса высказались за ее необходимость. Чернов своего мнения на этот счет не сообщал; он только внимательно, со своей обычной доброй и несколько загадочной улыбкой, прислушивался к тому, что говорят другие. Залесский всех горячее высказывался против всяких террористических мер. Забыв в жару спора свою страшную застенчивость, но все же заикаясь и не находя слов, как всегда с ним бывало, когда он горячо что-либо доказывал, он излагал ту теорию, что единственный путь, которого может держаться их партия, — это путь миролюбивой пропаганды среди народа. «Не знаю, как в других странах, господа, — говорил он, — но у нас в России только этот путь и возможен. Народ наш, господа, социалист в душе; в нем уже заложены все элементы нового учения. Стоит только ⟨наменкнуть, все⟩ вдруг станет ему ясным и понятным. Тогда народ встанет весь, как один человек». —

«Шапками мы их закидаем что ли?» — «Сила массы, знаете ли, ведь, что в ней; и резни даже никакой не будет, а устроится все миром»...

— «И реки молочные потекут, и рябчики жареные в рот ко всем поскачут!» — злобно перебил Залесского Слепцов. Этого последнего и смешило и раздражало несвязное, восторженное красноречие Залесского и ему захотелось подурачиться. «А ведь знаешь ли, братец, — продолжал он тем невинным тоном, про который друзья его никогда не знали наверное, шутит он или говорит серьезно. — А ведь ты при всем твоем благодушии о том не подумал, что ведь это даже жестоко лишать революционеров их законного удовольствия — травли на тиранов. Мало, ты думаешь, наслаждения — прицелиться вот так в крупного зверя, — и он, прищурив один глаз, сделал вид, что стреляет. — Ведь это, братец ты мой, самый высший вид спорта! Если бы только англичане-дураки могли додуматься до того, насколько эта охота ‹*не разобр.*› и занимательнее охоты на тигров. Конечно, на свете есть нечто еще даже лучшее: это вонзить нож в сердце тирану, вот так, как я вонзаю его теперь в кровавый ростбиф», — и Слепцов, свирепо нахмурив брови, взглянул страшными глазами на подававшую ему блюдо Авдотью Яковлевну, которая, со своей стороны, только строго сжала губы и придала своему лицу то сосредоточенное суровое выражение, которое она всегда принимала, когда, по ее мнению, господа говорили вздор. В эту самую минуту в соседней комнате вдруг поднялся страшный шум; там происходила какая-то борьба: кто-то хотел ворваться и кто-то его удерживал. Все присутствующие невольно вздрогнули и переглянулись. Но вот раздались и крики; послышался горький детский плач. Оказалось, что это буянят Сашка и Петька. Няне перед обедом разными правдами и неправдами удалось уложить их спать. Но в конце концов они все-таки ее перехитрили: когда она, положившись на их тихий сон, сочла себя вправе уйти из детской, они тут-то именно и проснулись; выскочили из своих постелек и, как были босиком и в рубашонках, понеслись стремительно туда, откуда слышались голоса гостей. Няне удалось поймать их уж лишь на редакторской половине. Разумеется, это грубое проявление няниного деспотизма над малолетними гражданами глубоко возмутило всех присутствующих, и гости толпой побежали в ‹*не разбор.*› на выручку детей. Петька и Сашка, еще заспанные, со следами недавних слез на щеках, но теперь улыбающиеся и ‹*не разобр.*›, въехали в столовую — один верхом на Слепцове, другой верхом на Залесском. Их поставили посреди стола и стали наперерыв угощать разными лакомствами. Петька был еще совсем маленький пузатенький мальчуган, с толстыми короткими ножонками и круглыми, совсем еще телячьими глазенками. Но Сашка был уже большой пятилетний человек, который болтал уморительно, знал уже наизусть несколько революционных стихов и вообще служил забавой всего кружка. «Молодец, Сашка! — говорили ему. — Не надо слушаться няни! Ты у нас вольный казак! И вырастешь, так же поступай! Что себя в обиду давать! Ну-ка, покажи, как ты с няней воевал!» И Сашка, крепко стиснув крошечные кулачки,

‹*не разобр.*› размахивал ими вправо и влево. Гости хохотали. Ему налили рюмку сладкой наливки и велели выпить за здравие будущей социальной республики. Сашка проглотил ее одним залпом и язычком даже причмокнул. Когда же он тоненьким, похожим на комариный писк голоском пропел русскую Марсельезу, восторг гостей не знал пределов. Сашку целовали, передавали с рук на руки, дразнили, заставляли болтать всякий вздор до тех пор, пока вдруг язык его как-то сразу запутался, головка опустилась на плечо, глаза словно заволоклись пеленой, и он уснул тем внезапным, моментальным сном, каким засыпают иногда дети. На другом конце стола Петька, который уже выпил порядочно наливки и про которого все забыли, давно уже спал. Тогда детей взяли на руки и отнесли назад в их кроватки.

В комнате становилось нестерпимо жарко и душно. Тяжелый запах кушаний смешивался с винными парами и с табачным дымом, т. к. во время десерта, разумеется, курили. В зале отворили форточку, и ночной морозный воздух свежей струей ворвался в комнату, словно лаская разгоряченные лица и внося новую силу и новую энергию в надышавшиеся угольной кислотой легкие. «Господа, грех сидеть дома в такую ночь, поедемте кататься на тройках!» — закричала Маруся. О том, чтобы устроить вечером катанье на тройках, говорилось уже давно в кружке, но дело все как-то не выгорало. Теперь же предложение Маруси было встречено с восторгом: «Поедем, непременно поедем!» — кричали все девушки, хлопая в ладоши. Петр Степанович и еще один из сотрудников тотчас побежали заказывать ее, и через полчаса послышались на улице топот лошадей и гулкое, разливчатое бряцанье бубенчиков, которое вдруг сразу словно замерло и пресеклось, и четыре тройки остановились перед подъездом редакции. Все общество разместилось как попало, по пяти-шести человек в каждых санях. Целью поездки был выбран один из загородных ресторанов, где пел в нынешнем году хор цыган, хотя ресторан этот и был известен как излюбленное место всей веселящейся молодежи, офицеров, купеческих сынков, помещиков, приехавших в столицу спускать выкупные рубли, словом, всего того люда, уж ровно ничего общего с кружком не имеющего. «Что за охота ехать туда, куда всякая дрянь таскается!» — протестовали, правда, некоторые наиболее суровые из кружка. Но барышни обнаружили обычное любопытство порядочных женщин относительно этого lieu de perdition *. «Какие глупости! Отчего же раз и не поехать? Разве к нам что пристанет? Очень интересно и поучительно даже развитому человеку видеть, как вся эта золотая шваль свое время проводит», — горячо настаивала розовая, белокурая Яковлева. Женская партия по обыкновению восторжествовала. Ночь была лунная, морозная, но совсем безветренная, и потому холод не чувствовался. В воздухе носились миллиарды крошечных ледяных кристалликов, которые, словно невидимые микроскопические иголочки, слегка щекотали лицо.

* места погибели (*франц.*).

Рослая коренная, голову вперед, мчалась ровным, степенным бегом, а пристяжные, закинув голову совсем назад, неслись во всю прыть, выделывая удивительные скачки и, высоко вскидывая передними ногами, подбрасывали огромные глыбы замерзлого снега. Дорога была ровная, выкатанная, и сани мчались стрелой. Все последние дни перед выходом в свет новой книжки журнала у Чернова было пропасть спешной редакторской работы и он почти не выходил из своего кабинета. Теперь от быстрого бега саней у него захватывало дыхание и ощущалось легкое приятное головокружение. Морозный ночной воздух действовал на его утомленные сидячей головной работой нервы подобно шампанскому. Хотя он и не выражал своих чувств шумно и порывисто, как его более молодые товарищи, и по своему обыкновению только молчал, он тихо ухмылялся, но на душе у него было в эту минуту удивительно светло и отрадно. Он ехал в передней тройке; Наденька и Маруся обе сидели в одних санях с ним. Первая, в суконной кучерской шубке, обшитой мерлушкой, с молодцеватой барашковой шапкой на коротких курчавых волосах, походила на совсем молоденького деревенского парня. Под влиянием возбуждения и быстрой езды, которую она страшно любила, даже с нее спала ее обычная суровость; она поминутно вскакивала с своего места и понукала ямщика, и без того во всю мочь погонявшего лошадей. «Скорей, скорей, голубчик! Еще скорей! Вот так! Ух, какая прелесть!» — кричала она поминутно, вся охваченная радостью этой дух захватывающей, сумасшедшей езды.

Маруся с видом зябкой кошечки куталась в бархатную ротонду с огромным белым пуховым воротником, из-под которого выглядывал только маленький, чуть-чуть покрасневший носик и пара темных плутоватых глаз. Каждый раз, когда сани наезжали на бугор или стремительно летели вниз с горы, она слабо вскрикивала и маленькая тепленькая ручка без перчатки выпархивала из ротонды и хваталась за руку мужа. Среди этих двух женщин, из которых одна была ему симпатична и дорога, как милый, умный ребенок, другую же он любил со всей страстностью, со всей пылкостью и нежностью его сдержанной с виду, но страстной натуры, — Чернов чувствовал себя превосходно. Он впал в какую-то тихую думу, вроде забытья. ‹*Не разобр.*› вдали вдруг замелькал ряд разноцветных фонарей, и яркими лучистыми пятнами выступили из темноты освещенные окна ресторана. Ямщики приосанились как-то особенно форсисто, гикнули на свою тройку, разогнали во всю прыть, с треском подкатили к подъезду и тут разом круто осадили лошадей, так что задние сани чуть не налетели на передние. Половой в плисовой поддевке, из-под которой выступали красные рукава шелковой рубашки, увидя такое многочисленное общество, мигом подскочил высаживать новоприезжих. Прежде чем они успели оглядеться, их уже ввели в ‹*не разобр.*›. Залы ресторана уже были полны народом. Волны ослепительного белого света и громкой, оглушительной музыки, тонкие духи дамских ‹*не разобр.*› после тишины и однообразия вызывали какое-то ‹*не разобр.*›. Впереди на эстраде какая-то красавица в русском костюме, помахивая белым платочком, выступала

павой. В это время хор девушек выводил во всю глотку, притопывая в такт: «Ах, вы, сени, мои сени!» Новоприезжие растерянно и сконфуженно прокладывали себе дорогу между маленькими столиками, которыми была уставлена вся зала, нигде не находя себе места, т. к. все столы уже были разобраны. Они обращали на себя общее внимание. Среди эполетов, аксельбантов, крашеных рыжих шиньонов, блестящих, гладких, как ладонь, лысин эта компания студенток-барышень и молодых людей — мрачных, волосатых, с тем сосредоточенным видом, который характеризует людей мысли вообще и русских нигилистов в особенности, производила странное впечатление. Все на них обернулись и шептались на их счет. Новоприезжие и сами чувствовали себя неловко в этой чуждой, несимпатичной им. . .

VAE VICTIS*[1]

Снег падает беззвучно, однообразно, безостановочно. Большие пухлые хлопья его спускаются так быстро и мерно, так переполняют собою воздух, что глаз уже не в состоянии отличить их друг от друга. Кажется, будто одна сплошная пуховая масса соединяет белую землю с низко, низко повисшим над нею светловато-серым небом. Где кончается земля, где начинается небо — различить трудно. На расстоянии двух шагов ничего не видать. Не видать даже громадного векового елового леса, разросшегося на много сотен верст в окружности. Этот лес с его мачтовыми деревьями слился с окружающим воздухом в одно бесформенное целое.

В лесу еще тише, еще мертвеннее, чем в поле. Снежные сугробы растут в нем все выше и выше. Голые стволы совсем занесены снегом, могучие ветви поднимаются, будто с самой земли. Порой толстый, как бревно, еловый сук, не выдержав навалившего на него груза, надломится и полетит вниз. Но не слышно ни треска, ни шума от его падения: всякий звук мгновенно замирает в массе падающего снега, точно в мягкой пуховой подушке.

Всякая жизнь в лесу замерла и застыла. И время как будто перестало идти. Серый, тусклый день переходит незаметно в серую снежную ночь. Перемены почти нет; все тот же матовый, ничего не освещающий фосфорический свет от мерно летящего снега. Снег все падает и падает, и конца ему не предвидится.

Но вот мало-помалу начинают мельчать белые хлопья. Уже не серый удушливый пуховик спускается с неба на землю, а только легкие, игривые, беспокойные снежинки вьются в воздухе, кружатся, догоняют и перегоняют друг друга, словно затеяли между собою какую-то сложную, бесконечную игру. Сплошная завеса, застилавшая все предметы, редеет, обнаруживая постепенные переходы от плотной фланели к легкому, полупрозрачному газу. Хотя ночь на дворе, а все же силуэты лесных великанов в их снежном уборе обрисовываются ярко и отчетливо. Небо уже не однообразно серое, как прежде. Оно точно поднялось выше; общий фон

* Горе побежденным (*лат.*).

его просветлел, и на этом фоне выступают теперь темные, почти черные пятна.

На земле ничто не шелохнется, зато в верхних слоях воздуха воюют сильные течения. Темные пятна на небе в безостановочном движении; они постоянно меняют форму, принимают самые причудливые очертания и быстро, быстро плывут по небу, точно их гонит и разрывает на части какая-то невидимая сила. И вот внезапно у одного из этих пятен зазолотились края; само оно расступилось и из середины его выплыла луна, яркая и круглая, как громадный совиный глаз. Теперь темные пятна тают, как воск; с каждой минутой их становится меньше; вот исчезло наконец и последнее. Небо, еще недавно столь близкое к земле, теперь ушло куда-то высоко, высоко, на невообразимое расстояние. Глаз теряется в неизмеримой дали, и жутко становится, глядя вверх и не видя над собой ничего, кроме безграничного пространства, залитого ярким лунным сиянием.

Мороз усиливается, и снежные сугробы покрываются тонкою серебристою ледяною корою. Все блестит и искрится. В воздухе носятся мириады крошечных снежинок, которые точно не хотят угомониться. Каждая сияет, как алмаз, и словно тешится, подставляя месяцу грани своих причудливых микроскопических кристалликов.

В лесу по-прежнему ничто не шевелится; но это уже не та гнетущая, мертвенная тишина, как прежде; все в нем только притаилось, чего-то ожидая, к чему-то готовясь. И вот из лесной чащи выходит на полянку сама старушка зима.

Полно, точно ли она старушка! И к чему это на нее клевещут? Ведь это высокая, мощная женщина удивительной, своеобразной красоты. Она вся, с ног до головы, укутана белым парчовым покровом. Одно лицо ее открыто, лицо строгое, задумчивое, словно выточенное из матово-белой слоновой кости. Каждое движение ее полно величавого, торжественного спокойствия. Она идет на самую середину поляны и останавливается, скрестив на груди белые руки, подняв кверху свои чудные темно-синие очи. Из очей ее льются во все стороны синеватые фосфорические лучи; неизвестно, отражают ли они в себе сияние месяца или сами светятся этим удивительным, холодным огнем.

Мнимая старушка не сводит взора с залитого сиянием небесного свода и погружается в неторопливую, созерцательную думу, думу спокойную и бесстрастную, точь-в-точь дума жвачного животного. Лицо ее как раз носит то выражение, какое встречаешь на буддийских идолах: видно в нем и презрительное сострадание ко всему, что несет бремя жизни, и безропотное подчинение предвечному року, и торжественное, неторопливое выжидание неизбежно грядущей нирваны.

Мороз все крепнет. Воздух так прозрачен и чист, что малейший шорох слышен на громадном расстоянии. Подчас словно ружейный выстрел прогремит над лесом — это треснуло старое дерево от мороза. Эхо повторит выстрел раз пятнадцать, и наступившая затем тишина покажется еще торжественнее, еще страшнее.

Но вот раздался громкий, отчаянный, голодный вой: огромный серый волк, ощетинившись от холода, спустив к земле грязновато-серый хвост и щелкая большими крепкими зубами, показывается на поляне. На голос его откликнулись другие волки. В разных частях леса слышен теперь тот же отчаянный вой, с каждой минутой все ближе и ближе. Еще мгновение, и внезапно, словно волшебством, вырастает из земли несколько таких же голодных волков. Они окружают первого волка, словно предводителя. В лесу им нечем теперь поживиться; поэтому вся голодная, хищная стая тянется вон из леса, поближе к людскому селению, не попадется ли там на зуб какая добыча.

Пронзительный, отчаянный волчий вой пробудил царицу зиму из ее созерцания. Не торопясь, как бы с сожалением, отводит она глаза с неба и смотрит долго и вдумчиво на стаю хищников. Не вынесли волки этого взора. Под влиянием чудных голубых лучей, которые исходят из ее глаз, кровь их словно застыла в жилах; они уже не ощущают мучений голода. Вместо того, чтобы выполнить задуманный набег на людское жилье, они, покорно поджав хвосты, как прибитые собачонки, прилегли к ее ногам. Сидя кругом на задних лапах, подняв острые морды кверху и уставившись на луну, они начинают теперь выть хором. Но вой их далеко не так злобен и неистов, как прежде. Слышатся в нем теперь и жалобные протяжные звуки. Он сливается в одно с лесной тишиной, внося недостававшую дотоле ноту в эту симфонию всеобщего отречения от жизни.

Снова поднимает царица зима свои синие очи к небу и снова впадает в свою неторопливую думу. Чудно и торжественно теперь в лесу. Нет в нем ни ропота, ни возмущения.

Радость на небесах,
На земле мир и благоволение.

Долго ли продолжалось невозмутимое созерцание зимы — кто скажет? Времени нет больше, так как некому замечать его; да и всякое движение прекратилось. Но вдруг, откуда ни возьмись, потянуло с юга теплым ветерком. Ветерок был еще слабенький, чуть заметный; он подползал, крадучись, словно воришка. Под его затаенным, но все еще горячим дыханием побежала под снежным сугробом тоненькая, как волосок, струйка. За первой струйкой показалась вторая, потом третья и четвертая; струйки мало-помалу слились в ручейки, и таких ручейков зажурчали десятки. Подточенная в самом основании большая снежная глыба внезапно потеряла равновесие и рухнула боком о землю. Падая, она придавила молодую ель и с треском поломала ее ветви. Большой черный ворон, спавший на маковке, грузно поднялся на воздух и закаркал громко и зловеще.

По лесу пошел шум и гам. В соседней берлоге медвежонок проснулся и радостно стал будить сонную мать. «Матка, матка! Просыпайся скорей! Я есть хочу! Весна пришла!» — закричал он неистово.

Старая медведица спросонок не разобрала хорошенько, в чем дело, рассердилась и отвесила сыну звонкую пощечину: «Я те покажу, как есть просить! — прорычала она свирепо. — Знай соси свою лапу да спи! Какая там весна! Бог знает, придет ли она еще когда-либо! Во всяком случае, теперь далеко, далеко еще до весны». Проговорив это, она повернулась на другой бок и тотчас захрапела.

Медвежонок поворочался, поворочался с минуту и в конце концов уснул.

Старая медведица ошибалась, однако, в своих расчетах. Весна была не за горами. Южный теплый ветерок становился все смелее и шаловливее. Внезапно он подкрался к самому месту, где стояла царица зима, и пахнул ей в лицо своим горячим дыханием.

Пробужденная из раздумья зима оглянулась и увидала пред собою свою соперницу — весну. Только это была совсем не та весна, какую воспевают поэты. Это была не та скромная молодая девушка, увенчанная цветами, с невинным лазоревым взором, с гибкими, полуразвитыми членами, какую так любят художники. Нет, это была полудикая женщина, молодая великанша, с беспорядочно развевавшимися по плечам рыжими, как у древних германцев, кудрями. Тигровая кожа обвивала ей бедра; все остальное тело было наго, и юные, словно из стали вылитые, члены свидетельствовали о силе и мощи необычайной.

Лицо представляло странное противоречие: верхняя часть его была нежного, идеального очертания, но подбородок был массивный, почти четырехугольный, и вообще вся нижняя часть лица носила отпечаток чего-то хищного, почти животного. На полных ярко-красных губах блуждала неопределенная, не то насмешливая, не то вызывающая улыбка. Но всего своеобразнее были ее глаза: они отливали изумрудным огнем. Они манили и притягивали к себе; в них сказывалась и нежность, и ласка опьяняющая, и безотчетная грусть, и стремление к чему-то далекому, недоступному. По временам, однако, они точно сжимались, становились совсем темными и принимали насмешливое и плотоядное выражение, какое бывает у старых сладострастных сатиров.

Весна стояла в живописно-беспечной позе, опершись одной рукой об обломок скалы, и презрительно оглядывала свою соперницу зиму. Зима увидела весну, и ее чудные синие очи омрачились скорбью.

«Зачем ты пришла сюда?» — спросила она тихо. Весна ничего не ответила и продолжала глядеть так же дерзко и вызывающе.

«Я знаю тебя! — продолжала зима своим строгим, печальным голосом. — Я знаю, зачем ты сюда явилась! Ты притворяешься доброй и нежной, чтобы вернее привлечь к себе и одурачить свои жертвы. И я знаю, что это удастся тебе. Они добровольно побегут в твои сети.

Бедные, влюбленные дураки! Они будут благословлять тебя до конца, пока ты не надругаешься над ними, не замучишь их до смерти! Большинство их, даже умирая, сохранит свои иллюзии и будет винить всех, только не тебя. Лишь немногие разгадают тебя, когда уже будет слишком поздно, и в миг просветления, пред концом, увидят тебя такой, какой

я тебя вижу, такой, какова ты в действительности — сладострастной, вероломной, беспощадной!

У тебя только одна и есть охота — творить! И чтоб удовлетворить ей, ты жертвуешь всем и каждым. Там, где есть место для одного, ты вызываешь к жизни тысячу; а что станется потом с созданными тобою, тебе нет дела! 999 из рожденных по недостатку места обречены на гибель. Но что тебе до этого! Тебе бы только творить и созидать! Завтра ты готова сама все растоптать, сама истребить то, что ты создала сегодня.

Ты знаешь, что если бы ты внезапно скинула маску и явилась в твоем настоящем виде, все бы побежали от тебя со страхом и отвращением; но ты умеешь притворяться и тебе дела нет до того, что правда, что ложь.

Ты сулишь небывалое счастье, неисчерпаемое наслаждение, бесконечную любовь. В сущности же ты сама над всем этим смеешься; ты сама отлично знаешь, что это все басни и небылицы, что счастья нет на земле, что любовь пустое слово, что всякий миг наслаждения покупается ценою собственного или чужого страдания.

Смерть — вот конечная цель всего существующего; но путь к этой цели ведет через скорбь и муки, и чем сильнее, чем интенсивнее жизнь, тем больше скорби, больше мук. Таков предвечный закон!

Можешь ли ты изменить его? Можешь ли ты оградить от него доверившихся тебе простаков? Нет, ты все это знаешь, но ты знаешь тоже, что если бы все живущее постигло этот закон, оно содрогнулось бы от ужаса и немедленно сбросило бы с себя бремя существования! Что же сталось бы тогда с твоей страстью творить и созидать?

И вот, чтобы удовлетворить этому ненасытимому желанию, ты и скрываешь правду, ты и приписываешь себе власть, которой у тебя нет, ты и сулишь то, чего дать не можешь».

Ни слова не ответила весна на сделанные ей упреки; она упорно глядела в землю, будто ничего не слыхала.

Зима продолжала: «Знаешь ли ты, в каком положении я нашла этот лес при моем появлении? Всюду валялись полуживые трупы, всюду слышались вопли и стоны. Тут билась и трепетала муха в сетях паука, медленно, капля за каплей высасывавшего из нее жизненные соки. Там валялась и корчилась в муках зеленая стрекоза, у которой жук оторвал часть туловища. Не говорю уже о тех мириадах существ, которые погибли прежде, чем развиться. Ими усыпана была земля; они являлись немой уликой твоего вероломства!

Сколько труда стоило мне прибрать этот лес, прикрыть твое безобразие чистою, белоснежною пеленой, утишить страдание и примирить все эти неразумные твари с их участью.

Я поступала не так, как ты! Я чересчур честна и слишком горда, чтобы лгать и обманывать. Я не рассказывала им сказок, я не морочила их несбыточными надеждами; я говорила им правду, одну суровую правду: смерть, всюду смерть! Нет иного исхода, нет иного убежища!

И я старалась примирить их с этой правдой, сделать для них переход от жизни к смерти как можно легче и безболезненнее.

Я приготовила им мягкую постель; я усыпляла их нежно и ласково, как усыпляет мать больного ребенка. Я дала им ту единственную форму наслаждения, которая доступна на земле и не покупается ценою страдания: сон и сладкие видения».

Весна молчала по-прежнему, а зима приходила все в большее и большее негодование и продолжала осыпать свою соперницу упреками. «Тебя, — говорила она, — злая обманщица весна, тебя восхваляют за нежность и доброту, а меня называют холодной и злой!

А между тем, кого же я завлекла, кого погубила? Те, которые обращаются ко мне, находят у меня верный приют; я успокоиваю их на моей груди. Убаюканные мною, погруженные в тихие, безмятежные грезы, которые становятся все туманнее и бесформеннее, они постепенно и незаметно приближаются к роковому переходу от бытия к небытию. Ты же толкуешь о вечной жизни!

А знаешь ли ты, в чем заключается она, эта вечная жизнь? Я постигла, я разгадала эту великую тайну!

Сделать жизнь подобною смерти, слить бытие с небытием в одно неразрывное целое, так, чтобы не было ни резких границ, ни внезапных переходов, — вот она, вечная жизнь!

Она бесконечна, так как ей нет предела; никогда нельзя сказать: вот теперь, в этот миг, кончилось существование, началась смерть.

Посмотри, полюбуйся на мое царство!» — продолжала зима. Она навела свои синие очи на окружающий лес, и лучи, исходящие из ее глаз, так и залили его светом.

От больших очертаний картины,
До мельчайших сетей паутины —

все выступило теперь ярко и отчетливо.

«Вот погляди! — говорила зима, — тут, в глухой чаще спит целая семья медведей. Бок о бок с ними, в дупле этого старого дуба, устроила свою норку белка; под моей охраной ей нечего бояться недобрых соседей. У корня этого же дуба, под теплым одеялом мха, свился целый клубок змей; но яд их утратил свою силу; переплетшись между собою, они погружены теперь в сладкие грезы и, не тревожа более никого своим жалом, вкушают редкое блаженство.

Даже лягушка, этот Иов в цепи мирозданья, и та отдыхает теперь безмятежно в застывшей тине, не опасаясь тех сотен врагов, которые покушаются на ее жизнь. А сколько тут в земле покоится гусениц и жучков! Их крепкие челюсти не требуют себе более разрушительной работы. Они никому не вредят и их никто не трогает.

А посмотри на этот белый, серебристый кокон. Не хорошо, думаешь ты, спится в нем будущей бабочке? Порой, когда луч солнца упадет на ее колыбель, по сложенным веером на спине тонким, как паутинка, кры-

лышкам пройдет легкое трепетание. На мгновенье покажется ей, что она уже носится с цветка на цветок по душистому лугу.

Но розы, которые мы видим во сне, не имеют шипов. За чудным, мимолетным сновидением следует опять безмятежный покой. А что будет с ней, когда ты разбудишь ее, когда ты выманишь ее из ее уютной колыбели своими лживыми обещаниями любви и свободы?

По всем вероятиям, не успеет она и расправить свои неумелые крылышки, как ее уже подхватит на лету хищная птица; крепким клювом расклюет она ее на куски, и каждый кусок будет сокращаться и трепетать, пока не проглотит его жадный птенец. А если, по счастливой случайности, она и избегнет этой мучительной участи, что из того? Лучше ли ей будет? Часа два полетает она над цветистым лугом, но розы действительности не будут ярче тех, какие я показала ей во сне.

Она узнает опьяняющую страсть, в которой неизвестно чего больше: наслаждения или страдания. Но крылья ее уже к закату солнца ослабнут и не будут более в силах поддерживать ее отяжелевшее тело. Начнется для нее болезненная, мучительная работа кладки яиц. На этот тяжелый труд уйдут все ее жизненные силы. Кончится он, и она едва доползет до ближайшей рытвины на пыльной дороге, чтобы протомиться в ней еще несколько часов, быть может, дней, пока не переедет ее колесо или не заклюет ее птица.

Подумай! был ли какой-нибудь смысл в ее существовании? Целых три года ползала она по земле личинкой, поглотила за это время невероятное количество пищи и причинила тем немало разрушения. Потом соткала она себе мягкий кокон, чудо искусства и трудолюбия. И все это для чего? Чтобы, опьяненной твоим поцелуем, попорхать часа два на солнце и затем погибнуть позорной, мучительной смертью, истощившись кладкой нескольких десятков тысяч яиц.

Какая ей самой от них радость и польза? Ведь она не увидит того нового поколения, которое вылупится из этих яиц. Нет, она жила, она работала только для тебя; она была только слепым орудием для удовлетворения твоей страсти — вечного творчества!

Ты поманила ее наслаждением, заставила ее служить себе, но едва только исполнен был твой завет, она утратила для тебя всякий интерес. Ты оттолкнула ее от себя с отвращением. А ведь бабочка была твоей любимицей; она — твоя эмблема.

Вот как ты поступаешь даже с избранными тобою! Вот что сулят безумцам твои поцелуи!»

Пока зима продолжала говорить, весна с каждой минутой росла все выше и выше. Все порывистее становилось ее дыхание; яркий румянец заливал ее щеки и в глазах загорался зловещий зеленый огонек.

«Послушай! — воскликнула зима, одушевляясь все более и более. — Уймись ты, наконец! Уйди отсюда! Пощади все эти несчастные, неразумные твари! Не буди в них гибельных для них самих инстинктов. Ведь я знаю, в какую бойню, в какой притон разврата превратится мой чистый, мой прекрасный лес под веянием твоего воспаленного дыхания!

Голод и сладострастие — вот чем даришь ты каждого, кого прижмешь к своей груди. Разъяренная ими тварь земная приходит в остервенение. Загорается бой и взаимное поедание друг друга. Каждый стремится к одному: осилить, пожрать ближнего, и все это, чтобы насладиться хотя на миг и затем быть уничтоженным в свою очередь.

И это ты называешь жизнью! Нет, я не дам тебе тешиться над этими несчастными глупцами! Если ты не уйдешь добровольно, я заставлю тебя уйти силой!»

Царица зима нахмурила свои строгие брови, распахнула свой пуховый плащ, и вдруг по лесу замела метелица и воздух наполнился снежными хлопьями.

Весна приосанилась, выпрямилась во весь свой богатырский рост, напрягла свои молодые, здоровые легкие и дунула на облепляющую ее со всех сторон метель. Развеянный ее мощным дыханием снег разлетелся в стороны, и в воздухе опять стало светло и ясно.

Замерзлый горный поток хрустальным мостом перекидывался с одного обломка скалы на другой. Весна охватила его обеими руками, надавила на него грудью; и вдруг хрустнул и надломился ледяной мост, и освобожденный поток радостно зажурчал и помчался в бездну. Алмазные брызги разлетались во все стороны, окружая, словно сиянием, желтокудрую голову молодой великанши.

Весна опустилась на одно колено и, припав ртом к земле, проговорила: «Полно спать! Вставай, просыпайся все, что молодо, все, что жаждет жизни и наслаждения, все, что сознает в себе силу завоевать место на земле. Состязание открыто! Приходи, записывайся в ряды, кто хочет! Выходи на битву за существование!»

Весна говорила шепотом, но шепот ее страстным трепетанием распространялся по всему лесу. Горячей волной прошел он по земле, разнесся по воздуху и поднялся высоко, высоко, под самое небо. Все радостно взыграло, все вдруг ощутило наплыв и избыток жизни.

По обмерзшим стволам деревьев разлился горячий сок, заставляя разбухать и надуваться почки. В воздухе распространился пряный, смолистый запах. Снег таял непомерно быстро. Едва где выглянет черная проталинка, глядишь — уже выползают на нее из-под земли, точно торопясь и обгоняя друг друга, голубые подснежники, желтые крокусы, белые анемоны.

На соседнем болоте тоже все закопошилось. Оттаивая, бухла земля. Радостно заквакала лягушка; сверху в ответ послышался резкий, голодный крик, и на небе обрисовался черный треугольник: это с юга прилетели первые весенние гости — журавли. По всему лесу пошел

Зеленый шум, весенний шум.

Зима закрыла лицо плащом и ушла далеко на север, только бы не видать того, что теперь готовится.

Париж, апрель 1889 г.

⟨ГЛАВА ПЕРВАЯ⟩

В 1888 году весна была необычайно ранняя в Петербурге. В первую неделю великого поста, в начале марта, вдруг неожиданно повеяло теплом; ⟨*не разобр.*⟩ после долгой разлуки солнце глядело теперь с неба такое яркое, большое и красное, словно почищенный мелом, ново вылуженный самовар к светлому воскресенью.

В воздухе запахло весной. Снег таял с быстротой непомерной. С крыш капало; несмотря на метлы дворников, ручьи и целые потоки журчали и неслись по улицам к великой радости мальчишек, пускавших по ним бумажные кораблики. У всякого рождались на душе какие-то новые, давно забытые потребности и желания.

Третий час дня был уже на исходе. В частной гимназии для девочек г-жи М. шел теперь урок элементарной геометрии. Молодая учительница, недавно кончившая Бестужевские курсы, напрягала все усилия, чтобы убедить своих слушательниц, что квадрат гипотенузы в прямоугольном треугольнике равен сумме квадратов катетов, но тщетно! Ее слушали рассеянно, вяло и нетерпеливо. Весь класс пришел в какое-то небывалое брожение, точно вдруг завелась какая-то шалунья, которая всех подзадоривает и шепчет всем, что учительница говорит вздор и что она может рассказать что-то гораздо интереснее.

На этот раз, однако, за нарушение порядка и взыскать не с кого было, так как виновником было не что иное, как солнце. Как бы ощутив внезапную любознательность к геометрии, оно ворвалось неожиданно в класс и пошло проказить. Сначала оно напустило целый пук лучей прямо на молодую учительницу и стало строить ей смешные гримасы, любуясь собой в зеркале черной, блестящей грифельной доски, на которой она только что с таким старанием начертила сложную геометрическую фигуру.

«Ничего не видать, что вы начертили», — хором закричали девочки, хмуря глаза.

Учительница попробовала изгнать шаловливого гостя, приказав спустить деревянные сторы, но порядок в классе не восстановлялся. Сначала показалось всем так темно, как ночью, и прошло несколько минут, пока глаза привыкли к новому освещению.

А солнце, между тем, все не унималось. Оно как бы о заклад побилось поставить на своем и помешать уроку во что бы то ни стало. Маленький пучок лучей высмотрел-таки дырочку в сторе и прокрался в класс; сначала он вел себя прилично и, точно желая тоже дать урок наглядной геометрии, распустил правильный серебристый конус, в котором закружились и завертелись блестящие пылинки; но, попав нечаянно в графин с водой, он, очевидно, нашел это приключение таким забавным, что взыграл так безумно радостно, что учительница принуждена была быстро закрыть глаза, совсем ослепленная. Довольный этой проказой, не-

угомонный солнечный луч запрыгал по стенке, как угорелый, переливая всеми цветами — голубым, красноватым, лиловым.

— Зайчик, — невольно шепнула младшая ученица своей соседке, но так громко, что и другие девочки слышали и засмеялись. Учительница строго взглянула в их сторону.

— Садова! Потрудитесь объяснить мне теорему об отношении сторон в подобных треугольниках, — вызвала она нарушившую молчание девочку.

Красная от волнения, конфузясь и принужденно улыбаясь, Садова подошла к доске и стала что-то чертить мелом. Это была одна из лучших учениц и очень способная. Но у нее ничего путного не выходило. Начертив что-то очень мудреное, она вдруг заметила, что перепутала буквы, торопилась, стерла пальцем несколько линий, но путаница через это еще увеличилась.

— Сторона AB так относится к стороне CD, как сторона EF относится к стороне GH, нет, извините, к стороне KL, ах, нет... — твердила она беспомощно, краснея все более и более.

Крупные капли пота выступали у нее на лбу и на глазах навертывались слезы; она немилосердно терла пальцем по доске, на которой белые линии все более и более расплывались и перепутывались и так же путалось и расплывалось все у нее в голове.

— Грязнова, не можете ли вы доказать эту теорему? — обратилась, наконец, учительница к другой ученице, крупной, апатичной блондинке с весьма развитым для ее 15 лет бюстом.

Грязнова встрепенулась, как бы внезапно пробужденная. Мысли ее были в эту минуту очень далеки от класса и от геометрии. Солнечные лучи и духота в комнате навели на нее род полудремоты, во время которой ей смутно вспоминалось, как сегодня под утро ее старшие сестры вернулись с бала, какие на них были тарлатановые платья и как они, раздеваясь, еще долго болтали о танцах и о кавалерах и мешали ей спать. И думалось ей, что, даст бог, года через полтора и для нее кончится вся эта мука, и она оденет голубое тарлатановое платье или, нет, лучше розовое, более к лицу...

Но голос учительницы немилосердно прервал эти грезы и вернул ее к печальной действительности. Нехотя, своей немножко развалистой походкой подошла она к доске, стараясь сообразить и припомнить, что от нее требуют. Проходя через класс, ей пришлось перерезать конус солнечных лучей, которые весело рассыпались вокруг ее белокурой головки и, окружив ее золотистым пламенем, словно подсмеивались: «Посмотрим, голубушка, что-то ты нам докажешь?»

И действительно, когда Грязнова стала доказывать, вышло уж что-то совсем несообразное: угол оказался равным стороне, а сторона — подобною углу.

Девочки хихикали. В комнате становилось все душнее и душнее той особенной весенней духотой, которая раздражает и тянет куда-то вдаль

и в то же время словно накладывает тяжелые гирьки на веки и наливает свинец в члены.

На девочек точно столбняк нашел, и все тяжело приобретенное знание словно испарилось из их голов. Какой вопрос ни предложит им учительница, ни одна не умеет ответить; они только потеют, страдают и беспомощно, отчаянно поглядывают на циферблат классных часов, по которому медленно, медленно ползет часовая стрелка, точно никогда не дотащится до трех!

«Господи, боже мой! И подумаешь, что через неделю начнутся экзамены! Уж отличится мой класс! Нечего сказать!» — отчаивалась молодая учительница. У нее сегодня были расстроенные нервы, и на глазах невольно навернулись слезы раздражения. Несколько девочек, столь же нервных, как и она, не выдержали и захныкали.

Наконец внутри часов что-то завозилось, заскрипело, и часы медленно пробили три удара. Девочки радостно встрепенулись. Схватив в охапку свои тетради и проделав учительнице торопливо книксен, они шумной толпой побежали в прихожую одевать свои теплые вещи.

Усталая учительница простояла еще несколько минут у классной доски, потирая рукой голову, словно желая очнуться от угара. Потом она медленно вышла в коридор и без посторонней помощи стала одевать на себя драповую шубку.

Но выйдя на лестницу, она тотчас же словно оставила усталость и раздражение позади себя; досада на непонятливость учениц мигом была забыта, и мысли и заботы совсем иного характера, насильно оттиснутые в сторону на время урока, теперь внезапно нахлынули и охватили ее с новой силой. Выражение апатии и скуки заменилось на ее лице выражением нервного, лихорадочного возбуждения. Глаза заблистали, на щеках заиграл румянец, походка стала эластичною. Она словно помолодела лет на пять.

— Здравствуйте, Марья Петровна. Что это вы сегодня такая сияющая? — окликнул ее на лестнице учитель географии Озеров, тоже выходивший с урока.

Они были приятели и, в обыкновенное время, встретившись в коридоре или на лестнице, всегда останавливались и вступали в оживленный, шутливый разговор.

Но сегодня Марье Петровне было не до него. Поздоровавшись с ним торопливо, она собиралась тотчас же продолжать свой путь.

— Куда это так торопитесь? — спросил Озеров и тотчас же, точно следуя какой-то инстинктивной ассоциации идей, прибавил: — А что Алексей Степанович? Совсем поправился? Мне говорили, что он скоро уезжает за границу?

Марья Петровна покраснела. «Да, его доктора посылают на весну в Ниццу. Он уезжает сегодня вечером с курьерским поездом в Берлин», — сказала она, и легкая тень пробежала по ее оживленному, подвижному лицу.

Озеров не удерживал ее больше, и она, ответив рассеянно на его ру-

коножатие, пошла торопливо вдоль по Надеждинской по направлению к Невскому.

Сегодняшний день был для нее совсем особенный, в то же время и очень хороший, и очень печальный. Вечером предстояла ей разлука на несколько месяцев с Алексеем Степановичем, и затем, она знала, начнется для нее скучное время: пройдет много долгих, тоскливых недель и месяцев. Но до вечера оставалось еще несколько хороших, счастливых часов, и она решилась воспользоваться ими вполне, взять с них все то счастье, которое они могут дать ей, не думая ни о длинной разлуке, ни о чем печальном.

«Будет еще время горевать; не уйдет от меня», — сказала она себе мысленно, усиленно борясь против той малодушной, нервной тоски, которая невольно щемила ей сердце при мысли, что ее ожидает разлука с дорогим ей человеком.

Она была довольна, что сегодня такая хорошая погода, что солнце светит так задорно радостно. Ей бы хотелось, чтобы все светилось и сияло вокруг нее. «Будь завтра, что будет; сегодня еще мой день», — твердила она себе, упорно отгоняя печальные мысли и подбадривая самое себя.

Когда она вышла на Невский, шум и весеннее оживление на нем совсем охватили ее. Невский кишел народом. Всякий чувствовал сегодня потребность подышать свежим воздухом. Даже старые старики и старушки выползли из своих нор, и даже у них на душе проснулись давно забытые желания и надежды. У всех были такие добрые лица. Все женщины казались сегодня хорошенькими. Даже кривая нищенка на углу с ее желтым сморщенным лицом и опухшими, красными, вечно слезливыми глазами, из которых один почти вытек, и та казалась не столь озлобленной и ворчливой, как всегда. Может быть потому, что за пазухой у себя она чувствовала сегодня необычайно обильный сбор пятаков и трехкопеечников.

Под воротами итальянец наигрывал на цитре забористый итальянский мотив, а мальчишка и девочка, оба черноглазые, черноволосые и в лохмотьях, выплясывали какой-то народный танец с таким оживлением, как будто бы действительно испытывали при этом большое удовольствие.

У Марьи Петровны были сегодня нервы так чутки ко всем впечатлениям, как туго натянутые струны. Страстная, чувственная мелодия вызвала у ней неудержимый наплыв жизнерадостности, и немедленно вслед за тем возник у ней негодующий протест: «Зачем он уезжает? Я не хочу, я не пущу его!» И на секунду ей, действительно, показалось, что она его не отпустит, что она удержит его во что бы то ни стало. Она даже ускорила шаг, как будто торопясь поскорей его увидеть, поскорей высказаться, объяснить ему то, что в это мгновение так ясно ей самой: как неестественна, как невозможна их разлука даже на несколько месяцев.

Однако же в следующую минуту, когда, при проходе через улицу, холодный, насквозь пронизывающий ветер вдруг охватил ее из-за угла,

она устыдилась своего мимолетного порыва. «Противная эгоистка! — укоряла она себя мысленно. — Я бы должна радоваться, что ему представилась возможность уехать на юг, в тепло! Это ему так необходимо! А я удержать его собираюсь». И нервы ее так были расстроены, что слезы не то раскаяния, не то сожаления к себе вдруг выступили у нее на глазах.

Проходя мимо цветочного магазина, она увидела красивую корзинку с бледнолистыми оранжерейными ландышами и ей вдруг неудержимо захотелось украсить и надушить ими свою комнату. «Пусть его последнее воспоминание обо мне будет душистое!» — подумала она.

Инстинкт экономии, воспитанный в ней многолетней привычкой, шепнул ей, правда, что ландыши теперь дороги и что там, в Ницце, он увидит цветы получше этих, но она все же не удержалась от искушения. «Э, пустяки! Успею экономничать, когда он будет далеко!» — решила она и, войдя в магазин, отдала, не торгуясь, десятирублевую бумажку, единственную, находившуюся в ее портмоне.

Марья Петровна занимала две меблированные комнаты у одной знакомой старушки на Васильевском острове. Родители ее давно умерли; ни сестер, ни братьев у нее не было; она была одинока и бездомна и сама в шутку часто называла себя старым студентом. Действительно, с самого своего приезда в Петербург из провинции, лет восемь тому назад, она вела жизнь студенческую, сначала курсы и лекции, потом приготовление к экзаменам и самые экзамены, теперь занятия с девочками в гимназии и беготня по частным урокам наполняли весь ее день. Домой она возвращалась усталая и голодная и была довольна, что находила натопленную комнату и готовый, сносный обед, о котором нечего ей было заботиться наперед, только платить в начале каждого месяца условленную сумму.

Квартирная хозяйка попалась ей хорошая и чистоплотная, не обижала и не обворовывала ее, а напротив того, отчасти даже привязалась к ней и охотно оказывала ей разные мелкие услуги сверх выговоренного по условию. Поэтому Марья Петровна вовсе не чувствовала потребности обзавестись собственным хозяйством.

По вечерам она или шла в театр, или в гости к кому-нибудь из своих многочисленных знакомых, или же к ней заходил кто-нибудь из ее товарищей обоего пола. Ни пылкой дружбы, ни исключительной привязанности Марья Петровна долго ни к кому не испытывала, но зато у ней был очень хороший, тесный кружок людей, одного с ней возраста, образа мыслей и занятий, где все ее любили и где она слыла хорошим, умным человеком. Когда она была в общительном настроении духа, всегда находился кто-нибудь под рукой, с кем она могла обменяться мыслями или просто поболтать, так что она вовсе не ощущала гнета одиночества. Когда же ей случалось проводить вечер дома одной, она садилась в удобное кресло, надевала мягкие туфли, брала какую-нибудь хорошую интересную книгу и после целого дня беготни, физической усталости и нравственного утомления с непонятливыми ученицами испытывала большое

физическое удовлетворение просто от ощущения покоя, тишины и комфорта и ровно ни в ком в подобные минуты не нуждалась.

Денежные заботы не угнетали ее. Многого у ней не было; но после родителей остался все-таки маленький капиталец, тысяч пять-шесть, который покрыл ее годы ученья; а потом ей посчастливилось найти себе сравнительно легкий и прочный заработок, вполне достаточный для ее немногосложных потребностей.

Здоровье у ней было хорошее, и физических сил хватало на исполнение всех ее обязанностей, однако так, что и избытка сил, тоже подчас неудобного и порождающего разные пустые желания и потребности, тоже не оставалось.

Словом, жизнь Марьи Петровны была очень уравновешенная, и она сама вполне ею удовлетворялась до тех пор, пока вдруг не закрался в ее жизнь совсем новый элемент, внезапно открывший ей совсем новые перспективы, о которых ей и не грезилось прежде. Надо, впрочем, сказать, что и этот новый элемент проявлялся в очень мягкой форме; до сих пор он только грел и ласкал ее и лишь тем нарушил правильность ее существования, что открыл ей перспективы нового, еще неиспытанного счастья, перед которым поблекло все, чем она до сих пор довольствовалась.

Вернувшись домой, Марья Петровна побежала в кухню и проявила непривычную для нее заботливость относительно обеда, приготовляемого хозяйкой, так как сегодня в последний раз должен был обедать у ней Алексей Степанович Сиверцов. Найдя представленный ей хозяйкой menu неудовлетворительным, она послала ее купить еще разные мелочи, закуски и пирожное.

Теперь уже было $1/2$ 4-го; Алексей Степанович обещал прийти в четыре, и у Марьи Петровны оставалось только время прибрать свою комнатку и самой принарядиться немножко.

Марья Петровна была не красавица, но и далеко не дурна[2]. Сама она до сих пор не особенно много думала о том: хороша она или нет. Этот вопрос как-то совсем не играл роли в ее жизни. Так как у нее было много прирожденного вкуса, то она при заказе платья инстинктивно выбирала почти всегда удачно и цвет, и покрой.

Но сегодня, чуть ли не в первый раз в ее жизни, Марье Петровне неудержимо захотелось быть хорошенькой. Сняв со стены небольшое висячее зеркало (трюмо у ней, разумеется, не водилось), она постаралась уставить его так, чтобы в нем отразилась как можно большая часть ее фигуры, и стала оглядывать себя с небывалым вниманием. И нельзя сказать, чтобы она осталась довольна своим осмотром; она вдруг сделала открытие, что и серенькое платье ее слишком широко, не обрисовывает как следует ее стана, и полотняный воротничок точно отрезывает ей шею, а зачесанные назад волосы придают лицу мужской вид.

Она торопливо вытащила из шкафа свои немногие наряды, обдумывая, какое бы украшение прибавить к своему туалету. При этом ей вдруг

вспомнилось, как, прощаясь вчера, Алексей Степанович с шутливой нежностью приподнял рукав и несколько раз поцеловал ее обнаженную руку у самого локтя. Они еще так недавно стали женихом и невестой и оба чувствовали еще такое смущение, что каждая новая ласка составляла как бы эру.

Воспоминание его первого поцелуя залило ее лицо горячим румянцем, и при мысли, что вот он сейчас, через несколько минут, опять будет с ней, ее охватило ощущение такой физической радости, которая заслонила собой мысль о предстоящей разлуке.

Марья Петровна еще не вполне покончила со своим туалетом, когда из передней раздался резкий, громкий звонок. До четырех не хватало еще несколько минут. «Уж здесь!» — радостно мелькнуло у ней в голове. Торопливо застегнув последние пуговицы лифа и наскоро проведя еще раз щеткой по волосам, она бросилась отворять; но, добежав до двери, она должна была остановиться на несколько секунд, так сильно билось у ней сердце. Когда же, отворив дверь, она вдруг очутилась лицом к лицу с низенькой, улыбающейся, укутанной по-зимнему, несмотря на теплоту, пожилой женщиной, — разочарование ее было так сильно и так неожиданно, что в первую минуту она почувствовала себя ошеломленной, не сразу даже узнала в новоприбывшей свою знакомую, мать одной из своих учениц.

— Не помешала ли я вам? Извините, я вас не задержу, всего на минутку, по делу, — заговорила гостья, заметив, как радостно взволнованное лицо Марьи Петровны внезапно переменило выражение.

Марья Петровна с усилием поборола свое волнение и попросила непрошенную гостью войти в комнату. Несмотря на свои уверения, что не просидит и двух минут, старушка все же из боязни простуды сочла нужным развязать шарф и расстегнуть шубу, потом просто и не торопясь она стала выкладывать Марье Петровне свои заботы насчет своей Настеньки: не находит ли Марья Петровна, что двенадцатилетнему ребенку не по силам задачи, какие даны были в последний раз? Не заметила ли Марья Петровна, что Настенька как будто похудела и стала рассеянной за последнее время? В самом ли деле Марья Петровна полагает, что девочкам полезно знать так много геометрии...

Марья Петровна именно тем и заслужила ту популярность, которою она пользовалась среди своих учениц и их семейств, что следила с большим вниманием, очень любовно за успехами каждой девочки своего класса. Другие учителя и учительницы даже сетовали на нее, что она избаловала родителей, выслушивая слишком терпеливо все их часто пустяшные жалобы и замечания.

Но сегодня она сидела, как на иголках, отвечала на предлагаемые ей вопросы невпопад и с заметным раздражением, не в силах была отвести глаз от циферблата часов и прислушивалась к каждому шороху в передней.

— Ну, я вижу, что вам сегодня решительно не до меня, — сказала, наконец, гостья с неудовольствием и ушла, внутренно негодуя на то, как

мало учительницы любят свое дело. — И эта такая же, как другие! — решила она про себя.

По ее уходе Марья Петровна вздохнула с облегчением. Теперь уже было четверть пятого. Что же это его нет? Приготовления к его приему уже все были окончены. Марье Петровне ничего не оставалось делать. Оглянув еще раз комнату и переставив без нужды несколько вещиц, она предалась тревожному ожиданию.

Ее нетерпение с каждой секундой росло. Хозяйка заглянула в дверь, высказывая опасение, что жаркое, чего доброго, пересохнет. Вот уже часы показывают половину пятого, а его все нет. «Боже мой, что ж это он делает! И проститься-то порядочно не успеем!» — с ужасом подумала Марья Петровна. Ей стало так тяжело при этой мысли, что она не выдержала и заплакала.

В передней опять раздался громкий звонок, от которого опять екнуло сердце у Марьи Петровны, и мгновенно вслед за тем словно замерло и перестало биться.

На этот раз это действительно вошел Алексей Степанович. Не успела она и слез утереть, как он уже вбежал в комнату, нагруженный пакетами, веселый и запыхавшийся. «Опоздал, Маша, извини, голубчик! Не мог никак раньше! Столько набралось в последнюю минуту дела. И то едва справил!» — говорил он торопливо, снимая теплое пальто и рассеянно целуя раскрасневшееся заплаканное лицо Марьи Петровны.

Глаза его весело искрились, и от него так и пышало тем лихорадочным возбуждением, которое нервные люди всегда испытывают, пускаясь в дорогу. На Марью Петровну неприятно, болезненно подействовало его оживление. Она не отвечала на его поцелуй, а стояла перед ним молча, прижавшись к нему и, точно чем-то смущенная, машинально перебирала пальцами брелоки его часов.

— Ну, Машук, давай скорей обедать, — продолжал Алексей Степанович, по-прежнему весело и торопливо. — Времени нам терять нельзя, и то уже немного осталось.

Хозяйка вошла в комнату с миской супа.

Предстоящее путешествие очевидно поглощало теперь всецело Алексея Степановича. За столом он ел тоже с каким-то лихорадочным возбуждением, как будто и не замечая, что он ест. И все время, не останавливаясь, он рассказывал о своих приготовлениях к дороге, о покупках, которые сделал сегодня, о сведениях, которые ему удалось собрать относительно Ривьеры.

От каждого его слова у Марьи Петровны все больней и больней щемило сердце. Она не в силах была проглотить ни единого куска, и слезы подступали ей к горлу и душили ее.

— Ах, да, Маша, я встретил сегодня на Невском Озерова, — заговорил вдруг Алексей Степанович. — Он говорил, что знает один великолепный и недорогой пансион в окрестностях Ниццы. У него не было с собой адреса, поэтому я просил его зайти к тебе, часам к шести и занести его.

Эти слова переполнили чашу. Как, теперь, когда им оставалось быть вместе всего каких-нибудь 2—3 часа, к ним придет посторонний человек и отнимет у нее последние минутки, минутки столь драгоценные, что из-за них она почти готова была примириться с неизбежностью его отъезда! И он говорит это так просто, словно вещь совсем обыкновенную! Марья Петровна почувствовала острую боль от такого бесчувствия с его стороны и, вскочив из-за стола, бросилась на диван и, спрятав лицо в подушку, горько, горько зарыдала.

Алексей Степанович ужасно переполошился при виде ее слез. Весь поглощенный своими собственными мыслями и дорожными заботами, он и не подозревал того, что происходило у нее на душе. Никогда еще, может быть, за все время их знакомства не было так мало созвучия в их ощущениях, как в настоящую минуту. Он даже не сразу понял, что это делается с нею. Он не узнал своей разумной, рассудительной Маши. Не она ли недели две тому назад, когда доктор, выслушав его грудь, в первый раз заговорил о поездке на юг, не она ли сама тотчас, не задумываясь, решила, что ему надо ехать непременно, во что бы то ни стало. И когда он высказал нерешительное предположение, не лучше ли поторопить их свадьбу и ехать потом вместе, не она ли сама привела столько разумных доводов против этого.

— Ты ведь едешь не для веселья, а по необходимости, — убеждала она его; поездка вдвоем будет стоить ужасно дорого, а откуда взять на нее средств; теперь в виду их планов на будущее надо дорожить каждой копейкой.

Вначале, пока он чувствовал себя еще таким слабым после только что перенесенного тифа, мысль о далеком путешествии пугала его немножко, хотя он и стыдился показать это. Внутренно он даже досадовал на нее за то, что она так спокойна и рассудительна. Но мало-помалу, по мере того, как силы его восстановлялись, перспектива увидеть юг, тот юг, который он так часто рисовал себе в воображении, становилась для него все заманчивее и привлекательнее.

Раз поездка была решена, приготовления к ней шли очень быстро, и с каждым днем его все более и более охватывала горячка путешествия, и теперь он уже всецело отдался ожиданию тех впечатлений, которые предстояли ему впереди. Никогда не чувствовал он себя так мало настроенным на сентиментальный лад, так мало-мало способным на излияния, как в данную минуту. Поэтому первое впечатление, произведенное на него слезами Марьи Петровны, было что-то похожее на досаду и раздражение; ему пришлось сделать усилие над собой, чтобы вызвать в себе жалость к ней.

— Маша, голубчик, что с тобой! Не плачь, дорогая!

Он старался придать своему голосу некоторую нежность, но стоял перед ней растерянный, проводя только время от времени рукой по ее растрепанным, сбившимся на лбу волосам.

Но его слова не помогали, а прикосновение его дорогой руки только

расстроивало ее еще больше, отнимая у нее последний остаток самообладания. Она не унималась, и слезы ее текли все неудержимее. Алексей Степанович, нервный не меньше ее, потерял, наконец, терпение.

— Маша, да уймись же, наконец! Ведь это невыносимо! — вскричал он с раздражением. — Скажи уж лучше прямо, что ты не хочешь, чтобы я ехал. Я, пожалуй, откажусь от своей поездки. — И он с запальчивостью швырнул от себя дорожную сумку, как бы подтверждая этим жестом свое самопожертвование.

Но то, чего не могли добиться его ласки, было мгновенно достигнуто вспышкой его нетерпения. Его слова, раздраженный звук его голоса сразу словно отрезвили и облагоразумили Марью Петровну. Она поспешно приподнялась с дивана и утерла слезы.

— Алеша, голубчик, не сердись! Я глупая, я эгоистка, я думаю только о себе! Мне так тяжело с тобой расставаться! Но я не буду плакать. Только не сердись, пожалуйста, не сердись! — говорила она умоляющим голосом, прижимаясь к нему и пряча на его груди свое раскрасневшееся лицо.

Через минуту они сидели, обнявшись, на диване, близко прижавшись друг к другу. «Ведь ты подумай, Маша, какое это ребячество с твоей стороны так огорчаться! — говорил он ей успокоительно ласково. — Ведь что нам значит расстаться на два, на три месяца, когда вся жизнь у нас впереди. Два месяца пройдут так скоро! А, может быть, я и раньше почувствую себя совсем здоровым и вернусь скорее. Что мне засиживаться там без нужды! Я вернусь к тебе бодрым, крепким. Тогда мы тотчас поженимся, уедем в твой родной Харьков и сбудется у нас все то, о чем ты мечтала: у тебя будет твоя школа, у меня свои клиники, я буду доцентом при университете... То-то заживем мы с тобой, Маша!..»

Сидя с ней рядом, обвив рукой ее стан и чувствуя, как все ее существо трепещет от его объятий, Алексей Степанович испытывал необычайный прилив нежности к Маше. Она была ему удивительно мила и дорога в эту минуту. Она же, с своей стороны, близко, близко прижавшись к нему, впивая его слова, вся преисполнялась ощущением такого глубокого, неисчерпаемого счастья, что и самая разлука уже не пугала ее.

В дверь кто-то постучался. Молодые люди едва успели отскочить друг от друга и придать себе с грехом пополам сколько-нибудь равнодушный, приличный вид, как в комнату вошел Озеров.

И Алексей Степанович и Маша были принципиально против долгих обручений. «Ничто не может быть смешнее, как применить себе кличку „жениха“ или „невесты“ и расхаживать с нею по свету, возбуждая злость и зависть всех старых дев», — говорили они оба. Поэтому они решили до возвращения Алексея Степановича из-за границы не объявлять никому о своем намерении вступить в законный брак и оповестить об этом миру лишь за несколько дней до самой свадьбы.

Разумеется, большинство их общих знакомых начали уже кое-что подмечать и находить, что за последнее время старая дружба между Алексеем Степановичем и Машей приняла что-то уж больно нежный оттенок. На этот счет шли разные предположения и догадки.

Однако наверное никто еще ничего не знал. Поэтому присутствие постороннего человека было особенно стеснительно в данную минуту. А сверх того были еще некоторые причины, почему Марья Петровна именно Озерова всего менее желала бы видеть в эту минуту, хотя он и считался приятелем как ее, так и Алексея Степановича. Она заметила, что он более всех других знакомых интересуется ее отношениями к Алексею и наблюдает за нею, и это было ей неприятно, тем более, что она в душе подозревала, что сам Озеров питает к ней чувство немного горячее обыкновенной дружбы, хотя он ни разу не высказал ей на словах ничего подобного.

От ее внимания не ускользнул и теперь тот быстрый, подозрительный и беспокойный взгляд, которым Озеров окинул их при входе в комнату. У нее мелькнуло даже в голове, что он нарочно придумал всю эту историю с адресом, чтобы иметь предлог прийти к ней сегодня вечером и помешать им.

В первую минуту всем троим было неловко и не по себе. Алексей Степанович и Озеров заговорили друг с другом как-то особенно оживленно и торопливо. Кроме обещанного адреса Озеров мог сообщить еще много других драгоценных сведений. Алексей Степанович вынул из сумки своего бедекера и начал сличать его со старыми гидами, принесенными Озеровым.

Вскоре оба приятеля действительно увлеклись разговором, который касался предмета, живо интересующего обоих. Алексею Степановичу не стоило большого труда стряхнуть с себя то сентиментальное настроение, которое Марье Петровне удалось на минуту вызвать в нем, и снова вернуться всецело к своим путевым интересам; что же касается Озерова, то зима, которую ему лет семь назад удалось провести в Ривьере, составляла чуть ли не самое светлое воспоминание его небогатой внешними впечатлениями жизни; поэтому он увлекался каждый раз, когда ему представлялся случай поговорить об этих чудных местах, которых он не надеялся больше увидеть, но в которых он знал и помнил каждый заливчик, каждый островок.

Марье Петровне совсем не было нужды говорить. Она обрадовалась, заметя, что дорожные перчатки Алексея Степановича, лежащие на столе, были немного разорваны, и ревностно принялась зашивать их, чтобы иметь предлог не вмешиваться в разговор и предаться собственным мыслям. Те несколько задушевных слов, которыми ей удалось обменяться с Алексеем, наполнили ее душу тихою, ясною радостью, так что она не ощущала даже раздражения против некстати появившегося Озерова.

Немного погодя в дверь опять постучались, и в комнату вошла Елена Григорьевна Степанова, приятельница Марьи Петровны и ее бывшая товарка по курсам. Хотя они учились в одно время, однако Елена Гри-

горьевна была лет на семь старше Марьи Петровны и, невзрачная даже с первой молодости, теперь казалась совсем уже пожилой девушкой.

К Марье Петровне она издавна питала дружбу, граничащую с обожанием, и одна из всех знакомых была посвящена в тайну молодых людей; ей предстояло даже принять участие в их будущей судьбе: предполагалось, что она будет помощницей в той школе, которую Марья Петровна собиралась открыть, лишь только выйдет замуж за Алексея Степановича и переедет с ними в Харьков, где ему предлагали место при университете. Эта перспектива одна и мирила Елену Григорьевну с мыслью о предстоящем замужестве ее подруги.

Алексея Степановича она принимала как неизбежное зло. Конечно, не было на свете мужчины, который был в ее глазах достоин сделаться супругом такой девушки, как Marie, но Алексей Степанович все же принадлежал к числу наименее недостойных. А это уже была немалая заслуга. Поэтому Елена Григорьевна, сначала относившаяся к нему недоверчиво и почти неприязненно, кончила тем, что и на него распространила часть того ореола, которым окружалось в ее глазах все, что прямо или косвенно соприкасалось с Марьей Петровной.

Теперь Елена Григорьевна появилась, нагруженная разными безделушками, которыми она собиралась наградить Алексея Степановича на дорогу. Все свободное от уроков время она провела сегодня, бегая по Гостиному двору и отыскивая, что бы такого ему подарить в то же время и очень оригинального и не очень дорогого, не превышающего ее ограниченных средств. Она осталась очень довольна, найдя, наконец, никелевую цепь, устроенную как-то так оригинально, что ее можно было носить и на жилетке, как обыкновенную цепь от часов, но стоило только повинтить, и она превращалась по желанию то в ручку пера, то в чернильницу.

Правда, что эта остроумная вещица представляла маленькое неудобство: как украшение для жилета она была тяжела и безобразна, как ручка пера отличалась свойством спадываться вместе, а как дорожная чернильница никуда не годилась, потому что не запиралась плотно, — но, тем не менее, Елена Григорьевна осталась очень довольна своей покупкой, а Алексей Степанович, получив ее в дар, рассыпался, разумеется, в выражениях живейшей благодарности. Теперь уже было $^{1}/_{2}$ 8-го. Пора было ехать на поезд.

Озеров и Елена Григорьевна тоже вызвались ехать провожать. Алексей Степанович распорядился уже наперед, чтобы дворник свез его крупный багаж на станцию, так что сам мог ехать на вокзал прямо с квартиры Марьи Петровны, не заезжая к себе домой.

Погода, прекрасная днем, внезапно переменилась к вечеру. С неба падал не то дождь, не то снег, что-то слизкое, холодное и скверное. С моря дул пронзительный, резкий ветер. Пришлось пройти несколько линий пешком, прежде чем попались сносные ваньки, согласившиеся за высокую цену везти всю компанию до вокзала.

Самая дорога совсем испортилась за последние дни, местами торчали

голые камни; полозья визжали и скрипели, цепляясь за обнаженную мостовую. Несчастная клячонка напрягала свой тощий хребет с таким видимым усилием и страданием, что Марья Петровна, глядя на нее, сама испытывала физически неприятное ощущение в спине, точно и она помогала тащить санки.

У Алексея Степановича опять появился кашель, тот особенный глухой и отрывистый кашель, который так не одобрял его доктор. У Марьи Петровны болезненно сжималось сердце каждый раз, когда раздавался этот знакомый ей звук.

Ей так хотелось теперь прижаться к своему жениху, обнять его, но она стеснялась, так как сзади ехали Озеров и Елена Григорьевна. Она только взяла руку Алексея Степановича и, просунув ее в свою муфту, не выпускала ее в течение всей дороги. Время от времени она наклонялась втихомолку и чуть-чуть касалась ее губами; но она ничего не говорила, так как чувствовала, что при первом слове, пожалуй, расплачется.

Ее нервное огорченное настроение невольно сообщалось и Алексею Степановичу. Он тоже начинал чувствовать какую-то нервную тоску, стеснение в груди, и это раздражало его.

— Да что ты, Маша, в самом деле? Ведь не хоронить меня собираешься, не в Сибирь меня отправляешь! Можно ли в твои годы быть таким ребенком? Огорчаться так попусту! — говорил он умышленно сурово, чтобы разогнать то неприятное, ноющее щемление, которое он ощущал на сердце; но, несмотря на эту напускную суровость, он сам в эту минуту почувствовал бы облегчение, если б ему вдруг объявили, что поездка его почему-либо не может состояться.

Вот, наконец, сквозь мокрый туман заблистали фонари у подъезда Варшавского вокзала. Городовой окликнул их ваньку и велел ему остановиться немножко поодаль. У подъезда уже толпилось много извозчичьих карет и других ванек.

Началась обычная суета, сопровождающая всякий отъезд. Алексей Степанович в первый раз в жизни ехал за границу, да и вообще к путешествиям не был привычен. Все эти последние годы он прожил безвыездно в Петербурге, никуда не заглядывая дальше Парголова или Озерков. Как большинство нервных людей, он просто физически ненавидел шум, крик и толкотню. А теперь, после болезни, его нервы еще более ослабели.

От суеты на вокзале у него чуть не закружилась голова, и на него вдруг нашло чувство одиночества и безотчетный, малодушный страх пред путешествием. У него сделался припадок дотоле небывалой мнительности. В груди вдруг что-то закололо, и он почувствовал себя очень больным. «Черт побери дурака доктора, который выдумал всю эту поездку. Воображаю, сколько она принесет пользы. Перепростудишься еще тут и протянешь ноги где-нибудь в неметчине их проклятой! Черт меня дернул послушаться!» — думал он про себя, нервно покусывая свои каштановые усики и делая большие усилия над собой, чтобы не выдать своих

чувств наружу и не показать спутникам, какой он малодушный трус. Если бы не удерживал его стыд, как бы он охотно отказался от этого проклятого путешествия.

На Озерова шум и суетня вокзала подействовали совсем обратно, — как действуют на старого боевого коня запах пороха и шум стрельбы. Озеров ненавидел не только Петербург, к которому приковывала его необходимость заработка, но и всю Россию. В своем отчаянном западничестве он договаривался иногда до абсурда и серьезно утверждал, что Россия, даже по природе своей, не годится в обитаемые страны для цивилизованных людей.

Всего забавнее при этом было то, что, постоянно браня Россию и русских, он сам представлял собою типическое воплощение и русских добрых качеств, и русских недостатков. При его беспорядочной бестолковости во всем, что касалось денег, ему никогда не удавалось скопить что-нибудь из своего мизерного учительского жалованья на путешествие; поэтому он проводил свою жизнь в состоянии хронической безнадежной зависти ко всем, кто едет за границу.

Но лишенный возможности сам уехать, он любил, по крайней мере, хоть заниматься отъездами других. Как тот пьяница, воспетый Некрасовым, который, когда доктор запретил ему пить, просил хоть дать ему подержать в руках, понюхать рюмочку тонкого вина, так Озеров испытывал известного рода наслаждение даже при виде, как другие уезжают. Он всегда вызывался провожать своих отъезжающих знакомых до вокзала и помогал им в их сборах.

Сегодня, разумеется, он тотчас же вызвался все устроить для Алексея Степановича; живо разыскал его дворника с вещами, купил ему билет до Берлина (причем с завистью пощупал кучки иностранного золота в его дорожной сумке), сдал за него багаж и нашел ему удобное место в купе. Когда все сборы были окончены, он остановился в угрюмом унынии, нервно потирая руки одна о другую (его привычный жест в минуты душевного волнения) и, думая вслух (тоже всегдашняя привычка), промычал: «Н-да, есть же счастливчики на свете. А вот нашему брату так не везет!»

Он бросил печальный, безнадежный взгляд на Алексея Степановича, который обладал всем, что составляло предмет его собственных страстных, но бесплодных желаний. Озеров очень высоко ценил Марью Петровну; он иногда и сам воображал себе, что страстно ее любит и что она бы составила счастье всей его жизни; но в эту минуту, если бы спросить его по совести, за что он больше завидует Алексею Степановичу: за то ли, что Марья Петровна к нему расположена, или за то, что он за границу едет, Озеров, пожалуй, и сам бы затруднился ответить.

А Маша и Алексей Степанович стояли между тем на площадке перед вагонами бледные, расстроенные, держась за руку, как беспомощные дети, которых судьба разводит в разные стороны. Алексей Степанович вдруг не выдержал. Приняв внезапное решение и, нагнувшись к самому

ее уху, он проговорил скороговоркой: «Маша! хочешь, останусь?» За секунду перед тем она сама думала о том; она была почти готова сама его попросить; но теперь, когда решение было в ее руках, она вдруг сробела. «Нет, нет, поезжай!» — воскликнула она с усилием, судорожно махая рукой, словно защищаясь от искушения.

— Господа, извольте садиться в вагоны! — закричал кондуктор, и Алексей Степанович быстро вскочил на подножку своего купе.

Несколько часов спустя курьерский поезд из Петербурга в Берлин, простояв минут 20 в Луге, мчался на всех парах по плоским, болотистым местностям далее на запад. Кондуктор успел уже давно обойти все вагоны, удостовериться, что у всех билеты в исправности, и получить с кого можно «благодарность». Все в поезде мало-помалу угомонилось и пришло в порядок. Не слышно было больше ни криков, ни брани. Большинство пассажиров уже расположились на покой. Только из одного купе доходили еще голоса и отрывки разговора. Алексей Степанович лежал. растянувшись на кушетке второго класса, подсунув под голову сафьяновую подушку — тоже дар заботливой Елены Григорьевны — и укутав ноги теплым пледом.

В вагоне было тепло и уютно. Круглый фонарь на потолке, задернутый синей занавеской, распространял ровный, мягкий полусвет. Большого движения по Варшавской линии в это время года не было, поэтому в купе было очень свободно — кроме Алексея Степановича был всего еще один пассажир, который, к счастью, оказался удивительно милым и симпатичным человеком. За эти несколько часов их совместного пути и во время остановки в Луге Алексей Степанович уже успел разговориться с ним и узнать, что его зовут Иваном Семеновичем Ивецким, что он состоит профессором при Александровском лицее, но что теперь он принужден был взять отпуск, так как страдает грудью, и доктора отправили его проводить весну на Ривьере.

Алексей Степанович был в восторге от этой счастливой случайности, пославшей ему такого милого, приятного попутчика. Вообще он чувствовал себя теперь превосходно. Легкая тряска железной дороги действовала успокоительно на его раздраженные нервы. Теперь ему самому и смешно и немножко даже совестно было вспомнить, как он расчувствовался при отъезде. «Ведь чуть было совсем не разнюнился! Право!» — говорил он себе с самоиронией. «Хорош бы я был, если бы вдруг взял да и остался на самом деле! А все Маша, со своими глупостями, такую бабу из меня сделала!»

Ему вспомнилось ее бледное, отчаянное лицо, ее горькие подавленные слезы, и ему жаль ее стало той снисходительной, слегка высокомерной жалостью, какой жалеешь милого ребенка, убивающегося по пустякам. Спать ему еще не хотелось. Он находился в том лениво-возбужденном состоянии духа, когда не только всякое физическое движение, но и всякое мозговое усилие неприятно, но зато грезы, фантазии, неопределенные образы и ощущения так и теснятся в голове, так и навязываются сами собой.

Ему казалось в подобные минуты, что у него являлась даже способность думать о многих вещах зараз. Вот промелькнул перед ним сюжет великолепного романа, который он, наверное, напишет когда-нибудь в далеком будущем, и тут же рядом вдруг так ясно выступил весь план его докторской диссертации, которую он было начал писать осенью, но потом совсем и забросил во время болезни. Но всего живее и отчетливее проносится перед ним теперь вся его собственная жизнь. Прошлое и настоящее как будто сливаются друг с другом; он зараз переживает в эту минуту и детство, и юность, и все события последних двух месяцев и в то же время так живо ощущает близость, реальность того, еще неведомого будущего. которому едет навстречу.

Нельзя сказать, чтобы жизнь Алексея Степановича была до сих пор богата событиями. На посторонний взгляд она показалась бы самой обыкновенной, заурядной жизнью любого отпрыска дюжинной дворянской семьи с обычными впечатлениями сначала русского помещичьего дома, затем казенного воспитания в классической гимназии и в университете. Но в глазах самого Алексея Степановича его жизнь имела, разумеется, тот всепоглощающий интерес и была богата теми личными, совершенно исключительными особенностями, которые для каждого из нас делают нашу собственную жизнь столь отличною от жизни всех других людей.

Он принадлежал к тем счастливцам, которые любят свое прошлое, и как ни сера и ни заурядна показалась бы его жизнь другим, он сам находил в ней всегда неисчерпаемый материал для размышлений и переживаний. Вот и теперь так ясно рисуется перед ним их деревенский дом, большой, каменный. Отец, отставной генерал, седой и важный, держащий всех домашних на почтительном отдалении от себя, окружающий себя в семье, в особенности перед сыном, ореолом недоступности. Мать, лет на 25 моложе отца, все еще хорошенькая и эфирная, страстно обожающая своего единственного Алешу. Длинный ряд гувернанток, часто сменявшихся в их доме, — иные из них старые и ворчливые, другие — молоденькие, веселые; одна из них даже положительно заигрывающая и кокетничающая со своим 12-летним учеником. Ею, впрочем, заканчивается эра женского воспитания и начинается более суровый период в жизни Алексея Степановича — жизнь в губернском городе, на квартире у старого дяди, посещение гимназии.

Сначала страстное, негодующее возмущение против школьной дисциплины, почти физическое отвращение к товарищам, шумным, грубым, подчас циничным, уже потертым жизнью. Потом мало-помалу угрюмое подчинение неизбежности, втягивание в лямку. Каникулы в деревне у родителей, раннее возникновение первых страстных порывов к неиспытанным еще, запретным радостям; потом преждевременное пошлое, банальное удовлетворение их...

Но вот, в тот самый год, когда Алексей Степанович уже оканчивал гимназию, — вдруг телеграмма, призывающая его немедленно в Ясенки. У отца был апоплексический удар. Зимняя санная дорога, 150 верст на

перекладных. На сердце все время неиспытанное стеснение, в голове какой-то ужасный туман... Неужели он умрет? Да как же это возможно? Как же без него будет... И неожиданность этой первой перемены так велика и нереальна, что тотчас же является успокоительная надежда: «Верно, поправится!..»

На всех станциях Алексей Степанович предлагает знакомым станционным смотрителям тот же вопрос: «Не слыхали ли чего из Ясенок?»

— Нет, ничего не слыхали.

Пятый час утра, еще не начало светать. Сани проезжают березовую аллею, в конце которой выступает неясное очертание серого дома. После долгой утомительной дороги у Алексея Степановича ноют все члены. Потребность в покое так велика, что сильнее горя. Что это значит, что из стольких окон брежжит еще свет? — Хороший это знак, или... Вот сани остановились у подъезда... Старый лакей Степан с фонарем в руках сбегает с крыльца встречать молодого барина...

При первом взгляде на его растерянное, заплаканное, неестественно торжественное лицо, Алексей Степанович уже знает, что надеяться нечего больше. Вот маленькая женщина, тщедушная и слабенькая, вдруг с плачем виснет на его шее, беспомощно прижимаясь к его груди своим раскрасневшимся, вспухшим от слез лицом. Неужели это мать? Боже, так вдруг переменилась, постарела.

На Алексея Степановича находит какое-то странное ощущение нереальности всего окружающего. Он как-то спешно целует мать, спрашивает, когда это случилось, и получает в ответ, что отец его отошел вчера в 12-м часу ночи... Вот его вводят в большую залу... в одном углу из образов и икон всего дома устроен род алтаря, посреди которого стоит стол, обтянутый черным, у изголовья его три восковых свечи, а на столе что-то серое, неподвижное... Алексей Степанович знает, что то, что лежит на столе, — его отец, но эта мысль как-то еще не вкладывается в его голову.

Все плачут, и у него катятся слезы, но скорей из подражания, машинально. В сущности ему немного жутко и так ужасно, ужасно странно...

Мало-помалу он начинает приходить в себя, и мысль, что отец умер, яснее проникает в его сознание. Он часами стоит у тела и смотрит на бледное, словно восковое, лицо покойника, облаченного в парадный генеральский мундир. Ему с болью приходит в голову, что он и отец постоянно были как чужие, что они жили каждый своей особой жизнью, точно скрываясь и прячась друг от друга. Отец боялся уронить свой авторитет в глазах сына, показывая себя нежным и любящим, а сыну и в голову не входило выбрать отца поверенным своих детских желаний.

Но вдруг вспоминается Алексею Степановичу, как во время его последних каникул он захворал немножко и как, проснувшись ночью, в лихорадочном жару, увидал над собой склоненное лицо отца, и лицо это выражало столько страстной заботливости, столько нежности, что сын был поражен и невольно воскликнул: «Что это с тобой, папа?»

— Спи, спи, мой мальчик, — проговорил старик дрожащим голосом, словно сконфузившись, что сын поймал его на этом непривычном выражении чувства, ... и теперь, при мысли, что он никогда, никогда больше не услышит этого старческого, умышленно сурового голоса, в котором неожиданно возьмет, да и прорвется нежная нотка, Алексей Степанович ощущает острую боль в сердце, и рыдания подступают ему к горлу и начинают душить его.

Приходит Семен и спрашивает у Алексея Степановича распоряжений, в каком часу назначить панихиду. Несмотря на свое горе, Алексей Степанович не может не заметить, что теперь, после смерти отца, все вдруг стали обращаться с ним совсем иначе, чем прежде, что он внезапно приобрел больше весу и значения. Он уже не барчук, а молодой барин. Даже мать не такая с ним теперь, как бывало: она словно ищет у него защиты и покровительства. Вчера она пришла к нему и собственноручно надела на него цепь с хронометром его отца; «единственный ты у меня теперь», — говорила она, рыдая.

И несмотря на горе, это сознание своего изменившегося положения в доме приятно ему и льстит его отроческому самолюбию. Он старается не уронить свое новое достоинство. Не отдавая сам себе отчета, как-то совсем естественно, он принимает с матерью нежно-покровительственную манеру, не без подражания бывшей манере отца. Во время панихиды он не рыдает, как ребенок, но выражает только сдержанную скорбь, как прилично взрослому.

После похорон начинаются хлопотливые дни. Очевидно, что теперь все должно перемениться, и перспектива перемены уже не пугает Алексея Степановича, а напротив, манит и подстрекает его. Решено, что он поступит в Петербургский университет и что мать будет жить с ним. Но как быть с имением? Отец завещал его в пожизненное владение матери. Но где же ей, такой слабой, непрактичной, управлять хозяйством!

Многочисленные родные дядюшки, двоюродные братцы и старые друзья дома являются с непрошенными советами и предложениями. Очевидно, каждому хочется завладеть ее доверием; однако Алексей Степанович твердо решил, что настоящим хозяином будет не кто иной, как он, и не малого труда стоит ему отстоять свои права почти уже взрослого сына против разных незаконных посягательств.

Дядюшки и братцы негодуют на заносчивого мальчишку и на непростительную слабость самой Екатерины Ивановны, но поделать ничего нельзя. Наконец, является какой-то полячок, которому удается «заслужить» в глазах молодого барина, и ему отдается имение в аренду. Мать с сыном уезжают в Петербург.

Теперь следует несколько хороших, счастливых лет. И матери, и сыну, хотя они сами перед собой и не сознаются в этом, дышится легче и свободнее, чем дышалось когда-либо прежде при жизни отца. Катерина Ивановна хотя и была всей душой привязана к мужу, но по причине большой разницы лет между ними всю жизнь трепетала и стушевывалась

перед ним. Никогда до сих пор не удавалось ей развернуться, пожить для себя, в свое удовольствие. Теперь для нее настала как бы вторая молодость.

С сыном у ней отношения почти товарищеские, скорее, как у сестры с братом, чем как у матери с сыном. Они вместе читают, вместе ходят по вечерам в театр; у него у самого оказываются литературные способности; два-три его стихотворения напечатаны в журнале, в голове задумана драма и трехтомный роман. Помнится Алексею Степановичу из этого периода один день, когда он вернулся домой с лекций и застал у матери в гостях молодую тоненькую барышню, в черном простом платье — курсистку.

— Не узнаешь, что ли, Алеша, старую приятельницу! — смеясь сказала мать. — Смотри, ведь это Маша Ленева; помнишь нашу соседку, вы в детстве играли вместе.

И Алексей Степанович, действительно, вспоминает маленькую белокурую девочку, дочь одного из небогатых помещиков в их окрестности, которую, бывало, в детстве привозили к ним в дом играть с ним. Потом Леневы продали имение, старик Ленев получил место в другом городе, и бывшие соседи совсем потеряли друг друга из виду.

Особенно сильных впечатлений маленькая приятельница не оставила в душе Алексея Степановича. Он, кажется, так ни разу и не вспомнил ее за весь этот долгий промежуток времени и ни за что не признал бы ее в той высокой, стройной девушке с смелым, задорным видом, которую теперь видел перед собой. Однако общие воспоминания детства все же помогли новому знакомству завязаться скорей и проще. Через каких-нибудь полчаса молодые люди уже болтают по-приятельски, оживленно и весело.

Катерина Ивановна и Маша встретились совсем случайно в каком-то магазине; Маша первая признала свою старую знакомую, не особенно изменившуюся за последние годы. Катерине Ивановне сразу полюбилась молодая девушка, представляющая для нее совсем новый тип. С своей обычной импульсивностью она просто даже увлеклась новой знакомой и стала зазывать ее к себе как можно чаще.

На первых порах дружба между обеими женщинами стала развиваться быстрыми шагами. Катерина Ивановна целый день пела хвалебные гимны своей молодой приятельнице; почти бессознательно стала усвоивать ее взгляды, даже ее манеру говорить и ее выражения (что выходило довольно комично ввиду большой разницы лет между ними и того, что они обе принадлежали к таким разным типам).

Алексей Степанович вначале обнаруживал менее энтузиазма к новой знакомой. Надо заметить, что он именно в эту зиму почувствовал некоторое (излишнее, по мнению его матери) влечение к хорошеньким глазкам и розовым, круглым щечкам одной молоденькой, очень светской и очень пустенькой барышни, с которой встречался на вечерах у общих знакомых. Между ним и Марьей Петровной с самого начала установились какие-то странные отношения, не то приятельские, не то шутливо-

враждебные. Они не могли сойтись, чтобы не поспорить. Она нападала на него за недостаток серьезности, называла его маменькиным сынком, обнаруживала некоторый скептицизм к его литературному призванию. Он подтрунивал над нигилистической простотой ее костюма, над ее слишком развязными манерами, над ее самостоятельностью.

Однако эти постоянные пикировки нимало не мешали молодым людям сближаться и проводить все больше и больше времени в обществе друг друга. Случалось даже Катерине Ивановне осыпать сына горячими упреками за то, что он так несправедлив к бедной Маше и не в состоянии совсем оценить такой девушки, как она. Но вдруг пылкое увлечение Катерины Ивановны своей молодой приятельницей словно осеклось или наскочило на камень.

Однажды вечером они все трое были в итальянской опере. Алексей Степанович сидел сзади Марьи Петровны и все время, склонясь над ее головой, пояснял ей вполголоса либретто; мать уже несколько раз с раздражительностью замечала ему, чтобы он не болтал во время пения.

После оперы Марья Петровна зашла к Гринецким пить чай. Она, возбужденная музыкой и в своем черном шелковом платье с бледной розою в светлых волосах, казалась удивительно авантажной в этот вечер. За чаем и на нее, и на Алексея Степановича нашел какой-то ребячески-шаловливый стих. Она подхватила записную книжку, случайно выпавшую из его кармана, и грозила, что прочитает все его секреты. Он с шутливым ужасом пытался отнять у ней из рук свою собственность; она не отдавала; наконец с тетрадью выскочила из-за стола и, спасаясь от него, вскочила на стул, с поднятой над головой добычей.

Шелковое платье плотно обтягивало ее стройную фигуру с приподнятой рукой, вырисовывая ее бюст. Черепаховый гребень, сдерживавший высокую прическу, внезапно соскочил вниз от слишком быстрого ее движения, и волна русых шелковистых волос покрыла ей всю спину, значительно ниже пояса.

Алексей Степанович бросился подбирать ее рассыпавшиеся черепаховые шпильки и, ползая по полу у ее ног, глядел на нее снизу вверх с нескрываемым восторгом. Но внезапно он обернул голову и поймал на себе недовольный, почти неприязненный взгляд матери.

С этого вечера пылкий восторг Катерины Ивановны к своей молодой приятельнице заметно охладел; на следующий день, во время обеда, она как бы совсем случайно заговорила о годах Марьи Петровны и высчитала очень точно, что она, *по крайней мере*, года на полтора или на два старше Алеши. Она перестала так часто зазывать к себе Марью Петровну и начинала находить у нее массу неподозреваемых прежде недостатков.

Случалось ей также иногда в присутствии сына заметить как бы мимоходом, что Марья Петровна, кажется, неравнодушна к тому или другому из их общих знакомых; вот бы им повенчаться. И Алексей Степанович отлично сознавал, как, говоря это, она следит пытливо и недоверчиво за тем, какое действие произведут на него ее слова.

Ему вообще очень смешно было видеть эти маленькие хитрости матери. В течение последних трех лет их совместной жизни уж достаточно имел он случаев убедиться, что мать бессознательно, не давая сама себе отчета, относится неприязненно ко всякой молодой девушке, которая начинает нравиться ему.

Катерина Ивановна, повенчанная очень молодой за человека гораздо старше ее, не знала в жизни романической любви, так как была слишком строгих правил, чтобы позволить себе какое-либо увлечение; поэтому привязанность ее к сыну приняла характер страстный и исключительный...

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА, ПРОИСХОДЯЩЕГО НА РИВЬЕРЕ

С резким и пронзительным свистком курьерский поезд вылетел из туннеля возле Генуи и помчался вдоль берега Средиземного моря по направлению к Вентимилье. Был конец января; утро было чудное и теплое. По синему фону неба бродили белые барашки, и вся окрестность постоянно меняла характер и колорит; когда солнце заходило за тучку, море вдруг становилось однообразно стальным и окрестные горы темнели и задергивались серой дымкой; но через минуту все снова искрилось и сияло; скалы принимали розовый оттенок. Сероватая зелень оливок отливала серебром. Море окрашивалось внезапно бесчисленным множеством различных цветов. Вдоль берега, там, где грунт песчаный, шла бледно-голубоватая полоса; немножко подалее она переходила в изумрудно-зеленую. Еще далее присутствие подводной скалы обнаруживалось целым рядом мелких белых гребешков, а за большим парусным судном тянулась длинная, сверкающая, золотистая рябь.

У открытого окна купе первого класса сидела молодая девушка и не спускала глаз с той чудной картины, которая в первый раз развертывалась перед ее глазами. На ней была мерлушковая шубка и такая же шапочка на ее каштановых, слегка вьющихся спереди и на висках волосах. Через плечо ее была перекинута кожаная дорожная сумочка; черное дорожное платье было несколько помято. Марья Николаевна Павлищева приехала издалека. Всего пять суток тому назад проводили ее многочисленные друзья и знакомые в Петербурге на Варшавский вокзал при 25-градусном морозе. Так как она в первый раз пускалась в длинное путешествие одна и торопилась скорей доехать до Ниццы, где ее ждали родственники, то она всю дорогу совершила одним махом, почти нигде не останавливаясь. В Берлине она только переехала с одного железнодорожного вокзала на другой. Франкфурт-на-Майне, Гейдельберг, Базель промелькнули мимо нее, не оставив по себе почти никакого определенного образа. Зато весь вчерашний день был для нее днем одного беспрерывного восхищения.

В первый раз в жизни увидела она высокие горы. Громадные, покрытые теперь до самого своего подножия снегом силуэты Пилата и Риги пронеслись перед нею, как в панораме. Ей казалось, что она попала вне-

запно в какое-то заколдованное царство камня и льда. Мелькавшие перед ее глазами картины были так необычайны, что почти подавляли ее своей величавостью. Весь день простояла она у железнодорожного окошка, с замиранием сердца следя за той крутой спиралью, которой поезд подымался в гору. Одну минуту ее разобрала жалость проезжать так быстро мимо таких красивых местностей, которые, может быть, ей никогда больше в жизни не удастся посетить; у ней явилось желание воспользоваться тем, что билет ее годен в течение 10 дней, и остановиться в Люцерне; но при мысли, что она останется одна среди этого льда и снега, среди этих громадных каменных глыб, теснящих ее со всех сторон, ей стало страшно, и она решилась продолжать путешествие, не останавливаясь.

К вечеру все эти разнообразные, быстро сменяющиеся весь день впечатления так утомили ее глазные нервы, что у нее страшно разболелась голова и притупилась способность чему-либо удивляться. Поэтому самый переезд через Сен-Готардский туннель произвел на нее мало впечатления. Въезд в Италию тоже был разочарованием. Лугано, Комо — эти имена невольно вызывали в ее воображении картины жаркого лета, роскошной растительности; теперь же она увидела перед собой бурливое, свинцовое озеро, голые деревья, равнины, занесенные снегом, и горы, подернутые серым, холодным туманом. Холод продолжался вплоть до Генуи.

Было уже около полуночи, когда Марья Николаевна приехала в этот город; дальше поезд не шел, и ей волей-неволей пришлось переночевать здесь. Тотчас по выходе из купе ее обступила толпа черноволосых, черномазых носильщиков, каждый из которых старался завладеть ее багажом и кричал ей что-то для нее непонятное. Хотя Марья Николаевна и читала немного по-итальянски, но понять того, что эти люди кричали ей, она была не в состоянии. Лица их показались ей лицами настоящих разбойников. Она столько наслышалась рассказов о всех тех опасностях, которым может подвергнуться женщина, путешествующая одна по Италии, что ею овладел внезапный страх. Она решилась провести всю ночь здесь, в железнодорожной зале; услав носильщиков, она закуталась в плед и расположилась в уголке дивана пустой, полутемной залы. Не прошло, однако, и получасу, как сторож подошел к ней и на плохом французском языке доложил, что вокзал на ночь запирают; поэтому волей-неволей пришлось ей отдать себя и свой багаж в распоряжение какого-то незнакомого человека с страшным лицом и отправиться вслед за ним в какой-то незнакомый ей отель. Извозчиков на вокзале не стояло, омнибусы все отъехали, и пришлось, несмотря на мелкий дождь, идти пешком.

«Куда это он меня ведет», — думала Марья Николаевна с отчаянием человека, решившегося на смерть; но, к удивлению ее, после нескольких минут ходьбы он действительно привел ее в отель. Марье Николаевне отвели огромную комнату с мраморным полом, с потолком и со стенами, расписанными масляными красками, но такую холодную, что пар от дыхания ходил по ней волнами. Марья Николаевна попробовала затопить

камин, но сырые дрова не хотели загораться и только без пользы дымили. К тому же у прислуживающего гарсона итальянца было такое свирепое, разбойничье лицо, что Марья Николаевна поспешила отослать его и, заперев дверь на задвижку, полураздевшись, бросилась в холодную постель. Простыни и подушки были сырые. У Марьи Николаевны стучали зубы; ей казалось, что никогда в жизни она не испытывала такого холода, как сегодня. В голову входили ей рассказы об обилии насекомых в итальянских отелях. Долго пролежала она с открытыми глазами, прислушиваясь к каждому шуму в коридоре. У ней сильно заболела грудь, начался опять короткий кашель, из-за которого доктора услали ее на зиму из Петербурга. Усталость, нервное возбуждение не давали ей уснуть и вызывали в ней страх смерти и горькое чувство одиночества. «Так вот она благодатная Италия! Стоило так далеко ехать!» — думала она с тоской. Таким образом пролежала она долго.

Ей казалось, что она только что успела забыться, как в дверь ее постучались и гарсон пришел доложить, что уже шесть часов, пора спешить к поезду [1]. Дрожа от холода, стала она одеваться. Вода в рукомойнике была ледяная. Вещи ее отсырели; волосы были сегодня особенно непокорны, рассыпались во все стороны и ни за что не хотели укладываться на голове узлом, как следует. Справившись, наконец, со своим туалетом, Марья Николаевна наскоро проглотила чашку отвратительного кофе и поплелась на вокзал вслед за портье, несшим ее вещи, с тем холодным, безнадежным равнодушием ко всему на свете, которое всегда испытывает усталый человек, когда его поднимут не вовремя. Но лишь только она уселась в купе, поезд тронулся, и перед глазами ее вдруг предстало чудное Средиземное море с его удивительной игрой цветов и переливом красок; настроение духа ее внезапно изменилось.

По сторонам дороги мелькали рощи оливок, красивые виллы, обнесенные садами лимонных и апельсинных деревьев; невысокие пальмы расстилали веером свои причудливые листья на синем фоне неба. Местами на прибрежной скале из кучки серых, жестких, похожих на громадный артишок листьев круто подымался вверх огромный цветок агавы.

Ривьера, встретившая Марью Николаевну так хмуро и неприветливо вчера, сегодня расстилалась перед ней во всей своей своеобразной, пленительной красоте. В открытое окно купе врывался теплый, мягкий, словно нагретый воздух, такой душистый, что у Марьи Николаевны даже голова закружилась и она впала как бы в легкое опьянение. Усталости ее как не бывало. Легкая желтизна на висках, краснота век и некоторая помятость туалета — вот все следы, которые оставила на ней долгая дорога. Зато яркий румянец на щеках и лихорадочный блеск глаз придавали теперь ее лицу особенную моложавость и оживление. Что-то беззаботное, праздничное носилось в воздухе. Старые думы, старые счеты с жизнью все остались где-то далеко позади, словно новая полоса существования внезапно открывалась перед Марьей Николаевной.

За созерцанием видов, раскрывавшихся перед ней, она и не заметила, как прошло время. Вот и Сен-Ремо с его песчаными отлогими бере-

гами, Сен-Ремо, неразрывно связанное с именем покойного героя-императора. Вот пронеслась Бордигера с ее зубчатою цепью гор.

Вот, наконец, и Вентимилья. Остановка на полчаса. Возня на таможне, ворчливые итальянские возгласы, смешанные с ломаным французским жаргоном, перемена вагонов и кондукторов, торопливо проглоченная чашка кофе в буфете, и снова несется поезд по берегу Средиземного моря. Виды становятся красивее и красивее. Остановки каждые десять минут. На всех станциях наплыв веселой, нарядной, праздничной публики. Множество англичан с пледами и бедекерами в руках. Дамы, молодые, красивые, в легких эксцентричных туалетах. Марья Николаевна невольно окинула взглядом свою собственную шубку и помятое платье: ей досадно стало, что она не принарядилась. Марье Николаевне кажется, что у всех на лицах она читает одно выражение: жизнью надо пользоваться, страдать глупо и смешно.

«Монте-Карло», — провозглашает кондуктор. Здесь движение между публикой становится особенно сильно. Масса народа выходит; другие садятся. На лицах первых написана надежда, у последних выступает досада и будто даже какое-то недоумение. Купе, в котором сидела Марья Николаевна, скоро наполнилось. Оставалось всего одно пустое место.

В самую последнюю секунду, когда поезд уже собирался тронуться, дверца внезапно распахнулась и в нее протиснулся рослый, грузный, запыхавшийся человек, который, входя, первым делом поторопился наступить на ноги двух или трех дам и тем вызвал во всех некоторую сенсацию. Все обернулись в его сторону. «Боже мой, Званцев!» [2] — невольно вырвалось у Марьи Николаевны. Она видела его всего один раз на одном вечере в Петербурге, года три тому назад, но фигура его была не из таких, которые забываются. Поэтому даже случайные знакомые всегда узнавали его после многих лет разлуки.

Массивная, очень красиво посаженная на плечах голова представляла много оригинального и превосходно годилась бы для пресс-папье. Всего красивее были глаза, очень большие даже для его большого лица и голубые при черных ресницах и черных бровях. Лоб, несмотря на все увеличивающиеся с каждым годом виски, тоже был красив, а нос — для русского носа был замечательно правильного и благородного очертания. Книзу дело шло хуже. Щеки были слишком велики и нижняя челюсть непомерно развита. Недостаток этот скрывался, впрочем, в значительной степени небольшой французской бородкой, черной с проседью, и только в минуты гнева нижняя губа, да и вся нижняя челюсть, вдруг выдвигалась вперед и сообщала лицу что-то свирепое; в обыкновенное же время все друзья Званцева соглашались, что преобладающим выражением лица его было добродушие.

Несмотря на слишком расширяющиеся книзу щеки, лицо Званцева было еще очень моложаво и свежо; судя по одной голове, ему можно было дать лет 35, не больше, но этому впечатлению моложавости сильно противоречила излишняя тучность. Вся фигура его была фигурой старого казака, победившего турок, но побежденного жиром. Про Званцева

нельзя было сказать, что он одет худо; он заказывал себе платье всегда у хорошего портного из хорошей английской материи, но после первой же недели оно всегда начинало сидеть на нем нескладно и морщиться некрасивыми складками.

Несколько лет тому назад имя Михаила Михайловича Званцева было очень популярно в России. В последние годы царствования Александра II он быстро пошел вперед; все ожидали, что он скоро будет министром, и в тех реформах, к которым, казалось, так несомненно стремилась Россия, ему всеобщей молвой приписывалась очень выдающаяся роль. Произошла перемена в направлении и положила конец этим надеждам[3]. Для нового пути, по которому пошла русская внутренняя политика, Званцев оказался неподходящим человеком. Ему не оставалось другого исхода, как подать в отставку и убраться. В высших сферах о нем, по-видимому, забыли.

Попав внезапно в заштатные, Званцев не пожелал оставаться в России, а уехал за границу. К большому негодованию многих из своих друзей, требовавших от него протеста и активного отпора, он купил себе виллу в окрестностях Ниццы и занялся писанием исторического сочинения «История регресса».

Сконфуженный эффектом, произведенным им при входе, Званцев сидел, отпыхиваясь, на своем месте и, сняв широкополую фетровую шляпу, отирал платком лоб. На восклицание Марьи Николаевны он обернулся в ее сторону и вежливо поклонился, но на лице его ясно выразилось, что с своей стороны он не признает ее. «Недурненькая, и все же по неряшливости костюма видно, что соотечественница», — было его первым впечатлением. Небрежный к собственному костюму, Званцев от женщин требовал, чтоб все на них было с иголочки. Марья Николаевна напомнила ему, что встретилась с ним три года назад на вечере у ее дядюшки профессора Л.

— Как же, как же, отлично помню, — соврал Званцев, и заговорил с ней особенно любезно, чтоб загладить невольную невежливость.

Марья Николаевна была очень рада этой встрече. В тот единственный раз, когда она его видела, Званцев произвел на нее сильное впечатление. Вечер этот был очень замечательный, на нем собрались многие из наиболее выдающихся представителей русского либерализма. Званцев был в ударе и после ужина произнес целый спич. Сверх того имя его было очень популярно между русской молодежью, особенно после выхода его в отставку. От него ждали многого. Марья Николаевна читала тоже некоторые из его журнальных статей, которыми от души восхищалась. Поэтому она была очень благодарна судьбе, пославшей ей эту встречу.

— А давно вы у нас на Ривьере? — спросил Званцев.

Марья Николаевна пояснила, что едет прямо из Петербурга. Она прибавила тоже, что недавно кончила Бестужевские курсы, что здоровье ее пострадало от занятий, что доктора приказали ей провести несколько

месяцев на юге и что поэтому кузина ее, Яновская, пригласила ее к себе в Ниццу погостить.

— Какая Яновская? Жена живописца? — спросил Званцев.

— Она самая. А вы ее знаете?

— Как же. Часто у них бываю. Кузина ваша просто красавица; только очень больна, бедняжка! — ответил Званцев.

Открыв общих знакомых, он становился все любезнее.

— Ах, какая здесь прелесть! — с восхищением воскликнула Марья Николаевна. Глаза ее горели.

Званцев сам очень любил эту местность и чувствовал себя здесь как бы хозяином, с тех пор как купил виллу; его всегда радовало, когда другие тоже восхищаются Ривьерой. Он с оживлением стал указывать Марье Николаевне на красивые виды, заставляя ее любоваться то тем, то другим.

— Ах, как здесь хорошо! Что за дивное место! — постоянно восклицала Марья Николаевна. — Знаете ли, мне даже страшно становится, что я здесь избалуюсь! А ведь мне после этого придется ехать в глушь, в Саратовскую губернию, на место сельской учительницы! — вдруг проговорила она.

— Да, Саратов, разумеется, не то, что Ривьера. Только что ж это вы так далеко забираетесь? Неужели в Петербурге не нашли места? — спросил Званцев наивно, желая выказать свое участие.

Марья Николаевна взглянула на него и вся покраснела.

— Я не потому, не по необходимости, — заговорила она, торопясь и конфузясь. — Я кончила первой на курсах и, разумеется, могла бы остаться в Петербурге. Да к тому же мне, в сущности, и необходимости не было бы в месте. Но я потому еду, что мне кажется, что всякий интеллигентный человек больше может принести пользы в провинции. Вот я с моей приятельницей Юлией Ивановной Румянцевой, вот мы и решили открыть сельскую школу в Саратовской губернии. А в Петербурге и без нас интеллигентных людей довольно.

Званцев слушал ее с сочувственным видом. Про себя он думал: «Господи, боже мой, как благородно. Так мне и сдается, что вчера я все это в последней книжке „Северного вестника“ прочитал». Но этих мыслей он ей не высказал, а проговорил только:

— Значит, вы это подвиг совершать будете?

— Ах, я вовсе не смотрю на это как на подвиг, — опять заторопилась Марья Николаевна, не заметив иронии его голоса. — Мне только кажется, что я больше всякой другой обязана потрудиться для народа.

— Почему же именно вы больше другой? — сочувственно и, по-видимому, совершенно серьезно спросил Званцев.

Марья Николаевна опять покраснела и заговорила очень быстро:

— Вот видите ли, я недавно получила премию за лучшую книжку для народного чтения. Вы знаете, в Москве общество такое основалось для распространения знаний в народе, и оно назначило приз в 500 рублей тому, кто напишет лучшую сказку на тему «Знание — свет, а незна-

ние — тьма». И представьте себе, приз этот присудили мне. Я совсем не рассчитывала. Так, наобум послала. Да вы разве не читали? Ведь во всех журналах об этом стояло? — спросила она вдруг, в упор глядя на Званцева.

«Ну попался я! авторское самолюбие задел. Никогда мне барышня не простит, что я об ее сказке не читал. В невежу меня прямо запишет», — думал про себя Званцев.

— Ах, помилуйте, как же! Разумеется, читал. Я только имени вашего не запомнил, но догадался сразу, что это вы, — заговорил он очень быстро. — Меня этот вопрос даже очень интересует, и я чрезвычайно рад, что с вами встретился; у меня у самого есть в деревне школа, и я надеюсь, что вы поможете мне советом. Я надеюсь многому у вас научиться!

«Однако уж не хватил ли я через край? Барышня поймет, что я над ней смеюсь», — подумал он с беспокойством.

Но Марье Николаевне и в голову это не входило. Она жила постоянно в таком кругу, где к известным вопросам всегда относятся серьезно и шуток не допускают. К тому же имя Званцева было окружено в ее глазах ореолом. Она сразу вся ушла в интересный для нее разговор и стала расспрашивать Званцева о его школе. Разговаривая таким образом, они доехали до Ниццы.

На вокзале в Ницце Марью Николаевну встретил муж ее кузины, Яновский. Это был человек лет 45, еще моложавый, полный, но все еще довольно статный. Широкополая серая фетровая шляпа, белокурые волосы и бородка à la Rubens стремились придать его широкому, румяному, чисто российскому лицу с расплывчатыми чертами какой-то лжеиспанский вид.

— Ба-ба-ба, Званцев! Какими судьбами! — удивился он, увидев Михаила Михайловича вместе с своей кузиной.

Званцев объяснил, что попал совершенно случайно в одно купе с Марьей Николаевной.

— Ну да, рассказывайте! Знаем мы вас! На хорошенькую женщину вас всегда случай нанесет! — иронически заметил Яновский. — А что, кузина, признавайтесь! Уж он, я думаю, начал за вами ухаживать, — обратился он к девушке.

Марья Николаевна совсем сконфузилась и растерялась. Михаил Михайлович, привыкший к бесцеремонной, пересыпанной крупной солью речи приятеля, принимал насмешки совершенно спокойно.

— Да вы спросите Марью Николаевну, как я за ней ухаживал. Особенно вход мой на сцену был удачен! — и он с юмором принялся описывать, как он чуть не повалился, входя в вагон, и передавил ноги всем сидящим в нем дамам. Когда Званцев трунил над самим собою, лицо его всегда принимало особенно добродушную складку. Марье Николаевне он очень понравился в эту минуту.

— Ну, что ж, уж раз мы вас случайно заполучили в Ниццу, по-

едемте-ка с нами завтракать. Ведь у жены сегодня приемный день, — любезно пригласил Яновский.

Званцев отговорился от завтрака делами, необходимостью заехать в Crédit lyonnais * и еще в два-три места, но обещал, что часам к пяти завернет.

Окончив все хлопоты с багажом, Яновский и Марья Николаевна сели на извозчика и поехали вдоль Avenue de la gare **.

Марья Николаевна любовалась рядом высоких платанов и пальм; усталость от дороги сказывалась в ней только шумом в ушах и чувством какого-то особенного, лихорадочного возбуждения. Она все болтала с Яновским, который оглядывал ее с той ласковой бесцеремонностью, с какой он привык глядеть на всякую молодую женщину, попадавшуюся ему на пути. Несмотря на крайнюю простоту и даже некоторую неряшливость ее костюма, его опытный взгляд художника и страстного любителя женщин угадывал в ней красивую девушку. Марья Николаевна инстинктивно чувствовала, что нравится ему, и это сознание увеличивало ее хорошее настроение духа.

— Как это вы отлично сделали, голубушка, что приехали к нам. Полине с вами веселей будет...

* Лионский кредит (*франц.*).
** Привокзальная улица (*франц.*).

ОЧЕРКИ

ОТРЫВКИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ОЧЕРКИ

М. Е. Салтыков (Щедрин)

«Еще одна звезда мелькнула, мелькнула и исчезла» [1].

Еще одно блистательное имя вычеркнуто из списка имен той плеяды великих писателей, которые родились в России в первую четверть нашего века и которые стали известны и любимы за границей почти столь же, как в своей стране.

Явление весьма любопытное и уже несколько раз подмеченное: есть годы урожайные и неурожайные для рождения великих людей, совсем как для сбора хлебов. В раздольных степях южной России земледелец с бóльшим правом, чем где бы то ни было, может сказать, что годы идут один за другим, но не походят друг на друга. Если нет дождей, если летом стоит исключительная жара— все высыхает, все сожжено. Черная и жирная земля наша — знаменитый русский чернозем — покрывается коркой твердой, как камень. Тогда нельзя рассчитывать даже на средний урожай, и осенью с трудом можно засеять поля.

Иногда неудачные годы идут подряд — одно лето, другое, третье, пятое. Тогда наступает настоящее разорение. Голод и отчаянье во всей стране. Наконец, наступает хороший год, когда дожди падают в изобилии. Тогда земля обнаруживает мощь и плодородие изумительное. Достаточно только засеять поля, чтобы через несколько недель получить урожай сторицей. Приходится скликать рабочих со всех концов России, чтобы собрать слишком обильную жатву. Все закрома, все амбары в стране переполнены. Всегда остается пшеница, которую некуда девать. Коротко говоря, урожай одного счастливого года вполне вознаграждает земледельца за все потери долгих неудачных годов.

Если проследить различные периоды развития литературы в России, то, кажется, действительно можно установить явление того же порядка. Ее история в нашей стране еще не слишком длинна. Она едва насчитывает два столетия. Тем не менее всякий, изучающий эту историю на протяжении столь короткого времени, не может не быть поражен контрастом между эпохами великой скудости и поражающим плодородием. Годы, непосредственно предшествовавшие или следовавшие за годом 1825, производят впечатление годов наиболее благоприятных для рождения гениальных писателей. Тургенев, Достоевский, Толстой, Некрасов, Гончаров, Салтыков (Щедрин) и г-жа Крестовская [2] — все ровесники с разницей в пять или шесть лет, и все родились в эту эпоху.

Три первых имени хорошо известны во Франции, четыре последних не пользуются или, лучше сказать, пока еще не пользуются той же известностью. Но в России так привыкли соединять эти имена, что для русского почти невозможно назвать одно имя и не представить себе сразу всю плеяду целиком. Это потому, что авторы, которых я только что назвала, характеризуют и воплощают всю эпоху нашей литературной жизни. Хотя у каждого из них есть своя собственная, индивидуальная манера письма, их всех объединяет нечто общее, какой-то один и тот же родной воздух. И поэтому, мне думается, легко понять, что они выросли в одну и ту же эпоху, в окружении одной и той же культуры и социальной среды.

Быть может, теперь их литературную деятельность следует считать почти законченной. Тургенева, Достоевского и Некрасова нет больше в живых. Гончаров и Крестовская уже много лет не создавали ничего значительного. Толстой отрекся от литературы и пишет только народные сказки или философские статьи.

Только Щедрин сохранил до самого последнего времени свою [творческую] мощь и производительность, тем более замечательные, что уже давно страдал тяжелой мучительной болезнью. И вот теперь смерть [3] заставила умолкнуть его язвительную и насмешливую речь, быть может, единственную, которая осмеливалась звучать в наше время в защиту свободной мысли и бичевала эгоистические и реакционные настроения, все более и более захватывающие русское общество и русскую литературу.

Глубокая и неподдельная скорбь, охватившая всю Россию при известии о смерти Салтыкова, огромная толпа, шедшая за его гробом, тысячи венков, присланных на его могилу из самых отдаленных уголков империи царей,— все это свидетельствует о том, как ценили великого писателя в его стране и какую пустоту он оставил после себя.

Щедрин действительно занимал совсем особенное место среди своих собратьев. Он один воплощал то, что наиболее редко встречается в России, — свободный порыв критической мысли. Но хотя многие произведения Щедрина переведены на французский язык [4], он не встретил во Франции того понимания, как Тургенев, Толстой и Достоевский. Эта холодность иностранцев к писателю, столь высоко ценимому у себя на родине, зависит, я думаю, от двух основных причин и, прежде всего, объясняется самим жанром его произведений.

Правда, Щедрин проявил самые разнообразные художественные способности. Он начал стихами; его роман «Господа Головлевы» [5] доказывает, что у него несомненно были данные крупного романиста: живое и пылкое воображение, способность перевоплощаться в своих персонажей, большая утонченность в анализе характеров. Тем не менее, настоящим жанром Салтыкова была всегда сатира, оправленная фантастикой, подобная сатире Рабле [6]. А этот жанр более чем какой-либо другой связан с родной почвой. Слезы всюду одинаковы, но у каждого народа своя манера смеяться. Вот почему и Рабле, в свою очередь, будет понят вполне только французом.

В России очень изощренно и сочувственно воспринимают все красоты, все тонкости французской литературы. Не однажды у нас прозревали исключительность французского писателя раньше, чем он был признан у себя. И что же! Даже в России вы с трудом найдете человека, который правильно понимал бы Рабле.

Другая причина, почему Щедрина не совсем легко понять иностранцу, заключается, если воспользоваться его собственным выражением, в его совершенно особом «эзоповском языке», которым он принужден был пользоваться. Не нужно забывать, что Щедрин писал в железных тисках русской цензуры. Если он садился за свой письменный стол, едва он только опускал перо в чернильницу и располагался писать, как тотчас ему представлялся красный карандаш цензора, угрожающе занесенный над его рукописью.

Долгой практикой Щедрин выработал невероятную ловкость в уменье избегать штрихов этого страшного карандаша. Трагический смех, которому он охотно придавал характер простонародного издевательства, не раз прикрывал его дерзкие выходки, и благодаря этому скрытому смыслу, часто, впрочем, весьма явному, умел он маскировать свою мысль. Ничего не говоря явно, он заставлял все понять.

Но какова бы ни была ловкость писателя, такая манера письма невозможна, если читатель не получил совершенно особой подготовки. Поразительно, как умеют читать между строк в России! Нечто вроде незримого единения и таинственного понимания установилось между публикой и любимым автором.

Как пример писательской манеры Щедрина я хочу напомнить один из лучших его рассказов — «Больное место» [7]. Эта история сыщика, наказанного в лице своего сына. Представьте сыщика, почти не понимающего, что он делает. Очень бедный, в начале своей карьеры очень робкий, привыкший с детства гнуть спину перед другими, он по стечению бедственных обстоятельств был принужден поступить в тайную полицию. Когда он очутился там, ему только оставалось слепо выполнять приказания своего начальства. Ему приказали стать сыщиком, и он исполнял эту должность, не позволяя себе ни рассуждать, ни возражать, с тем же рачительным и усердствующим послушанием, с каким выполнял любое поручение своего начальника. Он не был злым, наоборот, в глубине его мало развитой души много нежности и даже, не удивляйтесь — деликатности.

Гнусное ремесло, которым он занимается, неоднократно внушает ему отвращение, но он настолько проникнут необходимостью повиноваться и подчиняться, что это отвращение совершенно инстинктивно; он сам относится к нему как к слабости и изо всех сил старается его преодолеть и заглушить: «Великий боже, до чего мы дойдем, если каждый подчиненный будет обсуждать приказания начальства».

Однажды он встретил на своем пути юную сироту, столь же бедную, смиренную и робкую, как он сам; он женился на ней, и они жили своей замкнутой жизнью, достаточно счастливой по существу, хотя всегда бояз-

ливой, всегда трепещущей перед какой-то угрозой неведомой и страшной силы, которая каждую минуту может их раздавить.

Несколько лет у супругов не было детей; наконец у них родился сын. Столь долгожданный ребенок стал всем для своего отца, который берег его, как зеницу ока. Но странно: по мере того, как отец все более и более привязывался к сыну, возрастало его инстинктивное отвращение к своему занятию. Тем не менее, он по привычке продолжал быть деятельным и бдительным. Он даже отличился в блестящем деле — напал на след весьма опасного заговора, и денежная награда, которую он получил за эту ценную услугу, обеспечивала ему, вместе с прежними сбережениями, некоторое благополучие. К тому времени его отвращение к своему ремеслу так усилилось, что он воспользовался этим неожиданным доходом, чтобы подать в отставку и уйти в личную жизнь. С женой и сыном он удалился в глухую провинцию и поселился в маленьком домике в глубине большого, заросшего зеленью сада.

Здесь они живут спокойно, окруженные уважением. Отец сосредоточивает на единственном сыне все богатство своей глубокой любви и нежности, столь долго скрытое в его сердце; он живет его жизнью, участвует в его росте и развитии; он обретает новую душу, соприкасаясь с чистой душой ребенка. Думая о нем, он преисполнен гордости и честолюбивых мечтаний, чего никогда не испытывал по отношению к самому себе. Он хочет, чтобы его сын получил хорошее образование, чтобы все дороги в жизни были открыты перед ним, чтобы сын его не был червем, которого каждый может раздавить, как это было с ним самим.

Иногда воспоминания о прошлой жизни сыщика возвращаются к нему, как приступы скверной, отвратительной тошноты; тогда он изо всех сил старается доказать себе самому, что вовсе не был виновен: «К чему, в конце концов, упрекать себя? Если он был слепым орудием гибели многих людей, — вина падает не на него. Эти люди устраивали заговоры против правительства, его начальник поручил ему наблюдать за ними, он исполнял только свой долг, стараясь открыть их тайны и осведомить правительство о них. То, что произошло с ними потом, его не касается. Это дело его начальства».

Но все эти хитроумные рассуждения не мешают ему при каждом воспоминании о прошлом быть охваченным боязнью — как бы сын не узнал об этом когда-нибудь.

Однажды он случайно встречает одного из своих старых товарищей по службе, который почти насильно навязывается к нему в гости и, выпив стаканчик, начинает вспоминать об их прошлом: «Помнишь, папашка, как нам повезло в 1871 г.? Ну, право, смешно, когда вспомнишь, как мы их накрыли!».

Сын, уже большой мальчик, слушает, устремив на незнакомца большие детские глаза, строгие и вместе с тем любопытные. Растерявшийся отец не знает, как удалить ребенка или заставить замолчать втершегося болтуна и тупицу; он чувствует, как его сердце переполняется невыносимым стыдом и ужасной безнадежностью.

Однако на этот раз мальчик еще ничего не понял. Но годы текут, и мальчик растет. У него развивается характер матери — кроткий и нежный, несколько печальный и склонный к меланхолии, но он гораздо одареннее духовно. Он развивается свободно в атмосфере окружающей его ласки и нежности; он обожает своего отца и очень любит науку. Когда ему исполнилось 17 лет, он, с аттестатом зрелости в кармане, просит отца отпустить его в Петербургский университет — продолжать свое образование. Отец, который ни в чем не умеет отказывать сыну, принужден согласиться, испытывая в то же время тайный страх и предчувствие большой опасности, угрожающей ему.

И действительно — неизбежная катастрофа не замедлила разразиться. Имя отца пользовалось печальной известностью, еще не забытой в Петербурге. Вскоре после поступления в университет молодой человек узнает, что он сын бывшего сыщика; среди его друзей встречаются даже сыновья тех, которых предал его отец.

В один зимний вечер, когда бедный отставной сыщик спокойно дремлет в своем углу, мечтая о сыне, тот появляется перед ним: он внезапно вернулся из Петербурга, никого не предупредив о своем приезде.

— Правда ли, что рассказывают о тебе, отец?! — Вот первый вопрос, с которым он обращается к старику, и тому достаточно только взглянуть на искаженное лицо сына, чтобы понять, что должно произойти.

«Вот мой судья», — думает он, трепеща перед нежно любимым сыном. Все же он делает усилие защищаться; он излагает все доказательства, которые подготовлял столько лет, как бы в предчувствии этого ужасного момента, когда ему придется оправдываться перед своим сыном. Но он видит, что эти доказательства не производят никакого впечатления на молодого человека, на любимом лице он видит непроизвольное и непреодолимое отвращение. Тогда несчастный отец перестает доказывать, он разражается рыданиями, и у сына не хватило сил упрекнуть его.

Но что же теперь делать сыну, как дальше жить? Он не может вернуться в университет и подвергаться оскорблениям со стороны товарищей. Один из них действительно написал ему, чтобы побудить его вернуться: «Все еще может уладиться, — писал он, — дети не отвечают за преступления своих отцов; но если имеют несчастие быть сыном такого отца, как твой, то от него отрекаются — вот и все. Ты сам понимаешь, что пока будут известны твои хорошие отношения с отцом-сыщиком, тебе невольно не будут доверять. Но если ты его покинешь, расстанешься с ним совсем, тебя примут с распростертыми объятиями».

Отречься от своего отца! Отца, который был так добр, так предан ему и, тем не менее, был виновником того, что столько других сыновей осталось без отцов! Наш герой никогда не решится на это. Но, с другой стороны, как жить, подвергаясь всю жизнь презрению со стороны тех, с мнением которых он больше всего считается?

Несчастный находит единственный выход из этой внутренней борьбы: он пускает себе пулю в сердце. Он пишет своему отцу несколько весьма холодных прощальных слов и кончает с собой.

Бывший сыщик остается один во всем мире. Наказание за его несознательное преступление поразило его в больное место.

Такова мрачная драма, которую Щедрин развернул перед нами. Но чтобы рассказать о ней в России, он должен был проявить немало ловкости. Он принужден был сообщить о ней иначе, чем я изложила ее. Ему пришлось сделать это со всевозможной изворотливостью. На всем протяжении рассказа он ни разу не употребляет таких слов, как «сыщик» и «тайная полиция». Он говорит о занятиях отца неопределенно и таинственно. Но русский читатель, даже мало образованный, не может ошибиться. Он отлично понимает, что этот рассказ — история сыщика, и ни минуты не сомневается в характере таинственных преступлений, содеянных отцом.

Но представьте себе, что этот рассказ переведен на французский язык без комментариев, без предварительных объяснений. Десять шансов против одного, что читатели ничего не поймут.

Говоря в своих «Театральных впечатлениях» о переделанной для французской сцены Луи Лежандром пьесе Шекспира «Много шума из ничего», Жюль Леметр [8] пишет, что он всегда в восторге, когда утонченные люди переделывают и исправляют Шекспира для своих надобностей. Не думаю, чтобы я захотела согласиться с мнением Леметра относительно Шекспира, но я убеждена, что есть много авторов, которые в их собственных интересах, так же как в интересах читателей, не могут быть представлены иностранной публике, не будучи, по выражению Леметра, «просмотренными и объясненными утонченно мыслящими людьми».

Щедрин безусловно принадлежит к числу таких авторов. Читая его рассказы, сатиры и сказки, я не нахожу ни одного, даже среди тех, которыми я наиболее восхищаюсь, который бы я хотела видеть переведенным на французский язык буквально. Но я была бы счастлива, если бы нашелся какой-нибудь французский писатель, понявший Щедрина так, как понимаем его мы, русские, и который взял бы на себя труд истолковать его своим соотечественникам.

Особенно заслужил Щедрин право быть известным и оцененным во Франции, потому что всю жизнь он выражал самую горячую симпатию к этой стране, которую считал в известной степени своим духовным отечеством. Французская литература, идеи, перекинувшиеся [в Россию] из Франции, имели самое могущественное влияние на развитие его дарования и его политических убеждений. Когда Щедрин начинал свою литературную деятельность (1847), все русские молодые люди жили, устремив взоры на Францию.

Вот как рассказывает об этом сам Щедрин в статье «За рубежом» [9], представляющей нечто вроде исповеди или автобиографии: «Я в это время только что оставил школьную скамью и, воспитанный на статьях Белинского, естественно примкнул к западникам. Но не к большинству западников (единственно авторитетному тогда в литературе), которые занимались популяризированием положений немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Фран-

ции. Разумеется, не к Франции Луи-Филиппа[10] и Гизо[11], а к Франции Сен-Симона[12], Кабе[13], Фурье[14], Луи Блана[15] и, в особенности, Жорж Занда[16]. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, все доброе, все желанное и любовное — все шло оттуда.

В России, — впрочем, не столько в России, сколько специально в Петербурге, — мы существовали лишь фактически или, как в то время говорилось, имели «образ жизни». Но духовно мы жили во Франции... Гизо и Дюшатель[17] и Тьер[18] — все это были как бы личные враги (право, даже более опасные, нежели Л. В. Дуббельт[19]), успех которых огорчал, неуспех — радовал... Агитация в пользу избирательной реформы, высокомерные речи Гизо по этому поводу, февральские банкеты — все это и теперь так живо встает в моей памяти, как будто происходило вчера».

Салтыков родился в 1826 г. в богатой помещичьей семье, владевшей несколькими тысячами душ крестьян.

Часто думают, что именно от матерей сыновья наследуют свои интеллектуальные и моральные качества — большинство знаменитых людей имело замечательных матерей. Участь Салтыкова в этом отношении почти такова же, как и участь Тургенева. Оба имели матерей, принадлежавших к типу сильных женщин, и оба сильно страдали в детстве от материнского деспотизма, о котором они сохранили злобное воспоминание на всю жизнь и запечатлели его в своих произведениях. Тем не менее, мать Тургенева, как ни была она настойчива, фанатична, требовательна, как ни привыкла заставлять всех преклоняться перед ее волей, все же отличалась прекрасными манерами, известной утонченностью и оставалась аристократкой, несмотря на все.

Что касается матери Салтыкова, то она была так называемая «бой-баба», женщина очень одаренная, обладавшая исключительным практическим умом, но совершенно лишенная моральных качеств. Очень богатая, она доводила свою бережливость до степени гнусной скупости, создала тяжелую жизнь для своего мужа, детей и крепостных, изгнала из своего быта всякие признаки комфорта и благосостояния и упростила свое существование до степени единственного главного занятия — возможно большего накопления.

Крепостное право было в полном расцвете в детские и юношеские годы Салтыкова, и потому не удивительно, что воспоминания об этой печальной системе занимают значительное место в его произведениях. Но в то время, как значительное число авторов, с Тургеневым во главе, посвятило много красноречивых страниц описанию жалкой участи угнетенных крестьян, Салтыков очень много писал о гибельном и унизительном влиянии, которое оказывало крепостное право на самих господ. С этой точки зрения его роман «Господа Головлевы» — произведение в высшей степени замечательное.

Так же, как и «Ругон-Маккары»[20], этот роман может быть снабжен подзаголовком «естественная и социальная история одной семьи», потому что там перед нашими глазами развертывается моральный упадок и по-

степенная гибель трех поколений помещиков, гибель, определенная законами наследственности и накопившимся воздействием нездоровых и деморализующих влияний.

Говоря об этом романе, я не могу не отметить его любопытного сходства, наверное непреднамеренного, с романами Золя. Уже неоднократно говорили о символизме Золя. В каждом из его произведений всегда участвует нечто неодушевленное, близкое, образующее не только основу романа, но и выполняющее в нем в известном смысле ту же функцию, как судьба в греческой трагедии. Таковы сад в «Преступлении аббата Муре», мина в «Жерминале», собор в «Мечте»[21]. Это «нечто» связано самыми тесными узами с историей действующих лиц, но оно заранее определяет все их бытие, не зависящее от их воли, определяет неизбежно и непоправимо.

В романе русского писателя вы подметите такой же символизм. Это — Головлево — наследственное имение семьи Головлевых, играющее роль роковой и зловещей силы. Старинный помещичий дом, просторный, торжественный и мрачный, который расплющивает своей тяжелой каменной массой жалкие крестьянские избы, расположенные вокруг него,— олицетворяет систему крепостного права. Эта помещичья усадьба, на которую так зарятся все члены семьи Головлевых, становится проклятием для каждого из них. Благодаря тяжелому рабскому труду возрастает материальное благосостояние Головлевых; их богатство растет, их владения расширяются. Но для чего все это нужно? Одно поколение за другим жалко погибает в стенах проклятого дома.

«Хороши наши дела! Головлево всех нас слопает! Никому не уцелеть!» — с отчаянием восклицает Анниңька, последний отпрыск этой несчастной семьи, перечисляя про себя целую кучу своих дедов, дядей и других родственников, которые вырывали Головлево друг у друга, перекупали его и все окончили там свои дни, некоторые самоубийством, другие в безумии или белой горячке.

Этот замечательный роман занимает особое место в творчестве Салтыкова. Большая часть других его произведений посвящена изображению нравов и привычек чиновничества. Благодаря долголетнему личному опыту ему были хорошо известны различные части огромной русской бюрократической машины.

Салтыков учился в Царскосельском лицее. Каждое учебное заведение подобного типа обычно хранит традиции какой-нибудь знаменитой личности, вышедшей из его стен, и память о ней связана с особым культом. В Царскосельском лицее наш великий поэт Пушкин играет роль гения-хранителя. Каждый воспитанник этого лицея полон гордости, думая о том, что Пушкин принадлежит к числу его старших товарищей, и исключительное почитание, которым окружен поэт в лицее, является причиной того, что поэзия там в большой моде. Мало насчитывается воспитанников, которые не пробовали бы писать стихи, и Салтыков, в свою очередь, не избежал этой общей участи. Тотчас же после выхода из лицея он напечатал маленький сборник лирических стихотворений, боль-

шая часть которых написана в лицее, — все они, впрочем, довольно посредственны [22].

Сам Салтыков довольно скоро признал, что лирическая поэзия — не его удел. Принужденный матерью поступить на службу в министерство внутренних дел мелким чиновником [23], он не захотел, тем не менее, побороть свою непреодолимую склонность к литературе и выступил через год с произведением совсем особым. В «Запутанном деле», напечатанном в 1848 г. под псевдонимом Щедрин, который он сохранил на всю жизнь, уже чувствуется великий сатирик [24]. Этот рассказ, содержащий печальные сетования по поводу судьбы мелких чиновников в России, произвел впечатление. К несчастью он появился как раз в ту пору, когда ограничительные для печати правила свирепствовали с исключительной силой [25].

«И вот, вслед за возникновением движения во Франции, — вспоминает Салтыков, — произошло соответствующее движение и у нас: учрежден был негласный комитет для рассмотрения злокозненностей русской литературы». Несмотря на вымышленное имя, за которым укрылся автор «Запутанного дела», он был скоро опознан, и высылка в Вятку [26], город, расположенный на окраине европейской России, на границе Сибири, увенчала его первый литературный успех. Только через семь с половиной лет, в 1855 г., после смерти Николая и восшествия на престол Александра II, Щедрин мог вернуться в Петербург.

Хотя он был в опале, но службы не оставил и продолжал в Вятке исполнять обязанности мелкого чиновника. Вынужденное пребывание в далекой провинции несомненно было для него скорее полезно, чем приятно, так как дало ему возможность увидеть воочию все ужасы, все злоупотребления, весь произвол бюрократической системы, которая в провинции совершенно обнажена, без всякой заботы о той благопристойности, какую считают для себя обязанными соблюдать в Петербурге.

Возвратившись в столицу, Салтыков с жаром занялся литературой и опубликовал свои «Губернские очерки» [27], которые сразу обеспечили ему почетное место среди первых русских писателей.

Среди чисто сатирических произведений Щедрина, быть может, «История одного города» [28] — на самом деле беспорядочно шумная история российской империи — есть его значительное произведение, которое никогда не утратит своего интереса для будущих поколений. Действующие лица, вызвавшие в данном случае его сатирическое вдохновение, столь хорошо известны и так легко могут быть узнаны, что все намеки автора всегда будут хорошо поняты и оценены.

Этого нельзя сказать про его другие произведения. Далеко не одна страница, написанная Салтыковым, требует уже и теперь комментариев даже в России. В связи с этим его известность сильно пострадает. Изменения в образе правления точно так же сделают менее ощутимыми уколы его сатиры. Но его имя останется в истории не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли.

Щедрин действительно жил только своим временем, но как хорошо сказал Гёте:

«Кто жил для своего времени, тот жил для всех времен».

Софья Ковалевская

Париж, июнь 1889 г.

Воспоминания о Джорже Эллиоте[1]

Изданная в прошлом году «Жизнь Джоржа Эллиота по ее письмам и отрывкам из ее дневника»[2] живо заинтересовала всех почитателей этой замечательной писательницы, и первое английское издание этой книги, несмотря на весьма высокую цену, разошлось в Англии в несколько недель. Столь ненавистная английским издателям фирма Tauchnitz[3] тоже не замедлила воспользоваться своим правом безвозмездно перепечатывать все замечательные произведения английской литературы, и в этом издании переписка Джоржа Эллиота уже проникла, вероятно, в круги русских читателей. Для многих, впрочем, книга эта была до некоторой степени разочарованием. Частная жизнь великих людей всегда возбуждает в публике значительное любопытство, которое еще усиливается, разумеется, когда дело касается частной жизни «знаменитой» женщины. Кроме того, в жизни Джоржа Эллиота, как известно по ее многочисленным уже опубликованным биографиям, были некоторые факты, довольно странные и любопытные с психологической точки зрения и не нашедшие себе отголоска и истолкования ни в одном из ее романов. Многие приветствовали поэтому издание ее переписки с друзьями в надежде, что если письма ее не откроют каких-нибудь новых, еще не известных большинству публики событий ее жизни, то, во всяком случае, прольют некоторый свет на ее внутренний мир, на ее отношение к этим событиям и на сокровенные мотивы, руководившие ее действиями. Но в этом отношении ожидания совершенно не оправдались да и не могли оправдаться. Переписка эта, изданная вторым мужем Джоржа Эллиота, м-ром Кросс, всего пять лет после ее смерти, содержит лишь избранные и тщательно просмотренные ее письма, из которых исключено, по-видимому, все имеющее слишком личный, интимный характер. Иначе, разумеется, ввиду данных обстоятельств и быть не могло. Во всей этой довольно многочисленной и объемистой переписке Джорж Эллиот говорит обо всем, только не о самой себе. Поэтому материалом для биографии Джоржа Эллиота эта переписка вряд ли может служить; в своих письмах, по крайней мере в тех, которые опубликованы теперь, так же как в своих романах, она никогда не показывает нам и не объясняет самое себя; если читатель все же хочет узнать ее, то он должен, так сказать, сам отыскивать ее, уга-

дывать ее по легким намекам, ловить каждое мимолетное замечание, да и то, я думаю, ему лишь в том случае удастся вызвать ясный образ ее, если у него у самого в душе есть отзывные, симпатичные ей струны; в противном случае она сама и многое в ее действиях и решениях останется для него неясным и загадочным.

Наибольше всего интереса представит, я думаю, эта переписка для тех, кто лично знал эту замечательную женщину. К числу этих счастливцев принадлежала и я, и мне, читая ее письма, так живо вспоминались некоторые из наших разговоров с нею, и она сама, с ее тихим, плавным, симпатичным голосом, с ее несколько вычурною, немножко «книжною» манерой выражаться и с ее очень своеобразною привычкой как бы уходить в предмет разговора, так живо воскресла перед моими глазами, что мне пришло невольное желание поговорить о ней и рассказать о моем с ней знакомстве[4].

Я познакомилась с нею в начале семидесятых годов[5]. В это время я сама только что начала заниматься математикою под руководством известного берлинского профессора Вейерштрасса и, пользуясь одними из осенних каникул в немецких университетах, приехала на несколько недель в Лондон. Знакомств и связей в литературном мире у меня в то время еще почти совсем не было. Был у меня, правда, один общий знакомый с семьею Люисов — м-р Ральстон, один из директоров Британского музея и один из немногих англичан, знающих русский язык и русскую литературу[6]. Его рассказы о Джорже Эллиоте и о разных подробностях ее частной жизни еще усилили то восторженное поклонение, которое я в то время питала к ее сочинениям, и еще увеличили мое желание познакомиться с нею лично. На беду, моего знакомого именно не было в Лондоне ко времени моего приезда. После многих колебаний я решилась, наконец, написать Джоржу Эллиоту и высказать ей мое желание познакомиться с нею. Она ответила мне тотчас же очень любезным письмом, в котором сообщала мне, что слышала уже обо мне от одного английского математика, встретившего меня случайно на лекциях в Гейдельбергском университете, и, с своей стороны, тоже очень желает познакомиться со мною[7]. Она назначила мне время, когда я могу наверное застать ее дома и побеседовать несколько часов с нею и ее мужем, м-ром Люисом[8], наедине.

Само собою разумеется, что в назначенный день[9] я не преминула явиться по ее приглашению. М-р Люис и Джорж Эллиот занимали в это время небольшой домик на John Wood's road[10], очень хорошенькой части Лондона, богатой частными садами. Молоденькая горничная, чистая и чопорная, как все английские горничные, ввела меня в довольно просторную гостиную, меблированную довольно нарядно, но без всякой претензий на оригинальность, по шаблону типической гостиной в «порядочном» английском доме.

Мистер Люис и Джорж Эллиот уже ждали меня и любезно вышли мне навстречу. Я должна сознаться, что при первом взгляде на Джоржа Эллиота во мне возникла смутная, отчаянная надежда, что я ошибаюсь,

что это не она, а другая: до такой степени показалась она мне стара, дурна, а главное, так не похожа на тот образ, который я в воображении составила себе о ней. Я никогда перед тем не видела ее портрета; м-р Ральстон, говоря о ней, отзывался о ней так, что она, разумеется, вовсе не красива, но что у ней очень хорошие глаза и волосы и что она вообще необыкновенно симпатична. В моем воображении, как-то незаметно для меня самой, сложился очень определенный, рельефный образ идеальной Джорж Эллиот. Но, увы, теперь вдруг оказалось, что образ этот нисколько не походит на действительность. Небольшая худощавая фигурка с непропорционально большою, тяжелою головой, рот с огромными, выдающимися вперед «английскими» зубами, нос хотя и правильного, красивого очертания, но слишком массивный для женского лица, какая-то старомодная, странная прическа, черное платье из легкой полупрозрачной ткани, выдающее худобу и костлявость шеи и резче выставляющее на вид болезненную желтизну лица, — вот что, к ужасу моему, представилось мне в первую минуту. Я еще не успела опомниться от моего замешательства, когда Джорж Эллиот подошла ко мне и заговорила своим мягким, чудным, бархатным голосом. Первые звуки этого голоса вдруг примирили меня с действительностью и возвратили мне мою Джорж Эллиот, *ту*, которая жила в моем воображении. Никогда в жизни не слыхала я более мягкого, вкрадчивого, «чарующего» голоса. Когда я читаю известные слова Отелло о голосе Дездемоны, мне всегда невольно вспоминается голос Джоржа Эллиота [11].

Она усадила меня на маленьком диване рядом с собою, и между нами вдруг совершенно естественно завязался такой искренний, простой разговор, как будто бы мы уже были давнишними знакомыми. В настоящую минуту я не могу даже припомнить, о чем именно мы говорили при этой первой нашей встрече; я не могу сказать, было ли что-либо очень умное или оригинальное в том, что она говорила, но я знаю, что не прошло и получаса, как я уже совершенно поддалась ее обаянию, как я уже чувствовала, что ужасно люблю ее и что настоящая Джорж Эллиот в десять раз лучше и прекраснее моей воображаемой. Я решительно не в состоянии описать и объяснить, в чем именно заключалось то своеобразное, бесспорное обаяние, которому невольно подчинялся каждый, кто только ни приближался к ней. Я думаю, было бы совершенно невозможно объяснить это человеку, самому не испытавшему чего-либо подобного; но, наверное, каждый, сколько-нибудь близко знавший Джоржа Эллиота, подтвердит мои слова. Тургенев, который, как известно, был большой поклонник и ценитель женской красоты, говоря со мною раз о Джорже Эллиоте, выразился о ней так: «Я знаю, что она дурна собою, но когда я с ней, я не вижу этого». Он говорил также, что Джорж Эллиот первая заставила его понять, что можно без ума влюбиться в женщину безусловно, бесспорно некрасивую [12].

Что касается меня, то каждый раз впоследствии, когда я после некоторого отсутствия опять встречалась с нею, я неизменно поражалась ее наружностью и говорила себе: «нет, она действительно очень дурна», но

не проходило и получаса, как я уже сама удивлялась, как это я когда-либо могла находить ее безобразною.

Все знавшие Джоржа Эллиота всегда вспоминают ту особую прелесть, то особое наслаждение, которое испытывали при разговоре с нею. Между тем мне очень редко приходилось слышать, чтобы кто-нибудь припоминал что-либо особенно глубокое, оригинальное или остроумное из всего сказанного ею. Так называемых bons mots * она никогда не говорила, рассказчица была плохая и в общем разговоре тоже мало выделялась, даже редко принимала в нем участие. Зато она в высшей степени владела искусством, так сказать, втягивать человека в разговор; она не только на лету ловила и угадывала мысли того лица, с которым говорила, но словно подсказывала их ему, как бы бессознательно руководила ходом его мысли. «Я никогда не чувствую себя таким умным и глубоким, как во время разговора с Джоржем Эллиотом», — сказал мне однажды один наш общий приятель, и я должна признаться, что сама не раз испытала то же самое. Может быть, именно в этом-то ощущении легкости мысли и довольства собою, которые она бессознательно заставляла возникать в душе своего собеседника, и заключался главный секрет ее обаятельности.

Что касается мистера Люиса, то это был живой, сухощавый, подвижной человек, принадлежащий к тому типу людей, возраст которых очень трудно определить, которые старообразны в двадцать и моложавы в пятьдесят лет. Пресловутой английской степенности и замкнутости мало было в этом живом человеке, который, казалось, минуты не мог посидеть на месте спокойно, у которого во время разговора так и прыгали в дополнение к словам и глаза, и руки и словно передергивалась каждая жилка на его некрасивом, сморщенном лице. Люис был тоже очень дурен собою, но у него было именно так называемое умное безобразие, с которым легко свыкнуться и примириться. Он говорил охотно и много; любил рассказывать и при случае пооcтрить; разговор его вообще был интересен и оригинален и обличал в нем большую начитанность. Он с каким-то детским любопытством и простодушием расспрашивал меня о том, ценят ли в России произведения его жены и его собственные. Он решительно пришел в восторг, когда я сообщила ему, какой успех имела у нас «Физиология обыденной жизни» [13], пользовавшаяся в то время особенною популярностью, и рассказала ему шутя, что стоит у нас барышне прочесть эту книгу или даже попросту украсить ею свой письменный стол, чтобы тотчас же прослыть современной и развитой.

Услышав это, он так и залился самым искренним, веселым и простодушным смехом; но зато его, по-видимому, очень опечалило, когда на его вопрос, читала ли я его роман «Ранторп» [14], я принуждена была ответить отрицательно [15].

* острые словечки (*франц.*).

Трудно представить себе больший контраст, чем тот, который представляли собою Люис и Джорж Эллиот. Она — натура замкнутая, чуткая до болезненности ко всякому диссонансу, всегда живущая в каком-то собственном, ею созданном мире и способная впадать в грубейшие промахи и ошибки при всяком столкновении с действительностью; он же, наоборот, весь отдающийся впечатлению данной минуты, с настойчивою потребностью немедленной, кипучей деятельности, с удивительнейшею способностью охватывать умом вещи наиболее разнородные и без всякого, по-видимому, усилия перескакивать с одного предмета на другой и тотчас же популяризировать и облекать в вещественную, осязательную форму понятия наиболее отвлеченные, — трудно и представить себе две натуры, обе самобытные и даровитые, но более противоположные друг другу, чем они. В данном случае не может быть и сомнения, что именно эти-то противоположности подействовали крайне благотворно на развитие таланта обоих. Люис с каким-то даже наивным преувеличиваньем любил выставлять на вид превосходство Джоржа Эллиота и ее безусловное влияние на него. С другой же стороны, не может быть сомнения, что именно эти-то не свойственные ей самой качества или недостатки Люиса послужили, так сказать, первым толчком для развития таланта Джоржа Эллиота. Она принадлежала именно к тем натурам, у которых чуткость и критика способны развиться до болезненности, до загубления всякого творчества. Сойдись она в молодости с человеком, более похожим на нее самою, обоим угрожала бы опасность замкнуться в себе, не высказаться вовсе из боязни высказаться не вполне, опошлить свою задушевную мысль. Но для психолога интересно было бы знать, как сказывалась эта противоположность натуры на частной, личной жизни обоих. Страстная, не вполне свободная даже от склонности к сантиментальности и расплывчатости, Джорж Эллиот не могла не страдать от легкости, подвижности, иногда поверхностности натуры Люиса; он же, с своей стороны, уж наверное возмущался не раз против того нравственного гнета, который она бессознательно налагала на него.

Вообще вся история Люиса и Джоржа Эллиота представляет чрезвычайно интересный психологический этюд.

Джорж Эллиот — мисс Иванс[16] — происходила, как известно, из небогатого, но очень почтенного семейства мелкой английской буржуазии, принадлежала, следовательно, к наиболее консервативной, узко-мещански-моральной среде, какая, может быть, существует во всем мире. В этой среде она взросла, воспиталась и прожила в ней, разумеется, не без внутреннего протеста, но, во всяком случае, без всякой решительной попытки вырваться из нее до тридцати двух лет, т. е. до возраста, когда, по старым понятиям, жизнь женщины уже почти кончена. Быть может, она и теперь не вырвалась бы из этой среды, если бы внешние обстоятельства (смерть отца, распадение семьи и необходимость зарабатывать себе собственный кусок хлеба) не вытеснили ее оттуда почти насильственно. И вот, после такого воспитания, после таким образом проведенной молодости мисс Иванс, начав свою литературную карьеру писанием

критических статей в «Westminster Review», сходится с Люисом, человеком женатым, но разошедшимся с женою, сначала дружится с ним, как с добрым приятелем, товарищем по ремеслу, с которым можно весело и без стеснения пошутить и посмеяться, пойти вместе в театр, убить свободный от работы вечер. Он представляет из себя даже в известной степени род chaperon * в ее одинокой лондонской жизни; и так и все окружающие смотрят на их отношения, никому и в голову не входит, что тут может быть что-либо другое. Но вдруг отношения меняются. Ко всеобщему ужасу и удивлению, она уезжает с Люисом за границу, начинает жить с ним открыто и публично объявляет себя его женою, несмотря на существование другой, законной, хотя и покинувшей семью, мистрис Люис, т. е. решается на шаг, который сразу и безвозвратно ставит ее в разрез со всем ее прошлым и навсегда исключает ее из ряда «порядочных» женщин. Факт этот, сам по себе, у нас в России и в наше время, разумеется, не представлял бы из себя ровно ничего необычайного и любопытного, но чтобы оценить весь его психологический интерес, не надо забывать, что он происходил 35 лет тому назад в Англии, в стране, где общественное мнение действительно представляет из себя всесильного божка, строго и беспощадно карающего каждого, кто дерзнет пойти наперекор его безапелляционным постановлениям.

И вот что всего страннее: чем ближе изучаешь характер Джоржа Эллиота по ее сочинениям, тем труднее становится понять и уяснить себе психологическую подкладку этого факта. Первое, что приходит на ум при подобных обстоятельствах, это, разумеется, сослаться на страсть. Когда в дело замешается страсть, то всякое противоречие становится естественным, всякая непоследовательность логичною; всеподавляющая и всепоглощающая важность и значительность данной минуты, в глазах действующего лица, вполне затемняет и заслоняет для него как прошедшее, так и будущее, поэтому всякие дальнейшие объяснения становятся излишними. Вот вследствие этого, когда читаешь, например, романы Жорж Занда и вдумываешься в ее биографию, то после первого невольного изумления, которое испытываешь перед некоторыми фактами в ее жизни, потом уже ровно ничему не удивляешься; все начинает казаться вполне понятным и естественным, лишь только проникнешься тою интенсивностью жизни, тою необузданностью желания, которые должны были переполнять все ее существо в иные минуты ее жизни и перед которыми бледнели все обычные соображения.

Но совершенно иное дело относительно Джоржа Эллиота. Именно страсть, нерассуждающая, нелогичная страсть чужда, по-видимому, ее натуре, по крайней мере, если судить по ее сочинениям. Их основная нота, их вечно возвращающийся мотив состоит в глубоком, прочувствованном признании единства всей цепи человечества, ничтожества всякой отдельной личности, лишь только она пытается вырваться из этой цепи,

* Спутник, сопровождающий женщину для предохранения ее от неприятностей (*франц.*).

и ее важности и значения, когда она подчиняет свои действия, желания общей воле, живет общею жизнью. Читая романы Джоржа Эллиота, очень трудно представить себе, чтобы она сама когда-либо испытала минуту той одуряющей страсти, под влиянием которой вся жизнь может вдруг, неожиданно для самого человека, сложиться наперекор всем преднамеренным его действиям, в разрез со всем его прошлым. Сознание, что собственная жизнь сложилась под влиянием такой минуты, не могло бы пройти бесследно для такого правдивого наблюдателя, строго и беспощадно анализирующего жизнь и самого себя, каким она постоянно является нам. Это сознание нарушило бы ту строго продуманную, цельную, несколько суровую гармонию, которая составляет сущность всего ее миросозерцания и весь жизненный смысл ее произведений.

Еще одно обстоятельство может служить почти несомненным признаком того, что Джорж Эллиот решилась *обдуманно* связать свою жизнь с жизнью Люиса и что для нее самой все было ясно в ее поступках: это обстоятельство именно то, что этот ее шаг нисколько не отразился на ее литературных произведениях, что ни в одном из ее романов нельзя найти положения, сколько-нибудь похожего на ее собственное. В первую минуту такое суждение может показаться, пожалуй, странным и парадоксальным, но я думаю, что оно несомненно верно. Никогда не испытывает человек такой потребности рассказать свои поступки, объяснить их другим, как именно тогда, когда они для него самого являются странною неожиданностью. А если это так для обыкновенного человека, то уж несомненно должно быть еще более верно для писателя, которого уже по самому ремеслу его должно раздражать все необъясненное, противоречивое в человеческой природе.

Возьмите, например, Жорж Занд и Альфреда Мюссе [17]. Их роман действительно можно назвать цепью противоречий, а главное, рядом неожиданностей для них же самих. Да и самая завязка романа произошла как бы наперекор всякой логике. Он всю свою жизнь смеялся над женщинами-писательницами, боялся их хуже огня и воспевал воздушную блондинку, живущую данною минутой и не признающую других законов, кроме законов собственной фантазии. Она глубоко презирала нервных, слабохарактерных кутил; ее идеал был человек с непреклонным характером, с титаническими, но подавленными железною волей страстями; и вот судьба свела их и как бы в насмешку заставила их влюбиться друг в друга. Оба, несомненно, были люди с душою благородной, с чуткими, тонкими чувствами, тем не менее, вся кратковременная история их любви полна таких странных несообразностей, перед которыми остановились бы даже люди очень грубые и развращенные. И вот, несмотря на то, а может быть именно вследствие того, что история их такая нелепая, так мало делает чести и тому, и другому, оба внезапно охватываются точно каким-то зудом поскорее рассказать, оповестить эту историю всему миру. И уж, конечно, ими руководило при этом не одно только желание восстановить свою репутацию, очистить себя в глазах других. Самое простое соображение показало бы им, что таким путем

они уж наверное не достигнут цели и никого не обманут; что самое выгодное для каждого из них — это молчать, хотя бы уже из-за одного того, чтобы не вызвать другого на разоблачения. Но именно молчать-то они и не могли в ту минуту. Самое важное для них было разъяснить самим себе свои «неожиданные» поступки; а главное, они не могли писать ни о чем другом, так как все остальное в мире внезапно утратило всякий интерес, и только и было для них важного и значительного, что та горячка, которая внезапно охватила их, перевернув вверх дном все установившееся их миросозерцание [18].

Совсем другое дело Джорж Эллиот. Ни в одном из ее романов не находим мы ни одного положения, сколько-нибудь напоминающего ее собственное. А между тем, никак нельзя согласиться, чтоб она принадлежала к числу писателей, черпающих свое вдохновение только из наблюдений над другими. Можно даже сказать наоборот, что хотя ни одна из ее героинь не срисована с нее самой, но в каждой из них можно, при внимательном изучении, найти следы ее, ею продуманного и прочувствованного. Ее детство подробно рассказано в «Мельнице на Флосе»; ее собственная порывистость, недоверие к себе, постоянное разочарование при столкновении с действительностью нашли себе отголосок в Доротее в «Миддельмарче». Даже и те мелкие уколы, которые наносились в молодости ее тщеславию вследствие ее некрасивой наружности, и те нетрудно угадать по ее романам; только этот самый важный шаг ее жизни прошел, по-видимому, совершенно бесследно для ее литературных произведений. Я думаю, это можно объяснить только тем, что в этом своем поступке она не испытывала ни малейшей потребности ни оправдаться, ни объясниться: таким простым, неизбежным казался он ей. И действительно часто так бывает в жизни: иной поступок, иное решение представляется посторонним ужасно сложным; кажется, что нужно было иметь нивесть сколько мужества и решимости, чтобы пойти на него. Для самого же действующего лица все произошло так просто и естественно, что и рассказывать об этом нечего.

Все английское общество было, разумеется, крайне возмущено поступком Джоржа Эллиота и вначале решилось вполне игнорировать ее. Впоследствии ей удалось, однако, до известной степени пересилить даже английские предрассудки и завоевать себе очень видное место в лондонском обществе. До самого конца ее жизни находились, однако, люди, не прощавшие ее исключительного положения, и ее самолюбию наносились иногда очень чувствительные уколы [19]. Если бы уколы эти были направлены только со стороны так называемого лондонского high life'а *, то они были бы вполне понятны, и, я думаю, она сама могла бы вполне примириться с ними; но она не могла оставаться столь же равнодушною, когда даже со стороны ученых, со стороны представителей свободной мысли в Англии встречала относительно себя такие же проявления лицемерия и непоследовательности; так, например, многие из выдающихся

* высшего света (*англ.*).

ученых и литераторов, встречаясь с Люисами где-нибудь на континенте, очень ухаживали за ними, дорожили их обществом, но по возвращении в Лондон прерывали с ними всякое знакомство; другие сами охотно посещали дом Люисов, но не решались ввести в него своих жен и дочерей. Всякий подобный факт, а их встречалось немало в ее жизни, глубоко печалил бедную Джорж Эллиот. Но все эти мелкие уколы самолюбия обильно вознаграждались для нее тою безграничною преданностью, тем восторженным почитанием, которое она умела внушить довольно многочисленному кругу своих близких друзей. Действительно, мало женщин имели счастье встретить в жизни столько глубокой, исключительной и постоянной привязанности, как она.

Люисы вели вообще жизнь довольно уединенную; только по воскресеньям, от двух до пяти, принимали они всех своих знакомых, и эти воскресные приемы становились, разумеется, все известнее и многолюднее по мере того, как росла литературная слава хозяйки дома. Однако же до самого конца они не утратили своего характера интимности и непринужденности, и хотя в гостиной Люисов можно было под конец их жизни встретить цвет всего английского ученого и литературного общества, так сказать, букет знаменитостей, но каждый, даже самый темный посетитель чувствовал себя в ней совсем на своем месте, не испытывая ни малейшего стеснения. Каждый, кто имел случай присутствовать на одном из этих приемов, наверное сохранил о нем приятное воспоминание. Противуположность характеров Люиса и Джоржа Эллиота никогда не сказывалась так ярко, как в то время, когда они принимали гостей. Люис все время расхаживал по комнате, переходя от одного посетителя к другому, жестикулировал, каждому находил что-нибудь сказать особенно для него приятное и интересное, и все лицо его сияло милым, нескрываемым удовольствием, когда он видел, что разговор идет живо и гостям весело. Джорж Эллиот, наоборот, никогда не нарушала своего обычного спокойствия. На своем неизменном месте, словно затерянная в большом вольтеровском кресле, защищенном от лампы темным абажуром, она обыкновенно вся посвящала себя какому-нибудь одному избраннику, как бы забывая, что она хозяйка этой гостиной. Если разговор становился для нее интересным, ей случалось так увлекаться им, что и не замечать входа новых гостей, и потом вдруг удивляться, когда взгляд ее случайно падал на какое-нибудь новое лицо, которое, может быть, уже с полчаса как раскланялось с нею [20].

Одним из самых верных посетителей этих воскресных приемов и одним из самых преданных друзей Джоржа Эллиота был Герберт Спенсер [21]. Здесь имела и я случай познакомиться с ним, и я должна сознаться, что наше знакомство состоялось довольно оригинальным образом.

Это было в одно из следующих воскресений после моего первого визита у Джоржа Эллиота. В гостиной ее уже было собрано человек 12 гостей. Общество было довольно смешанное; был, помнится, какой-то молоденький лорд, только что вернувшийся из дальнего путешествия в какую-то малоизвестную страну, несколько музыкантов и живописцев [22], еще две или

три личности, не имевшие, как кажется, определенной специальности; из дам, кроме меня, находилась всего только одна, очень молоденькая жена одного из присутствовавших живописцев. Как я уже сказала, из числа дам «порядочного» английского общества немногие решались показываться в гостиной Джоржа Эллиота. Мистер Люис представлял мне каждого нового посетителя и обыкновенно сообщал мне даже все те стороны, которыми новое лицо могло заинтересовать меня. Я находилась уже некоторое время в гостиной, когда в комнату вошел старичок с седыми баками и типическим английским лицом. На этот раз никто не назвал мне фамилию вошедшего, но Джорж Эллиот тотчас же обратилась к нему:

— Как я рада, что вы пришли сегодня, — сказала она. — Я могу вам представить живое опровержение вашей теории — женщину-математика.

— Позвольте вам представить моего друга, — продолжала она, обращаясь ко мне, но все же не называя его имени. — Надо вас только предупредить, что он отрицает самую возможность существования женщины-математика. Он согласен допустить, в крайнем случае, что могут время от времени появляться женщины, которые по своим умственным способностям возвышаются над средним уровнем мужчин, но он утверждает, что подобная женщина всегда направит свой ум и свою проницательность на анализ жизни своих друзей и никогда не даст приковать себя к области чистой абстракции. Постарайтесь-ка переубедить его.

Старичок уселся рядом со мною и посмотрел на меня с некоторым любопытством. Я совсем не подозревала, кто он такой, тем более, что во всей его манере ровно ничего не было «внушительного». Разговор перешел на вечную, нескончаемую тему о правах и о способностях женщин и о том, будет ли вред или польза для всего человечества вообще, если большое число женщин посвятит себя изучению наук. Мой собеседник сделал несколько полуиронических замечаний, которые, как я теперь могу судить, были главным образом рассчитаны на то, чтобы вызвать меня на возражения. Я должна сказать, что мне в то время еще не было двадцати лет; те немногие годы, которые отделяли меня от детства, я провела в постоянной домашней борьбе, отстаивая свое право предаться любимым занятиям; немудрено поэтому, что я испытывала в ту пору к так называемому «женскому вопросу» весь восторженный пыл неофитки и что всякая застенчивость пропадала, когда мне приходилось ломать копье за правое дело. К тому же, как я уже заметила, мне и в ум не приходило, с каким противником мне приходится состязаться, да и Джорж Эллиот, со своей стороны, делала все от себя зависящее, чтобы подзадорить меня на спор. Это было делом далеко не трудным. Увлеченная спором, я вскоре забыла все окружающее и в ту минуту даже и не заметила, как все остальные гости смолкли мало-помалу, прислушиваясь с любопытством к нашему разговору, который становился все оживленнее.

Добрых три четверти часа длился наш поединок, прежде чем Джорж Эллиот решилась прекратить его.

— Вы хорошо и мужественно защищали наше общее дело, — сказала она мне, наконец, с улыбкой, — и если мой друг Герберт Спенсер все еще

не дал переубедить себя, то я боюсь, что его придется признать неисправимым.

Тут только узнала я, кто был мой противник, и можно представить себе, как я сама изумилась собственной храбрости[23].

По окончании моих каникул я вернулась в Берлин[24] и в течение нескольких последующих лет мне не приходилось лично встречаться с Джорджем Эллиотом[25]. Все наши сношения ограничивались тем, что мы обменивались поклонами и приветствиями через посредство общих знакомых; но в ноябре 1880 года мне снова представился случай побывать в Лондоне. Однако на этот раз я не торопилась возобновить мое знакомство с знаменитою писательницей, а напротив, откладывала посещение ее со дня на день, пока мне не сказали, наконец, что она знает о моем приезде от общих знакомых и обидится, если я не навещу ее.

Причина того нежелания и страха, которые овладевали мною при мысли увидеть снова Джоржа Эллиота, заключалась в следующем: большие перемены произошли за это время в ее жизни. Люис скончался, и не прошло и года после его смерти, как все друзья и почитатели Эллиота были поражены известием о ее вторичном браке с тридцатилетним мистером Кроссом, тогда как ей самой было уже шестьдесят.

Я должна признаться, что на меня лично это известие произвело крайне тяжелое впечатление. Джорж Эллиот была окружена в моих глазах таким ореолом величия и поэзии, что я решительно не могла примириться с мыслью о необходимости если не вполне развенчать мой идеал, то уж, во всяком случае, на несколько ступеней опустить его пьедестал. Вот почему я так боялась увидеть Джоржа Эллиота в ее новом положении и так откладывала наше свидание. Шестидесятилетняя старуха, выходящая замуж за человека вдвое ее моложе, — действительно, нелегко принять подобный факт и примириться с ним.

Я вовсе не намерена подыскивать здесь какое-нибудь объяснение этому странному событию, еще менее входит в мои намерения оправдывать подобные браки вообще, но правдивость заставляет меня сознаться, что, несмотря на то предубеждение, с которым я шла к Джоржу Эллиоту, лишь только я увидела ее вместе с ее вторым мужем, их союз внезапно показался мне совершенно в ином свете и я перестала находить в нем что-либо ужасное и возмутительное. Я поняла, почему и другие друзья Джоржа Эллиота так скоро и так вполне примирились с этим фактом в ее жизни.

Объяснить это, вероятно, можно тем, что оба, и он, и она, казалось, и не замечали вовсе, что в их взаимном положении есть что-то неестественное, и оба были так искренне, так просто, так хорошо счастливы. Когда человек *действительно* счастлив, другие угадывают это чутьем. Подделаться под счастье, разыграть роль счастливого очень трудно. Истинное счастье, такое счастье, которое убивает всякое тщеславие, которое удовлетворяется самим собою, не заботясь о том, чтобы заставить других признать себя, и не смущаясь насмешками посторонних, — это вещь такая редкая и такая завидная, что невольно преклоняешься перед ним, в какой



С. В. Ковалевская
(1870-е годы)



Джордж Элиот



С. В. Ковалевская
и А.-К. Леффлер
(1885)

бы странной, необыденной и непривычной форме ни встретилось оно в жизни. И Джорж Эллиот со своим вторым мужем именно были счастливы таким образом. Я знаю, многие приезжали к ним в первый раз в полной уверенности, что увидят что-то странное, ненормальное, уродливое, смешное, но затем, проведя несколько часов в обществе этих двух милых людей, за серьезною задушевною беседой, в атмосфере тихого, ровного довольства и обоюдной искренности, уезжали совсем с иным чувством и даже, наоборот, не без затаенной зависти говорили себе: «Что за славные, счастливые люди и как им хорошо живется!»

Джорж Эллиот очень мало переменилась за те семь лет[26], которые прошли с нашей первой встречи. Это была все та же худощавая, некрасивая женщина с болезненным, добрым, серьезным лицом, вдумчивыми, лучистыми глазами и удивительно приятным голосом, как и прежде. Она показалась мне даже моложавее, чем в первый раз. Главное, в ней незаметно было ни малейшего желания молодиться, ни тени беспокойства или заботы о своей наружности, и она уже вовсе не походила на ту «влюбленную старуху», которая невольно рисуется в воображении, когда идет речь о таких неровных браках, как ее.

Что касается мистера Кросса, то это был в то время очень красивый молодой человек, лет тридцати с небольшим и с наружностью чистейшего англо-саксонского типа: высокая, стройная, хотя и мускулистая фигура, светло-каштановые, слегка вьющиеся волосы, правильные тонкие черты и чудеснейший, чисто английский цвет лица. Больше всего поражали в нем, однако, карие глаза, удивительно добрые, простодушные и преданные, как у большой ньюфаундлендской собаки, и рот, который по своему тонкому очертанию и нервному подергиванью губ скорее шел бы к женскому лицу и как-то даже противоречил вполне здоровому, откровенному выражению всей остальной фигуры. На меня мистер Кросс произвел впечатление натуры очень искренней, очень чуткой ко всему прекрасному, но лишенной способности самому воплотить свой идеал, выразить его словами или вообще придать ему какую бы то ни было осязательную форму, зато тотчас же подмечающий и ценящий эту способность у других. Я прибавлю еще, что мистер Кросс принадлежит к очень хорошему семейству и сам обладает вполне независимым состоянием, вследствие чего Джорж Эллиот завещала свое состояние, все без раздела, детям Люиса[27] от его первой жены. Мать и сестры Кросса не только не противились его браку с Джоржем Эллиотом, но, напротив, с распростертыми объятиями приняли ее в свою семью. Мне рассказывали тоже люди, близко знающие их, что Кросс еще совсем молоденьким мальчиком познакомился с Джоржем Эллиотом, полюбил ее с первого раза и в течение целых десяти лет был верен своему идеалу[28].

Джорж Эллиот после своей свадьбы переехала в другое помещение[29]. Та комната, в которой она теперь приняла меня, была замечательно уютная, как бы располагающая к тихим, задушевным разговорам. Полукабинет, полубиблиотека, с несколькими мягкими, очень спокойными креслами и с массою книг и эстампов на столе, на полках, на висячих этажер-

ках, занимающих всякий свободный простенок, — эта комната представляла несравненно более подходящую рамку для всей ее фигуры, нежели тот нарядный, банальный салон, в котором я увидела ее в первый раз. Она сказала мне, что эта комната их любимая в доме и что здесь они с мужем проводят весь день, читая, работая или разговаривая. Действительно, она со своим мужем производили впечатление двух добрых товарищей, у которых общие вкусы, общие привычки, общие занятия и из которых младший беспредельно восхищается старшим.

Разговор наш сначала касался литературы вообще, затем перешел на романы самой Джорж Эллиот. Она рассказала мне, что каждый раз, когда она начинает печатать новый роман, ее осаждают массами писем от совершенно незнакомых ей лиц; иные из не известных ей корреспондентов подают ей советы, как дальше вести интригу, выражают свои желания насчет того, как должно развязаться то или другое усложнение; другие же объявляют ей, что узнали самих себя или своих знакомых в ее героях или героинях.

— Так, например, когда я печатала «Миддельмарч» [30], — сказала она, — три молодые дамы сделали лестное для меня признание, что я угадала их самые сокровенные мысли и вложила их в уста моей Доротеи. Я попросила каждую из этих интересных дам прислать мне свою фотографию; увы, как мало походили они, по крайней мере, по наружности, на мою героиню, какою я сама воображала ее себе. Нашелся тоже один счастливый папаша, который написал мне, что я верно где-нибудь встречала его двух дочек, иначе не могла бы так верно и метко обрисовать эгоистичную Розамунду.

Я позволила себе заметить Джоржу Эллиоту, что меня всегда поражала одна черта в ее романах: все ее герои и героини умирают слишком кстати, именно в тот момент, когда психологическая завязка усложняется до крайнего напряжения, когда читатель хочет знать, каким образом распутает жизнь последствия того или другого поступка; вдруг является смерть и узел развязывается сам собою.

Возьмем, например, «Мельницу на Флоссе». Очень легко можно понять, что Магги, в момент восторга, в момент бессознательного влечения к самопожертвованию, могла отказаться от собственного счастья, от собственной любви, чтобы спасти счастье и любовь своей кузины. Никогда так не легко жертвовать собою, как именно в те минуты, когда человек подавлен, ошеломлен огромным, неожиданным счастьем. В такие минуты страдание представляется столь отдаленным, столь призрачным, в форме, так мало похожей на действительность, что жертва вполне возможна. Но останется ли Магги верна своему самобичеванию, когда за моментом экстаза последует неизбежный период реакции и ослабления? Устоит ли она в течение долгого ряда недель, месяцев, лет одинокого, всеми покинутого существования, однообразию которого ниоткуда не предвидится конца? Когда ее жертва действительно примет осязательную форму, когда она увидит, что ей на самом деле удалось оттолкнуть от себя своего любовника, и когда ей, в свою очередь, придется испыты-

вать муки ревности, не овладеет ли ею тогда безумное, неудержимое желание счастья, не раскается ли она в своей жертве и не захочет ли во что бы то ни стало вернуть прошлое? А если она устоит, несмотря ни на что, и останется до конца верна своему самопожертвованию, какою сделается она сама после такого страшного, превышающего человеческие силы испытания? Я хочу видеть Магги после борьбы, я хочу знать, облагораживает ли действительно самопожертвование, или же человек не может убить страсть в своем сердце иначе, как загубив в то же время все, что было живого, человеческого в его природе, так что из борьбы выходит победителем уже не живой человек, а какой-то фанатик, столь же бесчувственный к собственному страданию, как и к радости и к страданию других людей. Вот что интересует меня в этом романе, вот на какие вопросы хочу я ответа. Но взамен этого является наводнение, и громадная черная волна, уносящая с собою и Магги, и ее брата, разрешает в один миг все их сомнения, кладет конец их борьбе и дает им окончательное примирение.

В других романах Джоржа Эллиота повторяется приблизительно то же самое. В «Миддельмарче» несносный мистер Казабон умирает как раз в пору, когда бедная, восторженная Доротея еще не успела утратить ни молодости, ни свежести, ни красоты за служением тому бесплодному, никому не нужному делу, к которому она в порыве необдуманного самопожертвования приковала себя. А что было бы, если бы он прожил еще лет двадцать, например, и умер как раз тогда, когда у Доротеи не остается уже ни сил, ни возможности быть счастливою самой и сделать другого счастливым, а остается только еще достаточно жизненности, чтобы оплакивать свое даром загубленное существование? В «Даниель Деронда» опять та же история: муж Гвендолины пользуется простою прогулкой в лодке, чтобы утонуть как раз в тот момент, когда их супружеская жизнь сделалась уже совершенно невозможною и когда читатель с любопытством и интересом ожидает, на что решится Джорж Эллиот, чтобы выпутать свою бедную героиню из того тяжелого положения, в которое завлекло ее малодушие и тщеславие. Всюду одно и то же. Смерть всегда является общею примирительницей и разрешительницей всех узлов, затянутых человеческими страстями.

Все это высказала я Джоржу Эллиоту; она выслушала меня очень серьезно и затем возразила мне следующее:

— В том, что вы говорите, есть доля правды; но я спрошу вас только об одном: неужели вы не замечали, что в жизни действительно так бывает? Я лично не могу отказаться от убеждения, что смерть более логична, чем обыкновенно думают. Когда в жизни положение становится уж чересчур натянуто, когда нигде не видать исхода, когда обязанности самые священные взаимно противоречат одна другой, тогда является смерть, внезапно открывает новые пути, о которых никто и не думал прежде, и примиряет то, что казалось непримиримым. Сколько раз случалось уже, что доверие к смерти придавало мне мужество жить.

Впоследствии мне часто вспоминался этот разговор с Джоржем Эллио-

том. Ему суждено было быть одним из последних, так как две недели спустя она скончалась совершенно неожиданно, после нескольких часов болезни [31]. Смерть действительно оправдала ее доверие. Она пришла для нее столь же неожиданно, как и для ее героинь, и притом в тот самый момент, когда ей предстояло, по-видимому, разрешение трудной, быть может неразрешимой, задачи. У нее достало мужества стать самой в положение более трудное, более необычное, нежели то, в котором находилась какая-либо из ее героинь. Соединяя свою судьбу с судьбою человека вдвое ее моложе, она решилась на очень рискованный опыт. В данную минуту оба были счастливы, но могло ли это счастье продолжаться долго? Оказался ли бы талант в силах навсегда заставить забыть о разнице лет? Может ли поклонение таланту женщины наполнить жизнь мужчины и заменить для него другую, более обыденную привязанность? Вот какие дерзновенные вопросы задала Джорж Эллиот судьбе. Кто решится сказать теперь, какой бы ответ дала на них жизнь? Но смерть пришла вовремя; она обошлась нежно и милосердно с бедною женщиной; она унесла ее вдруг, почти не заставив ее страдать, в момент самой полноты ее нежданного, запоздалого счастья.

Часто потом вспоминались мне ее слова: «доверие к смерти придает мне мужество жить».

Три дня в крестьянском университете в Швеции [1]

«Господа путешественники в Упсалу, Мутталу, Терну, Вестерос!» [2], — провозглашает кондуктор, отворяя настежь двери железнодорожного вокзала в Стокгольме. Волна нетерпеливых пассажиров, уже с четверть часа переминающихся с ноги на ногу перед закрытыми дверями, заливает теперь крыльцо. На дворе чудное апрельское утро. Стеклянную крышу дебаркадера пронизывают лучи солнца, рассыпаясь местами разноцветною радугою. Впереди, через темную арку последних железнодорожных строений, виднеется кусочек неба, такой ослепительной синевы, что стоит взглянуть на него, и глаза тотчас заволакивает слезою.

На вокзале сегодня необычайное оживление. Пассажиры снуют и торопятся, разыскивая себе места в набитых битком вагонах. Носильщики силятся протиснуть в верхние сетки целые горы чемоданчиков, пледов и узлов. Отовсюду слышатся сердитые возгласы и нетерпеливые протесты. Но вот, наконец, суетня улеглась понемногу. Всем удалось кое-как разместиться. Дверцы захлопнулись. Через открытые окна просовываются руки для последнего, торопливого пожатия. Локомотив начинает пыхтеть и размахивать своими тяжелыми крыльями и длинный поезд трогается с места, сначала медленно, но постепенно прибавляя ходу.

Пока вокзал не исчезает из глаз, все мелькает на нем ряд белых платков, усердно размахиваемых по воздуху в знак прощания густой толпой провожающих, так как нет, кажется, страны в мире, где бы обыкновение провожать своих друзей на железную дорогу было так развито, как в Швеции. Каждого, кто уезжает даже на короткое время, провожают обыкновенно не только все домочадцы, но и масса знакомых, так что на вокзале бывает всегда масса посторонней публики.

В обыкновенное зимнее время на этой железнодорожной линии, ведущей из Стокгольма во внутрь страны, нет большого движения; пассажиров бывает мало и весь поезд состоит из пяти-шести вагонов. Сегодняшнее оживление совершенно особенное: дело в том, что сегодня начинаются каникулы по случаю святой недели. Присутственные места закрылись на несколько дней; школы распустили учеников; риксдаг (парламент) прервал недели на две свои заседания.

В Стокгольме, как и во всех больших городах, трудящаяся часть населения состоит в значительной степени из элементов пришлых, не прикованных к столице навсегда и приехавших в нее лишь на время, на несколько месяцев или на несколько лет, для учения или ради заработка. У большинства из них еще сохранилась живая связь с провинцией; поэтому при наступлении как рождественских, так и весенних каникул из Стокгольма к провинции поднимается прилив путешественников и в это время все железнодорожные поезда бывают переполнены; а в нынешнем году прилив этот сильнее, чем когда-либо, благодаря ранней весне, которая так и тянет людей за город.

Много среди сегодняшней публики чиновников, студентов и литераторов. Но больше всего в ней членов парламента. Большинство этих последних — крупные землевладельцы или крестьяне и все они торопятся воспользоваться своими двухнедельными каникулами, чтобы заглянуть к себе домой и бросить хозяйский взгляд на поля и посевы. С этим поездом, первым после начала каникул, едет всегда так много депутатов риксдага (парламента), что он в шутку даже зовется «риксдагским». Всюду вокруг себя я вижу лица, хорошо знакомые мне по иллюстрированным журналам, всегда торопящимся воспроизвести на своих страницах черты всех сколько-нибудь выдающихся членов парламента. Вагоны первого класса заняты по преимуществу членами первой камеры, в которой заседают почти исключительно крупные земельные собственники. Вторая камера состоит из элементов гораздо более демократичных *. В настоящем году в ней особенно сильно представлена так называемая крестьянская партия.

* Ценз на право быть избранным в первую камеру сравнительно очень высокий: надо иметь не менее 4000 крон (около 2000 рублей) годового дохода. Члены избираются на девять лет земскими собраниями и городскими думами. Для права же избрания во вторую камеру требуется всего годовой доход в 800 крон (400 руб.) в год, причем выборы происходят путем прямой подачи голосов, на три года и полагая по одному кандидату на 60 000 сельского и на 10 000 городского населения (*прим. С. В. Ковалевской*).

В одном из вагонов третьего класса я замечаю несколько типических фигур в длиннополых коричневых кафтанах из грубого домотканого сукна, с шеями, повязанными бумажными платками в большую клетку, — обычный костюм дарлекарлийских крестьян. У всех у них наружность одного и того же типа — худые, костлявые лица, с высокими скулами, кажутся точно сделанными из серовато-желтой папки. У всех, даже у молодых, на щеках две глубоких впадины, вследствие привычки постоянно взасос тянуть трубку. Лоб у всех узкий и высокий, сплющенный на висках, волосы жидкие, прямые и подстрижены в кружок у самой шеи. У всех на лицах печать упрямства, а в маленьких, похожих на две щелки, водянисто-голубых глазах виднеется ум и хитрость. Не выпуская изо рта свои короткие деревянные трубки, только отплевывая время от времени чересчур едкий табачный сок, они все с видимым интересом прислушиваются к тоненькому, пискливому голосу, вылетающему из уст худого сухопарого старика, в котором общий дарлекарлийский тип сказывается еще сильнее, чем у остальных [3].

Теперь беседа идет о делах домашних, хозяйственных: «За сколько продали бычка?», «Когда начнете возить навоз?» Но вчера эти самые люди обсуждали важные государственные дела, и их голос решил исход баллотировки в одном из самых важных для шведской торговли вопросов: перед нами группа, известная в шведском парламенте под названием «Дарлекарлийцев», влиянию которой, главным образом, надо приписать то, что Швеция вдруг изменила своим прежним стремлениям к свободной торговле и вошла на путь протекционизма.

Старик с тоненьким, пискливым голоском, которого так внимательно слушают остальные, это Лисс-Улоф-Ларсон — личность такая популярная в Стокгольме, что о нем даже сложились песни, усердно распеваемые школьниками, — а уж это, разумеется, высшее доказательство известности.

Он один из богатейших крестьян Дарлекарлии, провинции, игравшей такую выдающуюся роль в истории Швеции и в которой сословие крестьян издавна достигло независимости и пользуется большим влиянием. Он владеет там значительным куском земли, а кроме того, уверяют, что в банке у него положен капитал миллиона в полтора крон. Возможно, однако, что эти рассказы преувеличены. Умный, хитрый мужик не прочь слыть за богача среди соседей и пользоваться соответственным уважением; но сам он никогда не болтает о своем состоянии. Сколько деньжонок накопилось в его кубышке путем многолетнего скопидомства, в точности не знает никто, всего менее его взрослые сыновья, которых он держит в черном теле. Он не дал им другого воспитания, кроме трехлетнего обязательного обучения в элементарной народной школе, заставляет их носить простую домотканую, крестьянскую одежду и ходить самим за сохою, ничуть не выделяясь от остальных батраков на его дворе. Его жена и дочери тоже одеваются простыми крестьянками и принимают участие в самых грубых деревенских работах: сами доят коров и прибирают за скотиной. Дома, в промежутке между двумя сессиями парла-

мента, Лисс-Улоф-Ларсон и сам ведет столь же суровую трудовую жизнь, как все его домочадцы. От его хозяйского взгляда не ускользает ни единая мелочь и без его ведома и разрешения не выдается ни единая копейка.

Обучался Лисс-Улоф-Ларсон лишь в народной школе, но природная смекалка и многолетний навык в парламентской жизни с избытком вознаградили недостаток первоначального образования. Говорит он в парламенте, правда, немного и нечасто, зато каждая речь, произнесенная его тоненьким, пискливым голоском, составляет чуть ли не событие. Его сухого юмора боятся все его противники, а его практический ум и ловкость заслужили ему такое уважение от всех его собратьев крестьян, что воля его во всей Дарлекарлии считается чуть ли не законом. Не его красноречия так боятся, однако, в парламенте. Сила его совсем не в этом, а в умении сводить счеты. В дело управления государственной казной он вносит всю мелочную бережливость, всю копеечную расчетливость старого скряги-мужика. Если в течение первой части парламентской сессии он держится в тени, зато когда наступает ежегодный срок составления государственного бюджета, сведения старых счетов, обсуждения новых проектов, требующих от государства новых затрат, — тут Лисс-Улоф-Ларсон выступает на первый план. С каждым, кто обращается к парламенту с требованием денежной помощи, будь ли то на военные цели или на построение новых дорог, на сооружение элементарных школ или на какое-либо научное предприятие, — Лисс-Улоф-Ларсон вступает в немилосердный торг.

С одинаковым ожесточением торгуется он с тем, кто просит скромной денежной субсидии в несколько тысяч крон, и с тем, кто излагает план обширного государственного преобразования, требующего миллионных затрат. Торгуется он по привычке, по принципу, исходя из предвзятого убеждения, что каждый готов запросить с казны лишнее и что если с ним поторговаться хорошенько, он сделает то же за полцены. Забавно бывает иногда видеть, как иной важный сановник или иной ученый профессор смиренно ухаживают за упрямым мужиком, шутливо излагают ему свои высокие теории и, корчась внутренно от досады, с приятной улыбкой на губах выслушивают его замечания и возражения.

Влияние крестьянской партии все растет, и число крестьян в шведском парламенте увеличивается с каждым годом. Если вопрос о народном образовании всюду составляет вопрос первой важности, то понятно поэтому, что в столь демократической стране, как Швеция, он стоит на первом плане.

Уже много раз приходилось мне слышать о так называемых крестьянских университетах в Швеции. И давно уже хотелось мне познакомиться поближе с этими заведениями. Поэтому, когда мне случилось в нынешнем году познакомиться с ректором одного из таких университетов и он предложил мне погостить у него несколько дней, я с благодарностью приняла его приглашение и решила воспользоваться первыми каникулами в нашем Стокгольмском университете, чтобы навестить моего

деревенского коллегу. Таким образом привелось мне попасть в нынешнем году на так называемый риксдагский поезд.

По железной дороге мне надо было ехать часов до пяти вечера, а затем продолжать мой путь еще часа три в экипаже. На маленькой станции Сале ждал меня тарантас, высланный за мною из школы. Возница мой, молодой красивый парень с волосами, похожими на светлую паклю, и с такими лазоревыми глазами, каких не увидишь нигде, кроме Швеции, оказывается учеником той школы, куда я еду [4]. На станции он подошел ко мне и, улыбаясь во все лицо широкой, ласковой улыбкой, подал мне большую мозолистую руку и с чувством пожал мою. Впоследствии я узнала, что известие о приезде стокгольмского профессора-женщины к ним в школу произвело некоторую сенсацию среди учеников и что они даже спорили между собой, который из них поедет встречать меня.

Каждый раз, когда мы наезжаем на камень или тарантас наш увязает в грязи, мой возница обращается в мою сторону и конфузливо улыбается, как бы извиняясь и за себя, и за лошадь, и за дорогу. Его смышленое, открытое молодое лицо мне чрезвычайно нравится и мне бы очень хотелось разговориться с ним, расспросить его о школе; но мы оба взаимно конфузимся друг друга и после нескольких неудачных попыток завязать интересный разговор — оба смолкаем и продолжаем свой путь в молчании, ограничиваясь тем, что приятно улыбаемся друг другу при каждом толчке.

Дорога наша идет в гору. Хотя, вообще говоря, проселочные дороги содержатся в Швеции отлично, однако сегодня, благодаря весенней распутице и глинистому свойству почвы, колеса с трудом месят густую, липкую кашицу, и мы подвигаемся шагом. Кругом нас обычный шведский пейзаж: невысокий сосновый или еловый лес, в котором изредка промелькнет белый, теперь еще голый ствол березки или заалеет красная, покрытая пушистыми шишечками, верба. То здесь, то там среди деревьев выступает серая скала, облепленная желтоватыми лишаями и темно-бурыми листьями прошлогоднего папоротника. Местами лес пересекается небольшими участками обработанной земли, среди которых красуется крестьянская усадьба, неизменно выкрашенная вся, — и стены, и крыша, — в ярко-красный цвет. Сёл, в нашем смысле слова, в Швеции нет совсем. Крестьяне селятся отдельными дворами, на некотором расстоянии друг от друга, и эти красные домики, разбросанные, словно громадные цветы мака, среди серых скал и темной зелени леса, придают всему ландшафту своеобразный характер. Вся местность имеет серый, холодный колорит. С болот и лугов поднимается желтовато-белый туман. Кое-где на дне овражков и в расщелинах скал виднеется еще прошлогодний грязноватый снег, так как климат здесь, внутри страны, гораздо суровее, чем в Стокгольме и вообще на прибрежье моря. Почва — на вид тощая и скупая. Она не расточает своих даров, и человеку приходится упорно бороться с ней, чтобы вырывать у нее какое-либо подаяние.

Едучи этой пустынной дорогой, в неприглядном полусвете холодных весенних сумерок, среди этого жидкого леса и тощих полей, мне даже

странно становится думать о цели моей поездки. Как могло развиться такое явление, как крестьянские университеты, в этой бедной, богом обиженной стране?

Но вот дорога круто повернула влево, и перед нами словно выросло из земли массивное каменное здание, окруженное большим садом. Это и есть самый университет. Он построен в 1876 году и постройка его, с землей, стоила 75 000 крон.

Вся семья ректора встречает меня на крыльце и приветствует очень радушно. Сам ректор, г. Голмберг [5], человек лет сорока; он имеет степень доктора философии от Лундского университета и издал в свет несколько сочинений по педагогии. Жена его [6], лет 35, еще хорошенькая белокурая женщина с круглым розовым лицом и с наивными, чисто шведскими, голубыми глазами. Она сестра известного шведского поэта Бота [7] и сама обладает некоторым литературным дарованием: написала несколько повестей из народного быта и издала в свет книжку стихотворений. Детей у них нет, но с ними вместе живут несколько молодых девушек, дальних родственниц. Я замечу мимоходом, что в Швеции вообще поражает то обилие барышень, которое встречаешь повсюду. Женщин в Швеции гораздо больше, чем мужчин, а кроме того, здесь очень принято, чтобы молодая девушка по достижении совершеннолетия уезжала на год или на два из родительского дома к дальним родственникам или просто к знакомым, чтобы посмотреть, как живут в других семьях, «людей повидать и себя показать». В доме каждого сельского священника или учителя вы почти наверняка встретите двух или трех молодых девушек, которые за небольшую месячную плату считаются временными членами его семьи, принимают участие во всех домашних делах и работах и приучаются к хозяйству под руководством госпожи пасторши.

Квартира ректора, чистенькая и уютная, носит на себе какой-то особый отпечаток старомодной домовитости. Гостиная, довольно большая комната, с огромной изразцовой печкой в углу, вся переполнена цветущими растениями и разными ненужными безделушками собственноручного изделия. Большой гарусный ковер на полу, бисерная подставка под лампой, груда вышитых подушек в углу дивана, расшитые разноцветными шелками антимакассары на спинках кресел — все это говорит красноречиво о длинных зимних вечерах, когда вся семья собирается вокруг общей лампы, о многолетнем ряде рождественских елок с их обязательными сюрпризами и подарками, о всем ходе мирной, созерцательной жизни в семье, где женский элемент преобладает, где никто никуда не торопится и у всех остается пропасть досуга на изготовление всякого ненужного, копотливого вздора.

В столовой уже ожидает нас ужин, состоящий, как обыкновенно в Швеции, из нескончаемого числа самых разнообразных холодных закусок. На сегодняшний день все занятия в школе уже кончены. После ужина мы все переходим в гостиную. Ректор усаживается в своей качалке, этой неизбежной во всяком шведском доме мебели. Ректорша и барышни вынимают из рабочих корзинок свои вязания и вышивания.

Через несколько минут слышится стук в дверь и в комнату являются человек 10 учеников — молодые крестьяне в длинных кафтанах, производя значительный шум своими сапогами, подбитыми гвоздями, несмотря на видимое старание ступать осторожно. Видя, что в гостиной есть сегодня постороннее лицо, они сначала останавливаются у двери, конфузливо переминаясь и переглядываясь, но хозяйка любезно приглашает их войти, и они размещаются все тут же, вокруг общего стола.

— Так у нас уже заведено, — говорит мне ректор, — что часть учеников проводят вечера с нами. Так как им всем не поместиться в нашей маленькой гостиной, то они чередуются между собой. Иногда мы просто толкуем о всякой всячине, или я читаю что-нибудь вслух, а иногда мы занимаемся музыкой. Все они учатся пению у учителя, а некоторые из них, у которых особенно хорошие голоса, сами просят иногда мою жену аккомпанировать им на фортепиано, и случается, что под ее руководством они разучивают даже квартеты. Остальные ученики в это время забавляются по-своему, преимущественно гимнастикой или тем, что пробуют свою силу в рукопашной борьбе.

Действительно, со двора доносились громкие голоса и топанье ног. Подчас вдруг раздавался глухой шум, точно что-то грузное свалилось на землю, и затем слышался дружный взрыв хохота.

— Расскажите мне подробнее, как ведется ваша школа и как вообще стоит дело крестьянских университетов в Швеции, — попросила я ректора.

— Извольте, — ответил он мне. — Но сначала я должен рассказать вам исторический ход их развития и затем уже коснуться их теперешних целей и назначения.

Ректор, как все люди, всецело посвятившие себя одному делу, любит говорить о нем, и лишь только видит перед собою заинтересованного слушателя, готов ему тут же хоть целую лекцию прочесть.

Вот что я узнала от него в этот вечер:

Идея основания высших народных школ для крестьян зародилась впервые в Дании около 1850 года, и родоначальником ее был известный теолог и философ Грундвиг [8]. Этот последний исходил из чисто религиозных побуждений. Вся история человечества представлялась ему раскрытием божественного стремления. Во всех исторических событиях, во всех гражданских и политических переворотах находил он проявление одной и той же божественной мысли, всюду усматривал действие божественного промысла. «Чем глубже изучаешь историю, тем более проникаешься благоговением к благости и мудрости творца, тем более убеждаешься в великих истинах христианской религии, — говорил он. — Человек необразованный не может быть истинным, сознательным христианином, поэтому нельзя в христианском государстве держать народ в состоянии темноты и невежества. Надо и его призвать к ясному, сознательному пониманию великих истин христианства; надо развить его ум, расширить его взгляды, показать ему историю в ее настоящем (христианском) освещении и тем самым оградить его от вредных влияний

лженауки, жертвой которых, в противном случае, он легко мог бы сделаться».

Само собой понятно, что подобное христианско-философическое освещение истории, какого требовал для народа Грундвиг, неудобоприложимо к преподаванию детям. Ум ребенка способен усвоивать лишь отдельные факты; только ум взрослого может схватить общий их смысл. Поэтому, чтобы образование было поистине полезно для народа, т. е. служило к его нравственному развитию, нельзя ограничиться школами для малолетних. Как бы высоко ни стояли эти последние, они никогда не могут вполне достигнуть цели. Необходимо, чтобы существовали такие заведения, куда могли бы обращаться юноши из простонародия в тот период их жизни, когда они всего восприимчивее к новым впечатлениям и когда они уже в состоянии выработать себе миросозерцание, которое могло бы руководить всей их последующей жизнью.

Так рассуждал Грундвиг, и соображения подобного рода повели его к основанию первой школы для взрослых крестьян. Школа эта имела большой успех, и вскоре у Грундвига нашлась масса последователей. На дело основания высших школ для народа стали смотреть в Дании как на род христианского подвига, и число подобных школ стало увеличиваться с каждым годом. Большинство их были основаны на частные средства. Много богатых людей пожертвовали на их устройство большую часть своего состояния; немало выдающихся людей науки отказались ради них от блестящей университетской карьеры. Так, например, известный физик Поль-де-ла-Кур, изобретатель оптического телеграфа, не раз получавший приглашение занять кафедру как в датских, так и в немецких университетах, предпочел остаться всю свою жизнь простым учителем в крестьянской школе в Альскове (в Юлланде).

В начале их основания все преподавание в высших крестьянских школах носило чисто религиозный характер и было специально направлено к тому, чтобы поднять нравственный уровень народа.

Главное внимание обращалось на преподавание истории, причем на первом месте стояла, разумеется, история евреев, народа божия, на которого Провидение возложило важнейшую миссию — приготовить человечество к принятию Мессии. На втором плане являлась отечественная история, но и она преподавалась в особом христианско-философском освещении. С течением времени, однако, этот узкий, теологический характер датских школ несколько видоизменился как под влиянием некоторых талантливых людей, ставших во главе их, так и просто благодаря требованиям жизни. Наряду с историей было введено преподавание элементарной математики, естественных наук и многих других общеполезных предметов, без разбора того, служат ли они непосредственно к развитию нравственности в крестьянах или нет.

В настоящее время в маленькой Дании насчитывают более 40 школ для взрослых крестьян и многие из этих школ пользуются субсидией от государства. Хотя преподавание в них и получило более светский характер и отнюдь не находится в руках духовенства, тем не менее

большинство этих школ сохранило внешний характер религиозных учреждений. При каждой из них устроено для учеников общежитие. Общая, спартански простая трапеза соединяет ежедневно ректора, учителей и воспитанников, причем обед проходит в поучительных беседах.

Вообще вся жизнь ректора должна быть посвящена школе и ничем не должна отличаться от жизни простых крестьян, для которых она должна служить живым примером. Жена его заведует общим хозяйством и заботится о всех материальных нуждах питомцев. Говорят, что обязанности ее такие трудные и вся жизнь такая изнурительная, что мало женщин, сколько-нибудь привыкших к комфорту, способны выносить ее долее нескольких лет и, обыкновенно, умирают в чахотке. Большинство ректоров в датских высших школах для народа женаты в третий или четвертый раз, — уверяет меня г. Голмберг.

В Швеции и в Норвегии основание первых крестьянских университетов произошло вследствие соображений совсем иного рода; оно совпало с переворотом в конституции этих стран, совершившимся 22 июня 1866 г. В сравнении с тем, что было в других европейских государствах, крестьяне на Скандинавском полуострове исстари пользовались значительными политическими правами. Крепостного права никогда не существовало в Швеции, но до 1866 года дворянское сословие находилось все-таки в привилегированном положении. Другие три сословия имели, правда, своих представителей в шведском сейме, но лишь в столь незначительном числе, что большинство голосов всегда оставалось за дворянами, которым de facto и принадлежала первенствующая роль в деле управления страной. Но в 1866 году коренная реформа в конституции изменила это положение дел. В Норвегии дворянство было совсем уничтожено; в Швеции дворянам оставлено безобидное право сохранять свои гербы в так называемой рыцарской зале, прибавлять к своим фамилиям частичку af и представлять своих жен и дочерей ко двору. В политическом же отношении уравнены права всех сословий (исключая сословия совсем неимущего). Право подачи голоса для выборов депутатов во вторую палату парламента, признаваемое за каждым владельцем хотя бы ничтожного куска земли, равно как и за каждым человеком, платящим подати с 800 крон ежегодного дохода, передало политическое преобладание в руки крестьян, сословия наиболее многочисленного в Швеции, если не считать сословия торпаре (фермеров) * и простых дренгов, которые часто не достигают и этого сравнительно низкого ценза и потому участия в выборах не принимают.

Одновременно с этим политическим переворотом введено было в Швеции и Норвегии обязательное и даровое преподавание для народа. Земства — в деревнях и городские думы — в городах обязаны содержать элементарные школы в таком комплекте, чтобы в них было место для *каждого* ребенка в их околотке, без различия пола, так как все элемен-

* Безземельные крестьяне-арендаторы, обязанные отрабатывать арендную плату на полях землевладельца.

тарные школы в Скандинавии общие для мальчиков и для девочек. Средства на эти школы берутся из общих податей; с учеников платы не взимается; если родители представят свидетельство о бедности, то даже книги и учебные пособия отпускаются их детям бесплатно. Таким образом, никто не имеет предлога не посылать своего ребенка в школу; если же он все-таки этого не делает, то ребенка от него берут насильно и сверх того присуждают его к значительному денежному штрафу. Денежный штраф грозит также и каждому мастеру, каждому фабриканту, который возьмет к себе в услужение или на завод ребенка, не имеющего аттестата о прохождении трехлетнего курса в элементарной школе.

Возраст учеников в этих школах колеблется от 8 до 13 лет. Преподавание обнимает грамоту, правописание, четыре правила арифметики и элементарные сведения из отечественной истории и географии. Ученики обучаются также некоторым молитвам, которые читаются перед началом и в конце уроков. Но собственно закон божий и катехизис не входят в состав преподавания элементарной школы: этим предметам обучаются дети у священника, когда, по окончании школы, готовятся к конфирмации. Прежде эта последняя была обязательна для всех детей, родители которых принадлежат к господствующему в государстве вероисповеданию (лютеранскому), но несколько лет тому назад принудительность конфирмации была отменена декретом парламента, и свидетельство о последней не требуется теперь ни для заключения браков, ни для вступления на государственную службу. На частные же места, на фабрики и на заводы, большая часть патронов по-прежнему неохотно берут юношей не конфирмированных.

От учителей и учительниц народных школ требуется диплом учительской семинарии, курс которой почти равняется курсу наших реальных гимназий. Жалованье их колеблется между 400 и 1200 крон в год в деревнях, между 900 и 2500 крон в городах.

При быстром возрастании числа элементарных народных школ, последовавшем за государственным переворотом в 1866 году, можно было опасаться, что окажется недостаток в способных и знающих учителях для этих школ. Опасение это оказалось, однако, неосновательным, благодаря тому, что в это же время в среде интеллигентной, преимущественно университетской, молодежи в Швеции и Норвегии проснулось сильное стремление к народничеству.

Если просматривать шведскую и норвежскую литературу конца 60-х и начала 70-х годов, невольно поражаешься обилием романов и повестей из крестьянского быта, появившихся в ней за это время. Первым произведением этого рода, составившим эпоху в скандинавской литературе, были знаменитые рассказы из крестьянской жизни Биернсона [9], переведенные и на русский язык. Эти рассказы, однако, грешат значительной идеализацией и не чужды того сентиментально-романического веяния, которым проникнута была вся скандинавская литература прежнего периода.

Несравненно более реальны и свидетельствуют о гораздо более близком знакомстве с описываемой средой рассказы Гарборга [10] по-норвежски, а по-шведски превосходный роман Стриндберга [11] «Жизнь в шкерах», а также повести и рассказы из народной жизни двух шведских писательниц, г-ж Агрель [12] и Бенедиктсон [13] (последняя более известна под псевдонимом Эрнста Альгрен).

Как обыкновенно бывает в подобных случаях, и здесь произошел известного рода cercle vicieux *, т. е. сказалось взаимодействие между книгой и жизнью. Это обилие народных сюжетов в литературе, с одной стороны, свидетельствовало о том, что в интеллигентном обществе проснулся интерес к жизни народа; с другой же стороны, живые, увлекательные рассказы талантливых писателей сами будили этот интерес, представляли городской молодежи новые идеалы и возбуждали в ней стремление стряхнуть с себя классическую пыль университетских аудиторий и чиновнических канцелярий и восстановить порванную связь с народом. Молодые люди, кончившие блистательно курс в университете, вместо того чтобы перебивать друг у друга места в департаментах, шли теперь в учителя народных школ.

В это же время родилась весьма естественная мысль основать и в Швеции, и в Норвегии школы для взрослых крестьян. Первые школы такого рода в Норвегии были устроены по образу тех, которые уже пользовались таким успехом в Дании. Вскоре, однако, они приняли совершенно иное направление. Во главе этого дела стали самые талантливые вожаки народной партии в Норвегии: Биернсон и Ульман. Первый из них произносил восторженные речи на всевозможных митингах, писал горячие статьи во всех журналах и газетах и подстрекал на служение народу все, что только было талантливого и чуткого среди тогдашней молодежи. Второй в это время сам только что кончил курс в университете, но, благодаря своему красноречию на студенческих сходках, пользовался уже такою популярностью, что тотчас же по его выходе из университета электоральный комитет демократической партии в Христиании обратился к нему с предложением выставить его своим кандидатом в парламент. Ульман отказался, однако, от этого лестного предложения, сразу открывавшего ему политическую дорогу, и предпочел всецело посвятить себя делу народных школ.

Так как он сам не владел достаточным капиталом, чтобы открыть собственную школу, а из тех школ, которые уже существовали в Норвегии, ни одну не одобрял вполне, то он начал с того, что стал переезжать с места на место, останавливаясь месяца на три, на четыре в наиболее заброшенных деревушках и местечках Норвегии, и читал там лекции для крестьян. Такую кочевую жизнь провел Ульман со своей молодой женой в течение нескольких лет. Вначале он пользовался лишь умеренным успехом. Местное духовенство, повсюду куда он ни приезжал, относилось к нему недоверчиво и даже подчас враждебно, видя в нем опасного кон-

* порочный круг (*франц.*).

курента своему собственному влиянию на народ. Сами крестьяне не обнаруживали вначале особого рвения к науке и к лекциям Ульмана относились холодно и выжидательно, как к пустой затее, из которой бог знает что еще выйдет. Так как Ульман для своих временных остановок нарочно выбирал места глухие, куда менее всего успели заглянуть лучи просвещения, то иногда ему не удавалось собрать вокруг себя более 10—15 слушателей; но он не унывал и читал им с таким же интересом, как будто он обращался к самой многолюдной, избранной публике. Мало-помалу, однако, слава его лекций стала расти и распространяться среди крестьян, и слушатели начали стекаться к нему со всех сторон. Наконец, популярность его как народного лектора сделалась так велика, что стуртинг (норвежский парламент) решил отпустить ему значительную субсидию для постройки постоянной школы для взрослых крестьян — по его собственному усмотрению и по его собственной программе. Одновременно с этим Ульман и сам получил небольшое наследство, которое тоже употребил на это дело. В настоящее время его школа или, как она зовется, университет для крестьян в Сильюрде (в северной части Телемарка) — одно из самых обширных учреждений этого рода в Норвегии. Она значительно уклоняется от того первоначального плана, которого держался Грундвиг, и гораздо более заботится об общеобразовательном и политическом, нежели о богословском воспитании крестьян.

В Швеции первые высшие школы для крестьян были основаны не по частной инициативе, а на государственные средства благодаря тому, что так называемая крестьянская партия в парламенте с самого начала внесла в свою программу заботу об основании подобных школ.

— Будущее Швеции находится в руках крестьян, — говорит мой собеседник г. Голмберг. — Фабричной промышленности вряд ли суждено развиться у нас так, как на Западе, и Швеция, вероятно, долго останется страной по преимуществу земледельческой. Между тем крупное землевладение, несомненно, приходит к концу, и земля разбивается на все более и более мелкие участки. Во всех странах, где крестьяне пользуются значительным благосостоянием и представляют из себя силу как политическое сословие, жалуются обыкновенно на то, что они всегда являются представителями самого закоснелого консерватизма и противниками всяких нововведений и реформ. Но это зависит, разумеется, лишь от того, что нравственное и умственное развитие народа не идет рука об руку с развитием его материального благосостояния. По самому же существу вещей, я думаю, нет положения, более благоприятного для развития самых идеальных сторон в человеке, как положение мелкого собственника. Существование его обеспечено, работа приближает его к природе, не вызывает его ежечасно на столкновение с другими людьми, не пробуждает в нем инстинктов борьбы и конкуренции и оставляет ему достаточно досуга для размышления и для пользованья жизнью.

— У нас в Швеции крестьяне далеко не так богаты, как в других странах, как, например, во Франции. Исключая южной части Швеции, Сконии, земля не отличается нигде большим плодородием и требует повсюду

усиленной обработки. Большинство крестьянских участков могут прокормить семью только при собственноручной работе всех ее членов в течение лета. Но затем следуют долгие зимние месяцы, когда у всех ее членов остается много свободного досуга. В тех местах, где земля очень плоха и народонаселение очень бедно, каждый крестьянин ищет себе какого-нибудь дополнительного заработка на зимнее время, но там, где одна земля в состоянии прокормить его и семью, он, по свойственной человеку лени, предпочитает зимой отдыхать. Прибавьте еще к этому, что вследствие местных и климатических условий в Швеции все сообщения с внешним миром бывают затруднены зимою, а в иных местах, как, например, в шкерах (на островах) к югу от Стокгольма, во время осенних бурь и зимних метелей, крестьяне иногда по целым неделям не могут выходить из дому. Понятно, что во время такого вынужденного безделья и уединения — в человеке грубом, неразвитом должны проснуться все животные инстинкты. И действительно, стоит вам отъехать на несколько часов от Стокгольма — и вы можете натолкнуться на настоящих дикарей. Спросите у любого шведского юриста, и он скажет вам, что нет такого зверского преступления, такого грубого извращения всех нравственных чувств, которое бы не проявлялось ежегодно среди населения шкер, окружающих Стокгольм. А между тем материальное благосостояние этого населения довольно велико. Подумайте же сами, как важно устроить такие школы, куда бы могли обращаться взрослые молодые крестьяне во время своего зимнего досуга и где они могли бы почерпнуть запас знаний и интересов, способных дать окраску и содержание всей их последующей жизни.

— Но позвольте, — перебила я тут моего собеседника, — ведь для того, чтобы добровольно послать своего взрослого сына-работника в такую школу, где он только наберется абстрактных знаний, но никакой непосредственной выгоды для себя не получит, требуется уже большая доля идеализма...

— И на деле оказывается, что такой идеализм есть в крестьянах, — ответил мне г. Голмберг. — В настоящую минуту в Швеции, при ее четырехмиллионном населении, существует уже 25 таких высших школ, или, как мы их называем, университетов для крестьян. В школах, вырабатывающих специалистов, у нас нет недостатка. Ремесленные и сельскохозяйственные школы существуют почти в каждой провинции; классические гимназии и университеты в Лунде и Упсале служат рассадниками будущих священников, чиновников и юристов. Но крестьянские университеты должны преследовать совсем иную цель: не отнимая крестьянина от земли, не вырабатывая из него машину, пригодную для той или другой специальности, они должны пробудить в нем человеческое сознание, дать ему хотя общее понятие о сокровищах, накопленных человечеством в области наук и искусств, и приобщить его к тем умственным наслаждениям, которые доступны интеллигентным слоям общества.

— Как видите, цель эта вполне идеальная. Ни дипломов, ни прав крестьянские университеты не дают, никакой прямой, непосредственной

выгоды они своим ученикам не доставляют. С другой же стороны, тогда как даже в гимназиях, с их восьмилетним курсом мертвых языков, обучение даровое, — в крестьянских университетах с учеников, не представивших свидетельства о бедности, взимается сравнительно высокая плата: 50 крон (25 рублей) в год. И тем не менее, нет ни одной из этих 25 высших школ в Швеции, к которой не притекали бы ученики часто из очень отдаленных местностей. Не только сравнительно зажиточные крестьяне, но часто даже бедные фермеры и дренги посылают туда своих сыновей. Иной бедняк копит в течение многих лет медные гроши, обрезывая себя не только в удовольствиях, но и в существенном, чтобы иметь возможность пробыть одну или две зимы в высшей школе. Вернувшись потом в свою деревню, он в течение всей остальной жизни с трогательным восторгом и благоговением вспоминает об этих годах учения как о самом счастливом времени своего существования. Обыкновенно он остается в переписке с ректором и считает своим священным долгом извещать его о всех важнейших событиях своей жизни: о смерти родителей, о собственной женитьбе, о рождении первого ребенка и т. д. Я могу показать вам целую кипу писем, в которых ученики, много лет после выхода из школы, обращаются ко мне за советом в самых деликатных и интимных вопросах их жизни. В каждой из наших высших школ бывает ежегодный праздник, на который съезжаются все те из прежних учеников, кто только имеет на то малейшую возможность, и праздники эти тоже способствуют в значительной степени поддержанию связи между бывшими учениками и школой.

— Восторженные рассказы каждого возвращающегося домой ученика возбуждают и в других молодых людях его околотка желание поучиться. В Норвегии и Дании большинство крестьянских школ общие, для мужчин и женщин. В Швеции же почти повсюду существуют два курса: зимний для мужчин, летний для девушек. И замечено, что молодой человек или девушка, сами побывавшие в школе, неохотно женятся или выходят замуж за лиц, не получивших такого же образования. Случается часто, что молодой парень «из ученых» высмотрит себе невесту, но, прежде чем жениться на ней, требует, чтобы она поучилась в крестьянском университете, и ввиду этого откладывает свадьбу на год или на два. Иногда же бывает, что молодая, только что обвенчавшаяся парочка идет вместе учиться в одну из общих школ.

— Понятно также, что, по возвращении домой, ученики приносят с собой много новых, дотоле не известных у них на деревне вкусов и потребностей. Почти наверняка можно предсказать, что вслед за открытием высшей крестьянской школы в какой-нибудь местности тотчас же откроется несколько библиотек для чтения, заведется какой-нибудь «Gesangverein» *, начнет издаваться местная газетка. Наоборот, число кабаков и трактиров уменьшится. Таким образом, образовательное влияние

* «певческое общество» (*нем.*).

каждой высшей школы на всю окружающую местность чрезвычайно велико.

— Разумеется, личность ректора, заведывающего всем заведением, играет в крестьянских школах большую роль. От него зависит и выбор других учителей, и характер всего преподавания. В материальном отношении положение ректора, по шведским условиям, обставлено очень хорошо, гораздо лучше, например, чем положение большинства учителей в классических гимназиях: он получает от 3 до 4 тысяч крон жалованья и, кроме того, просторную квартиру и обыкновенно еще кусок земли под сад и огород. Вследствие этого на каждое вакантное место ректора в высшей крестьянской школе является всегда так много способных и знающих кандидатов, что оказывается возможность быть очень строгим в выборе.

— Ректор избирается на пять лет, но если он добросовестно исполнял свои обязанности и хорошо вел школу, то по окончании этого срока его обыкновенно избирают вновь. Так, я, например, заправляю этой школой с самого ея основания и ни разу еще не имел ни одного сколько-нибудь серьезного столкновения ни с учениками, ни с их родителями, ни с моим непосредственным начальством.

— А из кого же состоит последнее? — спросила я.

— Главное управление школой находится в руках совета из пяти членов, — ответил г. Голмберг. — Один из этих членов — я сам, двое других выбираются ежегодно земством, а остальные два особой корпорацией, составленной из всех тех лиц, которые пожертвовали что-либо на школу. Эти последние по большей части крестьяне, и верховный совет наш тоже состоит из крестьян. При этом я должен сказать, что все они выказывают обыкновенно очень много такта и деликатности во всех своих сношения с ректором и если видят, что последний ведет свое дело хорошо и заботится о школе, то предоставляют ему большую свободу действия и никаких мелочных придирок к нему не предъявляют.

— А каковы ваши отношения с местным духовенством? — спросила я.

— Духовенство никакого влияния на нашу школу не имеет, — ответил г. Голмберг. — Вначале приходские священники как будто бы даже дулись на нас, подозревая, что мы хотим подкопаться под их влияние на народ. Со временем, однако, они увидели, что мы идем своей дорогой, в их дела не вмешиваемся и опасных для них доктрин не проповедуем. Тогда они стали любезнее. С нашим приходским пастором мы живем в мире и согласии, как подобает добрым соседям, и он часто заходит к нам в гости, но просто как наш хороший знакомый, а не в качестве духовного пастыря. Закон божий в состав школьного преподавания не входит, тем более, что между учениками есть много таких, которые не принадлежат к господствующему вероисповеданию. Среди окрестного народонаселения очень распространены различные секты; в особенности много у нас анабаптистов, и мы заметили, что последние стали очень усердно посещать нашу школу с тех пор, как убедились, что мы

не делаем никаких попыток обращать их на лоно государственной церкви.

— Вообще мы стараемся вносить как можно меньше догматичности в преподавание. Точной программы, обязательной для всех школ, не существует, и от ректора зависит изменять курсы, смотря по составу учеников и по нуждам данной минуты. Вообще, я повторяю, многое зависит в этом деле от личности и от большей или меньшей талантливости самого ректора. Раз он сумел внушить доверие крестьянам, они предоставляют ему полный простор и, разумеется, только при этом условии, т. е. если ему предоставлено вести дело на собственную ответственность и по собственному усмотрению, и может человек всей душой отдаться своей работе.

— Вот мы, например, с женой, — прибавляет г. Голмберг, бросая нежный взгляд на свою супругу, — мы так сжились с этой школой, что она вполне заменяет нам собственных детей, которых нам бог не дал, и вот уже скоро будет 15 лет, как на ней сосредоточиваются все наши заботы и помышления.

— Моему мужу не раз предлагали другие, более выгодные и блестящие места, — говорит мне с супружеской гордостью г-жа Голмберг. — Когда он был еще молодым человеком, профессора в Лунде очень уговаривали его остаться при университете и пойти по ученой дороге. Впоследствии мой брат и кружок других литераторов старались завлечь его в издание журнала. Но никогда еще не пришлось нам пожалеть, что он отказался от всех этих предложений, так как никакая другая деятельность не дала бы ему, вероятно, такого удовлетворения, как эта.

На лицах обоих супругов разлито, действительно, такое ясное довольство, что видно, как оба они чувствуют себя на своем месте и любят свою работу.

В разговорах о крестьянских университетах незаметно прошло время. Стрелка на больших стенных часах в углу гостиной показывает уже 11 — необычайно поздний час в деревне. Мы все прощаемся на сегодня, и меня отводят в комнату, предназначенную для гостей, где я тоже, как и в гостиной, открываю целый рой вышитых подушечек, антимакассаров и ковриков.

На следующее утро, уже часам к шести утра, меня разбудил шум в коридоре и шарканье многочисленных ног в тяжелых крестьянских сапогах. Весь верхний этаж в школе состоит из небольших клетушек в одно окно, в каждой из которых находятся две кровати, комод, большой деревянный стол и полочка для книг. Это помещения для учеников. Однако, так как в школе всего 30 таких комнаток, следовательно, есть место для 60 учеников, а в нынешнем году набралось их 85, то некоторым из них пришлось разместиться пансионерами у соседних крестьян.

Годовой курс начинается с 1 ноября и продолжается до начала или до конца апреля, смотря по тому — ранняя или поздняя весна, спешная ли работа дома или нет. Собственно школа помещается в четырех просторных, высоких и хорошо вентилированных залах, по стенам кото-

рых развешаны карты и различные рисунки из естественной истории. В одной из зал стоит большой глобус. При школе находится тоже порядочная библиотека.

Сверх ректора при школе состоит еще один постоянный учитель и, кроме того, приглашается ежегодно учитель пения и рисования.

На содержание школы отпускается парламентом 3800, а местным земством 4700 крон. Сверх того, как я уже сказала, с каждого ученика взимается ежегодная плата в 50 крон. Из этих денег на жалованье ректора полагается 4000, на жалованье его помощника 2000, а на жалованье других случайных учителей 800 крон в год. Остальные деньги идут на отопление и на освещение здания и на покупку книг и учебных пособий. Уроки начинаются в семь. Правописание, арифметика и начальная геометрия, черчение планов различных сельскохозяйственных строений, уроки истории и географии наполняют все утро. Средний возраст учеников колеблется между 18 и 25 годами, но есть между ними и старше. Вот, например, человек уже пожилой на вид, с загрубелым лицом и с проседью в густых рыжеватых волосах. Ему 33 года, а на вид можно дать и добрых 40. Он принадлежит к сословию безземельных торпаре и по ремеслу кузнец. В течение целых десяти лет копил он деньги, чтобы иметь возможность провести зиму в школе, и теперь, хотя ученье дается ему далеко не так легко, как более молодым его товарищам, он учится очень ревностно, с каким-то даже ожесточением; очевидно, il veut en avoir pour son argent*. Все знания, приобретенные в элементарной школе, давно успели испариться из его головы. Грубые руки, привыкшие к совсем иной работе, неумело и с трудом водят перо; видно, что каждое умственное напряжение стоит ему непомерного труда. Крупные капли пота градом выступили на его красном лбу.

— Довольны ли вы вашим пребыванием в школе и не жалеете ли о потраченных на ученье деньгах? — спросила я его.

— Ах, что вы! Да ведь я, кажется, и человеком-то не был, пока сюда не попал! — отвечает он мне тоном самого искреннего убеждения.

У более молодых его товарищей дело спорится совсем на другой лад. Меня просто поразила та масса сведений, которые ученики успевают приобрести в течение одной зимы. В истории и географии они все обнаруживают просто замечательную память на имена, годы и события. Всю арифметику они знают превосходно и с легкостью решают самые сложные задачи по правилу товарищества и по учету векселей. Некоторые из них, по собственному желанию, стали заниматься геометрией и алгеброй и в последней прошли уже уравнения второй степени. Все это за одну зиму!

— Вы не поверите, как восприимчивы к знанию эти здоровые, молодые головы, не утомленные предварительной, многолетней долбней, — говорит мне г. Голмберг. — Можно, право, подумать, что мозг их сделан из мягкой глины! Что им ни скажешь, какое новое сведение ни сооб-

* он хочет вернуть затраченные деньги (*франц.*).

щишь им, — оно сразу точно врезывается в их голову. То, чему дети не могли бы научиться в несколько лет, эти юноши усвоили себе в несколько месяцев. Это самый благодарный возраст для ученья.

— Но не утомляют ли их эти усиленные занятия? Не отражается ли вредно на их здоровье этот внезапный переход от мышечного к умственному труду? — спросила я.

— В первые две-три недели после их поступления в школу они, действительно, часто страдают приливами крови и жалуются на головные боли, — ответил г. Голмберг. — Но я думаю, это зависит просто от того, что они не привыкли к сидячей жизни и страдают от недостатка моциона. Теперь мы завели у себя гимнастику и по вечерам устраиваем игры и беганье взапуски. Это очень помогает, и к концу первого же месяца все ученики отлично привыкают к школьным порядкам и уже не жалуются на нездоровье.

Вследствие часто выражаемых желаний учеников, в нынешнем году устроены при школе специальные классы рисования и чертежа, и многие из молодых людей выказывают большие способности в этом отношении. Мне показывали несколько планов домашних строений, придуманных самими крестьянами, которые бы сделали честь любому ученику архитекторской школы в Стокгольме. Заметила я также, что все воспитанники усвоивают себе превосходный каллиграфический почерк, но все совершенно на один лад, так что почти невозможно отличить почерк одного из них от почерка другого. Зависит ли это от особенно сильно развитой в них способности к подражанию, или от какого-нибудь особого метода преподавания, которого придерживается их учитель, — я решить не берусь, но это совершенное однообразие всех почерков в школе так разительно и составляет вещь такую известную, что мне рассказали даже по этому поводу следующую смешную историю: учитель каллиграфии, молодой человек, недавно женатый. В первые каникулы, когда разъехались все ученики, пришлось и ему уехать на несколько дней. В его отсутствие почтальон вручил его жене почтовую сумку, и она, открыв ее, пришла в страшное смущение, найдя в ней письма к Стине, Грите — словом, ко всем красавицам их околотка, все писанные рукой ее мужа! Оказалось, разумеется, что все это были прощальные послания учеников; но сходство всех почерков с почерком ее мужа было такое полное, что доставило бедной учительнице несколько неприятных минут.

После обеда бывают самые интересные занятия в школе. Иногда, чтобы приучить учеников к процедуре общественных выборов, ректор устраивает род игры в выборы. Избираются члены земства, затем происходит заседание и на нем решается какой-нибудь вопрос, из таких, которые всего чаще представляются в крестьянской жизни.

В другие разы ректор читает что-нибудь вслух, и затем происходит общее обсуждение прочитанного.

Сегодня г. Голмберг рассказывает своим слушателям историю открытия Америки. Сам увлекаясь своим рассказом, он красноречиво передает им эту самую увлекательную из поэм истории: сколько препятствий

пришлось Колумбу преодолеть на своем пути, как трудно было ему справиться с собственным экипажем; как дни проходили за днями, и уныние овладевало матросами; на какие хитрости должен был пускаться Колумб, чтобы уговорить их потерпеть еще неделю, еще день; как, наконец, все его уловки истощились, и было решено уже повернуть назад корабль, как в последнюю минуту, когда все казалось потерянным, раздался голос юнги с мачты: земля! земля! И надо видеть, какой восторг этот всем нам с детства известный рассказ возбуждает в этих молодых слушателях, для которых он имеет еще всю прелесть новизны. К тому же все, касающееся Америки, имеет большой интерес для шведских крестьян, так как эмиграция в Америку чрезвычайно развита в их среде, и нет почти крестьянской семьи, у которой кто-нибудь из родственников не поехал бы искать счастья в Новом Свете.

В классе так тихо, что, кажется, услышишь, если пролетит муха. Все так и уставились глазами на учителя, и только громкое сопение носом иного чересчур уже увлекшегося и не умеющего сдерживать свои чувства слушателя выдает его волнение и прерывает тишину. Я думаю, любой из наиболее популярных профессоров наших университетов был бы рад, если бы ему хоть раз удалось так наэлектризовать свою аудиторию, если бы его хоть раз слушали *так*, как слушали сегодня г. Голмберга.

Следующий день был праздничный, и уроков в школе не было. Я употребила этот день на то, чтобы в обществе ректора и его жены посетить некоторых из его знакомых крестьян и фермеров, причем неудобство этого маленького путешествия состояло лишь в том, что нам в течение дня пришлось выпить чашек пять кофе, наполовину смешанного с цикорием, и поглотить добрых полфунта сухих, прогорклых бисквитиков, сохраняемых бережливыми хозяйками в течение многих месяцев в парадном шкафу на случай нечаянного посещения гостей. Но уйти без угощения значило бы нанести кровную обиду. У большинства крестьян дом двухэтажный, состоит из пяти комнат. Наверху три спальных: одна для хозяина с хозяйкой, другая для всей женской, третья для всей мужской части семьи; внизу просторная кухня, которая служит жилой комнатой, и «гостиная», которая в обыкновенное время заперта на ключ и проветривается только в экстренных случаях. Все жилые комнаты убраны с крайней простотой: голый пол, голые стены, деревянные лавки; даже того щегольства монументальною семейной кроватью, которое замечается у французских и у швейцарских крестьян, — у шведских крестьян я не нашла; только в гостиной видела я во всех домах, куда ни заходила, некоторые поползновения на элегантность. На окнах, открываемых, к сожалению, слишком редко, висят белые кисейные занавески. Одна стена непременно занята диваном с прямой спинкой, обитым дешевым кретоном. На полу перед этой почетной мебелью растянут маленький тканый ковер самых ярких красок. Стены увешаны хромолитографиями. В углу комод, покрытый белой скатертью и уставленный разными дешевыми и безвкусными безделушками, очевидно новейшего фабричного производства. Каких-нибудь красивых ста-

рых вещей, передаваемых из поколения в поколение, золотых украшений или вычурной резьбы, — вещей, которые вы почти наверное найдете в каждой богатой крестьянской семье в Норвегии, у крестьян этой части Швеции я совсем не видала. И это тем страннее, что и здесь крестьянские семьи живут обыкновенно по несколько веков в своем доме и очень неохотно, лишь в случае крайней необходимости, продают его в чужие руки. Но и тут произошла обычная история! Лет 20 тому назад, говорят, много было в каждой семье всякого старого добра; но вдруг наехали торговцы из Стокгольма и так успешно убедили крестьян, что вся их старая рухлядь никуда не годится и что ее можно удобно променять на массу блестящих, новомодных вещиц, что теперь всякий сколько-нибудь старинный, ценный предмет составляет уже редкость в этой части Швеции.

Несмотря на их дурной вкус и на неуменье ценить старые вещи, крестьяне и здесь, как и повсюду в Скандинавии, большие аристократы в душе и презирают всякого, кто не родился на собственной земле. Про одного из здешних крестьян мне рассказали следующее: дочь его влюбилась в молодого инженера, приехавшего сюда из Стокгольма строить железную дорогу. В течение всего лета молодые люди виделись тайком, и к осени дело между ними зашло так далеко, что девушке предстояло сделаться матерью. Тогда молодой инженер, принадлежавший к хорошей буржуазной семье и числившийся желательным женихом на всех матримониальных списках лучшего стокгольмского общества, явился к отцу своей возлюбленной просить ее руки, в полном убеждении, что отказа ему уже наверное не будет. Но не тут-то было! Упрямый старик прогнал его с глаз долой и вознегодовал даже, как смеет ничтожный горожанин, не съевший в жизни ни единого куска собственного хлеба, мечтать о том, что его примут в семью, где двадцать поколений собственноручно возделывали собственное поле! «А что касается до греха дочери, то мы и без тебя его покроем!», — прибавил старый мужик и, действительно, вскоре выдал дочь свою замуж за сына бедного соседа-крестьянина, взяв его к себе в дом батраком.

Впрочем, г. Голмберг говорит, что на поведение девушек в крестьянских семьях вообще смотрят сквозь пальцы и что если девушка имеет ребенка от человека, за которого почему-либо выйти замуж не может, то это отнюдь не мешает другому, подходящему жениху жениться на ней. Зато случаи неравных браков чрезвычайно редки, и молодые крестьянки выходят замуж за торпаре в романах Биернсона гораздо чаще, чем в действительной жизни.

Отношение торпаре к крестьянину обыкновенно следующее: за позволение построить свой дом на земле крестьянина торпаре платит последнему не деньгами, а барщиной, обязывается работать на него известное число дней в году. Земли для собственного возделывания торпаре обыкновенно или не отводится совсем, или отводится лишь в количестве, достаточном под небольшой огород, и пропитание свое торпаре зарабатывает тем, что в дни, свободные от работы на своего патрона, занимается каким-нибудь ремеслом, или же нанимается поденщиком к другим крестья-

нам. В иных местах, впрочем, торпаре выговаривает себе право на известную часть продуктов с поля крестьянина, в обработке которого он принимает участие. Вообще взаимные обязательства между торпаре и крестьянином представляются иногда довольно сложными и запутанными. Можно бы подумать, что именно такие отношения, когда дом составляет собственность одного лица, а земля, на которой он построен, — другого, должны подавать повод к бесконечным раздорам; а между тем, замечательно то, что условия между крестьянами и торпаре почти всегда заключаются устно, на веру. Лишь в самые последние годы, и то в редких случаях, стали прибегать к письменным контрактам, и г. Голмберг уверяет меня, что на самом деле почти не бывает случаев, чтобы между крестьянином и торпаре доходило до судебных разбирательств и что крестьяне весьма редко притесняют своих торпаре.

В общественном отношении разница между крестьянами и торпаре громадная, но и в этом направлении высшие школы для народа оказывают очень благотворное влияние на нравы.

— В начале учебного года, — говорит мне г. Голмберг, — мы всегда замечаем, что крестьянские сынки держатся отдельной кучкой, особо от других. Но затем общие занятия и соревнование в учении мало-помалу сближают всех, с собственников спадает их крестьянская спесь, и к концу года между всеми учениками устанавливаются простые товарищеские отношения, без всякого различия сословий. Нередко даже между молодым крестьянином и торпаре завязывается в школе тесная дружба, которая потом продолжается на всю жизнь.

— В этом отношении я должен сознаться, — присовокупляет г. Голмберг, — что молодые люди оказываются гораздо лучше молодых девушек. Для этих последних устроен в школе летний курс от 1-го мая до 1-го сентября. Кроме предметов теоретического преподавания, их обучают еще различным женским рукоделиям, и на курс этот записываются часто девушки различных сословий: не только дочери крестьян и торпаре, но и молодые мещанки из соседних городков. Но сколько мы ни стараемся сблизить их между собой, втолковать им, что им нечего чваниться друг перед другом — все наши усилия ни к чему не ведут! Крестьянки до конца дружатся только с крестьянками, дочери торпаре только с дочерьми торпаре, мещанки только с мещанками. Иногда просто забавно бывает смотреть, как горожанки задирают нос перед мужичками, а богатые крестьянки, со своей стороны, презирают нищенок-мещаночек. Да, что ни говорите, сословное чувство гораздо сильнее развито у женщин, чем у мужчин!

— Неужели это правда? — спросила я у г-жи Голмберг. Она, скрепя сердце, должна была подтвердить слова своего мужа, но старается объяснить это несчастное для нас, женщин, наблюдение, во-первых, тем, что занятия девушек в семье больше развивают в них мелочность, чем в мальчиках, а во-вторых, тем, что срок их учения в школе менее продолжителен и потому благотворное влияние школы не может сказаться на них так сильно, как на мужчинах.

Что касается этих последних, то, после моего посещения соседних крестьян, я еще более могу оценить ту перемену, какую производит шестимесячное пребывание в школе в их манере говорить, держаться, а главное — думать. В первый день после моего приезда я испытывала некоторое затруднение разговаривать с учениками по причине языка: все они говорят по-шведски совершенно правильно, но не так, как говорят в Стокгольме, а с некоторым провинциальным акцентом, который мне вначале было довольно трудно понимать; с другой же стороны, я видела, что и их затрудняет мой иностранный выговор. Однако мы скоро привыкли друг к другу и уже к концу второго дня моего пребывания в школе понимали друг друга отлично, и я могла беседовать с ними столь же свободно, как с моими собственными слушателями в Стокгольме.

Убедившись на вчерашней лекции г. Голмберга, какую благодарную аудиторию представляет вся эта наивная, горячая деревенская молодежь, у меня явилось чувство соревнования и мне захотелось, чтобы и меня послушали с таким же вниманием, как слушали вчера его. Поэтому в последний день моего пребывания в школе я предложила, что прочту что-либо вслух. Предложение мое было встречено с живой благодарностью.

Я привезла с собой из Стокгольма книжку народных рассказов Льва Толстого, недавно переведенных на шведский язык, и для начала выбрала рассказ «Упустишь огонь — не потушишь» [14]. Чтение мое часто прерывалось взрывами хохота. По окончании ученики, по обыкновению, стали обсуждать между собой прочитанное.

— Да, уж беда с бабами! Всегда от них идут ссоры! — произнес сентенциозно и самодовольно кто-то из молодых людей.

— Ну, однако, не одни только бабы мастерицы ссориться! Вспомните-ка о мешках! — заметил ему на это ректор. Этот таинственный намек на какие-то мешки имел магическое действие: он моментально вызвал яркую краску на щеках некоторых из молодых людей, в том числе и того, который только что высказал столь высокомерное суждение о бабах, и заставил их всех сконфуженно попрятаться за спинами товарищей.

Я попросила объяснения, и оказалось вот что: в шведских высших школах для народа ученики должны сами заботиться о своем прокормлении, и хотя многие из них приезжают издалека, однако, экономии ради, привозят обыкновенно с собой провизию на всю зиму. Каждый из них приезжает, снабженный из дому огромным холщовым мешком, набитым хлебом, сушеной и копченой рыбой, крутыми яйцами, солониной и гороховой колбасой. Все эти мешки складываются в особую комнату и отдаются на попечение общей горничной. Этой последней не мало бывает с ними возни. Хотя на посторонний взгляд все эти мешки, как две капли воды, похожи друг на друга, однако каждый крестьянин превосходно, до последней мелочи, знает свой собственный мешок и все его содержимое. Беда, если несчастная горничная подчас ошибется, и колбасу одного

переложит в мешок другого. Из этого выходят нескончаемые истории, и именно на одну из таких домашних драм, несколько недель тому назад взволновавших все заведение, и намекает теперь ректор. Это неприятное напоминание о мешках несколько испортило общее настроение духа. Чтобы сгладить дурное впечатление, я предложила прочесть еще что-нибудь и на этот раз выбрала «Сколько человеку земли нужно».

Выбор мой, однако, вышел не вполне удачный, так как ученики оказались решительно не в состоянии понять нравственный смысл рассказа.

— Эх, дурак какой! На этакое-то счастье попал, а бегать-то и не умел! Что бы ему поучиться сначала, а уж потом пускаться! — глубокомысленно заметил один из парней, и замечание это, очевидно, так хорошо резюмировало общее впечатление, что в первую минуту я не нашлась, что и отвечать. Попробовала я было растолковать им, что дело совсем не в этом; что автор хотел выразить этим рассказом, как ничтожно все земное сравнительно с вечным; но эта философия отречения, очевидно, мало приходилась по вкусу всем этим молодым, сильным, здоровым людям, живущим полною грудью. Они понимают, что можно отказаться от земных благ ради какой-нибудь высшей, но определенной цели. Вчера, например, они увлекались Колумбом, — и я убеждена, что многие из них в эту минуту желали в душе, чтобы и им представился когда-нибудь случай пострадать за хорошее дело. Но когда им проповедуют, что земных благ и не существует совсем, они не понимают этого, и никакие метафизические доводы в мире не отнимут у них физического сознания, что и временное не лишено своей прелести, что и из-за временного стоит жить и работать.

— Это что ж такое? То же самое, что и наши lesare * проповедуют, что ли? — равнодушно спросил меня один из учеников.

Философические рассуждения, очевидно, не занимали их нисколько; зато реальная, конкретная сторона рассказа заинтересовала их чрезвычайно.

— Неужто у вас, в России, в самом деле есть такие места, где заплатил 1000 рублей, а потом бери столько земли, сколько обежать можешь? — спрашивает меня один из учеников, и по его оживленному лицу, по его блестящим глазам мне сдается, что у него уже мелькает в голове смелая мысль отправиться в эти благословенные страны. Только он-то уж, наверное, будет умнее Пахома, целый месяц наперед будет упражняться и не пустится бежать, не измерив прежде собственных сил.

— Нет, я не думаю, что есть такие места! Автор выдумал это так, ради примера, — принуждена я была сознаться.

— Так это, значит, сказка! — презрительно заметил мой собеседник и с видом глубокого разочарования отошел в сторону; с этой минуты рассказ, очевидно, перестал совершенно интересовать его.

* Lesare, или пиетисты, шведская религиозная секта, напоминающая несколько английских квакеров (*прим. С. В. Ковалевской*).

Другие ученики осыпали меня вопросами о России, о том, как живут русские крестьяне, бедны ли они? есть ли у них много земли? есть ли у них такие же школы, как в Швеции?

До позднего часу толковали мы с ними в этот вечер о России.

Лежа в эту ночь в постели, я долго не могла заснуть: все вертелись у меня в голове мысли о далекой родине. Думалось мне: придется ли мне когда-нибудь в жизни, в какой-нибудь заброшенной, глухой русской деревушке рассказывать кучке русских молодых крестьян о Швеции, как я рассказывала сегодня шведам о России.

Стокгольм, май 1890 г.

В больницах Шарите и Сальпетриер

В БОЛЬНИЦЕ «LA CHARITÉ»

(Гипнотический сеанс у д-ра Luys'a [2], члена медицинской академии)

Под руководством д-ра Берильона [3] нас вводят в палату для нервных больных. Два ряда белых, очень опрятных и даже уютных на вид кроватей идут вдоль палаты. Большинство пациенток еще молодые женщины, и хотя по наружности они принадлежат, разумеется, к очень различным типам, но все представляют одну общую черту: замечательную нервную подвижность и матово-бледный, словно восковой, цвет лица. В противоположность им, две soeurs du service laique *, суетящиеся от одной кровати к другой, в белых, туго накрахмаленных чепцах и передниках, отличаются своими розовыми щеками и цветущим видом. У некоторых кроватей собрались уже кучки экстернов и студентов, готовящихся к экзамену, и оттуда доносятся веселые шутки и смех. Но вот в дверях залы показывается д-р Люис. Это какой-то великан bon enfant **. Его громадную фигуру облекает полотняная блуза, подпоясанная передником, а на голове у него бархатная calotte ***, из-под которой беспорядочно выбиваются желтоватые с проседью кудри. Он, по крайней мере, на полголовы выше всех присутствующих здесь молодых докторов и студентов, а что касается маленького д-ра Берильона, так тот ему положительно и по плечо не достает. Окруженный всеми этими маленькими черненькими французами

* мирские сестры милосердия (*франц.*).
** добрый малый (*франц.*).
*** шапочка, ермолка (*франц.*).

д-р Люис кажется существом иной породы. У него вид такой отеческий, что его можно принять за доброго папа среди своих ребятишек. Впрочем, нет, мне скорее хочется сравнить его с главным поваром в кухне большого дома или с ярмарочным колдуном-итальянцем. На это последнее сравнение меня особенно наводит то, что вся его фигура, несмотря на его тучность, невольно возбуждает представление о большой ловкости и силе. Походка у него эластичная, как у большого, откормленного кота, а глядя на его белые, ловкие руки, так и кажется, что он сейчас засучит рукава и начнет ими выделывать какие-нибудь штуки. С пациентками он обращается крайне фамильярно, берет их за подбородок, называет их ma petite, mon enfant, mon petit chat *. И все эти сорок женских лиц решительно расцветают при его входе в залу. Те из пациенток, которые могут вставать, окружают его со всех сторон, те же, которые в кроватях, по необходимости должны ограничиваться тем, что впиваются в него глазами, и на их лицах явно написано, с каким нетерпением они ждут своей очереди, когда д-р Люис подойдет к их кровати. Больных он осматривает очень ловко, с каким-то особенным шиком. Но быстрота и изящество, с которыми он делает свое дело, не мешают ему болтать не переставая. Подчас он отпускает остроты даже и очень вольные; студенты хохочут тогда густым басом, а больные и сиделки вторят им почтительным сопрано.

Д-р Берильон подводит нас к Люису, и я вручаю ему мою карточку. Тут же представляют ему Жаклара [4], из газеты «Justice» ** [5]. Люис в восторге.

— Нам очень приятно, когда знатные иностранцы посещают нас с целью убедиться, что мы не шарлатаним, — говорит он мне. — Что же касается печати, о, печать это сила, — обращается он к Жаклару.

Сегодня, оказывается, есть именно много интересного показать нам.

— Ну, Эстер, нам придется сегодня поработать, дитя мое, — говорит Люис, обращаясь к одной из пациенток.

Эстер подходит, несколько ломаясь. Это довольно хорошенькая девушка, лет 25-ти, с замечательно подвижною физиономией. Особенную пикантность придает ее лицу золотисто-красноватая прядь волос, живописно взвитая змейкой и резко выделяющаяся на темно-каштановом фоне остальной шевелюры. Не берусь решить, природе или искусству она обязана этим оригинальным украшением.

— Это мой лучший сюжет, — шепчет мне д-р Люис на ухо. Однако Эстер ломается.

— О, я не могу сегодня. Я не расположена, и притом это меня утомит.

Люис уговаривает ее как ребенка.

— Попробуем, дитя мое; ты доброе, признательное маленькое существо. Сделай это ради меня.

* моя крошка, мое дитя, моя кошечка (*франц.*).
** «Справедливость» (*франц.*).

Но уговоры не помогают. Эстер все упирается. Тогда д-р Люис решается на последнее средство: он берет Эстер за плечи и толкает ее ко мне.

— Видишь ты эту даму, Эстер. Ну вот. Это очень ученый профессор Стокгольмского университета. Если ты хорошо поработаешь, она будет говорить о тебе на своих лекциях. Как! Ты не знаешь, что такое Стокгольм! Да ведь это очень большой город далеко отсюда. Ты можешь гордиться, если о тебе заговорят в Стокгольме.

Как ни удивительно это может показаться, но средство оказывается действительным. Эстер не может устоять против соблазнительной перспективы, что о ней будут говорить в Стокгольме, и, скромно опустив глазки, объявляет: «Пожалуй, я попытаюсь, дорогой доктор». Мы переходим в нижний этаж, в приемный кабинет д-ра Люпса. Эта комната убрана очень своеобразно; все стены увешаны фотографическими изображениями мужчин и женщин в различных стадиях гипнотического экстаза и каталепсии, с лицами, искаженными самыми невозможными гримасами; например, одна половина лица смеется, другая плачет. Столики по углам уставлены колокольчиками, цветными шариками, экранами и другими очень странного вида приборами, которые, как оказывается, все играют очень важную роль в гипнотизме. В ожидании Эстер, еще не явившейся, Люис занимается двумя другими «сюжетами», которые уже дожидались его в приемной и, по его словам, представляют очень замечательный случай de la fascination hypnotique*. Один из них уже пожилой человек, кажется, бывший приказчик в каком-то магазине. Теперь он поражен прогрессивным параличом, и лицо его носит печать почти идиотического равнодушия. Но вот Люис приставляет два пальца к его лбу.

— Спите! — говорит он повелительно. Лицо больного немедленно преображается, глаза становятся совершенно как стеклянные и впиваются в доктора. Люис подымает ему руку; рука так и замирает в этом положении, словно восковая.

— Смейтесь, — говорит Люис, и больной тотчас начинает хохотать, но совершенно беззвучно, и лицо его так и застывает в этом ужасном смехе.

Другой «сюжет» — еще совсем мальчик, лет 19-ти, чистейший тип парижского voyou**. Он очень худой, с точно развинченными членами и с веселыми, бесстыжими глазами.

— Вот уже третий год как он находится в нашей больнице, — поясняет мне Люис, — и пока он у нас, он ничего себе, как будто бы совершенно здоров. Только сладу с ним никакого нет: все пристает к женщинам. Как за ним ни смотри, он все-таки умудрится улизнуть и проберется на женскую половину. Начальство уже три раза вмешивалось и требовало его удаления, под предлогом, что он теперь совсем здоров. Но что вы поделаете? Лишь только его выпишут из больницы, с ним тотчас начинаются припадки эпилепсии. Дня через два-три полицейские подберут его где-нибудь на улице и приведут его опять к нам же. Работать он реши-

* гипнотического подчинения (*франц.*).
** бродяги (*франц.*).

тельно не хочет. Разве вот гипнотическими внушениями удастся его исправить! Я решился теперь приложить гипнотическую педагогию к его нравственному воспитанию. Но это требует времени, а глупое начальство все мешает. Очень трудно делать добро во Франции, сударыня.

Пока Люис рассказывает мне эти подробности, интересный «сюжет» стоит перед ним с закрытыми глазами, погруженный в гипнотический сон.

— Он ничего, ровно ничего теперь не слышит из того, что делается вокруг него, — уверяет меня Люис. — Вы с ним заговорите, он не ответит, вы его троньте — он не почувствует. Я один нахожусь с ним в гипнотическом общении.

Действительно, юноша стоит совершенно неподвижно, как истукан; ни одна черта на его лице не дрогнет, точно не о нем идет речь; только мне все сдается, что глаза его, и закрытые, сохраняют плутоватое выражение и что в них написана решимость не покидать добровольно гостеприимную больницу с ее даровым коштом и не менять ее на тяжелую работу где-нибудь на фабрике. Поэтому я надеюсь, что, несмотря на все помехи неразумного начальства, добрый д-р Люис успеет еще на досуге заняться приложением гипнотической педагогии к нравственному воспитанию своего многообещающего питомца.

Убедившись, что на все наши к нему обращения больной не может или не хочет отвечать и остается столь же безучастным, когда кто-либо из присутствующих экстернов тычет в него пальцем или слегка, очень слегка, щиплет ему руку, д-р Люис говорит торжествующе:

— Вы видите, он ничего не видит и не слышит. Теперь вы увидите на нем очень интересный пример, как преступник может действовать под влиянием гипнотизма и как закон бессилен в подобных случаях. Послушай, любезный! Ты видишь этого маленького господина, вон там? — Люис указывает на своего ассистента.

— Да, доктор, я его вижу, — немедленно отвечает до сих пор ничего не видевший и не слышавший «сюжет».

— Так вот этот господин мошенник каналья, — продолжает Люис, — надо его убить, я этого хочу! Как только ты проснешься, — ты его схватишь за горло и задушишь. Но ты никому не скажешь, что ты это сделал по моему приказанию. Ты понял меня?

— Совершенно, доктор...

— Так ты хочешь убить этого господина?

— Да, доктор!

— Отчего ты хочешь его убить?

— Потому что он оскорбил моего доктора! — отвечает юноша таким тоном, каким актер какого-нибудь подгородного театра, играющий роль преданного слуги в мелодраме, восклицает: «Я убью всякого, кто оскорбит моего господина».

Люис дует ему в лицо. «Сюжет» мгновенно просыпается и начинает с преувеличенно растерянным видом протирать себе глаза.

— Знаешь ли ты, где ты и что с тобою было? — спрашивают у него.

— Я в больнице, как и всегда, со мной ровно ничего особенного не было, — детски чистосердечно отвечает «сюжет». Но вот взгляд его падает на того господина, которого ему велено убить, лицо его мгновенно искажается яростью и, в припадке якобы неудержимого гнева, он бросается на него со сжатыми кулаками. Разумеется, его останавливают вовремя, и вот начинается комедия допроса. Кто-то из присутствующих берет на себя роль следователя.

— Подсудимый! — говорит он строго, — вас арестовали в тот самый момент, когда вы собирались совершить убийство. Знаете ли вы, какой ответственности вы подвергаетесь?

Подсудимый плачет (очень, право, хорошо и естественно) и молит о пощаде.

— Не можете ли вы привести каких-либо смягчающих обстоятельств в вашу пользу? — спрашивает следователь.

Нет, подсудимый не может ничем оправдать своего поступка.

— Быть может, вас кто-нибудь научил, подстрекнул на это убийство? — подсказывает следователь.

— Ах, нет! — Подсудимый приходит даже в негодование от подобного предположения и энергически отрицает всякое подстрекательство. Все присутствующие ахают от удивления. Люис ухмыляется и самодовольно потирает руки.

— Ну, хорошо, любезный, — говорит он, наконец, и снова подставляет два пальца ко лбу пациента; тот сейчас же впадает в гипнотический сон, во время которого Люис приказывает ему забыть о всем случившемся и потом снова уже окончательно будит его. Опыт удался прекрасно. Невменяемость подсудимого перед законом, при всегдашней возможности предположить, что он действовал под влиянием гипнотизма, доказана вполне.

Теперь очередь за Эстер. Вот уже несколько минут как она вошла в комнату и с недовольным, саркастическим видом следит за всею процедурою, в которой так отличается ее собрат по гипнотизму.

— Уже поздно; быть может, вы меня оставите до завтра, — говорит она, наконец, капризным голосом. Ею, очевидно, овладела такая же зависть, какую должна испытывать примадонна, когда первому тенору начинают аплодировать уже с первого акта, прежде чем она выступила на сцену.

Люис вынимает из кармана маленький шарик из слоновой кости с несколькими просверленными в нем отверстиями, подносит его ко рту и издает резкий, пронзительный свист. Эстер падает в кресло, с нею мгновенно начинается судорога, глаза закатываются и члены неестественно выворачиваются.

— Это мое изобретение — этот волшебный, усыпляющий их инструмент, — говорит Люис тоном торжествующего изобретателя, — и я уверен, что мой маленький шарик окажет со временем немаловажную услугу гипнотизму.

Магический шарик переходит из рук в руки, и Люис заставляет нас подробно осматривать его устройство. Что в этом шарике необыкновенного и в чем заключаются его преимущества перед обыкновенною свистулькою, я рассказать не берусь. Давно известно, что всякий резкий, неожиданный звук легко может вызвать конвульсии у очень нервных людей. Но Люис, очевидно, приписывает какое-то особое значение именно своему шарику и очень гордится тем, что изобрел сей «волшебный инструмент».

— Вас это должно особенно интересовать как математика, — говорит он мне, — вам надо было бы этим серьезно заняться, сударыня.

Я скромно отговариваюсь тем, что мои занятия ограничиваются, к сожалению, одною чистою математикою, а удивительный шарик скорее относится к области физики...

Люис опять подносит ко рту свое изобретение, снова раздается резкий свист, но на этот раз его действие на больную совсем иное, чем в первый раз. Члены ее выпрямляются, тело снова приобретает упругость, глаза полуоткрываются и на лице появляется выражение экстатического блаженства.

— Теперь она впала в период сомнамбулизма, — шепчет нам Люис. — Эстер, дитя мое, узнаешь ли ты меня?

— Конечно, я тебя узнаю. (В сомнамбулизме больные всегда на «ты» со своим гипнотизером.)

— Как ты себя чувствуешь? — продолжает спрашивать Люис.

— Отлично; а ты сам как себя чувствуешь, толстяк? — следует вдруг неожиданный ответ.

Студенты хихикают. Лицо Люиса хмурится.

— Лишь бы она не стала говорить глупостей, как прошлый раз, — говорит он озабоченно. — Нет, нет, так не нужно, милая моя, — продолжает он строго, обращаясь к больной. — Сегодня будь рассудительна. Не забывай, что здесь дама. Я постараюсь дать тебе приятные видения.

Он подает ей один за другим несколько стеклянных шариков и уверяет ее, что это бриллиантовые серьги, золотое ожерелье, зеркало. Эстер выражает превеликий восторг, получая от него эти шарики; она делает вид, что продевает воображаемые серьги в уши, любуется собою в фиктивное зеркало, и ее хорошенькая, подвижная рожица действительно презабавно и преграциозно воспроизводит все оттенки удовольствия и самовосхищения.

Наконец, Люис подает ей пустой стакан и приглашает ее выпить шампанского. Эстер сначала ломается, потом вдруг опустошает весь стакан залпом и, прищелкнув языком, восклицает:

— Это, однако, очень вкусно!

— Теперь я могу заставить ее поверить всему, чему мне захочется, — уверяет и конфиденциально сообщает нам д-р Люис. — Во время сомнамбулического сна гипнотизер пользуется полным доверием «сюжета». И трудно даже поверить, как велика доверчивость каждого субъекта.

— Да, действительно, трудно поверить, — с полным убеждением соглашаюсь я.

Затем Люис уверяет свою пациентку, что она находится в прекрасном саду, и вот она, принимая ряд живописных поз, начинает рвать воображаемые розы и упиваться их чудным запахом. Но тут происходит неожиданная диверсия. Юноша первого акта, который все время оставался тут же, но на которого никто не обращал внимания, соскучился, очевидно, своей пассивностью и решился опять напомнить о себе.

— Она врет, это не роза, это гвоздика, — вдруг раздается его гневное восклицание, и с этими словами он бросается на Эстер и пытается вырвать из ее рук воображаемый цветок. Мы все недоумеваем, как понять сие явление; но Люис скоро выводит нас из замешательства.

— Вот видите! — восклицает он радостно. — На наших глазах произошел совершенно непредвиденный, но весьма интересный факт. Я думаю привести его в ближайшем моем докладе академии.

Оказывается, по толкованию Люиса, что наш юноша впал тоже в сомнамбулический сон, но не по воле гипнотизера, а под влиянием сомнамбулизма Эстер. Теперь он участвует в ее психической жизни; каждая ее галлюцинация становится для него реальностью, только несколько видоизменяется в его собственном мозгу. Между обоими «сюжетами» затевается презабавное состязание.

— Это маргаритка, — объявляет Эстер, указывая на пустоту.

— Да нет же! это Иван-да-Марья, — оспаривает юноша.

— Она величиною с мою руку, — продолжает Эстер.

— Еще, пожалуй, скажешь, что она настолько велика, что годится тебе как зонтик, — поправляет ее юноша.

Каждый из них старается перещеголять другого, выдумав нелепость покрупнее. Всего забавнее то, что оба соперника по гипнотизму начинают не на шутку сердиться. В голосах обоих слышится все большее и большее раздражение. Наконец, Эстер, решившись, очевидно, во что бы то ни стало удержать за собой исключительное право на внимание публики, бросается в кресло и объявляет, что будет молчать, пока другой останется в комнате. Приходится его увести, и тогда представление продолжается.

Теперь начинается самая интересная часть опытов, та, на которую д-р Люис изъявляет самые неотъемлемые права первенства. Эти опыты должны показать действие лекарств на гипнотизированного субъекта по одному прикосновению (action par contact). Люис вынимает из шкафа пробирный цилиндрик, наполненный коньяком, и прикладывает его к шее пациентки. Не проходит и нескольких минут (что я говорю, — нескольких секунд), как уже винные пары начинают действовать. Эстер пьянеет. Как это она производит, бог ее ведает, но надо сознаться, что она воспроизводит артистически, до безобразия верно всю картину постепенного опьянения. Ее хорошенькое личико наливается кровью и становится безобразным, глаза соловеют, нижняя губа отвисает, язык путается, на лице появляется идиотическая усмешка; наконец начинаются даже спазмы,

предшествующие рвоте. Тут Люис счел нужным прекратить опыт. Не успели отнять от ее шеи цилиндрик с коньяком, как все мигом, точно рукой сняло. Опьянения как не бывало. Эстер протирает глаза и опять смотрит на нас со своею лукавою гримаской.

Но опыт еще не кончен. Напротив того, теперь начинается самое чудесное. Люис опять прикладывает к шее Эстер пробирный цилиндрик, но на этот раз он наполнен не коньяком, а дистиллированною водою, — да, не чем иным, как aqua destillata. И как бы вы думали? Какое действие производит одно прикосновение этой опасной влаги, которую мы так легкомысленно пьем в течение всей нашей жизни? Не успел цилиндр с водой коснуться чувствительной шейки m-lle Ester, как у нее начинают проявляться, самым несомненным и устрашающим образом, все характеристические признаки водобоязни. Сомневаться невозможно. Это совсем то же самое, что Пастер наблюдал в своей клинике. У Эстер припадок гидрофобии, в ее самой резкой, типической форме. На нее страшно смотреть: жилы на шее раздулись, губы сведены судорогой, кулаки сжаты, налитые кровью глаза точно готовы выскочить из своих орбит; еще одна минута, и она бросится на кого-нибудь из нас — пожалуй, чего доброго, на самого д-ра Люиса — и укусит. И что из этого выйдет, — боже мой! Но, разумеется, до этого дело не доходит. Цилиндрик с чудодейственною водою отнимают от ее шеи, и Эстер опять превращается в милую, безобидную гризетку.

Люис дует ей в лицо, чтобы разбудить ее окончательно.

— Что вы чувствовали, mademoiselle? — спрашиваем мы ее с участием.

— Ничего, я решительно ничего не помню! — отвечает она простодушно.

Но вот что странно: хотя Эстер и утверждает, что ровно ничего не помнит из того, что с нею происходило, однако она, по-видимому, вовсе не удивляется, когда мы в ее присутствии ахаем и обсуждаем все, что мы видели. И вот что еще страннее: она не выражает даже ни малейшего любопытства узнать, что же такое именно она творила во время этого пробела в ее существовании. А уж, кажется, такое любопытство было бы вполне законным с ее стороны. Если бы я была ее другом, я бы даже посоветовала ей быть полюбопытнее.

— Ну что же! Довольны ли вы тем, что видели? — спрашивает у меня д-р Люис.

Я решаюсь заметить ему, что, по моему мнению, эти опыты следовало бы производить под более строгим контролем, т. е. обставить их таким образом, чтобы пациентка *не могла* знать, что именно заключается в цилиндриках.

— Да как же ей узнать, когда она спит?! Она ничего не видит и не понимает из происходящего вокруг нее, — нетерпеливо отвечает Люис.

На это возражать, разумеется, нечего; остается только поблагодарить и раскланяться.

— Приходите завтра; я представлю вам вашу соотечественницу — русскую даму. Она тоже отличный «сюжет». Я произвожу в настоящее время над ней целый ряд весьма любопытных опытов, — говорит мне Люис при прощании.

Софья Нирон [6]

В БОЛЬНИЦЕ «LA SALPÊTRIÈRE»

Клиническая лекция д-ра Шарко [7]

Какова неожиданность. Вот уж не ожидала я встретить русскую барыню в роли гипнотического «сюжета» д-ра Люиса в Париже. Куда, куда только не заносит судьба наших соотечественниц.

— Что это за русская барыня, о которой говорил Люис? — спросила я д-ра Берильона по дороге домой.

Д-р Берильон знает ее хорошо и рассказал мне всю ее скорбную повесть.

Больше пятнадцати лет тому назад в Париж приехала одна русская барышня учиться. Она стала посещать лекции в медицинской академии, но училась бестолково, без плана, без предварительной подготовки. Родители ее умерли и оставили ей небольшое состояние, которое она и приехала проживать в Париже. Но жизнь ее здесь сложилась невесело: с русским кружком она почему-то не сошлась; студенты-французы относились к ней свысока, насмешливо. Только с одним из них, Г-р, она почему-то сблизилась, почему — бог ведает. Она была чистокровная россиянка по вкусам и привычкам; он же был истый парижанин, с врожденным почтением к роскоши и комфорту и, вместе с тем, boulevardier * до мозга костей. Ну, что бы, кажется, между ними общего? Однако они сошлись. Он не любил ее вовсе и, помогши ей прожить ее небольшой капиталец, не только совсем охладел к ней, но даже возненавидел ее. Она же привязалась к нему страстно, бесповоротно, с каким-то даже ожесточением и упорством.

Он изменял ей постоянно; она следила за ним, караулила его ночью на улицах. Он прогонял ее, бил даже, переезжал на другую квартиру, чтобы как-нибудь от нее избавиться. Она сделалась баснею всего Латинского квартала. Ничего не помогало. Так прошло много лет. Денег у нее больше не было ни гроша. Как, на какие средства она существовала, — одному богу известно. Однажды объявились какие-то родственники и предлагали увезти ее обратно в Россию, но она отказалась, предпочитая переносить и нужду, и голод, лишь бы не оставлять Парижа и не уезжать от *него*. Между тем, ему тоже не повезло в жизни. Карьеры он не сделал, состояния не нажил, здоровье расстроил. Молодость прошла, и к сорока го-

* бульварный завсегдатай (*франц.*).

дам он оказался, так же как и она, un décavé *, без определенных средств к жизни в настоящем и без надежд в будущем. И вот тут они опять сошлись. У ней сделалась какая-то нервная болезнь, ее приняли в Сальпетриер; Шарко нашел, что болезнь ее очень интересна и стал экспериментировать над ней гипнотизмом. В это самое время гипнотизм именно входил в моду, — у ней оказалась удивительная к нему восприимчивость, и тут только ее легкомысленный друг понял, какую пользу может извлечь из своего несчастного друга. Она сделалась гипнотическим «сюжетом» по профессии, а он — ее антрепренером. Но какая разница между нею и между обыкновенными сомнамбулами! Обыкновенные сомнамбулы все глупы, грубы, невежественны, они набираются из низших слоев общества, к ним нельзя иметь никакого доверия. Она же — умная, образованная женщина, когда-то посещавшая курс медицины, и притом русская, а на все русское теперь мода в Париже. Такая сомнамбула — чистый клад. Разумеется, она не предсказывает будущего и не гадает на картах, как делают ее товарки на ярмарках. Нет, д-р Г-р изобрел более выгодный и гораздо более научный прием. Он приводит свою спутницу ко всем знаменитым профессорам, занимающимся гипнотизмом, и, из любви к науке, предлагает им произвести над нею опыты, разумеется, бесплатно и притом каждому именно в том направлении, которое его интересует. Доктора остаются обыкновенно в восторге от умной, понятливой пациентки, одаренной в высокой степени гипнотизируемостью. Сам великий Шарко объявил, что ему еще не приходилось иметь дела с таким интеллигентным «сюжетом», как она. Заручившись рекомендациями и протекцией великих maîtres, уже не трудно потом достать приглашения на частные сеансы гипнотизма, которые теперь в большом ходу в парижском бомонде и за которые «сюжету» платят иногда до 500 франк<ов> с вечера. Говорят, дела этой интересной парочки идут так хорошо, что д-р Г-р не только уже не бегает больше от своей возлюбленной, а напротив — повел ее на днях к мэру, чтобы узами законного брака закрепить за собою полезную союзницу. Вот к каким неожиданным результатам приводит иногда гипнотизм.

— Я не советую вам идти завтра на сеанс к д-ру Люису. Вам, верно, будет неприятно видеть вашу соотечественницу в такой унизительной роли. К тому же, насколько я знаю их, я убежден, что они тотчас же начнут придумывать, как бы эксплуатировать знакомство с вами, — говорит мне д-р Берильон, который сам относится к вопросу о гипнотизме честно и серьезно и потому питает почти личную ненависть ко всякому, кто желает устроить из него балаган.

Действительно, как ни интересно мне было увидеть мою «знаменитую соотечественницу» и провести сравнительную параллель между русскою и французскою сомнамбулами, однако я решилась отказаться от приглашения Люиса, тем более, что в тот же день мне предстояло идти на клиническую лекцию Шарко в La Salpêtrière.

* разорившийся (*франц.*).

Сальпетриер — самая большая больница для женщин во всем Париже. Весь персонал в ней, т. е. число больных и прислуги, доходит до пяти или шести тысяч — целый городок. В Сальпетриере есть отделение для страдающих раком и другое, для неизлечимых, — род богадельни, но главный контингент больных составляют нервные, истерические и сумасшедшие. Странное чувство испытываешь невольно, когда проходишь двор за двором, палату за палатой, и всюду вокруг себя видишь те же желтовато-бледные, нервно-подвижные, удивительно несимметричные лица, которые характеризуют этого рода больных. В последнее время о Сальпетриере писали и говорили так много, что одно это имя уже вызывает особого рода настроение. Шарко — властитель этого царства невроза. К нему все здесь относятся с благоговением, граничащим с подобострастием. И вид у него действительно внушительный, генеральский. Ни следа того обращения запросто, «за панибрата», которое я замечала у Люиса. Шарко скуп на слова, но зато каждое его слово ловится на лету, и я сомневаюсь, чтобы какой-либо больной взбрело на ум назвать его mon gros *, в какой бы из трех стадий гипнотического сна, открытых Шарко, она ни находилась. Интерны ** представляют ему свои рапорты о больных с таким подобострастным видом, что невольно приходят на ум слова: «руки по швам». Я сама видела, как страшно переконфузился и растерялся один интерн, когда Шарко сделал ему какое-то неодобрительное замечание. Будь Люис на месте Шарко, интерн, вероятно, не только не сконфузился бы, но еще, чего доброго, вступил бы в препирательство с профессором.

Сегодняшняя лекция служит, собственно, приготовлением к большой публичной лекции, которую Шарко прочтет через несколько дней перед многочисленной аудиторией. Сегодня допускаются только избранные, и мне, следовательно, представляется случай познакомиться, так сказать, с домашнею кухнею великого мастера. Несколько времени тому назад против Шарко появились с разных сторон в печати обвинения в том, что он в своих клинических лекциях представляет все одних и тех же больных, которые подвергаются предварительно целому курсу гипнотического воспитания в Сальпетриере. Поэтому теперь он стал придерживаться другой системы — разнообразить как можно больше выбор своих живых медицинских препаратов. Вот теперь-то именно и происходит сортировка больных: каждый интерн представляет тех из вверенных его уходу пациентов, которые кажутся ему почему-либо интересными в медицинском отношении, и из числа их Шарко выберет нескольких, которых удостоит чести послужить живыми иллюстрациями его теорий. Все эти больные ждут своей очереди в небольшой комнате, рядом с той, в которой мы находимся, и поодиночке подводятся к профессору. Крайне тяжелое впечатление оставляет этот осмотр. Вероятно, и в большинстве других клиник дело ведется совершенно таким же образом, но с непривычки очень тя-

* мой толстяк (*франц.*).
** Ассистенты (*франц.*).

жело смотреть на всю эту chair à expérimentation médicale *. Шарко именно так и относится ко всем этим больным женщинам, как будто они — медицинские препараты и ничего более. Он обращается с ними крайне бесцеремонно; ему и в голову не приходит, чувствуют они или нет. Он осматривает, постукивает их, выставляет на вид студентам их недуги так же равнодушно и безучастно, как производил бы это над манекеном, и тут же вслух, им в лицо, ставит диагноз и высказывает часто весьма печальный для них pronostic **, нисколько не заботясь о том, каково им выслушивать свой собственный приговор. Все эти больные, разумеется, бесплатные, и им таким образом приходится расплачиваться за подаваемый им медицинский совет.

Большинство из осматриваемых сегодня больных представляют очень тяжелые формы местных поражений нервной системы; некоторые из них не могут держаться на ногах; их ввозят в кресле и во время осмотра поддерживают с обеих сторон, иначе они упали бы. Одна больная особенно ужасна. Она все понимает, умственные способности не ослабели вовсе, но все двигательные нервы вышли из повиновения, и не то чтобы они были парализованы, — они действуют, но во всей локомоторной системе произошла какая-то путаница. Так, например, больная хочет протянуть руку, чтобы взять стакан, а на место того у ней вдруг высунется язык или нога подымается кверху. «Вам нужно взять этот стакан рукою, а не ногой или языком. Попробуйте, попробуйте еще», — кричит на нее Шарко. Больная, очевидно, сознает сама всю нелепость своих движений; она краснеет, конфузится, видимо употребляет неимоверные усилия воли, чтобы выполнить приказание, но в результате получаются только конвульсивные подергиванья различных частей тела, такие нелепые, ни с чем несообразные, что глупые студенты усматривают в этом что-то очень комичное и разражаются смехом. Больная еще пуще конфузится, кажется, вот-вот сейчас заплачет, а наместо того вдруг сама начинает хохотать, да так громко, неудержимо, что осмотр приходится прекратить, и ее уводят из комнаты.

А вот другая больная, уже старуха, тоже сохранившая все умственные способности, но утратившая всякую чувствительность в ногах; вся нижняя часть туловища у нее как мертвая. Теперь уже и область таза начинает обмирать, а голова все еще действует, все еще рассуждает, даже все еще хочет жить. Глядя на эту несчастную старуху, невольно приходит на память страшная сказка из «Тысячи и одной ночи» о том человеке, которого колдунья превратила в каменный столб всего — за исключением одной головы, которая все видит, все слышит, все чувствует. Наша больная не только все понимает, но и говорит вполне разумно, толково; она сама рассказывает историю своей болезни — как сначала чувствовалось только легкое замирание в ногах, точно мурашки бегали, как потом она совсем перестала чувствовать, что у нее есть ноги, будто

* мясо для медицинских опытов (*франц.*).
** прогноз (*франц.*).

их отрезали, но выше колен, в бедрах, еще сохранялась чувствительность, и как потом это страшное онемение подымалось все выше и выше.

Она родом из Южной Франции и вела какую-то мелкую торговлю в одном из провинциальных городков. Она пренаивно рассказывает, как до нее стали доходить слухи о великом докторе в Париже, который ее наверное вылечит, и как она решилась бросить свой дом и продать свое предприятие, чтобы перебраться в Париж.

— Не стоило беспокоиться, старушка: ваше дело плохо, — грубо говорит ей Шарко. — Вам остается только уложить сундуки и отправиться.

Но самое сильное впечатление произвела на меня одна мать с сыном. Она — шляпница по ремеслу, еще молодая женщина, очень приличная на вид. Мальчику ее уже лет десять; он худенький, бледненький, и личико его, когда оно спокойно, очень симпатичное, интеллигентное; но в том-то и беда, что оно редко бывает спокойно. Через каждые две-три минуты он вдруг начинает вздрагивать всем телом и выделывать такие страшные гримасы, что на него глядеть невозможно. У него la chorée * — так, кажется, эта болезнь называется.

— Пробовали ли вы делать ему гипнотические внушения? — спрашивает Шарко у приведшего его ассистента.

Интерн докладывает, что пробовал, но что никакие внушения не помогают.

— В таком случае у него эта болезнь наследственная, — решает Шарко, — у них в семействе наверное уже были подобного рода больные. Справлялись ли вы об этом?

— Справлялся, но мать уверяет, что не было, — нерешительно докладывает интерн, как бы сожалея, что ему приходится донести о факте, противоречащем предположению, высказанному профессором.

— Наверно недостаточно подробно ее допросил! — нетерпеливо возражает Шарко. — Они всегда сами забывают о том, какие были больные в их семействе, — поясняет он слушателям и сам начинает выспрашивать мать больного мальчика.

У нее самой такой здоровый, цветущий вид, что ее уж никак нельзя заподозрить в том, что она сама передала сыну зачаток этой страшной болезни.

— Ваш муж наверное часто бывает болен? — спрашивает или скорее утверждает Шарко.

— О, нет, у него прекрасное здоровье. Я никогда не видала его больным.

— Он, вероятно, стар, гораздо старше вас?

— О, нет, мы с ним ровесники.

— Но верно ли, в таком случае, что ваш муж и есть настоящий отец вашего ребенка? — грубо спрашивает Шарко, и в голосе его слышится раздражение.

Студенты почтительно хихикают.

* хорея (*франц.*).

— Oh, monsieur! — находится только ответить вконец переконфуженная мать.

— Eh bien voyons, cherchons ailleurs *, — продолжает Шарко, но уже мягче, так как ему видно самому несколько совестно своей выходки. Но все допросы ни к чему не ведут. Оказывается, что не только отец и мать — оба совершенно здоровы и кроме этого больного мальчика имеют еще двух совершенно здоровых детей, но что и их родители все четверо еще живы и, несмотря на преклонные лета, пользуются тоже прекрасным здоровьем. Однако Шарко не унывает.

— Перейдем к дядям и к теткам, — говорит он спокойно. — Постарайтесь вспомнить, сударыня, не было ли оригиналов в вашей семье. Не эмигрировал ли кто-либо в Америку? Сколько у вас было братьев и сестер? Какова их судьба?

При этом напоминании об ее сестрах молодая женщина, сохранявшая до сих пор невозмутимое спокойствие, начинает конфузиться и запинаться. Шарко, замечая, что напал-таки, наконец, на больное место, усиливает натиск. Наконец, бедная женщина вынуждена сознаться, что у нее действительно была сестра, qui a mal tourné **, так что семья от нее совсем отказалась, и никто даже не знает, где она теперь и что с ней сталось.

— Ah, je le savais bien! *** — торжествующим голосом восклицает Шарко. — Я готов побиться об заклад, что в этой сестре и проявились первые зачатки той болезни, которую вы теперь наблюдаете на этом мальчике, — продолжает он, обращаясь к аудитории... — Я бы не удивился, если бы оказалось, что эта сестра, местопребывание которой семье неизвестно, находится в настоящую минуту где-нибудь в сумасшедшем доме.

К сожалению, справедливость этого предположения нельзя проверить, но Шарко на нем успокаивается и велит увести мальчика. Он так уверен в непогрешимости своей гипотезы, что не дает себе и труда расспросить, не было ли каких-либо особых потрясений в жизни больного, в каких условиях он возрос, не заучили ли его и т. д. Наследственность — этот ужасный, безапелляционный приговор — все объясняет, по мнению современных докторов, и всякие дальнейшие разговоры становятся излишними.

— Нет ли какого-нибудь средства помочь ему, — робко спрашивает мать.

— О, нет, сударыня, с наследственностью ничего не поделаешь, — получает она беспощадный ответ.

Вид всех этих больных, их конвульсий и подергиваний, а главное звук их голоса и их странная, судорожная манера говорить так подействовали и на мои нервы, что я попросила моего спутника уйти, не дожи-

* Ну, поищем в другом месте (*франц.*).
** которая пошла по дурному пути (*франц.*).
*** Я так и знал! (*франц.*).

даясь конца лекции. Проходя через один из коридоров, мы еще раз увидели эту самую мать и сына. Бедная женщина стояла, прислонившись к подоконнику, и горько плакала. Она, очевидно, не хочет покориться безропотно приговору науки и примириться на той мысли, что сын ее — логическая жертва наследственности. Мальчик стоит тут же; ему, видно, жаль мать и он инстинктивно сознает себя виновником ее слез. Он ее ласкает и, постоянно вздрагивая, приговаривает:

— Не плачь, мама, прошу тебя, не плачь. Я постараюсь не делать более гримас. Только не плачь.

Немудрено, что на меня, не привыкшую к подобным сценам, эта лекция произвела такое сильное впечатление. Даже д-р Берильон, которому уже следовало бы привыкнуть, и тот находится, очевидно, под угнетающим впечатлением всего виденного и слышанного. Первое время мы идем молча вдоль набережной Сены, оба погруженные в невеселые размышления. Наконец, Берильон разражается целым потоком проклятий против гипнотизма, против докторов, против пациентов, против невроза, словом, против всего, что составляет суть и ядро его жизни.

— Как ужасно наше ремесло, — говорит он. — Каждую минуту приходится убеждаться, что мы ничего не знаем, ничего не можем, что мы бессильны и беспомощны, как дети, что мы все до единого — шарлатаны и только шарлатаны. И хуже всего в нашем деле, что не знаешь, кому верить. Больные врут, у докторов у каждого свой конек. Вот, например, Шарко — великий человек, спору нет, а у него их целых два: гипнотизм и наследственность. До самого больного ему дела нет. Положим, он девять раз прав, а на десятый возьмет да и подтасует факты. Прошу покорно, ну, как тут разберешься во всей этой путанице. Где кончается научная правда, где начинается надувательство? Гипнотизм — несомненно великое открытие, но, поверите ли, бывают минуты, когда самое слово гипнотизм выводит меня из себя.

— Но почему же вы не бросите это дело, не перестанете заниматься гипнотизмом? — спрашиваю я.

— О, я и брошу, непременно брошу, — отвечает он, — заработаю себе 150 000 франков (ведь это немного, неправда ли?) и потом уеду на юг, из этого ужасного Парижа, где вечно холодно (Берильон родом с юга, а нынешнее лето — особенно холодное в Париже, так что мы оба, несмотря на июль месяц, действительно мерзнем в эту минуту). Здесь нет ни одного здорового человека. Я поселюсь в деревне. Я не женюсь на приданом, как все это делают во Франции. Я выберу себе жену толстую, здоровую, лучше всего крестьянку, и у меня в деревне вырастут здоровые дети, которым не нужно будет думать о наследственности.

Говоря это, маленький, худенький д-р Берильон, с чахоточным румянцем на щеках, с восторгом впивает своею впалою грудью воздух Елисейских полей (до которых мы незаметно дошли разговаривая), как бы уже предвкушая будущее блаженство, ожидающее его в деревенской тиши, вдали от гипнотизма, гипнотизеров и гипнотизируемых.

Софья Нирон.

Париж, 21-го июля 1888 г.

ОТРЫВКИ

На выставке

4-го мая нынешнего года, часам к 6-ти пополудни, перед входом на всемирную выставку [1] можно было увидеть довольно многочисленную и очень нарядную толпу народа. День был великолепный, один из первых настоящих весенних дней в Париже.

Солнце светило ярко; в воздухе носилась золотистая пыль. Зелень на каштановых деревьях вдоль avenue Rapp сияла первой своей свежестью и бесчисленными брызгами от обильно спрыскивающих ее труб. Дамы обновляли свои весенние туалеты, и в своих светлых накидках, в соломенных шляпах, напоминающих нынешний год корзины, украшенные целыми снопами цветов, казались моложе, свежее, привлекательнее обыкновенного.

Дело было в том, что хотя официальное открытие всемирной выставки должно было произойти лишь завтра, но сегодня впускали избранную публику, снабженную так называемыми билетами de faveur * [2]. Хотя всем было известно, что выставка не готова еще наполовину и что она будет открыта для всякого желающего месяцев шесть, так что осмотреть ее будет время и торопиться поэтому незачем, однако каждый, кто только имел связи, влияние или положение в Париже, спешил добыть себе входной билетик. Для истого парижанина или парижанки какое бы то ни было представление или зрелище только тогда и приобретает цену, если ему представляется возможность увидеть его хотя бы за несколько часов перед остальной публикой, le vulgaire.

Получить бесплатный билет на первое представление театральной пьесы, так называемый vernissage в салоне, или вообще на какое-нибудь торжество, недоступное еще лишь несколько часов остальной, платящей публике, это значит почти то же самое в Париже, что добыть себе диплом, удостоверяющий, что вы не простой первый встречный и что вы что-нибудь да значите в этом миллионном муравейнике.

И нигде, ни в одном городе в мире так не развита погоня за этими diplomes de fantaisie **, как в Париже. Поэтому каждый из присутствующих в нарядной пестрой толпе, наводнявшей залы и галереи Марсового

* Бесплатные пригласительные билеты (*франц.*).
** придуманными дипломами (*франц.*).

поля за день до открытия всемирной выставки, питал в душе приятное сознание, что он представляет из себя в некотором смысле «лицо»; и если правда, как утверждают многие психосоциологи, что всякая толпа сплачивается в одно неделимое, в живого зверя, имеющего свои желания, страсти, не идентичные желаниям и страстям ни одного из составляющих его индивидуумов, но относящиеся к ним подобно тому, как интеграл относится к составляющим его дифференциалам, — то, несомненно, что сегодня зверь-толпа весь был проникнут, весь дышал только одним чувством: поклонением успеху. Страстное желание достигнуть, выдвинуться вперед, сделать карьеру и гадливое презрение ко всем неудачникам так и носилось в воздухе.

Интересно было видеть различные типы этой пестрой толпы. Сразу можно различить прямых участников в выставке, экспонентов, для которых предстоящая выставка являлась не простою потехой, а полем битвы, вернейшим средством рекламы, первою ступенью, ведущей к их обогащению и прославлению. По их озабоченному нервному виду, по их знакомству с местностью и по явно обнаруживаемому ими пристрастию к одному определенному отделу, в котором находится отведенная им витрина, — их сразу можно было отличить от простых, не заинтересованных зевак.

Сначала кажутся все на одно лицо: все те же нарядные, стереотипные мужчины в высоких цилиндрах и дамы в маленьких кружевных «capotes» * или огромных плоских соломенных шляпах. Но, вглядевшись попристальнее, в этих последних опять-таки легко было отличить настоящих mondains или mondaines **, составляющих органическую часть du tout Paris и привыкших к тому, что их присутствие на каком-нибудь зрелище как бы санкционирует это последнее, служит ручательством, что оно действительно достойно того, чтобы его смотрели.

А вот бок о бок с этими настоящими львами и львицами парижского общества парочка bourgeois, попавших сюда случайно, благодаря любезности какого-нибудь знакомого депутата, скушавшего два-три обеда у них в течение сезона. Оба, и муж и жена, сияют от удовольствия, что попали в это избранное общество; оба вполне correct; он неукоризненен, слишком даже неукоризненен в черном complet *** с букетом роз на том месте, где у других красуется красная лента; она одета с иголочки, в новое платье, заказанное специально для этого случая.

Но есть что-то неуловимое и в их костюме, и во всей их манере, по которому опытный парижанин тотчас признает, что они не настоящие, что они только des à peu près ****. Она оглядывает все с излишним любопытством, как бы спешит все охватить, все запечатлеть в своей памяти.

* шляпках (*франц.*).
** светских мужчин и женщин (*франц.*).
*** костюме (*франц.*).
**** почти настоящие (*франц.*).

Глядя на нее, невольно приходит в голову, что она, вероятно, назначила у себя приемный вечер сегодня, чтобы иметь случай мимоходом, как бы ненароком, упомянуть о чудесах выставки перед своими подругами, которым лишь послезавтра удастся проверить ее рассказы.

В этой пестрой парижской публике резко выделялась одна парочка, в которой нетрудно было признать соотечественников — русских. Красноярцевы, муж и жена, помещики Псковской губернии, прожили зиму в Италии и всего на несколько дней приехали в Париж. Дома ждали дела, хозяйство, дети. Денег во время своего путешествия они и без того истратили гораздо больше, чем предполагали, пускаясь в путь, а в Париже теперь все так вздорожало! Помещение найти трудно, и в порядочных отелях за плохенькую комнатку чуть не на чердаке приходится платить втридорога. Поэтому Красноярцевы засиживаться в Париже не намеревались; они были рады, что знакомый им attaché русского посольства выхлопотал им билетики для входа на выставку сегодня и собирались, не дожидаясь ее официального открытия завтра, пуститься в обратный путь на родину.

«Ведь все равно, всего и в год не осмотришь, — благоразумно говорила m-me Красноярцева своему супругу. — Главное, чтобы иметь возможность сказать дома, что мы были на выставке. А там, были ли мы один раз, или десять — уж это все безразлично».

Вчера за обедом в одном из модных ресторанов, в обществе нескольких русских, attaché посольства, вручая им билетик, тоже говорил: «Ведь эта их пресловутая выставка в сущности что такое? Огромный базар, вроде Louvres или Bon-Marché, немножко в больших размерах! Ну, Эйфелеву башню посмотрите, la dôme centrale *, по машинной галерее пройдетесь. А там все эти chinoiseries да japonneries ** ведь их теперь в каждой лавчонке в Пале-рояль увидите, с той только разницей, что за то, что в Пале-рояль стоит 25 сантимов, на выставке вы заплатите несколько франков!»

Потом attaché рассказал два-три пикантных анекдотика об экспонентах и о кокотках, и затем разговор перешел на сделавшуюся очень модною в последнее время тему: о том, как французы пали, и как у французов много пошлости, и как весь их хваленый ум в сущности гроша не стоит.

Каждый из присутствующих русских, проживающих в Париже, воодушевился, попав на эту любимую тему, и нашел что сказать в порицание французов: «Хороша их политика!» — говорил один. «А их литература!» — кричал другой. «Нет, вы только возьмите да разберите хорошенько каждого их тех кумиров, перед которыми преклоняется Париж, — что от него останется!» — ораторствовал третий.

Красноярцев один пробовал было заступиться за французов. «Легко ругать Францию, господа, но вы мне скажите, где же лучше?» — слабо

* главный собор (*франц.*).
** китайские да японские вещи (*франц.*).

протестовал он; однако к концу разговора и он подпал под общий тон и тоже проникся известным самодовольством, любуясь и рассматривая в лупу все слабые стороны великой нации.

Все предшествовавшие дни своего пребывания в Париже Красноярцев находился в весьма благодушном, слегка критическом настроении духа. Он много лет уже как не был в Париже и теперь откровенно сознавался, что Париж не производит на него того впечатления, как прежде.

«Париж ли переменился, я ли состарился — не знаю, только не втягивает он меня, да и только», — говорил он, пожимая плечами, и по тону, с которым он это говорил, было видно, что хотя он из скромности и высказывает некоторое сомнение, но в душе хорошо знает, что вина этой перемены лежит в Париже, а не в нем самом.

Красноярцевы, как большинство русских помещиков, ‹*не разобр.*› в Париже пришлось вытребовать значительную сумму от управляющего из имения, а то бы все равно и на обратную дорогу не хватило, то Красноярцевы решили уже не стеснять себя в эти последние дни своего пребывания за границей и пожуировать вдоволь перед окончательным возвращением в родные палестины.

Эта возможность сорить деньгами, не считая и ни в чем себе не отказывая, разумеется, поддерживала в Красноярцеве приятное и благодушное настроение духа, а заискивающие улыбочки и предупредительность отельных хозяйки, гарсона и портье бессознательно для него самого усиливали в нем сознание, что он «барин», и пренебрежение к французам.

Так хорошо, покойно и беззаботно чувствовал себя Красноярцев все эти дни, не далее, как сегодня утром, но теперь, с самого момента его входа на выставку, это приятное настроение внезапно улетучилось и сменилось другим, очень скверным.

Про Красноярцева [3] с самой его молодости говорили, что он — «натура артистическая», и эта артистичность натуры сказывалась в нем, главным образом, способностью отдаваться всецело впечатлению данной минуты и переходить чрезвычайно быстро и, на посторонний взгляд, беспричинно от одного настроения к другому — совсем противоположному.

Выставка своей громадностью произвела на него сильнейшее впечатление, но впечатление это было тяжелое и подавляющее. Очутившись в этой нарядной и в то же время деловой толпе, в которой каждый, ему казалось, сознавал себя нужным звеном, полезным муравьем в своем собственном, ему по праву принадлежащем муравейнике, Красноярцев вдруг почувствовал себя чрезвычайно одиноким и ничтожным. На него вдруг нашло такое ощущение, точно перед ним выросло что-то стройное, величественное, важное, в сооружении которого каждый из присутствующих, за исключением его одного, принимал деятельное участие, тогда как он один оставался простым, никому не нужным зрителем.

Если была у человека хоть одна минута в жизни, когда он мечтал о деятельной роли в жизни, о творчестве на каком бы то ни было поприще. трудно ему потом примириться с ролью простого зрителя, записаться в число безличностей. толпы. А Красноярцеву, с тою способностью

субтилизировать все свои ощущения и подводить внезапные итоги, которою он отличался, вдруг в эту минуту стало ясно, что он отныне и навеки обречен на роль зрителя и никогда уже из этой роли не выйдет.

Для каждого из этих людей, которые пришли сюда кричать que c'est beau, que c'est beau! *, — думал он злобно, — предстоящая выставка составляет, действительно, важный факт в их жизни; каждый имеет на нее свои виды, каждый вплетет в нее свою личную жизнь, соединит с ней свои собственные надежды. Об экспонентах уж и говорить нечего; для каждого из них дорога, разумеется, лишь его собственная витрина, и выставка представляется только рамкою для вящего прославления его собственного детища.

Но вот, например, вошли в pavillons de la p..‹*не разобр.*›, очевидно, журналисты; они-то уж возьмут с выставки львиную долю; а вот идет пузатый господин с еврейским носом — этот, наверное, играет на бирже, думает рассчитать, какие бумаги подымутся, какие упадут вследствие выставки, и наживет целое состояние. Вот целая кучка нарядных mondains и mondaines. Они, очевидно, принадлежат к tout Paris и привыкли к тому, что без них не обходится ни одно торжество; это уж их призвание быть всюду, где что-либо показывается, — что же, и это призвание стоит другого!

Вчера за обедом под влиянием выпитого вина и вызванного им наплыва дружеских чувств знакомый Красноярцевых, attaché посольства, уже много лет живущий в Париже и гордящийся своим знанием Парижа, вызвался сопровождать их и служить им чичероне. И, действительно, он вошел с ними вместе и вначале указывал, на что надо смотреть.

— Сегодня публика-то сама интереснее выставки, — твердил он поминутно. — Вот смотрите — идет Freycinet[4], — говорил он, указывая вправо. — Ах да нет же, не этот, вот тут смотрите, — и m-me Красноярцева торопилась смотреть, мечтая о том, как будет рассказывать у себя дома, что видела воочию ту или другую парижскую знаменитость.

— А это, верно, известная кокотка какая-нибудь? — спросила она с разгоревшимися от любопытства глазами, по известному свойству русских барынь, подозревая полусветскую знаменитость в каждой шикарно одетой француженке и тотчас испытывая к ней неудержимый интерес.

Молодой attaché рассмеялся.

— Aucune de ces dames qui se respecte не покажется сегодня. Ce n'est pas leur jour **, — сказал он, небрежно вставляя monocle в глаз.

— Кажется, что это Alexandre Dumas-fils ***? Очень похож на его фотографию, — заметил вопросительно Красноярцев; но оказалось, что он ошибся, что это проходил просто какой-то добрый буржуа, и Красноярцеву показалось, что молодой attaché преглупо и ненужно громко засмеялся, поправляя его ошибку.

* как это прекрасно, как это прекрасно! (*франц.*).
** Ни одна из этих уважающих себя женщин... Это не их день (*франц.*).
*** Александр Дюма-сын (*франц.*).

Вообще этот молодой франтик, уже совсем офранцузившийся, очевидно, щеголяющий своим знакомством с парижским обществом, которое он между тем ругал при каждом удобном случае, начинал раздражать Красноярцева.

Проходя по одной из галерей, attaché вдруг увидел группу каких-то французов, к которой немедленно подбежал и заговорил с ними громко и оживленно. Красноярцевы стояли поодаль, в неловком положении людей, не знающих, идти ли им дальше, или оставаться. Наконец attaché подбежал к ним.

— Простите, встретил знакомых, зовут с собой в ресторан, нельзя отказаться. Вот на левой ⟨*не разобр.*⟩; встретимся опять у выхода, — сказал он.

Сконфуженный Красноярцев попросил его не стесняться.

— Ишь вот, ругает французов, а как за ними ухаживает! — насмешливо проговорил он.

«Каждый знает, зачем ⟨*не разобр.*⟩ свою крупицу пользы с выставки!... ⟨*не разобр.*⟩. — Ну а мне она на что! Зачем я здесь? Денег истратил пропасть, в долги вошел, чтобы только побывать в Париже, буду все лето потом ежиться да стеснять себя. А на что мне все это? И то сказать, и дома-то у меня какие интересы? Жвачку жевать, вспоминать, что за границей видел и слышал, да деньги копить, чтобы годика через два-три прокатиться за границу, опять посмотреть, как люди живут, да самому облизаться...».

Западная жизнь показалась ему богатой и разнообразной, а жизнь наша дома — серой и бесцветной. И Красноярцева вдруг охватило очень горькое чувство. Главное, обидно ему было, что у каждого в этой толпе свое место, своя роль в жизни, а он только один праздный, никому не нужный зритель. Если у человека была хоть минута в жизни, когда он серьезно мечтал о деятельной, выдающейся роли, если он когда-нибудь ощутил наслаждение творчества на каком бы то ни было поприще ⟨*не разобр.*⟩, трудно ему потом примириться с ролью простого, безличного зрителя.

А у Красноярцева было время в жизни, когда он мечтал о том, что будет выдающимся человеком в России; думал он и о роли публициста; чуть ли не еще более призвания чувствовал к литературе. И писал он, и печатался, и пророчили ему успех, и в талантах его никто не сомневался; беда была только в том, что талантов было слишком много, не знал он сам, на чем остановиться. Всего хотелось.

Работать из-за куска хлеба, обречь себя на роль умственного пролетария — казалось и глупо и не ⟨*не разобр.*⟩, когда была возможность устроиться иначе. У него было именье, довольно большое, но запущенное, а тут еще он женился и за женой взял тоже именье, тоже немаленькое, но тоже запущенное. Поселился в деревне, стал хозяйничать, сначала в полной уверенности, что занятие это только временное, пока не устроит дел, а потом опять примется за умственный труд.

Но как-то все так случалось, что дела не устраивались. Лишь только увеличатся хоть несколько доходы — смотришь, и потребности увеличились — опять все то же белкино колесо вертится.

Любви к хозяйству Красноярцев никакой не испытывал и в хозяйство не втягивался; распоряжался всем его управляющий, но, тем не менее, присутствие самого Красноярцева в имении все же почему-то оказывалось необходимым. Пробовал он продолжать работать в ‹*не разобр.*› к изящной литературе, правда, влечения уже он не чувствовал.

«Романы пишут голодные, да холостые», — говорил он шутя; но зато принимался он не раз за научные работы, только все они почему-то оставались недоконченными. . .

День шел за днем, у каждого было довольно мелкой, насущной злобы своей, — главное, никуда особенно не тянуло, ничто назойливо не напоминало о себе, научного соревнования ни с кем не было. Не успел Красноярцев и опомниться — вот ему уже 43 года стукнуло, вот у него уже трое детей — старших двух мальчиков в гимназию помещать пора, а младшей девочке надо нанимать бонну-иностранку.

Сам Красноярцев в глубине души уже давно примирился с мыслью, что не выйдет из него никогда человека выдающегося ни на каком поприще, и примирился с этим так легко именно потому, что ничто об этом не напоминало назойливо, ничто не требовало немедленного отречения от надежд.

У него сложилась даже своя собственная философия, философия сытого, ленивого человека. С особенным удовольствием почитывал он Толстого, даже его последние произведения, хотя и находил слишком фантастичными, но осуждал не безусловно. Любимым же его произведением была «Анна Каренина», и он втайне часто фантазировал, воображая себя самого Левиным, упуская из вида, что если сходство есть, то только внешнее. . .

Шведские впечатления

(Письмо в неизвестную редакцию)

Милостивый государь!

Когда я с год тому назад уезжала в Швецию, Вы предложили мне написать для Вашего журнала о том впечатлении, которое произведет на меня эта, столь соседняя к нам и все же, в сущности, так мало известная нам страна. До сих пор я не решалась исполнить Ваше желание, так как составить себе ясное и точное понятие о шведской жизни и об отличи-

тельных чертах шведского национального характера — дело далеко не легкое.

Во внешнем строе шведской жизни нет тех ярких особенностей, которые с первого раза бросались бы в глаза и которые легко было бы ухватить всякому поверхностному наблюдателю, как, например, в жизни североамериканских Соединенных Штатов. Однако при более близком знакомстве с жизнью Швеции тотчас становится заметным, что во всем складе здешнего общества есть некоторые индивидуальные отличительные черты, кладущие свой отпечаток, в более или менее резкой степени, на всех и каждого. Так, например, я думаю, можно смело сказать, что, за исключением разве Англии, нет страны, где бы так называемое «общественное мнение» играло такую всесильную роль, как в Швеции. Только с тех пор, как я живу в Стокгольме, существование этого, до сих пор мифического, божества стало вполне ощутительно для меня. Здесь чувствуешь действительно, что в жизни существует известная связь между убеждением и делом. Вообще говоря, уверить шведа в чем-нибудь — дело нелегкое; но раз это удалось, он на полдороге не останавливается и тотчас, как само собою понятное последствие, прилагает свое убеждение к практике, облекает его в вещественную форму. В этом сказывается, очевидно, родственная черта, присущая всей англо-саксонской расе, но весьма чуждая нам, славянам, у которых я часто замечала обратное свойство: истина, однажды доказанная, считается якобы всеми признанной, о ней нечего более хлопотать. Осуществляется ли она на деле, это уже менее интересная подробность; ее часто упускают из виду. Разумеется, разница эта выработалась в значительной степени различием во внешних условиях.

В политическом и социальном отношении Швеция принадлежит, бесспорно, к числу наиболее свободных государств Европы. Отсутствие внешних гнетущих влияний и вмешательств поражает во всей истории Швеции. Швеция никогда не была под игом чуждого государства, в ней никогда не существовало крепостного права, в числе ее королей не было ни одного тирана, вроде Иоанна Грозного или Людовика XI, имя которого было бы неразрывно связано с воспоминанием о ряде кровавых пыток, даже религиозные гонения никогда не имели в ней того характера жестокости и неумолимости, как в других государствах Западной Европы. Понятно поэтому, что под влиянием столь мягкого, малоугнетающего прошлого у шведов выработался разумный, логический темперамент, который не переносит разлада между словом и делом и не останавливается на одной фразе. С другой стороны, и экономические условия в Швеции можно назвать очень благоприятными. Швеция, разумеется, не принадлежит к числу богатых государств; за исключением железа, леса и рыбы, источники ее естественных богатств довольно скудны; но, если не говорить о крайнем севере, большой бедности в ней тоже не существует. Наиболее нуждающийся класс населения это так называемые «торпаре» — сельские рабочие, не владеющие собственною землею, но обрабатывающие землю более богатых крестьян, взамен чего им отводится домик для

житья и полагается известная плата естественными продуктами. Разница в общественном положении самого бедного торпаре и зажиточного крестьянина громадная. Ни один шведский аристократ не относится с таким пренебрежением к бедному чиновнику, как шведский или норвежский крестьянин к своему торпаре. Брак между крестьянскою дочкою и торпаре есть величайшая mésalliance, которую только можно себе представить, и, говорят, что он играет важную роль лишь в повестях Биорнстерна, на самом же деле происходит лишь в весьма редких и исключительных случаях. Тем не менее, все сельские хозяева, с которыми мне случалось говорить здесь, уверяли меня, что положение торпаре в Швеции, в материальном отношении, все же несравненно лучше, чем положение ирландского фермера или сельского рабочего в наших прибалтийских провинциях.

Фабричные рабочие обставлены лучше, чем торпаре, но фабричная промышленность еще не настолько развита в Швеции, чтобы значение этого элемента в государственном строе можно было бы хоть приблизительно сравнить с тем, которое он приобрел во Франции, Англии или некоторых частях Германии. Очень крупных поземельных собственников нет в Швеции. В торговых городах много зажиточных купеческих семейств, и тип богатого коммерсанта, «gross-handlare», весьма характеристичен для шведской жизни, но о таких громадных состояниях, как в Англии, как у нас бывало в России и как, преимущественно, теперь в Америке, совсем не слыхать здесь. Вообще можно сказать, что ни погоня за наживою, ни борьба из-за насущного хлеба не приобрели еще в Швеции того острого, всепоглощающего характера, как в Западной Европе. Конкуренция на различных поприщах еще не настолько велика, чтобы давать ход лишь одним блестящим исключениям на счет массы загубленных посредственностей.

Человеку с обыкновенными способностями и с обыкновенным образованием все же сравнительно легко добиться такого положения, которое бы давало ему возможность, без особого напряжения всех своих сил, прокормить себя и семейство. С другой стороны, внешние формы жизни сравнительно скромные; семьи даже с большим состоянием ведут обыкновенно очень простой образ жизни; нет той постоянной выставки роскоши, того вечного соблазна и искушения, которые в такой сильной степени поддерживаются и развиваются всеми внешними сторонами столичной жизни в Париже, Лондоне и Берлине, и вследствие которых все усилия, все помыслы у большинства людей сосредоточиваются на одном: разбогатеть во что бы то ни стало, чтобы потом полною мерою насладиться жизнью. В Швеции, наоборот, существует еще очень многочисленный класс людей, которые хотя и зарабатывают на жизнь личным трудом, но имеют еще достаточно досуга, чтобы жить, не торопясь, и наслаждаться самым процессом жизни. У людей такого сорта развивается обыкновенно в высокой степени вера в святость жизни и ее задач. Так называемые идеальные вопросы, вопросы о нравственной правде и ответственности, сохраняют в их глазах реальное жизненное значение.

Богатство внутренней жизни и сильно развитая фантазия в соединении со спокойным, скрытным, можно даже сказать, холодным и расчетливым темпераментом, составляет одну из отличительных особенностей в характере шведов и норвежцев. Потребность создать себе раз навсегда идеал и затем всю жизнь поклоняться ему — это наша национальная болезнь, — говорит один из героев драмы Ибсена «Дикий селезень» [1].

Как все люди со счастливым прошлым, шведы консервативны по самой природе своей. Всякое новое предложение встречается обыкновенно с некоторым предвзятым недоверием; всякая мысль о перемене вызывает почти инстинктивное сопротивление и недоброжелательство.

Известные взгляды, известные предрассудки всосались у шведов с молоком матери, поддерживались и укреплялись затем воспитанием, как дома, так и в школе, ниоткуда не встречая ни противоречия, ни отпора. Немудрено поэтому, что шведу труднее переменить свои взгляды, убедиться в несостоятельности однажды усвоенного миросозерцания, чем нам, русским, из которых почти каждый с самого детства может запомнить лишь ряд противоречий, внезапных толчков и переворотов и ничего прочного, ничего положительного. Но, я повторяю, однажды убедившись в необходимости изменения, шведы не останавливаются на полдороге, не успокоивают себя своею непричастностью к общему делу, но, наоборот, считают себя нравственно обязанными выразить на деле изменение в своих взглядах.

Насколько я теперь знакома с Швецией, я смело могу сказать, что нет такой радикальной реформы в экономическом и социальном отношении, которая не могла бы осуществиться в ней и притом осуществиться сравнительно в короткий срок, спокойно, без ожесточенной борьбы с насильственными препятствиями, если бы только удалось убедить достаточное число людей в необходимости и желательности этой реформы.

Как доказательство того, насколько у шведов убеждение идет рука об руку с делом, я могу, например, сослаться на один факт, поразивший меня с самого моего приезда сюда, а именно на ту легкость, с которою удается здесь собрать крупные суммы денег на всякое предприятие, успевшее заинтересовать общество. Вот вам наудачу пример: университет в Стокгольме, владеющий теперь капиталом в несколько миллионов рублей и значительным участком земли, основан всего несколько лет назад исключительно на частные пожертвования. Не забудьте, что в Стокгольме всего-навсего 200 000 жителей и что хотя число зажиточных людей в нем довольно велико, но таких богачей, для которых пожертвование в несколько десятков тысяч рублей ровно ничего не значит, совсем нет, и сравните затем этот результат с тою, в сущности мизерною суммою, которую, путем многих стараний и подпискою по всей России, удалось собрать у нас для женских медицинских курсов, т. е. для дела, которым, на словах, интересуется чуть ли не всякий образованный русский.

Я думаю, нельзя отрицать, что эта щедрость, с которою богатые шведы готовы жертвовать на общественные нужды, свидетельствует очень ясно,

что интерес к общественным делам развит здесь сильнее, чем в других странах, чем, например, у нас в России [2].

Социальный вопрос играет, тем не менее, еще очень незначительную роль в здешней жизни. Насущной потребности в коренных изменениях еще не ощущается. Случается, разумеется, и здесь слышать самые разнообразные мнения и суждения на этот счет; даже в литературе начинают спорадически высказываться радикальные, иной раз даже ультрарадикальные взгляды; но все же невольно чувствуется, что это скорее повторение чужих напевов, отголоски западной литературы, нежели выражение действительного убеждения, действительного интереса к делу.

Драма в шведской крестьянской семье

Чем севернее лежит город, чем позднее наступает весна, тем сильнее просыпаются с ее появлением кочевые инстинкты у жителей, и тем неудержимее оказывается стремление воспользоваться коротким летом и перебраться куда-нибудь поближе к природе.

В Западной Европе «дача» считается прихотью богатых людей; у нас, в России, она уже является законною потребностью всякой мало-мальски зажиточной семьи; но даже и у нас, в Петербурге, «дача» не настолько въелась в коренные привычки всего населения, как в Стокгольме.

В Швеции лето наступает поздно. За мягкою, ровною зимою следует обыкновенно в марте длиннейший промежуток невыносимых туманов, дождей, непроходимой слякоти, сырого, насквозь пронизывающего холода и постоянных бурь. Это какое-то переходное состояние, продолжающееся целых три месяца. Вдруг проглянет солнце, повеет теплом, в воздухе запахнет весной; на улицах высыпят мальчишки и девчонки, предлагающие букеты голубых и белых подснежников, набранные ими поутру в окрестных лесах.

Ну, думаешь, кончилось, слава богу! Вот весна!

Ничуть не бывало. Завтра небо опять свинцовое, воздух опять походит на сероватую, слизкую кашицу и опять дует с ног сшибающий северо-восточный ветер, «русский», как его называют в Стокгольме.

В конце мая деревья стоят еще обыкновенно совсем оголенные, и настоящее пароходство еще не может начаться вследствие мелкого, плавучего льда, загромождающего все прибережье.

Зато в первых же днях июня картина внезапно меняется: туманы рассеиваются, все зеленеет, фруктовые деревья словно молоком обливаются, и на всех «великих и малых водах», со всех сторон окружающих Стокгольм, появляются тысячи лодочек, корабликов и пароходцев. Тут уж всем населением Стокгольма овладевает настоящий кочевой импульс.

В несколько дней Стокгольм, смирный, приличный, скучноватый Стокгольм, совершенно меняет свой характер. Начинается двоякое движенье прилива и отлива. С одной стороны, каждый причаливающий пароход приносит новую волну иностранцев: англичан, немцев, датчан, шведов-провинциалов. Гостиницы переполняются народом. По берегам Мелларна и в Юргардене (городском парке) открываются на каждом шагу летние кофейные и кафешантаны. По вечерам цветные фонарики мелькают среди зелени парка, подобно светлякам, и отовсюду слышатся звуки оркестра и опереточных шансонеток. Все иностранцы, посещающие Стокгольм летом, поражаются его оживлением и красотою.

Но зато каждый коренной житель переполнен в это время одним неудержимейшим стремлением: выбраться куда-нибудь вон, подальше. В высших учебных заведениях и в школах начинаются летние вакации. Каждый чиновник мечтает только об отпуске. Идеалом, pia desirata * всякого порядочного человека является поездка за границу, каждого шведа и каждую шведку тянет весною «на юг», словно перелетную птицу осенью.

Но заграничная поездка, увы, идеал, досягаемый лишь для весьма немногих. Следующую ступень блаженства составляет пребывание в каком-нибудь из модных морских купаний, которыми усеян западный берег Швеции. Но и это удовольствие, в особенности ценимое шведками, доступно лишь немногим, так как жизнь на всех этих купаньях до несообразности дорога.

Остается, следовательно, пригородная дача, расходу на которую отводится уже обязательно графа в бюджете каждой шведской семьи, изъявляющей какое-либо притязание на порядочность.

Окрестности Стокгольма буквально усеяны дачами, и самое положение этого города способствует их обилию.

Подъезжая к Стокгольму морем, часа четыре приходится ехать шхерами, т. е. лабиринтом островов и островков, между которыми остается иногда такой узкий водный путь, что необходимо все искусство опытного лоцмана, чтобы провести между ними пароход, не посадив его на мель. Некоторые из этих островов обнимают несколько квадратных миль, другие же не больше квадратной сажени и состоят просто из гранитной скалы, поросшей на вершине невысокой сосенкой.

Но лишь только островок достаточно велик, чтобы на нем росло хоть с десяток сосен, и настолько возвышается над уровнем моря, что его не заливает осенними бурями, вы, наверное, если приглядитесь, заметите на нем две постройки: небольшой дощатый домик, выкрашенный в ярко-красный цвет, и при нем, у самого моря, микроскопическую, тоже дощатую, купальню. И домик, и купальня кажутся просто игрушками; на самом же деле они, вместе с неизбежно приставленной к ним лодкой, составляют летнее убежище и наслаждение целой семьи; всякий стокгольмский лавочник и мелкий чиновник мечтает о том, чтобы приобресть в свою соб-

* мечтой (*лат.*).

ственность подобную «sommernöje» (летнюю радость) — шведское название для дачи.

Удовольствие это стоит не особенно дорого, но пока его нет, приходится каждое лето нанимать такую дощатую игрушку у какого-нибудь крестьянина, владельца десятков двух островков, главный доход которого и состоит именно в сдавании дач.

В прошлом году мне нельзя было уехать на каникулярное время из Швеции и пришлось, следовательно, тоже подумать о даче. Подобные дощатые игрушки, которыми изобилуют окрестности Стокгольма, мало прельщали меня, и потому я решилась забраться подальше в глубь страны и поселиться в какой-нибудь крестьянской семье, чтобы зараз и познакомиться несколько с жизнью шведских крестьян.

После многих неудачных поисков я напала, наконец, на одно объявление в газетах, показавшееся мне очень привлекательным.

На острове «Веддо», 10 часов от Стокгольма, у самого входа в Оландское море, среди большого соснового леса богатая крестьянская семья предлагала на лето три больших и чистых меблированных комнаты. Оказалось к тому же, что одни мои хорошие знакомые тоже сняли дачу совсем поблизости оттуда, и это обстоятельство окончательно решило мой выбор.

В один из первых вечеров июня мы сели на пароход и, захватив с собою, как водится, изрядное количество тюков с подушками, одеялами и разными предметами домашнего комфорта, которых нельзя было рассчитывать найти в деревне, мы отправились в путь.

На следующий день, рано поутру, пароход наш причалил к месту нашего назначения. Это уже была настоящая шведская деревня. Так как настоящей пристани тут не имелось, то ее заменили двумя досками, переброшенными с парохода на берег, которые качались под нашими ногами и по которым мы не без некоторого страха перебрались на берег. Чемоданы перенес матрос по колени в воде; а тюки наши, без дальнейшей церемонии, перебросили на берег в виде мягких прожектилей *. На берегу нас ожидало что-то среднее между тарантасом и телегой; в виде особенной чести сам хозяйский сын выехал нам навстречу.

Это был чистый тип шведского крестьянина. Хотя он еще был молод, лет двадцати восьми, лицо его уже носило печать старческой хитрости и себе на уме; этому особенно способствовали маленькие, лукавые глазки, из которых левый всегда был прищурен, две глубокие складки, проходящие через всю щеку; складки эти, очень типичные для шведских крестьян, образуются от привычки постоянно взасос сосать хорошую трубку. Но если лицо казало его гораздо старше его лет, зато вся остальная фигура, крепкая, широкоплечая, мускулистая, обличала человека в самом разгаре жизни.

Он поздоровался с нами, по шведскому обычаю, пожав нам руку своею загрубелою, мозолистою рукою и, не выпуская из зубов трубки, прого-

* метательный снаряд (*франц.*).

ворил нам: «Välkommen mitt härrskyr» (шведское приветствие). Потом, не тратя с нами лишних слов и не обращая на нас уже больше внимания, стал увязывать нашу поклажу на телегу. При этом он обращался с моими вещами полным хозяином; всего захватить с собою нельзя было, надо было оставить часть поклажи у сторожа и вечером послать за нею; он сам решал, что следует взять и что оставить.

Я лежала на моем гамаке, окутанная пледом против сырости. В руках моих была книга нового романа Guy de Maupassant'a. Я собиралась уже начать читать, но сосны так странно шумели над моей головой, во всем воздухе была разлита такая опьяняющая эссенция, в моих членах вдруг почувствовалась такая приятная, томная усталость, что рука с костяным ножом, которую я уже приподняла, чтобы разрезать листы книги, невольно опустилась опять книзу, глаза закрылись, мысли вдруг застлались туманом, и я заснула. Проспала я, должно быть, немало, но пробуждение было довольно странное...

Амур на ярмарке

(Воспоминание детства)

Я отправилась в этом году на знаменитый традиционный праздник в Нейи[1]. Ежегодно, в течение мая и июня, этот маленький город превращается в большую ярмарку и притягивает к себе весельем и празднествами всех мелких буржуа и особенно простых рабочих Батиньоля[2] и Терна.

Балаганы и палатки тянутся вдоль всей главной улицы Нейи от ворот Мелло до Курбевуа. С утра до поздней ночи гремит барабанщик; невыносимо скрежещет шарманка. Петрушечник — «папаша Гиньоль» вертит над ширмочками своих кукол, заставляя их проделывать невообразимые пируэты.

Обширные палатки испещрены ослепительными афишами, на которых таинственно и соблазняюще поднимаются пальмы пустынь, рыжегривые львы, полуобнаженные женщины-дикарки.

Из балаганов вырываются звуки неистовой, пьяной музыки. Время от времени занавес, прикрывающий вход одной из палаток, поднимается, и появляется клоун в островерхом колпаке, с обсыпанным пудрой лицом.

— Заходите, заходите, дамы и господа! Смотрите чудо света — женщину-великаншу, глотающую живых кроликов. Всего два су за вход, — кричит он визгливым голосом. На этот крик немедленно откликается конкурент из другой палатки и орет во все горло:

— Сюда, сюда, господа! Здесь можно видеть прекрасную Фатьму — цветок гарема его величества императора Занзибара!

Однако обещанные приманки не очень волнуют публику. Она выказывает изрядное равнодушие и ведет себя по-разному в разные часы дня.

Утром большая улица с двумя рядами палаток и балаганов почти пустынна. После полудня она становится более людной, и публика — достаточно элегантна. В нынешнем году из-за выставки[3] преобладают иностранцы.

Между 2 и 6 часами дня заметен наплыв высоких юных мисс — англичанок или американок со светлыми или рыжими локонами, защищенными широкими полями соломенных шляп.

Но только с наступлением вечера, часов с 9, начинается настоящее оживление, и ярмарка приобретает свой подлинный вид. В это время появляются толпы приказчиков из магазинов, рабочие, корсетницы и цветочницы Батиньоля и Терн. Впрочем, даже в этот час еще далеко до того оживления, которое отличает подобные деревенские ярмарки.

Прежде, очень давно, когда Нейи был не предместьем Парижа, каким стал теперь, его ежегодная ярмарка, может быть, и была достойна той славы, которую создал ей Поль де Кок[4] в своих романах как источнику неиссякаемых удовольствий и игривого веселья.

В наше же дни парижане приезжают туда только по привычке, чтобы убить время, но видно, что ярмарка сама по себе никого больше не интересует.

Даже маленькие дети кажутся пресыщенными и критически смотрят на все великолепия, которые она открывает их взору. К 4 или 5 годам они уже видели много разных зрелищ, и я вас только спрашиваю — что может сделать эта бедная ярмарка, находясь в двух шагах от всемирной выставки!?

Разглядывая всех этих ребятишек — в голубых блузах или жалких коротких платьицах уже с претензией на какой-то фасон, затейливый и забавный, — которые так степенно шествуют рядом с родителями, поглядывая направо и налево рассеянным и равнодушным взором, без радостных возгласов, без вскриков перед прилавком — «Купи мне эту булочку, папа!», «Я хочу этого арлекина, мама!», — я приходила уже к заключению — весьма новому, и несомненно, оригинальному, — что в Париже уже нет больше детей, как вдруг заметила идущую в нескольких шагах от меня девочку лет 3—4, которая — странное и невероятное дело! — казалась еще совершенно наивной и сохранившей все детские иллюзии! Было ясно, что она — не парижанка, а только что прибыла из провинции. Это явствовало прежде всего из манеры держаться и из наряда ее матери — женщины лет 40, дородной буржуазки, чье открытое, цветущее лицо было обрамлено очень высокой шляпкой, каких больше не носят в Париже последний год, и чья мощная грудь, несмотря на дневную изнуряющую жару, была упрятана в футляр из плотного шелка, отделанного тяжелым бархатом.

Рядом с этой простоватой женщиной шла другая. И хотя все в ней

выдавало поразительное фамильное сходство с той, все же, по уверенности ее манер, покрою ее бумажного костюма и еще по каким-то неуловимым признакам было легко угадать в ней парижанку. Я с удовольствием следила глазами за этой маленькой группой и мысленно сочиняла себе их историю. Две замужние сестры. Одна — в провинции, другая — в Париже. Провинциальная родственница после долгих лет разлуки приехала повидать свою парижскую сестру и выставку... Но пока я размышляла, ребенок, который шел как в экстазе, сжимая руку матери, с широко открытыми глазами, немой от избытка сильных чувств, вдруг испустил радостный крик.

Мы проходили рядом с палаткой конфетчика. Хрустальные вазы, переполненные фигурными леденцами — ярко-красными рыбками, золотисто-желтыми лошадками — возвышались посередине прилавка...

Путовская барыня

Был теплый майский вечер. Косые лучи близкого к закату солнца обливали золотым румянцем свежую зелень молодого орешника, тянущегося по обеим сторонам проселочной дороги, идущей от большого села Путы к платформе железной дороги, отстоящей от него верст на пять. По дороге этой ехал удобный новенький тарантас, запряженный тройкой сытых помещичьих лошадок. В тарантасе сидела красивая и нарядная барыня, в круглой соломенной шляпе фасона Rembrandt с большим светло-коричневым пером. Платье из легкого светло-серого сукна английского покроя плотно облегало ее талию и очевидно было сшито не здесь, а если не в Париже, то уж наверное в Петербурге. В нашу губернию такие моды еще не доходили, и даже самой м-ме Allan не приходилось сшить такой жакетки. Ну, да это и не удивительно: Елена Павловна Суздальцева, Путовская барыня, как зовут ее в околотке, известная щеголиха. Когда вздумается ей в иное воскресенье прийти в собор послушать архиерейскую обедню, то во все время службы все дамы харьковского beau monde только и заняты, что изученьем ее наряда, и сама губернаторша, хотя и старается казаться равнодушной, однако не преминет оглядеть каждую безделушку, что на ней надета, и в будущее воскресенье, глядишь, и сама явится точь-в-точь в такой шляпке или в такой мантилье, как была на Елене Павловне. Да, правду сказать, отчего же Елене Павловне и не заниматься украшением собственной особы! Женщина она еще не старая, вдовая, денег у ней много, а детей всего один сын, да и тот уже взрослый. Говорят, ей 43-й год пошел; деревенская баба или мелкая чиновница — так уже старуха в эти годы; ну а она еще видная и на вид и тридцати дать нельзя. Конечно, с покойной да с довольной жизни чего стареть?

Покойный муж ее, Петр Николаевич Суздальцев, многолетний наш предводитель дворянства, не только в нашей губернии, но и во всех соседних был известен как первоклассный делец и порядком-таки округлил свое наследственное состояние, и без того немаленькое. Одни Путы теперь чего стоят! Дом отделан заново, хозяйственные строения все — как с иголочки, винокуренный завод на славу, земли больше тысячи десятин, и почти все чернозем, да под лесом десятин 300, а в нашей-то местности лес ух как ценится; почти совсем его теперь нет — весь вырубили. Говорят, тотчас после смерти покойного Николай Петровича купец Красильников подъезжал к Елене Павловне с предложением ее лес на корню купить — тысяч сто ей предлагал; но она не захотела, отказалась. Так вот, видите ли, какое Путы — золотое дно, я вам скажу. Как начнут это уездные кумушки прикидывать, да высчитывать, сколько оно приносит, а главное, сколько могло бы приносить в хороших руках — просто уши развесить надо. А ведь кроме Путов, у Суздальцевых и еще другое именье есть, Борки, тоже доходное, только подальше от Харькова — в порядочном захолустье оно лежит, и дом там старенький. Это второе именье покойный Николай Петрович по завещанию отказал своему единственному сыну Михаилу Николаевичу. Путы же оставил в полновластное владение Катерины Михайловны.

(Об этом завещании много толковали у нас в губернии и все были согласны, что Семен Николаевич поступил глупо: надо было сделать наоборот. Путы оставить сыну, а Борки — вдове. А не то, посудите сами.)

Катерина Михайловна громогласно всюду объявляет, что замуж вторично не пойдет. Покойный Семен Николаевич многим, лет на двадцать пять, был старше ее, и после его смерти, разумеется, все наши кумушки решили, что скоро она опять замуж пойдет. Однако вот уже пять лет прошло, а Катерина Михайловна все еще ходит вдовой и всюду так громогласно объявляет, что замуж вторично не собирается, что женихи даже и приставать к ней перестали. С сыном живет она очень согласно, одно слово, душа в душу, и добром они не считаются: что ему принадлежит, что ей — все едино. Пока жив был Семен Николаевич, жили путовские господа круглый год в своем именьи, хотя и нанимали годовую квартиру в городе, в которую переселялись месяца на два зимой перед праздниками, когда в городе была ярмарка, ежегодный дворянский бал и съезжались все дворяне Псковской губернии. Но после смерти Семена Николаевича пошли совсем иные порядки. Михаил Семенович именно в год смерти отца, кончив курс в нашей П—гимназии, поступил в Петербургский университет на юридический факультет. Катерина Михайловна поехала вслед за ним в Петербург, и с тех пор стали путовские господа показываться в своем имении лишь наездами, летом, да и то лишь на короткое время. Покойный Семен Петрович превосходный был хозяин, все окрестные помещики приезжали, бывало, к нему за советами, ну а сынок к сельскому хозяйству склонности никакой не обнаруживал. Катерина Михайловна и подавно хозяйством не занималась, да от нее этого и ждать нельзя было: весь свой век прожила она барыней и ни во что

материальное и грубое не входила. На второй год пребывания Михаила Семеновича в университете произошла вдруг одна история, после которой вдруг разошелся по всей нашей губернии слух о каком-то столкновении Михаила Семеновича с университетским начальством. Точно никто ничего не знал, но верно было то, что Михаил Семенович из университета вышел и поехал продолжать за границу образование и все посмотреть ‹*не разобр.*›

За отсутствием господ заведовал всем имением Карп Титыч Росенков, бывший приказчик Семена Петровича, а теперь перешедший в роль полновластного управляющего. Иногда, для вида, и так сказать, для острастки приезжал наведоваться в имение двоюродный брат покойного Семена Петровича, тоже помещик той губернии. Но так как Петр Петрович был уже лет преклонных и пуще всего на свете любил свой покой, то визиты его всегда и неизменно оканчивались тем, что, скушав в Путах сытный завтрак, он садился за письменный стол в кабинете покойного братца и своим остроугольным старческим почерком писал дорогой сестрице, что в именье все, благодаря господу богу, обстоит благополучно. У Катерины Михайловны после этого письма становилось еще покойнее на душе и еще меньше чувствовалось порываний на родину. Но в нынешном году Тит Карпыч * что-то замешкался более обыкновенного присылкой доклада, ссылаясь на неурожай, градобитие и пожары, и в результате сего печального стечения обстоятельств было то, что Катерина Михайловна сочла нужным сократить свое заграничное пребывание и теперь вот уже с февраля живет у себя в деревне. Михаил остался еще оканчивать курс в Гейдельберге [1], но недели четыре тому назад Катерина Михайловна нарочно объехала с визитами и губернаторшу, и предводительшу, и всех-всех своих городских знакомых, чтобы поделиться с ними радостной вестью: сын ее выдержал экзамен, получил степень доктора права Гейдельбергского университета и скоро вернется на родину. И вот сегодня именно он должен приехать с вечерним курьерским поездом, и Катерина Михайловна едет ему навстречу.

— Не опоздать бы нам, Михайло, — раз в пятый обращается она к кучеру, хотя маленькие золотые часы и показывают всего $^1/_2$7; до прихода поезда, следовательно, еще добрых три четверти часа осталось.

— Зачем опаздывать, сударыня, — флегматически, с тоном снисхождения и превосходства отвечает Михайло; однако хотя он и знает, что времени еще много и что барыня просто нервничает, но для вящего ее успокоения все же считает нужным стегануть кнутом по лошадиным спинам.

Вот и к Жаворонской платформе подъезжают. Хотя железная дорога почти прорезает самое село и проходит чуть ли не под окнами сельской школы, но эта платформа, верстах в семи от барского дома, самое ближайшее место остановки поездов, и здесь должен выйти Михаил Семенович. Платформа состоит просто из деревянного пола, даже без крыши,

* Так у Ковалевской.

так что приезжающим и отъезжающим приходится ждать поездов под открытым небом. Шагах в пятидесяти от платформы стоит избушка сторожа; самого его не видать еще, знак, что поезд еще не близко, но сторожиха, приметя издали экипаж, тотчас подбегает, чтобы помочь Катерине Михайловне выйти, так как Путовская барыня — лицо очень известное и популярное во всем районе. Кучер отъезжает немножко в сторону к соседнему леску и поворачивает лошадей спинами к железке, чтобы они, чего доброго, не спужались, когда налетит поезд.

Еще так рано, что из соседних помещиков никого пока не приехало, но на деревянных ступеньках, ведущих к платформе, уже расположилось несколько крестьянок с большими корзинами, перевязанными тряпками, которые иногда приподнимаются, так как в корзинах, видно, возится что-то живое. По временам слышно тоже кудахтанье кур.

Завтра рыночный день в П—е, и они уже с вечера собираются в город, чтобы переночевать там, где случится, и спозаранку занять хорошие места на рынке. Хотя на платформе стоят две деревянные скамьи, но сторожиха, тем не менее, считает нужным вынести из своей избы деревянный стул с вогнувшимся внутрь соломенным переплетом, хранящийся у нее именно на случай приезда важных господ. Трое ребятишек в изорванных грязных рубашонках, с босыми ногами и с большими вздувшимися животами выбегают из избы, останавливаются на нескольких шагах расстояния от барыни и, засунув палец в рот, смотрят на нее в упор. Крестьянки тоже поднимают головы и все как один человек смотрят на барыню.

— Сынка своего поджидаете? — участливо спрашивает сторожиха, сметая подолом юбки пыль со стула и подставляя его барыне. Весть о приезде Михаила Семеновича, очевидно, уже облетела всю окрестность и все этим событием интересуются.

— Да, вот вчера с границы телеграмму прислал, что будет сегодня с курьерским, — весело отвечает Катерина Михайловна и, стесненная несколько тем общим вниманием, которое она, очевидно, возбуждает во всей собравшейся публике, пробует заговорить с сторожихой в фамильярном тоне, обнаруживая со своей стороны тоже интерес к ее семейным делам. — Что это у ней — глаз болит? — спрашивает она, указывая на младшую девчонку, у которой один глаз повязан ветошкой.

— Болит, матушка, болит. Подь сюда, Анютка, —не бось! — отвечает сторожиха, подзывая к себе дочку и, развязав грязную тряпку, спокойно, как вещь весьма занимательную и любопытную, показывает барыне налитый кровью, обезображенный глаз ребенка, почти совсем закрытый опухшими веками, из-под которых густо сочится желтоватый, липкий гной.

Катерине Михайловне с непривычки едва дурно не делается от этого зрелища.

— Как же можно было так запустить? Отчего ты ее в город к доктору не свезешь? — спрашивает она укоризненно, стараясь не выказать брезгливости, возбуждаемой в ней видом Анюткиного глаза.

— Эва! со всяким пустяком к доктору лезть! — удивляется барыниной наивности сторожиха и с усмешкой оборачивается на крестьянок, которые тоже все ухмыляются. — Недосуг мне теперь в город ездить, — прибавляет она. Катерине Михайловне становится неловко.

— С чего это ее глаз разболелся? — спрашивает она, чтобы сказать что-нибудь.

— Да известное дело с чего! С деревенскими ребятами баловалась; разбойник Тимошка ее палкой в глаз и тыкнул! — спокойно повествует мать.

— Вот видишь ли, а все от того, что ты детей в школу не посылаешь. Посылала бы в школу — они бы с ребятами и не баловались, — с живостью и сентенциозно возражает Катерина Михайловна. Она сама пожертвовала 3000 рублей на устройство школы в их селе, и школа эта составляет теперь любимый предмет ее забот и попечений, ее любимую игрушку. Она всеми силами старается убедить всех знакомых крестьянок посылать туда своих детей. Сторожиха знает эту барынину затрату и извиняется теперь с виноватым видом, как бы за то, что не постаралась и не доставила барыне удовольствия.

— Махонькие они у меня, каково же им за пять-то верст в школу бегать, — говорит она. — Да и добро б мальчики были, а то ведь девчонки!

Катерина Михайловна с живостью принимается убеждать ее, что для девочек грамота чуть ли не необходимее, чем для мальчиков, но в это время к платформе подъезжает экипаж соседнего помещика, тоже собирающегося в город с вечерним поездом. Сторожиха бежит к нему навстречу, и разговор с барыней обрывается.

Мало-помалу публика начинает увеличиваться на платформе. Приходят с разных сторон пешеходы, крестьянки ближних деревень, лабазник, дьячок собирается на раннюю обедню, приезжают в тарантасах и бричках человека два-три помещиков. Эти последние любезно раскланиваются с Катериной Михайловной и каждый первым делом спрашивает ее о сыне.

Вечерние лучи заходящего солнца становятся все косее и отложее. Светло-золотистая полоса на верхушках берез в соседнем лесу перерезает, словно пояс, подымается все выше и становится все меньше и меньше, наконец, она совсем пропадает. На западе горит еще яркая полоса, но и она мало-помалу гаснет. С окрестностей подымается туман, и в воздухе становится так темно, что на некотором расстоянии уже трудно различать предметы. Вот появляется фигура сторожа с фонарем в руке. Сторожиха загоняет ребят в избу, в которой окно озаряется ярким светом.

Публика обнаруживает признаки нетерпения.

— Пора бы быть поезду! Опоздал, должно быть, по обыкновению, — говорит кто-то из помещиков, вынимая часы и стараясь в потемках разглядеть стрелку на циферблате.

У Катерины Михайловны начинает тревожнее биться сердце. Возможность всяких несчастий, крушений, схода с рельс мгновенно зловещей искоркой проносится в ее уме. Но вот раздается отдаленный про-

тяжный свист, и вслед за тем сигнальный колокольчик принимается неистово звонить.

— Пришел поезд в Борки, — сообщает сторож, — теперь через двадцать минут он и здесь будет.

У Катерины Михайловны как бремя отлетело с души, но нетерпение ее теперь так велико, что она встает со своего стула и принимается нервно расхаживать взад и вперед по натоптанной площадке перед платформой.

Из темноты выделяются два огненных глаза, шум и грохот колес доносится теперь явственно и с каждой секундой становится все громче и оглушительнее. Все те крестьянки, которые собираются отъезжать с поездом, встают со своих мест, собирают свои пожитки и приближаются к полотну железной дороги.

Еще несколько секунд и поезд, простучав, прогремев и с пронзительным свистом выпустив струю пара, останавливается перед платформой. Из купе 1-го класса выскакивает молодой человек лет 23-х и с радостным криком «мама», не стесняясь присутствием посторонних, бросается Катерине Михайловне на шею. Между матерью и сыном было много фамильного сходства. Оба были высокого роста, у обоих были свежие полные лица с мягкими чертами, у обоих красивые красные губы и замечательно живые голубые глаза, которые кажутся темнее, чем на самом деле, из-за черных окаймляющих их ресниц. Только у Катерины Михайловны эти глаза имели какое-то слегка удивленное, детски простодушное выражение, тогда как у Михаила Семеновича могли иногда выражать... Катерина Михайловна шатенка, у Михаила же Семеновича волосы черные, прямые, как почти всегда у коренных русских, только на висках они приподымаются немножко и красиво обрамляют его белый широкий лоб; гладкие щеки с смуглым румянцем сегодня с дороги покрыты синеватым пушком пробивающейся растительности, обыкновенно же они бывают тщательно выбриты; только подбородок украшен черненькой эспаньолкой, которая очень идет к нему и, несмотря на его типически русское лицо, придает ему слегка иностранный вид. Фигура Михаила Семеновича рослая, широкоплечая и уже теперь, несмотря на его молодые годы, отличается значительной полнотой, что заставляет его казаться старше, чем он в действительности. Катерина Михайловна в дни своей первой молодости отличалась необыкновенной стройностью, даже субтильностью, сверстницы и поклонники прозвали ее «березкой»; с годами, однако, стан ее значительно округлился и развился, хотя далеко еще не переходит за черту, налагаемую требованиями эстетичности. Благодаря, быть может, прекрасному парижскому корсету, она кажется лишь пышной, здоровой женщиной в полном расцвете своей красоты и гораздо моложе своих лет. Ее с Михаилом Семеновичем...

Ивар Монсон

Ивар Монсон был единственным сыном бедной вдовы. Отец его был крестьянином, а мать — дочь чиновника. Вырос он в деревне на лоне природы, среди зеленого леса и темных угрюмых скал; Ивар б. ‹*не разобр.*› Но мать его никогда не могла ‹...›, но когда отец умер, братья покойного уговорили вдову отказаться за себя и за сына от своего права на усадьбу. Переселились они в уездный город, где у матери были две незамужние сестры, и все три женщины общими силами принялись за воспитание Ивара. Они были очень честолюбивы на его счет и решили, что из него должен выйти великий человек. И до сих пор Ивар, действительно, всячески тешил сердце своих воспитательниц. Он был образцом кротости, прилежания и добронравия; в гимназии учился отлично, а когда наступило ему время поступить в университет, тетушка Тереза, старшая из сестер, переехала с ним вместе в Упсалу[1], поселилась с ним в меблированных комнатах и продолжала с прежней заботливостью следить за тем, чтобы он не изменил привычки носить шерстяную фуфайку и не испортил своей нравственности. Тетушка Тереза была сама очень добродетельная и очень развитая особа, горячая защитница женских прав и восторженная поклонница идей Бьернсона[2], требующего от молодых людей обоего пола одинаковой чистоты и целомудрия. И в этом отношении Ивар удовлетворял ее требованиям. Тетушка Тереза была при этом очень мечтательна и романтична и заранее наслаждалась тем чистым, юношески свежим романом, героем которого будет когда-нибудь ее чистый душой и телом питомец Ивар. И в этом отношении Ивар оправдал ожидания своей тетушки. На лекции физиологии встретил он в первый раз ту, которая сделалась избранницею его сердца.

Карин Валлис была студентка-медичка, тоже готовилась быть доктором. В течение трех зим и трех летних семестров Ивар и Карин посещали одни и те же лекции, работали у одного и того же препаровочного стола. Ухаживание Ивара было оригинальное: он не слагал в честь своей возлюбленной мадригалов, он не подносил ей цветов. Он только молча восхищался стройностью ее тонкого ‹стана›, синевою ее лазоревых глаз, светлым золотом ее мягких кудрей. В знак своей преданности усердно перемывал пробирные цилиндры и химические склянки, или переписывал для нее четким каллиграфическим почерком лекции профессора; когда студентам раздавались анатомические препараты, он всегда первый умудрялся протиснуться вперед и лучший препарат забирал для своей возлюбленной.

Карин и Ивар встречались, однако, не в одних только стенах университета; случалось им зимою сходиться и на катке, этом сборном пункте всей упсальской молодежи. С трепещущим сердцем помогал Ивар молодой девушке затянуть ремешком свои коньки, подавал ей руки, и часами неслись они вдвоем по гладкой, блестящей поверхности льда. После многих стараний Ивар научился даже кончиком своего конька писать на

льду вензель своей возлюбленной; в его глазах это равнялось самому пылкому объяснению в любви, и он не сомневался, что и Карин угадывает его чувства и разделяет их.

Тетушка Тереза с радостным участием следила за развитием этой идиллии в современном вкусе. Этот роман был совсем в ее вкусе. Два молодых существа, оба чистые и непорочные, хотя и развитые, узнают друг друга и затем, по окончании срока ученья, подадут друг другу руку и рядом, рука об руку, совершат свое жизненное поприще. Что могло быть заманчивее и восхитительнее этой перспективы.

Если в присутствии Карин на Ивара находила непреодолимая робость, которая мешала ему говорить с ней о чем-либо более личном, как о новейших теориях Бертело [3] насчет строения химических молекул или о последних исследованиях Пастера [4] над прививкой бешенства, зато тетушке Терезе изливал он всю свою душу; по целым вечерам сидели они вместе и строили планы их будущей жизни; в умах обоих было совершенно решено, что по окончании курса Ивар тотчас посватается к Карин; долгого обручения у них не будет. Год, много два только — по-шведским обычаям — пробудут они женихом с невестой, потом оба поселятся в маленьком провинциальном городке и будут лечить он — мужчин, она — женщин до тех пор, пока смерть не положит конца их существованию; тетушка же Тереза поселится с ними и будет заведовать их хозяйством.

Как видите, все было придумано очень умно до последней детали. Все сходилось как нельзя лучше — и годы, и состояние. Но ведь случается в жизни, что самые верные комбинации вдруг возьмут и оборвутся. Arlequin avait bien arrangé les choses, mais Colombine [5] a tout derangé *.

На сцену действия появился вдруг новый и совсем непрошенный актер. Ивар стал замечать, что стоит ему опоздать немножко на лекцию, и его обычное место на скамье рядом с Карин всегда оказывается занятым другим студентом, Рудольфом Смартом. Открытие это более рассердило, нежели озаботило Ивара. Ко всякому другому он мог бы приревновать Карин, но Рудольф был такого рода человек, что, по мнению Ивара и тетушки Терезы, ни одна порядочная, развитая девушка не могла удостоить его своим вниманием.

Не подумайте, однако, что Рудольф был урод или глуп. О, совсем напротив. Его черные кудри, наглые черные глаза, румяные губы и высокий статный рост, отличный тенор и остроумные его шутки и выходки делали из него, пожалуй, довольно интересного мужчину. В физическом отношении Рудольф, если хотите, мог казаться довольно опасным соперником, но Ивар был убежден, что для такой развитой девушки, как Карин, физические преимущества не могут заменить нравственного превосходства.

А дело было в том, что у Рудольфа не было и самых элементарных

* Арлекин хорошо устроил дела, Коломбина все расстроила (*франц.*).

нравственных принципов. Вряд ли бы в кругу упсальских студентов вы нашли много таких легкомысленных людей, как Рудольф. Пропустить лекций пять подряд ему ничего не значило. Домой он возвращался не раньше, как часу во втором ночи.

Ивару казалось вполне ясным, что со стороны Рудольфа ему нечего было бояться для такой девушки, как Карин. Его только раздражало, как смеет такой человек даже подходить к ней. Он был твердо убежден, что и Карин ухаживанье Рудольфа неприятно, и что если она выказывает ему некоторую благосклонность, то только по своей сердечной доброте, чтобы не оттолкнуть грешника и не пробудить в его душе отчаяние. Мало-помалу он стал находить, однако, что, утрируя доброту, может сделаться порок и попробовал даже раз сделать замечание насчет Рудольфа. Но это дружеское замечание было принято ею не так, как бы следовало. Она ответила резко, что не ожидала от Ивара, что он собиратель сплетен. Тогда Ивар встревожился не на шутку <и эта тревога>, и вскоре тревога эта стала так мучительна, что он изменил своей программе и вместо того, чтобы спокойно и терпеливо в течение двух еще остающихся до окончания экзамена лет спокойно продолжать переписывать лекции для Карин и выражать ей свою преданность перемываньем химических стекол, вдруг в один прекрасный день ни с того, ни с сего сделал ей предложение.

Но увы! ответ Карин был совсем не тот, какого он ожидал. Она ему отказала, отказала, правда, дружески, можно понять почтительно, со многими уверениями в ее глубокой к нему дружбе, в уважении, со многими пожеланиями ему счастья с другой, более достойной его девушкой, — но, тем не менее, отказала решительно и бесповоротно. И когда бедный Ивар, смущенный, ошеломленный, с отчаяньем в сердце и дрожью в голосе высказал, как ему самому казалось, нелепое, чудовищное предположение, что она любит другого, она не пришла в негодование от этой мысли, она не стала защищаться, как он втайне того надеялся. Она только вся зарумянилась, потупила голову, проговорила тихо: «Прекратим, пожалуйста, этот разговор, Ивар», — и ушла.

Ивару казалось, что с ней вместе ушла земля из-под его ног, и он вдруг очутился в безвоздушном пространстве. В течение трех лет он так свыкся с мыслью, что Карин будет его женою, все его мысли, все его надежды, все его планы на будущее так тесно были связаны с нею, что теперь, когда эта центральная точка опоры внезапно оборвалась и полетела в бездну, с ней вместе рушилось все здание.

Вернувшись к себе в свою маленькую меблированную комнату, он бросился на жесткий кожаный диван и долго пролежал на нем, уткнув голову в подушку, без слез, в каком-то оцепенении. Горничная вошла с лампой — он услал ее прочь, так как ему хотелось темноты. Тетка пришла звать его к ужину, Ивар, не повертываясь к ней лицом, промычал, чтобы его оставили в покое, что у него болит голова. Нежное заботливое прикосновение худой, холодной старческой руки к его лбу Ивар перенес с внутренним содроганием, однако без наружного протеста, но когда через несколько минут старая дева снова появилась в комнате с огромной

дымящейся чашкой липового цвета в руках и нежным тонким голоском пригласила племянника испить этого целебного напитка, такое энергическое «черт вас всех побери» вылетело вдруг из уст благовоспитанного юноши, что бедная перепуганная, разобиженная tante Térèse стрелой вылетела из комнаты и весь остальной вечер проплакала у себя, недоумевая, что это такое сделалось с ее кротким Иваром, и с минуты на минуту поджидая, не придет ли он просить у ней извинения.

Но надежда ее оказалась тщетной. Ивар извиняться не пришел. Пока в соседних комнатах слышались шаги и движенье, он молча и угрюмо пролежал на своем диване; потом, когда все в доме улеглось, он тихонько зажег свечу, крадучись, словно боясь, что кто-нибудь его за этим делом застанет, подошел к небольшому стенному зеркалу и принялся себя разглядывать с таким вниманием, как будто он сегодня в первый раз увидал свое изображение. И действительно, он сегодня видел себя в совсем новом свете, чем прежде. И мать, и тетки с детства восхищались его нежными белокурыми кудрями, его нежной, как у девушки, кожей, его синими глазами. С отроческих лет занимался он гимнастикой и культивировал всевозможные виды спорта, т. к. тетушка Тереза придерживалась того воззрения, что ничто так не поддерживает целомудрие в юноше, как усиленные физические упражнения. Каждое утро Ивар обливался холодной водой, зимой катался на коньках, летом плавал и ездил на велосипеде, часами работал веслом. Теперь, в двадцать два года, он представлял из себя идеал чистого, здорового, свежего и уравновешенного юноши. Все знакомые тетки любовались им, девицы за прилавками в кондитерских и кофейных улыбались ему особенно приветливо, и одна молодая вдовушка из общества воспылала до такой <степени>, бросала на него такие нежные недвусмысленные взгляды, что tante Térèse пришла даже в негодованье и сочла нужным прервать с ней знакомство.

Благообразие Ивара составляло столь неоспоримый и всеми признанный факт, что он даже и сам не обращал на <него внимания>, о нем не думал и относился к своей наружности со спокойным равнодушием несомненно красивого человека. Но сегодня в первый раз он вдруг постиг, что эта красота, которой так восхищаются старые девы, в сущности, гроша не стоит. Здоровый кирпичный румянец его крепких, как яблоко, щек был крайне вульгарен, голубые глаза показались глазами тупого откормленного теленка, красные пухлые губы, окаймленные маленькими каштановыми усиками, умели только глупо улыбаться, но сложить их в насмешливую и значительную улыбку не было никакой возможности. Ему вдруг показалось, что на черном фоне зеркала, рядом с его собственной плебейски вульгарной фигурой, выступает некрасивое, но значительное бледное лицо Рудольфа, с черными, слегка уже поредевшими на висках волосами и с синими подтеками вокруг глаз. В этом лице все было загадочно, все говорило о тайне, о страсти, а на собственном челе Ивар ясными, огненными буквами увидел одно роковое слово — посредственность. Это слово, самое ужасное для всякого юноши, клеймило его неизгладимым позорным клеймом.

С этого дня с Иваром произошло как бы перерождение. Он сразу разуверился во всех идеях тетки Терезы и вышел у ней из субординации. Бедная тетушка только руками разводила. Ивар подружился со всеми наиболее чернейшими из черных овец упсальского стада, с социалистом Гильмаром Брантом и с Куртом Вирелем.

И вот вчера он дошел до того, что пошел на сходку Керд Анди. На сходке этой разбирались вопросы, что заменит в будущем обществе прежние религиозные идеалы. И, бог мой, какие только крайние взгляды высказывались. Два главные оратора были Курт Вирель и Гильмар Брант. Первый был толстенький, куцый человек с маленькими живыми глазками. Он первый выступил на трибуну и стал...

Отрывок из романа

Отношения между Л. и О. становились все натянутее и неприятнее. О. начинал все более и более, сам почти не сознавая того, тяготиться Л. У него развивалась даже какая-то физическая неприязнь к ней. Не будучи склонен к анализу и разбору собственных чувств, он сам вряд ли отдавал себе отчет в том, что происходило в его душе. Л. просто раздражала его своим присутствием, своими заботами, своею наружностью и характером. Сама Л. мучительно это ощущала и, надо сознаться, вела себя до крайности бестактно, именно вследствие того, что ощущала это. Ее привязанность к О. принимала какой-то болезненный, нервный и в высшей степени для него тягостный характер. Она то предавалась слезливому, несдержанному отчаянию, воображая, что все кончено и он навеки разлюбил ее; то, напротив того, переходила к надежде, уверяла сама себя, что его поведение не более, как каприз, напускное, что возможно просто to laugh it out*; тогда она приходила к нему в комнату, делая вид, как будто между ними ничего не происходило и все идет по-старому; но помимо ее воли все ее движения и слова дышали какою-то нервностью, до крайности раздражительною, его холодность скоро разубеждала ее и повергала в противоположную крайность отчаяния и негодования.

Не привыкшая сдерживать себя, она в его же присутствии давала волю своим чувствам и изливала свое оскорбление и негодование в страстных выражениях и упреках. Обыкновенно вслед за произнесенным наступало раскаяние; являлся стыд, и горькое чувство унижения подступало к горлу, но это нисколько не поправляло дела. После стольких перенесенных обид ей казалось уже невозможным отступить, ей казалось необходимым договориться, высказаться, вернуть его к себе во что бы то

* высмеять все это (*англ.*).

ни стало; наконец, и всего сильнее, чувствовалась потребность заглушить в самой себе громкими жалобами и упреками нестерпимую боль унижения; всего ужаснее казалось остаться наедине с самой с собой, лицом к лицу с своим несчастьем и позором. Всего чаще такие сцены происходили вечером. Для О. они были крайне ненавистны, и он положительно начинал презирать и глухо ненавидеть Л. за них. Иногда он отмалчивался, но молчание его было так холодно и презрительно, что раздражало Л. еще больше; иногда он тоже выходил из себя, говорил ей грубости; Л. отвечала ему тем же и, наконец, начинала истерически рыдать. Отлично сознавая, что сама подрывает последний остаток любви и уважения в его сердце, что каждым словом, каждым судорожным рыданием только расширяет пропасть между ними, — она уже не могла сдерживаться; так случается иногда, что ребенок, у которого болит зуб, долго выносит глухую боль терпеливо, но стоит ему дотронуться до больного зуба, и он уже не может остановиться, и самая до нетерпимости доходящая боль заставляет его все больше и больше теребить больной нерв. Так было и с Л. Наконец, О., выведенный из терпения, сам уходил из комнаты, громко хлопнув дверью. Лишь только Л. оставалась одна, ей вдруг становилось вполне ясно, что она наделала. Презрение, даже ненависть к самой себе доходили до такой нестерпимой степени, что она просто сама не могла себя выносить.

Обыкновенно все кончилось тем, что она бросалась на постель и тут же засыпала крепким, тяжелым сном. Пробуждение на следующее утро далеко не было приятно; разом нахлынувшие воспоминания вчерашнего вечера вызывали стыд и омерзение; как пьяница на другое утро после попойки, она чувствовала потребность «опохмелиться» нравственно, чем-нибудь заглушить в себе неприятное чувство, и вот она принималась мечтать неудержимо. Мечты становились все радужнее и привлекательнее. Она сравнивала себя самою с О. (конечно, в свою пользу), представляла себе, как сама разлюбит и бросит его, как он тогда опомнится, поймет, что потерял в ней и т. д., и все это, конечно, в самых очаровательных и соблазнительных картинах. После подобных мечтаний она, как женщина все-таки умная, обыкновенно начинала трезво и до известной степени беспристрастно обсуждать свое положение, доказывая сама себе, до какой степени безрассудны ее поступки, и чертила себе план действия — действительно очень разумный. Решалась оставить его в совершенном покое, с своей стороны выказывать такую же холодную, разумную ‹*не разобр.*› удалиться даже на некоторое время... Приняв такое мудрое решение, Л. вставала ободренная, почти радостная, и действительно принималась за выполнение своего плана. Но увы, как мало надо было, чтобы разрушить все ее благие намерения. Стоило О. не явиться к обеду, стоило ему запоздать вечером у знакомых, и на Л. вдруг находил до безумия доходящий ужас, что с ним, наверное, что-нибудь случилось. Она начинала уже оплакивать его, как погибшего. Упрекала самою себя, что не высказала ему достаточно нежности и т. д. Затем забывала все прошлое, когда он возвращался домой и прямо проходил в свою комнату, не обра-

щая на нее дальнейшего внимания. Ей, истерзанной своими добровольными муками, его поведение казалось жестоким и бессердечным; на нее опять находил порыв отчаяния и негодования, и это опять вело к слезам и сценам. Так текла их жизнь. Дни повторялись за днями в таких же бессмысленных, бесцельных терзаниях. Для О. такая жизнь была невыносима, он решительно возмущался поведением жены и в нем, наконец, даже сознательно стала являться мысль о необходимости разрыва. Что касается до Л., то она, конечно, была глубоко несчастна, гораздо несчастнее его, но вряд ли кто в состоянии сочувствовать и симпатизировать подобным несчастиям.

СТИХОТВОРЕНИЯ

Шуточное послание В. О. Ковалевскому[1]

Мой друг! Вот целых две недели ежечасно
Тебя я жду и мучаюсь, — но все напрасно!
Зову, пишу фольянты, злюсь, но мне в ответ
Ни самого тебя, ни писем твоих нет.

Наскучило мне ждать и злобствовать часами,
И вот решилась я попробовать стихами
Тебя, злодей, усовестить и устыдить,
И чувства верности супружеской внушить.

Как видишь, бес мой или муза из когтей
Не хочет выпустить совсем души моей.

Забыв поваренную книгу, интегралы,
Магистерство и Коркина дифференцьялы,
Я рифмоплетствую, бешусь и каждый час
Душою уношусь раз десять на Парнас.

Из пыли, где они покоились годами,
Тетрадки старые с забытыми стихами
Достала Юля раз; их вид напомнил вновь
Старинные мечты, забытую любовь.

И вот моей я музе поклонилась снова
И на нее Минерву променять готова.
Права пословица, как видно, хоть стара,
Которая гласит: qui a rimé — rimera *.

Но это предисловие. Я начала писать,
Чтобы сказать тебе: мне очень скучно ждать.

* кто писал стихи — будет писать (*франц.*).

У нас покойно все, не ссоримся; друг другом
Довольны все пока. Полковница[2] с супругом
Твердит весь день вокабулы, но, ах! пока
Ему, как кажется, наука не легка.

Папашу Юрик[3] обогнал, хоть это худо;
Но про него согласны все: он просто чудо!
Маркиза наша, tante Фифи,
Два раза в день свои меняет кушаки;
А математик юный[4] все мечтает
Об Эрбере и вишни славно пожирает.

За карты мы и Юлю[5] нашу засадили
И всем премудростям молчанки научили.
Но к картам у нее, увы, талант плохой.
И от Анюты достается ей порой.

Твоей смуглянке скучно, мужа ожидает,
Раз десять в сутки на дорогу выбегает.

Собаки лай, бубенцов звонких дребезжанье
В ней возбуждают трепет ожиданья,
И вновь бежит она и, обманувшись вновь,
Клянет мужей неверных и любовь.

Палибино. 18-е июля.

Пришлось ли...[6]

Пришлось ли раз вам безучастно,
Бесцельно средь толпы гулять
И вдруг какой-то песни страстной
Случайно звуки услыхать?
        На вас нежданною волною
        Пахнула память прежних лет,
        И что-то милое, родное
        В душе откликнулось в ответ.
Казалось вам, что эти звуки
Вы в детстве слышали не раз,
Так много счастья, неги, муки
В них вспоминалося для вас.
        Спешили вы привычным слухом
        Напев знакомый уловить,
        Хотелось вам за каждым звуком,
        За каждым словом уследить.

Внезапно песня замолчала
И голос замер без следа.
И без конца и без начала
Осталась песня навсегда.
Как ненавистна показалась
В тот миг кругом вас тишина.
Как будто с болью оборвалась
В душе отзывная струна!
И как назойливо, докучно
Вас все напев тот провожал;
Как слух ваш, воле непослушный,
Его вам вечно повторял!
Вот выступали из забвенья
Размер, слова, обрывки фраз,
И вам казалось на мгновенье
Вся песнь понятною для вас.
Но вдруг опять все уносилось,
И так осталось навсегда
Загадкой то, что говорилось
В той песне, смолкшей без следа...
Ужель и наша встреча с вами
Бесследно также промелькнет?
Блеснула миг перед глазами
И вновь во мраке пропадет.
Нас случай свел, и может снова
Нас тот же случай развести,
И равнодушно и сурово
Друг другу скажем мы: прости!
Что что-то в нас звучит родного,
Нам вдруг почудилось на миг;
Но не сказали мы ни слова,
Как будто скован был язык.
И так без слез, без сожаленья
Разлуку можем мы принять,
И лишь порою из забвенья
Ваш образ будет восставать.
Как будто в дымку облеченный,
Ко мне он будет приходить
И все загадкой нерешенной
Меня тревожить и дразнить.
Пока из памяти не сгладит время
Когда-то милые черты,
И сердце вновь покорно примет бремя
Холодной вечной пустоты.

Неизвестный певец[7]

Неизвестный певец внезапно умолк, и этот отрывок песни без начала остался и без конца. О, какой невыносимой показалась мне в этот момент внезапно наступившая вокруг меня тишина. Мне казалось, что какие-то струны моей души, звучавшие в унисон с музыкой, внезапно порвались. Я помню, как еще много дней спустя, эта едва уловимая мелодия непрестанно меня преследовала; независимо от моей воли она ежеминутно звучала в моих ушах.

Иногда мне удавалось восстановить отдельные слова, отрывки фраз, концы мелодии. Казалось — еще одно усилие, и вся песнь восстановится в моей памяти.

Но в следующее мгновение все снова спутывалось, и тайный смысл этой позабытой песни навсегда останется для меня загадкой, ключ к которой мной утерян.

Не такова ли будет судьба и нашей встречи, о мой мимолетный друг? Не будет ли эта встреча подобна вспышке молнии, которая блеснула мне на мгновенье, чтобы сейчас же снова погаснуть и оставить меня в темнице?

Ведь простой случай нас свел, и случай нас снова разлучил. Наше прощанье было таким холодным, таким церемонным.

Был, несомненно, момент, когда мы оба почувствовали себя такими близкими, такими схожими, так необходимыми друг для друга. Но ни слова не было произнесено, мы оба в этот момент как будто онемели.

И вот, хотя ни одно слово не было произнесено, хотя ни одна слеза не пролилась, хотя никакой видимой и материальной связи не существует между нами, почему же мне все-таки кажется таким противоестественным, что мы сейчас разлучены?

Я, вероятно, привыкну к вашему отсутствию. Вначале ваш образ часто будет меня преследовать и мучить как нерешенная проблема.

Но постепенно он будет становиться все более неясным; наконец, он совершенно изгладится, и мое сердце покорно смирится под игом холодного и полного равнодушия, к которому оно уже так приучило себя.

Если ты в жизни...[8]

Если ты в жизни хотя на мгновенье
Истину в сердце твоем ощутил,
Если луч правды сквозь мрак и сомненье
Ярким сияньем твой путь озарил:
Что бы, в решенье своем неизменном,
Рок ни назначил тебе впереди,
Память об этом мгновенье священном

Вечно храни, как святыню, в груди.
Тучи сберутся громадой нестройной,
Небо покроется черною мглой —
С ясной решимостью, с верой спокойной
Бурю ты встреть и померься с грозой.
Лживые призраки, злые виденья
Сбить тебя будут пытаться с пути;
Против всех вражеских козней спасенье
В собственном сердце ты сможешь найти;
Если хранится в нем искра святая,
Ты всемогущ и всесилен, но знай,
Горе тебе, коль, врагам уступая,
Дашь ты похитить ее невзначай!
Лучше бы было тебе не родиться,
Лучше бы истины вовсе не знать,
Нежели, зная, от ней отступиться,
Чем первенство за похлебку продать.
Ведь грозные боги ревнивы и строги,
Их приговор ясен, решенье одно:
С того человека и взыщется много,
Кому было много талантов дано.
Ты знаешь в писанье суровое слово:
Прощенье замолит за все человек;
Но только за грех против духа святого
Прощения нет и не будет вовек.

Стихотворение в прозе[9]

Я видела сон: я была на берегу моря, в незнакомом обществе.

Я разговаривала с каждым, смеялась и говорила разный вздор, так что все думали: «Какое веселое, радостное, беззаботное существо». Потом все разошлись, и я осталась одна на опустелом береге.

Солнце уже село и начинало смеркаться; воздух был такой душный, что казалось, что вот-вот силы не хватит для дыхания.

Какие-то белые облака, как снежные хлопья, заволакивали небо.

Der Himmel war so trübe,
So schwülle war die Nacht,
So ganz wie unsere Liebe,
Zu Thränen nur gemacht *.

* Небо было так пасмурно.
Так душна была ночь,
Совсем как наша любовь,
Возникшая только для слез (*нем.*).

Издали все ближе и ближе доносился рев моря. Я все шла вперед. Сначала мне попадались запоздалые пешеходы; но мало-помалу берег все больше и больше пустел. Проходящий мимо рыбак сказал мне: «Возвращайтесь скорее, сударыня, прилив приближается». Но я ответила, весело смеясь: «Еще успею».

Я все шла вперед. Все громче и громче доносился рев воды. Море расстилалось предо мной, как темно-стальная масса, по которой только то там, то сям пробегали белые гребни волн.

Уже настолько стемнело, что нельзя было ясно отличить, где кончается берег, где начинается море. Мои ноги вязли в мокром песке, но я все шла вперед.

Ветер дул мне в лицо, вспоминались мелодии, которые в детстве наигрывала моя мать, мои любимые стихи мне приходили на память, математические теоремы с поразительной ясностью выступали в моем уме — мне становилось все веселее и веселее.

Я совершенно забыла, где я нахожусь и зачем сюда пришла.

Вдруг громадная волна разбилась у самых моих ног, обрызгав меня с ног до головы. Меня внезапно охватил испуг, чудовищный, непреодолимый.

Я вдруг внезапно постигла весь ужас насильственной смерти.

Мне мучительно страстно захотелось жить, хотя бы в несчастии, в унижении, в презрении у всех, но только бы жить.

Я побежала и стала кричать, звать на помощь — было уже слишком поздно.

Тяжелая волна догнала меня и сбила с ног. Я продолжала биться, бороться против неизбежности, все еще безумно надеясь, веря в возможность спасения, пока громадный вал не перекатил мне через голову, тихо шепнув мне на ухо:

Полно, о жизни покончен вопрос,
Больше не нужно ни песен, ни слез.

Хамелеон [10]

Хамелеона ты знаешь с детских лет.
Когда он сидит одинокий в своем углу,
Он кажется таким невзрачным, некрасивым,
Серым. Но при хорошем освещении он
может быть и красивым.
У него нет собственной красоты, он только
отражает все, что видит вокруг себя
хорошее и прекрасное...
Он может переливаться золотым,
зеленым, синим. Каковы его друзья,

таким же будет и он.
В этом животном, мне кажется,
я вижу свое подобие. Мой милый
друг, куда бы ты ни пошла, я
всегда точно следую за тобой;
я не отстаю, я никогда не отступаю.
Если имеешь друга, как ты,
Приходится платить за эту честь,
ты пишешь, пишешь красками et cetera
Для меня это пустяки, patatras! *
Но, помилуй бог! Теперь ты хочешь
еще и стихи писать?!

⟨*Груня*⟩[11]

Начитавшись жития святых мучеников, Груня постоянно занята одною мыслью: как подражать им. В мечтах она часто рисует себе картину пыток и казни. Эта мысль повсюду преследует ее; в лучах пылающего заката ей видится багровое сиянье костра. Большая площадь кишит народом, весь воздух оглушен колокольным звоном; Груню в траурной одежде ведут на казнь. Бестрепетно, с крестом в руках, она всходит на костер и перед смертью говорит народу; дух святой речет ее устами; весь народ взволнован, потрясен, но жаркое пламя вмиг охватывает ее, и ангелы уносят ее душу на небо; ликование на небесах.

. . . .

Готовится святым страдальческий венец.
И сердце бьется в ней при мысли, что, быть может,
И ей такой на долю выпадет конец.
Повсюду мысль ее преследует и гложет,
Как пальмы вечные сподвижников святых —
Себе стяжать; нередко пылкое мечтанье
Рисует ей картину мук и пыток злых.
По вечерам в лучах заката огневых
Ей грезится костра багровое сиянье.
Ей слышен гул колоколов, цепей бряцанье,
Оружья звон; народом площадь вся полна.
Ее ведут на казнь, спокойна и ясна
Восходит Груня на костер; в руках распятье
Одежды мрачные; ни стона, ни проклятья,
Господний дух ее невидимо крепит.

* Бух! хлоп! (*франц.*).

Господний дух речет ее устами.
Пред казнею к народу Груня говорит.
И, потрясен ее могучими словами,
Народ в безмолвии рыдает и дрожит.
Толпа покаяться, уверовать готова,
Но вспыхнул ярко вдруг костер, и дым багровый
Обвился вкруг нее; мучений краткий миг,
Стенанье слабое, один предсмертный крик,
И кончено уж все, и длинной вереницей
Летят уж ангелы за чистою душой,
Кругом нее все свет, все ангельские лица,
Навстречу ей пахнуло райскою струей.
Уж рай пред ней святые двери отворяет...
Но вдруг рассеялась мечта, и Груня замечает,
Что это все один пустой, горячий бред.
Кругом все прежнее; на пебе догорает
Заката яркого последний бледный след.
И долго Груня все с поникшей головою
Сидит перед окном печальна и грустна.
И ночь идет с своею мрачной пеленою,
Над кладбищем восходит яркая луна.
Могилы и кресты рисуются так живо
В ее причудливых, серебряных лучах.
Стрекозы шумные трещат в траве болтливо,
И соловей поет в сиреневых кустах.

⟨*13 апреля*⟩

Вот весна; теплом пахнуло.
И конец зиме холодной.
Лед прошел, раскрылись реки,
И Нева течет свободно.
Дождь и солнце друг за другом
Угощают пешехода.
Говорят, непостоянна,
Как апрельская погода.
Вечера, концерты, балы
Надоесть уже успели.
И теперь другие думы
На душе у всех засели.
О деревне да о дачах
Всюду слышны разговоры.
В хлопотах отцы семейства,
Всюду счеты, шум да сборы.
Но престранно и преглупо
Создала меня природа.
[Жалко мне зимы суровой,
И весенняя погода
В нервах с болью возбуждает
Порыванья и томленье.]
Не прельщает меня вовсе
Эта светлая погода,
И весны душистой, свежей
Не люблю я приближенье.
В теле вялость, в чувствах смута
И в крови тогда броженье.
С порываньями поладить
Воля слабая не может,

И червяк какой-то тайный
Сердце гложет, гложет, гложет.
В голове так много мыслей
Неотвязчивых, унылых.
Вспоминаешь все невольно
О разлуке, о могилах.
Как на зло еще к тому же
Мимо нашего жилища
Все покойников провозят
На Смоленское кладбище.
Только выглянешь в окошко,
Вот везут уже два гроба.
Сколько мрет их в эту пору!
Просто смех берет и злоба.
Нет, статистика не даром
Очень точно вычисляет,
Что весна к самоубийствам
Всех людей располагает.
Если мне придет охота
Счеты кончить все с собою,
То, наверно, это будет
Не иначе, как весною.
Это солнце, эта нега...
А в душе так больно-жутко.
Верно, Лермонтов весною
Назвал жизнь пустою шуткой.

Сказка старая на память
Неотступно мне приходит.
Кто герой, кто героиня,
Где та сказка происходит,
Я сама сказать не в силах.
Вижу дом просторный, древний,
Сад запущенный тенистый,
Видно, барская деревня.
У открытого балкона
Вся семья сидит за чаем.
Воздух, в комнату врываясь,
Пахнет свежестью и маем.
Самовар шипит уныло,
И скрипят часы стенные.
Вокруг свечки суетливо
Вьются бабочки ночные.
По стенам проходят тени.
Так причудливо, так странно.
Из дверей соседней залы
Льются звуки фортепьяно.
Вот герой и героиня
Тихо в сад с балкона сходят,
По аллеям темным сада
Рука об руку проходят.
Оба молоды, счастливы,
Смех беспечен их и звонок.
Он едва оставил школу,
И она почти ребенок.
Жизнь влечет, манит обоих,
Оба чувствуют так живо.
Жизни, страсти и волненья
Оба ждут нетерпеливо.
Бродят все они по саду
В бесконечных разговорах.
Сколько прелести и счастья
В этих толках, в этих спорах.
Занимают их вопросы
О значении народа,
И слова волнуют
Равноправность и свобода.
О себе, о личном счастье,
О любви — они ни слова,
Их уста хранят стыдливо
Тайну сердца молодого.
Но слова тут и не нужны,
Без того так чувства живы,
И полна душа так счастьем,
И кипит так кровь бурливо.
Что на сердце у другого —
Без того ведь каждый знает.
И в устах их речь невольно
Тихо гаснет, замирает.
Так идут они в молчанье
По дорожкам темным сада,
Незаметно обвевает
Их вечерняя прохлада.
Шепот трепетный проходит
В листьях тополи душистой,
И конца нет соловьиной
Трели звонкой, серебристой.

Но другую уж картину
Вижу я перед глазами.
Церковь сельская простая
Вся блестит, горит огнями.

Вот идут жених с невестой,
Стали вместе у налоя.
И обводит их священник
Вокруг церкви за собою.
У крыльца уже карета
Новобрачных ожидает,
Вот уж сели — понеслися,
Только пыль столбом взлетает.
Все знакомые местечки
Промелькнули чередою,
Лип тенистая аллея
С глаз сокрылась за горою.
Старый сад и пруд, и рощи
Вдалеке уж все остались,
Лишь на башенке старинной
Флаги ярко развевались.
На горе стоит дом старый,
Ярким светом весь облитый,
И глядит вслед за четою
Так угрюмо, так сердито.
Окна блещут и сияют,
Словно очи огневые,
Но не жалко героине
Оставлять места родные.
И не мил ей, и пе дорог
Вид родимого селенья,
Вызывает он в ней только
Неприязнь и озлобленье.
Вспоминаются ей годы
Жгучих, страстных порываний,
И борьбы, глухой и тайной,
И подавленных желаний.
Перед ней картины рабства
Вьются мрачной вереницей,
Рвется вон она из дома,
Словно пленник из темницы.

Вот теперь пора настала
Променять мечты на дело,
И вперед она взирает
Так уверенно, так смело.
Не пугает ее вовсе
Незнакомая дорога.
В ее сердце много веры
И надежд в душе так много.

Но опять передо мною
Изменилася картина.
Город чистенький немецкий.
Замок — старая руина.
Горы мягких очертаний,
Зелень сочная каштана —
Все подернуто прозрачной,
Синей дымкою тумана.
Океан кругом зеленый,
Небо синее так ярко,
И на небе прихотливо
Видны башни, видны арки.
А в долине, меж горами,
Город старый и ученый,
Опоясан весь садами,
Словно лентою зеленой.
Целый день души не видно
В переулках запустелых,
Но в них вечером мелькают
Много шапок красных, белых;
Псы огромные прохожих
Оглушают громким лаем.
Этот город для студентов
Настоящим служит раем
И зовется не напрасно
Он рассадником науки.

Жалоба мужа

Уже давно мне надоело
Слышать жалобы и стоны,
Как судьба печальна женщин,
Как неправы к ним законы!
Нет, поверьте, что страдальцы
Не они — а мы, мужчины!
Сколько в жизни мы семейной
Терпим горя и кручины,
Как тяжка нам наша доля —
Это каждый муж вам скажет.

Но, надеюсь, моя повесть
Это ясно вам докажет.
Юность я провел не скучно,
Как мужчине подобает.
За собой грешков невинных
Кто из вас, друзья, не знает?
Красотой, вином, любовью —
Всем успел я насладиться.
Наконец, пришлось сознаться,
Что пора, пора жениться.
На беду ж мою девицу
Встретил я — очарованье!
Молода, умна, красива,
Просто чудное созданье!
Устоять никто не мог бы,
Ну, конечно, я влюбился...
Все в ней мило было — только
Грех один за ней водился:
Заразилась вредным духом,
Разных книжек начиталась
И на все мои моленья
Долго, долго не сдавалась.
Говорила мне упорно:
«Молода я — погодите,
Прежде выучусь — потом уж
За ответом приходите.
В жизнь тогда вступлю я с мужем
Смело, с равными правами».
Я в ответ на эти речи
Пожимать лишь мог плечами.
Но глазок ее искрился
Так задорно и так мило.
Отказаться от плутовки
Не хватало в сердце силы.
Вижу я: нужна уловка,
Тут уменье, хитрость надо.
И подделываться начал
Я к девицыному складу.
Говорю ей: «Вместе с другом
Вам работать легче будет».
За такой обман невинный
Вряд ли кто меня осудит?
...Так твердил я на все тоны,
В увереньях рассыпался,
И невольно сам восторгом
Вместе с нею проникался.
Наконец, она сдалася,
И сбылось мое желанье.
Я назвать женой законной
Мог прелестное созданье.

Но напрасно этим думал
Я спокойствия добиться.
Скоро мне пришлося горько
За ошибку поплатиться.
Оказалось, что бедняжка
Все за правду принимала,
Что со мной она до свадьбы
О правах своих болтала.
И теперь ждала от мужа
Пренаивно выполненья
Тех обетов, что жених ей
Дал в порыве увлеченья.
Ах, друзья мои, признаться —
Перетрусил я невольно,
Как услышал, что толкует
Обо всем она так вольно.
Нет, беда с женой ученой.
Муж — не жди себе почтенья.
Отвечай на все расспросы,
Разделяй ее сомненья.
И отделаться не думай,
На «дела» сославшись прямо.
Объясни ей, в чем же дело,
Пристает к тебе упрямо.
Вижу я — не будет толка,
Призадумался тревожно.
Вижу сам, что обращаться
Надо с нею осторожно.

ДОПОЛНЕНИЯ

ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В РУССКОЕ ИЗДАНИЕ «ВОСПОМИНАНИЙ ДЕТСТВА» 1890 г.

⟨Палибино⟩[1]

Та местность, где находилось именье Круковских, была очень дика, но более живописна, чем большинство местностей средней полосы России. Витебская губерния известна своими громадными хвойными лесами и множеством больших красивых озер. По некоторым ее уездам проходят еще последние отроги Валдайской возвышенности, так что в ней нет еще таких громадных равнин, как в центре России, а напротив того, весь пейзаж носит характер извилистый и волнистый. Камня, разумеется, мало, как и всюду в России; случается, однако, что вдруг среди ровного поля или поемного луга с травой в рост человека совсем неожиданно натолкнешься на большую гранитную глыбу. Эта глыба так странно выступает из окружающей ее сочной зелени, так не подходит под мягкий округленный характер остального пейзажа, что, увидя ее, невольно спросишь себя: какими судьбами попала она сюда? Невольно приходит в голову: не памятник ли она, оставленный по себе какими-то неведомыми, может быть сверхъестественными существами? И в самом деле, геологи утверждают, что глыба эта здесь заносная гостья, что она принесена сюда издалека и действительно представляет собой интересный памятник — только не вымершего народа и не сказочных гномов, — но того великого ледникового периода, когда громадные скалы отрывались, как мелкие песчинки, от берегов Финляндии и переносились на громадные расстояния под всесокрушающим напором медленно двигающегося вперед льда.

Почти к самой усадьбе Круковских примыкал с одной стороны лес. Вначале расчищенный и похожий на парк, он становился мало-помалу все гуще и непроходимее и сливался наконец с громадным казенным бором. Этот последний тянулся на целые сотни верст в окружности и, с памяти человека, не стучал в нем топор иначе, как разве когда ночью, исподтишка, в руках вора-крестьянина, пришедшего попользоваться казенным деревом.

Про лес этот ходили в народе странные легенды, в которых трудно было отличить, где кончается правда, где начинается миф. Водилась в нем, разумеется, как во всех русских лесах, разная лесная нечисть: лешие и русалки; но хотя в существовании их мало кто сомневался, однако, по правде сказать, кроме деревенской дурочки Груни да старого знахаря Федота, кажется, никто не видал их воочию. Зато гораздо больше было

людей, которые могли пораcсказать о встрече в лесу с тем или другим недобрым человеком. По слухам, в самой чаще леса существовали целые притоны разбойников, конокрадов и беглых солдат, и не поздоровилось бы становому и исправнику, если бы кому из них вздумалось заглянуть на то, что делается в лесу ночью. Что же касается волков, рысей и медведей, то редкий из местных жителей не имел хоть раз в жизни случая убедиться собственным опытом, что они-то, по крайней мере, несомненно водятся в лесу.

Надо сказать, впрочем, что медведи жили с окрестными крестьянами в довольно миролюбивых отношениях. Разве когда ранней весной или поздней осенью услышишь, что медведь задрал у мужика корову или лошадь; обыкновенно же мишка довольствовался тем, что таскал у своих соседей снопы овса с поля или мед из их пчельника. Редко, редко пронесется вдруг слух, что медведь облапил мужика, да и то всегда потом окажется, что виноват был сам мужик, который первый задел бедного мишку.

К лесу многие питали почти суеверный страх. Если случалось, бывало, в одной из окрестных деревень, что какая-нибудь крестьянка хватится вечером своего ребенка, первое, что придет ей в голову, — это то, что он в бору заплутался, и начнет она голосить по нем, как по мертвому. Ни одна горничная в доме Круковских не решилась бы пойти в лес одна без спутника; но обществом, особенно в сопровождении молодых лакеев, они, конечно, охотно бегали в лес. Отважная гувернантка англичанка, страстно любившая моцион и длинные прогулки, отнеслась сначала свысока ко всем рассказам про лес, которыми стали пугать ее тотчас по ее приезде к Круковским, и решила, что будет ходить в лес гулять, что бы пугливые бабы про него не болтали. Но когда однажды осенью, отойдя одна со своими воспитанницами на расстояние не более часа от дома, она вдруг услышала в лесу треск и вслед за тем увидела огромную медведицу, которая с двумя медвежатами переходила через дорогу, в шагах пятидесяти от нее, — она должна была сознаться, что не все преувеличено в рассказах про лес, и с тех пор и она не стала отваживаться ‹уходить› далее опушки иначе, как в сопровождении кого-нибудь из лакеев.

Но не все только страшное приходило из леса. Были в нем неисчерпаемые запасы всякого добра. Водилось в нем несметное количество дичи — зайцев, тетеревов, рябчиков, куропаток. Иди себе охотничек и постреливай только; и самый неумелый, со старой кремневой винтовкой, и тот может рассчитывать на добычу. Летом разной ягоде конца не было. Сначала пойдет, бывало, земляника, которая, правда, поспевает в лесу несколько позже, чем на полях, но зато бывает гораздо сочней и душистее. Не успеет она отойти, как уже, смотришь, пошла голубица, костяника, малина, потом брусника; а тут, того и гляди, подоспеют орехи, а затем начинается грибное раздолье. Подберезовиков и подосинников попадается немало и летом, но для груздей, для боровиков, для рыжиков настоящая пора осень. На баб, на девок да на ребятишек во всех окрестных деревнях находит в это время просто исступление какое-то. Из леса их силой не вытащишь. Целой гурьбой отправляются они в него

с восходом солнца, вооруженные корзинами, чашками, лукошками, и до позднего вечера их и не жди домой. И жадность же у них какая является! Уж сколько, кажется, добра понатаскали они сегодня из лесу, а все им мало! — завтра, чуть забрезжит свет, уж их опять в лес так и тянет. На сборе грибов все их мысли помутились; из-за грибов они все и домашние и полевые работы побросать готовы.

В доме Круковских тоже предпринимались иногда, — летом, во время земляники, или осенью, в грибную пору, — целые экспедиции в лес. В них участвовали все домашние, за исключением только самих барина и барыни, которые оба не были охотниками до подобных сельских удовольствий.

С вечера сделаны все распоряжения. На следующее утро, с первым лучом восходящего солнца, уже подъезжают две-три телеги к крыльцу. В доме начинается веселая, праздничная суетня. Горничные бегают, торопятся, сносят и уставляют в телеги посуду, самовар, разную провизию, чай, сахар, миски, полные пирожков и ватрушек, вчера еще напеченных поваром. Сверх всего остального набрасывают пустые корзины и кузовы, предназначаемые для будущего сбора грибов. Дети, поднятые с постели не в привычный час, с заспанными лицами, по которым только что прошлась мокрая губка, заставляя их запылать ярким румянцем, бегают тут же. От восторга они не знают, что и начать, за все хватаются, мешают всем и умудряются каждому непременно попасться под ноги. Дворовые собаки, разумеется, не менее заинтересованы в предстоящей поездке. С самого утра они уже находятся в состоянии нервного возбуждения; шныряют между ногами, заглядывают людям в глаза, зевают протяжно и громко. Наконец, утомленные волнением, они растягиваются на дворе перед крыльцом, но вся их поза выражает напряженное ожидание; беспокойными взорами следят они за всем, что происходит, при первом знаке готовы вскочить и помчаться. Вся интенсивность их собачьей природы сосредоточена теперь на одной мысли: как бы господа не уехали без них!

Вот, наконец, сборы кончены. В телегах разместились как попало гувернантка, учитель, дети, штук 10 горничных, садовник, человека 2—3 из мужской прислуги, да штук пять дворовых ребятишек. Вся дворня пришла в волнение; каждому хочется участвовать в веселой поездке. В последнюю минуту, когда уже телеги было тронулись, прибежала вдруг судомойкина дочка, пятилетняя Аксютка, и подняла такой рев, увидя, что матка ее уезжает, а она остается, что пришлось и ее посадить в телегу.

Первый привал назначен у сторожки лесника, верстах в десяти от усадьбы Круковских. Телеги едут мелкой рысцой по вязкой лесной дорожке. Только в передней из них сидит на облучке настоящий кучер; остальными правят добровольцы, которые поминутно перебивают друг у друга вожжи из рук и невпопад дергают лошадь то вправо, то влево. Внезапный толчок. Телега наехала на толстый корень. Всех подбросило кверху. Маленькая Аксютка чуть и совсем не вылетела; едва-едва успели

ухватить ее за ворот платья, как хватают щенка за шиворот. На дне телеги послышался зловещий звон битого стекла.

Лес становится все гуще, все непроницаемее. Куда ни глянешь — всюду ели, мрачные, высокие, с темно-бурыми корявыми стволами, прямыми, как исполинские церковные свечи. Только по краям дороги ползет мелкий кустарник — орешина, бузина и преимущественно ольшина. Кое-где мелькнет трепещущийся, раскрасневшийся к осени осиновый лист или ярко вспыхнет обремененная гроздями живописная рябина.

Из одной из телег раздаются вдруг громкие испуганные ахи! Тот, кто сидит в ней заместо кучера, задел своей шапкой молодую, еще мокрую от росы ветку березы, низко перевесившуюся над дорогой. Ветка раскачнулась и с размаха хлестнула всех сидящих в телеге, обдав их мелкими душистыми брызгами. Смеху, шуткам, остротам конца нет.

Вот и сторожка лесника виднеется. Изба его крыта тесом и на вид несравненно уютнее и чище, чем обыкновенные избы у белорусских мужиков. Она стоит на небольшой полянке и (редкая роскошь у крестьян в этой местности) окружена небольшим огородом, в котором среди кочанов капусты пестреют головки мака и сияют два или три ярко-желтых подсолнечника. Те несколько яблонь, которые высятся среди огорода, обремененные румяными яблоками, составляют особенную гордость своего хозяина, так как он сам пересадил их из леса дичками, потом привил их и теперь может поспорить своими яблоками с любым из соседей помещиков.

Леснику уже лет под семьдесят; борода у него длинная, совсем белая, но вид у него еще бодрый, очень важный и степенный. Ростом и всем сложением он крупнее большинства мизерных белорусов, и на лице его как будто отражается окружающий лес с его ясным, величавым спокойствием. Детей своих он всех уже пристроил: дочек выдал замуж, сыновей определил к какому-нибудь ремеслу на стороне. — Теперь он живет один со своей старухой да с приемышем, взятым им на старости, мальцом лет пятнадцати.

Завидя господ еще издали, старуха побежала ставить самовар; когда же телеги подъехали к крыльцу, и она и старик вышли им навстречу, кланяясь в пояс и прося дорогих гостей не побрезгать их чаем. Внутри изба тоже чистая и прибранная, хотя воздух в ней все же спертый и пропитанный запахом ладана и деревянного масла от лампады, так как окошечки в ней, из боязни морозов зимой, совсем крошечные и отворяются плохо. После свежего лесного приволья в первые минуты кажется здесь и дышать нельзя, но в избе так много интересного, что дети скоро свыкаются с ее тяжелым воздухом и начинают с любопытством оглядываться по сторонам. По глиняному полу рассыпаны еловые ветки; вдоль всех стен идут лавки, по которым прыгает теперь ручная галка, с подрезанными крыльями, нисколько не смущаясь присутствием большого черного кота, очевидно своего хорошего приятеля. Этот последний сидит на задних лапах, умываясь одной из передних, и с притворным равнодушием оглядывает гостей сквозь полузажмуренные веки.

В переднем углу стоит большой деревянный стол, покрытый белою скатертью с вышитым бортом, а над ним высится громадный киот с удивительно безобразными и очевидно необычайно древними образами. Про лесника говорят, что он раскольник и что именно благодаря этому-то обстоятельству он и живет так опрятно и так богато, потому что известно, что раскольники никогда не ходят в кабак и придерживаются большой чистоты в своих жилищах. Говорят тоже, что леснику приходится ежегодно откупаться недешево и от исправника и от сельского попа, чтобы они не вмешивались в его религиозные убеждения, не принуждали его ходить в православную церковь и не следили за тем, посещает он или нет раскольничьи молельни. Еще рассказывают про него, что он сам никогда не съест куска в православном доме, а что у себя он держит для православных гостей особую посуду. Хотя бы эти гости были и господа, он ни за что не подаст им ничего в той чашке, из которой сам ест, — это значило бы осквернить чашку совсем так же, как если бы из нее поела собака или другое нечистое животное. Детям ужасно бы хотелось знать, правда ли, что «дядя Яков» (так они зовут лесника) брезгует ими, но они не решаются его спросить.

Дядю Якова они очень любят. Быть у него считается большим удовольствием; когда же он иногда заходит в гости к ним в Палибино, то всегда приносит им какой-нибудь подарок, более приходящийся им по вкусу, чем самые дорогие игрушки. Так, например, раз он привел с собой молодого лося, который долго потом жил у них за загородкой в парке, но совсем ручным никогда не сделался.

Огромный медный самовар пыхтит на столе, на котором расставлены разные необыкновенные кушанья: варенец *, лепешки с маком, огурцы с медом, все такие лакомства, которые никогда не достаются детям иначе, как только у дяди Якова. Лесник усердно угощает своих гостей, но сам ни до чего не дотрогивается (значит правда, что брезгует, думают дети) и ведет степенную, неторопливую беседу с учителем. В его белорусской речи попадается немало выражений, непонятных для детей, но они все же ужасно любят слушать, как дядя Яков говорит: он знает так много про лес, про зверей в нем, про то, что каждый зверь думает.

Теперь уже около шести часов утра. (Как странно: в обыкновенные дни спишь еще в постельке в это время, а сегодня уж чего, чего только не было!) Мешкать нельзя больше. Вся компания вразброд рассыпается по лесу, перекрикиваясь и аукая время от времени, чтобы не разойтись слишком далеко и не заплутаться в лесу.

Кто-то наберет всех больше грибов? Этот вопрос волнует теперь всех; у каждого разгорелось самолюбие. Соне кажется в эту минуту, что нет ничего важнее на свете для нее, как поскорей наполнить свою корзинку. «Господи! пошли мне много, много грибов!» — думает она, невольно влагая ужасно много страсти в эту молитву и, завидя издали красную

* Русское кушанье: простокваша каким-то особым образом запекается в печке и через это становится очень жирною и вкусною (*прим. С. В. Ковалевской*).

чашечку подосиновика или черную головку подберезовика, со всех ног кидается в ту сторону, чтобы неравно кто не перебил у ней намеченную добычу. А сколько у ней бывает разочарований! То примет она сухой лист за гриб, то вдруг покажется ей плотная, светло-бурая шапочка боровика, скромно выползающая из моха. Схватит она ее с восторгом — глядь, а снизу не сплошное белое донышко, а глубокие разрезные бороздки. Оказывается, это просто молоденький, никуда негодный валуй принял сверху обманчивый вид боровика! Но всего обиднее для Сони, если она пройдет по какому-нибудь месту, ничего не заметя, а востроглазая Феклуша, чуть не из-под носу у ней, выхватит молоденький прелестный грибок. Эта несносная Феклуша! Она словно чутьем узнает, где гриб, просто из-под земли их выкапывает. У ней уже верхом полна вся корзина, и притом все больше белыми или рыжиками, подосинников — и тех мало, а лисичек, маслят и сыроежек она вовсе не берет. И что у ней за грибы! Все как на подбор — маленькие, чистые, красивенькие, — хоть сырыми их ешь! У Сони же корзина полна всего только наполовину, и то вон сколько в ней больших, дряблых шляпух, которых и показать стыдно...

В три часа опять привал. На полянке, на которой пасутся распряженные лошади, кучер развел костер. Лакей бежит к ближнему ручью наполнять взятые с собой графины водой. Горничные разостлали на земле скатерть, ставят самовар, расставляют посуду. Господа садятся отдельной кучкой, прислуга, из почтения, размещается немножко поодаль от них. Но это разделение длится только первые четверть часа. Сегодня день такой особенный, что никаких сословных различий как будто и не существует. У всех один и тот же всепоглощающий интерес: грибы. Поэтому все общество скоро опять перемешивается. Каждому хочется похвастаться собственною добычей и посмотреть, что-то нашли другие. К тому же у всех теперь так много есть что порассказать друг другу; у каждого были свои приключения: кто вспугнул зайца, кто подсмотрел норку барсука, а кто чуть-чуть не наступил на змею.

Поевши и отдохнув немножко, опять идут по грибы. Но прежнего воодушевления уже нет. Усталые ноги тащатся с трудом. Большая корзина, хотя в ней теперь и мало грибов, вдруг стала так тяжела, что совсем оттягивает руку. Воспаленные глаза отказываются служить: то вдруг так ясно померещится гриб там, где его нет, а мимо настоящего гриба пройдешь, совсем его не приметив.

Соня теперь уже равнодушна к тому, наполняется ли ее корзина или нет, но зато она стала гораздо восприимчивее к другим впечатлениям леса. Солнце уже близко к закату; косые лучи скользят промеж голых стволов, окрашивая их в кирпично-бурый цвет. Маленькое лесное озеро с совсем плоскими берегами так неестественно спокойно и тихо, точно заколдованное. Вода в нем темная-темная, почти черная, только в одном месте алеет на ней ярко-багровое, точно кровяное, пятно.

Пора домой. Все общество опять сходится у телег. Днем все так были заняты каждый своим делом, что никто не обращал внимания на других. Теперь все смотрят друг на друга и вдруг разражаются громким, неудер-

жимым смехом. Бог знает, на что все стали похожи! За этот день, проведенный на воздухе, все успели загореть; лица у всех обветрились и пылают. Волосы растрепаны, костюмы пришли в беспорядок неописанный. Отправляясь в эту лесную экспедицию, и барышни и горничные облачились, разумеется, в свои самые старые платья, которые нечего больше беречь. Но поутру все это сходило кое-как с рук; теперь же и глядеть смешно. Кто растерял в лесу ботинки, у кого наместо юбки болтаются какие-то беспорядочные лохмотья. Всего фантастичнее головные уборы. Одна из девушек воткнула большую гроздь ярко-красной рябины в свои черные спутанные косы; другая устроила себе род каски из листа папоротника; третья воткнула на палку чудовищный мухомор и держит его над собой в виде зонтика.

Соня опутала себя всю гибкою веткою лесного хмеля; желтовато-зеленые шишки его перепутались с ее каштановыми, беспорядочно рассыпавшимися по плечам волосами и придают ей вид маленькой вакханки. Щеки ее пылают, и глаза так и искрятся.

«Да здравствует ее величество, цыганская королева!» — говорит брат Федя, насмешливо преклоняя перед ней колено.

Взглянув на нее, гувернантка тоже должна сознаться со вздохом, что она действительно более походит на цыганку, чем на благовоспитанную барышню. А если бы гувернантка знала только, как дорого дала бы в эту минуту сама Соня, чтоб вдруг превратиться в настоящую цыганку! Этот день в лесу пробудил в ее душе столько диких, кочевых инстинктов. Ей бы хотелось никогда не возвращаться домой, всю жизнь проводить в этом чудном, милом лесу. Сколько грез, сколько фантазий о дальних путешествиях, о небывалых приключениях роятся в ее голове. . .

Возвращение домой совершается в большой тишине. Нет теперь ни веселых криков, ни взрывов смеха, как поутру. Все устали, все присмирели и на всех нашло какое-то странное, почти торжественное настроение духа. Некоторые из девушек затянули песню, такую тихую и заунывную, что у Сони вдруг защемило сердце той странной беспричинной тоской, которая часто находит на нее после минут сильного возбуждения. Но в этой тоске столько своей собственной, своеобразной прелести, что она не променяла бы ее на шумную радость.

Вернувшись домой и лежа в своей кроватке, Соня, несмотря на усталость, долго не может уснуть. В каком-то лихорадочном состоянии между сном и бдением она все еще видит перед собою лес. Она видит его теперь, пожалуй, еще отчетливее, лучше схватывает общее очертание и в то же время яснее подмечает детали, чем днем, в действительности. Много разных мимолетных впечатлений, которые тогда только скользнули по ней, не дойдя вполне до ее сознания, теперь возвращаются живо и назойливо. Вот вырисовывается из темноты громадная муравьиная куча. Каждая еловая хвоя на ней выступает так рельефно, что Соня, кажется, могла бы ее приподнять. Хлопотливые муравьи тащат за собой белые яйца быстро и озабоченно, пока вдруг все куда-то не исчезают вместе с своей

кучей, а на место их появляется белый мягкий комочек, похожий на большой ком снега. Соня видит теперь, что он весь состоит из мелких, мелких паутинок, а в самой середине его чернеется темное пятнышко. Ей хочется схватить комок рукой, но не успела она это подумать, как черное пятнышко в середине приходит в быстрое движение и от него во все стороны рассыпаются черные точки, словно радиусы от центра к поверхности. Но это не точки, а черные крошечные паучки, которые все вдруг забегали и засуетились. Соня, действительно, нашла сегодня поутру такой странный комочек, но тогда она его почти не приметила, а вот теперь он представился ей так живо, как настоящий...

И долго ворочается в своей кроватке усталая Соня и все не может отвязаться от назойливых видений, пока не засыпает, наконец, тяжелым, свинцовым сном.

Этот лес, игравший такую роль в детских впечатлениях Сони, примыкал к их усадьбе с одной стороны; с другой же лежал сад, спускавшийся к озеру, а за ним тянулись поля и луга. Кое-где из зелени выглядывали небольшие деревушки, более похожие на норки животных, чем на селенья людей. Земля в Витебской губ. далеко не такая плодородная, как в черноземной полосе России и Малороссии. Белорусские крестьяне известны своей бедностью. Недаром же император Николай, проезжая однажды через эти места, назвал Белоруссию бедной красавицей, в противоположность Тамбовской губернии, которую он окрестил богатой купчихой.

Среди этой дикой, малонаселенной местности странно выступал Палибинский дом, с его массивными каменными стенами, с его причудливой архитектурой, с его террасами, окаймленными летом гирляндами роз, с его обширными оранжереями и парниками.

Летом было еще кое-какое оживление в крае, но зимою он весь как бы замирал и становился безлюдным. Снег заметал все дорожки сада и громадными сугробами накапливался к самому лесу. Куда ни глянешь, бывало, из окон, всегда белая безжизненная равнина. Часами не видно никого на большой дороге; кое-где протащатся по ней мужицкие дровни, запряженные тощей, заиндевевшей от холода клячонкой, потом опять долго-долго нет на ней признака жизни или движения, словно замерло все.

Волки подходили иногда по ночам совсем близко к дому.

Сидит, бывало, вся семья Круковских за вечерним чаем. В большой зале рядом зажжена хрустальная люстра, и пламя свечей весело отражается и множится в больших стенных зеркалах. Вдоль стен расставлена дорогая штофная мебель. Перед окнами причудливо вырисовываются большие разрезные листья пальм и других оранжерейных растений. По столам разбросаны книжки и иностранные журналы.

Чай уже отпит, но детей еще не услали спать.

Василий Васильевич курит трубку и раскладывает гранпасьянс. Елизавета Федоровна сидит за фортепьяно и разыгрывает сонату Бетховена

или романс Шумана. Анюта расхаживает взад и вперед по зале, уносясь воображением далеко, далеко от действительности. Она видит себя среди блестящего общества царицей бала...

Вдруг в дверях показывается Илья. Он молчит, но переминается с ноги на ногу — его всегдашняя привычка, когда он собирается сообщить что-нибудь особенное.

«Что тебе надо, Илья?» — окликает его, наконец, Василий Васильевич.

«Ничего-с, ваше превосходительство, — отвечает Илья с какой-то странной улыбкой. — Я пришел только доложить, что волков собралось много на нашем озере. Не полюбопытствуют ли господа послушать?»

При этом известии дети приходят, разумеется, в неописуемое волнение и умоляют, чтобы им позволили выйти на крыльцо. Выказав некоторые опасения, как бы они не простудились, отец, наконец, сдается на их просьбы. Детей одевают в теплые шубки, голову им обвязывают пуховым платком, и вот они выходят на террасу, сопровождаемые Ильей.

Чудная зимняя ночь. Мороз такой сильный, что дух захватывает. Хотя луны и нет, но все же светло от массы снега и от мириад звезд, которые, словно крупные гвозди, так и понатыканы по всему небу. Соне кажется, что она еще никогда не видела таких ярких звезд, как сегодня. Они словно перекидываются друг с дружкой лучами и каждая из них так удивительно мерцает, то вспыхнет вдруг ярко, то снова на мгновенье потускнеет.

Куда ни взглянешь — всюду снег, всюду целые массы, целые горы снега, который все прикрывает и все приравнивает. Ступенек террасы не видать совсем; не заметно даже, чтобы она возвышалась над остальным садом; теперь все превратилось в одну белую ровную равнину, незаметно сливающуюся с замерзшим озером.

Но всего удивительнее тишина в воздухе, глубокая, ничем не нарушимая. Дети стоят так несколько минут на крыльце, но все еще ничего не слышно. Ими начинает овладевать нетерпение. «Где же волки?» — спрашивают они.

«Присмирели что-то, как нарочно, — с досадой отвечает Илья. — Но обождите только, авось сейчас опять начнут».

И действительно, вдруг раздается протяжный, с переливами вой, ему тотчас же отвечает несколько других голосов, и вот теперь со стороны озера доносится хор, такой странный, такой неестественно заунывный, что сердце невольно сжимается.

«Вот, вот они, голубчики! — с торжеством восклицает Илья. — Запели свои песенки. И с чего это полюбилось им наше озеро? В ум не могу взять. Как ночь, так уж выходят они на него целыми десятками».

«Ну что, друг Полкан! — обращается он вдруг к общему любимцу, огромному водолазу, который тоже выскочил за детьми на крыльцо. — Не хочешь ли и ты к ним? Не желаешь ли ты присоединиться к ним и попробовать немного волчьих зубов?»

Но на собаку этот волчий концерт производит, по-видимому, страшное впечатление. Обычно такая бойкая и готовая всегда к драке, она теперь

прижимается к детям с опущенным хвостом, и весь вид ее выражает непреодолимый страх.

Детей тоже начинает угнетать этот своеобразный дикий хор. Они чувствуют, как их пронизывает нервная дрожь, и торопятся вернуться в теплую, уютную комнату.

⟨Кузен Мишель⟩[1]

Был конец мая. День склонялся к вечеру. Уроки все были кончены. Из открытых окон вносился в комнаты запах только что распустившихся роз, кусты которых гирляндой окружали верхнюю террасу сада. На большой дороге поднялось облако пыли, послышалось мычанье и блеянье: это пастух загоняет домой стадо. В людской раздаются зычные раскаты голоса ключницы Дарьи, встречающей по своему обыкновению бранью собирающихся к ужину работников.

Мало-помалу голоса унимаются. Из рощи за садом начинают доноситься звуки гармоники — обычное вес<елье> всех садов<ников>. Яркая полоса заката на западе постепенно бледнеет. С лугов подымается туман; черные тени ползут со всех сторон.

Я стою в верхней угольной комнате, с которой открывается вид на всю окрестность, и не спускаю глаз с большой дороги. Но с каждой минутой мой кругозор суживается, становится все трудней и трудней различать предметы.

Вся остальная семья тоже тут. В комнате совсем стемнело, трудно уже разглядеть лица. Только огонек папиной трубки вдруг внезапно вспыхивает ярко от его напряженного вдыхания и освещает на секунду его худое смуглое лицо, которое, когда он курит, всегда принимает особенно сосредоточенное, суровое, глубокомысленное выражение, и его худую, несколько сгорбленную фигуру в сером халате с генеральскими полосами.

О свечах все как будто забыли. Разговор совсем не клеится. Кто задумался, кто задремал. Стало совсем темно. Все молчат, и дружный металлический писк комаров сливается в один общий протяжный гул. Но вот стук открывшейся двери заставляет всех встрепенуться. Врасплох разбуженная левретка Гризи с негодующим лаем бросается навстречу вошедшему.

— Уже одиннадцатый час. Прикажете подавать ужин или будем еще ждать? — спросил появившийся в дверях Илья.

— Неужто уже так поздно! Должно быть они сегодня не приедут, — говорит, потягиваясь в кресле и подавляя легкий зевок, мама.

— Да, ждать больше нечего! Подавай ужин, — решает папа.

У меня падает сердце. Значит, на сегодня нет больше надежды. Придется так и отправиться спать, не дождавшись.

«А вдруг они и совсем не приедут и завтра. На место их кучер привезет письмо, что тетя раздумала, что что-нибудь помешало!» — проносится у меня в голове отчаянная мысль.

Мы ждем сегодня из Москвы тетю Маню с ее сыном, которые обещали провести у нас все лето. Впрочем, мы только так называем ее тетей, в сущности же она почти и не родственница, а просто вдова папиного двоюродного брата; я ее и не видала с самого детства; но так как она находилась в постоянной переписке с моими родителями, и я уже много наслышана о ней, то и мой 16-летний cousin Michel уже давно занимал мои мысли. Из тетиных писем нам всегда прочитывались вслух те места, которые касались его, а так как тетя только и жила для сына, то и в письмах ее ему отводилось немало места. В молодости тетя была гувернанткой, покойный дядя влюбился в нее и женился на ней наперекор всем своим родным, с которыми он даже перессорился из-за этого. Дядя был человек с большим состоянием и по рассказам — очень умный, но и очень взбалмошный.

Женившись и перессорившись со всей родней, он вышел в отставку из гвардии и пустился в предприятия. Выучившись самоучкой химии, он тотчас выдумал способ гнать водку из деревянных опилок; но вот какая вышла беда. Пока он работал в своей лаборатории, опыты удавались превосходно; лишь только он построил большой завод, ухлопав в него тысяч пятьдесят, водка вдруг заупрямилась и перестала идти. Дядя заупрямился тоже и решил во что бы то ни стало настоять на своем и заставить глупую водку вести себя, как ему хотелось. Водка упиралась, дядя горячился, делал все новые и новые усовершенствования в своем заводе, подписывал векселя, закладывал именья. Кто знает, чем бы кончилось дело, если бы вдруг в спор не вмешалась смерть и не прихлопнула дядю совсем внезапно, в самом разгаре его борьбы с водкой.

По смерти его тетя Маня очутилась не в блестящем положении. Завод стоит, именье заложено, кредиторы осаждают со всех сторон. Доброжелательная родня мужа участливо качает головой: «Чего ж и ожидать было от такого сумасброда, который на гувернантке женился!» У дяди оставалась в живых мать, властолюбивая старуха, у которой было свое довольно большое состояние. После женитьбы сына она, разозлившись, совсем прервала с ним сношения, но когда он умер, зашевелилось в ней родительское сердце, и решилась она внука к своим рукам прибрать. Она послала сказать невестке, пусть, дескать, перебирается немедленно к ней на житье с сыном. Сделав это предложение, старуха вместе со всеми окружавшими ее приживалками сама умилилась своему великодушию.

Привыкши к тому, чтобы все ее желания исполнялись немедленно, тотчас выслала она подводу за невесткой, отписав ей, чтоб она приезжала немедленно: «Вещей много не бери и с тряпками своими не возись. Приезжай как в чем есть».

Что невестка может не принять предложения, никому не входило в голову. Тетя Маня с молодости была известна как девушка кроткая, безобидная, всегда подчинявшаяся чужой воле. «Да что ж ей теперь и

делать-то осталось! Она за вас, сударыня, всю жизнь бога должна молить! Без вас пришлось бы ей с ребенком побираться по чужим людям!» — говорили приживалки. И вдруг, к общему consternation *, возвращается подвода без тети Мани. От нее только письмо, почтительное, но твердое. «Благодарю вас, маменька, за вашу доброту и ласку. Но должна я сперва в порядок дела покойного моего мужа привести, а что потом буду делать, еще не решила».

Прочитала это письмо старуха-бабушка, так разгневалась, что с досады в постель легла и три дня так, не вставая, и пролежала. На четвертый день встала, причесалась, оделась, как ни в чем не бывало, и велела, чтобы при ней никто про мерзавку и поминать не смел. Попробовала бабушка и в губернии хлопотать, и у предводителя дворянства, чтобы похлопотал, нельзя ли тетю Маню от опеки над сыном отставить. Но так как завещание покойного дяди, назначавшего жену полной опекуншей, было в порядке, то она в своих стараниях не успела и наговорила грубостей и дворянскому предводителю, и губернатору, и, рассорившись со всеми, так ни с чем и вернулась.

Тетя Маня между тем обнаружила энергию борьбы. Откуда у ней, бывшей гувернантки, кисейной барышни, вдруг нежданно-негаданно открылась практичность — бог ее знает. Во всяком случае, она повела свои дела так умно, как только возможно было при данных обстоятельствах.

Завод она тотчас закрыла, выхлопотала разрешение опеки продать именье и нашла выгодного покупателя; таким образом, по ликвидации всех счетов оказался у ней капитал тысяч в сорок. Тогда тетя объявила, что в наших краях оставаться не намерена, а переедет в Москву и будет там воспитывать сына.

Решение это тоже взволновало и привело в негодование всю родню. Опять начались толки и посыпались предсказания. «Захотелось молодой вдовушке мужа себе найти, вот почему ей в деревне не сидится», — говорили наиболее доброжелательные. Днем на людях бабушка крепилась и никогда, ни единым словом не упоминала про невестку и внука, как будто совсем забыла про их существование.

Между тем, ее верная наперсница Домна, угадывая тайные желания своей барыни, ревностно собирала все сплетни и по вечерам, лишь только оставалась с ней наедине и принималась расчесывать на ночь, тотчас, не ожидая расспросов, заводила разговор об интересном предмете и начинала докладывать все самые дикие слухи про «взбалмошную». «Вот погодите, скоро ухлопает она детские остатки, придется ей тогда гордость-то свою смирить и вам в ножки поклониться», — и этими словами непременно заканчивался ее доклад.

Бабушка набожно крестилась, клала несколько земных поклонов, прежде чем заснуть, долго ворочалась в постели, глубоко вздыхая, и, вероятно, в сновидениях часто видела исполнение Домниных предсказаний. Однако дни шли за днями, а наяву они не сбывались. Гордячка

* удивлению (*франц.*).

с повинной не являлась, катастрофы над ней не обрушивалось, замуж она вторично не выходила, а жила себе в Москве тихо и спокойно, вся уйдя, по-видимому, в воспитание сына.

К горечи несбывшихся ожиданий присоединился вскоре для бедной бабушки новый и еще более тяжелый удар — эмансипация. Тут уж она совсем утратила почву под ногами, увидела полное торжество злого принципа, возроптала на бога и, проскрипев немного, вскоре умерла. Внука она так и не видала. За несколько дней до своей смерти она уничтожила завещание, в котором было собиралась лишить его наследства. «Пусть уж все ихнее будет. Пусть торжествует Марья Степановна! Против рожна не пойдешь!» — проговорила она с горечью.

Однако после смерти бабушки тетя Маня все же решилась остаться в Москве и не захотела возвращаться в места, с которыми было связано у ней много тяжелых воспоминаний. Именье бабушки она отдала в аренду, поручив его надзору моего отца. Изо всех родственников своего покойного мужа она с ним одним оставалась в хороших отношениях, и он всегда обнаруживал к ней живое участие и восхвалял ее при всяком удобном случае. Переписывалась она с ним аккуратно, а нам, детям, всегда читались вслух те места из ее писем, где речь шла про ее сына. А так как сын этот составлял главный интерес ее существования, то понятно, что и в письмах ее ему отводилось немало места. Поэтому этот неизвестный мне cousin Michel издавна занимал мои мысли.

«Мы с Мишелем читаем это лето „Робинзон Крузо“, — писала тетя, — и он так увлекся этой книгой, что выдум‹ывает› сам такие же истории и в саду у нас в Сокольниках изображает из себя Робинзона. Он собственноручно, при небольшой только помощи кучера, смастерил себе шалаш из досок и вчера даже выпросил у меня позволение провести в нем всю ночь». Затем следовали подробности об этом шалаше, доказывающие, что тетя не менее сына увлекается этой игрой. Подробности эти привели меня в такой восторг, что и я тоже все это лето промечтала построить шалаш, но так как поддержки ни в ком из окружающих не встретила, то мечты мои так и остались мечтами.

«У Мишеля моего обнаруживается большой талант к рисованию, я думаю, из него выйдет живописец», — писала тетя. В подтверждение этих слов в одном из следующих писем была прислана нам головка акварелью его работы, которая показалась мне чудом искусства и которую я многократно потом принималась срисовывать.

Таким образом, благодаря тетиным письмам, я уже давно принимала участие во всех мелочах Мишелиной жизни.

«Слишком она возится со своим мальчишкой. Сделает она из него тряпку, маменькиного сынка», — ворчал иногда папа, читая эти длинные и восторженные описания всех Мишелиных гениальных выдумок. Но в моих глазах Мишель представлялся живым олицетворением всего гениального и талантливого, и каждая затея, каждое новое увлечение этого неизвестного мне cousin'а тотчас находили восторженный отголосок в моей душе.

Понятно поэтому, какую радость я ощутила, когда вдруг пришло известие, что тетя намерена на лето приехать в наши края, и так как дом в имении покойной бабушки давно пришел в запустение, то она проживет все лето у нас. Сегодня был день, назначенный для ее приезда. За два дня перед тем послали ей навстречу экипаж. С утра я уже была в волнении, несколько раз выбегала на большую дорогу, но вот уже и ночь настала, а тети все нет.

Мы сели ужинать. С большим разочарованьем на душе я уже собиралась идти спать, как вдруг на большой дороге вдалеке зазвучал колокольчик, сначала тихо, чуть слышно, видно лошади по причине темноты идут шагом; вот звон совершенно умолк. Так всегда бывает, когда экипаж заедет за лесистую горку на повороте дороги. (Я уже хорошо изучила звон почтовых колокольчиков, так как мимо нашего дома идет почтовая дорога. Сколько раз сегодня он возбуждал во мне напрасную надежду!) Но вот колокольчик опять зазвучал все громче, ближе, забористее. Слышно, как сворачивают с большой дороги к нам в аллею. Ямщик, видно, приударил по лошадям. Теперь уже нет сомнения. Еще одна минута, и звон внезапно обрывается. Экипаж остановился у крыльца. Теперь, когда настала минута увидать моего cousin'a, о котором я так много мечтала, на меня вдруг напала робость. Я не побежала вместе с другими вниз встречать гостей, а продолжала стоять у чайного стола на месте, машинально и в каком-то странном смущении. Снизу слышатся веселые голоса, приветствия, расспросы, звуки поцелуев. Вот, наконец, все входят в комнату. Тетя, высокая стройная женщина, вся в черном, с черной кружевной косыночкой на каштановых волосах, удивительно моложава. Ее гибкая фигура так, кажется, и гнется при каждом ее движении. На ее продолговатом бледном лице разлито выражение удивительной ласки и нежности.

— Здравствуй, Соня, — обращается она ко мне, голос у нее певучий и говорит она, растягивая слова. Тонкие пальцы ее длинных белых рук с ласкою проходят по моим волосам, и бриллиантовое кольцо слегка царапает мне ухо. Я сразу чувствую наплыв нежности к этой милой, незнакомой мне еще тете.

Мишель высокий, довольно полный молодой человек, которому идет уже семнадцатый год (он года на полтора старше меня). Одет он уже не как мальчик, но и не совсем еще как взрослый, в какой-то фантастический костюм — черная бархатная куртка с отложным полуворотником и нанковые панталоны. Он походит на юного художника. Каштановые довольно длинные волосы с пробором на боку подымают живописные вихры над широким белым лбом и затем спускаются мягкими прядками до шеи. Лицо румяное и округленное. Пушок уже заметно оттеняет верхнюю губу. Глаза темно-голубые с густыми черными ресницами, как у матери, имеют такое задумчивое, томное, покорно-ласковое выражение, которое кажется даже странным, неуместным в этом еще почти детском лице. Мишель, очевидно, находится теперь в том неприятном переходном воз-

расте — и от маленьких уже отстал и к большим еще не пристал, и сам, очевидно, конфузится этого своего переходного состояния.

Вообще он говорит мало и держит себя как-то принужденно и натянуто; привыкший всегда быть предметом обожания своего маленького домашнего кружка, он испытывает неприятную конфузливость, попав в незнакомое общество, где ему кажется, что все его считают за мальчика. А тут еще папа подливает масла в огонь.

— Ну что, перешел в шестой класс гимназии? — спрашивает он. Вопрос этот остается без ответа, но по напряженному, натянутому молчанию, которое за ним следует, и по выражению лиц и тети и Мишеля видно, что папа попал прямо в больное место.

— Ну так как же, можно тебя поздравить? — немилосердно, как будто ничего и не замечая, продолжает свой допрос папа.

— Я провалился, — с виду холодно, но с легкой дрожью в голосе объявляет как можно хладнокровнее Мишель.

Папа делает вид, как будто этот ответ совсем для него неожидан.

— Как же это так, братец? — говорит он, оттопыривая немножко вперед верхнюю губу. — При твоих-то способностях да провалиться! Когда ж ты это в университет поступишь!

— Я совсем не поступлю в университет. Я пойду в Академию художеств и буду живописцем, — объявляет с решительным видом Мишель.

— Те-те-те! Вот новости! Славная, обеспеченная карьера — нечего сказать. Долго еще, видно, будешь у матери на шее сидеть! — говорит папа.

— Не из-за денег же одних жить. Есть и другие цели на свете, — задорчиво отвечает Мишель.

Тетя Маня, с глазами, полными слез, переводит умоляющие взгляды со своего сына на моего отца. Разговор этот очень для нее тяжел и касается очень больного для нее места. Дело в том, что она, по обвинению папы и всех других родственников, намудрила со своим мальчиком. Она так боялась для него всяких вредных влияний, что решилась как можно дольше держать его дома, не посылать его в гимназию, а при помощи разных учителей готовить его прямо в университет.

Вначале все шло превосходно. Мишель обнаружил большую развитость, делал быстрые успехи. Раз в год разные тетины друзья и приятели из учителей и педагогов устраивали род домашних экзаменов, на которых всегда обнаруживалось, что познания Мишеля по всем отраслям значительно превосходят познания его сверстников.

Но, увы, пришло, наконец, время, когда уже дольше держать Мишеля было невозможно и пришлось отдавать в гимназию. Оказалось вдруг, что познания эти неровны, что, обладая большими знаниями по одному предмету, он совсем плох по другим. Особенно математика ему не давалась. На первом же публичном экзамене, который ему пришлось держать, он провалился блистательно. Для мальчика самолюбивого, взросшего на одних похвалах, это было страшным ударом и как-то сразу отбило у него всякую охоту к занятиям.

Одну зиму он еще поработал кое-как, но от излишнего ли волнения, от непривычки ли отвечать публично на следующих приемных экзаменах опять срезался. Тогда он объявил матери, что ни за что не пойдет в университет, а сделается художником. Это решение страшно огорчило бедную тетю Маню, для которой жизнь всякого художника представлялась цепью безумных, таинственных соблазнов, кутежей и опасностей. Собьется он с пути, увлечется фантазиями, как увлекся его отец, кончит так же, как и он! «И я, я одна всему виною. Не сумела удержать мужа, не сумею удержать и сына!» — с отчаянием повторяла себе бедная женщина, проводя целые ночи без сна.

Как ни тяжело ей было признаваться в своей ошибке моему отцу, который и прежде всегда осуждал ее за желание дать исключительное воспитание сыну, она все же решилась переломить себя и обратилась к нему за советом. С этою целью главным образом и приехала она к нам на лето.

— Что мне делать, что мне делать? — повторяла она теперь по уходе Мишеля из комнаты, обращая к моему отцу свои красивые голубые глаза, полные слез.

— Плакать и отчаиваться незачем. Надо за лето поучить его толково, не по-бабьи, как учили его до сих пор, — очень резонно заметил мой отец.

Было решено, что наш поляк-учитель, обладавший очень большой педагогической опытностью, уже подготовивший на своем веку немало учеников к поступлению, возьмется готовить и Мишеля к поступлению в 7-й класс гимназии. Решение это и на мою судьбу имело большое влияние.

Мишель, оскорбленный вчерашним разговором с моим отцом, сначала и слышать не хотел о том, чтобы брать уроки у Малевича.

— Я бы, может, учился и один, если бы хотел. Дело все в том, что я не желаю поступать в ваш университет, из которого выходят чиновники да адвокаты. Я хочу быть художником, — твердил он самоуверенно.

На следующее утро между ним и матерью вышла страшная сцена. Тетя Маня пустила в ход и слезы и упреки.

— Ты меня не любишь. Ты хочешь меня убить, — твердила она, рыдая.

— Вы хотите насиловать мое призвание ходячими предметами, — патетически твердил Мишель, тоже со слезами в голосе.

Кончилась сцена объятиями и поцелуями. Мишель согласился брать уроки у Малевича, но только под условием, что если осенью ему все же не посчастливится выдержать экзамен, то мать уже не будет противиться его артистическому призванию, а отпустит его за границу, в Мюнхен, учиться живописи у одного известного там художника. Теперь вопрос о том, выдержит ли Мишель осенью экзамен или нет, был, следовательно, роковым вопросом для тети Мани.

Видя в Малевиче якорь спасения для своего Мишеля, она стала окружать его самою изысканной при‹ветливостью›, такой заботой, таким вниманием, которые всецело завоевали сердце старого холостяка, весьма чувствительное к обаянию женской ласки. Малевич напрягал все уменье

и способности, чтобы переложить собственные знания в голову ученика.

Но, несмотря на все его усердие, дело все же шло плохо. Особенно солоно приходились бедному Малевичу уроки математики. Мишель обнаруживал решительное parti pris* ничего не понимать. В красивых, раз навсегда заученных выражениях, с педагогической отчетливостью докажет, бывало, Малевич какую-нибудь теорему. Мишель выслушает его, по-видимому, внимательно, но когда он кончит, вдруг спросит с невозмутимым хладнокровием:

— А что же все это доказывает?

— Как что доказывает? — закипятится Малевич. — Да разве вы не слышали? — И повторит еще раз все. — И так как A = B, если мы отымем A от B, из чего следует... — выкрикивает он, наконец, торжествующе.

— Нет, позвольте, вовсе этого не следует... — перебивает Мишель. — Хотите, я вам сейчас же докажу совсем обратное. — И начнет он, бывало, нести чепуху в ученых выражениях, подражая и тону и манере Малевича, но так замысловато, что бедный сбитый с толку преподаватель не сразу заметит, где тут погрешность, и только в негодовании разводит руками.

— Очевидно Мишель не хочет понимать! — объявил он, наконец, тете Мане печально.

Тетя Маня должна была согласиться с этим, но все же просила Малевича не унывать и продолжать уроки. Чтобы поддержать рвение и в ученике, и в особенности в учителе, решилась она сама присутствовать на этих несчастных уроках математики. Но так как она в науке этой, разумеется, ровно ничего не смыслила, то дело от ее присутствия пошло не только не лучше, но, пожалуй, еще и хуже.

— Кажется, ясно, — говорит, бывало, Малевич.

— Ничуть не ясно. Видите, и мама — и та ничего не поняла, — убежденным голосом отвечает Мишель.

Тетя Маня пробует уверить, что для нее все совсем ясно, но Мишель тотчас же уличает ее во лжи, и бедный Малевич остается оконфуженным. Он бы, разумеется, давно отказался от этих уроков, если бы у тети не было таких прекрасных синих глаз, которыми она глядела на него так умоляюще и беспомощно.

После долгих размышлений Малевич придумал новое средство заставить Мишеля учиться. «Он мальчик способный и самолюбивый. Если бы он учился вместе с товарищем, он бы постыдился из себя дурака корчить», — сказал он. Таким образом, было решено взять для Мишеля товарища и, за неимением лучшего, выбор пал на меня.

Я всегда училась отлично и всю арифметику прошла без малейшего труда. Когда тетя, позвав меня к себе, обняла меня своими мягкими белыми руками и своим нежным, вкрадчивым голосом предложила мне учиться вместе с ее Мишелем, чтобы доказать ему, что даже девочка сможет легко понять такие вещи, каких он не понимает, я с первого же

* намерение (*франц.*).

ее слова с восторгом согласилась на ее предложение. Мишель, со своей стороны, только плечами пожал, когда ему объявили, что он будет иметь меня товарищем по урокам математики. С первого же нашего общего урока, однако, оказалось, что выдумка Малевича была как нельзя более хитроумна. Мишель сразу переменил тактику.

— Кто же таких пустяков не понимает! — говорил он теперь пренебрежительно после каждого объяснения Малевича, чтобы не дать мне заважничать тем, что я лучше его по знаниям.

Я, со своей стороны, напрягала, разумеется, все усилия, чтобы быть на высоте возложенной на меня миссии. Таким образом, дело пошло совсем по-иному, и за лето мы как ни в чем не бывало прошли элементы алгебры и геометрии.

Эти совместные уроки, разумеется, очень сблизили меня с Мишелем. В первые дни по его приезде отношения наши были натянутые и принужденные. Меня-то, разумеется, тянуло к моему большому cousin, но я так ясно чувствовала, что в его глазах я совсем ничтожная, неинтересная для него девочка, что невольно робела от этого сознания и не знала, как к нему подступить. Теперь же все это переменилось. Хотя Мишель и обнаруживал на словах презрение к математике и уверял, что до сих пор не учился ей потому, что не хотел, одно очевидно было, что те способности и та легкость понимания, какие я обнаружила во время наших уроков, все же ему импонировали, и хотя он по внешности даже усилил некоторую суровость в обращении со мной, чтобы не дать мне зазнаться, однако было ясно, что я все же значительно выросла в его глазах благодаря этим урокам.

Бо́льшую часть дня мы проводили теперь вместе. Новая гувернантка-швейцарка, заменившая англичанку, была сентиментальная, но весьма миролюбивая и незлобивая старая дева, лелеявшая в сердце лишь одну мечту: скопить достаточно денег, чтобы на старости лет вернуться в родную Швейцарию. Что бы ни встречалось ей по пути здесь, на чужбине, ничего она близко к сердцу не принимала. С первых же дней ее поступления к нам обнаружилось очень ясно, как мало общего между ней и ее четырнадцатилетнею воспитанницею, мало походившей на тех благовоспитанных барышень, с которыми ей прежде приходилось иметь дело. Поэтому после первых слабых попыток она раз навсегда отказалась от мысли приобрести на меня какое-либо нравственное влияние.

Она требовала только, чтобы я часа два в день занималась с нею французским языком, выучивала наизусть длинные монологи из Расина и Корнеля, по вечерам читала ей вслух две-три страницы библии и, кроме того, терпеливо выслушивала бы ее замечания о моих манерах и длинные рассказы о тех князе, княгине и княжнах Мильжинских, у которых она жила, прежде чем поступить к нам. К этому сводились все мои обязанности. Во всем остальном она предоставляла мне почти полную свободу.

По вечерам мы часто делали с Мишелем длинные прогулки и иногда даже решались углубляться одни в лес. Однажды мы забрели особенно

далеко. День был душный, и в воздухе парило. Но мы так увлеклись разговором, что и не замечали жары. Омахивая себя своей широкополой соломенной шляпой, Мишель бодро шагал, развивая передо мной целый ряд картин и образов. Благодаря своему одинокому, исключительному воспитанию Мишель мало походил на других юношей его лет. Он читал очень много и без разбора, что ни попадалось в его руки, увлекался предметами самыми разнородными, успел уже много передумать, но до сих пор, кроме матери, ни с кем не делился своими мыслями и для восемнадцатилетнего мальчика был замечательно чист и далек от жизни, молод. Молодых людей своих лет он дичился, в присутствии взрослых мужчин на него находила досадливая робость и страх, чтобы они не сочли его за мальчика. С женщинами он, в сущности, чувствовал себя ловчее и проще, чем с мужчинами, и скорее с ними сходился; но в доме своей матери он имел случай видеть лишь старых, совсем неинтересных женщин.

Я была его первым товарищем, и, уж, право, могу похвалиться, таким товарищем, лучше какого и пожелать нельзя, всегда готовым выслушивать его монологи, понимающим его на полслове и моментально воспламеняющимся всем, что его самого занимало. Как такого товарища Мишель очень ценил меня, хотя, как я уже сказала, обращался со мной несколько сурово и всегда делал вид, что снисходит ко мне, что, если гуляет или разговаривает со мной, то делает это исключительно для моего удовольствия. О какой-либо галантности в его отношениях ко мне не было и помину.

Мишель о любви имел понятие очень выспренное и возвышенное. Он верил, что где-то существует она — образец всех совершенств.

Говоря о женском поле, в разговорах со мной он высказывал взгляды весьма скептические и разочарованные. Не менее презрительно относился он к браку и к буржуазному счастью. Вследствие всех наших разговоров на этот счет я была глубоко проникнута убеждением, что уж если Мишель когда-нибудь влюбится, то это будет существо идеальное, прекрасное, не похожее ни на одну из тех девушек, каких я знала в действительности. Сам Мишель был, кажется, того же убеждения. Вообще грех было бы сказать, чтобы своими ожиданиями от жизни он выказывал слишком много скромности. Он твердо и наивно верил, что совершит нечто великое и прекрасное; в чем это великое будет состоять — решить еще не успел. Зато уверенность в том будущем, которое неизбежно принесет ему судьба, была в нем так велика, что, я думаю, если бы дьявол взвел его на высокую гору и показал бы ему все человеческие доли, какие ни существовали с начала мира, и сказал ему: выбирай любую, — пожалуй, что он не взял бы ни одну из них, из боязни продешевить, из убеждения, что его собственная, еще задернутая до поры до времени таинственная доля будет лучше и прекраснее всех других.

Чаще даже, чем о любви, толковали мы с ним о его будущей карьере.

— Это все пустяки, что мама пристает с экзаменом, — самоуверенно говорил мне Мишель. — Пойду ли я в университет или сделаюсь художником — в сущности, это все равно. Я сам знаю, что теперь не время для

процветания художников. Наш век имеет другие, более серьезные задачи. Да, признаюсь тебе, и живопись, как и всякая другая узкая специальность, не в состоянии бы была удовлетворить меня. Но ведь не в этом совсем дело. Люди так глупы, что им всегда нужна какая-нибудь кличка, вот Петр, мол, кузнец, а Иван — сапожник. Ну, так в угоду дуракам, я и возьму себе кличку — художника или адвоката — все равно, какую с меньшей затратой сил приобрести себе можно будет. Для меня это, во всяком случае, будет только кличка, а цель моя не в том — приобрести влияние на людей, m'imposer à mon siècle *, поработить себе массы и ввести человечество на новую дорогу — вот стоит так жить.

В это время только появился по-русски перевод Шпильгагенского романа «Один в поле не воин» и романа ...[2]

Воспоминания из времени польского восстания

5-е сентября было большим праздником в нашей семье; в этот день были именины моей матери, и их всегда праздновали с большой пышностью. Мы жили в Литве, где у отца было большое именье и где он уже несколько лет был предводителем дворянства. Вышеуказанное число было хорошо известно во всем округе, и все наши соседи — старые и молодые, богатые и бедные считали своим непременным долгом в этот день явиться к генеральше с поздравлением.

В России, этой стране больших расстояний, понятие «соседство» имеет очень обширное значение. Если вы выедете из дома утром на хорошей тройке и, усердно нахлестывая лошадей, доберетесь до другого помещика раньше наступления темноты, то оба считаются соседями и обязаны поздравлять друг друга и желать один другому счастья и благополучия при всех именинах, рождениях и других торжественных днях в их семействах. В такие дни приглашения не рассылаются — друзья и соседи должны ведь сами их помнить. И еще одно разумеется само собой, а именно — что лишь самые ближайшие соседи могут уехать в тот же день, большинство же останутся ночевать; да и не на одну ночь, а часто и на две. Можно представить себе, что делается в доме русского помещика при таких широких понятиях соседства и гостеприимства накануне такого праздника!

Уже давно откармливалось изрядное количество быков, поросят и птицы для заклания в день праздника; теперь же надо подумать и о том, где устроить ночлег для всех гостей. Хуже всего то, что никогда заранее не знаешь, сколько именно гостей явится. Как ни раздумывай и как ни будь предусмотрителен, всегда в последнюю минуту явятся гости, которых не предвидели, и надо быть готовым принять их. За исключением большой столовой и гостиной, все другие комнаты превращаются в спальни.

* войти в век (*франц.*).

Члены семьи скучиваются в одной или двух каморках, предоставляя свои комнаты гостям. И все же лишь самым старшим и почитаемым из последних можно предложить роскошь спать на настоящих кроватях; всех молодых девушек втискивают в одну комнату и устраивают им постели на диванах и просто на стульях, где они все же прекрасно спят, а молодые люди должны удовлетвориться соломенными тюфяками, положенными на пол. Все эти отступления от обычных удобств предвидятся гостями заранее и составляют часть тех удовольствий, на которые они имеют право рассчитывать, отправляясь на семейный праздник у помещика.

Но, кроме всех этих материальных забот, нас обременяли перед пятым сентября и другие, более духовного свойства. Каждый год мы придумывали что-нибудь особенное в честь великого дня — то фейерверк, то живые картины, то, и это было всего чаще, любительский спектакль. В нашем доме целый флигель большого здания был отведен для театра, с настоящей сценой, декорациями и занавесью. Одних членов семьи обычно не хватало для исполнения всей пьесы и приходилось прибегать к ближайшим соседям, никогда не отказывавшимся помочь своими талантами. Во всей округе не было других разговоров, как о приготовлениях к нашему празднеству.

Все радовались небольшому отступлению от обычного однообразия деревенской жизни, и время перед 5 сентября считалось самым веселым в году. С утра до вечера в доме слышались веселые голоса и взрывы смеха.

Но в 1865 году все было не так, как всегда. Польское восстание лишь недавно было подавлено и последствия этого чувствовались во всей Литве.

Та часть Литвы, где было расположено имение моего отца, находилась на границе с Россией, и население там было очень смешанным. Крестьяне официально принадлежали к православной церкви, но на самом деле были членами различных религиозных сект, более или менее преследуемых правительством; они говорили на ломаном русском языке, почти непонятном для приезжающих из Москвы или внутренних губерний России. Помещики, дворяне почти все были поляками, и не было почти ни одной семьи, которая не оплакивала бы какого-нибудь родственника, погибшего во время восстания. Многие из них сами принимали в нем деятельное участие и либо погибли на поле битвы, либо подверглись суду и были сосланы в Сибирь. Другие не избежали этой судьбы посредством бегства в эмиграцию. Их имения сначала разорялись крестьянами, а затем конфисковывались правительством, которое или раздавало их тем военным, которые выказали особенное усердие в подавлении восстания, или продавало с аукциона, где их покупали евреи или богатые выскочки.

Даже наименее скомпрометированные среди польских помещиков рассматривались русским правительством как подозрительный элемент и постепенно разорялись бесчисленными контрибуциями, наложенными на них в виде меры предосторожности.

Страх и отчаяние охватили все эти семейства, но никто не решался

обнаружить свои истинные чувства из опасения быть обвиненным в преступных симпатиях. Приходилось, наоборот, казаться веселым и довольным, чтобы ясно было, с каким восторгом данное лицо приветствовало подавление восстания и восстановление порядка. Всего ужаснее было то, что почти в каждом семействе были свои домашние шпионы — слуги из прежних крепостных, сохранившие злобу к своим бывшим господам и с радостью предавшие бы их при малейшем предлоге. Господа чувствовали, что их ненавидят и за ними наблюдают каждую минуту как днем, так и ночью; но горе тем, которые хотели бы избавиться от этих мучений, уволив слишком дерзкого и нахального слугу. Последнему слишком легко было бы теперь отомстить своему прежнему господину.

Положение моего отца при этих обстоятельствах было далеко не завидным. Он, правда, не принимал ни прямого, ни косвенного участия в самом восстании, в успех которого он не верил. Он считал, что восстание было делом исключительно одной политической партии, именно дворянской, а вся масса населения (крестьяне и мещане) была к нему совершенно равнодушна или даже враждебно настроена. Его мать была русской, и сам он по своим склонностям был наполовину русским, тем более, что он большую часть своей жизни провел в России и с ранней молодости служил в царской армии. Все это должно было оградить его от подозрений, но он все же был польского происхождения, и этого было достаточно, чтобы он считался подозрительным. Его положение в качестве предводителя дворянства, а следовательно, представителя подозрительного теперь класса, считалось тоже опасным. Все его коллеги в соседних губерниях пали первыми жертвами при восстановлении порядка. Он был единственным, счастливо избегшим этой судьбы. Но положение его было далеко не покойным, тем более, что он твердо решил не относиться к правительству с трусливой покорностью, а защищать интересы своих выборщиков до последней степени. К довершению несчастья, во всей округе у него было много завистников.

Можно себе представить, в каком настроении мы готовились в этом году к празднованию 5 сентября! Всем было настолько известно, что мы всегда празднуем этот день, что власти сочли бы политической демонстрацией, если бы празднества в этом году не было. Поэтому было необходимо, чтобы праздник казался таким же оживленным и блестящим, как обычно.

Особенно было неприятно, что знаменитый Муравьев («вешатель», как он был назван в истории) был назначен генерал-губернатором Литвы и облечен царем безграничной властью. Первым его мероприятием было уволить всех гражданских администраторов и заменить их военными, ответственными лишь перед ним чинами. Каждый из них становился, в свою очередь, маленьким тираном, который de facto, если и не de jure, мог располагать жизнью, свободой и имуществом жителей во вверенной ему области. Эти военные начальники были большею частью совершенно бессовестными людьми, настоящими бандитами, твердо решившими воспользоваться необыкновенным представившимся случаем, чтобы

быстро сделать карьеру. Русское общество, хотя и не решалось выступить открыто, было в такой степени настроено против Муравьева, что ни один человек, обладающий малейшим самоуважением, не хотел служить под его началом. «Прислужники Муравьева» и «палачи» были почти равнозначащими понятиями. В Петербурге вообще не считалось особенно почетным, если человек принимал участие в подавлении польского восстания. Среди высших офицеров называли многих, потребовавших отставки и бесповоротно испортивших свою карьеру, когда гвардия получила приказание двинуться в Польшу. Другие, и их было большинство, принимавшие участие в подавлении восстания с оружием в руках, уклонялись от роли палачей в мирное время в завоеванном и подавленном крае. Одним словом, Муравьеву приходилось в поисках помощников обращаться к военным низших рангов, к людям, потерявшим всякое моральное чувство и готовым на все, что угодно, лишь бы возвыситься. Можно представить себе, как эти лица использовали безграничную власть, попавшую в их руки!

Полковник Яковлев, ставший военным начальником нашей области, принадлежал именно к такому типу. За немногие месяцы своей службы он заслужил всеобщую ненависть. Конечно, его слишком боялись, чтобы открыто возмущаться им, но между собой рассказывали о нем самые ужасные истории, и не было такого преступления, в котором бы его не обвиняли.

До сих пор сношения моего отца с ним были чисто официальными, и отец искусно сумел избежать необходимости принимать Яковлева у себя дома. Но перед 5 сентября полковник дал знать моим родителям, что он в этот день не преминет явиться к ним, чтобы самому принести свои поздравления госпоже генеральше.

Получив это известие, моя мать начала громко возмущаться. Она нисколько не интересовалась политикой и во время восстания держалась совершенно нейтрально, не принимая сторону ни русских, ни поляков. Но, прямая и чувствительная по своей природе, она возмущалась всяким проявлением жестокости и деспотизма и ей сильно претило принять в своем доме такое лицо, как Яковлев, которого обвиняли во всевозможных преступлениях. Моему отцу стоило величайших усилий убедить ее в том, что было бы чистейшим безумием и могло бы привести к самым тяжелым последствиям для нас всех, если бы он в своем положении отказался принять Яковлева в своем доме. Моя мать наконец уступила и обещала оказать полковнику все внешние знаки вежливости.

Но другое лицо в нашем доме, а именно я, не так легко подчинилось требованиям благоразумия. Мои самые горячие симпатии были на стороне побежденных и преследуемых.

В нашей семье, как и в большинстве семейств, живущих у границы, существовали две противоположные и враждебные партии — русская и польская. Моя мать, как уже было сказано, держалась нейтралитета; мой отец из благоразумия не высказывал своих взглядов и строго запретил все разговоры о политике как во время общих трапез, так и вообще во

время семейных бесед. В его присутствии все остерегались затрагивать эту тему. Но каждый из членов семьи имел свои определенные взгляды и симпатии в русско-польском вопросе, и как только мой отец поворачивал спину, возникали горячие дебаты, касающиеся запретной темы — политики.

Антипольский элемент имел своего представителя в лице моей гувернантки. Она безгранично преклонялась перед царем — «освободителем рабов», и каждый, осмеливающийся противиться его приказаниям, был в ее глазах преступником, не заслуживающим сожаления. Кроме того, у нее была инстинктивная нелюбовь к польскому национальному характеру. «Все они представляют шайку лживых и бессовестных обманщиков, — часто заявляла она. — Стоит только почитать их историю — вся она состоит из заговоров и обманов. Сами они требуют себе свободы, но первые угнетают других. Никто хуже их не пользовался правом господ, чем поляки. Все они — подлая шайка и, по моему мнению, наш добрый царь слишком мягок к ним!»

Одним словом, с ней было невозможно рассуждать по этому предмету. Из всего, что происходило вокруг нас, она выбирала только то, что хотела видеть и слышать. Даже полковник Яковлев заслуживал, по ее мнению, снисхождения, и она упрямо отказывалась верить ходящим о нем слухам, утверждая, что они сочинены поляками.

Представителем противоположной партии был домашний учитель моего брата — поляк. Между ним и гувернанткой всегда была тайная вражда, и я сильно подозреваю, что именно он был причиной той ненависти, которую питала гувернантка к польскому народу. С той способностью к обобщениям, в которой, к сожалению, так часто обвиняют нас, женщин, она составила себе взгляд о всей нации на основании одного представителя ее, всегда бывшего перед ее глазами, и именно его она всегда имела в виду, нападая на поляков и говоря об их стремлении нарушать права русских.

Учитель, со своей стороны, далеко не так страстно защищал свое дело; он поступал совсем иным образом. Он был очень осторожен, тщательно выбирал свои слова и никогда не отвечал гувернантке на ее часто оскорбительные нападки. Он никогда не позволил себе оскорблять русских, но когда мы иногда оставались с ним наедине, он начинал, как бы случайно, говорить со мной о Польше и ее бывшем величии; он говорил также об истории моей семьи и о нашем польском происхождении.

Как хорошо я помню эти беседы! Обычно они происходили по вечерам в библиотеке. Последняя представляла собой большую комнату с темными занавесями и темными обоями, большими книжными шкафами вдоль стен и высоким камином из серого мрамора, занимающим целый угол. Не было другого места, где бы так приятно было сидеть и разговаривать, в особенности когда в камине пылал яркий огонь, многократно отражаясь в стеклянных дверях книжных шкафов. После окончания уроков с моим братом учитель охотнее всего находился в этой комнате, где он добровольно взял на себя обязанность привести в порядок и составить каталог

на стоявшие там старые книги; здесь я и старалась найти его каждый раз, когда мне удавалось ускользнуть от бдительного надзора гувернантки, недовольной предпочтением, которое я ему оказывала. Прибежавши туда, я забиралась в большое кресло и могла бы сидеть там часами, без устали слушая рассказы учителя о «нашей горячо любимой матери» — как он называл Польшу.

По мере того, как он говорил, перед моими глазами развертывались картины былого великолепия, царившего при польском королевском дворе — наиболее блестящем, веселом и рыцарском дворе во всей Европе. Мне казалось, что я вижу знаменитый «золотой зал», где происходили коронации; в своем воображении я присутствовала на придворных балах и участвовала в величественной и страстной мазурке, выражающей каждым своим туром то поклонение, которое рыцарь посвящает своей даме сердца. А как я восторгалась историей о прекрасной королеве Ванде! Красота простой деревенской девушки Ванды покорила молодого короля Сигизмунда, который избрал ее себе в супруги. Гордые дворяне возмутились этим позорным мезальянсом. Но когда прекрасная Ванда в своем белом длинном одеянии и с распущенными волосами под руку с королем вступила в золотой зал, то все гордые господа, еще за мгновение до этого проклинавшие ее имя, упали на колени, покоренные могуществом ее красоты, и единодушно приветствовали ее как свою королеву.

Рассказав мне про былое величие, учитель начинал в трогательных выражениях рассказывать о теперешних несчастьях Польши. Он приводил также факты мужества и геройства, проявлявшиеся юношами и мальчиками 12—13 лет в последнюю войну за освобождение. Когда же я едва удерживала слезы от возбуждения, он указывал мне на фамильное древо, украшавшее одну из стен библиотеки, и говорил, что я тоже имею право на доблестное польское имя.

Хотя учитель никогда не брал с меня слово молчать об этих разговорах, но я инстинктивно понимала, что я не должна никому о них говорить, а он, видя это, становился со мной все более откровенным. Однажды я попросила его научить меня польскому языку, которого я, к своему стыду, совсем не знала, так как у нас в семье говорили только по-русски, английски и французски. Учитель охотно согласился, и уроки начались, но без всякой договоренности между собой мы держали их в секрете.

Благодаря своему энтузиазму я быстро усваивала себе польский язык и скоро могла читать вдохновенные стихи Мицкевича и Красинского, приводившие меня в полный восторг.

Моя гувернантка строго мне запрещала читать газеты, которые она не находила подходящим чтением для одиннадцатилетней девочки, но я не слушалась ее запрета. Путем всевозможных ухищрений мне всегда удавалось достать те номера газеты, в которых были последние известия о подлых выходках русской армии по отношению к восставшим. Мой отец обычно оставлял вечером все газеты на столе в столовой, отделенной от нашей спальни тремя большими комнатами. Ночью я иногда, после того, как моя гувернантка крепко заснет, выскальзывала из своей постели и

босиком, в одной рубашке, бежала доставать их в столовой, а затем жадно поглощала при свете небольшой лампадки, горевшей перед иконами. Я горько плакала, читая о поражении инсургентов, особенно узнав, что среди убитых и раненых были и дети, лишь немногим старше меня. Как я восхищалась этими героями и как я им завидовала! Была бы я немного постарше, меня едва ли смогли бы удержать дома.

Было еще одно обстоятельство, поддерживавшее мою преданность делу Польши. Среди наших соседей был молодой помещик — пан Буйницкий; молодой, богатый, красивый и всегда готовый рисковать своей жизнью, он представлял совершенный тип польского дворянина. Он прежде часто бывал в нашем доме, и досужие сплетницы в округе уже прочили его в женихи моей старшей сестре. Однако польское восстание положило конец всем таким планам. Пан Буйницкий был пламенным патриотом и в самом начале восстания несколько раз вступал в горячие споры с моим отцом относительно Польши. Поняв, что их политические взгляды никогда не сойдутся, он прекратил свои частые посещения нашего дома, хотя иногда все же приезжал с визитом. Но он ясно давал понять, что приезжал только из вежливости, и что ничего не может быть общего между ляхом и москалями.

Единственный член нашего дома, к которому он сохранял прежнюю дружбу, был учитель, и я почти убеждена, что приезжал он главным образом ради него. В присутствии других они почти не разговаривали, но как только оставались одни, их беседа сейчас же переходила на предмет, лежавший им обоим ближе всего к сердцу. Я однажды присутствовала при их беседе. Она велась на польском языке, но я теперь уже понимала его и не упустила ни одного слова.

Учитель сообщал пану Буйницкому содержание письма, полученного им из Варшавы, в котором рассказывалось о жестокостях, совершавшихся русскими солдатами по отношению к полякам. Пан Буйницкий во время речи учителя становился все беспокойнее; несколько раз он бросал на него многозначительные взгляды, указывая ему на меня и как бы упрекая его за то, что он так свободно высказывается в присутствии ребенка. Наконец, видя, что учитель как будто ничего не понимает, пан Буйницкий спросил, не лучше ли им отложить этот разговор до другого раза.

«О, мы спокойно можем говорить в присутствии Сони, — ответил учитель с улыбкой, — я ручаюсь за нее, как за самого себя. Ей можно услышать про страдания наших земляков, так как она достойная дочь своих предков и в груди ее бьется мужественное польское сердечко».

Ах, как горда я была, услышав эти слова, и как много могла бы преодолеть, чтобы лучше их заслужить! Пан Буйницкий повернулся ко мне, серьезно, как взрослой, протянул мне руку и сказал: «Я рад, что нашел сестру!».

С этого дня его обращение со мной совершенно переменилось. Он не относился уже ко мне как к маленькой девочке, а как к взрослой барышне, и оказывал мне всю ту почтительную нежность, которая составляет тайну обращения поляков.

Ему, правда, редко приходилось перекинуться со мной несколькими словами без свидетелей — обычно я весь день находилась вместе со своей гувернанткой в классной комнате, и в те дни, когда он бывал у нас, я встречалась с ним не раньше, чем к обеду. Но хотя он никогда не обращался прямо ко мне, я все же ясно чувствовала, что его речи были направлены ко мне и только ко мне. Сознание, что между нами есть тайное понимание и что он бывает у нас не только ради учителя, делало меня и счастливой, и гордой.

Однажды — это было в разгаре восстания — я увидела, или, вернее, почувствовала, что он более обычного рассеян. Он пытался не показывать этого и был веселее и разговорчивее, чем всегда. Но в течение всего обеда я чувствовала, что совершается нечто важное.

Когда мы встали из-за стола, я заметила, что он ищет предлога, чтобы поговорить со мной. Но, как это всегда бывает, когда ищешь предлога — такой не находился. Наконец, когда моя гувернантка уже приготовилась уйти из гостиной и, как обычно, взять меня с собой, он сказал, что ему надо получить справку из имевшегося у нее энциклопедического словаря, и последовал за нами в классную комнату. Там он опустился в кресло, долго возился со словарем и задавал моей гувернантке целый ряд вопросов, что ей явно льстило. Видно было, что он не торопится уйти. Глаза его все время блуждали по комнате, как будто он что-то разыскивал. «Ах, какой красивый альбом, так вы, барышня, рисуете?» — наконец воскликнул он, как бы по внезапному импульсу. Незадолго до этого у меня появился сильный вкус к рисованию, и отец подарил мне действительно очень красивый альбом. Он стал перелистывать его и сделал несколько незначительных замечаний о рисунках; затем он взял карандаш и, все еще болтая с гувернанткой, быстро написал что-то в альбоме, после чего захлопнул его и отложил от себя. Все это было проделано так быстро и естественно, что гувернантка ничего не заметила. Вскоре он встал, чтобы идти, но, прощаясь со мной, дольше обычного удержал мою руку в своей, а в его красивых темно-синих глазах с черными ресницами я заметила какой-то особый блеск. Само собой разумеется, что как только я осталась одна в комнате, я поспешила к альбому, чтобы узнать, что такое написал пан Буйницкий. Я нашла там следующие стихи по-польски:

«Дитя, если я тебя больше никогда не увижу, то я навсегда сохраню о тебе светлую память.

Как я был бы счастлив, если бы мне удалось увидеть расцвет того бутона, который уже готов раскрыться.

Но судьба не дарит мне этого счастья, и я могу лишь на прощание преклониться перед его красотой!»

При чтении этих строчек меня охватило своеобразное чувство одновременной радости и печали. Что значили эти стихи? Я была счастлива и горда тем, что он посвятил их мне, но в то же время у меня щемило сердце от горестного предчувствия.

Через несколько дней мы узнали, что пан Буйницкий оставил свое имение и уехал неизвестно куда. Но в те времена легко было находить

объяснение такому внезапному исчезновению. Он отправился «до лясу» — в леса, как тогда говорили, т. е. он примкнул к восставшим.

С тех пор мы его больше никогда не видели. Сначала о нем много говорилось, — утверждали, что его видели то в одном, то в другом отряде восставших, или что он принимал участие в том или другом сражении. Когда же восстание было совершенно подавлено, о нем стали ходить другие слухи; одни утверждали, что он убит в сражении, другие, что он выслан в Сибирь, но третьи утверждали, что он спокойно живет в Париже, где женился на богатой наследнице. У него не было ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер. Те отдаленные родственники, которые были в нашей области, недостаточно интересовались им, чтобы производить тщательные розыски, и, кроме того, боялись компрометировать себя. Мы так и не узнали ничего определенного о его судьбе; единственно верным было, что его прекрасное имение было конфисковано одним из первых и продано с аукциона.

Но как ни легко все другие утешились после его исчезновения, одна одиннадцатилетняя девочка сильно горевала и оплакивала его. Я с самого начала поняла, что он отправился бороться за Польшу. Разве его стихи не были его последним прощанием со мной? С этого дня он стал в моих глазах героем и мучеником, и мое восхищение им превратилось в настоящее поклонение ему.

Я тщательно хранила его стихи, никому их не показывая. У меня не осталось и утешения говорить о нем с моим учителем, так как с горечью должна сознаться, что он не обнаружил такого же мужества, как пан Буйницкий. По мере того, как известия становились все печальнее, и русские выигрывали сражения, его восхищение Польшей все уменьшалось или, по крайней мере, он уже не хотел его обнаруживать. Вскоре он прекратил давать мне уроки польского языка и тщательно избегал говорить со мной на опасные темы.

Я же осталась верна своему идеалу. Каждый вечер, перед тем как лечь спать, я доставала свой милый альбом, который я теперь рассматривала как драгоценную реликвию, клала его под свою подушку и горячо целовала. Я упорно не хотела верить смерти пана Буйницкого. Еще меньше верила слухам о том, что он спокойно живет в Париже. Я была убеждена в том, что он находится в рудниках Сибири, и одному богу известно, какие детские глупые планы я строила каждый вечер. Как только я вырасту, думала я, я поеду в Сибирь. Найду его там и освобожу. Лишь бы мне скорее вырасти!

Можно представить себе, как я в таком настроении приняла известие о приезде к нам полковника Яковлева, составлявшего для меня воплощение всего земного зла. Слушая ужасные истории, ходящие о нем, я клялась в ненависти к нему и не могла понять, каким образом взрослые сильные люди могут терпеть такие вещи, не восставая против них. «На их месте я лучше бы умерла», — думала я с тем презрением к смерти, которое проявляешь в одиннадцать лет.

Я до последней минуты надеялась, что моя мать откажется принять его у себя, и велико было мое отчаяние, когда я услышала, что она наконец уступила доводам моего отца.

Вечером, накануне пятого сентября, я долго не могла заснуть. Самые дикие мысли рождались в моем мозгу. Почтенный полковник не подозревал, какой опасности он подвергался, приезжая к нам. Кто бы мог представить себе, что маленькая 11-летняя девочка питает такие кровожадные планы по отношению к нему. «Завтра, как только он сядет за стол, — говорила я себе, — я возьму большой нож и воткну ему в сердце с возгласом: „это за Польшу!“ Потом меня, конечно, схватят, закуют в цепи и отправят в Сибирь, где я встречу пана Буйницкого!»

Мне представлялась следующая сцена: меня везут вместе с партией других пленников куда-то далеко в Сибирь; мы едем уже несколько месяцев. Измученные и полумертвые от мороза и голода мы останавливаемся среди снежной равнины и вдруг слышим, как приближается другая партия арестованных, и среди них я узнаю пана Буйницкого! Сама я такая бледная и худая (я, конечно, совершенно стала взрослой за эти месяцы), что он сначала не узнает меня. Я вижу, как он садится на камень, подпирает рукой голову и погружается в раздумье. Тогда я подхожу к нему и тихо произношу его имя. Он взглядывает, видит меня и становится смертельно бледным. «Соня! — восклицает он, — это действительно вы или только ваше привидение?» — «Это я, — отвечаю я, — я отомстила за вас». Больше я ничего не успеваю сказать — ко мне подходит солдат, тащит меня за руку, и наша партия снова трогается.

Составляя все эти планы, я чувствовала в глубине души, что они не могут осуществиться, но я все же испытывала большое удовольствие от этих мечтаний.

Уже с раннего утра на следующий день гости начали съезжаться; после многих споров и пререканий была установлена следующая программа: в 12 часов завтрак, в 7 — торжественный обед, а вечером фейерверк.

Полковник Яковлев явился одним из первых. Это был холостяк от 30 до 40 лет, высокий, крепкого сложения, ужасно некультурный на вид, но красавец по собственному мнению. Будучи довольно простого происхождения и не получив большего образования, чем требуется для армейского офицера, он никогда раньше не был принят в светских кругах. Польские помещики в тех провинциях, где стоял его полк, всегда открыто обнаруживали свое презрение к русским офицерам и остерегались входить с ними в общение. Это чувство, что он исключен из общества, было всегда как бы вечно кровоточащей раной бедного Яковлева. Благодаря врожденной хитрости, полному отсутствию предрассудков и большому умению исполнять желания своего начальства он быстро повышался по службе и стал полковником в сравнительно очень молодом возрасте. Но эти военные лавры не вполне удовлетворяли его честолюбие, так же, как те любовные интриги, которые он имел с мещаночками в тех городах, где стоял его полк, не могли удовлетворить тайных желаний его сердца. Он

стремился к более высоким целям. Хотя он открыто выражал свою ненависть и презрение к полякам, он сильно страдал от выражаемого ими презрения к себе; он чувствовал себя ниже их по образованию и воспитанию. Он очень много дал бы за то, чтобы они считали его равным себе. Перед ним во время его казарменных оргий мелькали видения блестящего бала во дворце какого-нибудь польского магната. Целуя краснощекую пышную мещанку, безвкусно разодетую в пестрое ситцевое платье, он всегда мечтал о прекрасной дворянской дочке, кокетливой и грациозной, как кошечка.

Он твердо рассчитывал воспользоваться теперь своим быстрым возвышением не только для того чтобы скорее разбогатеть, но и для того, чтобы, как завоевателю, проникнуть в польское общество, двери в которое для него до сих пор были закрыты. Деньги составляли, правда, существенную часть для него, но и удовольствиями нельзя было пренебрегать, а Яковлев был не таким человеком, чтобы отказывать себе ни в существенном, ни в роскоши, когда мог получить то и другое. Поэтому он явился к нам пятого сентября в качестве элегантного светского человека, и эту роль он решил играть в течение всего праздника.

Все те из окрестных помещиков, которые не были раздавлены пронесшейся бурей, поспешили явиться со всем своим семейством, чтобы как следует доказать свою преданность правительству. Большею частью это были старики и женщины, так как все молодые люди были или убиты или исчезли. Они приехали с поникшими головами и мрачными взглядами, но с вынужденными улыбками на устах.

Завтрак начался в довольно мрачном настроении. Общество пыталось шутить и смеяться, но это плохо удавалось. Яковлев красовался рядом с моей матерью, так как, будучи уже принятым в нашем доме как начальник области, он должен был занимать почетное место.

Вначале он еще чувствовал известное стеснение, заставляющее его быть молчаливым, но по мере того, как количество выпитого увеличивалось, и он все больше входил в роль почетного гостя, он становился все непринужденнее и болтливее. Одна смешная история сменялась другой, произносились остроты и шутки, от которых пахло казармой и конюшней. Все старые польские аристократы как бы находили горькое утешение, видя всю глупость и невоспитанность своего угнетателя. Они поощряли его болтовню, все время наполняли его стакан, и чем грубее становились его шутки, тем с большим одобрением они встречались.

К концу завтрака Яковлев довел свою бестактность до того, что вдался в политику. Он произнес импровизированную речь, считая ее весьма остроумной: «Господа поляки, — сказал он, — я не могу читать в ваших сердцах и мне не известны ваши истинные чувства к нам. Но поверьте мне, самое лучшее для вас — это совершенно не слушать всех тех негодяев, которые проповедуют вам восстание, а жить с нами в добром согласии, так как мы оказались сильнейшими. Итак, объединимся и осушим чашу за здоровье нашего любимого государя и за процветание России».

Надо было видеть выраженье лица у поляков, когда были произнесены эти слова. У меня, совсем еще ребенка, эта картина так глубоко запечатлелась в памяти, что мне достаточно и сейчас еще закрыть глаза, чтобы она возникла передо мной. Все эти красивые старые головы с длинными белыми усами и профилем, как бы выточенным из старой слоновой кости, вдруг покраснели, глаза их засверкали, и одно мгновение казалось, что двадцать винных стаканов будут разбиты о череп дерзкого полковника. Но вспыхнувшая гордость тотчас улеглась, благоразумие взяло верх, взгляды снова потухли и помрачнели. Вместо того, чтобы швырнуть стаканы в голову своего врага, старики дрожащими руками поднесли их к губам и двадцать глухих старческих голосов воскликнули: «Да здравствует царь! Ура!»

Время приближалось к двум часам, когда стали вставать из-за стола. Обед был назначен на семь, следовательно, надо было еще провести пять долгих часов. Что бы такое придумать, чтобы убить время? Предлагали прогулку в лодках, но погода внезапно испортилась, пошел дождь, и о пребывании вне дома нельзя было и думать.

Мой отец предложил Яковлеву сыграть партию винта, но рыцарски настроенный полковник был глух на это ухо. «Всему свое время, — отвечал он, хитро улыбаясь. — Вечером, когда дамы нас покинут, я не откажусь. Чем тогда старому холостяку лучше заняться, чем бутылочкой вина и партией в карты? Но пока прекрасные дамы дарят нам свое присутствие, было бы преступлением думать о картах».

С этими словами он стал самодовольно крутить свои усы и бросать сокрушающие взгляды на присутствующих молодых дам, поощряя их всех без различия соревноваться за его благоволение.

Но бедные панны, обычно такие остроумные и кокетливые и жаждущие поклонения, — как они вдруг испугались, что привлекут к себе внимание неотразимого полковника. Они старались спрятаться друг за другом, и как бы по тайному соглашению стали выдвигать впереди себя дочь сельского священника — двадцатилетнюю пышную и краснощекую девушку в пестром ситцевом платье, такую же типичную для своего сословия, как Яковлев для своего. Бедная девушка совсем ошалела от радости и удивления — никогда ей не посвящали столько внимания. Обычно ей приходилось сидеть покинутой всеми где-нибудь в уголке, и ее гордые сверстники едва удостаивали ее нескольких слов. Но сегодня все было иначе! Ее выставляли перед всеми; мамаши и их дочки осыпали ее любезностями и ласковыми словами и, наконец, ее попросили показать свои таланты — сыграть на рояле или спеть какую-нибудь песенку. Ярко-красная от радости, она красовалась среди других молодых девушек, как пион среди скромных фиалок.

«Умоляю вас, мои дамы, займемся немного музыкой. Я обожаю музыку», — воскликнул Яковлев, которому не терпелось показать гордым полякам все, на что способен храбрый русский офицер.

Та же двойственность характера, которая с неодолимой силой влекла его, плебея с грубыми вкусами, в элегантное и тонкое общество, застав-

ляла его развить в себе всевозможные общественные таланты. Еще совсем молодым он откладывал каждую копейку, чтобы оплатить уроки пенья и игры на рояле, и это было сделано отнюдь не из истинной любви к музыке, а потому, что он считал эти таланты необходимыми для человека из общества.

После того, как дочь священника, слегка гнусавя, спела две-три народные песни, настал его черед дать себя послушать. Сначала он очень бегло отбарабанил шумный вальс, а затем пропел громовым голосом старинный очень сентиментальный романс о рыцаре, отомстившем жестокость своей дамы тем, что отправился на войну и дал себя пронзить вражеским копьем.

Само собой разумеется, что общество наградило обоих артистов дружными и продолжительными аплодисментами. Но так как репертуар их был не очень обширен, а все остальные дамы, по странному совпадению, страдали насморком или хрипотой, мешавшими им выступить, то музыка скоро окончилась, и снова возник трудный вопрос: чем заняться, чтобы провести время?

На меня в этот день была возложена очень скучная обязанность. Один из наших новых соседей, бывший военный немецкого происхождения, купивший одно из конфискованных польских поместий, также явился со всем своим семейством, состоявшим, кроме его жены, еще из двух маленьких девочек 9-ти и 7-ми лет, которых я в качестве хозяйки должна была занимать.

Как каждая мыслящая молодая дама 11 лет, я ненавидела игру с детьми моложе себя. Их общество унижало меня в моих собственных глазах. А если это и всегда было так, то тем более в такой день, как сегодня, когда голова моя была наполнена такими серьезными и мрачными мыслями. Кроме того, я питала особенную нелюбовь к обеим маленьким немочкам. Одна еще не умела читать; для другой не было большего удовольствия, как устраивать пиршество из пряников и орехов или подрубать платки для своих кукол. Что могло быть общего между такими девочками и мной?

После завтрака гувернантка послала нас в классную комнату, велев мне быть очень любезной к моим маленьким гостям. Я чувствовала себя несчастной и обиженной — можно представить себе, насколько я была любезна.

Едва мои немочки пришли в мою комнату, как они обе попросили меня показать им моих кукол и остались очень недовольными, увидев, в каком плохом состоянии находились эти восковые и фарфоровые дамы. Я уже давно терпеть не могла кукол и чувствовала себя даже оскорбленной, если мне их дарили.

Порядок в моем ящике для игрушек внушил моим гостям такое же плохое мнение обо мне, какое у меня уже составилось о них, и мы стояли, взаимно критикуя друг друга и не пытаясь даже завязать какой-нибудь разговор. Наконец старшая девочка предложила нам поиграть в прятки, но я досадливо ответила ей, что давно уже не занималась такими глу-

пыми играми. Затем я выискала все имеющиеся у меня книги с иллюстрациями и предоставила их им, после чего тоже взяла себе книгу, забралась в угол и больше не занималась ими.

Обе девочки некоторое время с удовольствием рассматривали картинки, но затем это им наскучило. Старшая из них, кроме того, чувствовала себя оскорбленной, что я не посвящаю ей, как более разумной, ни малейшего внимания. Через полчаса они начали хныкать и потребовали, чтобы я отвела их к их матери.

Для меня и не надо было лучшего, как исполнить их желание, и я с радостью воспользовалась этим предлогом, чтобы опять очутиться в гостиной, так как хотя я и ненавидела Яковлева, но чувствовала к нему известное любопытство, заставлявшее меня быть там же, где он, и неотступно глядеть на него, пока он был в комнате.

Когда мы вошли в гостиную, музыка только что кончилась и все недоумевали, чем бы им теперь заняться. Поэтому появление детей приветствовалось как удобный предмет для разговора. Немецкая мамаша начала распространяться о маленьких талантах своих детей, так что моей гувернантке стало завидно.

«Принеси альбом, который тебе подарил папа, и покажи нам твои рисунки», — приказала она мне. Это было для меня ужасным требованием! показать всем этим безразличным людям свой драгоценный альбом со стихами пана Буйницкого, это просто было святотатством. Правда, что я из предосторожности слегка склеила оба листка, так что альбом не мог раскрыться на этом святом месте, но все же!

Я не посмела ослушаться. Предыдущей ночью я в своем воображении закалывала полковника Яковлева, но это было совсем другое дело, чем открыто поступить против приказания гувернантки!

Итак, я подчинилась и побежала за альбомом, который затем пошел по рукам. Каждый говорил мне обычные комплименты и, наконец, очередь дошла до полковника.

«Я хочу оставить вам маленькое воспоминание о себе, дорогое дитя», — объявил он подчеркнуто, обращаясь со мной как с маленькой девочкой. С этими словами он достал из кармана карандаш и начал что-то чертить в моем альбоме, чтобы как следует показать все свои таланты, этот негодяй!

Легко себе представить, что я почувствовала, видя этот грубый вандализм. В первую минуту я настолько оторопела, что не могла произнести ни слова в защиту своей собственности и не мешала ему распоряжаться с ней, как он хотел. Я отошла в сторону и молча глотала свои горькие слезы, следя в то же время глазами за движениями его красной волосатой руки с толстыми пальцами, оскверняющими мой альбом своим противным маранием.

Никогда еще я не чувствовала себя такой несчастной, как в эту минуту. Мое сердце сжималось от разъедающего меня презрения к самой себе, и я с горечью вспомнила свои вчерашние мечтания.

«Вот каким образом я отомстила за него, моего бедного умершего друга!» — говорила я себе, убежденная в этот момент, что пан Буйницкий действительно убит, и предпочитая сейчас даже, чтобы он умер, чем чтобы он когда-нибудь узнал, как я позволила осквернить его память.

Ничего не подозревая и очень довольный собой, полковник Яковлев продолжал рисовать, давая окружающим молодым дамам любоваться своим рисунком по мере его продвижения.

«Вот посмотрите, мои любезные, здесь вот хижина и сердце, — говорил он самодовольно, — а здесь любящая пара, ищущая себе приюта в этой маленькой хижине. Над их головами я теперь нарисую два сердца, пронзенные стрелами, чтобы как следует показать, что это любящая пара».

Девицы насмешливо улыбались его хвастовству и самовлюбленности, а он продолжал болтать, в то же время рисуя. Наконец он окончил свое мастерское произведение и позвал меня к себе.

«Подойдите, милочка, и посмотрите, что я вам нарисовал», — воскликнул он.

Я почти механически встала и подошла. Но когда я приблизилась к этому вандалу и в его лапах увидела свой бедный оскверненный альбом, меня внезапно охватила страшная злоба. Не давая себе отчета в том, что я делаю, я выхватила альбом из его рук, быстро вырвала листок с его рисунком и разорвала его на мелкие кусочки, которые я бросила на пол, с возгласом единственного слова «voilà».

Что было потом, я не помню или, вернее, оно не дошло как следует до моего сознания. Голова у меня закружилась, перед глазами мелькали какие-то желтые пятна, в ушах стоял шум. Я видела, как сквозь туман, красное и оторопелое лицо полковника, который, повернувшись к девицам, с изумлением спрашивал, что все это значит?

Затем я почувствовала, как гувернантка схватила меня за руку и потащила из гостиной. Она была очень рассержена, моя гувернантка, и когда мы пришли к нам, она толкнула меня в соседний темный чулан, заперла меня на ключ и ушла, обещая строго наказать меня.

Я очутилась одна в темноте. Мое возбуждение прошло и, должна сознаться, что я чувствовала сильный страх. Что теперь будет? Что со мной сделают?

Минуты проходили, а никто не являлся. У меня не было никакой возможности определить время, но мне казалось, что я уже несколько часов стою в этом темном чулане. Внезапно меня охватил безотчетный страх, который иногда нападает на детей — страх перед темнотой, перед неизвестностью, перед чем-то необъяснимым и ужасным. Мне казалось, что я должна умереть, и я начала рыдать, но звук моего собственного голоса еще больше испугал меня; поэтому я затихла и, дрожа всеми членами, скорчилась в углу.

В эту минуту я услышала приближение шагов и хорошо знакомые голоса. Сразу успокоившись, я стала усердно слушать — говорил мой отец и гувернантка.

Гувернантка требовала, чтобы меня строго наказали, но мой отец не хотел этого. «Она и так уже слишком возбуждена, — сказал он, — и может еще и заболеть. И зачем это обсуждают вопросы о политике в присутствии детей?»

Ах, как я в эту минуту обожала моего доброго отца. Он открыл дверь моей темницы и сказал, чтобы я вышла. Он сделал мне для проформы строгий выговор голосом, который он старался сделать очень суровым, но я чувствовала, что в глубине души он не очень сердит.

Мне все же велели оставаться в моей комнате весь оставшийся день, до конца праздника. В этом наказании не заключалось для меня ничего ужасного, тем более, что все наши польские гости, как дамы, так и мужчины, находили какой-нибудь предлог, чтобы навестить меня в моем заточении.

«Ах, милая барышня, какая вы были нехорошая, почему вам надо было разорвать красивый рисунок бедного Яковлева?» — говорили они, смеясь и подмигивая мне, как бы желая сказать, что мы хорошо друг друга понимаем. И я прекрасно видела, что все они очень довольны, и что их симпатии вполне на моей стороне. После обеда они стали опять приходить ко мне, принося разные лакомства с обеда — фрукты и конфеты, и я получила, таким образом, гораздо больше своей обычной порции десерта.

Видя, что за мной так ухаживают, я все больше начинала гордиться и к концу дня уже смотрела на себя как на героиню.

Что же касается бедного Яковлева, то его положение было довольно затруднительным. Сначала он сам не знал, как ему держаться — рассердиться ли, или отнестись ко всему как к не имеющей значения детской выходке. Он ведь не мог рисковать своим достоинством светского человека, обрушив громы и молнии своего гнева на голову 11-летней девочки, и боялся показаться смешным в глазах дам. Поэтому он решил избрать последний способ, тем более, что молодые барышни, опасаясь, как бы мой поступок не имел каких-нибудь неприятных последствий, придумывали разные истории для объяснения моего поведения — например, будто я разорвала его рисунок из чисто профессиональной зависти, так как он слишком затемнял мою собственную продукцию. Яковлев делал вид, что он верит этим выдумкам, и не занимался больше этим вопросом.

Вечером, когда дамы удалились, мой отец все же счел благоразумнее предложить ему партию игры в карты и устроил так, что дал ему при этом выиграть несколько сот рублей — способ, часто употребляющийся в России, когда желают дать кому-нибудь «бакшиш», но открыто этого нельзя сделать.

Яковлев спрятал деньги в карман, проспал всю ночь сном праведника, и, кто знает, не уехал ли он от нас на следующий день в твердом убеждении, что он был настоящим джентльменом и законченным светским человеком.

⟨*О Достоевском*⟩[1]

Достоевский часто рассказывал нам планы задуманных им романов, а иногда сцены и эпизоды из своего прошлого.

— Да, поломала-таки меня жизнь порядком, — говаривал он бывало, — но зато вдруг найдет на нее добрый стих, и так она меня вдруг примется баловать, что даже дух у меня от счастья захватывает.

Одним из самых светлых воспоминаний Достоевского были, по его словам, воспоминания, связанные с появлением в свет его первого романа «Бедные люди»[2]. Начал он его писать очень молодым, еще будучи учеником в инженерном училище, но кончил в 1845 г., года два после выхода в офицеры.

В это время в русской литературе господствовало направление, совершенно противоположное тому, которое за границей привыкли связывать с представлением о русских романистах.

Натурализм, сказавшийся сначала в поэзии (в романе в стихах «Евгений Онегин» Пушкина и в знаменитой драме Грибоедова «Горе от ума») и затем достигший такого блестящего расцвета в сочинениях Гоголя, был на время забыт; вскоре после Пушкина в 1837 г. в литературе проявились совершенно обратные течения. Сам Гоголь впал в мистицизм, граничивший с умопомешательством, отрекся от всех своих прежних убеждений и в припадке меланхолии сжег рукопись третьей части своих «Мертвых душ». В Петербурге образовался кружок литераторов, которому удалось захватить на время все влияние в свои руки и затормозить дело своих великих предшественников. Культ гения и презрение к толпе — было лозунгом этого кружка.

«Все человечество, взятое как целое, глупо и ничтожно, — проповедовали они. — Роль толпы — служить лишь удобрением, на котором могут вырасти несколько отдельных выдающихся личностей. Таких избранников судьбы, «гениев», ради которых существует все человечество, является, быть может, два-три в течение целого столетия; но они составляют «соль земли». Подобно тому, как агава растет в каменистой пустыне и лишь раз в жизни, перед смертью, распускается пышным цветком, так и миллионы людей должны страдать, работать, погибнуть бесследно, прежде чем из среды себя удается выдвинуть гения. Гений носит в груди своей божественную искру и в делах своих отдает отчет одному богу. Законы обыкновенной нравственности, обязательные для простых смертных, про него не писаны. Толпа должна бежать за колесницей гения, как послушный раб или как влюбленная женщина, и не беда, если колесница эта в своем торжественном шествии придавит сотни маленьких, темных людей».

Великий — расти и возвышайся,
А низкий — терпи и умаляйся.

Вот последнее слово, конечный результат этого культа гения.

Понятно, что подобное аристократическое учение было как нельзя

более с руки «рыцарю самодержавия», как звали иногда императора Николая. Оно освещало и объясняло ему смысл его царствования. Поэтому при дворе новый литературный кружок тотчас удостоился благосклонного одобрения, тогда как такие писатели, как Пушкин и Гоголь, только были терпимы.

Душою этого кружка были Сенковский[3] и Кукольник[4] — два «гения», творения которых, увы, составляют уже теперь не более как библиографическую редкость, хотя в течение целых десяти лет они пользовались такою популярностью, какой достигали лишь немногие из русских писателей.

Кукольник писал высокопарными стихами душепотрясающие драмы, в которых выводил на сцену титанов в человеческом образе. Сенковский же, под псевдонимом барона Брамбеуса, издал в свет томов двадцать романов, которым никак нельзя отказать в остроумии и богатстве колорита, но которые не затрагивают ни одного простого человеческого чувства. Художническая фантазия была в нем развита до такой степени, что он оставил уже немало описаний путешествий по Центральной Азии, по Африке, по Южной Америке, хотя сам, кажется, всю жизнь не выезжал из Петербурга[5].

Впрочем, оба «гениальных» друга привлекали на себя внимание публики не только своими литературными произведениями, но и всевозможными эксцентричностями своей частной жизни. Весь Петербург интересовался их многочисленными любовными похождениями и теми роскошными пирами, которые они задавали время от времени в редакции издаваемого ими ежемесячного журнала «Библиотека для чтения».

Этот журнал служил могущественным орудием для распространения взглядов кружка. Были годы, когда он имел до 50 000[6] подписчиков, цифра, которой никогда ни прежде, ни после не достигал ни один из толстых журналов в России. Его влияние было громадно в провинции, пожалуй, даже больше, чем в самом Петербурге. Он решал судьбу каждого начинающего писателя и либо сразу выводил человека из ничтожества на путь славы, либо бесповоротно, одним махом пера, клеймил его печатью бездарности.

В Москве существовала, однако, маленькая горсточка литераторов, сохранивших некоторую самостоятельность. «Последним из могикан» старых традиций, завещанных Пушкиным и Гоголем, был гениальный критик Белинский, сочинения которого и теперь поражают глубиною анализа и верностью взгляда. Но голос его долго был гласом вопиющего в пустыне.

Наконец, около 1845 г., в среде молодежи все более и более стал назревать протест против господствующего в Петербурге аристократического направления в литературе. Поверхностность и неудовлетворительность теорий, проповедуемых партией «Библиотеки для чтения», стала сказываться все яснее, а осязательность и законность присвоенного ей себе патента на гениальность стала казаться все более и более сомнительной.

В воздухе чувствовались уже предвестники близкой перемены. Все жаждали нового слова, новых пророков. В это время к Белинскому явился однажды еще молодой человек Некрасов, которому предстояло сделаться в будущем одним из величайших русских поэтов [7].

Однако он сам еще не отдавал себе сознательного отчета в том громадном даре, которым наделила его природа и который не нашел еще своего направления. Он явился к Белинскому не с тетрадью стихов, а с кипою ассигнаций, полученных им от отца, богатого помещика. На эти деньги он предложил старому критику основать журнал «Современник» [8], главная задача которого будет состоять в том, чтобы бороться против «Библиотеки для чтения».

Белинский согласился с радостью, но теперь представился вопрос, где подобрать подходящих сотрудников, откуда взять свежие, молодые силы. После блестящего периода Пушкина, Лермонтова и Гоголя в литературе произошел застой, продолжавшийся притом около 10 лет. Один Григорович, литератор очень почтенный, но далеко не гениальный, писал повести. Тургенев, Толстой, Щедрин, Островский — все кончили свои годы учения, ни один из них еще не вступил на литературное поприще, поэтому вопрос о сотрудниках сильно затруднял новых издателей.

Вот в это-то самое время окончил Достоевский своих «Бедных людей» и послал в «Современник». Однако, отослав рукопись, он тотчас же сам и раскаялся. С ним произошел тяжелый психологический процесс, который, вероятно, пришлось пережить всякому автору: пока он писал свой роман, он сам восхищался им и верил, что происходит нечто великое и гениальное. Но лишь только рукопись была окончена и отослана в редакцию, как на него вдруг нашло сомнение и разочарование. Все недостатки романа ярко выступили перед ним, все в нем показалось ему бледным, ничтожным. Он почувствовал отвращение к собственному детищу и устыдился его.

По всей вероятности, нет автора, которому не пришлось бы хоть раз в жизни пережить подобный же психологический процесс. Но при нервности и мнительности Достоевского процесс этот достиг в нем ужасного развития. «Осмеет Белинский моих „Бедных людей“», — почти со слезами говорил он себе и чувствовал при этом такое озлобление. И эти переходы от уверенности к подавленному состоянию духа в первые дни после отсылки рукописи дошли в нем до таких размеров, что он просто закутил с горя.

«Всю ночь, — рассказывал Достоевский своим приятелям, — провел я в разгуле, грязном, дешевом, без удовольствия, так просто, с тоски, с озлобления какого-то. Было уже четыре часа утра, когда я вернулся домой. Это было в мае месяце, и на дворе была белая петербургская ночь. Я этих ночей никогда выносить не мог, всегда они мне расстраивали нервы и наводили особую, какую-то «подлую» тоску. А уж сегодня и подавно. Вернулся я домой; не спится мне; сел я на открытую раму. Скверно на душе — ну хоть сейчас иди и топись. Сижу я так, вдруг слышу звонок. Кто бы это мог быть в такую пору?

Иду отворять. Батюшки... в комнату вбегают Некрасов и Григорович и, не говоря ни слова, принимаются меня обнимать, а я и знаком-то понастоящему не был, знал их только в лицо.

Оказывается, они накануне вечером принялись читать мою рукопись, так, на пробу: «с десяти страниц видно будет». Но за первыми десятью последовало еще десять и потом еще и еще, пока незаметным образом в один присест не было прочтено все. Когда дело дошло до места, где за гробом Покровского бежит его старик-отец, Некрасов стукнул ладонью по рукописи: «ах, чтоб его!» Оба решили тотчас бежать ко мне: «Что же такое, что спит, мы разбудим его; это выше сна».

— Поймите же вы, поймите, что для меня такой их порыв значил, — говорил Достоевский, сам увлекаясь и почти захлебываясь от восторга при воспоминании. — У иного успех — ну хвалят его, встречают, поздравляют. А ведь они прибежали со слезами в четыре часа разбудить, потому что это выше сна!

Впрочем, как ни дорого было Достоевскому сочувствие Некрасова и Григоровича, но еще важнее для него было мнение Белинского. Его он все еще продолжал побаиваться. Однако и этот строгий критик проникнулся восторгом к «Бедным людям», хотя сначала и отнесся к ним критически. Некрасов, входя к нему с рукописью, провозгласил: «Новый Гоголь явился». «Ну, у вас Гоголи, как грибы, растут», — с неудовольствием заметил Белинский.

Эта неосторожная рекомендация Некрасова так скверно настроила его, что он долго мешкал и не принимался за чтение. Зато, когда он, наконец, прочел рукопись, он тотчас же потребовал, чтобы к нему привели молодого писателя.

«Шел я к нему с трепетанием сердца, — рассказывал мне Достоевский, — и принял он меня чрезвычайно важно и сдержанно. Долго вглядывался в меня молча, словно изучал меня, потом вдруг заговорил: «Да вы понимаете ли сами, что вы такое написали?»

И так это он строго спросил, что в первую минуту я даже растерялся, не зная, как понять это. Но за этим вступлением последовала такая патетическая тирада, что я даже сконфузился и подумал: «Господи, да неужели же я в самом деле так велик?»

Теперь в литературе начался период необычайного движения. В следующем же году выступили в свет со своими первыми произведениями Тургенев, Гончаров и Герцен. Сверх того, на литературном горизонте появилось еще много других новых светил, которым, правда, суждено было оказаться впоследствии только блестящими мимолетными метеорами, но которых можно было принять за звезды первой величины.

В публике проявился теперь необычайный интерес к литературе. Редко когда покупалось в России столько книг и журналов, как в то время. С Запада приходили тревожные вести. Перед 1848 годом вся Европа находилась словно в брожении каком. Всюду чего-то ждали, всюду к чему-то готовились. Идеи свободы, равенства, братства народов

носились в воздухе, еще не опошленные и не утратившие своего первого, опьянительного аромата.

В Петербурге, особенно между студентами университета и политехниками, заводились многочисленные кружки, имевшие вначале лишь чисто литературную цель. Молодые люди складывались, чтобы сообща выписывать иностранные книги и журналы, и затем сходились друг у друга и читали их вслух. Но вследствие необычайной строгости полиции, запрещавшей безусловно всякие ассоциации, молодые люди, сходясь, должны были окружать себя таинственностью, и именно вследствие этого и приняли скоро такие сходки характер политический.

Петрашевский[9], горячий поклонник идей Фурье, человек необыкновенно умный и начитанный, первый задумал связать все эти кружки общею организацией и составить из них род тайного политического общества. Впрочем, как видно из официальных документов по делу Петрашевского, цели этого общества имели характер чисто теоретический и весьма невинный, особенно если сравнить с позднейшей нигилистической пропагандой.

Ни покушений на жизнь императора, ни открытых восстаний петрашевцы не замышляли.

Тайные собрания обсуждали вопросы абстрактные и окружали себя с внешней стороны обрядами необычайно таинственными и почти торжественными: каждый вступающий в него должен был принести присягу и подписать «лист отречения», которым отдавал свою жизнь и имущество в руки общества и сам в случае измены обрекал себя на смертную казнь.

Тайные собрания их с внешней стороны были окружены большой таинственностью, но вопросы, обсуждаемые на них, все имели характер абстрактный, подчас довольно наивный, например: можно ли согласить идеи человеколюбия с убийством шпионов и предателей? Или — идет ли православная религия с идеями Фурье?

Достоевский тоже примкнул к обществу Петрашевского. Как видно из впоследствии состоявшегося над ним официального приговора, он обвинялся в том, что на одном из собраний прочел статью о теории Фурье и, кроме того, знал о предположении завести тайную типографию.

И вот эту-то тяжкую вину Достоевскому пришлось искупить восемью годами каторжной работы.

23 апреля 1849 г. был роковой день для Петрашевского. Сам Петрашевский и 34 из его товарищей арестованы.

«Вернулся я 22 апреля вечером, часов около 2 ночи, от одного из наших товарищей, — рассказывает Достоевский, — разделся, лег спать и тотчас уснул. Не более как через час я сквозь сон заметил, что в мою комнату вошли какие-то необыкновенные и подозрительные люди. Брякнула сабля, нахально за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатичный голос: «вставайте!» — Смотрю: квартальный с красивыми бакенбардами. Но говорил

не он: говорил господин, одетый в голубое с подполковничьими эполетами *.

— Что случилось? — спросил я, привставая с кровати. — «По повелению»... Смотрю: действительно «по повелению».

В дверях стоял солдат, тоже голубой.

«Эге! Да это вот что!» — подумал я.

— Позвольте же мне, — начал я было.

— Ничего, ничего, одевайтесь. Мы подождем-с, — перебил меня подполковник еще более симпатичным голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и начали рыться, — немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтер-офицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливые господа убедились, что на печи ничего не было.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хоть и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупою торжественностью, приличной событию.

У подъезда стояла карета; в нее сел солдат, я, пристав и подполковник. Мы отправились на Фонтанку, к цепному мосту **. Там много было ходьбы и народу. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин штатский, но в большом чине, принимал..., беспрерывно входили голубые господа с новыми жертвами.

Нас разместили по различным углам и весь день продержали в томительной неизвестности. Кормили нас, впрочем, на славу: подавали чай, завтрак, кофе, обед, и жандармы даже угощали нас, сетовали, что мы мало кушаем.

К вечеру свезли нас в крепость. Странно, что по дороге туда мне вовсе и в голову не входило, что меня везут в крепость. По приезде, разумеется, стало ясно.

Меня отвели в крошечную каморку, едва освещенную плошкой на высоком уступе оконной амбразуры. Там меня оставили одного. Нумер мой оказался таким сырым, что когда на следующее утро зашел комендант, то должен был заметить: «А здесь ведь в самом деле нехорошо!» На мой вопрос: «Зачем меня арестовали?» — он ответил: «На допросе вам все объяснят». Однако к первому допросу меня повели лишь спустя 10 дней, а их я провел в полнейшем ничегонеделании: ни книг, ни бумаги! Разнообразие состояло разве только в том, что двери каземата отворялись по пяти раз в день: в 7 часов утра, когда приносили умываться и убирали комнату; в 10 час. при обходе казематов начальством; в 12 час., когда приносили обед — два блюда: щи или суп и нарезанная кусками

* Голубой мундир — принадлежит исключительно жандармам, полку, приставленному к тайной полиции (*прим. С. В. Ковалевской*).

** Где помещалась тайная полиция (*то же*).

говядина, так как ни ножей, ни вилок не допускалось; в 7 час. вечера, когда приносили ужин, и, наконец, когда стемнеется, чтобы поставить на окно плошку, довольно, впрочем, бесполезную, так как делать все равно ничего не давали.

Подобное заточение продолжалось целые восемь месяцев. После первых двух месяцев стали нам давать книги, но в очень небольшом количестве. Скука все же была такая страшная, что даже те дни, когда нас водили к допросу, считались праздниками. Как идет следствие, чем оно кончится — я ровно ничего не знал.

Вдруг рано утром 22 декабря является в мой каземат начальство и читают мне приговор: приговорен к смертной казни через расстреляние.

Когда совершится казнь — в приговоре сказано не было. Но не прошло и часа, как вошел опять надзиратель и велел мне одеться в собственное платье, а не в казарменный костюм, который я носил в каземате. Под строгим конвоем вывели меня на двор, где уже дожидались 19 человек моих бывших товарищей. Посадили нас всех в кареты, по четверо человек в одну, и с ними солдат. Было часов семь утра. Куда нас везут, мы не знали. Спросили мы об этом солдата, но он отвечал: «Не приказано сказывать!» Везли нас очень долго, но так как был мороз, то сквозь обледенелые окна кареты никак нельзя было разобрать, куда везут. Попробовал я было отчистить стекло пальцем, но солдат сказал: «Не делайте этого, не то меня будут бить». После этого пришлось, разумеется, отказаться от удовлетворения столь понятного любопытства.

После казавшейся нам бесконечной дороги привезли нас, наконец, на Семеновский плац, посреди которого возвышался эшафот. Нас, всего 20 человек, взвели на него и расставили в два ряда. После долгого заточения и разлуки с товарищами хотелось нам поздороваться, поговорить друг с другом, но за нами наблюдали так строго, что удалось только обменяться несколькими словами с теми, кто стоял ближе.

На середину эшафота вышел аудитор и прочел нам всем смертный приговор. Казнь должна была совершиться немедленно.

20 раз повторенные аудитором роковые слова: «Приговорен к смертной казни расстрелянием» — так глубоко врезались в моей памяти, что многие годы спустя случалось мне вдруг проснуться среди ночи от того, что казалось, кто-то прокричал мне их в ухо. Но не менее глубоко врезалась мне в память и другая, чисто внешняя подробность, как аудитор, окончив чтение, сложил бумагу, положил ее в боковой карман и сошел с возвышения.

— В эту самую минуту, — рассказывал Достоевский, — проглянуло из-за туч солнце, и мне вдруг так ясно стало: «Не может быть, чтобы нас казнили». Я сказал это стоявшему рядом со мной товарищу. Вместо ответа он только молча указал мне на стоявшую тут же возле эшафота телегу, на которой были положены гробы, прикрытые рогожей.

Увидя их, у меня мигом пропала всякая надежда и, напротив того, явилась уверенность, что нас непременно казнят...

Я помню, что я очень испугался, но в то же время решился не показать этого. Поэтому я стал говорить товарищу о всем, что только приходило мне на ум. Он рассказывал мне впоследствии, что я даже не был очень бледен и что я все говорил ему об одной повести, которую я задумал и которую очень жалел, что мне не придется написать. Но я сам не помню этого; зато помню массу посторонних пустяшных мыслей.

На эшафот вошел священник и предложил тем, кто хочет, исповедоваться. Никто не захотел, исключая одного, но, когда священник поднес к нам крест, все к нему приложились.

Трех из моих товарищей (Петрашевского, Григорьева и Момбелли), наиболее виновных, уже привязали к столбам и надели им на голову какие-то мешки. Против них расставили взвод солдат, ожидавших только роковой команды «пли».

Жить мне оставалось, как я полагал, всего каких-нибудь пять минут. Я их отсчитал, чтобы думать про себя. Мне все хотелось представить себе, как же это так? Теперь я есмь и живу, а через пять минут буду уже нечто, кто-то или что-то совсем другое.

С того места, где я стоял, виднелась церковь с золоченым куполом, который так и сиял на солнце. Я помню — я упорно глядел на этот купол и на лучи, от него сверкавшие, и странное вдруг на меня нашло ощущение: точно лучи эти — моя новая природа, точно через пять минут я сольюсь с ними. Помню, то физическое отвращение, которое я почувствовал к этому новому, неизвестному, которое сейчас будет, сейчас наступит, было ужасно.

Но вдруг произошло что-то необычайное. По близорукости я еще ничего разглядеть не мог, а только почувствовал, что что-то совершилось. Наконец, я увидел, что по площади скакал во весь дух по направлению к нам офицер, махавший белым платком.

Это государь прислал нам всем помилование. Оказалось впоследствии, что помилование наше было решено наперед, да и действительно возможны ли бы...» [10].

VITA*[1]

Софья Корвин-Круковская родилась в LI[2] в Москве от отца Василия, генерал-лейтенанта русской армии, и матери Елизаветы из семьи Шуберт; оба еще живы к моей душевной радости.

Свое родовое имя я сменила на имя доктора философии Владимира Ковалевского, став его женой в LXVIII.

Воспитана в греко-католической вере.

Раннее детство я проводила то в Петрополе, то в Палибине — деревне отца, и потому не была отдана в школу, но начальное образование получила у домашних учителей. Пятнадцати лет от роду я особенно пристрастилась к математике — началам геометрии и аналитической арифметики, изучала также начала дифференциального и интегрального исчисления.

Чтобы полностью отдаться изучению этих излюбленных мною наук, я поехала в LXVIII в сопровождении мужа в Гейдельберг. Здесь с любезного дозволения тогдашнего знаменитого проректора университета Коппа мне было разрешено принимать участие в математических занятиях, и в продолжение трех семестров я слушала лекции по математике и физике у Дю-Буа-Реймона[3], Гельмгольца[4], Кирхгофа[5] и Кенигсбергера[6]. Кроме того, Кирхгоф и Кенигсбергер, которых как своих наставников я всегда буду чтить с преданностью и благодарностью, разрешили мне посещать их семинары по физике и математике[7].

Оттуда я в октябре LXX перебралась в Берлин, и так как там по университетскому уставу мне не было позволено присутствовать на лекциях, то я встретилась с необыкновенной отзывчивостью Вейерштрасса[8], который помогал мне в течение четырех лет своими советами и влиянием, причем не только сообщал мне те знания, которые он обычно передает всем слушателям, но также щедро делился со мною многим из того, что им еще не опубликовано. За его неизменную ко мне бескорыстную доброту, увы, я никогда не буду в состоянии в достаточной мере отблагодарить его.

Намереваясь возвратиться в отечество, осмеливаюсь по совету моего дражайшего учителя представить славному философскому факультету Геттингенского университета первые плоды моих занятий — два исследования, из которых одно относится к теории дифференциального уравнения с частным производным, другое касается некоторой физико-математической проблемы; по оценке их прошу присудить мне степень доктора философии[9].

* Жизнь, жизнеописание (*лат.*).

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ [1]

Любовь к математике проявилась у меня впервые, насколько я могу это теперь припомнить, следующим образом. У меня был дядя, брат моего отца, Петр Васильевич Корвин-Круковский [2], живший в 20 верстах от нашего имения, в своем селе Рыжаково. Человек уже пожилой, он все свое хозяйство передал своему единственному сыну и, имея много свободного времени, часто приезжал к нам и живал у нас по целым месяцам. Дядя был в полном смысле слова идеалист и во многих отношениях человек, что называется, не от мира сего. Образование он получил домашнее, но, тем не менее, обладал очень обширными и разнообразными, хотя, как и большинство самоучек, недостаточно солидными познаниями, которые приобрел исключительно благодаря своей любознательности, без всякой посторонней помощи и с самой неосновательной элементарной подготовкой.

Любимым его занятием и единственным наслаждением, которое ему осталось от жизни, было чтение. В этом отношении его привлекала наша деревенская библиотека.

Он читал без разбору и с одинаковым удовольствием все, что попадалось под руку, — и романы, и исторические очерки, и научно-популярные статьи, и ученые трактаты. От природы чрезвычайно доброго и мягкого характера, он до безумия любил детей. При этом, хотя в то время и 60-летний старик, он сам обладал душою ребенка. Таким образом, несмотря на разницу наших лет, у меня завязалась с дядею самая тесная, почти товарищеская дружба. Меня тянули к нему его рассказы; он же, витая всегда в области фантазии, зачастую забывал, что перед ним ребенок, и, чувствуя необходимость поделиться с кем-нибудь своими мыслями, изливал передо мною свою душу. Как теперь помню многие и долгие часы, которые мы проводили вместе в угловой комнате нашего большого деревенского дома, в так называемой башне, она же и библиотека. Дядя рассказывал мне сказки, учил меня играть в шахматы; потом, неожиданно увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество. Но главным образом он любил передавать то, что за свою долгую жизнь ему удалось изучить и перечитать. И вот, в часы этих бесед, между прочим, мне впервые пришлось услышать о некоторых математических понятиях, которые произвели на меня особенно сильное впечатление. Дядя говорил о квадратуре круга, об асимптотах — прямых линиях, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, и о многих других, совершенно не понятных для

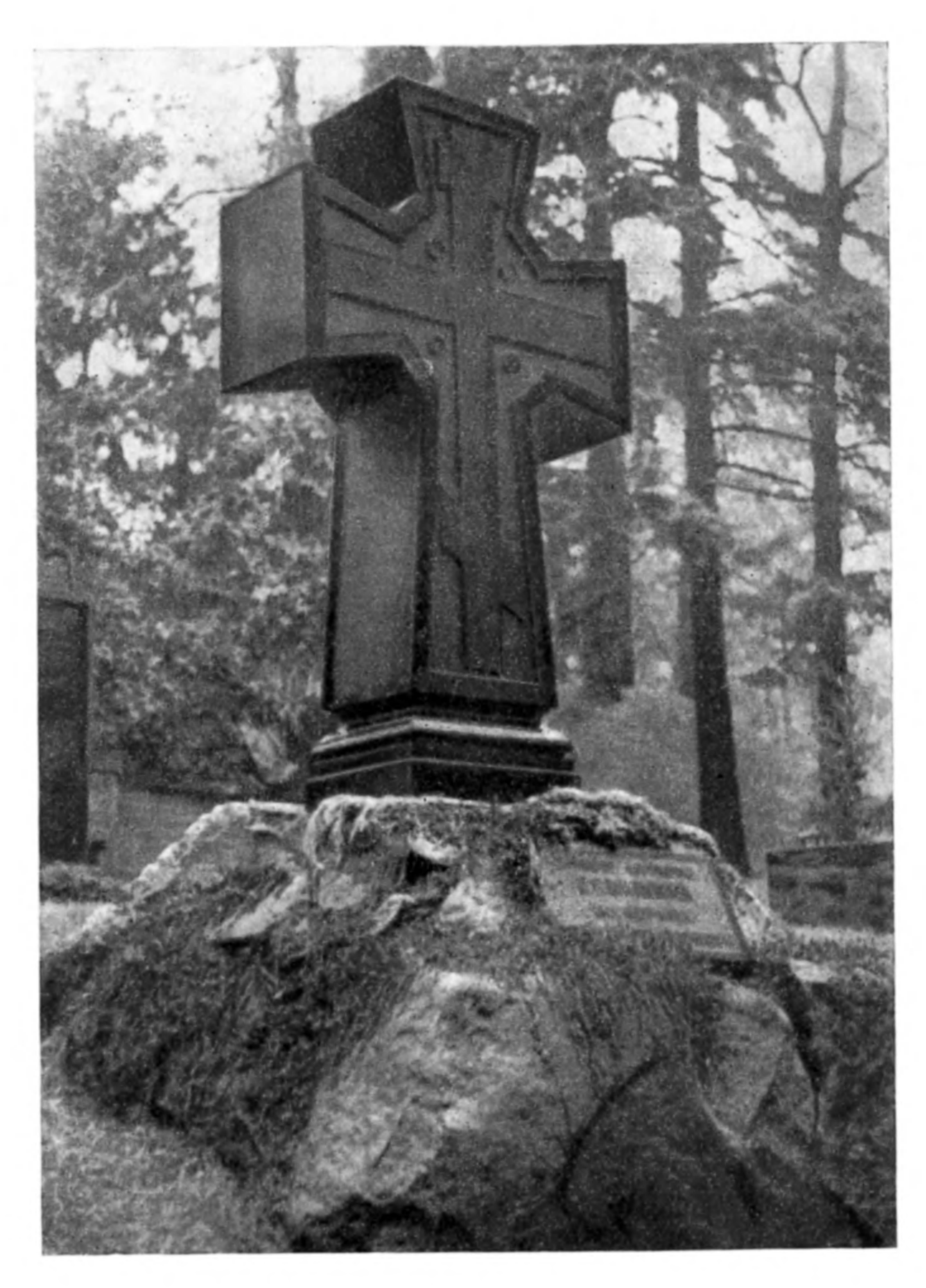
меня вещах, которые, тем не менее, представлялись мне чем-то таинственным и в то же время особенно привлекательным.

Ко всему этому суждено было присоединиться следующей, чисто внешней, случайности, которая еще усилила то впечатление, которое производили на меня эти математические выражения.

Перед приездом нашим в деревню из Калуги весь дом отделывался заново. При этом были выписаны из Петербурга обои; однако не рассчитали вполне точно необходимое количество, так что на одну комнату обоев не хватило. Сперва хотели выписать для этого еще обоев из Петербурга, но, как часто в подобных случаях водится, по деревенской халатности и присущей вообще русским людям лени все откладывали в долгий ящик. А время, между тем, шло вперед, и пока собирались, судили да рядили, отделка всего дома была уже готова. Наконец, порешили, что из-за одного куска обоев не стоит хлопотать и посылать нарочного за 500 верст в столицу. Благо все комнаты в исправности, а детская пусть себе останется без обоев. Можно ее просто обклеить бумагою, благо на чердаке в палибинском доме имеется масса накопившейся за много лет газетной бумаги, лежащей там без всякого употребления.

Но по счастливой случайности вышло так, что в одной куче со старой газетной бумагой и другим ненужным хламом на чердаке оказались литографированные записи лекций по дифференциальному и интегральному исчислению академика Остроградского[3], которые некогда слушал мой отец, будучи еще совсем молоденьким офицером. Вот эти-то листы и пошли на обклейку моей детской. В это время мне было лет 11. Разглядывая как-то стены детской, я заметила, что там изображены некоторые вещи, про которые мне приходилось уже слышать от дяди. Будучи вообще наэлектризована его рассказами, я с особенным вниманием стала всматриваться в стены. Меня забавляло разглядывать эти пожелтевшие от времени листы, все испещренные какими-то иероглифами, смысл которых совершенно ускользал от меня, но которые, я это чувствовала, должны были означать что-нибудь очень умное и интересное, — я, бывало, по целым часам стояла перед стеною и все перечитывала там написанное. Должна сознаться, что в то время я ровно ничего из этого не понимала, но меня как будто что-то тянуло к этому занятию. Вследствие долгого рассматривания я многие места выучила наизусть, и некоторые формулы, просто своим внешним видом, врезались в мою память и оставили в ней по себе глубокий след. В особенности памятно мне, что на самое видное место стены попал лист, в котором объяснялись понятия о бесконечно малых величинах и о пределе. Насколько глубокое впечатление произвели на меня эти понятия, видно из того, что когда через несколько лет я в Петербурге брала уроки у А. Н. Страннолюбского[4], то он, объясняя мне эти самые понятия, удивился, как я скоро их себе усвоила, и сказал: «Вы так поняли, как будто знали это наперед». И действительно, с формальной стороны, многое из этого было мне уже давно знакомо.

Первоначальным систематическим обучением математике я обязана



Могила С. В. Ковалевской в Стокгольме

И. И. Малевичу [5]. Это было так давно, что я теперь совсем не помню его уроков; они остались у меня темным воспоминанием. Но несомненно, что они произвели на меня большое влияние и имели важное значение в моем развитии.

В особенности хорошо и своеобразно Малевич преподавал арифметику. Однако я должна сознаться, что в первое время, когда я начинала учиться, арифметика не особенно меня интересовала. По всей вероятности, благодаря влиянию дяди Петра Васильевича, меня более занимали разные отвлеченные рассуждения, например, о бесконечности. Да и вообще, в течение всей моей жизни, математика привлекала меня больше философскою своею стороною и всегда представлялась мне наукою, открывающею совершенно новые горизонты.

Кроме арифметики Малевич преподавал мне также элементарную геометрию и алгебру. Только ознакомившись несколько с этою последнею, я почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами.

Увидя во мне такое направление, отец мой, имевший вообще сильное предубеждение против ученых женщин, решил, что надо прекратить мои уроки математики у Малевича. Однако мне удалось кое-как выпросить у Иосифа Игнатьевича книгу «Курс алгебры Бурдона» [6], который и стала прилежно изучать. Так как целый день я была под строгим надзором гувернантки, то мне приходилось пускать в дело хитрость. Идя спать, я клала книгу под подушку и затем, когда все засыпали, я, при тусклом свете лампады или ночника, зачитывалась по целым ночам.

При таком положении вещей я, разумеется, не смела мечтать о продолжении правильных занятий моим любимым предметом, и моим математическим познаниям, вероятно, надолго пришлось бы остановиться в пределах алгебры Бурдона, если бы мне не помог следующий случай, побудивший моего отца несколько изменить свой взгляд на мое образование.

Наш сосед по имению, профессор Тыртов [7], привез нам как-то свой элементарный учебник физики. Я попробовала читать эту книгу, но, к своему огорчению, в отделе об оптике встретила тригонометрические формулы, синусы, косинусы, тангенсы. Что такое синус? Перед этим вопросом я становилась в тупик и для разрешения загадки попробовала обратиться к Малевичу. Но так как это не входило в его программу, то он ответил мне, что не знает, что такое синус. Тогда, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить сама. При этом, по странному совпадению, я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадут друг с другом. А так как у Тыртова во все формулы входили только бесконечно малые углы, то, при взятом мною основном определении, эти формулы отлично сходились. На этом я и успокоилась.

Затем, через несколько времени, когда у меня зашла речь с Тыртовым по поводу его книги, то он сперва усомнился в том, чтоб я могла ее по-

нимать, и на мое заявление, что я прочла ее с большим интересом, сказал: «Ну, вот и хвастаетесь». Но когда я рассказала ему, каким путем я дошла до объяснения тригонометрических формул, то он совсем переменил тон. Он сейчас же отправился к моему отцу и горячо стал убеждать его в необходимости учить меня самым серьезным образом. При этом он сравнил меня с Паскалем[8]. Тогда, после некоторого колебания, отец мой согласился взять мне в учителя А. Н. Страннолюбского, с которым мы вслед за тем принялись успешно за работу и в течение зимы прошли аналитическую геометрию, дифференциальное и интегральное исчисления.

В следующем году я вышла замуж за В. О. Ковалевского и вскоре после этого мы уехали за границу, но там снова разъехались в разные стороны. Я отправилась в Гейдельберг, чтобы продолжать занятия математикою, а он поехал в другой университет учиться своей специальности — геологии...

Из Гейдельберга я поехала в Берлин, но тут на первых порах меня встретило разочарование... Столица Пруссии оказалась... отсталою. Несмотря на все просьбы и старания, мне не удалось получить в Берлине разрешение посещать университет.

Тогда... во мне принял участие... профессор Вейерштрасс. Благодаря отзыву обо мне гейдельбергских профессоров, а также видя, что я имею хорошую подготовку и серьезно желаю учиться, а не просто из пустой моды, он предложил мне заниматься со мною частным образом. Занятия эти имели в высшей степени важное влияние на всю мою математическую карьеру. Они окончательно и бесповоротно определили то направление, которому я следовала в дальнейшей научной деятельности, и все мои работы сделаны именно в духе вейерштрассовских идей.

Самого Вейерштрасса[9] я считаю одним из величайших математиков всех времен и бесспорно самым замечательным из ныне живущих. Он дал всей математике совершенно новое направление и создал не только в Германии, но и в других странах целую школу молодых ученых, которые идут по намеченному им пути и развивают его идеи.

Слушая лекции Вейерштрасса, я в то же время стала готовиться к достижению докторской степени. Но так как двери Берлинского университета были для меня, как для женщины, закрыты, то я решила обратиться в Геттинген. По правилам немецких университетов для получения степени доктора требуется, кроме экзамена, еще представление научной работы, так называемой «Inaugurale dissertation» *. Вейерштрасс предложил мне для разработки несколько тем, и я за два года своего пребывания в Берлине, вместо одной, требуемой по правилам, работы сделала целых три, а именно: по чистой математике — «О дифференциальных уравнениях с частными производными» и «О приведении некоторого класса Абелевых функций к функциям эллиптическим» и третью астрономическую — «О форме колец Сатурна».

* «Вступительная диссертация».

Все эти работы я и представила в Геттингенский университет. Они были признаны настолько удовлетворительными, что университет, вопреки установившимся правилам, нашел возможным освободить меня от экзамена и публичной защиты диссертации, что, в сущности, составляет только одну формальность, и прямо присудил мне степень доктора философии — «Summa cum laude» *.

В то же время первая из упомянутых моих работ, под заглавием «Zur Theorie der partiellen Differenzialgleichungen» **, была напечатана в журнале Крелля [10] («Crelles Journal für die reine und angewandte Mathematik» ***). Это честь, которой удостаиваются далеко не многие математики и которая для начинающего ученого очень велика, так как этот журнал в то время считался самым серьезным математическим изданием в Германии. В нем тогда принимали участие лучшие научные силы, а в прежние времена в нем помещали свои труды такие ученые, как, например, Абель [11] и Якоби [12]. Моя астрономическая работа «О форме колец Сатурна» была напечатана лишь много лет спустя, а именно в 1885 г., в журнале «Astronomische Nachrichten» **** [13].

В 1874 г. я вернулась в Россию. Здесь я занималась далеко не так ревностно, да и условия жизни гораздо менее способствовали моим научным занятиям, чем в Германии. Я работала с большими и частыми перерывами, так что едва успевала даже следить за наукой. Вообще за все время пребывания в России я не сделала ни одной самостоятельной работы. Единственно, что меня еще научно несколько поддерживало, — это переписка и обмен мыслей с моим милым учителем Вейерштрассом.

В России от серьезных научных занятий меня отвлекали различные обстоятельства: и само общество, и те условия, в которых приходилось жить. В то время все русское общество было охвачено духом наживы и разных коммерческих предприятий. Это течение захватило и моего мужа и отчасти, должна покаяться в своих грехах, и меня самое. Мы пустились в грандиозные постройки каменных домов, с торговыми при них банями. Но все это кончилось крахом и привело нас к полному разорению.

Вскоре после моего возвращения в России возникла газета «Новое время» [14]. Мой муж был хорошо знаком с издателем газеты, и мы, таким образом, попали в кружок «Нового времени». Я пробовала в этой газете свои литературные силы в качестве театрального рецензента.

В 1882 г. я опять уехала за границу и с тех пор живу там почти постоянно, только изредка, на короткий срок, приезжаю по делам в Россию. За свою жизнь я перебывала во многих городах и странах, так что могу сказать, что, за исключением Италии и Испании, с Европой знакома хорошо. Всего же лучше, кроме Швеции, я знаю Париж. Там я была

* С высшей похвалой.

** «К теории дифференциальных уравнений в частных производных».

*** «Журнал Крелля для чистой и прикладной математики».

**** «Астрономическое обозрение».

много раз, да и теперь большею частью провожу свои каникулы во Франции.

Вернувшись за границу, я снова энергично принялась за науку, от которой отдыхала столько лет в России. Прежде всего я поехала в Париж, где познакомилась с тамошними выдающимися математиками, между прочим, с знаменитым Hermit'ом[15], а также из молодых с Poincaré[16] и Picard'ом[17]. Эти два последние, по моему мнению, самые талантливые из нового поколения математиков во всей Европе.

Тогда же я принялась за новую большую работу «О преломлении света в кристаллах». Вообще в математике на самостоятельные исследования в большинстве случаев приходится наталкиваться путем чтения мемуаров других ученых. Так и я была наведена на эту тему изучением работ французского физика Lamé[18].

Моя работа была доведена до конца в 1883 г. и произвела некоторое впечатление в математическом мире, так как вопрос о преломлении света далеко еще не достаточно разъяснен; я же рассмотрела его с другой, совершенно новой точки зрения.

Этот свой мемуар я поместила в 1884 г. в молодом, начавшем только с 1882 г. свое существование журнале «Acta Mathematica». Хотя «Acta» и издаются в Швеции, но, тем не менее, это издание вполне международное, так как оно получает субсидию не только от шведского короля, но и от иностранных государств, в том числе от французского правительства, а также от Германии, Дании и Финляндии. В настоящее время [1890 г.] по ученому значению это один из самых крупных математических журналов. В нем состоят сотрудниками самые выдающиеся ученые всех стран и затрагиваются самые, так сказать, жгучие вопросы, которые всего более привлекают внимание современных математиков. Прп этом часто бывает, что одним и тем же вопросом занимаются несколько человек зараз. Вообще условия издания серьезного математического журнала совсем иные, чем других периодических изданий. Поэтому и «Acta Mathematica» выходят в свет не в заранее определенные сроки, а по мере того, как накопляется материал, назревают новые вопросы и являются их решения. Обыкновенно в год выходит два тома.

Кроме моей работы «О преломлении света в кристаллах», в «Acta Mathematica» помещены и некоторые другие мои статьи, в том числе в 1883 г. там напечатана вторая из представленных мною еще в 1874 г. в Геттингенский университет диссертация «О приведении некоторого класса Абелевых функций к функциям эллиптическим».

Все мои ученые труды написаны на немецком или на французском языках[19]. Я владею ими наравне с родным русским. Но в математических работах язык играет весьма несущественную роль. Тут главное — содержание, идеи, понятия, а затем для выражения их у математиков существует свой язык — это формулы.

В начале 1880-х годов в Швеции стал развиваться недавно основанный там Стокгольмский университет. В эту пору я была уже достаточно

известна в математическом мире как своими работами, так и чрез личное знакомство почти со всеми выдающимися европейскими математиками. Особенно часто приходилось мне встречаться и в Берлине и в Париже с главным математиком и нынешним ректором Стокгольмского университета, профессором Миттаг-Леффлером[20], одим из лучших учеников нашего общего учителя Вейерштрасса.

И вот в 1883 году меня пригласили в Стокгольм читать лекции математики. По поводу этого я хочу сказать несколько слов об истории возникновения молодого Стокгольмского университета.

До тех пор в Швеции был древний университет в Упсале, существующий уже несколько сот лет. Он страдает теми же недостаткамп, которые замечаются почти во всех старых университетах в маленьких городах. В них жизнь как будто застыла, п все осталось в том же виде, как было несколько столетий тому назад. Профессора живут там совершенно замкнутою, почти средневековою жизнью, которая мало способствует развитию новых плодотворных идей. При этом неизбежным образом является, как и в русских провинциальных университетах, некоторое кумовство, и профессора тянут друг друга за руку.

Во избежание всего этого стала ощущаться потребность в призыве новых сил, и общественное мнение, которое в Швеции имеет весьма большое значение, стало требовать основания университета в столице. Хотя в Швеции жизнь вообще чрезвычайно проста, но там есть много богатых людей, которые охотно жертвуют крупные суммы на общественные дела. Лишь бы было сочузствие в обществе, а средства найти легко. Этот факт невольно поражает всякого иностранца, приезжающего в Швецию. Почти о всяком тамошнем учреждении приходится слышать, что оно возникло на частные пожертвования. То же было и с Стокгольмским университетом. В числе причин, заставляющих желать учреждения нового университета, немаловажное место занимало также и неудобство для многих семейств, живущих в Стокгольме, посылать молодых людей сравнительно довольно далеко от себя, в Упсалу. Таким образом, сперва дело имело чисто индивидуальный характер. Несколько лиц соединились и общими силами стали собирать необходимые средства. Но затем, когда общественное мнение стало высказываться сильнее, то и правительство, а главным образом городская дума решили принять участие в общем деле и постановили принять на себя половину всех необходимых расходов. При этом, однако, правительство не взяло на себя роли распорядителя судьбою будущего университета, и вопрос о том, как ему следует развиваться, был предоставлен самому обществу.

С самого начала за основную идею было принято, что университет должен быть свободен. За образец были взяты немецкие университеты, в которых преподавание ведется совершенно свободно. Там, например, для слушания лекций совсем не требуется представления документов. Впоследствии, для получения степени доктора, надо представить различные документы, но слушать лекции может беспрепятственно всякий, внеся за это известную установленную плату. При этом к слушанию

лекций допускаются и женщины на совершенно одинаковых правах с мужчинами.

Экзамены, имеющие повсеместно такое важное значение, здесь не обязательны. К тому же в настоящее время сам университет не достиг еще полного своего состава (пока открыты только два факультета) и до этого не имеет права выдавать ученых степеней.

Преподавание не делится, подобно тому, как в России, на курсы с определенною программою, а дело ведется применительно к контингенту слушателей. Часто к нам приезжают, чтобы слушать лекции и пользоваться советами профессоров — и такими слушателями мы всего более дорожим, — лица, бывшие уже в других высших учебных заведениях и даже получившие ученые степени, например, в Упсале, Лунде. Много молодых людей приезжают также из Финляндии: из них некоторые — кандидаты Гельсингфорсского университета, и даже некоторые из лучших наших учеников были финляндцы.

Учебный год распадается на два семестра, разделенных друг от друга каникулами. За несколько времени до начала каждого семестра мы, профессора, собираемся и обсуждаем, какие лекции назначить на предстоящий семестр.

В настоящее время в Стокгольмском университете насчитывается свыше 200 слушателей, мужчин и женщин. Из этого числа в прошлом году около одной трети принадлежали к лучшим шведским фамилиям. Вообще наша университетская молодежь великолепная, и отношения студентов между собою и к профессорам самые задушевные.

Многие из наших бывших учеников уже принялись за самостоятельную деятельность. Так, двое состоят доцентами в Гельсингфорсском университете, а один читает лекции в Высшем техническом училище. Также одна наша ученица получила место преподавателя в старших классах мужской гимназии и теперь дает уроки 15—16-летним юношам.

В первое время после моего приезда в Швецию я предложила на выбор читать лекции по-немецки или по-французски. Большинство слушателей пожелало, чтобы я читала по-немецки. Но через год я уже была в состоянии читать лекции по-шведски. Это не представило для меня особенных трудностей, так как по приезде я сразу попала в шведское общество и стала брать уроки шведского языка.

На первых порах я была приглашена в качестве доцента. Но менее чем через год меня назначили ординарным профессором, которым я и состою с 1884 г. Кроме чтения лекций, на мне лежит также обязанность участвовать в заседаниях совета и я имею право голоса наравне с прочими профессорами. Жалованье ординарному профессору у нас полагается 6000 крон в год (крона на немного больше германской марки: 700 крон — 1000 франков). Я читаю четыре лекции в неделю, т. е. два дня по два часа подряд. Так как я излагаю очень специальные вопросы, то слушателей у меня не особенно много: человек 17—18.

За год моего пребывания в Швеции я много и серьезно работала. Между прочим, там я написала самую важную из моих математических

работ, за которую получила премию от Парижской Академии наук. В этой работе я исследовала вопрос «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести» [21]. Он имеет весьма большое значение и, между прочим, обнимает собою теорию маятника. В то же время это один из самых, так сказать, классических вопросов в математике. К его решению прилагали усилия величайшие умы, в том числе Эйлер [22], Лагранж [23] и Пуассон [24]. Но, несмотря на это, он еще далеко не решен вполне, и мы знаем только немного случаев, для которых найдено вполне строгое его математическое решение. Вообще в истории математики можно указать на немного вопросов, которые, подобно этому, заставляли бы так сильно желать своего решения и к которым было бы приложено столько же лучших сил и упорного труда, не приводивших в большинстве случаев к существенным результатам. Недаром среди немецких математиков он носит название «Die mathematische Nixe» *.

Эта задача всегда сильно меня интересовала, и я уже с давних пор, чуть ли не со времен своего студенчества, стала пробовать над нею свои силы. Но долгое время все мои труды оставались бесплодными, и только в 1888 году усилия мои увенчались успехом. Поэтому можно себе представить, как я была счастлива, когда, наконец, мне удалось достигнуть действительно крупного результата и сделать в решении столь трудного вопроса важный шаг вперед.

В том же 1888 году Парижская Академия наук назначила конкурс на соискание премии, которая должна была быть выдана за лучшее сочинение на тему «О движении твердого тела». При этом было поставлено непременным условием, чтобы в сочинении были усовершенствованы или дополнены в каком-либо существенном отношении добытые до настоящего времени знания в этой области механики.

В то время я уже достигла главных результатов моей работы. Но пока они были еще только у меня в голове. А так как вопрос, который я решила, вполне подходит к заданной Парижскою Академиею теме, то я еще с большим усердием принялась за работу, чтобы успеть к назначенному сроку привести в порядок весь материал, разработать детали и написать это сочинение.

Когда все это было благополучно окончено, я послала свою рукопись в Париж. При этом, по условиям конкурса, она должна была быть послана анонимно, т. е. я написала на ней девиз и затем приложила к ней запечатанный конверт, внутри которого было мое имя, а сверху надписала тот же девиз. Таким образом, при оценке представленных работ авторы их оставались неизвестными.

Результаты превзошли мои ожидания. Всех работ было представлено около 15, но достойною премии была признана моя. Но этого мало. Ввиду того, что та же тема задавалась уже три раза подряд и каждый раз оставалась без ответа, а также вследствие важности достигнутых мною ре-

* «Математическая русалка» (*нем.*).

зультатов, Академия постановила назначенную первоначально премию в размере 3000 франков увеличить до 5000 франков. После этого был вскрыт конверт, и все узнали, что я автор этого труда. Меня сейчас же уведомили, и я поехала в Париж, чтобы присутствовать на назначенном по этому поводу заседании Академии наук. Меня приняли чрезвычайно торжественно, посадили рядом с президентом, который сказал лестную речь, и вообще я была осыпана почестями.

Как я уже сказала раньше, я поселилась в Швеции с 1883 года, и за это время так освоилась с тамошнею жизнью, что чувствую себя там как дома. Стокгольм очень красивый город, и климат в нем довольно недурен, только весна бывает неприятна.

У меня большой круг знакомых и мне приходится часто бывать в обществе. Даже езжу ко двору.

Что касается шведского общества, то я должна сказать, что образованная часть его мало отличается от общества петербургского; но если взять все общество, то в Швеции оно стоит, конечно, неизмеримо выше, чем в России.

Отличительная черта шведов — чрезвычайное добродушие и мягкость, которые развились у них, я думаю, потому, что в их истории никогда не было гнета. У них, правда, существуют партии, но борьба их принимает мягкие формы: как-то не замечаешь желания насолить друг другу. Всего яснее проявляется национальный характер в отношениях Швеции к Норвегии. Первая в большинстве случаев делает уступки последней, так что Норвегия, которая некогда была присоединена к Швеции, в настоящее время признана во всех отношениях равноправною.

Король Оскар — милый и образованный человек. В молодости своей он посещал университетские лекции и теперь еще обнаруживает известный интерес к науке, хотя я и не поручусь за глубину его знаний. Лично с университетом он не имеет ничего общего, но очень сочувствует ему и весьма дружелюбно относится к профессорам вообще и в частности ко мне. В политическом отношении он проявляет общие всем шведам черты: мягкость и уступчивость. Так, например, в последней, так называемой министерской, истории, когда произошли по некоторым делам разногласия между королем и министерством, и кончились тем, что уступил король.

29-го мая 1890 г. СПб.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ

Какому человеку не случалось иногда задумываться над вопросом, насколько иначе сложилась бы его жизнь, если бы он в том или ином случае поступил не так, как он поступил в действительности, а иначе.

Когда мы вспоминаем об обыденных явлениях нашей жизни, мы всегда представляемся себе рабами внешних обстоятельств. Обыденный ход нашего будничного существования держит нас связанными тысячью невидимых нитей. Мы занимаем в жизни известное определенное место, на нас лежат известные, определенные обязанности, которые мы исполняем, точно автоматы, не напрягая своих сил до последней крайности, и еслп бы мы проснулись поутру и почувствовали себя внезапно немного лучше илп хуже, чем прежде, немного крепче или слабее, немного более пли менее способными, то в целом это представило бы весьма мало значения.

Я не могла бы заставить течение своей жизни переменить направленпе, не сделавшись совершенно иною, чем какая я в действптельности, не будучи одаренною совершенно инымп качествамп, которые я даже во сне не могу приписать себе, не потеряв сознания своей пндивидуальности. Но совсем иным представляется мне все это, как только на ум приходят некоторые обстоятельства моей жизни. Тогда присущее мне убеждение в существовании свободной воли заговаривает во мне с неудержимою силою. Мне кажется, что стопло мне в ту или иную прошлую минуту напрячь несколько больше свои силы, больше вдуматься в положение дела, действовать более энергически, быть в ином расположении духа, и я сама направила бы свою судьбу по совершенно иному пути.

Здесь происходит то же, что с верою в чудеса. Вряд ли найдется человек, который, не будучи сумасшедшим, стал бы молить создателя нарушить ради него явным образом незыблемые законы природы, заставить, например, мертвого вернуться к жизни. Но я позволю себе спросить всех верующих людей, кто из них не молил несколько раз господа сделать радп него маленькое измененпе в своих постановлениях, заставить, например, больного выздороветь. Маленькое чудо кажется нам несравненно более легким для выполнения, чем большое, и нужно действительно некоторое умственное усилие, чтобы признать обе эти просьбы совершенно однородными. То же происходит и с нашими мыслями о самих себе. Для меня почти невозможно представить себе, как я могу проснуться неожиданно утром с голосом Дженни Линд, с телом, таким же гибким и силь-

ным, как у ... с. Но мне не было бы нисколько трудно представить себе, что цвет моего лица...

Такую именно решительную минуту и желали изобразить авторы в своих двух параллельных драмах. Они вообразили, что Карл в первой драме и Карл во второй — одно и то же лицо, но что между ними существуют небольшие различия, из тех, которые так легко приписать себе, не утрачивая сознания собственной индивидуальности. В обыденной жизни мы почти не заметили бы, что такого рода различия существуют, и в большинстве случаев они не оказали бы никакого влияния на то или иное действие Карла. Стоит нам представить, что все пошло хорошо, что отец героя прожил еще года два, и Карл, нарисованный в первой драме, и Карл, как он изображен во второй драме, испытали бы приблизительно одинаковую судьбу, и все мелкие пертурбации в их жизни, которые могли быть вызваны этими небольшими, изобретенными нами различиями в их характерах, скоро бы прекратились под давлением внешних обстоятельств.

Но тут наступает такой решительный момент в их жизни, когда совершенно одинаковые обязанности толкают их в совсем противоположные стороны, и тогда предположенных нами небольших различий в их характерах совершенно достаточно, чтобы заставить одного из них избрать один путь, а другого — другой, а раз выбор сделан, каждый из них начинает жить совершенно особенною жизнью, и пути их никогда уже больше не встречаются.

Возьмем другой пример из области механики.

Представим себе обыкновенные часы или, если хотите, небольшую тяжелую пулю, висящую на очень легкой, но трудно сгибаемой нити, прикрепленной к гвоздю. Стоит дать пуле небольшой толчок, и она сейчас двинется в правую или в левую сторону, смотря по направлению удара, опишет известный круг, достигнет известной высоты, упадет назад, но не остановится на том месте, откуда ей дан был первоначальный толчок, а двинется дальше в противоположном направлении, поднимаясь приблизительно на ту же высоту, на какую она поднялась на противоположной стороне, будет в течение известного времени качаться таким образом взад и вперед.

Если бы мой первый удар был несколько сильнее, пуля поднялась бы несколько выше, но затем продолжала бы двигаться вышеописанным образом. Но если бы мой первый удар был настолько силен, чтобы пуля могла достигнуть наибольшей высоты поднятия нити, она не упала бы назад, а продолжала бы двигаться вперед в сторону, противоположную первоначальному направлению, описывая полный круг, вследствие чего движение изменило бы совсем свой первоначальный характер; таким образом, два удара, совершенно подобные друг другу, из которых один не доходит до известной черты, а другой переходит за нее, привели к совершенно различным результатам.

В механике мы привыкли изучать такого рода границы движений, или критические моменты, и иногда для того, чтобы составить себе ясное по-

нятие об известном явлении, бывает необходимо исследовать его в связи с этимп моментами.

Авторы настоящей драмы задались мыслью исследовать влияние такого рода критического момента на двух людей, очень похожих друг на друга, но не вполне тождественных. Чтобы понять, что хотели сказать при этом авторы, нужно помнить, что Карл одной п Карл другой пьесы не одно и то же лицо: один из них более идеалистичен, лучше умеет отличать существенное в жизни от несущественного. Но эти различия так незначительны, что в обыкновенной жизни мы вряд ли бы отличили одного Карла от другого.

Если бы все пошло хорошо, если бы отец прожил еще несколько лет, так чтобы сын получил возможность упрочить свое положение после его смерти, судьба обоих Карлов сложилась бы, по-видимому, одним и тем же образом. По всей вероятности, оба онп сделались бы мирными научными деятелями, может быть профессорами университета или высшей технической школы, женились бы приблизительно в одном и том же возрасте и сделали бы один и тот же выбор. Но внезапно наступает критический момент в их жизни, и маленького, еле заметного различия между ними совершенно достаточно, чтобы заставить одного смело переступить через критический пункт, а другого упасть под его бременем.

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ и А. К. ЛЕФФЛЕР

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ

Две параллельные драмы

I

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ

КАК БЫЛО

Драма в четырех актах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Барон Юлленьельм.
Алиса, *его дочь.*
Тетя Эмилия, *сестра барона.*
Яльмар.
Фру Торель.
Карл, Эрнст, Паула — *ее дети.*
Стенсон.
Марта, *его дочь.*
Фру Фредгольм.
Фру Селен.
Господин.
Дама.
Гости, рабочие, школьники и др.

Действие происходит то в Герргамре, в доме барона Юлленьельма, то в Лидо у Торелей.

ПРОЛОГ

Терраса замка Герргамры видна сбоку. Группы цветов, садовые стулья, диваны и стол. Боковая часть замка с балконом, справа от балкона лестница, слева темный, тенистый парк, расположенный немного ниже террасы и отделенный от нее несколькими ступенями и железной решеткой. Сквозь деревья выделяются заводские здания. На заднем плане слева виден водопад, ниспадающий несколькими уступами, причем верхняя часть его течет свободно, а нижняя задерживается плотинами для целей производства; справа открывается вид вдаль, на горы, на которых горят огни кануна Ивана Купалы. Рабочие в праздничных одеждах появляются во дворе, который окружает часть замка, составляя как бы продолжение террасы. На террасе слева стоит Алиса, одетая в белое и окруженная толпою школьников, которым она раздает свертки. Учительницы находятся тут же, в толпе детей, и заставляют их подходить по одному, в порядке. Так как Алиса не может рассмотреть детей, стоящих в последнем ряду, то она становится на скамейку и продолжает раздавать свертки, не обращая внимания на прибывающих соседей, гостей; их встречает тетушка Эмилия.

Г-жа Селен (*выходит из замка; обращаясь к тете Эмилии и указывая в то же время на Алису*). Какая прелестная картина! Не правда ли, приятно, что наша милая Алиса опять вернулась домой?

Тетушка Эмилия. (*Она постоянно то подымает, то опускает глаза и говорит жалобным, кротким голосом*). О да, конечно, очень приятно! Это милое дитя внесло в дом столько жизни! Так много планов у нее в голове, — она собирается устраивать и школы, и публичные чтения, и разного рода другие полезные вещи для народа.

Фру Селен. Она, кажется, блестяще выдержала экзамен в университет?

Тетушка Эмилия. Да, — голова у нее на месте, у нашей девочки. Она вся в отца. И если уже господь бог не дал моему дорогому брату сына, то хорошо, по крайней мере, что дочь его...

Фру Селен. А будет она продолжать занятия в Упсале?

Тетушка Эмилия (*улыбаясь и бросая взгляд на Яльмара, подходящего к ней*). О, я думаю, что скоро случится нечто совершенно другое.

Тетушка Эмилия. Да, видишь ли, они собственно выросли вместе, как брат и сестра, и поэтому, может быть, не думают об этом, — но это было бы очень приятно для моего брата, — он всегда любил Яльмара, как сына.

(Яльмар подходит и раскланивается с г-жею Селен.)

Фру Селен. Поздравляю тебя, дорогой Яльмар, с приездом твоей милой кузины, — ты, верно, очень рад?

Яльмар (*равнодушно*). О да, конечно. Послушай, тетя Эмилия, разве это правда, что Алиса пригласила на сегодняшний вечер Марту Стенсон?

Тетушка Эмилия. Да, дорогой Яльмар, ты знаешь, они учились вместе в школе. И Марта так привязана к Алисе, что...

Яльмар. Значит, и фабрикант Стенсон будет теперь бывать у нас в доме?

Тетушка Эмилия. Да, Марта написала Алисе, что не может приехать, если ее отец не получит приглашения. Что прикажешь делать с людьми, у которых совсем нет такта? Алиса была ужасно раздосадована, но...

Яльмар (*к барону Юлленьельму, который подходит к нему*). А ты что скажешь на это, дядюшка?

Барон (*г-же Селен, делающей вопросительный жест*). Это наш сосед и вдобавок как бы конкурент. Стенсон — директор компании, которой принадлежит Лидо, знаешь, Констанция, тот большой завод около города, он всегда старался всеми силами повредить Герргамре и с удовольствием остановил бы наш завод, если бы мог.

Фру Селен. Да, а разве это, в сущности, не было бы приятнее? Мне кажется, что Герргамра стала бы лучше, вся эта сажа, этот дым...

Барон (*улыбаясь и бросая взгляд на Алису*). Будущая владелица майората не разделяет этого мнения. Она очень интересуется заводом и рабочими.

Фру Селен. Ах, Алиса, да! Но многое зависит еще от мнения ее будущего мужа.

Другая дама. Но ведь есть, кажется, какое-то условие для перехода майората в женскую линию.

Фру Селен. Наследница не имеет права выходить замуж за человека недворянского происхождения, да, но...

Другая дама. Но это не единственное условие, на нее возлагается и обязательство поддерживать завод?

Тетушка Эмилия. Да, наш покойный дедушка был настоящим отцом для своих людей, и он думал, конечно, что его мужские потомки останутся верны традициям своего рода, но что дочь может выйти замуж в другой род, и тогда неизвестно, как будет относиться к заводу ее муж, поэтому, видишь ли...

Фру Селен. А! Тогда я понимаю! Значит Якоб *не может* закрыть завода.

Тетушка Эмилия. Да он этого и не желает, конечно. Якоб так добр. (*Барон идет навстречу Стенсону и Марте и раскланивается с ними.*)

Тетушка Эмилия. А-а, Стенсоны. Не правда ли, как это мило со стороны Якоба!

Марта (*бежит навстречу Алисе*). А, вот где Алиса! (*Алиса кивает ей головою, но продолжает раздавать свертки.*) Она стоит там, точно добрая фея! (*С восхищением смотрит на нее.*)

Барон (*к Стенсону*). Как же здоровье управляющего Тореля? Это серьезно?

Стенсон. Капут! Он уже не может двигать правою рукою.

Барон. Это большая потеря для Лидо, не правда ли?

Стенсон (*прищуривая глаза*). Вы думаете, господин барон?

Барон. Конечно, он такой умный человек!

Стенсон (*указывая на голову*). Мания величия, мания изобретений; тяжелая форма, говорят доктора.

Барон. Так вы, значит, не верите в его великое изобретение?

Стенсон. Это чистое сумасшествие, больше ничего. Он лучше бы делал, если бы усерднее занимался делами завода вместо того, чтобы разорять себя дорогими опытами. Нечего сказать, приятно будет его старшему сыну распутывать все эти дела.

Барон. Да, он ведь только что приехал домой из-за границы. Это, кажется, очень талантливый молодой человек и очень образованный. Он ведь может помочь отцу закончить разработку его изобретения, если только оно действительно представляет какое-нибудь значение.

Стенсон. Ну, он бросит этим заниматься, когда увидит настоящее положение дела.

Фру Селен (*к тете Эмилии*). Это он, это тот молодой Торель, который?..

Тетушка Эмилия. Да, но все это ребячество. Алисе не было еще и 16 лет, когда он последний раз приезжал домой. Но сестра его, Паула, училась вместе с нею в школе, и вот они постоянно толковали о брате и возвели его в герои.

(Алиса, окончив раздачу наград, соскакивает со скамьи и здоровается с Мартой.)

Марта (*обнимая ее*). Какое у тебя хорошенькое платье!

Алиса. Но если бы ты знала, что у меня тут! *(Показывает студенческую фуражку, спрятанную за скамьею.)* Паула и я сговорились надеть наши фуражки сегодня. Но я не надену одна, ни за что, пока я не увижу, что она в самом деле... Ах, да вот и она, наконец! (*Бежит навстречу Пауле, входящей с Эрнстом.*) Здравствуй, дорогая! (*протягивает Эрнсту руку*). А Ваш брат Карл?

Паула. Он придет сейчас, он только остался на несколько минут с папою. Им много о чем надо поговорить.

Алиса. Вот как! (*таинственно*). Почему же ты не надела?..

Паула. Но и ты не надела?..

Алиса. Я ждала тебя.

Паула. И я также.

(Обе вынимают и показывают друг другу свои фуражки.)

Алиса. Ах, как это приятно, наденем же их сейчас.

Паула. Только бы они над нами не смеялись!

Алиса. О нет, ведь нас двое.

(Надевают студенческие фуражки.)

Паула. Идем же со мною, будем вместе подходить к гостям.

(Берет Алису под руку и присоединяется с нею к другим гостям.)

Марта (*Эрнсту*). Теперь я ужасно раскаиваюсь, что не держала экзамена в университет!

Эрнст. Неужели? Вы думаете, это облегчит им возможность выйти замуж? Во всяком случае, вы самая милая из всех девушек на свете.

Алиса (*отзывая Паулу в сторону*). Ну, что же он говорит? Как он выглядит? Похож он на прежнего Карла?

Паула. Он, на мой взгляд, очень возмужал. Я даже несколько стесняюсь его, он кажется таким решительным, энергичным.

Алиса. Неужели? Тогда и я буду стесняться. Спрашивал он что-нибудь?

Паула. Про тебя? О, само собою разумеется, он все время говорил о тебе, дорогая моя!

(Алиса обнимает ее.)

(Яльмар подходит и просит Алису представить его.)

Алиса. Кузен мой Яльмар, Паула Торель.

Марта (*подбегая*). Быть может ты и меня представишь своему кузену?

Алиса. Фрекен Марта Стенсон. Яльмар много уже слышал о вас.

Яльмар. Да, Алиса всю неделю занимала меня рассказами о своих школьных подругах. А однажды вечером я ее поймал, позволишь, Алиса, сказать? — она сидела и плакала.

Алиса. Замолчи, пожалуйста! Я, впрочем, вовсе не стыжусь своих слез. Так странно чувствуешь себя в одиночестве, когда ты привыкла всегда иметь кого-то, с кем можно поговорить.

Яльмар. Я предлагал ей попробовать разговаривать со мною, но она не хочет.

Алиса. Ты не понимаешь моего настроения. (*Обращаясь к Пауле.*) Он такой несносный — все подымает на смех. Для тебя нет ничего лучшего, как сидеть в мягком кресле с хорошею сигарою во рту.

Яльмар. Да, это не лишено своей прелести. Когда смотришь на голубые кольца дыма, а их нужно видеть, а не сидеть в темноте.

Алиса. Да, или же сидеть за хорошим обедом с шампанским.

Яльмар. Да, и шампанское тоже создает настроение.

Паула. Вы постоянно пикируетесь таким образом?

Тетушка Эмилия. Мне кажется, что Алиса немного несправедлива. Яльмар никогда не чувствует себя так хорошо, как за фортепиано. (*К фру Селен и некоторым другим.*) Право, удивительно, как может Яльмар целые дни просиживать за фортепиано и фантазировать.

Алиса. Да, это правда.

Другая дама. Но очень жаль, что другие не могут этим наслаждаться... Вы должны были бы издать свои сочинения.

Яльмар. Чтобы слышать потом, как барышни будут бренчать их на никуда не годных фортепианах.

Алиса. Например, я. Когда я хочу хорошенько разозлить Яльмара, я сейчас сажусь за фортепиано и играю, — вот посмотрели бы вы на него тогда.

Яльмар (*Пауле*). Но вы, фрекен Торель, действительно умеете играть.

Паула. А вы откуда знаете, господин барон?

Яльмар. Я однажды подслушал вашу музыку.

Паула. Когда же это, скажите пожалуйства?

(Карл во время разговора подходит и здоровается с тетушкой Эмилией и некоторыми другими, затем стоит, ожидая, что Алиса взглянет в его сторону и поздоровается с ним, но она делает вид, что не замечает его, пока тетушка Эмилия не заговорит с нею).

Тетушка Эмилия. Алиса, милая, — инженер Торель.

Алиса (*быстро оборачивается с деланным удивлением и протягивает ему руку*). Я не думала, что вы так скоро придете. Паула говорит, что ваш отец...

(Карл кланяется Яльмару и Марте.)

Алиса. Мы только что разговаривали о музыке, — вы ведь участвовали в студенческом хоре в Упсале? Я так люблю студенческие хоры, мне пришлось быть на концерте в Упсале тотчас после экзамена.

Карл (*стоит все время, не сводя с нее глаз и не слушая, что она говорит*). Вы были — вы были на концерте в соборе?

(Алиса смотрит на него, широко раскрыв глаза, но ничего не отвечает. Карл смущается и обращается к Яльмару.)

Алиса (*отводит Паулу в сторону*). Нет, ты не поверишь, как я была поражена, когда услышала его голос.

Паула. Почему?

Алиса. Видишь ли, это так трудно объяснить. Все эти три года я была мысленно с ним, — его наружность, его взгляд, его манера держаться — все это я постоянно видела перед собою, — но я никогда не думала о его голосе, — и теперь он так сильно поразил меня, — все стало таким реальным, так ошеломляюще, захватывающе реальным. (*Обнимает ее.*)

Яльмар (*Пауле*). Вам угодно выслушать меня, фрекен? Это было три года тому назад, как только получен был новый орган в часовне Лидо. Однажды осенним вечером, направляясь к часовне, я заметил, что входная дверь открыта настежь и что из нее раздается музыка. Так как музыка была недурна, то я вошел, сел в темный угол на скамье и про-

слушал целый ряд прехорошеньких девических фантазий — кстати сказать, довольно необычных в церкви. Мне казалось, что я сижу и подслушиваю чужие тайны — никогда еще никто не рассказывал мне так много, о чем мечтают молодые девушки, когда они одни, как именно эти звуки.

Паула (*в смущении*). Что же вы поняли из них?

Яльмар. Ну, конечно, если я вам скажу, то вы сейчас же начнете отрицать. Все девушки лицемерны, когда дело касается этих вопросов. Знаете ли вы стихи Рунеберга, ... все девицы

На деле любят поцелуи,
Но презирают на словах.

Паула (*отворачиваясь от него*). Я не понимаю, что вы хотите сказать этим, барон.

(Во время этого разговора Алиса и Карл избегают встречи, хотя, разговаривая с другими, бросают друг на друга взгляды исподтишка. Слышится выстрел со стороны двора.)

Тетушка Эмилия. Господа, прошу перейти на другую сторону. Это сигнал для начала празднества. *(Все устремляются во двор. Тотчас после этого раздаются звуки скрипки, наигрывающей танец.)*

Алиса (*делает Пауле знак подойти*). Постой. Мне нужно с тобой поговорить. *(Алиса и Паула вскоре остаются одни на сцене.)*

Алиса (*бросаясь на шею Пауле*). Паула! Я так несчастна!

Паула. Что с тобою? Что с тобою?

Алиса. Как глупо было предаваться таким мечтам!

Паула. Но что же случилось? Милая!

Алиса. Ты разве не заметила, как он страшно разочарован во мне? И я также ужасно — ужасно разочарована!

Паула. Неужели ты находишь, что он так сильно переменился?

Алиса. Нахожу ли я! Нет, он находит, что я ужасно переменилась. Разве ты не видишь, как он избегает меня? О, он совсем, совсем не такой, каким я его всегда представляла себе. И теперь я чувствую в себе страшную пустоту, — точно я умираю.

Паула. Он только немного сконфужен, больше ничего, — я поговорю с ним.

Алиса. Посмей только, Паула. Впрочем, если будешь говорить, то скажи, что он совсем не такой, как прежде.

(Паула подходит к Карлу, который во время разговора несколько раз выходит из-за угла замка и смотрит на них. Алиса разговораивает с некоторыми гостями справа, у противоположной стены замка.)

Карл (*Пауле, смущенный*). Ну, что же она говорит? Конечно, я совсем не похож на того, кого она рисовала себе в своих мечтах? Этого и следовало ожидать, — ей было всего 15 лет, когда мы виделись в последний раз.

Паула. Но и ты также находишь в ней сильную перемену?

Карл. О да, конечно, — тогда в ней было что-то мечтательное, нежное... Теперь она холодна, как лед.

Паула. Ты сам в этом виноват. Почему ты не разговариваешь с ней? Она очень... Ты произвел на нее такое же сильное впечатление, как и прежде. Она чуть не плакала только что из-за того, что ты не обращаешь на нее никакого внимания.

Карл. Что ты говоришь! Я не обращаю на нее внимания. Она никогда не была так прелестна, как именно теперь. Она стала в тысячу раз лучше прежнего. *(Подходит к Алисе, она тотчас оборачивается к нему.)* Фрекен Алиса! Паула говорит...

(Алиса останавливая его строгим взглядом.)

Карл. Паула говорит, что вы очень интересуетесь изобретением моего отца.

Алиса. Да, конечно, оно меня очень интересует, — очень, очень. Не расскажете ли вы мне подробнее о нем.

(Идут вдвоем налево и исчезают.)

Яльмар (*выходит с Паулою со двора, затыкая уши*). Пойдем, убежим от этого пиликанья. Парень должно быть напился или с ума сошел, — если бы это было в добрые старые времена, я велел бы бросить его в погреб и запереть.

Паула. Будьте довольны, что это скрипка, а не гармоника!

Яльмар (*внезапно останавливаясь*). Гармоника. Нет, дерзость их еще не дошла до того, чтобы терзать мой слух таким инструментом. Уйдем отсюда, необходимо заглушить это пиликанье хорошею музыкой. Пойдемте в дом — у меня отличный рояль, мне хочется попробовать, сумеете ли вы аккомпанировать мне на фортепиано, если я буду играть на скрипке. Никто из моих соседей не мог научиться этому.

Паула. Вы, должно быть, страшно строги.

Яльмар. Строг! Я просто прихожу в ярость, когда мой аккомпаниатор скверно играет. Но пойдем, попробуем. Если вы действительно так талантливы, как мне кажется, то я вас немного поучу.

Паула. О, я не могу представить себе ничего приятнее, как играть для вас. Но в то же время — я ужасно боюсь.

Яльмар (*входя в дом*). Так я на первый раз не буду так строг, пока вы не свыкнетесь со мною.

Марта (*в сопровождении Эрнста возвращается с танцев*). Смотрите, Паула уходит! А Алиса только что ушла с Карлом!

Эрнст. А вы здесь со мною.

Марта. Я? О, на меня никто не обращает внимания!

Эрнст. Ну как не стыдно вам говорить это! Вы так похорошели за последнюю зиму! Я не знаю, право, что станется вскоре со мною.

Марта (*кокетничая*). Что же может статься с вами?

Эрнст. Что может статься со мною! И это она говорит с самой невинною миной! Нет, вы, право, слишком очаровательны! И если бы я уже так далеко пошел, как Карл, если бы я кончил университет...

Марта (*с опущенными глазами*). Что же бы вы сделали?

Эрнст. Я бы женился на тебе, ах ты, маленькая колдунья! (*Обнимает ее.*)

Марта (*протягивая ему губы для поцелуя*). Как бы нас кто-нибудь не увидел! (*Целуются.*) Не объявить ли нам об этом еще до твоего возвращения в Упсалу?

Эрнст (*выпуская ее из объятий*). Объявить?

Марта. Можно ли мне по крайней мере рассказать об этом Пауле и Алисе?

Эрнст. Рассказать? О чем же именно? О том, что я тебя поцеловал?

Марта (*бьет его по губам*). Ах, как ты глуп! О том, что мы помолвлены, понятно!

Эрнст. Помолвлены! Да, нечего сказать, хорошая история! Студент первого курса и помолвлен! (*Смеется*). Интересно, что скажет на это дядюшка Стенсон! Нет, лучше подождать немного, пока папа не доведет до конца своего изобретения.

Марта (*отталкивая его*). Хорошо, милый Эрнст, я могу подождать. Не думай, что я уже так спешу.

Эрнст. Ну вот, она и обиделась! Что же мне делать! Ведь это же канун Ивана Купалы, посмотри на огни, на танцы — все это так сильно действует, что теряешь немножко рассудок; в такой вечер позволительно, мне кажется, немного помечтать, позволительно быть счастливым, не думая тотчас о будущем. Марта, не сердись!

Марта. Но чего же ты хочешь? Я, право, не понимаю. Ну, хорошо, разрешаю тебе еще раз поцеловать меня, но только не здесь, а вот там под деревьями, потому что если ты не хочешь, чтобы мы были по-настоящему помолвлены, то ты должен же понять...

Эрнст (*берет ее за талию и уводит в глубь парка налево*). Этакое дитя, этакое невинное дитя!

Марта (*удаляясь, умоляющим голосом*). Эрнст, милый, только Алисе и Пауле!

(Карл и Алиса возвращаются и садятся на скамью в парке.)

Алиса. Говорите, говорите!

Карл. Лучше бы вы сами рассказали мне что-нибудь о себе! А то вы все время только слушали меня.

Алиса. Но мне хотелось бы иметь более точное понятие о вашем изобретении. Так вы уверены, что ваш отец прав, — что оно может иметь успех?

Карл. В этом не может быть никакого сомнения. И меня так радует возможность работать теперь вместе с ним! Когда я подумаю, как я мечтал об этой минуте с самого детства, — с тех пор, как отец мой впервые объяснил мне, как много силы пропадает даром при весенних и осенних

разливах и какой сильный толчок получила бы промышленность, если бы можно было использовать всю силу воды, — с этого времени водопад получил для меня совершенно особенное значение, — всякий раз, когда я слышал его рев, мне казалось, что ему вторит призывный голос внутри меня самого. Да, тот день, когда новый аккумулятор будет окончен и начнет работать, будет торжественным днем для меня!

Алиса. Как грустно, что по возвращении вы застали отца больным, и притом так серьезно!

Карл. Да, но, однако, его духовные силы, его ум, его работоспособность просто колоссальны. Видеть, как он сидит в кресле, наполовину разбитый параличом, и слышать, как он развивает самые тонкие, самые остроумные комбинации, — это так поражает меня, что я, право, не в силах это выразить.

Алиса. Но если...

Карл. Если... вы хотите сказать, если болезнь его примет опасный оборот, если он умрет, не окончив задуманного дела? Да, эта мысль преследует меня, — я все эти ночи, проведенные дома, не мог спать, — среди ночи я вставал и подходил прислушиваться к двери отца, — мысль о новом ударе...

Алиса. Но, во всяком случае, вы окончите начатую им работу, в этом найдете вы себе утешение.

Карл. Да, но если несчастье случится, я не знаю, буду ли я в состоянии окончить ее.

Алиса. Почему же нет?

Карл. Вы не можете этого понять, фрекен Алиса. Чтобы довести такое дело до конца, необходимы деньги, мой отец получал большое жалованье, и этих денег до сих пор хватало, но как только он умрет, возникнут громадные затруднения. Да, но, конечно, я во что бы то ни стало...

Алиса. Да, и когда вы, наконец, доведете дело до конца, вы будете очень богаты, не правда ли? Чрезвычайно богаты?

Карл (*улыбаясь*). Вот о чем вы думаете! Да, если нам удастся, — тогда...

Алиса. У меня уже в голове целый план, куда вам употребить ваши деньги.

Карл. Вот как.

Алиса. Вы, конечно, будете смеяться. Но это такой хороший план! Вы читали о народном доме в Лондоне? Нечто подобное и мы могли бы устроить здесь для Лидо и Герргамры.

Карл. Вот о чем вы думаете и мечтаете. А я, признаюсь, предавался более эгоистичным мечтам о будущем.

Алиса (*опустив глаза*). Да, и у меня были личные мечты.

Карл (*берет ее руки*). Вы должны мне их рассказать.

Алиса. Да, я мечтала, что вы будете помогать мне, советовать мне, — что мы будем работать вместе.

Карл (*наклоняясь над нею*). Как вы меня осчастливили вашими словами! Но ваш кузен, барон Яльмар, не будет ли он...

Алиса. Что?

Карл. Не будет ли он ревновать вас ко мне. Он, наверное, привык быть вашим другом и советником.

Алиса. Нет, вовсе нет. Яльмар точно брат для меня, — но именно с братом не всегда разговариваешь о том, что наиболее интересует тебя. Ревнив! О нет, Яльмар совершенно не ревнив! Он для этого слишком равнодушен.

Карл. Равнодушен! Он постоянно живет с вами, ежечасно, ежеминутно находится в вашем обществе и...

Алиса. Да, но он ничем не интересуется, кроме музыки, она, как стена, отгораживает его от всего мира. Он совсем не похож на меня. В моем характере много странного, — говорят, что я очень способна, а между тем, я знаю наверное, что из меня никогда ничего не выйдет, если возле меня не будет человека, разделяющего вполне мои интересы.

Карл (*целуя ее руки*). Он есть у вас, Алиса.

Алиса. Да, не правда ли, вы будете для меня истинным другом! И вы увидите, что и я буду для вас другом, таким другом, какого вы и вообразить себе не можете. Я уверена, что вы даже и представить себе не в состоянии, как я могу всецело войти в интересы того, кого люблю, как все мои мысли, все мои чувства, все мое существо могут сосредоточиться на одной цели: жить настоящею общею жизнью с другим человеком.

Карл. О, Алиса, когда вы говорите таким образом, — а между тем это невозможно.

Алиса. Невозможно?

Карл. Но это будет когда-нибудь возможно. Имейте только терпенье — ждите меня! Я буду иметь успех.

Алиса. Зачем вы говорите об этом? Будем радоваться тому, что у нас есть. Мы можем ведь встречаться каждый день.

Карл. О, вы не знаете, — не понимаете. Я не в состоянии жить вблизи вас, не требуя большего — большего с каждым днем.

Алиса (*наклоняясь к нему*). А разве вы думаете, что и я не могу давать больше — больше с каждым днем?

(Карл привлекает Алису к себе и что-то шепчет ей. Барон Юлленьельм показывается в глубине сцены и наблюдает за ними. В ту же минуту Яльмар и Паула выходят из замка и спускаются в парк; проходя под деревьями, Яльмар берет ее за талию; они идут дальше, наклонив головы и почти сталкиваются с Эрнстом и Мартою, которые идут навстречу им, тоже обнявшись. Всеобщие возгласы удивления. Марта и Паула бросаются друг другу в объятия. Наступают сумерки.)

Эрнст. Мне кажется, что сегодня в воздухе вечером какой-то магнетизм. Я уверен, что в такую ночь, как эта, нельзя найти ни одного человека, который не был бы хоть чуточку влюблен, если в его жилах есть хоть капля крови.

Алиса (*подбегает к ним и обнимает Паулу*). Что за чудная ночь! А воздух какой опьяняющий, — как прекрасно небо и холмы там вдали как хороши, — о, Паула, как страшно весело жить!

Паула (*шепотом*). Ну, теперь он тебе понравился?

Алиса (*отстраняется от нее*). О да! (*вновь обнимает ее*). Я знаю только одно, что в целом свете не сыщешь другой такой милой сестры, как ты.

Марта (*также обнимает Паулу и отвлекает ее от Алисы*). Милой сестры — да, и я скажу тоже, потому что это звучит гораздо приятнее, чем невестка.

Алиса. Невестка!

(Марта многозначительно кивает головой.)

Паула. Ах, Алиса, как он играет! Нет, я в жизни своей ни разу не слышала ничего подобного! Сколько души.

Барон (*прохаживавшийся взад и вперед недалеко от них, подходит к Алисе с недовольной миною*). Я не сомневаюсь, что вам здесь вместе очень весело, мои молодые друзья, и что вы меня найдете страшно прозаичным, если я позволю себе напомнить Яльмару и Алисе, что они совершенно забывают об остальных своих гостях. (*Тихо, строгим голосом, Алисе.*) Удивляюсь твоему поведению.

(Алиса тотчас удаляется и подходит к гостям, показывающимся в глубине сцены. Остальные молодые люди расходятся и смешиваются с толпой приглашенных, кроме Карла, которого барон подзывает к себе.)

Барон. Мне нужно объясниться с вами, господин инженер.

Карл. Объясниться?

Барон. Как можно позволять себе злоупотреблять таким образом гостеприимством, доверием — компрометировать до такой степени молодую девушку, мою дочь.

Карл. Согласен, что теперь я не имею, в сущности, права, — но надеюсь, что со временем...

Барон. Разве вы не знаете условия в Герргамрском майорате, которое воспрещает наследнице выходить замуж за человека недворянского происхождения? Подумайте только, чего вы лишите мою дочь, если вам действительно удастся добиться ее любви.

Карл. Я доставлю ей со временем другую Герргамру вместо той, которой она лишится по моей вине.

Барон. На недостаток самоуверенности вы не можете пожаловаться, мечты ваши заходят далеко. Но подождите по крайней мере до той минуты, когда вы, наконец, приобретете это блестящее положение — неблагородно воспользоваться ее легковерием, — вспомните, она почти дитя, — я не сомневаюсь, что ее легко убедить в осуществимости таких мечтаний, — но...

Карл. Мне и в голову не приходило связывать ее какими-либо обещаниями.

Барон. Я вас ловлю на слове. Вы, следовательно, обещаете мне покамест отстраниться, — скажем, на год, — никаких разговоров наедине, никаких тайных встреч или переписок.

Карл. Я вовсе не желаю, чтобы меня обвиняли, будто я обманным образом завладел ее расположением. Но если через год она сама пожелает...

Барон. Об этом мы переговорим в свое время. А пока — честная игра. Вашу руку!

Карл. Я никогда и не думал играть иначе, как в честную игру.

Барон. Хорошо, но, желая и с своей стороны быть таким же честным, я говорю вам откровенно, что я надеюсь, что прежде чем пройдет год, Алиса сделает другой выбор.

Карл. В таком случае и я не буду жаловаться. Если она меня любит, она будет ждать, — если нет...

Барон. Не следует придавать слишком много значения первой вспышке любви у восемнадцатилетней девушки. Алиса так любит Герргамру, что не легко решится расстаться с нею. Поверьте, это было бы для нее ужаснейшей жертвой.

Карл. Вы можете быть уверены, что я никогда не потребую от нее никаких жертв.

Барон (*протягивает ему руку*). Вот это правильно. (*Идет в глубь сцены и делает Яльмару знак подойти.*) Дорогой Яльмар, что я должен думать о твоем сегодняшнем поведении?

Яльмар. Я не понимаю вас, дядюшка.

Барон. Сначала ты исчезаешь вдвоем с молодой девушкой, — а затем, — извини, но я был поблизости, когда вы вышли из дому.

Яльмар. У нее такие необыкновенные музыкальные способности — это одно только...

Барон. Ну, — в таком случае она как раз подходящая для тебя партия, — вы можете разъезжать вдвоем по свету, давать концерты и зарабатывать таким образом свой насущный хлеб.

Яльмар (*смеясь*). Да, это была бы как раз подходящая жизнь для меня.

Барон. А между тем все это глубоко взволновало меня; да, но вы, дети мои, должны меня извинить, что я не могу выносить, ... но моя болезнь делает меня очень впечатлительным и раздражительным. (*Берет его под руку, прижимает другую руку к сердцу и глубоко вздыхает.*) Когда подумаю, как сроднился я с мыслью оставить все в ваших руках, — ты знаешь, что я тебя люблю не меньше, чем Алису, — а теперь вы оба из-за случайной прихоти хотите перевернуть вверх дном все свое будущее...

Яльмар. О, это вовсе не так серьезно, что касается меня. С Алисой дело обстоит, может быть, хуже.

Барон. Но почему ты обращаешь на нее так мало внимания? Ты ведь любишь ее?

Яльмар. Конечно, — я ее люблю настолько, насколько могу вообще любить по своей природе. Но она же совсем не интересуется мною. (*Подходит к Алисе.*) Хочешь, пойдем потанцуем.

Алиса (*с беспокойством оглядывается на Карла*). Нет, спасибо, я совсем не хочу танцевать.

Яльмар. И я, собственно, тоже. Сегодня все так чертовски сложно! (*Уходит.*)

Барон (*к Алисе*). Я ожидал от тебя, мой друг, больше самообладания, — больше женского такта.

Алиса. Что ты ему сказал, папа?

Барон. Он оказался очень рассудительным. Он не намеревался сейчас, теперь же связывать себя, — его, вероятно, немало удивило, с какой поспешностью ты пошла ему навстречу. Если бы ты знала, чего только в глубине души ни вообразит себе молодой человек, — всегда, непременнейшим образом вообразит, — если молодая девушка так скоро бросается ему на шею. Только сдержанностью и скромностью может женщина заслужить уважение мужчины, — никогда не должна она показывать ему всю силу своих чувств! Необходимо, чтобы мужчина не был заранее уверен в ответе девушки, когда наступит, наконец, минута делать ей предложение. Когда я сватался за твою мать, ты думаешь, я знал, что она мне скажет в ответ?

Алиса. Все это пустые, бессмысленные, ложные понятия о приличиях!

Барон. Ну, так иди сейчас к нему и сватайся, если хочешь, но будь уверена, что получишь отказ.

Алиса (*вскакивает*). Папа! (*Бежит от него к Пауле, приближающейся с нотами в руках, и хватает ее за руку.*) Неужели это правда, Паула — папа говорит, что я выказала слишком много...

Паула. Почему же не выказать того, что чувствуешь? (*Обращаясь к Яльмару, который подходит к ним.*) Теперь буду много, много упражняться. Когда мне прийти опять играть с вами?

Яльмар (*смущенно*). Когда... — право, не знаю. Я могу попросить Алису написать вам и сказать... — вероятно, пройдет некоторое время, прежде...

Паула. Как так? А вы говорили — на следующей неделе...

Яльмар. Да, я забыл, что я теперь очень занят.

(*Паула смотрит на него совершенно пораженная.*)

Яльмар (*берет ее за руку*). Посмотрите — огни гаснут и стало сыро и холодно. Так всегда бывает с мечтами в канун Ивана Купалы, на них нельзя полагаться, доверять им не следует.

Паула. О!

(*Он отходит от нее; она стоит, точно ошеломленная; ноты выпадают у нее из рук. Карл подходит к Алисе прощаться.*)

Алиса. Вы уже уходите, — так скоро?

Карл (*бросая взгляд на барона Юлленьельма, стоящего поблизости*). Да, отец ваш обратил мое внимание на то, что (*понижая голос*) много пройдет времени, прежде чем я буду иметь право говорить с вами так, как я говорил сегодня вечером.

Алиса (*также тихо*). Но вы скоро придете к нам опять — будете приходить часто, не правда ли?

Карл. Боюсь, что не часто.

(Быстро пожимает ей руку и уходит. Алиса стоит пораженная и смотрит ему вслед, затем обе девушки со слезами бросаются друг другу в объятия.)

АКТ ПЕРВЫЙ

Зала у Торелей заставлена мебелью, приготовленной для продажи. Фру Торель суетится, привешивая к мебели ярлычки с обозначением цен. Паула, Эрнст и Карл сидят у стола за завтраком. Все в глубоком трауре.

Фру Торель. Не можешь ли ты немного помочь мне, Паула? Ты так долго сидишь за завтраком. Я так боюсь, что покупатели начнут приходить. Мы ведь назначили в газетах в 9 часов.

(Паула и Эрнст встают.)

Паула. Но все уже готово, мамочка?

Фру Торель. Нет, сиди, сиди, Эрнст. Ты и Карл должны хорошенько поесть, — но для меня и Паулы это не так важно. Помоги мне здесь, милая.

Паула (*подбегает к ней*). Чем же, мамочка?

Фру Торель. Вот на этом стуле цена не обозначена. Ах, никогда нельзя ни на кого положиться! А они сейчас начнут приходить! Принеси скорее бумагу и перо!

(Эрнст бежит за бумагою.)

Паула. Но, мамочка, дорогая, на диване же написано: диван и 6 стульев — 100 крон.

Карл (*продолжавший завтракать, с нервною поспешностью встает и бросает салфетку на стол*). Кончено, — можешь принимать со стола, Паула.

Эрнст. Я помогу тебе.

(Оба убирают со стола.)

Карл. Мама, я спрашиваю вас в последний раз: не лучше ли было бы, если бы вы ушли и предоставили Пауле и Эрнсту вести продажу здесь? Вы будете только совершенно бесполезно мучить себя.

Фру Торель. Нет, милый мой Карл, прошу тебя, дорогой, не говори этого, — я не имела бы ни минуты покоя. Я столько лет возилась с этой мебелью, что не уйду отсюда, пока могу назвать своим хоть один стул. Подумай только, как тщательно я берегла ее, как заботливо вела хозяйство здесь при жизни папы, — а теперь все пойдет прахом!

Карл. Разве мебель может иметь какое-нибудь значение? Это такие пустяки!

Фру Торель. Пустяки — да, тебе легко говорить, ты на такое долгое время уезжал из дому, ты не жил здесь со всеми этими вещами, изо дня в день, как я. А как я берегла их, я сама вытирала пыль с каждой вещички. (*Плачет.*) Горничные всегда так неловки, я всегда употребляла только вязаные тряпочки для стирания пыли, которые сама вязала из тончайших ниток, так что на мебели нет даже ни одной царапинки. Да, вы, дети, по крайней мере не можете упрекать меня, что я не умела держать в порядке и беречь ваше добро.

Карл. Дорогая мама, мы это прекрасно знаем, — но к чему говорить об этом теперь? Единственное, о чем я могу думать теперь, это как бы найти необходимые средства, чтобы довести до конца отцовскую работу.

Эрнст. О, деньги всегда можно будет каким-нибудь образом достать.

Паула. Вот увидишь — в один прекрасный день придет какой-нибудь богатый господин — один из старых папиных друзей, — и даст тебе взаймы крупную сумму для продолжения работы. Я так уверена в этом, так уверена.

Карл. Ты фантазируешь совершенно так, как папа. «Ну что же, если я и задолжаю немного, — говорил он. — Как только моя работа немного продвинется, все богатые люди наперебой будут поддерживать меня». А что получилось? Он умер, не закончив своей работы.

Паула. Но тем больше основания верить, что именно теперь — не может все идти одинаково дурно, — и тогда мы переселимся в Стокгольм, — ты и Эрнст будете работать над открытием, — я буду учиться в консерватории, а Алиса в университете, и она поселится у нас, — о, как чудесно заживем мы все вместе!

Карл (*улыбаясь*). А если этот богатый господин не явится вовсе, — я говорю если, потому что покамест я не имею о нем никакого понятия.

Паула (*качает многозначительно головой*). А я его знаю — у меня их даже два. Один для тебя, другой для меня. (*Заложив руки за спину.*) Скажи мне, которую ты руку выбираешь, правую или левую?

Карл (*улыбаясь*). Правую.

Паула (*протягивает руку и открывает ее*). Ну, так получай барона Юлленьельма.

Карл (*становится мрачным*). Покорно благодарю. Скорее чем согласиться стать в зависимое положение и быть в долгу перед бароном Юлленьельмом, я...

Фру Торель. Барон Юлленьельм был всегда добрым другом для твоего отца.

Карл. Я это знаю, но в качестве просителя я никогда к нему не обращусь. А кто был у тебя в левой руке?

Паула. Алиса!

Карл. Алиса? Что это значит?

Паула. Алиса даст мне денег взаймы для продолжения моих занятий.

Карл. Но Алиса еще несовершеннолетняя — она ничем не может распоряжаться. Значит, это будет опять-таки барон Юлленьельм.

Паула. Да, но он сделает все, что Алиса захочет.

Карл. Но, по крайней мере, не называй это займом, — назови это вспомоществованием бедным. Потому что надежды на уплату...

Паула. Когда я сделаюсь знаменитою пианисткой или композитором, я уплачу весь долг.

Карл. Это одни только мечты, — мечтать вообще очень приятно. Но из примера папы видно, к чему это приводит.

Фру Торель. Опять упреки отцу!

Карл. Вовсе не упреки! Никто из вас не знает так хорошо, как я, что за умный человек был папа и какое важное значение имеет дело, над которым он работал. И я знаю также, что я могу и со временем закончу его. Но теперь на первом плане стоит вопрос: откуда нам добыть средства для существования, и поэтому меня возмущает, что Эрнст и Паула теряют время, предаваясь несбыточным мечтам.

Эрнст. Да что же нам, по-твоему, делать?

Карл. А то же, что и я — объявлять в газетах, бегать повсюду и искать работы, — а то что за польза сидеть дома и питать в душе платоническую любовь к папиному изобретению, — чтобы двинуть его вперед, нам прежде всего нужны средства.

Фру Торель. Слышите, звонят! О, господи боже, а я забыла положить в передней веник для обтирания ног, — на дворе дождь. Паула! Паула!

Паула. Ты забыла, мама, что сама вспомнила о венике сегодня утром. Эрнст сам ходил наломать его.

Фру Торель. Вот хорошо. А то мне приходится платить 50 эре за мытье этого большого пола.

Карл. Смотрите же, Паула, за мамою, чтобы она не слишком утомлялась. Я ухожу.

Фру Торель. Куда это, милый Карл?

Карл. Я сам не знаю — на большую дорогу — куда глаза глядят, лишь бы их всех не видеть.

Фру Торель (*бросаясь ему на шею*). Карл, тебе это так тяжело?

Карл. Дело не в этом — а просто неприятно, когда все глазеют на тебя.

Фру Торель. Бедный мой, дорогой мальчик — тебе, в сущности, тяжелее всех. После стольких успехов и отличий...

(Пока они разговаривают, Паула выходит отворять и возвращается с Мартою.)

Марта *(подходит к фру Торель и подставляет ей щеку для поцелуя).* Мне так жаль, так жаль! *(Протягивает руку Карлу и Эрнсту с опущен-*

ными глазами, затем обнимает Паулу.) Покажи мне, дорогая, нет ли здесь чего-нибудь, что тебе хотелось бы сохранить. Папа дал мне денег, так что я могу купить то, что тебе дорого, — для тебя, конечно, — не для меня, — я куплю и потом отдам тебе.

(Рассматривает вещи.)
(Карл хочет уйти.)

Фру Торель (*в сторону*). Подожди немного, милый Карл. Не следует быть невежливым по отношению к Стенсонам.

Карл. Что же, я должен стоять и принимать благотворительность этой дурочки! Нет, спасибо! (*хочет уходить*).

Марта. Вы уходите, г-н Карл? Ах, да, правда, папа поручил мне сказать, — какая я беспамятная, — папа поручил мне сказать, что ему необходимо переговорить с вами. Он просит вас зайти к нему.

Карл. Когда? Сейчас?

Марта. Да — то есть — если вы подождете немножко.

Карл. Нет, благодарю, лучше зайду сейчас.

(Быстро уходит, но у дверей встречается с г-жею Фредгольм.)

Фру Фредгольм. А, вот и Карл! Здравствуй, дорогая моя Ада! Как приятно мне увидеться наконец с Карлом! Как он возмужал, какой он стал статный за годы своего отсутствия. Да, Карл, дорогой, в тяжелую пору пришлось тебе вернуться домой! Но Фредгольм всегда говорил: Торель — гениальный человек, но он не понимает жизни, — вот что говорил Фредгольм.

Карл. Проживи мой отец еще несколько лет, и он показал бы, что он понимал...

Фру Фредгольм. Да, но Фредгольм говорит, — нужно так вести свои дела, чтобы быть всегда готовым умереть, — вот что говорит Фредгольм. И признаюсь, для меня всегда утешительно думать, что если бы господу богу угодно было в настоящую минуту взять к себе Фредгольма — (*всматривается*). Господи боже, как вспомню чудные часы, которые мы проводили здесь, в этом доме, — например, последний обед на пасху, — Торель сидел, точно добрый ангел, такой кроткий и рассеянный; в новой бархатной шапочке, — мне стоит только закрыть глаза, и я представляю его перед собою, как живого, — здесь был буфет, а там фортепиано, — о, господи боже, как это все ужасно!

(Она и фру Торель начинают плакать.)

Паула. Тетя, дорогая, не волнуйте маму!

Фру Фредгольм. Ты права, милое дитя мое. Что же я, собственно, хотела сказать? Ах да, вот что: нет ли у тебя, Ада, чего-нибудь, что я могла бы купить, — я охотно оказала бы тебе эту услугу.

Эрнст. Конечно, есть, тетушка Фредгольм! Например, рояль.

(Карл уходит.)

Фру Фредгольм. Нет, дружок, это слишком дорого для меня.

(Являются другие покупатели, Паула и Эрнст показывают им вещи.)

Фру Фредгольм (*отводит г-жу Торель в сторону*). Когда я прочитала объявление в газетах, я сейчас сказала: Фредгольм, я знаю Аду Торель, я понимаю, как мучительно для всякого порядочного человека думать, что его вещи... Карл ушел?

Фру Торель. Да, ему так тяжело присутствовать при этом.

Фру Фредгольм. Бедный мальчик — да, я говорю мальчик, потому что он одних лет с моим Фрицем. Господи боже! Я знаю, говорила я Фредгольму, как Ада дорожила всегда своими вещами, а теперь, говорила я, когда она не в состоянии уплатить маленького долга, оставшегося за нею.

Фру Торель (*боязливо*). Какого долга?

Фру Фредгольм. Это уже их дело, мужчин. Фредгольм переговорит с Карлом.

Фру Торель. Бедный Карл. Он обнаружил уже много новых долгов после описи наследства. Только бы нам в конечном итоге удалось свести концы с концами, чтобы мы могли расплатиться с заимодавцами.

Фру Фредгольм. Но Фредгольм пока еще не торопит с деньгами. Он говорит, что хотя дела и запутаны несколько, но все же в наследстве имеются большие ресурсы. Целый капитал представляют собой электрические машины Тореля и разные там аппараты.

Фру Торель. Да, но Карлу было бы так тяжело быть вынужденным продать их.

Фру Фредгольм. Видишь ли, это, быть может, только послужит ему на пользу. По крайней мере, у него не будет искушения продолжать эксперименты отца. А между тем, милая Ада, если у тебя есть какая-нибудь особенно дорогая тебе вещь, которую ты хотела бы видеть в руках порядочных людей...

Фру Торель. Ах да, например, мой маленький комод с инкрустациями. Видишь ли, кусочки дерева так легко выпадают и так трудно вновь подобрать тот же сорт дерева, — признаюсь, мне будет очень тяжело, если я увижу его где-нибудь и окажется, что тут и там недостает кусочка.

Фру Фредгольм (*переходя с фру Торель в другую комнату*). Подумай, дорогая, каково мне каждый день смотреть на разрозненный сервиз, — одна чашка с более широким золотым ободочком, чем остальные, — и это потому, что какая-то небрежная служанка...

(Исчезают налево.)

Паула. Марта, скажи, ты не знаешь, зачем нужен твоему отцу Карл? Нет, не говори ничего, я лучше отгадаю. Он желает предложить ему деньги взаймы, чтобы продолжать работу по изобретению?

Марта. Нет, дело идет о месте — об очень хорошем месте.

Паула. А что, я это всегда предсказывала. Мама, мама!

(Фру Торель и фру Фредгольм показываются в дверях.)

Паула. Карл получает отличное место.

Эрнст. И тогда мы все сможем жить вместе и продолжать работы.

Фру Торель. Господи боже, у меня голова идет кругом! Извините, я должна сесть.

Фру Фредгольм. Да, надо сказать, семье Торелей, во всяком случае, необыкновенно везет.

Эрнст. Это вас, фрекен Марта, мы должны благодарить за это? Вы замолвили за нас доброе словечко перед отцом?

Марта (*смущенно*). О, что я могу сделать! (*Пауле.*) Покажи мне скорее, что тебе больше всего хотелось бы сохранить — свое фортепиано? Да, понятно. Но у меня, к сожалению, нет достаточно денег. Подожди немного, я переговорю с отцом. Твой рояль в самом деле нельзя продавать, это было бы слишком жалко, раз ты так хорошо играешь!

Паула. О, если бы можно было избежать продажи — как я была бы счастлива!

Марта (*плачет, расчувствовавшись над самой собой*). Он останется у тебя, даже если бы мне пришлось пожертвовать всеми своими карманными деньгами.

Паула. Я это знала. Я была так уверена, что как раз в последнюю минуту, когда фортепиано будет продаваться, — я только представляла себе это несколько иначе. Придет господин, совершенно незнакомый мне, какой-нибудь путешественник, сядет за фортепиано, попробует его, скажет, что рояль хорош. Я буду стоять рядом и расплачусь — и тогда...

Эрнст. А теперь вместо тебя расплакалась она. (*Вынимает носовой платок и вытирает Марте глаза.*) Позвольте! Ну теперь я никогда не отдам его в стирку. Как там говорится в песне о Пери и ангеле: слеза от доброго сердца — не она ли открыла рай?

(Карл быстро входит.)

Эрнст. Ну?

(Карл делает знак, что не может говорить в присутствии Марты.)

Фру Торель (*провожает до двери фру Фредгольм*). Благодарю тебя, дорогая! И скажи Фредгольму, что я надеюсь, если Карл получит теперь хорошее место...

Фру Фредгольм (*Карлу, протягивая ему руку*). Я так сердечно рада.

Карл. Чему?

Фру Фредгольм. Что ты получишь место у Стенсона. Да, уверяю тебя, я радуюсь совершенно бескорыстно, потому что Фредгольм ведь может подождать, ты об этом долге не беспокойся. Он говорит, что достаточно обеспечен всеми твоими аппаратами.

Карл. Я еще не получил места.

Фру Торель. Разве ты не застал?

Карл. Нет, я застал Стенсона.

(Взглядывает снова на Марту.)

Фру Торель. Девочки, идите, пожалуйста, к Пауле в комнату.

(Они уходят.)

Фру Торель. Ну, дорогой Карл! Не стесняйся говорить при тете Фредгольм, она желает нам добра.

Карл. Да, Стенсон предлагает мне место, но под условием, на которое я не могу согласиться. Он требует от меня обязательства не продолжать опытов отца.

Фру Фредгольм. И отлично. Я нахожу, что это очень умно со стороны Стенсона. Фредгольм всегда говорил, что это изобретение и погубило Тореля.

Карл. Извините, но не дяде Фредгольму судить об этом.

Эрнст. Какое же место он тебе предлагал?

Карл. О, он великолепен! Стенсон не станет делать пустяковых предложений. Он, точно искуситель, возводит на высокую гору и говорит: «Все это я дам тебе, только отдайся мне». Он предлагает мне ни больше, ни меньше, как место управляющего заводом в Лидо.

Эрнст и фру Торель. Папино место?

Фру Торель. И с тем же жалованьем?

Карл. Нет, он не дает сразу такого большого жалованья, но обещает в будущем.

Фру Торель. Карл, дорогой, нельзя себе и представить большего счастья!

Карл. Счастья! И это говорите вы, мама? Изменять таким образом памяти отца, его завету нам...

Фру Фредгольм. Нет, я должна правду сказать, это заходит слишком далеко. Когда я только подумаю, что мой Фриц — он ведь ровесник Карлу — получил бы такое предложение! А между тем отец, слава богу, имеет возможность оказывать ему поддержку! И хотя я никогда не вмешиваюсь в дела Фредгольма, но у нас самих много детей, так что мы не можем приносить жертвы для тех, кто сам не хочет помогать себе. (*Уходит.*)

Фру Торель (*плачет*). Карл, неужели ты решишься погубить нас? Почему же ты взял все на себя, если отказываешься теперь помогать нам? Мы всех своих друзей оттолкнем таким образом!

Карл. А ты что на это скажешь, Эрнст?

Эрнст. Я говорю, что и речи об этом не может быть. Как мог бы ты дать такое обещание? Всегда найдется какой-нибудь другой выход.

Карл. Да, но так на это смотреть нельзя. Это же в действительности прекрасное предложение. И Стенсон, кроме того, предлагает дать тебе место агента при заводе.

Эрнст. Спасибо, это меня не соблазняет. Я хочу получить такое место, чтобы жить дома и не расставаться с мамой.

Карл. Ты воображаешь, что можешь выбирать! Только что был совсем на мели, а теперь уже готов пренебрегать.

Эрнст. Я вижу, что ты в конце концов соглашаешься. Но это было бы ужасно — до такой степени изменять...

Карл. Тут нет речи об измене. Вопрос о том, чтобы получить заработок и понемногу скопить средства, а затем у нас будут развязаны руки. Неужели ты думаешь, что я продамся Стенсону на всю жизнь?

Эрнст. Ты, значит, собираешься принять это место?

Карл. Я этого не сказал. Меня, напротив, возмущает эта мысль. Но мне неприятно, что ты к этому относишься так легкомысленно. Это слишком серьезное дело. Вспомни вдобавок, что иначе мы будем принуждены продать все машины, а тогда как мы сможем продолжать работу?

(*Слуга с письмом.*)

Карл. От барона Юлленьельма. (*Открывает его и быстро пробегает глазами, бормоча вполголоса.*) Никто не может искреннее меня сочувствовать глубокому горю.., его обширные научные работы повлекли за собою значительные экономические затруднения, и я глубоко сожалею об этом, тем более, что затруднения эти пали таким тяжелым гнетом на ваши молодые плечи. У вас были такие блестящие, смелые надежды на будущее. (*Комкает письмо, затем читает дальше.*) Деньги, должные мне вашим отцом... (*Останавливается.*) И ему также! И об этом тоже ни слова в счетах! Ужасно, что папа так неаккуратно вел свои книги!

Фру Торель. Карл, не осуждай умершего отца.

Карл. Я вовсе не осуждаю его, но это же ужасно! Я принял все на себя, не подозревая, что делаю. Сколько же папа должен был Юлленьельму?

Фру Торель. Право, не знаю. Это за последнее время было, когда папа начал хворать, он хотел ускорить...

Карл (*смотря в письмо*). А, вот и долговое обязательство. Перечеркнутое! 10 000 крон. И это он бросает мне в лицо, как взятку, точно подкупить собирается! А, господин барон, вы — тонкий человек, вы не ставите условий, как Стенсон; но вы хотите связать меня тем сильнее. На этот раз ошиблись в расчете. (*Садится и пишет, громко читая.*) Господин барон, примите мою искреннюю благодарность... Честь имею уведомить вас, что я принял место, занимаемое прежде моим отцом, и надеюсь в течение ближайших лет уплатить оставшийся за ним долг вам, за который признаю себя ответственным как за свой собственный долг. При сем прилагаю новую расписку взамен прежней. (*Встает.*) Так! Теперь я по крайней мере свободен.

Фру Торель. Да благословит тебя бог, Карл! Ты хороший сын, я это всегда знала.

(*Падает ему на грудь.*)

Карл (*отстраняя ее*). Нет, нет это не потому. Я не заслуживаю вашей благодарности, мама.

(*Выбегает из комнаты.*)

АКТ ВТОРОЙ

Комната в Герргамре с дверьми, открытыми на балкон, расположенный в глубине сцены, с лестницею в сад. Слева окно и дверь. Направо две двери в другие комнаты.

Барон Юлленьельм лежит в кресле возле балконной двери, поминутно смотря в сад.

Тетушка Эмилия сидит рядом с ним и громко читает газету.

Барон Юлленьельм (*прерывая*). Извини, пожалуйста, посмотри сюда! Это не Алисина ли шляпа виднеется там вдали около мостков?

Тетушка Эмилия (*встает и выходит на балкон*). Да, она опять каталась на море, она как раз вытаскивает лодку.

Барон Юлленьельм. Она одна?

Тетушка Эмилия. Да.

Барон Юлленьельм. Но где же Яльмар?

Тетушка Эмилия. Да, знаешь ли, дорогой Якоб, сама Алиса в этом виновата. Почему она всегда такая странная? Вечно она то лежит на лодке и плывет по волнам, то лазит по скалам к верхнему водопаду и сидит там часами.

Барон Юлленьельм. Я бы хотел, чтобы она и сегодня там сидела. Теперь же нам придется ее подготовить к тому, что он приедет.

Тетушка Эмилия. Да, позволь мне переговорить с нею — я сумею пробудить ее женскую гордость, так что она даже и не появится.

Барон Юлленьельм. Ее женскую гордость? Каким же это образом?

Тетушка Эмилия. Раз он за целое лето ни разу не заглядывал к нам. А теперь приезжает только по делам...

Барон Юлленьельм. Но я же запретил ему...

Тетушка Эмилия. Да, но Алиса этого не знает. Уверяю тебя, она очень обижена его невниманием. Но вы, мужчины, никогда ничего не видите. Ты, конечно, не замечал, как она в последнее время перестала интересоваться чем бы то ни было, какою равнодушною сделалась она ко всем своим планам.

(Алиса входит с балкона в соломенной шляпе и ситцевом платье.)

Барон Юлленьельм (*протягивает ей руку*). Ну вот, наконец, и моя милая девочка.

Алиса (*с живостью подбегает к нему*). А как ваше здоровье, папа?

Барон Юлленьельм. Только бы мне видеть веселою мою милую девчурку.

Алиса. Веселою! Конечно, я весела. Теперь я сменю тетю и почитаю вам, папа.

(Идет к двери направо и снимает шляпу и перчатки.)

Барон Юлленьельм *(быстро шепчет тетушке Эмилии)*. Оставь нас одних. Я хочу переговорить с нею.

Тетушка Эмилия (*тоже шепотом*). Лучше бы я, мужчина никогда не может так деликатно...

Барон Юлленьельм *(прерывистым голосом, заметив приближение Алисы)*. Прошу тебя, прошу тебя.

Тетушка Эмилия (*обиженным тоном*). Ну, как хочешь! (*Вставая и уходя.*) Мне кажется, что после того, как он так дерзко обошелся с тобою...

Алиса. О чем вы говорите?

Барон Юлленьельм. Я совершенно не понимаю, что наша милая Эмилия...

Тетушка Эмилия. Да, извини, Якоб, но я не одобряю твоей всегдашней манеры всегда обходить щекотливые вопросы. Я нахожу, что гораздо лучше сказать Алисе правду.

Алиса (*порывисто*). Какую правду? Что это значит? Зачем вы меня мучите?

Барон Юлленьельм (*с горячностью*). Ну хорошо, если ты, Эмилия, не хочешь мне позволить... пожалуйста, сделай одолжение, говори сама. Но, во всяком случае, я ее отец, и думаю, что...

Тетушка Эмилия. Пожалуйста! Хотя я и не заслужила такого выговора. Знает бог, что я всегда старалась заменить ей мать.

Барон Юлленьельм. Конечно, кто же об этом спорит? Ну вот, у меня опять началось сердцебиение.

Алиса. Когда же вы перестанете мучить меня? О чем вы это говорите?

Барон Юлленьельм. Ты знаешь, я писал...

Тетушка Эмилия (*одновременно*). Ты знаешь, Якоб писал...

(Оба глядят с упреком друг на друга и останавливаются.)

Барон Юлленьельм. Ну, говори ты!

Тетушка Эмилия. Нет, говори ты!

Алиса. Это просто бессердечно, это же жестоко так меня мучить!..

Барон Юлленьельм. Тсс! Я слышал как будто стук экипажа.

Тетушка Эмилия (*бежит к окну слева*). Вот и они.

Барон Юлленьельм. А, я не смог подготовить её!

Алиса. Кто это? *(Бежит к окну и медленно возвращается.)* Зачем он здесь?

Барон Юллепьельм. Право, не знаю. Сегодня утром я получил от него записку с вопросом, могу ли я принять его по делам. Ты знаешь, я предложил ему уничтожить долговую расписку его отца — он отказался от этого с крайним высокомерием, а теперь, я полагаю, что он раскаивается и хочет просить меня повременить с долгом. Эмилия, сделай одолжение, пойди прими их.

Тетушка Эмилия. Хорошо, но я думаю, что и Алисе следовало бы... с ним приехала и сестра.

Алиса. Сначала мне нужно... я порвала на лодке платье.

(Бежит в первую дверь справа, тетушка Эмилия выходит в левую.)

Барон Юлленьельм (*кричит вслед Алисе*). Алиса! Я пришлю к тебе его сестру. Тебе незачем приходить к нам, в делах, видишь ли...

Алиса. А как же вы думаете, папа, устроить?

Барон Юлленьельм. О, можешь быть спокойна, дитя мое, притеснять его я не стану.

(Алиса уходит.)
(Карл и Паула в сопровождении тетушки Эмилии выходят слева.)

Барон Юлленьельм (*делает несколько шагов им навстречу и кланяется*). Извините, вы застаете меня больным. (*Указывает Карлу на стул.*) А вы, фрекен Паула, может быть пройдете к моей дочери. Эмилия, сделай одолжение, проводи!

(Тетушка Эмилия уходит направо с Паулою.)

Барон Юлленьельм (*принимает вновь полулежачее положение в кресле*). Давно уже я не имел чести (*внезапно протягивает ему руку*). Позвольте мне сказать вам, как глубоко уважаю я вас за вашу сдержанность.

Карл (*холодно*). Я позволил себе прийти сюда исключительно затем, чтобы переговорить с вами о делах.

Барон Юлленьельм. Да? Да, я понимаю, конечно, что ваш отказ на сделанное мною предложение был слишком поспешен, что вы, может быть, теперь... и в таком случае я вторично возобновляю его...

Карл. Дело не в этом. Как я уже имел честь вам писать, я получил место управляющего заводом в Лидо, место моего отца.

Барон Юлленьельм. Да, очень ответственный пост для такого молодого человека.

Карл. Это сознаю и я. Поэтому я и решился употребить все усилия, чтобы оказаться достойным доверия, оказанного мне обществом. Но чем больше я вникал в суть дела, тем больше убеждался, что вести дело так, как оно велось до сих пор, невозможно. Необходимо развернуть производство в гораздо более широком масштабе, чтобы оно действительно оправдало себя.

Барон Юлленьельм (*равнодушно*). Я думаю, что вы правы.

Карл. Но тут встречается весьма важное затруднение. То количество водяной силы, которою мы обладаем, слишком ничтожно.

Барон Юлленьельм. Этому и должно было помочь изобретение вашего отца. Что же, вы выбросили его теперь из головы?

Карл. Покамест я не могу заниматься им. Но у нас есть другой, более простой способ получить необходимую водяную силу.

Барон Юлленьельм. Если я могу вам в этом чем-нибудь помочь?..

Карл. Да. Это весьма близко касается вас, господин барон. Владельцы Герргамры устроили еще издавна запруды на наших землях.

Барон Юлленьельм (*привставая наполовину*). Ну?

Карл. Благодаря этому значительное количество воды отводится от нас. Вот общество и намеревается через суд заставить вас снять эти запруды.

Барон Юлленьельм (*вскакивает*). То есть, другими словами, оно хочет погубить Герргамрский завод. Потому что вы знаете, я полагаю, что без этих запруд мы никак не можем...

Карл. Я это знаю. Поэтому-то я и принял на себя смелость явиться к вам, господин барон, с следующим предложением: Лидо и Герргамра не могут долго существовать в качестве двух конкурирующих заводов — это совершенно невозможно. Все сделанные расчеты убедили меня в этом. Будущность их может быть обеспечена только под одним условием: если они образуют ассоциацию так, чтобы интересы обоих заводов слились, сделались общими.

Барон Юлленьельм. Вы могли бы избавить меня от этого предложения. Господин Стенсон не из таких людей, с которыми я согласился бы войти в сообщество.

Карл. Насколько я знаю, Стенсон никогда не делал ничего нечестного.

Барон Юлленьельм. Я этого и не говорю. Но наши принципы слишком различны. Для меня главное — благо моих рабочих. Они были на моей службе с детства, а родители их и предки служили моим предкам, и в моей фамилии существовал всегда особый взгляд на это дело: завод рассматривался всегда с точки зрения той пользы, которую он приносил работающему люду, а не с точки зрения приносимых им доходов.

Карл. Извините, но если я не ошибаюсь, есть еще другое, более важное для господина барона условие, требующее поддержания завода, — майорат.

Барон Юлленьельм. А, и это также. Можете быть уверены, я не допущу, чтобы дочь моя лишилась майората. Я отлично понимаю вашу тактику — принудить меня закрыть завод и таким образом отнять у моей дочери ее права, тогда у меня не будет и причин отказывать вам в ее руке.

Карл. Господин барон, такие инсинуации недостойны ни вас, ни меня. У меня нет никаких задних мыслей. Я преследую только интересы общества, которому служу.

Барон Юлленьельм. Но как же это случилось, что интересы общества не требовали этого до сих пор — при жизни вашего отца?

Карл. Потому что мой отец не понимал этого.

Барон Юлленьельм. Потому что ваш отец был благородным человеком, милостивый государь. И если бы у вас была хоть искорка благоговения перед его памятью...

Карл. Это дело, касающееся только меня. Никто не имеет права напоминать мне об уважении, которое я обязан оказывать памяти отца.

Барон Юлленьельм. Но вам это не удастся. Если вы и выиграете процесс, я не закрою своего завода. Мои плечи снесут и не такую

тяжесть. И прежде чем я оставлю без работы своих людей, я соглашусь нести лично какие угодно потери.

Карл. Это очень хорошо, но если завод будет постоянно терпеть убытки, должен же когда-нибудь прийти день...

Барон Юлленьельм. Никогда, милостивый государь, никогда не придет тот день, когда вы выгоните мою обнищавшую дочь из ее наследственного дома, чтобы затем играть роль ее благодетеля.

Карл. Господин барон, многое я могу терпеть от вас, бывшего друга моего отца и дочь которого.., но вы заходите слишком далеко. Я пришел сюда, чтобы предложить вам ассоциацию, потому что только этим путем я могу спасти вас.

Барон Юлленьельм. Спасти меня! Ха, ха! Извините, но это слишком смешно. (*Кричит.*) Алиса!

Алиса (*вбегает*). Вам дурно, папа?

Барон Юлленьельм (*опускается в кресло и говорит слабым голосом*). Пошли за доктором, дитя мое. Я чувствую, что сейчас начнется новый припадок.

(Тетушка Эмилия и Паула входят также. Тетушка Эмилия бежит налево.)

Алиса (*становится на колени возле отца*). Папа, дорогой, как это случилось с вами? (*Карлу*) Что вы сделали?

Барон Юлленьельм. Помоги мне уйти отсюда... в мою комнату.

(Встает, Карл хочет помочь ему вместе с Алисою, но он отталкивает его.)

Если таково именно было ваше намерение, господин Торель, то оно, очевидно, удалось вам. Доктор предупреждал меня о возможности нового припадка.

(Алиса помогает ему выйти в другую дверь справа.)

Паула. Что это значит?

Карл. Все точно сговорились, чтобы разлучить нас, лишь бы Алиса держалась. Что она говорила тебе?

Паула. Ничего. Она обижена, что ты ни разу не заглядывал к ним.

Яльмар (*медленно входит из сада с сигарою во рту. При виде Паулы быстро бросает сигару и шляпу и идет навстречу ей*). Нет, право, такая редкая гостья! И как кстати — пойдем скорее со мною в концертную залу. Я только что получил новые ноты.

Карл. Вы, верное, не знаете, что барон Юлленьельм заболел.

Яльмар. Да он уже давно болен. Разве случилось что-нибудь особенное?

Паула. С ним сделался припадок. Алиса у него.

Яльмар. Ну, вот и отлично, если Алиса там. Такие припадки обыкновенно быстро проходят. Что же, пойдете со мною?

Паула. О, с удовольствием. (*Карлу*) Как ты думаешь, это удобно?

К а р л (*рассеянно смотрит на дверь, в которую вышла Алиса*). Делай, как хочешь.

П а у л а *(Яльмару, направляясь к двери)*. Я почти никогда не играю теперь. Я все время сижу за конторкою и считаю, считаю без конца.

Я л ь м а р. Вот подходящее занятие для вас!

П а у л а. Да, мы теперь должны из всех сил трудиться, чтобы заработать побольше денег.

Я л ь м а р (*направляясь налево*). Тсс, тсс! Деньги! Такие слова из ваших уст!

А л и с а (*выходя справа, к Яльмару*). Куда ты идешь? Папа болен.

Я л ь м а р. Идти мне к нему?

А л и с а. Подожди лучше немного. Он, кажется, засыпает. *(Яльмар и Паула уходят. Алиса, обращаясь к Карлу.)* Как вы могли, как вы могли?

К а р л. Не осуждайте меня, не выслушав.

А л и с а. Что бы там ни было, папа мог вспылить, мог наговорить вам неприятности, нелепости, но все же, все же — как у вас хватило духу...

К а р л. Я был принужден переговорить с ним — дело было слишком важное.

А л п с а. И вы в самом деле хотите идти против нас?

К а р л. Ваш отец заявил мне самым решительным образом, что мы можем повредить ему, что он всегда сумеет поддержать свой завод. Для нас же крайне необходимо расширить свои дела, что же мне делать, как не исполнить свой долг относительно общества, уполномочившего меня действовать от его лица.

А л и с а. Я могла бы придумать для вас другой выход.

К а р л. Скажите же, что мне делать.

А л и с а. Нет. Если ваши собственные чувства не подсказали вам...

К а р л. Я понимаю, что вы хотите сказать, — я должен был бы оставить место, только что принятое мною, не правда ли? Я очень рад возможности объясниться с вами по этому поводу. Если бы я, прежде чем принять это место, узнал о возможности коллизии между интересами Лидо и Герргамры, то, конечно, никогда не согласился бы занять его. Но теперь, через два месяца после вступления в должность, какую причину привести для такого странного поведения. Так поступать нельзя, поверьте мне. Тот, кто желает пробить себе дорогу и создать себе положение, никак не может компрометировать себя таким образом. Это невозможно.

А л и с а. Конечно, когда первое и главное в жизни — создать себе положение, как вы выражаетесь.

К а р л (*приближаясь к ней*). А для кого же, вы думаете, я... Алиса, не перетолковывайте таким ужасным образом моих слов. Вы же знаете все, о чем я не могу говорить с вами, чего не смею затрагивать.

А л и с а. Я ничего, ничего решительно не знаю. Целые два месяца вы не показывались к нам.

К а р л. Не подвергайте меня такому тяжелому испытанию. Я не имею права говорить с вами теперь — мой язык связан.

Алиса (*с подавленным рыданием*). Я, конечно, не стану подвергать вас искушению изменить своим обязанностям относительно вашего общества.

Карл. Алиса! Неужели вы не можете верить мне?

Алиса. Верить! Верить! Чему же мне верить! Целые два месяца вы не старались встретиться со мной, а когда вы, наконец, пришли...

Карл. Я хотел поступить честно относительно вашего отца.

Алиса. Относительно моего отца, которого вы, быть может, убили.

(Разражается рыданием, но кусает губы и стучит ногою о пол, чтобы сдержать себя.)

Карл. Вы несправедливы. Я ни в чем не провинился и, если я сюда не приходил, то только потому, что считал нечестным с своей стороны связывать вашу жизнь с жизнью человека, так плохо обеспеченного в материальном отношении, как я. Я хотел сначала создать будущее для нас обоих.

Алиса. Сначала! И сколько лет думали вы ждать? Насколько богатым и могущественным должны были вы сделаться, чтобы удостоить меня вашим выбором?

Карл. Но если я поступил таким образом, то только потому, что любил вас слишком сильно.

Алиса. Нет, нет, нет! Вовсе не потому! Если бы вы меня любили, вы поступили бы совершенно иначе. Никогда в жизни не позволили бы моему отцу связать вас какими-либо обещаниями. Вы пришли бы ко мне и сказали: мне нечего предложить тебе. Я беден, весь в долгах, но я люблю тебя, и мы будем вместе работать и вместе стараться создать себе будущее.

Карл (*приближаясь к ней и схватывая ее за обе руки*). О, Алиса, если бы я знал, что ты так думаешь! Но как же я мог решиться вырвать тебя из обстановки, в которой ты выросла, к которой привыкла?

Алиса (*тихо*). Если ты меня любишь — и теперь еще было бы не поздно.

Карл (*привлекая ее к себе*). Да, не правда ли, еще не все потеряно?

Алиса. В эти два долгие месяца, что ты оставлял меня одну, я придумала целый план. Я доставлю тебе деньги, нужные для твоего изобретения. Только брось сейчас же свою должность.

Карл (*отступая*). Ты, Алиса, как же ты можешь?

Алиса. Подожди, я тебе сейчас скажу. У меня есть деньги, доставшиеся мне по наследству от матери, — деньги небольшие, так что я не могу назвать себя богатою, но они достаточно велики, чтобы...

Карл. И я взял бы их от тебя! Как ты можешь думать...

Алиса. Дай мне договорить до конца. Я еще несовершеннолетняя. Но у меня есть очень добрый дядя по матери, он бездетный и очень богатый. Я займу у него нужную сумму и выплачу, когда достигну совершеннолетия — через два с половиною года.

Карл. Благодарю, Алиса, это такое великодушное, такое трогательное предложение. Я никогда не забуду...

Алиса. Видишь, как все может еще хорошо устроиться! Зачем ты сейчас же не обратился ко мне. Тебе не пришлось бы занять места у Стенсона.

Карл. Но разве ты сама не видишь, до какой степени невозможно твое предложение.

Алиса. Опять это несносное слово: невозможно.

Карл. Человек, который принял бы такое предложение, который стал бы в такие отношения к любимой девушке и всему ее семейству, был бы недостоин твоего уважения, дорогая моя, в особенности после того, что произошло между твоим отцом и мною. Ты так благородна, что не понимаешь всего этого. Ты даешь волю своим благородным побуждениям и действуешь сообразно им, но мужчина не имеет права...

Алиса (*прерывая его*). И ты уверяешь, что любишь меня, когда все другое важнее для тебя, чем я, когда ты вечно подчиняешь наши отношения разным внешним соображениям. Но как же мне было и ожидать от тебя другого — ты же изменил памяти своего отца и своей научной деятельности, почему же тебе не изменить и мне!

Карл. Нет, Алиса, даже и от тебя я не потерплю таких слов.

Алиса. Но я — я должна терпеть, как ты меня постоянно отталкиваешь. Но теперь это будет в последний раз!

(Убегает на балкон, опирается о балюстраду и разражается рыданиями. Карл идет за нею.)

Алиса. Уходи, уходи! Прошу тебя, уходи!

(Карл после небольшого колебания спускается с балкона и уходит через сад. Яльмар и Паула возвращаются.)

Паула. Карл ушел?

Алиса. Да, он будет ждать тебя возле экипажа.

Паула (*Яльмару*). Позвольте мне поблагодарить вас, барон, за доставленное мне удовольствие. (*Протягивает ему обе руки.*)

Яльмар. Пожалуйста, приезжайте опять поскорее. Почему нам не доставлять себе удовольствия играть вместе? Что ты на это скажешь, Алиса?

(Алиса смотрит серьезно на обоих, не отвечая.)

Паула. Прощай, дорогая Алиса (*целует ее*).

Алиса (*рассеянно*). Прощай! (*Паула уходит налево, Яльмар поворачивается, чтобы идти за нею, Алиса делает ему знак остаться*). Яльмар! Нам следовало бы теперь пойти к папе.

Яльмар (*возвращаясь*). Да, если ты думаешь...

(Паула уходит.)

Алиса. Ты любишь ее, Яльмар?

Яльмар (*с удивлением*). Люблю? Какие громкие слова ты употребляешь! Конечно, я ей очень симпатизирую, мне нравится ее детская наивность, ее большая музыкальная одаренность, но для нас, мужчин, такого рода увлечения не представляют такого большого значения, как для вас. И ты знаешь, что я привык считать совсем другую особу своею будущей женой. Если она не решится никогда выйти за меня, — я останусь старым холостяком.

Алиса. Папа очень болен, Яльмар. Ты знаешь, чем мы могли бы больше всего обрадовать его.

Яльмар. Ты согласна на это, Алиса?

Алиса. Да. Теперь я согласна.

(Яльмар привлекает ее к себе и хочет поцеловать.)

Алиса (*отталкивает его и говорит с подавленным рыданием*). Этого не нужно, пойдем к папе.

(Она поворачивается, чтобы выйти в дверь справа, в эту минуту Карл и Паула возвращаются и входят слева.)

Алиса. О! (*Бежит навстречу им.*)

Карл (*приближаясь к ней тихо*). Я не мог расстаться с вами таким образом. Невозможно, чтобы все, о чем я мечтал, для чего жил в течение стольких лет, рушилось в один миг. Прошу вас, Алиса, позвольте мне поговорить с вами несколько минут наедине.

Яльмар (*выступает вперед*). Простите, если я прерываю вас, но моя невеста и я должны идти сейчас к нашему отцу.

Карл. Невеста!

(Яльмар берет Алису за руку; они уходят, Алиса с опущенной головой. Карл и Паула стоят оба молча в течение нескольких секунд.)

Карл (*гневно*). Никогда больше ноги нашей не будет в этом доме, Паула! Такая неслыханная, такая возмутительная измена!

Паула. Это не может быть изменою. Алиса любит тебя.

Карл. А Яльмар — тебя, не правда ли? Он тебе только что говорил нечто в этом роде в концертной зале.

Паула. Он не это, собственно, говорил, но мне казалось...

Карл. Как постыдно, как возмутительно обманули они нас! А теперь как славно смеются они над нами там, наверху, у умирающего барона!

Паула. И как ты можешь воображать себе такие вещи! Как бы то ни было, но я знаю одно — что они нас не обманули. И я всегда буду одинаково сильно любить их обоих.

Карл. Только червяк, пресмыкающееся может позволить топтать себя таким образом. Вон отсюда! Идем!

(Уходят.)

АКТ ТРЕТИЙ

Та же комната, что и в первом акте, но в ней устроены одновременно гостиная и столовая. Стол накрыт для завтрака. Фру Торель сидит у окна и шьет на машине белье. Паула вбегает в костюме конторщицы, снимает передник и нарукавники и надевает соломенную шляпу и шаль, кивая матери головой.

Фру Торель. Ты сейчас уходишь?

Паула (*торопясь*). Да, и так уже немного поздно, у меня сегодня все не ладилось — я по нескольку раз должна была считать одни и те же цифры.

Фру Торель (*налаживает машину*). И это бывает с тобою каждую субботу.

Паула (*быстро оборачиваясь и приближаясь к матери*). Разве Карл говорил что-нибудь?

Фру Торель. А разве он тебе ничего не говорил?

Паула. Нет.

Фру Торель. Нет, понятно. Я должна вечно служить козлом отпущения. Я во всем виновата.

Паула. Что же он говорит?

Фру Торель. А то, одним словом, что ты за последнее время совсем перестала стараться — собственно говоря, все это лето — и особенно по субботам, когда ты только и думаешь о том, как бы скорее вырваться на прогулку. Ты совсем пренебрегаешь своими обязанностями, говорит Карл.

Паула. Что же мне делать? Идти назад и опять приняться за счеты? Но как же я могу заставить его так долго ждать.

Фру Торель. Паула, дорогая моя, ты — как я боюсь за тебя! Чем это кончится?

Паула. Разве Карл говорил что-нибудь?

Фру Торель. Да, у него возникли какие-то подозрения. И подумай только, если он когда-нибудь узнает, что и я была заодно с тобою.

Паула (*садится на стул возле матери и прижимается к ней*). Милая, дорогая моя мамочка, тут же нет ничего дурного. Если даже Алиса позволяет...

Фру Торель. Да, но разве Алиса в самом деле знает?

Паула. Что Яльмар никогда не был влюблен в нее? Да, она это, конечно, знает. И она сама не раз говорила, что мне следовало бы быть его женою.

Фру Торель. Хорошо, но почему он не женился в таком случае на тебе?

Паула. Он же не мог, раз мы оба бедны.

Фру Торель. Если бы он тебя действительно любил...

Паула. Да, если бы, — но он не любит меня так сильно. Но во всяком случае я для него больше значу, чем кто-либо другой.

Фру Торель. И ты можешь этим довольствоваться?

Паула. Я счастлива. Только бы мне видеть его, видеть часто и слушать, как он играет.

Фру Торель. Но уверена ли ты, что Алисе нравятся твои частые посещения?

Паула. Она никогда ничего не говорит и всегда оставляет нас одних в концертной зале.

Фру Торель. Хотя бы ты по крайней мере бросила эти прогулки. Почему всякий раз ты должна заходить за ним?

Паула. Но он не может заходить сюда за мною — из-за Карла.

Фру Торель. Но если уж вы встречаетесь на прогулке, он мог бы приходить куда-нибудь сюда поближе, а не заставлять тебя идти в Герргамру.

Паула. Ему так далеко идти сюда, а он не очень любит ходить.

Фру Торель. Он мог бы ездить.

Паула. Да, но тогда кучер...

Фру Торель. Он мог бы сам править.

Паула. Он говорит, что это скучно.

Фру Торель. Вот как! Нечего сказать — романтично! Он не желает доставлять себе ни малейших неудобств. Неужели у тебя нет никакой гордости!

Паула. Гордости! Когда я люблю его!

Фру Торель. Да, в мое время девушки были не такими, можешь быть в этом уверена. Но неужели ты не находишь, что это все-таки гадко злоупотреблять доверием Алисы?

Паула. Но мы вовсе не злоупотребляем им. Мы ничего дурного не делаем. Мы только гуляем вместе и играем вместе. (*Бросается с рыданием в объятия матери.*) Мама, мама! Ведь это все, ради чего мне еще стоит жить, — мое единственное счастье в жизни!

Фру Торель. Я вижу и понимаю все, дорогая моя. Поэтому у меня и не хватает сил противиться тебе. Но если бы я, по крайней мере, могла переговорить с Карлом.

Паула. Это невозможно — он ничего бы не понял. Со времени разрыва с Алисою он стал таким сухим и холодным. Он совсем бы иначе посмотрел на наши отношения, увидел бы в них совсем не то, что есть. А я, напротив того, так горжусь ими, я считаю их гораздо выше и лучше обыкновенной супружеской любви. Я даже не хотела бы быть его женой, понимаешь, мама, мне не хотелось бы омрачить нашу любовь будничной прозой. Я хочу всегда быть для него только тем, чем теперь, — больше ничем.

Фру Торель. Да, знаешь ли, я сама думаю, что Карл сочтет все это за глупости. Но он так рассердится на меня, когда узнает. И что я скажу ему? А он что-то подозревает.

Паула. Скажите ему только одно — что его подозрения совершенно неосновательны. Вы можете сказать это совершенно спокойно, мама.

Карл не имеет никакого понятия о наших действительных отношениях. Но мне пора уходить. (*Целует ее.*)

Фру Торель. Ты бы позавтракала сначала, дорогое дитя.

Паула. Нет, благодарю, мне не хочется есть. (*Уходит.*)

Фру Торель. И так всегда... в эти дни. Ты совсем расстроишь свое здоровье, дорогое дитя.

Карл (*входит*). Она ушла?

Фру Торель. Да, она вышла, как всегда, погулять в субботу.

Карл. Приготовлен ли у вас бифштекс для меня, мама?

(Садится с усталым видом за стол.)

Фру Торель. Сейчас, дорогой мой.

(Идет в кухню и приносит бифштекс.)

Карл (*ест с нервною поспешностью*). Завтрак не тронут. Разве Паула ничего не ела?

Фру Торель. Нет, ей не хотелось есть.

Карл. После четырехчасовой работы! И всего одна чашка кофе поутру! Куда она ушла?

Фру Торель (*садится за работу*). Я не знаю.

Карл. У одного из моих мастеров было дело в Герргамре на днях, когда Паула также выходила гулять. Он видел ее в парке одну с Яльмаром.

Фру Торель. Да, она часто ходит к Алисе.

Карл. С Яльмаром — а не с Алисою.

Фру Торель. Да Алиса, верно, оставила их на минуту.

Карл (*встает*). Нет, мама, не годится быть до такой степени слепой. Вы должны обязательно поговорить с нею, мама.

Фру Торель. Ты не доешь бифштекса, дорогой мой?

Карл. Нет, из-за этой истории я тоже потерял и сон, и аппетит. Сегодня итоги были у нее опять неверны.

Фру Торель. Может быть она немного переутомилась.

Карл. Нет, мама, нельзя быть до такой степени слепою. Даже Марта...

Фру Торель. Марта?

Карл. Да, даже она, такая невинная и доверчивая, не одобряет поведения Паулы.

Фру Торель. Разве Марта говорила об этом с тобою?

Карл. Да — совершенно наивно. Эта девочка видна вся насквозь.

Фру Торель. Ты, кажется, начинаешь интересоваться Мартою, Карл.

Карл. Да, не могу отрицать, что она, по-моему, премилая девушка.

Фру Торель. Милая-то милая, да не годится для тебя.

Карл. Почему?

Фру Торель. Ты всегда любил более умных, более развитых.

Карл. Умных, развитых — ба! Взвинченных, экзальтированных, с которыми невозможно жить! Нет, лучше уж эти простые, несложные

натуры, если уж вообще нужно жениться. А жениться раньше или позже придется...

Фру Торель. Но Марта любит Эрнста.

Карл. Вы в этом уверены, мама?

Фру Торель. Да, правда, она в последнее время казалась сильно заинтересованною тобою, тем не менее...

(Горничная входит с почтовою сумкою.)

Карл (*раскрывает ее и пробегает адреса писем*). Письмо к Пауле — от Яльмара.

Фру Торель. Почему ты это знаешь?

Карл. Мне знаком его почерк. Зачем он пишет ей по почте, вместо того чтобы просто прислать письмо?

Фру Торель. У него, может быть, некого было послать.

Карл. У него, который никогда не стесняется отрывать рабочих от плуга, когда ему приходит фантазия. Нет, он не хотел, чтобы Алиса узнала об этом письме, поэтому он и не посмел послать кого-нибудь.

Фру Торель. Какой же ты, право, подозрительный, Карл! Он много уже раз присылал к Пауле по поводу занятий с нею музыкой.

Карл. Именно поэтому ясно, что в этом письме заключается нечто другое — более интимного свойства. (*Открывает другое письмо.*) Ну вот — новые неприятности.

Фру Торель. Господи боже, что же еще?

Карл. Ну, теперь конец моему терпению! Он наделал уже достаточно глупостей.

Фру Торель. Кто же это, скажи, бога ради?

Карл. Эрнст! Он еще три месяца тому назад получил заказ для нашей фабрики и не переслал его нам. Теперь обратились к другим, и компания понесла убытку на несколько тысяч крон, не считая скандала. Я не могу больше держать его на месте — он портит нам дела.

Фру Торель. Ведь он твой брат, Карл. Нужно иметь к нему хоть немножко снисхождения.

Карл. Я не могу быть снисходительным, мама, нельзя спускать другим, когда приходится самому так тяжело бороться. Нам нужны дельные люди.

Фру Торель. Если у тебя нет никаких чувств к твоему бедному брату, то пожалей хоть меня. Не огорчай меня так ужасно! Не причиняй мне этого горя.

Карл. Дорогая, милая моя мама, не просите, мне и так тяжело. Разве вы не видите, как много мне приходится переносить, как я разрываюсь и день и ночь, чтобы выкарабкаться из ямы, в которую мы попали. Страшно трудно завоевать себе доверие после того, как твое имя однажды... И разве я могу допустить, чтобы мои родные своим легкомыслием и беспечностью обратили в ничто все мои усилия. Нет большего препятствия для человека, желающего пробиться вперед, как окружать

себя никчемными родственниками. Паула уже делает все, что может, чтобы скомпрометировать меня, а тут еще и Эрнст.

Фру Торель. Я всегда говорила, что не следует отсылать Эрнста далеко от дома.

Карл. Да, по-вашему ему бы следовало остаться дома и держаться за маменькину юбку.

Фру Торель. Эрнст нуждается в нежных попечениях близких, не все так сильны, как ты (*тихо*), не все так суровы.

Карл. Чего же вы хотите от меня, мама?

Фру Торель (*умоляющим голосом*). Достань Эрнсту место здесь, дома, Карл.

Карл. Какое же место? Не лучше ли будет сделать его управляющим вместо меня? А я отправлюсь куда-нибудь далеко, я ведь такой суровый...

Фру Торель. О, Карл, зачем ты так толкуешь мои слова? Я вовсе не это хотела сказать.

Карл. Да, если бы вопрос шел только обо мне одном, я бы охотно — видит бог, как тяжело мое положение, когда еще вдобавок все родные против меня.

Фру Торель. О, Карл, Карл, как можешь ты говорить это!

(Входят Стенсон и Марта.
Карл идет с живостью навстречу им и любезно здоровается с Мартою.)

Марта. Паула дома?

Карл. Нет, она только что вышла. Она так любит большие прогулки, в особенности по субботам, когда занятия в конторе кончаются рано.

Марта. О, и мне бы очень хотелось пойти куда-нибудь погулять. Если бы только было с кем. А вы, господин управляющий, никогда не ходите гулять? Мы могли бы отправиться когда-нибудь втроем.

Карл. К сожалению, времени у меня нет. Но ради удовольствия сопровождать вас, фрекен...

Марта. Да, ну так мы пойдем как-нибудь вместе собирать грибы? Я очень хорошо разбираюсь в грибах.

Стенсон. Помолчи теперь, маленькая болтушка. Мне необходимо переговорить с Карлом об очень серьезных делах. А ты покамест ступай в комнату Паулы.

Марта. Почему мне не остаться здесь? Я не буду слушать вас. Я сяду здесь и буду шить.

(Снимает пальто и шляпу и садится у машины.)

Стенсон. Я пришел переговорить с тобою об Эрнсте.

Карл. Мне уже все известно.

Стенсон. Ну, так я надеюсь, что ты ничего не будешь иметь против моих планов. Послушал бы ты, что говорили сегодня в правлении. Торель — самый дельный малый, но у него один только недостаток: он хочет выдвигать вперед своих никуда не годных родичей.

Карл. Вот видите, мама!

Стенсон. Да, дорогая фру Торель, нечего уж теперь плакаться. Эрнст должен быть уволен, и чем скорее, тем лучше. Мы его отправим в Америку.

Фру Торель (*вскакивает*). И у тебя хватит духу сделать это, Карл?

(Марта быстро встает с места.)

Стенсон. Что ты сказала?

Марта. Ничего.

(Отворачивается и смотрит в окно.)

Фру Торель. Марта, наверное, замолвит доброе словечко за бедного Эрнста.

Марта. Я? Это почему?

Фру Торель. Я думала всегда, что ты немного интересуешься им.

Марта. О нет, нисколько. Я совсем не такая. Я, напротив того, всегда говорила, что могу интересоваться только тем человеком, за которого выйду замуж.

Стенсон. Да, моя девочка отличалась всегда нравственными правилами. Она не задурила себе голову чтением романов, как многие другие современные девушки, вот в чем дело. Не думаю даже, чтобы Марта дочитала хоть один роман до конца.

Марта. Нет, романы казались мне всегда такими глупыми. Что за удовольствие читать о том, что неправда!

(Карл смеется одобрительно и тихо говорит что-то Марте.)

Стенсон (*обращаясь к фру Торель*). Хорошая это была бы партия для Карла, не правда ли?

Фру Торель. Но ведь так жалко Эрнста!

Стенсон. Эрнста!.. Вы с ума сошли, фру Торель? (*Дружески подталкивает ее в бок.*) Мы дадим ему кругленькую сумму денег на дорогу и отправим в Америку. Поверьте, это для него будет самое лучшее.

Карл (*тихо Марте*). Так вы никогда не были серьезно расположены к Эрнсту, фрекен Марта?

Марта. Конечно, нет. Это Паула всегда хотела, чтобы были влюблены в ее братьев, и когда Алиса...

Карл. Разве Паула хотела, чтобы...

Марта. Да, Паула и Алиса, они обе были всегда такие мечтательницы, такие...

Карл. Да, на свою беду. Нет, именно такие девушки, как вы, созданы для семейного счастья.

Марта. Теперь уж вы говорите слишком много, господин Карл.

Карл. Слишком много?

Марта (*отходя от него*). Я не хочу слышать ничего такого, что вы не могли бы повторить громко при всех. Я никогда не делаю ничего за спиною папы.

(Подходит к отцу и прячет у него голову на груди.)

Стенсон. Ну, в чем дело?

Марта (*шепотом*). Мне кажется, он сделал мне предложение, папа.

Стенсон. Ну, это меня радует. У тебя будет дельный муж, который сделает блестящую карьеру, если только освободится от излишней сентиментальности, а ты (*протягивая Карлу руку*) — получишь славную, домовитую женушку, простую, безыскусственную.

(Подходят к матери и обнимают ее.)

Фру Торель. Дай бог, чтобы вам жилось счастливо, дорогие мои дети. Но как ты могла так скоро забыть Эрнста!

Карл. Да ведь это было чистое ребячество. Марта не понимала собственного сердца. (*Ласкает ее.*) Она не такая скороспелая, как ее подруги. В ней еще так много непосредственного, что делается светло на душе при виде милого, невинного личика.

Стенсон. Да, теперь, в сущности, следовало бы оставить молодую парочку поворковать друг с другом наедине. Но у меня есть еще дела, о которых необходимо переговорить с Карлом.

Марта. Это ничего. Я пойду в другую комнату и поболтаю пока с своею милою свекровью. (*Подходит к Карлу и протягивает ему для поцелуя губки.*) Теперь это дозволено, раз папа и свекровь знают об этом.

Карл (*целуя ее*). Ах ты, святая невинность!

(Марта и фру Торель уходят.)

Стенсон. Ты не пожалеешь о том, что я стану твоим тестем. Не подойдет ли молодой парочке Торель замок Герргамра в качестве местожительства когда-нибудь в будущем?

Карл (*вздрогнув*). Что вы хотите этим сказать?

Стенсон. А то, что Юлленьельмам скоро конец. Они опять взяли крупную сумму под майорат. Через несколько лет они будут банкротами.

Карл. И все это из-за недостатка воды...

Стенсон. Да, но почему же они были так безумны, что довели дело до процесса. Ясно было, что мы выиграем. А что, небось, приятно тебе было бы жить в замке с Мартою?

Карл (*резко*). Никогда! Не говорите об этом! Никогда этого не будет! Ни за что я не соглашусь на это!

Стенсон. Так я и говорил — сентиментальность еще сидит в тебе. Жаль, жаль!

Фру Торель и Марта (*вбегают и кричат, перебивая друг друга*). Карл! Юлленьельмовский экипаж! Он остановился перед домом. Барон Яльмар!

Стенсон. Неужели? И что понадобилось ему? Ведь он это первый раз приезжает к тебе?

Карл. Нам лучше переговорить с ним наедине.

Стенсон. Слуга покорный. Прощай. Теперь он еще и выпроваживает.

Марта (*подходит к Карлу и протягивает ему губы для поцелуя*). А ты любишь свою маленькую невесту?

Стенсон. Иди, иди, девочка. Никогда не следует мешать мужчине пустяками, когда у него дела. Женщины должны научиться этому.

(Уходит в сопровождении г-жи Торель. Яльмар входит и церемонно кланяется.)

Карл (*отвечает тем же*). Садитесь, пожалуйста.

Яльмар. Я пришел, собственно, по поручению моей жены. Ей пришла в голову мысль, быть может совершенно непрактичная и невозможная, но я, во всяком случае, не хотел отказаться исполнить ее просьбу. Вы когда-то помогали вашему отцу в его работе над изобретением, над которым он так много трудился. Жена моя думает, не знаю на каком основании, что вы были уже близки к разрешению этой задачи.

Карл. Да, я так думал.

Яльмар. Но что вы из-за экономических причин принуждены были отказаться от продолжения этой работы.

Карл. Не навсегда, но — на время.

Яльмар. Говорят, что теперь инженер Грот, — вам известно это, — занят разработкою того же вопроса.

Карл. Да, мне говорили, но и у него также нет средств довести дело до конца.

Яльмар. Да, но моя жена вбила себе теперь в голову рискнуть всем своим личным состоянием для разрешения этой задачи.

Карл. Вот как! И она намерена предложить этому инженеру Гроту?

Яльмар. Нет, жена доверяет больше вам. Она предлагает в ваше распоряжение столько денег, сколько вам может понадобиться.

Карл. Она предлагает мне — я не понимаю — невозможно, чтобы она действительно предлагала мне...

Яльмар. Да, правду говоря, я знаю, что она, еще будучи молодою девушкой, предлагала вам деньги взаймы для той же цели. И тогда, конечно, вы не могли поступить иначе, как вы поступили. Но теперь положение совершенно другое: прежде всего это вовсе на заем, весь риск остается на нашей стороне.

Карл. Но я, собственно, не совсем понимаю, что могло побудить баронессу...

Яльмар. И жена моя, и я, мы оба в душе немного эстетики, и эта бешеная конкуренция претит нам, тем более, что Алиса мечтала всегда об улучшениях в положении рабочих, а при настоящем ходе дела это невозможно. Поэтому она и относится так горячо к этому изобретению, которое, по ее мнению, должно разрешить все затруднения. Но я, конечно, понимаю, что у такого делового человека, как вы, иная точка зрения. Быть может, в ваших интересах погубить окончательно Герргамру?

Карл. Как вы, вероятно, знаете, я делал вашему покойному дяде предложение, которое должно было бы убедить вас в том, что я, напротив того, всегда желал спасти Герргамру.

Яльмар. Да, это правда — вы всегда чувствовали склонность к благодеяниям. Но я вовсе не имел намерения просить у вас милости. Я предполагал доставить вам приятную возможность довести до конца дело, которому вы и ваш отец посвятили уже столько сил.

Карл. Да, это так... конечно. Но ваше предложение так неожиданно... Я не могу сразу дать вам решительного ответа... Мое положение относительно моего — относительно директора Стенсона и компании... Однако я очень благодарен баронессе за доверие, глубоко благодарен. Через несколько дней я буду иметь честь явиться к вам лично переговорить обо всем.

Яльмар (*встает и оглядывается*). Разве — как здоровье фрекен Паулы?

Карл. Ее нет дома.

Яльмар. Разве? Я ей послал несколько строк по почте. Это было по поводу наших занятий музыкой.

Карл. Вот ваше письмо. Оно было принесено после ее ухода.

Яльмар. Какая досада! Значит она напрасно пройдется так далеко...

Карл. Так далеко? По-видимому, вы, барон, осведомлены больше о том, куда она пошла, чем мы.

Яльмар. Да, мы собирались заняться музыкой. Разве она вам ничего не говорила? Но я написал ей, что сегодня мы играть не сможем, так как я сам приеду сюда.

Карл. В таком случае я прикажу запрячь и пошлю за нею.

Яльмар. Нет, нет. Не делайте этого. Ее не найдут.

Карл. Как не найдут? Я пошлю спросить о ней в замке.

Яльмар. Нет, я, право, не знаю, пойдет ли она прямо туда. Проклятие, что почта пришла так поздно.

Карл (*встает и ударяет рукой по столу с внезапно вспыхнувшим гневом*). И вы осмеливаетесь являться сюда ко мне с предложением вступить с вами в союз, когда вы состоите в тайной связи с моей сестрой?

Яльмар (*холодно*). Я вас не понимаю.

(*Паула входит*).

Карл. Уже пришла! Ты не могла в такое короткое время дойти до Герргамры и обратно.

Паула. Я — до Герргамры?

Карл. Барон Юлленьельм только что сказал мне, что ты должна была сегодня играть с ним в Герргамре.

Паула. Как так? Когда барон здесь! Я встретила лесничего, и он сказал мне, что барон поехал сюда.

Карл. Поэтому ты и вернулась обратно. Но ты собиралась идти в Герргамру играть с бароном. Не так ли?

Паула. Нет.

Карл. Теперь я требую, чтобы ты в моем присутствии распечатала письмо и дала мне прочесть его.

(*Подает ей письмо. Паула испуганно смотрит на Яльмара.*)

Яльмар. Что это значит? Вы даете брату такую полную власть над собой, фрекен Паула?

Паула (*Карлу*). Я не понимаю, как ты можешь требовать...

Карл. Делай, как знаешь. Но если ты не докажешь мне сейчас же, с помощью этого письма, неосновательность ужасных подозрений, возбужденных во мне твоим поведением и вашими противоречивыми показаниями, — я немедленно прерву все переговоры с бароном. А от этих переговоров зависит существование фамилии Юлленьельм. Делай теперь, что ты находишь правильным.

Паула. Уверяю тебя, Карл (*срывает конверт и подает ему письмо*). На, бери! Совесть моя чиста. Решаюсь показать его тебе, даже не читая.

Карл (*читает*). Я не могу прийти сегодня на свиданье в парк, потому что Алиса не дает мне ни минуты покоя, пока я не повидаюсь с твоим братом по одному важному делу. Будь дома, когда я приеду, а затем иди вниз к часовне. Я сойду с экипажа у перекрестка.

Яльмар (*с трудом сдерживавший себя во время чтения, вырывает из рук Карла письмо*). Нет, такая неделикатность превышает мое терпение. Занимайтесь своими делами, милостивый государь, и не суйте свои грубые руки в то, что вас не касается и что вы не можете понять.

Карл. Я понимаю одно: если такого рода письмо от женатого человека к молодой девушке может служить доказательством невинности их отношений...

Паула. Клянусь тебе, Карл, ты не понимаешь, но это так.

Карл. Да, это правда, я не понимаю, как ты, такая добрая, правдивая, могла так далеко зайти.

Паула. Если бы ты не помешал мне взять у Алисы денег взаймы и отправиться учиться, — этого никогда не случилось бы.

Карл. Разве это может служить извинением для твоего возмутительного поведения относительно подруги детства? С этого дня ноги твоей не будет в Герргамре. Я не допущу, чтобы ты до такой степени бесчестила себя.

Яльмар. И в самом деле, теперь, вашим грубым вмешательством вам удалось сделать наши дальнейшие отношения невозможными. Мне остается одно: проститься с Паулою.

Паула (*вскрикивает*). Яльмар! Карл, прошу тебя! Я не могу жить, не видя его.

Карл. Вот до чего дошло! Во всяком случае, не моя вина, если ты до такой степени лишена всякого чувства собственного достоинства, что можешь так ужасно унижать себя.

Паула. Это не унизительно, Карл, это убьет меня. Лишь бы мне только видеть его, не так часто, если ты этого хочешь, но только хоть изредка видеть его!

Яльмар. Не проси его ни о каких милостях, Паула. Нужно совершенно не уважать себя, если бы мы после этого могли... когда за тобою шпионят...

(Жмет ее руку и быстро уходит.)

Паула *(бросается плача на стул)*. О, Карл, ты не должен был этого делать!

Фру Торель (*входит*).

Карл. А вы, мама, знали это?

Фру Торель. Это? Что же случилось? Господи боже, посмотрите только на Паулу. Значит, все открылось?

Карл. Так и вы знали об этом? И мать, и сестра обманывали меня! Никто не оказывает мне доверия, все делается за моею спиною. Разве я был тираном, что вы обращаетесь со мною таким образом?

Фру Торель. О, Карл, не будь таким подозрительным.

Карл. Подозрительным! Вы меня называете подозрительным, когда я вижу, как все и все изменяет человеку, который хочет честно бороться за правду! Как отнеслась ко мне Алиса, когда я из деликатности не хотел вторгаться в ее семью, не добившись предварительно обеспеченного положения, которое я мог бы предложить ей? Она сочла это за мелочность, за высокомерие, и она так мало понимала мою горячую любовь к ней, что в раздражении на меня бросилась в объятия другого. Когда я употреблял все усилия, чтобы поставить на ноги дело, которое почти погубил мой отец, мне бросают в лицо обвинение, что я изменяю его памяти! А когда я теперь стараюсь спасти брата и сестру от гибели, не дать им совершить дурных, слабовольных поступков, — говорят, что я жесток! Вы делаете все, чтобы я остался одиноким, но я и один сумею добиться своего, не отступая ни на волос от того, что считаю справедливым.

Марта (*вбегает*). Мне так интересно знать, Карл, чего хотел барон. А вот и Паула! Карл передал тебе новость?

Паула (*с трудом подавляя свои слезы*). Какую?

Марта. Что мы помолвлены. Ты плачешь?

Паула (*встает, Карлу*). Если бы я считала себя вправе вмешиваться в твои дела, как ты вмешиваешься в мои, я сказала бы тебе, что теперь ты поступаешь дурно или слабовольно.

Марта. Что она хочет этим сказать?

Паула. А вот что: если Карл сказал, что любит тебя, он обманывал или себя, или тебя. Он никогда никого не любил, кроме Алисы.

Карл (*резко прерывая ее*). По какому праву...

Паула. По тому же праву, как и ты. И я нахожу, что ты поступаешь в тысячу раз хуже, чем я.

(Выбегает из комнаты.)

Марта. Она меня даже не поздравила! Как нехорошо с ее стороны возбуждать во мне ревность к Алисе (*ласково Карлу*), но это ей не удастся — я верю тебе.

Карл (*привлекая ее к себе*). Благодарю. Да, верь мне! Имей всегда доверие ко мне, будь всегда откровенна и правдива. Не смотри на меня, как на тирана, которого нужно обманывать за спиною, потому что тогда

я могу в самом деле сделаться им. Будь честна относительно меня, будь прежде всего честна! Со мной!

Марта (*смеясь*). Слышишь, мама, что он говорит! Будь честна! Как будто у меня есть, что скрывать. Я терпеть не могу никаких тайн. Но и ты должен быть честным со мною. Что имела в виду Паула, говоря об Алисе? Это было нехорошо с ее стороны. Положим, я мало об этом и забочусь. (*Таинственно.*) Скажи мне только одно: ты когда-нибудь целовал ее?

Карл. Целовал — Алису?

Марта. Да, в губы?

Карл. Нет, никогда.

Марта. Нет? Ну, так об чем же говорить!

Карл. Что это тебе пришло в голову? Быть может ты — что у тебя было с Эрнстом накануне Ивана Купалы?

Марта. И как тебе не стыдно это говорить? (*Зажимает ему рот рукою.*) Фу, Карл, ты такой гадкий, такой гадкий, как ты мог подумать...

Карл. Да я этого вовсе и не думаю.

Марта. Так вот тебе в награду поцелуй (*целует его*).

Фру Торель. Что за милое невинное дитя!

Карл (*с пафосом*). И слава богу, что она дитя.

ПЕРЕМЕНА ДЕКОРАЦИИ

Большая восьмиугольная концертная зала в Герргамре. Большой рояль посередине. Небольшой кабинетный шкаф и бюсты музыкантов у стен. Куполообразный потолок. Натертый пол и лепные оконные проемы без гардин. В углу несколько низких глубоких кресел, обтянутых кожею. В глубине две двери: одна в кабинет, другая — в курительную комнату Яльмара с коврами, драпировками и мягкой мебелью.

Алиса (*ходит между обеими комнатами и выглядывает то в одно, то в другое окно; вдруг растворяет настежь окно справа и высовывается из него; слышен стук колес; Алиса кричит*). А, приехал, наконец! Здравствуй! Я здесь. Иди сюда. Как долго тебя не было! (*Выбегает в дверь слева и через минуту возвращается с Яльмаром.*) Ну, ну, ну!

Яльмар (*одет в белый пыльник, в широкополой шляпе и с белым зонтом в руках*). Позволь мне сначала снять плащ. (*Алиса хочет помочь ему.*) Нет, ради бога, только не здесь. Ты видишь, сколько на мне пыли, а рояль открыт. (*Идет к двери в другую комнату и останавливается на пороге.*) Почему рояль открыт?

Алиса. Ты его оставил открытым, когда уезжал.

Яльмар. И никто не подумал закрыть его. (*Снимает в другой комнате плащ, возвращается и медленно и осторожно закрывает рояль.*)

Алиса. Ну? Рассказывай же, Яльмар! Что он сказал?

Яльмар (*занят роялем*). Такого филистера я еще никогда не встречал.

Алиса. Филистера! О ком ты говоришь?

Яльмар (*во время разговора ходит взад и вперед между обеими комнатами, зажигает сигару и курит*). О ком! Странный вопрос!

Алиса. О Карле?

Яльмар. О Карле, да — о великом Карле. Такого сухого, прозаичного, бесчувственного, бессовестного мещанина я, слава богу, ни разу еще не встречал в жизни!

Алиса. Разве он не захотел?..

Яльмар. Нужно быть, право, слишком наивным, чтобы верить, что такой человек способен на изобретение. Он только хвастается и рисуется — вот и все. Если бы ты слышала, каким бесстыдным образом отказался он от моего предложения!

Алиса. Отказался! Я этого не ожидала — теперь!

Яльмар. Ты, может быть, воображаешь, что в основании его отказа лежит какая-нибудь романическая причина — например, боязнь встретиться с тобою и влюбиться вновь в тебя — ничуть не бывало. Я, напротив, застал его в положении только что помолвленного, счастливого жениха.

Алиса. Жениха! О ком ты говоришь?

Яльмар. Да о Карле, все о Карле же, и ни о ком другом все время не говорю, как только о Карле. Что я каждый раз должен повторять его имя? Так вот. Карл только что был помолвлен с твоей бывшей школьной подругой, Мартой Стенсон.

Алиса. Карл помолвлен с Мартою?! Это невозможно.

Яльмар. Я это тотчас понял по всему настроению в доме — она ушла, когда я входил, и возвратилась, когда я уезжал. Но точные сведения я получил у золотых дел мастера, которому я отдавал поправить твой браслет. Он мне сказал, что она только что приходила в магазин с отцом и заказывала обручальные кольца.

Алиса. С Мартою! Вот подходящая жена для него! Миленькая, невинная, маленькая Марта! И теперь он так счастлив и так влюблен, что ему ни до чего другого нет дела. Как это трогательно! Слушай, Яльмар!

Яльмар. Ну?

Алиса. Мы напишем инженеру Гроту.

Яльмар. Это чтобы отомстить?

Алиса. Конечно, нет. С какой стати буду я делать ему зло, ему, который нашел счастье в объятиях Марты? Да и какое ему дело теперь до какого бы то ни было изобретения, хотя бы оно перевернуло вверх дном весь мир, лишь бы его оставили в покое и дали ему на свободе ворковать с его Мартою. Но я все-таки хочу, чтобы работа по изобретению была доведена здесь до конца. Я хочу доказать ему, что она могла быть сделана. И когда он, наконец, пробудится из своего любовного чада, потому что и его медовый месяц не может же быть вечным, — тогда он увидит, к своему удивлению, что мир сильно подвинулся вперед за то время, пока он спал.

Яльмар. Однако известие мое поразило тебя в самое сердце, Алиса, как я вижу. Я не думал, что это было так серьезно.

Алиса. Серьезно! Как же я, как же могла я не быть влюбленною в человека, который так очарователен, так неотразим, что покорил сердце такой девушки, как Марта!

Яльмар. И ты послала меня с таким еще живым чувством к нему в душе, ты послала меня к нему предложить возобновить знакомство...

Алиса. Нет, Яльмар, ты не должен этого думать. Ты знаешь, как эта противоестественная конкуренция мучила меня, в самом деле. Только потому я...

Яльмар. Ты, может быть, сама этого не сознавала. Но что же мне думать теперь, когда я вижу...

Алиса (*холодно, отвернув от него лицо*). Я не утруждала бы тебя своим поручением, если бы не знала, что тебе, во всяком случае, будет приятно повидаться с Паулою.

Яльмар. Ты говоришь это с такой язвительностью. Ты ревнуешь.

Алиса. Ревную! Я? О нет, я так привыкла, чтобы всех любили больше, чем меня. В школе говорили, что я самая способная, но я знала всегда, что это — насмешка судьбы одарить меня такими блестящими способностями только для того, чтобы я лучше чувствовала, чем я могла бы сделаться для другого, если бы кто-нибудь действительно от души полюбил меня.

Яльмар (*приближаясь к ней*). Я больше не буду встречаться с Паулою.

Алиса. Неужели ты — как же ты мог решиться?..

Яльмар. Ты, значит, знаешь, чем она была для меня?

Алиса. Уж не думаешь ли ты, что я слепа на оба глаза?

Яльмар. И ты никогда, ни одним словом не пробовала помешать...

Алиса. Я чувствовала, что не имею на это права. Она была для тебя тем, чем я не могла никогда быть.

Яльмар. И ты, конечно, подозревала.

Алиса. Вас в измене? О нет. Я никогда не считала тебя, а особенно Паулу, способною на измену.

Яльмар. Но я надеюсь, что это не огорчало тебя.

Алиса. Конечно, конечно, нет. Мне было так приятно, так приятно видеть, как все любят других, а не меня, видеть вокруг себя взгляды, слышать голоса, полные невыразимой нежности, и чувствовать, что сама стоишь вне всего этого. Я ждала каждую минуту, что и мой маленький Якоб... (*Голос ее прерывается подступающими рыданиями.*)

Яльмар. Милая Алиса, неужели ты чувствовала себя такою одинокою?

Алиса. Одинокою! Ведь я и жила как бы только для того, чтобы терять одного за другим всех, кто любил меня. Прежде всего Карла — для него карьера, положение, внешний блеск представляли больше значения, чем моя любовь. Паула — она говорила всегда, что я для нее второе я, — пока она не познакомилась с тобою. Тогда я стала для нее ничем. Ты!

Когда мы дали друг другу слово, ты уверял, что любишь меня так сильно, как только можешь любить. Но не успела я сделаться твоею женой, как ты тотчас постарался найти у другой то счастье, которого не находил у меня. Только мой маленький Якоб — да, уверяю тебя, я совершенно искренно удивляюсь всякий раз, когда он протягивает свои ручонки мне, а не кому-нибудь другому.

Яльмар. И ты все это носила в себе и не говорила никому ни слова.

Алиса. Не выпрашивать же мне было любовь, в которой мне отказывали.

Яльмар. Но, в сущности, я всегда знал, что ты меня не любишь. Это, конечно, и было причиной того, что я отстранился от тебя.

Алиса. Но я не была безразлична к тебе, Яльмар. Поверь, я всегда любила тебя. И я так искренно, так страстно желала, чтобы ты хотя немножко интересовался мною. Я немногого и хотела. Я хотела только, чтобы никто не стоял между нами, не был ближе к тебе, чем я. Об одном только и мечтала я всю жизнь — быть первою для другого человека.

Яльмар. Ты первая — единственная для меня теперь, Алиса.

Алиса. Да, пусть я буду первою для тебя. (*Он садится в кресло, она становится на колени у его ног.*) Между нами столько связей, столько связей, соединяющих нас! Вспомни о нашем счастливом детстве, о наших общих воспоминаниях здесь в Герргамре, которые нам обоим одинаково дороги, составляют как бы часть нас самих. А наш маленький Якоб? Многое могло бы помочь нам слиться душою друг с другом, зажить одною общей жизнью — не правда ли?

Яльмар. Да. Мы — ветви одного и того же дерева. Я часто чувствую, как много общего между тобою и мною.

Алиса. Ты прав, Яльмар, между нами столько, столько общего! Почему же нам не быть счастливыми? Дай мне показать тебе, какою я могу быть, когда меня искренно любят! Увидишь, увидишь! Бедняжка Алиса все же не без ресурсов. Даже Марта не так хороша, какой может быть бедная, презираемая Алиса, если посмотреть на нее как следует, настоящими глазами. Посмотри на меня хорошенько. Хороша ли я? Да, когда меня любят, я хороша, но только тогда, когда меня любят, — не иначе. Добра ли я? Да, когда меня любят, я — сама доброта. Ведь я не эгоистка. О нет, я не эгоистка, я могу совершенно отрешиться от себя, слиться всеми мыслями своими с близким мне лицом.

Яльмар (*привлекая ее к себе*). Теперь ты моя прежняя Алиса — Алиса моего детства. Ты ребенком умела так очаровывать всех, что делала с ними, что хотела...

Алиса. Видишь, видишь! Во мне есть-таки кое-что, чего у других нет. А теперь позволь мне поступить по-своему — с инженером и изобретением. Будь для меня тем, чем я прошу тебя быть, и я все сделаю для тебя, все, что ты захочешь. Ты через меня получил Герргамру. Теперь я спасу ее для тебя и для нашего маленького Якоба.

Яльмар. Да, этот эксперимент начинает меня действительно интересовать.

Алиса. Видишь, он тебя начинает интересовать — вот у нас сейчас и явился общий интерес.

Яльмар (*несколько смущенно*). Да, видишь ли, я об этом давно уже думал. Мне хочется сочинить симфоническую картину, которую я озаглавил бы «Водопад».

Алиса (*вставая*). Вечно только это — то, с чем ты не можешь делиться со мною.

Яльмар. Послушай, Алиса, это не годится, — если ты будешь ревновать к моей музыке, мы никогда не сойдемся.

Алиса (*приближаясь опять к нему*). Нет, я не буду ревновать. Расскажи мне только, в чем дело, дай мне проникнуться твоими мыслями. Музыкальная картина «Водопад», наш водопад, конечно! Это прекрасная идея! Сначала нужно изобразить первобытные времена, когда он свободно лился широким, бурным потоком из области вечных снегов, из глетчеров.

Яльмар. Вот именно. Я именно так и представлял это себе, как ты могла знать?..

Алиса. Да, вот какая я, когда меня любят. Я знаю все, схватываю все, понимаю все — я могла бы даже сделаться музыкальною, если бы мне пришлось жить душа в душу с артистом. Ну, затем началось строительство завода, устроили плотины и заставили водопад течь по определенному руслу.

Яльмар. Да, конечно... И глухой ропот водопада...

Алиса. И скрип пилы, которая так резко и дисгармонично врывается в мощный рев водопада.

Яльмар. Пилы? Да, это мне не приходило в голову. Алиса, ты, право, гений. (*Обнимает ее.*) Какие чудесные диссонансы можно создать на эту тему.

Алиса. А затем дух, дух вод мстит людям — как вода все убывает и убывает.

Яльмар. Да, и наконец превращается в маленький, ничтожный ручей, и работы на заводе прекращаются.

Алиса. Но тут на сцену выступает изобретение — изобретение, с помощью которого люди всецело овладевают духами воды, подчиняют их и заставляют каждую каплю ее служить себе на пользу.

Яльмар. Да, но это еще не все. Люди захотят воспользоваться движущею силою и других потоков во всем королевстве. Тогда возмущение водопада кончится тем, что и все другие потоки сольются в мощном многоголосьи, они слышны будут отовсюду, со всех концов земли, и тогда и наш водопад не захочет отстать от товарищей. Голос его раздастся и, наконец, будет звучать с все нарастающей силою, пока не покроет, наконец, всего оркестра своим высоким серебристым тоном. Превосходная картина, не правда ли?

Алиса. Да, превосходная. (*Отходит на несколько шагов и говорит тихо.*) А я по-прежнему останусь одна.

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Та же комната, что и в предыдущей сцене.

(Яльмар сидит у рояля и играет.)

Мастер (*входит и останавливается у двери*). Господин барон, сделайте милость, скажите мне, что отвечать народу. Все больше и больше людей приходят и спрашивают, правда ли, что производство на заводе прекращается.

Яльмар. Я уже говорил, чтобы ко мне не смели приходить в концертный зал с деловыми разговорами. Как вы могли позволить себе такую дерзость — войти сюда...

Мастер. Это баронесса сказала, что если барон не имеет времени сойти в контору, то я могу пройти к барону.

Яльмар (*привстает*). Вы должны же знать, что я никогда, никогда, ни при каких обстоятельствах не разрешаю беспокоить меня здесь!

Мастер. Я, значит, не получу никакого ответа?

Яльмар (*вскакивает с места*). Что за проклятая настойчивость. Неужели меня не могут оставить в покое в моих собственных частных комнатах.

Мастер. Ну что ж, если барону не угодно дать мне никакого ответа, то я ничего не могу и поделать, если лучшие и самые искусные из наших рабочих уйдут от нас. Никто из тех, у кого есть надежда заполучить где-нибудь место, не хочет оставаться здесь, раз положение такое неопределенное.

Яльмар. Ну и пусть все убираются — и вы в первую очередь. Оставьте меня, наконец, в покое!

(Мастер уходит.)
(Яльмар садится опять за рояль и начинает играть нервно и отрывисто. Алиса входит.)

Яльмар. У тебя была какая-нибудь особенная цель, когда ты присылала сюда мастера, или это одно из проявлений того метода воспитания, которому ты меня теперь подвергаешь?

Алиса. А ты, кажется, собираешься сидеть здесь и играть, пока новый владелец замка не явится сюда и не попросит тебя убрать твой рояль и очистить ему место для его собственного?

Яльмар. А разве и у него также есть рояль?

Алиса. У него? У кого?

Яльмар. У того, который ждет, не дождется нашего разорения, чтобы влезть в наш замок. Он, должно быть, немало посмеялся над нашим инженером и нашим изобретением. Ты умная, выдающаяся женщина, Алиса. Но тебе не везет в двух вещах: в музыкальных компози-

циях и в делах. (*Начинает опять играть.*) Кстати, можешь ли ты разобрать, что я играю?

Алиса. Яльмар! Не мучь меня! Ведь это такое важное дело.

Яльмар. Я был совершенно прав: у тебя полное отсутствие музыкального понимания. Потому что если бы ты была в состоянии понять, что я играю свой собственный похоронный марш, то ты бы все-таки...

Алиса. Нет, право, это выше моих сил. В такой момент, когда дело идет о решении такого важного вопроса, ты мне вдруг преподносишь этакий фарс.

Яльмар. Извини, друг мой, я вечно попадаю впросак. Я никогда не научусь разбираться в том, что важно и что неважно. А сейчас я был настолько высокого мнения о себе, что воображал, будто мой уход из этого мира более важное дело, чем закрытие завода. Да, известное дело — я неисправимый эгоист. И к тому же эстет. Мне прямо-таки невыносима мысль, что меня будут хоронить под звуки банального церковного пения. Но больше всего мне противна мысль, что старый пробст будет совершать надо мною заупокойную мессу. (*Строго.*) Слушай, Алиса, если ты хоть немного уважаешь мою последнюю волю, ты не позволишь этому противному старому ворону стоять и каркать надо мною.

Алиса. Яльмар! Я просто из себя выхожу, слушая тебя! Как будто мало у меня таких важных дел, о которых нужно думать, а тут еще извольте слушать подобные вещи.

Яльмар. Да, ты права. Может быть это вовсе не так уж важно. Лишь бы пуля попала куда следует, и все мигом кончится.

Алиса. Не можешь ли ты хоть пять минут поговорить серьезно?

Яльмар. Ну, хорошо, попробую. Не правда ли, как странно, что я могу быть до такой степени веселым. У тебя было много жалоб на меня, Алиса, но в излишней веселости ты меня ни разу не упрекала, нет, пока я не заговорил о своих похоронах.

Алиса. Это чистое сумасшествие — то, на что ты намекаешь... Так непростительно, что я даже отвечать на это не хочу! Что же, мы объявим рабочим о нашем решении закрыть завод или отложим еще на некоторое время это объявление?

Яльмар. Зачем лишать иллюзий этих бедных людей, пока не наступила крайняя необходимость?

Алиса. Как ты можешь ... таким образом обманом задерживать их, когда они, может быть, могли бы получить работу в другом месте.

Яльмар. Я не понимаю, для чего ты меня спрашиваешь, когда ты сама так хорошо знаешь, что отвечать... Меньше было бы хлопот.

Алиса. Мы переедем в Стокгольм, и я постараюсь добыть себе уроки. А ты можешь, если только захочешь, можешь много зарабатывать музыкою.

Яльмар. Меня не принимай в расчет.

Алиса. С таким дарованием, как у тебя...

Яльмар. В этом-то и есть мое несчастье. У меня слишком много истинного таланта, чтобы обращать его в ремесло. (*Встает.*) Чем ездить

по свету давать концерты и играть перед толпою полуидиотов, я предпочитаю пройти в свою комнату и отправить себя на тот свет.

Алиса. Вот он, настоящий мужчина!

Яльмар. А ты — настоящая женщина! У тебя необыкновенная способность выводить меня пз себя, раздражать до приливов крови к голове, так что я боюсь, чтобы со мною не случился удар! (*Хватает себя обеими руками за голову.*) Теперь мне потребуется по крайней мере дня два, прежде чем я настолько успокоюсь, что буду в состоянии играть.

(Уходит в кабинет и запирает за собой дверь. Алиса ходит взволнованная взад и вперед. Раздается стук в дверь слева).

Алиса. Войдите!

(*Паула нерешительно просовывает в дверь голову, но при виде Алисы быстро подходит к ней.*)

Алиса. Паула! Откуда ты?

Паула. Да ты, конечно, удивлена, видя меня здесь. Но твой муж прислал мне письмо, которое страшно напугало меня.

Алиса. Письмо! Я не знала, что вы продолжаете переписываться.

Паула. Да мы и не переписывались уже по крайней мере с год. И мне было запрещено приходить сюда. Но теперь и Карл обеспокоился, когда я показала ему письмо.

Алиса. Что же в этом письме?

Паула. На, читай сама.

Алиса (*берет письмо и читает*). Приходите ко мне в последний раз. Я хочу, чтобы вы разучили похоронный марш, который вам придется вскоре играть надо мною в Герргамрской часовне. (*Прерывает чтение.*) Причуды, фарс, моя милая! Ты не знаешь Яльмара, как я. Вот подожди! (*Подходит к двери кабинета и стучит.*) Яльмар!

Яльмар (*отворяет дверь и показывается в изящном персидском халате с сигарою во рту*). Что теперь прикажет моя повелительница? Я, право, надеялся, что мне дадут спокойно выкурить сигару и успокоить немного мои нервы. (*Замечает Паулу.*) А-а!

Алиса. Я иду переговорить с мастером.

Паула. Алиса, я не останусь здесь, если тебе это неприятно!

Алиса. Нисколько. Почему это было бы мне неприятно?

(*Поворачивается, хочет уйти.*)

Паула. Алиса! Карл здесь со мною.

Алиса. Карл — здесь!

Паула. Я показала ему письмо, и он сам привез меня в беговых санках.

Алиса. Где он?

Паула. Я оставила его у парадной лестницы, он собпрался поехать к конюшне.

Алиса. А его жена? Быть может и она с ним? Это как раз удобный момент для будущих покупателей Герргамры, чтобы хорошенько осмотреться.

Паула. Алиса, как ты можешь думать...

Алиса. Но извини — я занята.

(*Уходит.*)

Яльмар (*который во время предыдущей сцены успел пройти в кабинет и переменить халат на обыкновенный домашний костюм, выходит теперь и подходит к Пауле*). У вас такое серьезное, озабоченное выражение лица, фрекен Паула. Вы, значит, не думали, что все это только чрезвычайно смешно.

Паула. Смешно!

Яльмар. Да, потому что такого мнения Алиса. Она готова давиться от смеха, как только я упоминаю слово похороны.

Паула. Вы больны?

Яльмар. Нет, человеческая природа, к сожалению, не так мудро устроена, чтобы человек заболевал тогда, когда это является необходимым. Поэтому нужно самому себе помочь.

Паула. Вы несчастливы?

Яльмар. Несчастлив! О нет, такие сильные чувства не приняты у нас в Герргамре. Мы занимаемся не чувствами, а делами. А я разорен.

Паула. Могу ли я сделать что-нибудь для вас?

Яльмар. Да, вы знаете, о чем я вас просил. Кроме того, мне хотелось еще раз видеть вас. Вы стали старше — это к вам не идет. А я тоже постарел?

Паула (*не глядя на него*). Я не знаю, да это меня и не интересует.

Яльмар. Т-а-а-к! Быть может вы уже... Я все время ждал, что услышу о вашей помолвке с каким-нибудь молодым человеком с хорошим положением...

Паула. Об этом вы никогда не услышите.

Яльмар. Никогда? (*Берет ее внезапно за обе руки и отводит к окну.*) Посмотрите на меня, Паула!

(*Паула смотрит на него глазами, полными слез.*)

Яльмар. Ты меня все еще любишь?

Паула. Я никогда никого другого не полюблю.

Яльмар. Как ты это говоришь! Так необыкновенно красноречиво! Какая разница между таким безыскусственным взрывом искреннего чувства и тою нервною, искусственною нежностью, которая... Есть еще спасение, Паула, для меня, для нас. Убежим с этого тонущего корабля. Это считается трусостью, я знаю, а между тем я чувствую, что это был бы самый смелый поступок из всех, какие я когда-либо делал в жизни. Здесь я не могу ничего спасти, я только увеличу путаницу и беспорядок. Начнем жизнь сызнова — вместе!

Паула. Это невозможно.

Яльмар. Не изменяй мне теперь. Разве ты не понимаешь, какой это с моей стороны ужасный, неслыханный шаг... Если я могу все выбросить за борт, то можешь и ты.

Паула. Разве мы можем быть счастливыми, забывая свои обязанности, свой долг...

Яльмар. В такую минуту ты хочешь отделаться от меня фразой.

Паула. Разве чувство долга...

Яльмар. Это фраза и вдобавок — из самых пустых. Разве это наш долг мучить друг друга до смерти. Алиса и я — мы до смерти мучаем друг друга, — и больше всего тогда, когда мы силимся исполнять то, что ты называешь нашим долгом, когда мы пробуем взвинтить свои чувства, любить друг друга.

Паула (*тихо, с опущенными глазами*). Вы пробовали это?

Яльмар. Да, мы делали самые отчаянные усилия, но наши натуры до того мало гармонируют друг с другом, что все это только внушило нам отвращение. Неужели наш долг заключается в том, чтобы и дальше портить друг другу жизнь?

Паула. Я не знаю, но Алиса была моим лучшим другом, и я не могу так дурно поступить с нею и притом лишить ее ребенка отца!

Яльмар. Он может лишиться отца и без твоей помощи. Послушай, Паула. Я знаю, что я поступил, как трус, когда не решился жениться на тебе из страха перед бедностью. Я знаю, что ты могла бы дать мне горький ответ... могла бы сказать: только теперь ты приходишь ко мне, когда все другие изменили тебе! (*Паула протестует жестом.*) Но ты этого не говоришь, нет, потому что у тебя нет того недоверия, той горечи, которые являются следствием неестественных отношений. Ты любишь, а потому в тебе та наивная вера, которая не спрашивает, не рассуждает. Верь мне, несмотря на все то, что говорит против меня, верь, что если бы я еще мог жить, так только с тобою. Скажи, Паула, веришь ты мне? (*Берет ее за руки.*)

Паула (*отнимая у него руки*). О боже, когда ты говоришь, все кажется таким возможным, таким простым. Но когда я подумаю об Алисе.., о маме, о Карле... Как могу я поступить так по отношению к ним?

Яльмар (*отворачивается от нее*). Я вижу, жизнь уже испортила тебя. Ты сделалась рассудительною, — когда ты видишь перед собою утопающего человека, ты не бросаешься в воду, чтобы спасти его, а думаешь, что твое платье от этого может испортиться. Да, если жизнь может так изменить даже тебя — тебя, которая была прежде так сердечна, так непосредственна, то не стоит и заботиться о ней. Прощай же, Паула!

Паула. Что ты хочешь сделать?

Яльмар. Выйти как-нибудь на охоту с хорошо заряженным ружьем.

Паула. Яльмар!

(*Хочет удержать его, он вырывается, идет в кабинет и запирает за собою дверь, Карл входит.*)

Паула (*бежит ему навстречу*). Карл! Ты должен спасти его. Это из-за меня ты отказал им в поддержке, но я сделаю все, что ты потребуешь, я уеду, возьму место гувернантки или любое другое — только не дай им погибнуть из-за меня.

(Алиса входит, при виде Карла внезапно останавливается и хочет уйти.)

Паула (*подбегая к ней*). Алиса, ты должна переговорить с Карлом, он поможет вам.

Алиса (*стараясь не смотреть на Карла*). Ты была всегда наивною оптимисткой, бедняжка Паула. Когда человек задался специальной целью погубить меня, ты говоришь: вот спаситель.

Карл (*приближаясь к ней*). Вы этого не думаете, вы не думаете, что я действительно хотел погубить вас!

Паула. Нет, нет. Ты же слышишь, он не хотел этого. (*Нерешительно.*) Алиса, ты мне позволишь...

Алиса. Чего ты хочешь?

Паула. Мне так бы хотелось, если ты ничего не имеешь против...

Алиса. Яльмар ушел от тебя?

Паула. Да... он там. Но мне так хотелось бы увидать маленького Якоба.

Алиса. Пожалуйста, иди к нему, если хочешь. (*Отворяет дверь направо.*) Вот сюда, да ты же знаешь, туда, где была прежде детская.

(*Паула уходит.*)

Карл. Ваш муж сам, благодаря своему неумелому управлению... Я, напротив того, старался все время тормозить свою деятельность в Лидо из боязни слишком сильно повредить интересам Герргамры. Если бы не эта боязнь, я мог бы значительно расширить дело, значительно больше, чем я это сделал.

Алиса. А прежде у вас стояли на первом плане интересы вашей компании.

Карл. А вам разве не случалось замечать, что человек иногда считает себя сильнее, чем он есть на самом деле?

Алиса. Только не вы. Вы ведь достигли всего, к чему стремились — положения, влияния...

Карл (*с горечью*). Это правда — я достиг всего, о чем мечтал, на что надеялся в молодости.

Яльмар (*выходит с ружьем на плече и мимоходом кланяется Карлу*). Где Паула?

Алиса. Она пошла к маленькому Якобу. Куда ты идешь?

Яльмар (*небрежно*). Поохотиться немного.

Алиса. В это время дня?!

Яльмар. Да, для некоторого рода охоты все часы одинаково подходящие.

Алиса. Яльмар, что это ты задумал? Ты меня пугаешь!

Яльмар (*тем же небрежным тоном*). Милый друг, теперь ты ребячишься. Что ж ты думаешь, я не умею обращаться с ружьем.

(Алиса испытующе смотрит на него.)

Яльмар (*принимает равнодушный, холодный вид и зовет*). Леди! (*Из кабинета выбегает на его зов охотничья собака, он ласкает ее.*) Кланяйся Пауле!

Алиса. Зачем?

Яльмар. Зачем? Из вежливости.

(Уходит в сопровождении собаки.)

Алиса (*стоит неподвижно, глядя ему вслед*). О, это, конечно, ничего!

Карл (*который все время стоял в глубокой задумчивости, не вслушиваясь в разговор*). Почему вы так мало верили мне? Зачем вы действовали так опрометчиво и поставили его между нами?

Алиса (*с гневом*). Нет, это слишком! Мало того, что мы поступили так, как мы поступили, что мы теперь стоим здесь друг перед другом так, как мы стоим, так вы еще хотите говорить об этом! Когда стоят перед лицом так ужасно, так бессмысленно загубленной жизни, неужели вы не чувствуете, что невозможно говорить...

Карл (*сдерживая себя*). Это правда, будем говорить о делах. Герргамра не должна быть продана. Я все сделаю, чтобы помешать этому. Отдайте мне завод в аренду, и я попробую...

Алиса. Нет, нет! Слишком поздно. Нас уже ничто не спасет. Все владения майората заложены. И только путем продажи всего мы можем надеяться расплатиться с долгами.

Карл. А ваш сын?

Алиса. Да, но во всяком случае я не хочу, чтобы он вырос наследником майората — достаточно насмотрелась я на это. Несчастье Яльмара в том, что ему никогда не нужно было работать. Я предпочитаю, чтобы мой сын был беден,.. хотя нет, и это также...

Карл. И это также несчастье. Если бы мне не нужно было с таким трудом бороться за существование...

Алиса. Вы опять об этом? Поговорим лучше о... Ваш тесть, конечно, собирается купить Герргамру?

Карл. На это я никогда не соглашусь.

Алиса. Как же вы можете помешать этому? Если он купит Герргамру и подарит своей дочери?

Карл (*осматривается вокруг*). Никогда не войду я в этот дом, как хозяин.., когда вы уедете из него.

Алиса. Вы отлично знаете, что все это иллюзия, когда вы думаете, что... Какую причину вы бы привели? Мужчина не может так поступать... Вспомните ваши же собственные слова.

Карл. Этого не должно случиться, говорю я вам. Герргамра должна быть спасена — для вас. Как подумаю, что я принес в жертву ради этого — ради этого я отступил тогда, чтобы не лишить вас...

Алиса. Зачем вы беспрестанно говорите о прошлом? Пощадите хоть меня, пощадите! (*Топает в сильном волнении ногою и разражается слезами.*) Это невыносимо — быть принесенной в жертву из-за таких пустяков, а затем стоять и рассуждать еще об этом. Это так плохо. Это все равно, что копаться обеими руками в кровоточащей ране — невозможно, невозможно! (*Слова ее прерываются рыданиями, она бежит к окну, раскрывает обе половинки и высовывается из него.*)

(Карл идет за нею и останавливается позади ее мрачный, опустив голову. Алиса после долгого молчания медленно поворачивается и подает ему руку, затем начинает плакать, закрыв лицо одной рукою; другую он удерживает в своей и долго и нежно целует.

Марта входит в накидке и шляпке, в изящном и очень модном костюме.)

Алиса (*вырывает свою руку, проводит платком по глазам и с натянутой живостью идет навстречу Марте*). А, фру Торель! Вот сюрприз.

Марта. Ты говоришь фру Торель!

(Обнимает Алису; последняя старается избежать ее объятий.)

Карл (*недовольным тоном*). Зачем ты приехала?

Марта. Папа хотел послать за тобою, а мне показалось так приятно прокатиться. Ты должен сейчас же ехать домой. Тот инженер, который, ты знаешь...

Карл. Ну!

Марта. Который был здесь в прошлом году и работал над изобретением — ты ведь знаешь. Можешь себе представить — ему удалось.

Карл и Алиса. Удалось?

Марта. Да, он заехал к нам по пути, чтобы переговорить с тобою. Он отправляется теперь в Стокгольм, чтобы показать ученым это изобретение. И я его видела. Это модель такая же, как те маленькие модели твоего отца, только с тою разницей, говорит папа, что эти двигаются, а те не двигались.

Карл. Этого только не доставало. Теперь моя жизнь кончена.

Марта. Но папа говорит, чтобы ты не огорчался, потому что инженер обеднел и по уши в долгах... Папа говорит, что гораздо лучше быть на месте того, кто может купить все это на чистые деньги.

Карл (*Алисе*). Теперь я достиг всего — не правда ли? Всего, к чему стремился!

Марта. Папа поручил также сказать Алисе, что если Герргамру действительно придется продавать, то он купит ее, и он говорит, что даст за нее хорошие деньги, — так, чтобы ты не беспокоилась.

Алиса. Благодарю. Быть может, тебе угодно посмотреть наши комнаты, раз ты уже...

Марта (*смотря на Карла*). Да, но мне не хотелось бы тебя беспокоить сейчас. Эта комната очень красива, но такая своеобразная.

Карл (*с гневом*). Как можешь ты быть такою неделикатною? И зачем ты сюда приехала? Я ведь не хотел брать тебя с собой... Уходи, я не могу этого выдержать.

Марта. Карла никак не поймешь. И он всегда такой! Когда другие радуются, ему непременно нужно испортить их радость.

(Уходит со слезами.)

Алиса. Так вот какое супружеское счастье вы приобрели!

Карл. Вы видите, что вы судили несколько поспешно, говоря о моих удачах.

Паула (*вбегает*). Алиса! Несчастье, Яльмар...

Алиса. Что?

Паула. Несчастный случай на охоте.

Алиса. На охоте! (*тихо, неестественно спокойным тоном*). Он умер?

Паула. Да.

Алиса (*падает на стул*). А я не верила ему!

(Последующие реплики произносятся очень быстро одна за другой, с сильным волнением.)

Паула. Разве ты знала, когда он уходил... О, Алиса!

Алиса. Я не верила. Я насмехалась над ним!

Карл. Неужели он нарочно?

Паула. Да, нарочно... И я могла бы спасти его и не решилась!

Алиса. Это из-за меня? Неужели ты не понимаешь, что мне было бы в тысячу раз легче потерять его таким образом, чем этим!

Паула. О, зачем мне нельзя было быть для него всем тем, чем я могла бы быть... Карл, Карл, как ты мог взять на себя такую страшную ответственность!

Алиса. Это справедливо, что нам всем приходится страдать... Исковеркать так свою жизнь, как мы все это сделали.., и быть довольными.., это было бы хуже всего. Я хочу страдать, я жажду страданий.

Карл. Но одна мысль невыносима.

(Алиса смотрит на него вопросительно.)

Карл. Мысль о том, как все могло бы быть.

II

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ

КАК МОГЛО БЫ БЫТЬ

Драма в 5-ти действиях

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Барон Яльмар Юлленьельм.
Алиса, *его жена.*
Тетушка Эмилия, *ее тетка.*
Фру Торель.
Карл, Эрнст, Паула — *ее дети*
Фабрикант Стенсон.
Марта, *его дочь.*
Фру Селен.
Лейтенант Селен, *ее сын.*
Герта, *ее дочь.*
Граф Шперлинг.
Графиня Шперлинг.
Барон Кронстрем.
Фрёкен Кронстрем, *его дочь.*
Майор Эльффорс.
Фру Эльффорс.
Анни, *ее племянница.*
Старший мастер.
Эрик, Андерс Гульте, Свен Карлссон — рабочие
Старик.
Анна, *жена Эрика.*
Г. Андерсон, *лавочник.*
Другой господин.
Рабочие.

Действие происходит в Герргамре, после пролога.

АКТ ПЕРВЫЙ

Те же декорации, что и в прологе. Но более раннее послеполуденное время. Алиса, тетя Эмилия, фру Селéн и Кронстрём сидят на террасе замка и вышивают. Анни и Герта, подростки, играют в крокет с графиней Шперлинг и фру Эльффорс, молодыми женщинами, играют медленно и лениво, как бы в полусне и беспрерывно поглядывая в глубину сцены.

Фру Селен. Теперь солнце переходит на нашу сторону. Не лучше ли пойти в комнаты?

Алиса. Я подержу над вами зонтик, тетя. (*Раскрывает большой пестрый зонтик и держит над фру Селен.*)

Фру Селен. Но тебе надоест сидеть здесь с зонтиком в руках.

Алиса (*подавляя зевоту*). О нет, не все ли равно, держать зонтик или вышивать.

Фрекен Кронстрем (*пожилая девица, хочет казаться молодой*). Да вы же знаете, тетя, Алису никак нельзя сманить с террасы, пока не пройдут рабочие, возвращаясь с работ.

Алиса. Да. Единственное удовольствие, которое можно доставить себе здесь на заводе — это видеть народ. Когда сам ничего не делаешь, то тебе кажется, что ты как бы участвуешь в работе других, когда хоть следишь за ними с интересом.

Фру Эльффорс (*играя в крокет*). Когда, наконец, вернутся домой эти несносные мужчины.

Алиса. О, я надеюсь, что они не вернутся раньше семи. Обед по их просьбе заказан на этот час, а пока они не напьются и наедятся, они невыносимы.

Фрекен Кронстрем. Да, мужчины вообще страшные материалисты. Как они могут проводить целые дни за таким бездушным удовольствием, как охота.

Тетушка Эмилия. И таким жестоким. По-моему, это хуже всего.

Алиса. Но, в сущности, это совершенно естественно. Поневоле сделаешься жестоким и бездушным, чтобы убить скуку этой идиллической деревенской жизни.

Фру Селен. Как это странно, что ты, Алиса, не любишь деревенской жизни, а между тем выросла здесь, в деревне.

Тетушка Эмилия. А как любила Алиса Герргамру, когда была девушкой! Я помню, как ты радовалась, когда возвратилась домой из пансиона и какие планы ты строила...

Алиса. Да, это было, когда мной еще владели великие грезы о жизни. Пока человек еще может грезить, действительная жизнь ему не нужна.

Фру Селен. Во всяком случае я не нахожу, чтобы здесь было мало жизни. На таком большом заводе с такою массою рабочих...

Алиса. Да, видишь ли, тетя, это-то и мучит меня! В городе вращаешься исключительно в обществе людей своего класса, поэтому редко приходится думать о том, что не всем живется, как нам. Но на таком большом заводе, как наш, когда к тому же еще являешься его владелицею, оказываешься в совершенно особом положении. Различие между собственной жизнью и жизнью окружающих так ужасно велико. Например, какая громадная пропасть отделяет меня от всей молодежи нашего завода, а между тем я выросла среди них, играла с ними в детстве.

Фру Селен и фрекен Кронстрем. Но это же совершенно естественно. Как же ты хочешь...

Алиса. Иногда, когда я брожу здесь одна в парке и слушаю, как они собираются на лугу и весело распевают свои песни — вся молодежь в полном сборе — слушаю, как они смеются и болтают и играют, да, уверяю вас, мне не раз случалось садиться на землю и плакать над своим знатным одиночеством. Мною овладевало неудержимое желание бежать к ним и играть с ними, как в былое время, когда я была маленькою.

Фру Селен. Милое дитя! Что за идеи!

Тетушка Эмилия. Да это все детская болтовня. Она никогда этого не сделает.

Алиса. Да, не сделаю. Но почему? Потому что я знаю, лишь только я прийду к ним, они смутятся, сконфузятся и мой приход помешает их веселью. Да и мне не может быть весело с ними — я не понимаю их шуток, на меня может быть произведут неприятное впечатление их манеры. Дело в том, что между нами не только внешняя, но и внутренняя пропасть —вот это именно больше всего и возмущает меня! Подумай только, насколько иначе сложилась бы наша жизнь, если бы мы все получили одинаковое воспитание, если б у нас были те же привычки, те же нравы и обычаи, если бы мы образовывали один большой товарищеский кружок.

Тетушка Эмилия (*фру Селен*). Подумай только, о чем она фантазирует.

Фру Селен. А что говорит на это Яльмар?

Алиса. Яльмар! Ему решительно все равно. Пока я этого не делаю, как говорит тетя Эмилия.

Фру Селен. Мне очень жаль, милая Алиса...

Алиса. Чего, тетя?

Фру Селен. Что ты и Яльмар так мало понимаете друг друга.

Алиса. А-а. Ну так что ж? Люди никогда не понимают друг друга.

Фру Эльффорс (*бросает молоток*). Нет, я больше не в силах играть. (*Берет графиню Шперлинг под руку.*) Пойдем, переоденемся?

Графиня. Да, но мы только что переодевались.

Фру Эльффорс. Ну так что ж! Это поможет нам убить время до прихода мужчин.

(Смеются и уходят.)

Фру Эльффорс (*удаляясь*). Мое розовое платье с кружевами...

Алиса (*вскакивает с места при первом звуке церковного колокола*). Звонят к вечерне! Теперь они сейчас прийдут.

Герта Селен. Наши мужчины?

Алиса. Нет, я говорю о рабочих. Да, и наши господа также, только не те, которые тебя интересуют, а служащие на заводе.

Анни (*вполголоса*). А тебя они значит интересуют?

(Шепчется с Гертою.)

(Алиса подходит с фру Кронстрем к железной решетке. Молодые девушки затевают игру в волан. Рабочие проходят мимо группами. Все снимают шляпы при виде Алисы, которая приветливо кланяется им.)

Фру Селен (*тетушке Эмилии, тихо*). Алиса часто с некоторой горечью говорит о Яльмаре. Разве они не счастливы в супружеской жизни?

Тетушка Эмилия. О нет, они конечно счастливы... на свой лад. Романической любви между ними ведь никогда не было. Но их брак основан на гораздо более прочной почве — на чувстве долга и на уважении к памяти...

Фру Селен. Как это было... Ведь Алиса раньше как будто была кем-то увлечена?

Тетушка Эмилия. Да это была только девическая фантазия...

Фру Селен. Он теперь служит на заводе, этот молодой человек... его зовут, кажется, Торель?

Тетушка Эмилия. Да, он работает здесь конструктором машин. Но они почти никогда не разговаривают. Алиса с ним в натянутых отношениях.

Алиса (*обращаясь к молодому рабочему*). Добрый вечер, Эрик. А как у тебя дома?

Эрик (*с шапкою в руке*). Благодарю вас.

Алиса. Надень шапку!

Эрик (*повинуясь*). Девочка все нездорова, так что бедняге Анне тяжко приходится...

Алиса. Как жаль! А Анна сама так слаба. Я загляну к вам завтра поутру. (*Эрик уходит.*)

Алиса (*фру Кронстрем*). Это был в детстве мой любимый товарищ игр. А Анна, на которой он теперь женат... Как я любила ее! Я когда-то была так же дружна с нею, как потом с Паулой Торель. А теперь она делает мне книксен, когда я прихожу к ней, и я являюсь в роли мило-

стивой благодетельницы и снисходительно беседую с нею. Разве ты все-таки не находишь, что в этом есть что-то гадкое?

Фрёкен Кронстрем. Но, милая моя, как же может быть иначе?

Алиса. Как подумаю я о Пауле, что и мои отношения к ней могли бы так же измениться, а между тем это, в сущности, так же противоестественно...

(Фру Торель проходит в парке.)

Алиса (*кричит ей*). Фру Торель! Добрый вечер! Не зайдете ли вы поболтать с нами на минутку?

Фру Торель (*останавливаясь*). Благодарю вас за приглашение, баронесса, но у вас столько гостей.

Алиса. Это только родственники, они съехались сюда на охоту. Заходите! Право, некого стесняться.

Фру Торель (*входит на террасу и здоровается*). У меня сегодня, правду сказать, целый день сердце не на месте.

Алиса. О, и у меня также, я вас отлично понимаю. Но она еще не скоро может быть здесь. (*Представляет.*) Фрёкен Кронстрем — фру Торель. Фру Торель — фру Селен.

(Тетушка Эмилия шепчется с фру Селéн.)

Фру Селен (*тоном снисхождения*). Я, кажется, имела удовольствие видеть фру Торель здесь в прошлом году. Вы мать инженера Тореля, не так ли? Помнится, он показывал нам какие-то очень интересные электрические аппараты.

Фру Торель. Да, да! Это был мой сын, мой старший сын. У меня есть и младший, и дочь Паула, я ее жду сегодня вечером из-за границы. Да, теперь мой сын закончил, наконец, работы по изобретению, над которым он тогда трудился и производил опыты.

Фру Селен. В самом деле? Совсем закончил?

Фру Торель. Да, но у него не хватает средств на выполнение. Он написал на днях доклад о нем в Академию наук и теперь надеется с божьею помощью получить пособие...

Алиса (*фру Селен*). Дочь фру Торель была моею лучшею подругою в школе — это Паула, вы знаете ее, тетя. У нее выдающиеся музыкальные способности и она ездила за границу учиться.

Фру Торель. Да, благодаря доброте барона и баронессы Юлленьельм, она получила возможность продолжать свои занятия.

Алиса (*фру Селен, делающей вопросительную мину*). О, это была только стипендия, которую она от нас получала.

Фру Торель. Да, баронесса так добра и так деликатна...

(Берет Алису за руку.)

Алиса. И теперь я ужасно радуюсь ее возвращению домой. О, фру Торель, будьте готовы к тому, что я собираюсь часто отрывать ее от вас в это лето.

Фру Селен (*вставая*). Я думаю, что теперь лучше пойти в комнаты.

Алиса. Не зайдете ли и вы к нам, фру Торель?

(Фру Селен и тетушка Эмилия уходят.)

Фру Торель. Нет, благодарю, милая баронесса. Я всегда брожу здесь, поджидая, когда Карл выйдет из конторы, чтобы заманить его на прогулку со мною, а то он никогда не бывает на воздухе, и я так боюсь, что он совершенно расстроит свое здоровье этим сидячим образом жизни.

Алиса (*лицо ее принимает встревоженное выражение при упоминании имени Карла*). Да, он работает по целым ночам.

Фру Торель. Как, и по ночам также? В этом он мне никогда не признавался.

Алиса. Да, конечно, я ничего точного об этом не знаю. Но мне кто-то говорил.., кто-то из рабочих.., что в его комнате бóльшую часть ночи горит свет.

Анни (*бросает волан*). Надоело. Хочешь, поедем покататься на лодке?

Герта. Хорошо, если только и фрёкен Кронстрем поедет с нами.

Фрёкен Кронстрем (*вскакивает с видом девочки*). С удовольствием. (*Все три уходят.*)

Фру Торель. Ну, я не буду дольше задерживать вас, баронесса.

Алиса. О, посидите еще немного, пока ваш сын не придет за вами.

Фру Торель. Он ни за что не подойдет ко мне, если увидит, что я сижу здесь.

Алиса. Да... А почему он никогда не заходит к нам?

Фру Торель. О, это совершенно понятно. Сознание, что он занял у барона деньги и еще ничего не сделал или во всяком случае... Он, конечно, думает, что вы оба сомневаетесь в удачном завершении его работы.

Алиса. Я не сомневаюсь в этом, а мой муж убедится, когда академия присудит ему премию.

Фру Торель. О, тогда положение его совершенно изменится. Теперь же, вы понимаете, для него несколько унизительно быть в роли какого-то товарища приказчика Андерсона и других простых заводских служащих.

Алиса. Я этого не думаю. Он всегда хотел быть именно человеком из народа. Иначе зачем ему было образовывать потребительное общество и заботиться так много об улучшении быта рабочих? Это-то мне так и нравится в нем.

Фру Торель. Да, у него много хороших мыслей, хороших убеждений... Но любить народ — одно, а жить с ним — это все-таки другое дело. Легче любить народ, когда любуешься им издали, как, например, вы, баронесса.

(Карл входит в парк; фру Торель подымается, чтобы идти навстречу ему.)

Алиса. Нет, я хочу непременно заставить его прийти сюда. (*Идет к нему.*) У нас ваша мать, г. Торель. Не зайдете ли и вы на минутку поговорить с нами?

Карл (*приподымает шляпу и продолжает свой путь*). Очень вам благодарен, но у меня нет времени.

Фру Торель (*идет за ним*). Но мы ведь прогуляемся, как всегда, не правда ли, Карл? Не хочешь ли пойти со мной навстречу Пауле?

Карл. Нет, я не успею. (*Поспешно удаляется.*)

Фру Торель (*Алисе*). Прощайте, милая баронесса. Паула, конечно, сейчас по приезде придет повидаться с вами.

(Спешит за Карлом.)

Г. Андерсон (*типичный лавочник, входит в парк, подымается по лестнице на террасу, отвешивает жеманный, несколько набок поклон Алисе и говорит*). Можно ли мне побеспокоить на два слова г. барона.

Алиса. Барон еще не вернулся. Он на охоте.

Г. Андерсон. Вот и отлично... т. е. я хочу сказать... отлично, что я по крайней мере могу иметь честь переговорить с баронессой. Не угодно ли вам, баронесса, выслушать меня?

Алиса. Говорите, сделайте одолжение.

(Садится и указывает ему рукою на стул, но он продолжает стоять с шляпою в руке.)

Г. Андерсон. Я хочу переговорить с вами об этом потребительном товариществе. Вы может быть уже слышали, что инженер Торель уволил меня.

Алиса. Нет. А почему же?

Г. Андерсон. Вот это-то я и хочу объяснить вам. У меня, видите ли (*Алиса делает ему знак надеть шляпу; он останавливается в своей речи, смотрит на нее вопросительно, понимает и протестует изящным жестом.*) У меня, видите ли, как бы выразиться, несколько другие взгляды на некоторые вещи, чем у инженера Тореля. Но Торель имеет слабость никогда не слушать, когда ему хотят объяснить причины, он не терпит никаких объяснений, а только командует. (*Смотрит вопросительно на Алису, она делает ему знак продолжать.*) Это его манера, а у меня другая манера — думать иногда по-своему, если можно так выразиться. И я сказал сам себе: наше дело не пойдет, если лавка в Лидо так значительно снизила цены и дает такой долгосрочный кредит — так дело не пойдет. Необходимо и нам снизить цены и давать в кредит. Правда ведь?

Алиса. Но ведь вся идея потребительного товарищества состоит в том, чтобы не давать в кредит и не понижать цен сравнительно с другими купцами, а доставлять покупателям хорошие товары и маленький дивиденд в конце года.

Г. Андерсон. Вот именно.., вот именно. Но в этом-то и загвоздка. Прошел уже год и на следующей неделе должна быть выдача дивиденда.

Но как вы думаете, баронесса, что произойдет, если никакого дивиденда не выдадут?

Алиса. Почему его не выдадут?

Г. Андерсон. Почему! Да вот за это именно и должен будет ответить г. Торель. Я не хочу беспокоить баронессу рассказами о том, что говорят по этому поводу — вскоре всем будет ясно, куда употребил Торель вверенные ему средства. Но вот о чем я почтительнейше буду просить баронессу, чтобы вы замолвили за меня словечко Торелю, сказали ему, что он поступает несправедливо, увольняя меня, который всегда старался примерным образом вести дела своей лавки.

Алиса. Но вы действовали, очевидно, противно его распоряжениям. Нет, я не буду в это вмешиваться. Я уверена, что если г. Торель вас уволил, то у него были свои причины для этого. А что касается до ваших инсинуаций, затрагивающих его честь, то они более компрометируют вас, чем его. Прощайте. (*Встает и идет в замок.*)

(Г. Андерсон в бешенстве нахлобучивает на себя шляпу и быстро уходит; на пути встречает Карла и фру Торель, которые быстро проходят через парк, и пробегает мимо них, не кланяясь.)

Фру Торель (*кричит Алисе*). Она едет! Мы видели коляску на повороте.

(Идет дальше в глубину сцены с Карлом.)

Алиса. О! (*Бежит за ними.*)

Г. Андерсон (*другому заводскому служащему, ожидавшему его в парке*). Она рассердилась и сейчас же принялась защищать его.

Другой господин. Я это всегда говорил — она неравнодушна к нему. Тебе надо устроить так, чтобы переговорить с самим бароном.

Г. Андерсон. Да, конечно. Я буду поджидать его возвращения с охоты. Сядем здесь поблизости.

(Оба уходят.)

(Алиса, Карл и фру Торель возвращаются с Паулою в дорожном костюме и говорят все трое разом, очень оживленно.)

Все разом:
Алиса. Ах, как я рада тебя видеть!
Паула. Нет, как же приятно быть опять дома.
Фру Торель. Дорогое дитя мое, ты опять со мною!

(Паула обнимает то одну, то другую.)

Алиса (*фру Торель и Карлу*). Теперь вы останетесь все здесь и пообедаете с нами. Мы все хотим видеть Паулу, наслаждаться ее обществом и разорвем ее на куски, если не будем держаться вместе.

Фру Торель. Благодарю.

Алиса. И ваш младший сын, разумеется, присоединится к нам, фру Торель.

Фру Торель. Очень, очень благодарю вас, милая баронесса. *(Обращаясь к Карлу, стоявшему в некотором отдалении).* И ты, конечно, будешь обедать с нами, Карл, милый?

Карл. Спасибо, я уже давно пообедал.

Алиса. Так назовите это ужином, если хотите.

Карл. Благодарю, но мне нужно написать несколько писем.

Алиса. Именно сегодня вечером! Когда Паула вернулась после трехлетнего отсутствия!

Карл (*сухо*). Я могу и потом наговориться с Паулою. (*Уходит.*)

Фру Торель (*идет за ним и говорит в глубине сцены, между тем как Алиса и Паула выступают на авансцену*). Но, дорогой Карл, почему ты не хочешь, это так невежливо.

Карл. Вы отлично знаете, мама, что мне неприятно бывать здесь! И какая нам радость от Паулы, пока она здесь — в распоряжении своих благодетелей. Так всегда получается, когда бываешь обязан людям. Так неделикатно отнимать ее у нас тотчас по приезде.

(Уходит, мать следует за ним, разговаривая и убеждая.)

Алиса (*Пауле*). Боюсь, что брат твой недоволен, что я удержала тебя на сегодняшний вечер. Это, конечно, было необдуманно с моей стороны...

Паула. О, конечно, нет. Ничего не может быть приятнее, как быть всем вместе. Но где твой муж? Мне так хочется увидать его и поблагодарить за его доброту...

Алиса. Он должен скоро прийти. Он целые дни проводит на охоте в это время года.

Паула. Да-а? А ты что делаешь тогда?

Алиса. Я вышиваю! Или разговариваю.

Паула. И ничего больше.

Алиса. Нет. Затем, когда мужчины возвращаются домой, я разыгрываю за столом роль хозяйки и я отвечаю за то, чтобы шампанское было в меру холодное.

Паула. Но, Алиса, разве это подходящая жизнь для тебя?

Алиса. Нет. Это и не жизнь... Затем, когда мужчины выпьют столько, сколько полагается, а иногда и немного более, они отправляются в бильярдную и проводят там время далеко за полночь.

Паула. А ты что делаешь?

Алиса. Я иду в свою комнату и лежу и читаю, пока в доме не воцарится тишина и я не услышу, что и Яльмар прошел к себе.

Паула. К себе, говоришь ты?

Алиса. Да, к себе. Я не увижу его до следующего утра, за завтраком.

Паула. Но каким же образом установились у вас такие отношения?

Алиса. Установились... всегда так было. Яльмар и я всю свою жизнь прожили вместе в Герргамре почти в таких же отношениях, как и теперь. Наш брак ничего не изменил.

Паула. О, а я-то воображала, что ты счастлива! В самые веселые дни, в Лейпциге, я много раз думала: чтó все это сравнительно с тем... (*тихо, отвернув лицо*), чтобы любить и быть любимою.

Алиса (*вставая*). Да... (*тряхнув головой*). Ах, брось! Это вовсе не нужно. И без любви можно жить.

Паула. Но ты строила такие широкие планы относительно разных улучшений для народа. Почему ты не пробуешь привести их в исполнение?

Алиса. Одна? Не встречая ниоткуда ни помощи, ни симпатии? Этого я не могу.

Паула. А почему... Могу я тебе задать один вопрос, Алиса?

Алиса. Сделай одолжение.

Паула. Почему... Карл устроил же потребительное товарищество и пенсионные кассы и т. п. для рабочих — почему ты не принимаешь в них участия?

Алиса. Потому что он не желает этого — очень просто. Ты сама видела, как он относится ко мне.

Паула. Но что же это все значит... Могу я задать тебе еще один вопрос?

Алиса. А что?

Паула. Ты, надеюсь, не рассердишься. Но что произошло между тобой и Карлом? Когда я уезжала, я была уверена, что ты и он...

Алиса (*встает порывисто*). Нет, лучше не спрашивай. (*Идет и смотрит в глубину сцены.*) Кажется, наши охотники наконец возвращаются.

Паула (*вставая*). Так я лучше пойду домой переодеться.

Алиса. Да, иди. Но возвращайся поскорее. *(Берет ее за руку и говорит многозначительно.)* Ты бы лучше спросила своего брата. Я ничего не знаю. *(Выпускает ее руку и идет навстречу мужчинам в глубину сцены. Паула выходит налево.)*

Фру Эльффорс и графиня (*спускаются с лестницы*). Наконец-то они приехали!

(Обе девушки и фрёкен Кронстрем выбегают справа.)

Анни. Они уже здесь?

Герта. Моя коса спустилась на спину. Пойдем, помоги мне подобрать ее. *(Бегут в замок. Другие дамы идут навстречу мужчинам, которые появляются в глубине сцены в охотничьих костюмах в сопровождении собак.)*

Говорят все разом:

Барон Кронстрем (*целует дочь в лоб*). Ну, как вы веселились сегодня?

(*Майор Эльффорс целует жену.*)

Фру Эльффорс. Удачная у вас была охота?

Граф (*целует графине руку*). Можешь себе представить, мы застрелили большого лося.

Лейтенант Селен (*подходит к лестнице, с которой спускаются выходящие из замка девушки, подает Анни, кланяясь, букет полевых цветов и говорит Герте*). Как же сегодня здоровье мамы?.. Да, нам попался великолепный лось!

Алиса (*Яльмару, который тотчас опускается на стул и протягивает с утомленным видом ноги*). Ты и представить себе не можешь, как она восхитительна. Как мы весело проведем с нею это лето!

Яльмар. Очень приятно. Я заранее предвижу как это будет. Никакого покоя в доме. Молодая девушка, которою восхищаются и которая, конечно, требует, чтобы перед нею рассыпались в любезностях с 10 часов утра. (*Обращаясь к графу.*) Это как раз самое подходящее для тебя дело, Шперлинг, ты такой любитель музыки.

Шперлинг. Вот как! Ты в самом деле вспомнил, что я любитель музыки. Обыкновенно, когда я прошу тебя играть, ты игнорируешь это.

Яльмар. Да видишь ли, я думаю, что игра красивой девушки произведет на тебя более сильное впечатление, чем моя.

Шперлинг. А ты так хотел найти кого-нибудь, кто мог бы аккомпанировать тебе, когда ты играешь на скрипке.

Яльмар. Да, если бы она могла аккомпанировать мне, скрываясь где-нибудь за занавесками, а то в той же комнате — это тяжело.

Алиса (*Шперлингу*). Яльмар только притворяется. Он был прежде ее горячим поклонником и даже, кажется, немного был влюблен в нее.

Яльмар. Да, это-то и неприятно. Теперь она, конечно, будет претендовать, чтобы я по-прежнему ухаживал за нею.

Эльффорс. О, женатые люди не берутся в расчет. Такие претензии могут предъявляться только одному Селéну.

Яльмар. А Шперлинга вы забываете. О, Шперлинг — дока на этот счет.

Говорят разом:

Барон Кронстрем. О какой это девушке вы говорите?

Шперлинг. Это сестра того великого изобретателя, да? Семейка, кажется, стоила тебе немало денег.

Яльмар. Не мне. Это дело моей жены — Паула ее лучший друг. Что касается его, тот тут и мы были заинтересованы. Его изобретение должно было спасти нас от затруднений, в которые мы попали, когда Стенсон выиграл процесс о плотинах.

Шперлинг. А ты думаешь, что ему удастся довести работу до конца?

Яльмар. Вероятно нет. Я уже выбросил 15 000 крон на этот эксперимент, и этим дело и кончилось.

Алиса. Но задача уже разрешена в теории.

Эльффорс. В теории! Ай-ай!

Шперлинг. Но для осуществления ее на практике недостает только пустячка. Это как с тем человеком, который изобрел перпетуум мобиле — недоставало только маленького винтика, который делал бы так...

(Делает движение указательным пальцем.)

Алиса. Скоро выяснится, что он прав. Он отправил доклад в Академию наук, в котором доказывает...

Барон Кронстрем. Доказательства доказательством, добрейшая баронесса, но для нас, заводчиков, важнее всего практика. Пусть он построит хороший аккумулятор и заставит его работать. Это будет иметь для меня больше значения, чем какие бы то ни было академические премии.

Алиса. Он и осуществит это на практике, как только получит нужные для этого средства.

Яльмар. Получи он премию, я, быть может, и согласился бы пожертвовать еще несколько тысяч на это дело.

Алиса. Тогда он в твоей помощи не будет нуждаться. Она нужна была бы ему только в том случае, если бы он не получил премии.

Яльмар. Спасибо! Необходимо же нам иметь, наконец, гарантию, что он необыкновенный авантюрист.

Алиса. Но ведь ты прекрасно знаешь, что об этом не может быть и речи.

Яльмар. Напротив того, друг мой, много есть оснований думать это. Я только что разговаривал с Андерсоном. Хорошенькие истории пришлось услышать!

Селéн. Да, потребительное товарищество — современное средство для создания рабочей силы...

Яльмар. И для того, чтобы подняться самому на плечах партии...

Шперлинг. Вообще курьезный демократ этот господин. Когда посмотришь, с какой добродушной приветливостью обращается всегда со своими людьми такой чистокровный аристократ, как Яльмар, и сравнишь с высокомерием этого друга рабочих...

Эльффорс. Да, интересно будет посмотреть, как он вывернется на общем собрании. Уверяю вас, баронесса, то, что о нем говорят, звучит весьма серьезно.

Паула (*входит в светлом модном платье, с живостью вбегает на террасу и подходит к Яльмару, который медленно встает со стула*). Не знаю, как и благодарить вас, барон.

Яльмар. Ради бога, я к этому совсем не причастен. Очень рад, что вы так хорошо съездили. Позвольте мне представить вам новую артистку, фрёкен Паулу Торель. Граф Шперлинг — большой знаток музыки, графиня Шперлинг, лейтенант Селен, также большой знаток, но не музыки, а... Ну, майор Эльффорс...

Паула. Помилосердствуйте. Сколько имен сразу! А я никогда не запоминаю имен.

(*Яльмар вновь садится на свое место.*)

Лейтенант Селен (*приближается кланяясь и улыбаясь*). Что же сделать, чтобы заставить вас запомнить свое имя?

Шперлинг. Вы учились в Лейпцигской консерватории?

Паула. Да. Ах, какое это было чудное время! Мне кажется, что нет ничего на свете приятнее нашей тамошней товарищеской жизни.

Селéн. Вам, верно, было очень жаль расставаться с нею?

Паула. Нет, нельзя сказать. Возвращаться домой тоже прекрасно. Увидеть вновь старые места... дорогие лица. Мне кажется, что нет ничего на свете приятнее возвращения домой после такого долгого отсутствия.

Яльмар (*считая по пальцам*). Два.

Паула. Что?

Яльмар. Ничего!

Шперлинг. И вы выступали в концерте. В газетах много писали по поводу этого, вы играли к тому же и собственные композиции.

Алиса. Тебе не было страшно выступать в первый раз перед такою многочисленною, чужою публикой?

Паула. О да, сначала я ужасно боялась. Но затем, когда увидала, что меня понимают! Нет, право, нет ничего на свете приятнее сознания, что ты всех увлекаешь за собою — всех — всю залу целиком.

Яльмар. Три!

Паула. В чем дело?

Яльмар. Вот уже три вещи — самые приятные на свете. Товарищеская жизнь, т. е. жизнь душа в душу со всевозможными незначущими личностями. Дальше: одобрение публики, состоящей на две трети из идиотов в музыкальном отношении. И, наконец, возвращение домой. Ну, это еще понятнее для меня. После всех неудобств, которые претерпишь в дороге, приятно лечь в собственную постель, сесть за собственный стол. Кстати, Алиса, скоро ли мы будем обедать? Мы здорово намучились сегодня. Что ты нам дашь на обед?

Алиса. Только что получена большая партия устриц, которую ты выписал из Англии.

Яльмар. Ну вот и отлично. (*Обращаясь к мужчинам.*) Я выписал английских устриц, это очень хороший сорт, маленькие, с тонкой скорлупою, гораздо вкуснее голландских. А ты велела подать шабли, Алиса?

Алиса. Нет, приготовлено шампанское.

Яльмар. Шампанское, друг мой! Удивительно, право, как женщины, даже самые умные, ничего не смыслят в этих вещах. Кто же после устриц пьет что-нибудь кроме шабли? Я сам пойду в погреб. (*Уходит.*)

Алиса. А где же твои, милая Паула?

Паула. Карла невозможно было уговорить, тогда и мама отказалась идти. Но Эрнст придет сейчас.

Алиса. Вот чего я не могу переносить у твоего брата. Это мелочно с его стороны всегда держаться так неестественно по отношению к нам.

Не можешь ли ты убедить его, что это нехорошо... да, просто-таки бестактно.

(Тетушка Эмилия показывается на лестнице. Паула здоровается с нею.)

Барон Кронстрем. А вот и фрёкен Юлленьельм! Это тонкий намек на то, что нам пора идти переодеваться.

Остальные. Конечно.

Майор Эльффорс (*своей жене, тихо*). Пойдем, достань мне чистую крахмальную рубашку.

(Уходят вместе.)

Графиня Шперлинг. Что же ты не идешь, Отто?

Шперлинг. Да, но не исчезнет ли фрёкен Паула раньше, чем мы успеем вернуться?

Паула. О нет.

Лейтенант Селен. А это в самом деле правда? Здесь в деревне фрёкен представляет такое редкое явление, что можно всего ожидать.

(Все понемногу входят в дом, за исключением Алисы и Паулы.)

Алиса. Да, Паула, дорогая, теперь ты стоишь в самом зените своей славы. Куда ни повернешься, везде встречаешь только восторг и поклонение.

Паула. Ты мне в этом завидуешь?

Алиса. Да... А почему бы нет? Приятно было бы чувствовать силу своей личности... воздействующую на окружающих тем или иным образом... Хотя... мне собственно не этого бы хотелось.

Паула. А чего же?

Алиса. Иметь власть над другим человеком. Об этом я часто мечтала, но только над одним — над одним-единственным.

Паула. А вот и Карл. Пойду поговорю с ним еще.

Алиса (*вздрагивает*). Не надо. Раз он не хочет... Насильно приглашаемых гостей я не желаю видеть у себя.

(Идет в дом.)

Паула (*сходит в парк навстречу Карлу*). Куда ты идешь?

Карл. Назад в контору.

Паула. Разве это так необходимо? Мы могли бы провести вместе такой приятный вечер. Они так любезны...

Карл. Да, с тобою — этому я охотно верю. Ты им оправдала их благодеяние, тобой они могут только гордиться. Но я пока еще стою на одной доске с их прочими нахлебниками, которые только сто́ят им много денег, не принося никакой пользы. А других своих нахлебников они не приглашают на ужины.

Паула. Но ведь наоборот, тебе-то именно Герргамра в скором времени и будет обязана своим спасением.

Карл. Да, тогда я не сомневаюсь, что они будут оказывать мне всевозможную любезность и внимание, тогда, когда я наконец закончу свою работу. Но тогда я меньше, чем когда-либо, буду посещать их празднества. Если они не хотели верить мне на слово...

Паула. Но Алиса ведь верит тебе.

Карл. В том-то именно и дело, что Алиса не... Как будто я забочусь о других — о бароне Яльмаре и его гостях — нет, суть вся в том, что Алисе нужны осязательные доказательства, чтобы верить мне на слово. Это-то мне и больно и этого я ей никогда не прощу.

Паула. Но почему ты это думаешь?

Карл. Не проходит и дня, чтобы у меня не было на это нового доказательства. Я читаю ее сомнения в ее глазах, в ее манере здороваться со мной, в тоне ее голоса, во всем. Хотя бы в том, что каждый раз после прихода вечерней почты она спрашивает меня, получил ли я какое-нибудь известие из академии.

Паула. Расскажи, как создались между вами такие отношения. Когда я уезжала, я была уверена...

Карл. Неужели ты думаешь, что поступивши сюда в качестве простого конструктора машин, получившего из милости взаймы 15000 крон, не считая тех 10000, которые папа был должен, я мог явиться к старому барону Юлленьельму и просить у него руки его дочери, чтобы он высмеял меня!

Паула. Но если Алиса тебя любила.

Карл. Она тут же дала слово барону Яльмару.

Паула. Да, когда ты отстранился...

Карл. Я, как честный человек, не мог поступить иначе.

Эрнст (*быстро входит*). Что, у меня сегодня презентабельный вид? Это прямо шикарно быть приглашенными в за́мок по-семейному. Приходится благодарить за эту честь свою изящную сестрицу. Не правда ли, у меня вид настоящего джентльмена? Фрак я занял у Ионсона — хорошо сидит, да? А вот эта булавка из Берлина так красит. Вот бы Марта на меня посмотрела!

Паула. А-а, Марта, так вы по-прежнему влюблены друг в друга?

Эрнст. Конечно, хотя мы до сих пор не решаемся признаться ее отцу. Вот когда Карл получит премию... тогда дело другое. Все двери широко откроются перед нами. Великий изобретатель и его брат, помогавший ему так много... Великая пианистка и ее брат (вертится кругом). Твой младший брат — шикарный молодой человек, не правда ли? (*Обнимает ее и начинает кружиться с нею.*)

(Алиса и Яльмар входят вместе и здороваются с Эрнстом.)

Яльмар (*Карлу, который поворачивается, чтобы уходить.*) А разве вы не останетесь с нами, г. инженер... Милости просим.

Карл. Благодарю. Я только что получил письма с почты и должен отвечать.

Алиса (*с оживлением*). Вы получили, может быть, известие из академии.

Карл (*сухо*). Нет. (*Уходит.*)

(В это время Шперлинг показывается с одной стороны замка, Селен с другой, оба с букетами для Паулы. Тетушка Эмилия выходит одновременно из замка.)

Паула (*смеясь*). Как же я могу взять их все разом. *(Берет розу из букета Селена).* Это я приколю в волосы. (*Прикалывает.*)

Шперлинг. Не возбуждайте во мне зависти. А то Селен и я мы застрелим друг друга на следующей охоте.

Паула (*вынимает несколько цветков из букета Шперлинга*). Нет, не надо. Я эти цветы приколю к груди. (*Прикалывает.*)

Яльмар (*приближается и наклоняется к ней*). Нет, позвольте мне помочь вам. Ввиду того, что скоро в моем цветнике сорвут для вас все мои розы, то должен же я получить какое-нибудь вознаграждение за это.

(Паула смотрит на него краснея и слегка отодвигается.)

Яльмар (*тихо*). У меня старые преимущества. Вам не следует сейчас же оказывать другим предпочтение.

Паула. Вы так изменились, барон.

Яльмар. Сначала испытайте меня, а потом уже судите. Разве я когда-нибудь выказывал себя в настоящем свете среди такого общества, как здесь...

Паула. Сочиняли вы что-нибудь за эти годы?

Яльмар. Да... вот вы услышите. Но только вы одна. Выберем как-нибудь время, когда все другие отправятся гулять.

Паула. Но ведь граф Шперлинг любитель музыки.

Яльмар. Именно потому я и не буду при нем играть. Тех, которые ничего не понимают, можно еще выносить, но те, которые воображают, что понимают — невыносимы.

Граф Шперлинг. Может быть вы, фрёкен, доставите нам удовольствие послушать вас до прихода остальных гостей. Яльмар и я — мы оба очень любим музыку...

Паула (*колеблясь*). Я не думаю, чтобы барон захотел...

Яльмар. Слушать... Напротив того, я очень рад.

(Предлагает ей руку, Шперлинг следует за нею, Селе́н спешит вперед и открывает дверь.)

Алиса (*тетушке Эмилии*). А нам, старушкам, никто не предлагает руки, тетя.

(Идет с нею.)

Тетушка Эмилия. Это, право, бестактно со стороны этой девчонки.

Алиса. Нас не берут в расчет, нас обеих, тетя милая. (*Склоняет ей на плечо голову.*) Ах, я чувствую себя такою старою, такою лишнею.

(Входит в замок, в ту же минуту сквозь открытые окна раздается музыка.)

АКТ ВТОРОЙ

Открытая площадь перед заводом. Справа заводские здания, в глубине сцены слева запруженный водопад, почти высохший, с большим колесом, которое не действует; с ним соединено другое, стоящее ближе от заводских зданий. Штабели теса и т. п. Замок виднеется вдали направо. На авансцене справа скамьи и стулья для господ, слева кафедра для ораторов из сложенных друг на друга камней. Когда занавес подымается, рабочие и заводские служащие начинают собираться.

Г. Андерсон (*ходит между рабочими, горячо разговаривая и жестикулируя, с бумагою в руке*). Вот посмотрите — я все вычислил до копейки. Я могу сказать, сколько он украл у каждого из вас. Возьмем примерно тебя, Свен Карлссон: с такою семьей, как у тебя, ты должен был бы сделать за год сбережений на 50 крон, если бы мы держались тех же цен, что и лавка в Лидо. Эту сумму тебе и следовало бы получить теперь, при раздаче дивиденда. Посмотрим, получишь ли ты хотя бы половину.

Свен Карлссон. С какой же стати мне терять.

Андерсон. Да, смотри же, ни за что не соглашайся получить меньше 50, говорю я тебе.

Эрик. Куда же он тогда дел деньги?

Андерсон. Я не хочу ничего говорить... Но бывал ты когда-нибудь в его лаборатории?

Эрик. О да... дорогие вещи...

(*Алиса выходит из замка со всеми своими гостями из предыдущего акта. Они оживленно разговаривают и садятся на скамьи.*)

Алиса (*графу Шперлингу*). Я совершенно разделяю его мнение. Только путем объединения могут рабочие улучшить свое положение.

Шперлинг. Жаль только, что все эти друзья народа — такие двусмысленные личности.

Алиса. Так всегда называют носителей новых идей.

Барон Кронстрем. И называют, правду говоря, совершенно основательно, баронесса. Разумные и добросовестные люди никогда не станут заниматься распространением новых и незрелых идей.

Алиса. Так, по-вашему, человечество должно всегда стоять на месте, не двигаясь вперед?

Кронстрем. Конечно нет. Оно само пойдет вперед, без всяких понуканий. Эти нововводители только пускают пыль в глаза, когда говорят о своем желании двинуть мир вперед. Единственное, чего они добиваются — продвинуть вперед самих себя.

(Стенсон показывается среди рабочих. Марта подходит к Алисе и здоровается.)

Алиса. И ты также интересуешься потребительским товариществом?

Марта. О нет. Но я воспользовалась случаем и поехала с папой. Я так люблю бывать здесь. Потом мне хотелось увидеться с Паулою. Ты меня представишь своим гостям?

Алиса. Фрёкен Стенсон.

Марта. Школьная подруга Алисы. Мы так любим друг друга и не обращаем внимания на то, что наши мужчины в ссоре.

Фру Селен. Это значит ваш отец — ...

Марта. Вел с бароном процесс насчет плотин. Да. Но нам, женщинам, нет до этого никакого дела, не правда ли? Вы слышали, сегодня готовится большой скандал! Папа говорит, что все рабочие страшно злы на инженера.

Шперлинг (*смеясь*). Неужели! Вы говорите — страшно злы?

Эльффорс. Согласитесь, что это по меньшей мере странно: что рабочие питают такое недоверие к тому, кто так заботился об их интересах...

Алиса. Он не умеет обходиться с ними — вот и все.

(Паула выходит с другой стороны, чем остальные, оживленно разговаривая с Яльмаром.)

Фру Эльффорс (*графине Шперлинг*). Эта девушка должно быть ужасная кокетка, хотя кажется воплощенною невинностью. Как могла она в несколько дней до такой степени вскружить голову барону.

Графиня. Да, представь себе! Вчера, когда мы все поехали кататься, а барон Яльмар сказал, что не может ехать с нами вследствие массы дела — помнишь...

Фру Эльффорс (*с любопытством*). Да, ну и что ж?

Графиня. Как только мы уехали, так рассказывала мне моя горничная, фрёкен Торель пришла в замок, барон встретил ее на лестнице и провел прямо в концертную залу, где они проиграли весь вечер.

Фру Эльффорс. Подумай, а ведь они ни разу не играли, когда мы были дома...

Графиня. А мой муж так музыкален!

Яльмар (*Пауле, тихо*). Идите! А через минуту прийду и я. Все так заинтересованы ожидаемым скандалом, что не обратят внимания...

Паула. Но я боюсь, чтобы Алиса не перетолковала этого как-нибудь... Позвольте мне сказать ей.

Яльмар. Пожалуйста! Что же мы, по-вашему, должны каждое наше слово и каждый взгляд заносить в протокол и затем представлять на рассмотрение Алисы? Это, впрочем, общепринятый взгляд на супружеские обязанности.

Марта (*бежит навстречу Пауле и обнимает ее*). Ах ты, дряннушка, целую неделю уже дома и до сих пор не пришла повидаться со мною.

Паула. Мне очень жаль, дорогая Марта! Но при тех отношениях, которые существуют теперь между твоим отцом и Карлом — твой отец буквально преследует Карла.

Марта. Карл сам в этом виноват. Зачем он такой упрямый. Папа не выносит рабочих союзов и тому подобных вещей. В Лидо никогда не должно быть ничего подобного — никаких товариществ, никаких религиозных сект, ничего в этом роде...

Паула. Но какое дело твоему отцу, если здесь, в Герргамре Карл.

Марта. Но мне есть до этого дело. Почему Карл такой эгоист? Почему он думает только о себе? Пока папа так зол на него, Эрнст и я мы никогда не женимся. Подумай только, если бы Карл согласился на папино предложение и взял место управляющего в Лидо, — как бы всем нам было хорошо!

Паула. У Карла более важные дела, чем...

(Эрнст входит. Марта бежит ему навстречу. Они заходят за одно из заводских зданий и целуются.)

Паула (*Алисе*). Ты, надеюсь, ничего не будешь иметь против, если я исчезну на минуту вместе с твоим мужем. Мы хотим поиграть немного, пока никого нет в доме.

Алиса. И ты спрашиваешь у меня позволения? Как будто вы заботитесь о том, что я...

Паула. Алиса! Значит тебе это неприятно... Так мы, конечно, не пойдем.

Алиса. Пожалуйста, мне лично все равно. Но как ты можешь в такую важную для твоего брата минуту думать...

Паула. Нет, нет, ни слова более. Ты права, я остаюсь.

Алиса. Но только не ради меня — помни это. Но ведь он сегодня, кроме того, ждет известий из академии относительно премии, не так ли?

Паула. Да, его друг должен был во всяком случае написать ему. Он желал, чтобы собрание открылось часом позже, так чтобы он успел раньше получить почту. Это придало бы ему больше мужества и усилило бы его авторитет.

Алиса. Это правда. (*Идет и делает Эрнсту знак подойти.*) Хотите оказать своему брату большую услугу?

Эрнст. Конечно.

Алиса. Возьмите лошадь и поезжайте навстречу почте. Хорошо было бы, если бы ваш брат получил известие из академии до закрытия собрания.

Эрнст. Да, конечно. Я поеду напрямик, полями. Через полчаса буду обратно. (*В сторону, к Марте.*) Понимаешь, крошка. Я должен оставить тебя на минуту. Будь умница и не плачь.

(Целует ее украдкою и быстро уходит.)

Паула (*отходит в сторону с Яльмаром*). Алисе это не нравится.

Яльмар. Не нравится... Ну что ж... Без ее разрешения об этом не может быть и речи.

Карл (*входит в сопровождении фру Торель; все отстраняются от него; обращается к Пауле*). Куда девался Эрнст?

Алиса. Я дала ему одно поручение. Он вернется через полчаса. А вам он нужен?

Карл. О да, но это ничего не значит.

Фру Торель. Карл хотел просить Эрнста поехать навстречу почте. Он с таким нетерпением ожидает известий о премии.

Паула. Вот именно за тем он и...

Алиса (*увлекает ее в сторону*). Не говори ничего.

Паула. Почему?

Алиса. Ну так скажи по крайней мере, что Эрнст поехал сам — не вмешивай меня.

Фру Торель. Это было такое мучительное ожидание все эти дни. Но теперь мы знаем по крайней мере, что заседание академии было вчера. Вся его судьба зависит от этого. Подумайте! Сделать так много и не быть в состоянии продолжать! Это было бы ужасно.

Карл. Не будем надоедать баронессе этим. Все это ей отлично известно.

Фру Торель. Да, я не могу не сказать, как мне больно за моего бедного мальчика, что именно теперь, когда он находится в таком ужасно напряженном ожидании, его терзают и мучают еще всякими другими вещами.

(Карл хочет прервать ее.)

Фру Торель (*качает головою*). Он сделался теперь таким нервным — сам себя не может выносить.

Стенсон (*подходит к нему*). Ну, мой молодой друг, правда ли, что вы уже закончили работу?

Карл. По изобретению — да.

Стенсон. Когда же мы увидим новую машину в действии?

Карл. Когда я достану средства, необходимые, чтобы ее построить.

Стенсон. Ай-ай. Еще денег! Ну, тогда вам придется поискать еще других доходных статей, кроме потребительского товарищества.

Карл. Насколько эта статья была доходна, вы сейчас увидите. Все собрались? Можно начать? (*Всходит на возвышение.*) Я созвал вас сегодня, чтобы сообщить результат отчета по нашим делам, проверенного и утвержденного ревизионною комиссией. К сожалению, результат оказался далеко не такой, какого мы все ожидали. (*Ропот в толпе.*) Не все примкнули единодушно к потребительскому товариществу, не все оказали ему доверие, а это только одно могло обеспечить успех новому предприятию. Вы же — большинство из вас — предпочитали покупать дурные товары в лавке в Лидо. (*Ропот.*)

Стенсон. Позвольте покупателям самим судить о качестве товаров.

Карл. Вы дали увлечь себя коварно дешевыми ценами.

Голос. Коварно!

Карл. Коварно, говорю я, потому что Стенсон продавал в убыток, чтобы привлечь к себе покупателей.

Голос. Во всяком случае, это было очень любезно с его стороны.

(Смех.)

Другой голос. Да, мы против этого ничего не имеем.

Карл. Но вы должны же понять, что он не всегда будет действовать таким образом. С его стороны это только уловка, чтобы с самого начала задушить наше потребительское товарищество... в этом все дело.

Андерсон. Просим г. председателя держаться дела и не отклоняться в сторону.

Карл. Я и не отклоняюсь. Потому что в сущности все дело сводится к тому, чтобы убедить членов товарищества, что если первый год был неудачен и не оправдал наших ожиданий, то следует искать причины этому не в самой идее товарищества и не во мне.

Эрик. Зачем Стенсону желать уничтожения нашего товарищества? Мы этого не понимаем.

Карл. А потому что Стенсон ярый противник всякого рода рабочих союзов. Он боится, чтобы рабочие благодаря им не сделались силою.

Стенсон. А Торель — защитник всякого рода рабочих союзов, потому что он надеется с помощью их создать политическую силу и затем взлезть самому ей на плечи. Вот подождите будущих выборов в риксдаг и вы увидите.

(Смех.)

Несколько голосов. Ошибается в расчетах.

Карл (*ударяет молотком*). Призываю собрание к порядку.

Голос. Ну так подавайте нам скорее отчет. Сколько же мы получим дивиденда?

Карл. Как видно из отчетов, проверенных ревизором, в настоящем году не будет выдано никакого дивиденда. Но...

Много голосов.
Он надул нас. Наши несчастные трудовые копейки!
Он обокрал нас!
Ого, но мы знаем, куда уплыли наши денежки.
У него целая лаборатория полна моделями.
А это стоит целую прорву денег.

Алиса (*тихо Яльмару*). Теперь ты обязан потребовать слова и выступить в его защиту.

Яльмар. Я? Мне какое до этого дело?

Алиса. Ты знаешь, как это несправедливо. Ты должен сказать им, откуда он получил деньги. А если ты не хочешь говорить, то я это сделаю.

Яльмар. Тебя так соблазняет быть осмеянною?

Алиса. Мне это все равно. Нужно быть трусом, чтобы слышать такую клевету и молчать!

Карл (*когда шум несколько затих, ударяет молотком, чтобы водворить молчание*). После позорных обвинений, высказанных против меня, мне остается только одно: положить молоток и попросить собрание выбрать другого председателя.

Алиса (*дрожа от волнения, делает несколько шагов вперед и говорит сдавленным голосом*). Г. председатель. (*Всеобщее изумление, публика на скамейках встает.*) Позвольте мне прежде сказать несколько слов.

Карл (*смотрит на нее, взоры их встречаются*). Слово за фру баронессою Юлленьельм.

Алиса (*держится за дерево и говорит прерывисто*). Прошу извинения, если я не сумею подобрать точных слов для выражения своих мыслей — мне ни разу еще не приходилось говорить публично. Но так как никто не желает выступить в защиту того (*говорит более уверенным тоном*), кто подвергается таким несправедливым обвинениям, то я нахожу, что с моей стороны было бы непростительною слабостью молчать. *(Пауза. Алиса оглядывается, делается спокойнее.)* Вы все, отцы и деды которых работали здесь на герргамрском заводе, все вы знаете меня. Вы знаете, что я никогда не потерпела бы, чтобы с вами поступали несправедливо. Вы знаете, что я ни за что не выступила бы в защиту человека, который нечестно распорядился бы средствами, добытыми вами таким тяжким трудом. Вы не можете не поверить мне, когда я говорю: я знаю инженера Тореля уже много лет, я знаю, что он не может быть виновен в том, в чем вы его обвиняете. Вы удивляетесь, откуда он берет средства на опыты. Поэтому я считаю себя обязанною сказать вам, что он получил эти деньги взаймы от нас — от моего мужа и меня, так как мы верим в его изобретение, которое когда-нибудь и вам всем послужит в пользу. *(Она останавливается на минуту, переводит дыхание и выпивает стакан воды, поднесенный ей Шперлингом.)* Да, я собственно хотела сказать вам следующее: просмотрите сами хорошенько отчеты или передайте их на рассмотрение людям, которым вы доверяете. Но не бросайте таких позорных обвинений в лицо человеку, который работает для вашего же блага.

(*Быстро отходит и скрывается среди гостей.*)

Паула (*бежит за нею и обнимает*). Алиса! Ты героиня!

Алиса (*отстраняет ее, взволнованным голосом*). Если бы ты не привлекала к себе так сильно внимания Яльмара, он наверное избавил бы меня от этого.

Стенсон (*Андерсону*). Да, теперь собрание приняло такой романтический... гм, как бы сказать (*делает недоумевающий жест рукою*) оборот, романтический характер, что я считаю невозможным приступать к такому прозаичному делу, как избрание нового председателя и чтение отчета, или как вы думаете. (*Шепчет.*) Предложите закрыть собрание.

Андерсон (*кричит*). Предлагаю закрыть на сегодня собрание.

(*Горячо говорит, переходя от одной группы к другой.*)

Карл. Принимает собрание предложение г. Андерсона?

Единодушный возглас. Да!

Карл (*кладет молоток*). Объявляю собрание закрытым. (*Быстро подходит к Алисе.*) Как мне благодарить вас. Вы сделали это для меня, не получив еще никаких осязательных доказательств тому, что я не мошенник, не авантюрист...

Алиса. Я сделала это из чувства справедливости, вам не за что благодарить меня.

Марта (*кричит Алисе*). Эрнст едет, ты видишь его? Он так быстро скачет, что совершенно загнал лошадь.

Карл (*смотрит в ту же сторону*). А-а, так вот зачем...

Алиса (*в смущении*). Ваш брат сам захотел этого.

(Карл идет навстречу Эрнсту, который подходит, размахивая почтовою сумкою.)

(Барон Яльмар открывает сумку, которую Эрнст вручает ему, и передает Карлу большой конверт. Карл быстро распечатывает его. Все взоры обращаются на него.)

Фру Селен (*фрёкен Кронстрем*). Это известие о премии.

Кронстрем. Как наша хозяйка заинтересована!

Фру Селен. Она была во всяком случае прелестна, когда стояла там. Я никогда не думала, чтобы дама, говорящая речь, могла представлять такое красивое зрелище.

Фру Торель, Марта, Эрнст и Паула (*Карлу, который опускает руку с письмом, судорожно комкая его*). Ну? ну? ну?

Карл. Вы бросили ваши 15 000 крон в бездонную пропасть, барон Юлленьельм.

(Пауза.)

Яльмар (*вставая*). Ну что же... мне очень жаль... из-за вас. Что же касается меня, то я, по правде сказать, давно уже считал эти деньги потерянными, так что вы, пожалуйста, не беспокойтесь об этом. Надеюсь по крайней мере, что вы теперь излечены.

Карл. Я понимаю, что в настоящую минуту это может показаться смешным, но я все-таки буду иметь удовлетворение высказать это, хотя я отлично знаю, что нет ни одного существа, которое верило бы мне теперь. Барон Юлленьельм, вы неправы, считая свои деньги потерянными. Потому что задача разрешена. Я, вероятно, не доживу до того, чтобы ее признали разрешенною. Но это все равно. Мне придется смириться с мыслью, что я буду жить и умру, считаясь авантюристом или дураком, но мое дело переживет меня.

(Уходит.)

Алиса (*бежит за ним*). Карл!

(*Он останавливается — они стоят в стороне от других.*)

Алиса. Я верю тебе.

Карл (*хватает ее за руки*). Алиса! Что это значит? (*Тихо.*) И это также из чувства справедливости?

Алиса. Я люблю тебя. Я последую за тобою, куда бы ты ни пошел. Я отдам тебе себя и все, что имею. И мы вдвоем победим.

Карл (*потрясенный целует ее руки*). Это слишком... слишком много счастья в такую ужасную минуту. Я не в состоянии этого осознать.

(*Алиса наклоняется и целует его.*)

Яльмар (*бежит к ней, вне себя, гости следуют за ним пораженные*). Ты с ума сошла!

Алиса (*берет Карла под руку и смотрит прямо в лицо Яльмару*). Говори, что хочешь. Но нас двух ничто больше не разлучит.

АКТ ТРЕТИЙ

Приблизительно через полгода после предыдущего акта.
Лаборатория Карла. Вечер. Посредине комнаты на столе горит лампа, рядом электрический аппарат. Модели разного рода машин расставлены по комнате, вся меблировка которой состоит только из простого стола и стульев. В глубине дверь в заводскую контору. На дворе снег, смешанный с дождем, и сильный ветер.

Эрнест (*входит с Мартою через контору; оба покрытые снегом и промокшие; Марта с платком на голове, в пальто, меховой шапке и ботах; Эрнст с поднятым воротником и с фонарем в руке)*. Иди скорее, я тебе его покажу, пока Карл не вернулся. Он так боится, чтобы ему что-нибудь не испортили, чуть кто взглянет на его аппарат, он уже думает...

Марта (*сбрасывает платок и подходит к аппарату*). Посмотри, неужели эта маленькая штучка может заставить двигаться всю машину.

Эрнст. Да, вот именно эта маленькая штучка! А сколько мы думали над ней, сколько работали, сколько трудились. Ты себе представить не можешь! Часто Карл несколько ночей подряд не раздевался. Теперь остается только произвести небольшую регулировку и завтра поутру машина будет пущена в ход.

Марта. И тогда папа помирится с Карлом и мы...

Эрнст. И мы на славу отпразднуем свою помолвку! А что говорил твой отец относительно работы там, у водопада. Ты слышала что-нибудь?

Марта. О, он разговаривал с рабочими и сказал, что весело им теперь будет, когда пятьдесят человек уволят.

Эрнст. Он это сказал? Ну, теперь понятно, почему они начали волноваться. А Карл все не приходит! Я думаю, что мне лучше вернуться туда и посмотреть. Что если они затеют какую-нибудь историю?

Марта. А меня оставишь здесь одну. А если они прийдут и будут бросать камни в окно...

Эрнст. Ну так иди со мною.

Марта. А если они начнут драться там внизу. Нет, я не смею. Не знаю, право, на что решиться. Что мне делать? Зачем я приехала сюда с папою сегодня?

Эрнст. Чтобы увидать своего милого жениха — надеюсь. Но ты еще не рассмотрела всех моделей. Вот взгляни сюда. Не правда ли, какие

они хорошенькие, точно игрушки. Мы такие игрушки будем дарить нашим детям, да?

Марта *(треплет его по щеке)*. Ах ты дурачок! Нет, право, такие они хорошенькие! Но послушай, это должно было стоить страшно много денег?

Эрнст. О да, будь уверена.

Марта. Но откуда Карл брал их? Алиса ведь ничего не имела, когда потеряла Герргамру.

Эрнст. Нет, у нее был небольшой капитал, доставшийся от матери. Но он уже давно иссяк. Нам пришлось претерпеть столько неудач и несчастных случаев. Теперь мы живем деньгами, вырученными от продажи ее бриллиантов, ее старинного серебра и т. п. Возьмем, например, эту машину, знаешь ли, что она собой представляет? Красивое бриллиантовое ожерелье Алисы, полученное в наследство от матери. А это здесь — догадайся, что это такое. Ты думаешь, маленький локомобиль в миниатюре, ан нет, это — большая серебряная ваза на высокой ножке, которая красовалась всегда на столе, когда в Герргамре давались большие празднества по случаю открытия охотничьего сезона.

Марта. Это, право, очень трогательно, знаешь ли — право, очень, очень трогательно. Я желала бы тоже пожертвовать свои драгоценности для тебя. Да, мне бы этого очень хотелось. У меня есть золотая брошь с бриллиантом, как ты думаешь, можно ли ее превратить в локомобиль — такой маленький, маленький локомобиль?

Эрнст. О нет, тебе незачем расставаться со своими драгоценностями, дорогая моя. Мы уже кончили. Теперь Алиса скоро получит обратно все, чем пожертвовала.

Марта. Вам, конечно, во многом приходилось отказывать себе, мой бедный милый мальчик. Ты с таким аппетитом ел, когда папа, по моему настоянию, приглашал тебя иногда по воскресеньям на обед в Лидо.

Эрнст. О да, это правда. Сочный, вкусный ростбиф — уф, у меня слюнки текли при одном его виде.

Марта. А когда ты стеснялся брать во второй раз и я клала тебе на тарелку большой кусок, — глаза у тебя загорались. Можно было подумать, что я протягиваю тебе не кусок ростбифа, а собственные губы.

Эрнст. Ох, не знаю, были ли бы они настолько же вкусны...

Марта. Фу, стыдись! За это я не позволю тебе целовать себя целую... *(Он прерывает ее поцелуем).*

Эрнст. А теперь мы без гроша. Случись какая-нибудь малейшая беда с машиною, у нас нет денег даже на самую пустячную починку.

Марта. Но папа говорит всегда, что он не понимает, как вы не проживаете герргамрских доходов.

Эрнст. Мы не можем трогать их, так как знаем, что должны будем вернуть их, если процесс разрешится не в нашу пользу. Карл передал покамест все доходы под общественный контроль. Все доходы кладутся в банк на счет будущего владельца.

Марта. Но кто же в конце концов будет владельцем? Неужели ты думаешь, что барон Яльмар выиграет процесс?

Эрнст. О нет, он наверное не выиграет. Скорее всего Герргамру признают обыкновенным наследственным имением и продадут, и тогда Карл купит его. Понимаешь? Когда он продаст патент на свое изобретение всем странам, у нас будет столько денег, сколько песку в море! Тсс! Карл идет по лестнице. Ради бога, не трогай ничего.

Карл (*входит в сопровождении Алисы; оба в пальто; обращается к Марте, стоящей возле аппарата*). О боже, ты, надеюсь, ничего не трогала!

(Бежит к аппарату и смотрит, все ли в порядке.)

Алиса (*Эрнсту*). Мне так страшно: рабочие не расходятся сегодня по домам. Они стоят толпами возле водопада и шепчутся и все смотрят на аккумулятор. А Стенсон и Андерсон расхаживают между ними и подстрекают.

Карл (*занимаясь аппаратом*). Вот только бы нам пустить завтра утром машину в ход, и они мигом успокоятся. Даже самые неразвитые из рабочих будут поражены, когда увидят машину в действии.

Эрнст. Послушай, Карл, меня послала сюда мама, она просит, чтобы ты и Алиса пришли домой поужинать. Она приготовила ужин на славу, чтобы достойным образом отпраздновать аккумулятор. Ты ни за что не угадаешь, какие вкусные вещи ей удалось достать! А папа Стенсон позволил Марте переночевать сегодня у нас по случаю приезда Паулы.

Карл (*наклоняется над машиною*). Рано еще праздновать, — подожди когда машина пойдет.

Эрнст. Но раз она уже установлена и всё...

Карл. Кроме того, мне сегодня некогда есть. Я не уйду отсюда, прежде чем все не будет готово, хотя бы мне пришлось проработать всю ночь.

Эрнст (*с видом обманутого ожидания*). Может быть и мне следует помочь тебе?

Карл (*улыбаясь*). И отказаться от участия в праздничном ужине. О нет, это было бы слишком жестоко. Да кроме того ты мне и не нужен, мне никого не нужно сегодня. Мне нужно только одно — чтобы меня оставили в покое.

Эрнст (*берет Марту за талию*). Пойдем, моя милая крошка. А ты, Алиса?

Алиса. Я, конечно, останусь здесь.

Эрнст. Но разве ты не слышала, что он сказал: мне никого не нужно. Значит, ты для него никто, если остаешься. Вот и отлично, Марта, и ты также будешь для меня никто.

Марта. Никто! И тебе не стыдно! (*Уходят.*)

Алиса (*наклоняется над Карлом*). Эрнст был прав. Я никто для тебя, потому что я — ты, а ты — я.

Карл (*обнимает ее*). Тебе не странно, что мы стоим, наконец, у цели.

Алиса. Да, так странно и в то же время я при этой мысли ощущаю какую-то пустоту.

Карл. О, у меня голова полна планов будущих работ... хватит на всю мою жизнь.

Алиса. Но ни одна из этих работ не может сделаться для нас тем, чем была эта: наше любимое детище, которое соединило нас и за которое нам столько пришлось выстрадать. Теперь ты будешь зарабатывать так много, что у нас не будет никаких затруднений в экономическом отношении. И представь себе — мне это почти что неприятно. Мне хотелось бы всегда жить в нашем маленьком мезонине. Я не думаю, чтобы во всем мире нашлась другая более счастливая комната. (*Обнимают друг друга.*)

Карл. А я все-таки не могу не радоваться, что тебе не придется больше отказывать себе так во многом... Что ты будешь пользоваться опять теми удобствами, тою обстановкою, к которой привыкла с детства.

Алиса. Не думай об этом, дорогой. Уверяю тебя, что лишения мне даже приятны. Мне кажется, как будто имеешь больше прав на личное счастье, когда отказываешь себе в чем-нибудь ради него. Нельзя же иметь все и вдобавок к моему счастью получить еще и богатство. Меня просто мучит мысль об этом. Это только увеличит пропасть между нами и народом. Видишь ли, потому-то я и была так счастлива все это время. Мы жили не лучше, чем все окружающие нас — самому бедному из наших рабочих не в чем было завидовать нам. И когда я подумаю о нашем малютке, который должен вскоре появиться на свет, я всегда желаю, чтобы он рос среди других детей как равный, не в таком исключительном положении, как я. Мне неприятно думать, что он родится сыном богатого человека.

Карл. Это ему не повредит. Если мы воспитаем его так, чтобы он когда-нибудь построил твой дворец для народа, о котором ты мечтала.

Алиса. Ты хочешь сказать — оборудовал. Потому что он уже построен. Большая зала будет обращена в школу, бильярдная — в лекционный зал, библиотека — в читальню. Я уже так много думала об этих планах.

Карл. Да, все это прекрасно, лишь бы только самому стоять в стороне от всего этого.

Алиса. Вот именно потому я и хочу, чтобы сын наш родился в этих условиях, а то с ним будет то же, что и с тобою: твой разум и врожденное в тебе чувство справедливости влекут тебя в одну сторону, а твои инстинкты — в другую.

Карл. Скажи лучше: мой опыт. Когда узнаешь народ так, как я его знаю, и увидишь его неисправимое, его идиотское сопротивление всему, что хотят сделать ему же на пользу... Ни один дворянин не бывает таким консервативным, не относится так недоверчиво ко всяким нововведениям, как простой народ. Нет, теперь я вполне излечился от своих демократических тенденций.

Алиса. Но и какая же радость от всего этого изобретения, если оно не будет способствовать счастью людей!

Карл. Оно, конечно, будет способствовать ему, но по-своему. Герргамра сделается со временем важным промышленным центром. Много есть пессимистов, которые думают, что наша старая Швеция не может долго просуществовать в качестве культурной страны, потому что земледелие в ней так падает. Но я докажу им, что если мы сумеем использовать другие наши естественные ресурсы... сумеем использовать всю ту двигательную силу, которую могут дать наши воды, то мы со временем будем в состоянии потягаться с самыми крупными промышленными странами.

Алиса. Но и что же за польза будет от этого. Бедность и в самых больших промышленных странах так же велика, как и у нас.

(Раздается стук в дверь.)

Карл. Войдите!

Старший мастер (*входит*). Извините, вы мне позволите задать вам один вопрос?

Карл. Нет, если этот вопрос может быть отложен. Я теперь слишком занят.

Старший мастер. Но этого вопроса отложить невозможно. Народ сегодня вечером волнуется, а так как я старший мастер, то мне придется отвечать, если начнутся беспорядки.

Карл. Конечно. Вы слишком слабы, я это уж много раз говорил — у вас нет никакой дисциплины.

Старший мастер. Извините, г. инженер. Но когда народ голодает, то для него хлеб важнее дисциплины. Им много пришлось перенести из-за пониженной зарплаты.

Карл. Никто тут не может помочь, пока завод не получит настоящего хозяина. Процесс скоро закончится.

Старший мастер. Но рабочие говорят, что во всяком случае инженер виновен в том, что...

Карл. В чем? Говорите!

Старший мастер. Мне неудобно говорить в присутствии госпожи. Но дело в том, что рабочие никак не могут этого понять. Они говорят, что если бы г. инженер, с позволения сказать, не отвлек баронессу от ее обязанностей, этого несчастья никогда бы не случилось. Если бы барон оставался владельцем, завод работал бы по-прежнему.

Карл. Какое это имеет отношение, зачем вы говорите теперь об этом?

Старший мастер. Да вот, видите ли, это, конечно, находится в связи с их ненавистью к аккумулятору. Они думают, что г. инженер придумывает все то, что ведет к их погибели. И поэтому я и пришел спросить вас, правда ли то, что говорят, или нет. Могу ли я от вашего имени пойти и успокоить рабочих и сказать им, что вранье все эти истории, которые утверждают, будто вы намереваетесь этой весной уволить пятьдесят рабочих.

Алиса. Как они могут думать...

Карл. Те, которые будут вести себя хорошо и исполнять свою обязанность, останутся на заводе. Но те, которые будут шуметь и бунтовать, будут уволены, так и скажите им!

Старший мастер. Так я могу сказать им, что все, которые смирно разойдутся по домам...

Карл. Нет, никаких обещаний. Я введу новые методы работы, и кто не сумеет примениться к ним, тот мне не будет нужен. Во всяком случае необходимо будет произвести некоторый отсев.

Старший мастер. Значит, народ прав, когда видит в новой машине только вред для себя.

Карл. Да, для тех, кто привык шататься, ничего не делая и ни на что не годясь. Но вообще она произведет среди рабочих полезную встряску. Не можете ли вы переговорить с рабочими и объяснить им это? Но что важнее всего — убедите их разойтись по домам.

Старший мастер. Хорошо, постараюсь. (*Уходит.*)

Карл. Сегодня вечером, кажется, меня ни на минуту не оставят в покое. А завтра рано утром машина должна быть пущена в ход.

Алиса. Ты мне никогда этого не говорил, Карл! Рассчитать столько рабочих!

Карл. Ну вот! Теперь и ты перестанешь радоваться изобретению.

Алиса. Пятьдесят рабочих! Значит, многие из тех, кто имел здесь постоянное местожительство, предки и отцы которых жили в том же доме, что и они... при жизни моего отца и деда.

Карл (*с раздражением*). Разве необходимо говорить об этом именно теперь, когда все зависит от того, могу ли я спокойно работать! (*Более дружелюбным тоном, протягивая Алисе руку.*) Извини, дорогая моя,.. только не теперь...

(Марта вбегает, за нею входят фру Торель и Паула. Карл бросает на них нетерпеливый взгляд.)

Марта. Догадайся, Алиса, кто здесь? Барон Яльмар! Он только что приехал, мы видели, как он вылезал из саней. Уверяю тебя, что это правда. Мы сами видели его, хотя он нас не заметил, так как Паула убежала и потащила меня за собою.

Алиса (*взволнованным голосом*). О!

(Карл отодвигает свой стул.)

Марта. Подумай, как это интересно! Обещай мне, что я увижу, когда вы встретитесь в первый раз!

(Фру Торель старается заставить ее замолчать. Карл смотрит на Алису испытующим взором.)

Алиса. Это ничего. Я и Яльмар — мы можем всегда встречаться как старые друзья.

Марта. Но разве он не сердится на тебя?

(Карл протягивает Алисе руку. Алиса подходит к нему, обнимает его за шею и прислоняется к нему головою.)

Карл (*тихо*). Как твоя щека горит. Это тебя так волнует?

Алиса. Мне неприятно, что он явился именно теперь, когда я хотела бы думать только о той важной минуте, которая предстоит тебе.

Карл (*отпускает ее*). Так всегда бывает, когда у нас есть прошлое, которое оказывает еще на нас такое сильное влияние.

(Встает.)

Алиса (*обвивает опять руками его шею*). Я не хочу, чтобы какое-то прошлое оказывало на меня влияние.

Фру Торель (*накрывавшая с помощью Паулы стол и приготовившая ужин*). Идите, дети.

Карл. Что это? У меня нет времени...

Фру Торель. Но не можете же вы голодать целый вечер. Я не буду долго мешать вам, но если вы думаете сидеть целую ночь, то вам нужно непременно что-нибудь поесть.

Карл (*ест стоя бутерброд, другие садятся*). Где Эрнст?

Фру Торель. Пошел успокоить рабочих — они пришли в страшное волнение при виде барона Яльмара. Распространился тотчас слух, что он выиграл процесс. Они стали кричать ура. Просто противно было слушать их... такая неблагодарность... я поспешила пройти мимо так скоро, как только могла. Неприятно матери...

(Говорит что-то тихо Карлу.)

Алиса (*отводит Паулу в сторону*). Как ты думаешь, он приехал для тебя?

Паула. Да... я думаю. Уезжая из Стокгольма, я послала ему записку, где написала, что еду сейчас сюда прощаться со всеми вами, так как намерена принять ангажемент на концертное турне по Америке...

Алиса. Ты, значит, только что виделась с ним в Стокгольме?

Паула. Да... Он был на моем концерте и поднес мне великолепный букет — из одних роз с каплями росы из брильянтов...

Алиса. Я его не понимаю. Он любит тебя, в этом я уверена. А между тем хочет быть владельцем герргамрского майората, хотя знает, что в таком случае он не может вступать в брак с недворянкою.

Паула. А я это отлично понимаю. Он слишком аристократичен, видишь ли, аристократические инстинкты вошли в его плоть и кровь, и слишком ленив. И вот он не может представить себе, как это он будет зарабатывать себе кусок насущного хлеба. Ты и представить себе не можешь, какую борьбу с собой он переживал все это время. Я-то видела это, хотя он старался не показать мне этого. И я все это время надея-

лась... Он мог бы, например, занять место дирижера оркестра в большой опере в Стокгольме...

Алиса. Ты думаешь, что он в состоянии был бы примириться с этой деятельностью?

Паула. Да, он стал бы гораздо счастливее и лучше. И теперь во мне возбудились опять самые безумные надежды... Тот факт, что он уехал тотчас вслед за мной... (*Обнимает Алису.*) О, Алиса, если бы это могло случиться!

(Раздается стук в дверь, Паула и Алиса отскакивают друг от друга с подавленным возгласом. Карл вскакивает со стула.)

Марта (*вскрикивает*). Боже, это он!

Карл (*стараясь придать уверенность своему голосу*). Войдите!

(Эрик медленно входит.)

Карл. Это вы! Что это значит? Вы ушли с своего сторожевого поста?

Эрик. Да, я пришел прямо сказать вам, г. инженер, что не желаю быть на страже в эту ночь. Я думаю, как и товарищи, что весь этот аккумулятор послужит на гибель рабочим, и не хочу иметь с ним никакого дела.

Карл. Я приказал вам стоять на страже до 2 часов, когда вас сменит другой. Я не намерен рассуждать с вами о том, что вы думаете и что не думаете. Идите и исполняйте свою обязанность немедленно же, если не желаете получить завтра расчет.

Эрик. Так я спрошу госпожу, которая всегда желала народу добра...

Карл. Не госпожа отдает здесь распоряжения, а я. Ступайте!

Эрик. Если я останусь на страже, товарищи прогонят меня.

Карл. А, вот как! Ну, против насилия мы сумеем защититься. Пусть только попробуют бунтовать, я сейчас велю вызвать полицию. А пока стойте на своем посту, пока вас не сменят. Или я сам пойду сторожить, а вы будете завтра утром рассчитаны и выгнаны из своей квартиры.

Эрик. Выгнан! Из моей квартиры, где я родился, где мой отец жил до меня...

Карл. Это не причина для того, чтобы поступать дерзко и забывать о своих обязанностях.

Эрик. А девочка моя, которую нельзя шевелить из-за больной ноги... а жена моя, подруга детства барышни Алисы. Не может ли баронесса замолвить за меня доброе словечко?

Карл (*прерывает Алису, которая хочет говорить*). Баронессы не существует больше, как вы знаете, а фру Торель никогда не замолвит доброго слова за того, кто оказывает такое неповиновение ее мужу — в этом вы можете быть уверены. Ну, намерены вы исполнять свою обязанность или нет?

Эрик. Барон вернулся домой и теперь, по-видимому, инженеру не долго остается командовать здесь.

Карл. Ну, так убирайтесь вон! (*Надевает пальто.*) Алиса, присмотри, пожалуйста, за тем, чтобы все было как следует заперто и огни потушены. Я сам буду сторожить всю ночь.

Алиса. Эрик, подумай об Анне и о твоем больном ребенке. И не надейся на барона. Инженер теперь управляет заводом, а барон пока не имеет права вмешиваться.

Эрик. Говорят, что барон выиграл процесс.

Алиса. Судебное решение еще не вынесено.

Эрик. Не вынесено... А товарищи думают... что если он приехал теперь сюда...

Алиса. Скажите им, что это ошибка.

Эрик. А что же мне делать, если они не успокоятся...

Карл. Если вы хотите выполнить свой долг, то подайте мне немедленно сигнал электрическим светом... Вы знаете, как его зажечь... Я буду здесь всю ночь и сейчас же приду, как только увижу свет.

Эрик. Ну хорошо... Так я пойду!

Карл. Но помните, что вы мне будете отвечать, если что-нибудь случится. Вот ключ от сарая над аккумулятором. Там внутри есть винт, вы только поверните его и свет тотчас зажжется. И если вы меня сейчас же не позовете, как только будет какая-нибудь опасность для аккумулятора, то ничто — никакой барон в мире, слышите — не спасет вас от того, что вы завтра же утром будете выброшены из вашей квартиры.

(Эрик уходит.)

Алиса. Тебе не следовало говорить с ним таким резким повелительным тоном. Право, не удивительно, что это их раздражает.

Карл. А тебе хотелось бы, чтобы они разрушили аппарат как раз теперь, когда я после такого тяжелого труда закончил его.

Алиса. Они не выступили бы так угрожающе, если бы ты не оттолкнул их от себя своею слишком большой суровостью.

Карл. Да, нечего сказать, я имел все основания дружески относиться к ним после того, как они обращались со мною все это время. Ты не защищала их тогда, когда они осыпали меня оскорблениями, напротив того, ты последовала побуждению своего сердца, пришла и сказала мне: я верю тебе. А теперь, по-видимому, ты не так уж веришь...

Алиса. О, Карл! Я же знаю, что ты им в сущности желаешь добра. У тебя только такая резкая манера...

Карл. Я им вовсе не желаю добра. Я желаю только, чтобы меня оставили в покое.

Эрнст (*вбегает*). Я думаю, что тебе следует выйти, Карл. Они не хотят расходиться... Приезд барона Яльмара подзадорил их. Они думают, что он поддержит их, если они сделают тебе какое-нибудь зло.

Карл. Так ты думаешь, что они в состоянии произвести какое-нибудь насилие?

Эрнст. Да... я этого боюсь.

Фру Торель. Боже мой! Что ты говоришь?

Марта (*цепляется за руки Эрнста*). Что нам делать?

Карл (*Эрнсту*). Пойдем, спустимся вниз!

Алиса. Ты пойдешь, Карл?

Эрнст. О, Алиса, не будь малодушной.

Алиса (*Эрнсту*). Мне кажется, Эрнст, ты лучше бы сделал, если бы сам попробовал сначала переговорить с ними. Рабочие так раздражены, что присутствие Карла только ухудшит положение дел. Но только ты должен говорить с ними более дружелюбно.

Эрнст. Дружелюбно... С этими мерзавцами, с этими неблагодарными негодяями...

Карл. Вот Алиса так питает к ним только дружеские чувства.

Алиса. Я хочу только одного — избежать всяких столкновений. Иди, милый Эрнст, попробуй успокоить их. Было бы так ужасно, если дело дойдет до насилия. Попроси их от моего имени, они ведь преданы мне.

Марта. Но Эрнст не должен уходить от меня.

Эрнст. Да, лучше всего будет, если я сначала отведу домой всех женщин.

Фру Торель. И мы будем сидеть там наверху одни! Что если они прийдут и нападут на наш дом! Не лучше ли нам остаться всем здесь.

Карл (*с раздражением*). Тогда прощай вся работа на сегодняшний вечер.

Фру Торель. Ах да, правда, тебе нельзя мешать.

Эрнст. Идите лучше со мною. Я попрошу одного из конторщиков посидеть с вами.

Марта. Но я боюсь уходить. Разве я не могу остаться здесь? Я буду молчать, как мышка.

Карл. Оставайтесь пли уходите, как вам угодно, только сделайте милость, перейдите в контору и дайте мне, наконец, работать.

(Он садится за работу.)

Марта (*шепчет Эрнсту*). Я останусь в конторе. Только возвращайся скорее.

(Фру Торель и Паула уходят с Эрнстом через контору. Алиса зажигает лампу и провожает в контору Марту, оставляя ее там; затем возвращается к Карлу, который не подымает глаз, хотя она стоит возле него.)

Алиса. Может быть я могу тебе в чем-нибудь помочь.

Карл. Нет, спасибо! Я думаю, собственно, что и тебе следовало бы идти домой. Ты мало спала все эти ночи, а тебе теперь нельзя переутомляться.

Алиса. И я также тебе мешаю?

Карл. Нет, не то... Но (*смотрит на свою работу*) может быть тебе хочется повидаться с Яльмаром?

Алиса. Что это значит, Карл? Ты оскорбляешь меня!

(Наклоняется над ним.)

Карл (*отстраняет ее*). Да, я знаю, что я оскорбил тебя... Я ничего не могу с собою поделать, я так раздражителен теперь... Я нахожусь в таком нервном состоянии... Я так переутомлен. Но согласись, что очень горько стоять у цели после таких тяжких, долгих трудов и сознавать, что в решительную минуту отступает от тебя та, которая именно больше всего...

(Голос его прерывается от волнения.)

Алиса. Нет, право, Карл, как ты можешь говорить такие вещи...

Карл. У тебя нет больше никакого интереса к моей работе... Ты думаешь только о жалобах рабочих и в глубине души стоишь на их стороне против меня.

Алиса (*обнимает обеими руками его шею*). Дорогой мой, любимый! Чего бы я ни дала, чтобы быть всецело на твоей стороне. Но ты так сильно предаешься своим научным интересам, что забываешь цель...

Карл. У меня в настоящую минуту одна только цель: заставить эту машину работать как следует. Я не могу теперь думать ни о чем другом (*прикладывает ее руку к своему лбу*). Посмотри, с меня пот льется градом, у меня стучит и как бы клокочет в мозгу! Завтра машина должна быть пущена в ход, хоть умри я после этого на месте!

Алиса (*бежит к Марте*). Иди, Марта, пойдем домой. Карла нужно оставить в покое.

Марта (*входит*). Я и ты одни! Ты с ума сошла!

Алиса (*вспыльчиво*). Тише! Молчи! Иди скорее.

(Набрасывает на себя пальто, помогает Марте надеть пальто, берет в руки обе пары бот и выталкивает Марту в дверь перед собою.)

АКТ ЧЕТВЕРТЫЙ

Та же сцена, что и во втором действии, только вечером. Темно. Слышен глухой шум водопада. Большое колесо, которое приводилось прежде в движение водопадом, соединено с аккумулятором, помещенным в сарае. Сцена освещается только огнем из доменной печи и светом из окна лаборатории Карла, расположенной справа. Мокрый снег, ветер. Рабочие собрались возле водопада; они неясно видны, слышно только, как они о чем-то тихо шепчутся.

(Алиса и Марта входят справа об руку, крепко прижавшись друг к другу. Они идут медленно, часто скользят, чуть не падают; платки надвинуты у них на самые лица. Алиса освещает впереди себя дорогу фонарем. Они вздрагивают и вскрикивают слегка, останавливаются и осматриваются в темноте.)

Марта. Т-сс!

Алиса (*шепотом*). Что там?

Марта (*также шепотом*). Ты не слышишь, голоса?

(Останавливаются и прислушиваются.)

Алиса (*как и прежде*). Мне думается, что это только шум водопада. Ты еще не привыкла к нему.

Марта. Нет, я слышала голоса — грубые, противные голоса!

Алиса. Ты думаешь, что это... Может быть нам лучше вернуться?

Марта. Да, вернемся. Пусть Карл проводит нас. Пусть он не думает только об одном себе. Он должен был проводить нас. Слышишь, пойдем! (*Тянет ее за руку и хочет повернуть назад.*)

Алиса. Т-с! (*Осматривается с испугом и шепчет.*) А ты не слышала шагов за нами?

Марта (*глухо вскрикивает и хватается за Алису*). Затуши фонарь, чтобы нас не увидали.

Алиса. Тогда мы не найдем дорогу домой. (*Подымает фонарь; свет падает на Анну, которая идет за ними.*) Кто там?

Анна (*подходит*). Господи боже мой!.. А я и не видела! Как я испугалась! Баронесса! Как, на дворе в такую погоду!

Алиса (*почти разом*). Анна! Что ты здесь делаешь вечером в такой темноте!

Анна. Я прибежала взглянуть на своего мужа. Вы верно знаете, баронесса, или я хотела сказать, сударыня, что инженер поставил его сторожить амулятор или как она там называется, эта злосчастная новая машина. А теперь дело обстоит так, что некоторые из худших рабочих пригрозили что-то с ним сделать, если он не бросит сторожить. И на меня напал такой страх, что я бросилась опрометью бежать сюда, хотя трудно было отойти от девочки, которая теперь очень плоха. Позвольте, сударыня, я вас поддержу, здесь так скользко.

(Они осторожно подвигаются вперед, поддерживая все трое друг друга.)

Алиса. Ты думаешь, что у них что-нибудь дурное на уме?

Анна. Да господь их знает. Многие и из лучших рабочих начали пить только потому, что будущее так неопределенно этот последний год.

Марта. Они еще и пьяны? Господи, Алиса, что нам делать? Как не стыдно было Карлу отпустить нас одних.

Алиса. И вы, конечно, всю вину за это сваливаете на инженера?

Анна. Да, конечно, простой рабочий никогда не поймет, как могут случиться такие вещи. Много есть между ними дурных людей, но никому из них не придет в голову жениться на чужой жене. И мы уверены, что на таком браке не может быть божьего благословения.

Алиса. Анна, ты, кажется, прежде любила меня?

Анна. Как вы можете меня об этом спрашивать, сударыня? И разве я вас и теперь не люблю так же сильно, как и прежде. Но так трудно понять, как могло случиться такое с нашею милою барышнею Алисою, которую все мы так любили. Я помню, как все обожали вас и старые и

молодые. И все были уверены, что как только Герргамра перейдет к молодой госпоже — она сделает для народа так много хорошего.

Алиса. Да, но теперь у меня не было средств, чтобы делать что-нибудь, дорогая Анна.

Анна. О да, понятно... Но что вы согласитесь на то, чтобы уволить ряд старых рабочих... Этого никто никогда и подумать не мог.

Алиса. Я этого и не хочу.

Марта (*кричит*). Боже, Алиса, они нас окружают! Их целая масса!

(Прижимается к ней; толпа рабочих окружает их.)

Алиса (*хватает Анну за руку и старается говорить спокойным тоном.*) Что это значит? Я не хочу говорить с ними. Не теперь! Вернемся назад! Проведи меня в лабораторию!

Анна. Это же мой муж.

(Эрик решительно подходит к Алисе. Марта испускает крик, вырывает фонарь из рук Алисы и бежит назад в лабораторию, продолжая от времени до времени вскрикивать.)

Эрик (*смотрит с презрением ей вслед и затем говорит Алисе*). Вы хорошо сделали, что пришли. Вот ключ к аккумулятору. Защищайте его теперь сами, сударыня, как хотите — я больше не могу.

Анна. Разве они собираются тебя бить?

Алиса. Где Эрнст?

Эрик. Он отправился в город. Он наверно хотел призвать полицию и приказал мне пойти в сарай и подать сигнал инженеру, но товарищи не позволяют. Попробуйте, сударыня, может быть вам удастся.

Алиса (*берет у него ключ*). Конечно.

(Идет храбро к сараю.)

Голоса. Нет, этого не будет! Дайте сюда ключ!

(Андерс Гульт подходит к ней и хочет отнять у нее ключ.)

Алиса. И вам не стыдно. Как могут честные рабочие поступать как преступники и прибегать к насилию.

Свен Карлссон. Отдайте ключ или мы разнесем на куски всю лачугу!

Старик. Вы сами, сударыня, виноваты во всем. Зачем вы убежали от своего законного мужа и навлекли божье наказание на себя и на нас.

Другой. Что если бы ее отец жил и видел все то горе, которое она навлекла на нас — отец ее, который был всегда таким добрым хозяином.

Алиса. Не упоминайте имени моего отца, когда вы выступаете с угрозами и насилием. Вы никогда не осмелились бы поступить так со мною, если бы он был жив. И если вы еще сохранили хоть каплю привязанности к его памяти...

Голос. Да... да благословит бог покойного барона. Повиноваться ему было истинное удовольствие.

Алиса. Да, не правда ли, вы любили его... и также и меня. Вы не захотите мне сделать зла.

(Молчание.)

Алиса. Вы видите мой страх — не пугайте меня — разойдитесь спокойно по домам. Ради меня!

Андерс Гульт (*вполголоса*). Если бы нас просила наша баронесса, тогда другое дело... но Торельша...

Алиса. И брань вдобавок! Неужели между вами нет ни одного, кто знает меня с детства, кто сохранил хоть тень привязанности ко мне. (*Молчание.*) Неужели нет ни одного, ни одного из тех, кто помнит еще маленькую Алису, как она бегала по мастерским, встречая повсюду ласковые улыбки... Неужели никто не хочет выступить в мою защиту? *(Молчание.)*

Старик. Да, вы были славною маленькою девочкой — против этого никто ничего не скажет.

Алиса. Петер Стрём, да, ты и твоя жена, вы всегда любили меня, это я знаю. Скажи же своим товарищам...

Старик. Да, я любил вас прежде, когда вы были еще невинны... Но теперь, когда вы так сильно прегрешили и забыли божьи и человеческие законы...

Алиса. Значит никто, никто... все отступили от меня...

(Яльмар внезапно появляется среди них с фонарем в руке.)

Всеобщие возгласы. Барон!

(Алиса отступает в темноту, так что он не видит ее.)

Яльмар. Что здесь происходит? Неужели это мои старые честные рабочие бунтуют и устраивают скандал! Неужели вы так сильно изменились за год моего отсутствия?

Свен Карлссон. Все изменилось в Герргамре с тех пор, как барон уехал.

Другой голос. Но теперь говорят, что вы, барон, скоро вернетесь к нам.

Яльмар. Это еще очень сомнительно. Не надейтесь на это и не восставайте против инженера Тореля. Я не сомневаюсь, что он сумеет жестоко наказать вас, если будет здесь хозяином.

Голос. Разве возможно, что в конце концов он будет здесь хозяином?

Яльмар. Очень возможно.

Свен Карлссон. Но мы не желаем иметь его хозяином.

Яльмар. Неужели он здесь так нелюбим?

Голоса. Все его терпеть не могут.

Яльмар. Это меня, впрочем, не удивляет. Он всегда был таким резким и суровым.

(Алиса подходит к Яльмару.)

Яльмар. Алиса! Ты здесь!

Алиса. Я здесь, чтобы защищать права своего мужа против этих бунтовщиков. А ты еще больше подстрекаешь их.

Яльмар. Я этого никогда не ожидал, Алиса... Увидеть тебя в таком положении... в враждебных отношениях к твоим старым герргамрским рабочим.

Алиса. Защити меня против их насилий, Яльмар! Воспользуйся своим старым авторитетом и скажи им, чтобы они не мешали мне войти в этот сарай и зажечь... Дело идет о самом драгоценном сокровище моего мужа — в нем его будущее, всё...

Яльмар. Тебя лично я всегда готов защищать против всяких насилий... Но твой муж пусть сам защищает свое положение и свои капиталы. Идем, я тебя уведу отсюда, возмутительно видеть тебя здесь одну. Как мог твой муж допустить это...

Алиса. Раз вы не хотите позволить мне известить его... (*бежит к сараю и вкладывает ключ в замок; ей мешают открыть; она становится спиною к двери*). Так я отсюда не двинусь, пока вы все не разойдетесь, хотя бы мне пришлось простоять здесь целую ночь...

Яльмар. Прекрасный энтузиазм. Тебе очень идет играть роль представительницы промышленника в его недостойной борьбе против рабочих.

Алиса (*делает один шаг от двери*). Мой муж не промышленник, а научный работник.

Яльмар. Но первое употребление, которое он делает из своего научного изобретения — это лишение куска хлеба пятидесяти рабочих.

Алиса (*еще дальше отходит от двери*). Это не его вина, это вина обстоятельств.

Яльмар. А ты думаешь, что какие бы то ни было обстоятельства могли бы заставить твоего отца решиться на такой шаг?

Алиса. И мне это больно.

Яльмар. Но он, друг рабочих, он готов на это. Последуй моему совету, Алиса, и не принимай по крайней мере личного участия в этой борьбе. Не изменяй традициям, в которых выросла. Пойдем со мной отсюда.

(Берет ее за руку, она дает себя увести на несколько шагов, этим пользуются Андерс Гульт и Свен Карлссон и бросаются в сарай.)

(Карл прибегает без шляпы в сопровождении Марты, которая держит его за сюртук; он кидается к сараю, выталкивает обоих рабочих и зажигает свет. Вся сцена внезапно ярко освещается.)

Карл. Какими это темными делами занимаетесь вы здесь? Я хоть освещу ваши мерзкие лица, чтобы знать! (*Быстро подходит к Эрику.*) Ты не послушался моего приказа и не подал сигнала!

Эрик (*указывая на Алису, которая все еще стоит, точно ошеломленная, под руку с Яльмаром*). Я отдал ключ баронессе.

Карл (*который только теперь замечает Алису и Яльмара*). Алиса! Ты!

Алиса (*бросается к нему*). Карл! Поговори с ними, скажи им, что они не будут рассчитаны, что ты сделал это изобретение не ради самого себя, а что оно принесет пользу и им.

Карл. Когда вопрос идет о деле всей моей жизни, ты становишься на сторону моих врагов вместо того, чтобы защищать меня — значит я один! От меня отвернулись, мне изменили! Ну, хорошо, пусть. Я во всяком случае сумею защитить себя. (*Бросается к сараю при виде Андерса Гульта и Свена Карлссона, проскользнувших в него.*) Вон оттуда, негодяи, или я застрелю вас, как собак. (*Вынимает из кармана револьвер и направляет его на открытую дверь сарая; оба рабочих выбегают из него, остальные в испуге отступают.*) Какою бы то ни было ценою, но я буду защищать свою машину... Будьте уверены в этом... Она стоит дороже вас, мерзавцев.

Андерс Гульт. Вот истинный друг народа! Ну, стреляй, злодей, тебе же будет хуже. А вот и Эрнст с полицией.

(Эрнст является на сцену с полицией, толпа быстро рассеивается.)

АКТ ПЯТЫЙ

Те же декорации, что и в первом акте; раннее утро при восходе солнца. Рабочие вновь собрались у большого колеса. Карл в сарае при открытой двери занят пуском аппарата в ход; Эрнст и Эрик помогают ему.

Стенсон (*входит*). Все уже в полном сборе. Раненько же вы поднялись, друзья мои. А между тем вы так поздно разошлись по домам.

Мастер. Да, если все так мало спали сегодня ночью, как я, то... А вы, г. директор, здесь ночевали?

Стенсон. Да, я переночевал в гостинице. Тут так интересно, что нельзя было уехать. (*Указывает на Карла и Эрнста.*) Они всю ночь проработали?

Мастер. Да, что-то там расстроилось.

Стенсон (*смеется*). Так я и думал, в последнюю минуту всегда что-нибудь расстраивается.

Мастер. Тут двое рабочих что-то попортили, Андерс Гульт и Свен Карлссон. Они сидят теперь в тюрьме — полиция схватила их ночью.

Стенсон. Та-а-к. Неужели дошло до таких насилий?

Мастер. Да, жалко было смотреть на инженера, он разрыдался, как ребенок, при виде порчи... Точно кто ему руку отрезал.

Стенсон. А что сказала его жена?

Мастер. Да я думаю, что вся эта история совершенно сразила ее. Она, говорят, так заболела ночью, что никто не смел и пикнуть ей про порчу машины. Был доктор, боялись, чтобы у нее не начались преждевременные роды. Инженер как сумасшедший метался между нею и машиною, он наверное и сам толком не знает, кто из них ему дороже.

1-й рабочий. Да, а раз он выбежал из дому — нас стояло возле дома несколько человек — и как закричит на нас: это вы убили ее, мерзавцы!

2-й рабочий. Да, да, нам еще придется хорошенько поплатиться за это, если ему удастся дело с машиною...

Старик. Но разве возможно, чтобы крошечная штучка там в сарае могла заставить двигаться это большое колесо? Вы верите в это, г. директор?

Стенсон. Нет, правду сказать, милый мой Петер Стрём. Я думаю так же, как и ты, что все это — безумие и больше ничего. Всегда будет не доставать какого-нибудь крючочка или винтика, от которого все зависело, как будут уверять потом.

Несколько голосов (*кричат*). Трогается! Трогается!

1-й рабочий. Вранье! Она стоит так же, как и прежде.

2-й рабочий. Да, если он теперь провалится, так это как следует пособьет ему спесь, так как у него нет больше ни копейки денег для продолжения опытов и ни одного человека, который верил бы ему. Даже жена его...

1-й рабочий. Тогда ему лучше всего будет убраться в Америку.

Мастер. Ему удастся, будьте уверены! Никогда еще я не видел такого огня в человеческих глазах, как у него в эту ночь. Точно раскаленная доменная печь. Я уверен, что хотя бы ему пришлось призвать на помощь самого дьявола — он пустит его в ход...

3-й рабочий. Тогда всех нас, бунтовавших вчера, прогонят вон. И мне придется убраться с женою и шестью детьми.

2-й рабочий. А я... с женою, которая двенадцать лет не встает с постели. И куда пойти — теперь, когда везде так трудно найти работу.

1-й рабочий (*сжимает кулак*). И находятся же люди, которые еще выдумывают эти дьявольские машины.

Старик. Это так несправедливо, что господь не может допустить этого. Я вам скажу кое-что... Мне снилось сегодня ночью, что машина разорвалась на части, как только колесо начало двигаться. Это знак от господа бога, что он услышал мои молитвы.

3-й рабочий. Хорошо бы быть таким счастливцем, как старый Петер. Начетчики во всем умеют найти утешение.

2-й рабочий. Моя больная жена тоже вечно проповедует о божьем милосердии. А голодать-то нам все-таки придется, если нас теперь прогонят.

Карл (*выходит из сарая без шляпы, с изнеможденным лицом, бледный, взволнованный и кричит двум мальчикам, играющим возле колеса*). Прочь от колеса! Оно сейчас двинется! (*Мальчики отбегают. Движение среди народа. Все с напряженным вниманием следят за колесом. Карл опять вбегает в сарай.*)

1-й рабочий. Стоит себе смирненько, как и прежде. (*Смех.*)

3-й рабочий. Я уверен, что ему придется, таки вернуться к прежним способам работы.

Стенсон. И я думаю так же, голубчик мой.

(В эту минуту колесо начинает двигаться, сначала медленно, потом все быстрее и быстрее и, наконец, полным ходом. Несколько мальчиков кричат: «Ура!» и подбрасывают шапки. Сильное движение в толпе. Карл, Эрнст и Эрик выходят из сарая. Карл вытирает пот с лица и опускается в изнеможении на поленницу дров.)

Эрнст (*взбегает на доски, махает шапкой и кричит*). Четырехкратное ура, за аккумулятор, ребята!

(Кричат ура вразнобой, недружно. В течение всей последующей сцены сбегаются со всех сторон, одни за другими, женщины, дети, работники и др.)

Стенсон (*подходит к Карлу и жмет ему руку*). Не говорил ли это всегда... Ты — гений, дорогой мой! Я всегда был уверен, что из тебя выйдет выдающийся человек. Ты — в отца, этого чудесного старика Тореля. Вот если бы он дожил до этого!

(Вбегают Марта и Паула.)

Эрнст (*берет Марту за руку*). Вот хорошо, что ты пришла. Ну, теперь мы сразу же приступим. (*Подходит с ней к Стенсону.*) Дядюшка Стенсон!

Стенсон. В чем дело?

Эрнст. Видите ли, и я принимал участие в этом. Я все время помогал Карлу.

Стенсон. Ну и что же? (*Указывает на Марту.*) А причем здесь она?

Эрнст. Да, и она также. Потому что я был все время влюблен в нее, а когда любишь, делаешься энергичнее, а при энергии хорошо работаешь.

Стенсон. Вот как... А ты позволила себе влюбиться без моего ведома.

Марта. Нет, дорогой папа, это не я, это Эрнст...

Стенсон (*со смехом*). А-а, это только Эрнст, а не ты. Ну, тогда нечего об этом и говорить. Не буду же принуждать тебя выходить замуж за человека, которого ты не любишь.

Марта. Ну, папа! Как тебе не стыдно!

(Хлопает его шутя.)

Стенсон. И какие же они хитрые, эти девчонки! Да, дорогой Эрнст, и ты, конечно, получишь свою долю в барышах, раз ты так много помогал...

Карл. Конечно! У нас все общее.

Стенсон. Вот и отлично. Ну так бери его, дочка, ты могла бы сделать и худшую партию, чем выйти...

Эрнст. ...За брата великого изобретателя...

Марта. ...И его помощника — не забывай этого, потому что это самое важное. Если бы ты был только его братом...

Эрнст. То ты бы меня не захотела... Слышали? Как это вам понравится!

(Целует ее.)

Карл (*бежит навстречу фру Торель, которая быстро входит с левой стороны*). Ну, как с ней? Ну как?

Фру Торель. Так оно двигается, в самом деле двигается? Алиса уверяла, что она видит из окна, как колесо вертится, но я не хотела верить... Боже милосердный, оно вертится...

(С плачем бросается Карлу на шею.)

Карл. Что она говорит? Она проснулась? Как ее здоровье? Что она говорит?

Фру Торель. Она расплакалась... Она взволновалась, понятно, так же, как и я...

Карл. Она еще не одета? Попросите ее сойти посмотреть.

Фру Торель. Я думаю, что она не захочет. Она такая заплаканная... И говорит все о том, чтобы скорее уезжать из Герргамры.

Карл. Уезжать отсюда... Вот как! Так она об этом говорит...

Фру Торель. Да, она так страшно огорчена тем, что здешний народ озлобился против нее. Она ни за что не может оставаться здесь, говорит она. Дорогой Карл, что же будет теперь? Как жаль, что так получилось именно теперь, когда ты кончил и все могло бы пойти так хорошо!

Карл. Попроси ее прийти, чтобы я мог переговорить с нею.

Фру Торель. Зачем же ты сам не идешь к ней?

Карл. Я не могу — мне нужно, чтобы нас слышали и другие.

Фру Торель. Вот как... Ну хорошо, так я ей скажу... (*Уходит.*)

(Яльмар показывается вдали, со стороны замка.)

Голоса (*среди рабочих*). Смотрите, вон барон.

Марта (*щиплет за руку Паулу*). Ты виделась с ним?

Паула. Нет. (*Идет поспешно ему навстречу.*) Как мне приятно, что я могу проститься с вами.

Яльмар (*берет ее за руки и отводит в сторону*). Ты хочешь уехать, Паула! Это не может быть серьезно с твоей стороны. Я поспешил сюда, чтобы помешать твоему отъезду.

Паула. Мне ничего другого не остается делать. (*Отнимает свои руки.*) Я вернусь через год, когда вы женитесь на какой-нибудь знатной девушке.

Яльмар. Ты знаешь отлично, что я никогда... Я вовсе не затем желаю получить обратно Герргамру, что надеюсь этим путем добиться личного счастья. Я действую в этом случае исключительно из чувства самосохранения... Да, ты права, презирая меня за это. Я сам себя презираю, но жить уроками музыки или странствующим виртуозом — разве ты не понимаешь, что я этого не могу.

Паула. Да, поэтому-то я и уезжаю.

Яльмар. Но я не хочу, чтобы ты уезжала. Если ты не можешь

сделаться моею женою... Ну что ж... Ты все равно не смогла бы примириться с тем, чтобы жить здесь в Герргамре и быть хозяйкой дома и принимать соседей... Ведь ты свободная художница, и ты любишь меня. Что же стоит между нами?

Паула (*отступает от него*). Нет, нет, Яльмар, это было бы унижением!

Яльмар. Унижением! Но, господи боже... Что же, по-твоему, честь женщины заключается в обручальном кольце и титуле «фру»!

Паула. Нет, не в этом дело. Я нахожу унизительным, что ты ничем не хочешь жертвовать для меня. Ты хочешь иметь все блага жизни и меня в придачу. Но я ценю себя выше этого.

(Убегает от него в волнении и подходит к матери, которая появляется на сцене вместе с Алисою. Яльмар ходит взад и вперед, испытывая сильную внутреннюю борьбу. Некоторые из рабочих идут навстречу Алисе.)

3-й рабочий. Я просил бы вас, сударыня, замолвить за меня словечко перед г-ном инженером. Если меня рассчитают, жене моей и детям придется жить на иждивении прихода, пока я не приищу себе работы. Потому что все мои сбережения пошли прахом во время моей болезни, как вам известно.

2-й рабочий. А мою бедную больную жену нельзя же выбрасывать из постели.

Карл (*гневно, обращаясь к ним*). Я запрещаю вам мучить мою жену своими историями. Она была больна, и ее нельзя беспокоить. Кто осмелится подойти к ней...

Алиса (*смотрит с умоляющим видом на Карла; он умолкает, обращаясь к рабочим*). Я не думаю, чтобы мы дольше оставались в Герргамре, каков бы ни был исход процесса. Я могу только пожелать вам доброго хозяина, кто бы он ни был.

Карл. Ты хочешь расстаться со своим старым домом?

Алиса (*в сильном возбуждении*). Мой старый дом уже не мой дом, если мне приходится жить среди своих же рабочих в качестве их врага. Ходить здесь и видеть все эти опустелые дома и думать, что жители, которых я знала с детства, бродят теперь, может быть, по дорогам и просят милостыню — нет, этого я не могу вынести.

Карл (*подзывает фру Торель, Яльмара, Эрнста, Марту и Паулу*). Я хочу сказать Алисе несколько слов, которые и вы должны слышать. (*Взволнованным голосом.*) Этот день должен был быть в сущности лучшим днем моей жизни, а между тем вышло иначе: для Алисы большое горе, в котором она никак не может утешиться, что ее прежние хорошие отношения с народом испортились... И мне невыносима мысль, что виною этого горя я. Поэтому я принял следующее решение. Если процесс решится в том смысле, что Герргамра должна быть продана, то я употреблю все свои доходы с аккумулятора на покупку Герргамры на имя Алисы, и ей тогда предоставится полная свобода осуществить свои из-

любленные мечты — подарить завод рабочей ассоциации и жить здесь как равная им...

Алиса. Карл! А ты?

Карл (*улыбаясь*). О, я ставлю одно только условие: ты предоставишь в мое распоряжение столько денег, чтобы я смог продолжать мои научные опыты.

Алиса. Я тут ничего не понимаю... Каким образом тебе пришла в голову такая мысль?

Карл. Каким образом мне пришла в голову такая мысль... После такой ночи! После той ужасной минуты, когда я тебя увидел здесь, на этом месте, когда ты стояла под руку с Яльмаром и смотрела...

Алиса. Да, это была ужасная минута. Стоять здесь одной, видеть ненависть, написанную на всех этих знакомых лицах — и чувствовать, что моя вера в тебя колеблется.

Карл. И что она имеет причину колебаться, потому что ты была права: я преследовал только собственные интересы. Я сам это ясно понял в ту минуту, когда стоял здесь с оружием в руке против тех, кто боролся за свой насущный хлеб.

Алиса. Да, мне казалось, что твой револьвер направлен против всего, что я любила в жизни...

Карл. Забудем это, дорогая моя! Я не могу переделать себя, но потому-то я и отдаю все в твои руки...

Алиса. Но не так, чтобы я осталась одна. Не так, чтобы каждый из нас работал порознь. Я всегда только и мечтала, чтобы работать совместно с тобою.

Карл. Мы и будем работать вместе, раз ты будешь знать, что все мои изобретения пойдут на пользу твоей новой ассоциации. (*Тихо.*) И мы сохраним свой мезонин!

Алиса. Да, и рабочие мало-помалу научатся понимать и любить тебя... Они увидят, какие у тебя широкие и благородные мысли.

Карл (*улыбаясь*). Да, это неплохо, если действия человека лучше, чем он сам. (*Шепотом.*) И мы ведь можем надеяться, что наш малютка родится с лучшими инстинктами.

Марта (*Эрнсту*). Я не понимаю... Неужели Карл в самом деле думает все это устроить... и дворец рабочих, и т. п.

Эрнст. Ну да, конечно.

Марта. Так и мы сделаем то же в Лидо, папа.

Стенсон (*стоит в стороне и что-то высчитывает на бумаге*). Что? Я только что сделал расчет: нам можно будет уменьшить рабочий персонал по крайней мере на 60 человек.

Марта. Нет, что ты говоришь, папа! Мы и в Лидо построим дворец для рабочих. Да, папа, мы непременно это сделаем! Иначе я и Эрнст — мы уедем от тебя. Не правда ли, Эрнст?

Стенсон. Да, сумасшествие заразительно, в том-то и беда. Но, к счастью, заражаются не все. И если барон Яльмар выиграет...

Яльмар. Мало надежд на это — и я предпочитаю добровольно от-

ступить. (*Паула вскрикивает.*) Так трудно вести процесс и, кроме того (*целует руку Алисы*), Герргамра твоя. Когда много претендентов является на один престол, побеждает тот, у кого царственные мысли. У меня нет таких мыслей, но я умею уважать их в других. (*Карлу.*) В этом отношении мы похожи и можем, кажется, подать друг другу руки. *(Жмут руки друг другу, затем Яльмар отводит Паулу в сторону и разговаривает с нею.)*

Алиса. Как все это странно! Мне просто не верится.

Карл. Осуществи сейчас же на деле нашу идею. Поговори с рабочими.

Алиса. Говорить с ними... Когда я не знаю, что сказать.

Карл. Как же тебе не знать, что сказать, когда ты должна только рассказать им то, чего желала и о чем мечтала все эти годы. Гостиная превратится в класс, библиотека в гостиную...

Алиса (*улыбаясь*). Не в гостиную, а в читальню. Нет, мне совестно это говорить. Это так удивительно, так невероятно. Это такое большое, такое полное счастье, что я сразу не могу и постигнуть его. Так вполне, так всецело принадлежать друг другу, разделять вместе все труды, стремиться к одной цели, осуществить все свои самые прекрасные мечты... Мечты для себя и для других. Нет, это не может быть правдою, у меня голова идет кругом.

(*Они обнимаются, и Карл что-то ей шепчет.*)

Паула (*выходит на авансцену под руку с Яльмаром*). Мы теперь вдвоем окончим симфонию о водопаде. Она у меня звучит в ушах, это будет гениальная вещь.

Яльмар. Да, только я заранее ставлю условие, что если нас станут вызывать, то я буду избавлен от необходимости выходить и раскланиваться со всеми этими идиотами.

(*Целует ее руку.)*

Марта (*бросается отцу на шею*). Да, папочка, милый, увидишь, какая это будет чудная жизнь! И я устрою школу рукоделий для девочек!

(Шум среди рабочих при виде возвращающихся арестованных Андерса Гульта и Свена Карлссона.)

Андерс Гульт (*некоторым из рабочих, которые окружают его*). Инженер послал распоряжение, чтобы нас освободили...

Свен Карлссон. И нам сказали, что мы сохраним свои места.

(Гул одобрения в толпе рабочих.)

Карл (*взбегает на возвышение и кричит*). Рабочие! Моя жена хочет вам что-то сообщить.

Алиса (*в замешательстве*). Нет, Карл, как же я смогу...

(Карл помогает ей подняться на возвышение и оставляет ее там.)

Алиса (*старается овладеть своим волнением, но не может выговорить слова. Глубокое молчание*). Друзья мои!

ПРИЛОЖЕНИЯ

АКАДЕМИК
М. В. НЕЧКИНА

СОФЬЯ КОВАЛЕВСКАЯ — ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И ЛИТЕРАТОР

1

Мы привыкли видеть в Софье Васильевне Ковалевской знаменитого математика, одну из первых ученых женщин своего кипучего времени. Но ведь она была еще и участником общественного движения своей эпохи. Она, сверх этого, еще и литератор, писательница, автор ряда литературных произведений. Облик этой замечательной женщины многогранен.

Общественная и литературная деятельность Софьи Васильевны Ковалевской является существенной стороной ее жизни. Характеристика Софьи Ковалевской, знаменитого русского математика, прославленной женщины-профессора была бы неполна без раскрытия этих сторон ее работы. То же перо, которое в ее руке запечатлело на бумаге сложные математические идеи, писало стихи и повести, романы и драмы, театральные рецензии и литературно-критические очерки.

Софья Ковалевская — автор романа «Нигилистка» и драмы «Борьба за счастье»; ей принадлежат превосходные «Воспоминания детства»; она написала работу о М. Е. Салтыкове-Щедрине, оставила воспоминание о писательнице Джордж Элиот, составила обширный очерк о шведском крестьянском университете. Она — автор романа «Приват-доцент» — это «эскиз из университетской жизни маленького немецкого городка» — так определяет его содержание друг С. Ковалевской — Анна-Шарлотта Леффлер. К переработке этого романа С. Ковалевская вернулась в конце жизни [1].

Многое, задуманное Софьей Ковалевской, осталось незаконченным: безвременная смерть оборвала работу над большой повестью «Vae victis» («Горе побежденным»), где она, по словам ее только что упомянутого друга, «намеревалась воспеть не победителей, а побежденных» [2]. Не удалось ей закончить и другое произведение — роман без авторского заглавия, действие которого происходит на Ривьере. Сохранившийся текст опубликован под заглавием ‹Отрывок из романа, происходящего на Ривьере›.

[1] *Анна-Шарлотта Леффлер, герцогиня ди Кайянелло.* Софья Ковалевская. Воспоминания, пер. со швед. М. Лучицкой. СПб., изд-во «Северный вестник», 1893, стр. 133—134, 255.

[2] Там же, стр. 277.

Ряд литературных работ Софьи Ковалевской не дошел до нас.

Поиски новых текстов в архивах привели к интересным результатам. Писательница Любовь Андреевна Воронцова установила, что рукопись в архиве Академии наук СССР, начинающаяся словами «5 фунтов винограду», является частью повести «Нигилист» [3]. Из писем и воспоминаний мы знаем, что С. Ковалевской была написана повесть о Н. Г. Чернышевском. В найденном отрывке он — действующее лицо. Рукопись, к сожалению, не дошла до нас в полном виде, она оборвана на полуслове, — ясно, что у повести было продолжение, но пока оно не в наших руках. Возможно предположить, что повесть о Чернышевском являлась как бы продолжением романа Софьи Ковалевской «Нигилистка».

Софья Ковалевская писала стихи, но из них дошли до нас немногие [4].

Из ее неопубликованного письма к А. О. Ковалевскому мы узнаём, что она написала философскую работу «На рубеже знания», но и этой работой мы, к сожалению, не располагаем [5].

Все эти работы Софьи Ковалевской не были случайным развлечением, минутной забавой. Нет, они тесно вплетены в ее жизнь, отражают ее раздумье над первостепенными идейными вопросами. Над разрешением тех же проблем напряженно работает общественная мысль ее сложного и богатого историческими событиями времени. Но этого мало, Софья Ковалевская сама проходит живым деятелем эпохи через историческую ткань событий своих дней; она сама — живой участник потока общественной жизни; она тесно связана с общественным движением своей родины, с ее революционной идеологией.

Ленинское учение о революционной ситуации многое поясняет в биографии и идейном развитии Софьи Васильевны Ковалевской. В годы ее жизни Россия дважды стояла накануне революционного взрыва, дважды была на подступах к революции. Не поняв этого, нельзя вникнуть и в идейную жизнь Софьи Васильевны. Ленин указал в своей работе «Крах II Интернационала» на наличие в России двух революционных ситуаций, так и не перешедших в революцию; первая из них сложилась в 1859—1861 гг., вторая — в 1879—1880 гг.[6] Обе революционные ситуации, как видим, относятся ко времени, когда жила С. В. Ковалевская. Это была эпоха, полная значительного революционного напряжения.

Софья Ковалевская начала свою сознательную жизнь и борьбу вскоре после того, как завершилась первая русская революционная ситуация 1859—1861 гг. Время ее отроческих лет и юности заполнено идеями

[3] Ряд отрывков «Нигилиста» был опубликован Л. А. Воронцовой в журнале «Огонек», 1953, № 29.

[4] Большинство стихов она написала по-русски, но иногда писала их и на иностранных языках. Так, ее друг А.-Ш. Леффлер вспоминает о стихотворениях, написанных С. Ковалевской по-шведски (*А.-Ш. Леффлер.* Указ. соч., стр. 226).

[5] Центральный государственный литературный архив (ЦГАДА), ф. № 1319 (В. М. Попова), ед. хр. 15, письмо С. Ковалевской к Александру Онуфриевичу Ковалевскому.

[6] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 26, стр. 218—219.

этого, только что отошедшего в прошлое, времени. Далее, ее личная биография тесно сплетена с событиями Парижской Коммуны, во время которой она была в Париже. Она прошла и через вторую русскую революционную ситуацию 1879—1880 гг., оставив свидетельство о своем горячем сочувствии революционной борьбе и идеям утопического социализма (повесть «Нигилистка» и драма «Борьба за счастье»). Поэтому жизненный путь знаменитого русского математика Софьи Васильевны Ковалевской имеет несомненный интерес и для историка русского общественного движения.

Рассмотрим кратко узловые моменты этой темы, в которой явственно отражена бурная и сложная жизнь того периода русского общественного движения, который Ленин характеризовал как «разночинский или буржуазно-демократический» [7].

2

Первый вопрос, который необходимо поставить при разрешении нашей задачи, это вопрос о формировании общественного мировоззрения Софьи Васильевны Ковалевской. Каким образом залетел ветер революционной эпохи в богатый помещичий дом в глуши витебских лесов, где росла и воспитывалась юная генеральская дочь, красота, богатство и дворянское происхождение которой, казалось, прочно обеспечивали движение по привычной колее: богатый и знатный жених, замужество, привольная помещичья жизнь то в имении, то в столичном доме, выезды и приемы, балы и театры, светский круг знакомств и суетное дворянское безделье. Таким, казалось, должен был быть путь генеральской дочки в середине XIX в. Однако этого не случилось. Новые идеи ворвались в размеренную помещичью жизнь, на новые события откликнулось юное сознание: история проложила новое русло, по которому и пошла биография Софьи Ковалевской.

Пытливый ум подростка видел и замечал многое вокруг себя и судил о многом не так, как принято было в дворянской среде. Старшая сестра Софьи Васильевны Анна Васильевна — будущая русская писательница и деятель Парижской Коммуны — сыграла огромную роль в духовном и общественном развитии своей сестры, которая была моложе ее на 7 лет. Если Софья Васильевна складывается как личность и развивает свое мировоззрение в годы, следующие за русской революционной ситуацией 1859—1861 гг., то сестра ее Анна Васильевна — живой пример того, как именно эта революционная ситуация будила умы и тревожила сердца даже тех, кто жил в дворянском имении, в глуши витебских лесов. Примеров того, как общественные вопросы, поднявшись от разночинных низов, врывались в сознание дворянской молодежи, было в то время множество; пример Анны Васильевны Корвин-Круковской — лишь один из них.

[7] *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч, т. 25, стр. 93; ср. *В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 23, стр. 397.

Вопрос о социальных антагонизмах крепостного времени, по-видимому, рано привлек внимание сестер. Позже, в повести «Нигилистка» С. В. Ковалевская описывала, какое огромное впечатление произвело на девочку-дворянку, героиню ее повести, падение крепостного права. Маленькая девочка тайком от няни пробирается в людскую в день объявления «воли» и вступает в разговор с дворней по поводу происшедших событий. Она узнает, как дедушка и отец тиранили крепостных.

« — Неправда! Неправда! Вас никто не тиранил. Папа с мамой добрые!

Эти слова криком вырываются у Веры...

— Не тиранили! Как же! А дедушка-то ваш покойный мало на своем веку людей изувечил? Зачем он Андрюшку-столяра не в очередь в солдаты сдал? Зачем он девку Аринью на скотный двор сослал? — раздаются с разных сторон несколько голосов разом.

Гармоника смолкла. Вся дворня собралась кучкой, и посыпались рассказы про «доброе» старое время, рассказы страшные, возмутительные, какие и во сне не грезились Вере» [8].

Страшный стыд охватывает Веру. Она долго не может заснуть в эту ночь, поток новых мыслей заливает ее сознание.

Как пишет Софья Ковалевская в своих «Воспоминаниях», куклы были в пренебрежении и у нее, и у сестры; постоянной их игрой была игра в «барыню и прислугу». Тетушка случайно проговорилась о том, что дядину жену много лет тому назад задушили собственные крепостные. Этот рассказ запал в память С. Ковалевской, потряс ее душу.

Новые идеи входили в дом и при посредстве любимого дяди Петра Васильевича Корвин-Круковского. Человек чрезвычайно образованный, для которого чтение было страстью, он приносил в семью и рассказы о новых открытиях и изобретениях, и свои сомнения в справедливости существующего строя. Вступая в страстные споры с консервативной англичанкой-гувернанткой, безуспешно старавшейся сделать из маленькой Софьи чопорную английскую мисс, дядюшка с жаром нападал на англичан — притеснителей Индии. Всех английских чиновников в Индии он приговорил к повешению: «Да, сударыня, всех, всех!», — кричал он и в пылу увлечения крепко ударял кулаком по столу [9].

Своей племяннице дядюшка не только рассказывал сказки и учил ее играть в шахматы. Он, «неожиданно увлекаясь своими мыслями, посвящал меня в тайны разных экономических и социальных проектов, которыми он мечтал облагодетельствовать человечество» [10].

Материализм все шире пробивал себе дорогу в обществе того времени. Разговоры, уяснявшие девочке ранее загадочные и отуманенные религией вопросы психологического порядка, то и дело вспыхивали в имении По-

[8] *Софья Ковалевская.* Нигилистка. Роман. Изд-во «Пролетарий», 1928, стр. 47.

[9] *С. В. Ковалевская.* Воспоминания детства и автобиографические очерки. М., 1945, стр. 43.

[10] «Автобиографический рассказ» С. Ковалевской, застенографированный в редакции «Русской старины». Там же, стр. 122.

либино за обеденным столом во время сбора всей семьи. «А читали ли вы, сестрица, что Поль Бер придумал? — скажет, бывало, дядя, обращаясь к моей матери. — Искусственных сиамских близнецов понаделал. Срастил нервы одного кролика с нервами другого. Вы одного бьете, а другому больно. А каково? Понимаете ли вы, чем это пахнет?» [11] Две статьи из французского журнала «Revue de deux Mondes» подняли бурю в Полибине. Одна была отчетом о работе Гельмгольца и посвящалась единству физических сил; другая говорила об опытах Клода Бернара над вырезыванием частей мозга у голубя. «Вероятно, и Гельмгольц и Клод Бернар очень удивились бы, если бы узнали, какое яблоко раздора закинули они в мирную русскую семью, проживавшую где-то в захолустье Витебской губернии», — пишет Софья Ковалевская в своих «Воспоминаниях детства» [12].

Сомнения сестры в существовании бога рано стали известны девочке. Разночинский период с его сокрушающей феодально-крепостные устои идеологией ворвался в Полибино и через сына приходского священника, отца Филиппа. Отказавшись стать священнослужителем, юноша уехал в Петербург учиться, стал студентом-естественником. Приезжая на каникулы, он подолгу гулял с старшей сестрой Софьи Ковалевской, Анной, беседуя с ней на запретные темы о том новом, что властно вторгалось в жизнь. В Полибине появился и «Колокол» Герцена, и «Современнпк» Чернышевского. А тут подоспело и польское восстание 1863 г. Вести о нем широким потоком хлынули в полибинское имение; ведь оно, собственно, было на самой границе событий. Аресты и репрессии коснулись многих знакомых и соседей. Позже Софья Ковалевская писала активной участнице польского революционного движения Марии Мендельсон, своему большому другу: «В детстве я не мечтала так горячо ни о чем, как только о том, чтобы принять участие в каком-нибудь польском восстании» [13].

В дни первой молодости С. В. Ковалевская слышала и рассказ о польском революционере С. М. Сераковском, друге Чернышевского, об участии его в восстании 1863 г.; этот рассказ потряс ее. «И это стало для меня любимой темой разговора — я могла без конца слушать этот рассказ, и всякий раз его герой вырастал в моих глазах в великана» [14].

Старшая сестра Анна открыла младшей свою тайну: она стала русской писательницей! Она написала рассказ и послала его в журнал «Эпоха»; он будет напечатан. Рассказ Анны Васильевны Круковской «Сон» как в основном сюжете своем, так и в деталях был полибинским всплеском той волны разночинской идеологии, которая поднималась в России. Он говорил о девушке-дворянке, полюбившей простого бедного студента и решившейся, наконец, после многих колебаний пойти к нему,

[11] Воспоминания..., цит. изд., стр. 43.
[12] Там же, стр. 44.
[13] *Мария Мендельсон.* Воспоминания о Софье Ковалевской. — «Современный мир», 1912, № 2, стр. 182.
[14] Там же, стр. 150.

встретиться с ним. Но поздно! Студент в своей бедной комнате умер от тифа несколько дней тому назад, повторяя в бреду ее имя и не дождавшись ее. Счастье было потеряно. Добролюбовские стихи о счастье, улыбнувшемся человеку над гробовой его доской, завершали рассказ. Стало быть, и стихи Добролюбова доходили в Полибино. Следующий рассказ Анны Круковской «Послушник» был изуродован духовной цензурой и напечатан в «Эпохе» в урезанном виде под названием «Михаил».

Софья Васильевна называла сестру своей «духовной мамой», и ее складывающееся мировоззрение жадно впитывало новые мысли о жизни, о новых — правильных! — взаимоотношениях людей, о новой справедливости и новом счастье.

Понятно, в силу всего изложенного, что характерный для эпохи разлад между «отцами и детьми» резко проявился и в имении Корвин-Круковских — в Полибине. Родители боялись бегства детей «к нигилистам», в Петербург, в «коммуну», протестовали против новых идей, нового понимания жизни. Старшее и младшее поколения «не сходились в убеждениях».

Еще в раннем детстве и отрочестве проявилась такая примечательная черта в духовном облике Софьи Васильевны, как любовь ее к поэзии, тяга к художественному творчеству. Наряду с ранним развитием математических способностей росла и страсть к созданию художественных образов. Это несомненно было связано с развитием «способности анализировать свой внутренний мир, глубоко задумываться над вопросами жизни», которую отмечали уже в те годы в С. В. Ковалевской все люди, близко ее знавшие [15]. Девочка рано — чуть ли не с пятилетнего возраста — начала писать стихи, несмотря на насмешки и гонения, претерпеваемые за это от англичанки. Маленькая Софья Ковалевская особенно гордилась своими двумя стихотворениями: «Обращение бедуина к коню» и «Ощущение пловца, ныряющего за жемчугом» (стихотворение кончалось трагично; пловец погибал). «Мцыри» и «Кавказский пленник» вызывали ее восторг, — ее явно пленяла героическая романтика. Познакомившись с этими произведениями по хрестоматии Филонова, она читала их с таким увлечением, что гувернантка пригрозила отнять драгоценную книгу. Потом пришло и страстное увлечение поэзией Некрасова, о котором Софья Ковалевская восторженно пишет в письме к сестре (1868) [16].

3

Фиктивный брак явился способом законно уйти от родителей, пробить себе дорогу к образованию, к общественной жизни. Владимир Онуфриевич Ковалевский стал «освободителем» Софьи Васильевны, принес с собой в ее жизнь новую, широчайшую волну передовых идей, общественного опыта и впечатлений новой жизни. Он не только был деятелем революционных

[15] *Е. Ф. Литвинова.* С. В. Ковалевская, ее жизнь и научная деятельность. СПб., 1893, стр. 11.

[16] «Голос минувшего», 1916, стр. 86.

кружков эпохи первой русской революционной ситуации, но и живым участником польского восстания 1863 г., публикатором запретных произведений Герцена, солдатом гарибальдийских отрядов. За ним давно следило III Отделение. Лишь крайне плохая осведомленность царской агентуры в делах революционного движения того времени спасла В. О. Ковалевского, как и многих других участников движения, от преследований царизма. Как известно, многолюдная организация первой «Земли и Воли» не была обнаружена царскими властями. Новые материалы Пражского архива, подаренного Чехословацким правительством Советской России, обнаруживают в документах ее герценовской коллекции самую широкую осведомленность Владимира Онуфриевича Ковалевского в делах революционного движения 1860-х годов. Мы узнаем из его личного письма к Герцену, что паспорт Ковалевского уже в те годы не раз выручал революционеров, и что самые конспиративные дела революционного центра — например истинная цель тайной поездки Кельсиева из Лондона в Россию — были ему известны. Понятно поэтому, какой мощный приток впечатлений и опыта передового русского движения вошел вместе с ним в жизнь Софьи Ковалевской.

Связь передовой русской культуры с революционной борьбой общеизвестна. Деятельность замечательного русского ученого В. О. Ковалевского является одним из многочисленных доказательств этого положения.

Добавим, что в те же годы С. Ковалевская многое узнала об организации петрашевцев. Знакомство с Достоевским, сосланным по делу петрашевцев, дополнило ее представление о русском революционном движении конца 40-х годов.

Так сформировалось общественное мировоззрение Софьи Васильевны к исходу «шестидесятых годов». Она чувствовала себя на высоком гребне тогдашних передовых идей и узнавала единомышленников с первого взгляда. «Мы так сильно увлекались новыми идеями, открывавшимися перед нами, — рассказывала Софья Ковалевская своему другу, шведской писательнице Леффлер, — мы так глубоко были убеждены, что существующее состояние общества не может долго продлиться, мы уже видели наступление нового времени, времени свободы и всеобщего просвещения, мы мечтали об этом времени, мы глубоко убеждены, что оно скоро наступит! И нам была невероятно приятна мысль, что мы живем одною общей жизнью с этим временем».

«Когда трем или четырем из нас, молодежи, случалось где-нибудь в гостиной встретиться впервые среди целого общества старших, при которых мы не смели громко выражать своих мыслей, нам достаточно было намека, взгляда, жеста, чтобы понять друг друга и узнать, что мы находимся среди своих, а не среди чужих. И когда мы убеждались в этом, какое большое, тайное, непонятное для других счастье доставляло нам сознание, что вблизи нас находится этот молодой человек или эта молодая девушка, с которыми мы быть может раньше и не встречались, с которыми мы едва обменивались несколькими незначащими словами, но которые, как мы знали, одушевлены теми же идеями, теми же надеждами, тою же

готовностью жертвовать собою для достижения известной цели, как и мы сами» [17].

Это ценное свидетельство говорит за себя: оно прекрасно доказывает, что Софья Ковалевская уже в 60-е годы чувствовала себя отнюдь не одиночкой, а несомненной участницей коллективной жизни, участницей общественного течения передовой молодежи. При этом она находилась не на далекой периферии течения, не пассивным образом сочувствовала новому; нет, она кровно принадлежала к той горячей, живой его струе, приобщенной к основному потоку, которая характеризуется живым, действенным самоощущением, «готовностью жертвовать собою для достижения известной цели», как говорила сама Софья Ковалевская в приведенной выше цитате.

Вырвавшись на свободу путем фиктивного замужества, Софья Ковалевская оказывается в Петербурге в живой дружеской среде самых лучших людей 60-х годов. Тут, кроме Владимира Ковалевского, находятся Сеченов, Боковы, Мечников, Александр Ковалевский и многие другие. В этой среде немало друзей и соратников не так давно сосланного на каторгу Чернышевского, тут звучат стихи Добролюбова и Некрасова, тут горячо обсуждаются вопросы, поставленные в «Что делать?». Тут находит Софья Васильевна горячих друзей, помогающих ей, женщине, пробиваться к науке, реализовать свое право на знание, на высшее образование.

Мечты Софьи Васильевны о будущем несомненно окрашены общественными тенденциями передового движения ее времени: и она, и Анюта получат высшее образование, вернутся в Россию; они вернутся с «несколькими другими барышнями», которых Анюта «развила и освободила». «Я готовлюсь к экзамену, пишу диссертацию, — мечтает далее вырвавшаяся на свободу восемнадцатилетняя Софья, — Анюта приводит в порядок свои путевые заметки; потом я занимаюсь самостоятельно; еще позднее мы вместе устраиваем колонию, я еду в Сибирь [18]. Нахожу там пропасть трудностей, разочарований, но пользу непременно могу принести. Анюта пишет замечательное сочинение; мне удается сделать открытие; мы устраиваем женскую и мужскую гимназию; у меня свой физический кабинет...» [19] Все эти мечты изложены в письме к сестре из Полибина летом 1868 г. Тут много неясного и недоговоренного, но мечты о «колонии», столь свойственные поклонникам «Что делать?» Чернышевского, и решение ехать в Сибирь — говорят за себя. Недаром еще ранее Софья Ковалевская в мечтах «представляла себя самое на каторге вместе с Достоевским, сосланным по делу петрашевцев» [20].

Нередко Софья Васильевна и ее корреспонденты весьма сочувственно называют «нигилизмом» то общественное движение, к которому примы-

[17] *А.-Ш. Леффлер.* Софья Ковалевская. Воспоминания..., цит. изд.

[18] Сибирь к этому времени поглотила не только Чернышевского, Михайлова, Шелгунова, но и ряд других участников революционного движения.

[19] «Голос минувшего», 1916, II, стр. 237.

[20] Добавление к Воспоминаниям; см. Воспоминания..., цит. изд., стр. 115.

кают. Выражение: «нигилистический кружок» часто встречается в переписке Софьи Ковалевской. С большой похвалой отзываясь о брате мужа — Александре Ковалевском, она замечает: «Нигилист сильный, советует мне переодеться мальчиком», если начальство не будет пускать ее, женщину, на лекции Сеченова. Марксистская историческая наука давно уже раскрыла то высокое положительное общественное содержание, которое вложено в понятие «нигилизм»; он был этапом разночинского, революционно-демократического по своему объективному содержанию движения, возникшим после революционной ситуации 1859—1861 гг. Возглавленный передовыми публицистами-шестидесятниками, жившими идеями Чернышевского, выразившийся более всего в его ученике Писареве, «нигилизм» получил свое пренебрежительное название от врагов нового, дерзко приняв это название как вызов. Латинское nihil — «ничего» казалось молодым протестантам подходящим к их боевому общественному характеру. Субъективно нигилисты не хотели ничего принимать от старого мира; они были ниспровергателями старых устоев феодального порядка, шли в бой на весь старый общественный уклад, на дворянскую эстетику, на отжившую мораль привилегированных эксплуататорских классов. «Нигилизм» клянется именем Чернышевского, «нигилист» считает себя его последователем, лишь пошедшим далее по его пути.

Достойно всяческого внимания, что имя Н. Г. Чернышевского, великого идеолога разночинского революционно-демократического периода, близко Софье Ковалевской до самого конца ее жизни. В 60-е годы она познакомилась с семьей сосланного на каторгу Н. Г. Чернышевского, что, заметим, было в то время далеко не безопасно. Она уговаривала сына Чернышевского заниматься математикой. В октябре 1890 г., за год до смерти, она делится со своим другом Марией Мендельсон новым литературным замыслом, близким к завершению: «Теперь я заканчиваю еще одну новеллу, которая, надеюсь, заинтересует тебя. Путеводной нитью ее является история Чернышевского... Я кончу ее через несколько дней...»[21]

История русского революционного движения 1860-х годов еще недостаточно изучена, и надо думать, что, по мере продвижения вперед ее исследования, мы узнаем еще немало нового о том петербургском круге «нигилистов», в который так просто и органически, с первых же шагов своей самостоятельной жизни вошла Софья Ковалевская, вырвавшись из Полибина.

4

Но еще важнее тот яркий этап ее жизни, который связан с Парижской Коммуной. Софья Васильевна Ковалевская принимала несомненно активное участие в делах величайшего революционного события XIX в. Сестра же ее Анна, вышедшая замуж за крупного деятеля Коммуны Виктора

[21] Письмо к Марии Мендельсон от 7 октября 1890 г.; см. «Воспоминания...», цит. изд., стр. 155.

Жаклара, вообще была в числе деятельнейших и виднейших участников революционных событий.

Мы располагаем ограниченным кругом источников, связанных с этим этапом жизни Софьи Васильевны. Она все собиралась, но по понятным причинам так и не написала своих воспоминаний об этих днях. Однако переписка ее мужа с братом, некоторые другие эпистолярные и мемуарные материалы, рассказы польской революционерки Марии Мендельсон и шведской писательницы Леффлер, основанные на разговорах с самой Софьей Васильевной, дают возможность слегка приоткрыть завесу над этим периодом ее жизни.

Осенью 1869 г. Анна Васильевна уехала из Гейдельберга в Париж «познакомиться и исследовать социальное движение», как писала общая подруга сестер Жанна Евреинова, также беглянка из отцовского дома, добившаяся высшего образования. Тут Анна Васильевна стала женой французского революционера Жаклара, уже давно вошедшего в революционное движение Франции. После падения Наполеона Жаклар был выбран в Лионе народным комиссаром для сношений с Комитетом общественного спасения и затем приехал в Париж как член делегации от Лиона к правительству национальной обороны. Как писал В. О. Ковалевский, «муж Анюты был делегатом Красной Лионской республики».

Виктор Жаклар относился к числу крупных военных деятелей Коммуны и принимал участие в военных действиях до самого конца. Жаклар был также помощником мэра 18-го округа Парижа (до 27 марта 1871 г.)[22].

Сестра Софьи Васильевны, Анна Васильевна, была членом президиума в Комитете бдительности Монмартра и членом Центрального Комитета союза женщин. В районе Монмартра находился политический клуб, и можно предположить, что Анна Васильевна в нем не раз выступала[23]. «Анна принимала самое горячее, самое страстное участие в политическом движении того времени и ничего лучшего не желала, как рисковать жизнью рядом с человеком, с которым она навсегда связала свою судьбу», — пишет А.-Ш. Леффлер в своих воспоминаниях[24].

Известно, что сама Софья Васильевна с мужем провела в революционном Париже более месяца. Они сумели, рискуя жизнью, пробраться в Париж через линию немецкого фронта: «Они шли пешком, затем ехали лодкою по Сене под угрозой быть расстрелянными, но, тем не менее, счастливо перебрались на противоположный берег и незамеченными вошли в Париж. Они были там при первом взрыве Коммуны». Так передает рассказ Софьи Васильевны ее друг А.-Ш. Леффлер. «Софья много лет спустя собиралась описать одну ночь, проведенную ею в госпитале, — продолжает Леффлер, — где она и Анна ухаживали за больными и где они встретились с несколькими молодыми девушками прежнего круга в Петербурге»[25].

[22] *Ив. Книжник-Ветров.* А. В. Корвин-Круковская (Жаклар). М., 1931, стр. 74—75.
[23] Там же, стр. 77.
[24] *А.-Ш. Леффлер.* Софья Ковалевская. Воспоминания..., цит. изд., стр. 122.
[25] Там же, стр. 120—121.

По выражению Владимира Онуфриевича Ковалевского, и он и Софья Васильевна с 5 апреля до 12 мая «жили очень хорошо под Коммуною в Париже»[26].

Необходимо напомнить о ходе событий в дни Парижской Коммуны и оценить общее положение в тот момент, когда Ковалевские проникли в Париж.

Революционное восстание в Париже победило 18 марта. В этот же день правительство Тьера бежало в Версаль, который стал вслед за этим цитаделью реакции; тут началась спешная подготовка к военным действиям против восставшего Парижа. 26 марта в Париже произошли выборы в Совет Коммуны. 28 — имело место торжественное провозглашение Коммуны, а со 2 апреля началось военное наступление версальцев на революционный Париж. Ковалевские проникли в восставший город 5 апреля, т. е. на третий день после открытия военных действий. Сначала они пытались получить разрешение на переход фронта у версальских властей, ссылаясь на необходимость увидеть находящихся в Париже родственников, но эти попытки не увенчались успехом. «Получив везде отказ»[27], они обратились с тою же просьбой к Бисмарку, который также отказал им в пропуске, ссылаясь на то, что дал слово Жюлю Фавру: «de ne laisser entrer personne sans une permission expresse de sa part»[28]. После этого Ковалевские перешли линию версальского фронта нелегально. Что касается перехода через революционный фронт, то тут им сразу должны были протянуться дружеские руки. Имя двух деятелей Коммуны — Жаклара и его жены должно было стать их паролем.

Заметим, кроме этого, что генералы Домбровский и Врублевский, командовавшие революционными войсками, могли быть знакомы Владимиру Онуфриевичу Ковалевскому по прежним революционным связям с Герценом, с одной стороны, и с польским революционным движением — с другой.

Еще до революционных событий условия жизни в Париже в связи с франко-прусской войной были чрезвычайно тяжелыми. Страшная нужда и голод усиливались с каждым днем. Дневной хлебный паек равнялся 300 граммам хлеба; конина была доступна только богатым; фунт кошачьего и собачьего мяса стоил 5 франков, одна луковица — 50 франков. Зачастую солдатам революционной армии выдавалось только по

[26] Письмо Вл. Ковалевского к брату А. О. Ковалевскому от 9 августа 1871 г. из Парижа; см.: «Из переписки В. О. Ковалевского», публикация С. Я. Штрайха. — «Научное наследство», 1948, т. 1, стр. 255.

[27] О переходе Ковалевскими фронта и об их проникновении в революционный Париж сочувственно сообщала газета Парижской Коммуны «La Sociale», руководимая французской писательницей André Léo; см.: *André Léo.* Le complot monarchique en province. — «La Sociale», 1871, № 43 от пятницы 12 мая (или 22 Floréal, an 79), стр. 1—2 (ИМЛ).

[28] «Никого не пропускать в Париж без особого разрешения с его (Жюля Фавра) стороны»; см. «La Sociale», цит. ст., стр. 1—2. Этот факт с прямой ссылкой на Ковалевских был использован газетой Коммуны в целях разоблачения версальского правительства, вступившего в прямую связь с Бисмарком.

2—3 сухаря в день и то очень плохих. Об этом пишет газета Парижской Коммуны «La Sociale».

С 19 апреля 1871 г. версальцы открыли почти беспрерывный артиллерийский огонь по восставшему Парижу, который не прекращался, пока 21 мая контрреволюционные войска не ворвались в город. Ковалевские пробыли в восставшем Париже с 5 апреля по 12 мая, т. е. 38 дней, иначе говоря, они провели там более половины всего периода существования Парижской Коммуны, который длился, как известно, 71 день. Мы видим, что Софья Ковалевская провела 24 дня в городе, находившемся под непрерывным артиллерийским огнем.

«Без малейшего чувства страха смотрела она на падающие вокруг бомбы; только сердце ее билось при этом сильнее, а в душе чувствовалась глубокая радость, что и ей приходится переживать эту драму» [29], — пишет со слов Софьи Ковалевской ее друг писательница Анна-Шарлотта Леффлер.

Приняв все это во внимание, нельзя не усомниться в правильности распространенных в биографической литературе утверждений, что Софья Ковалевская поехала-де в 1871 г. в Париж потому, что ей уже давно хотелось побеседовать с французскими математиками, а Владимир Онуфриевич перешел под обстрелом линию фронта только якобы в силу желания изучить в парижских музеях далеких предков плацентарных или особенности меловых отложений пресных вод. Эти предположения выглядят весьма наивными. Для ученых бесед и трудов в Париже Ковалевские, несомненно, могли найти другое время, и можно не сомневаться, что их привели в революционный город не интересы «отвлеченной науки». Конечно, их повлекла в Париж и тревога за сестру Софьи Ковалевской — Анну Васильевну и ее мужа Жаклара, члена правительства Коммуны; но и это обстоятельство, на мой взгляд, не может исчерпать вопроса о причинах приезда Ковалевских в Париж. Причины их появления в революционном городе были сложнее: глубокое сочувствие революционной борьбе было в числе тех сил, которые руководили их действиями; никак иначе нельзя объяснить этот период в жизни выдающихся русских ученых. Мы имеем все основания гордиться этой страницей их биографии.

То обстоятельство, что Софья Ковалевская вместе с сестрой ухаживала за ранеными коммунарами в госпитале революционного Парижа и встретилась там «с несколькими молодыми девушками прежнего круга в Петербурге», напоминает нам и о других русских женщинах — участницах Коммуны. В период Парижской Коммуны был, как известно, организован Союз женщин для защиты Парижа и помощи раненым. Первое воззвание его Центрального Комитета подписано русской революционеркой Елизаветой Дмитриевой, через которую К. Маркс вел конспиративную переписку с руководящими членами Парижской Коммуны. Пре-

[29] *А.-Ш. Леффлер*. Софья Ковалевская. Воспоминания..., цит. изд., стр. 121.

бывание Софьи Ковалевской в Париже было известно коммунарам, и через свою сестру она, как сказано выше, участвовала в организованной помощи раненым.

С мая 1871 г. Комитет бдительности принял постановление о немедленном устранении из госпиталей и тюрем сестер-монахинь, которые являлись опорой контрреволюции. Революционное постановление было принято, как говорит официальное сообщение в газете Парижской Коммуны, «по инициативе гражданок: председательницы Пуарье, секретарши Жаклар и членов президиума Баруа и Теосон»[30]. На основании этого можно заключить, что участие Софьи Ковалевской в уходе за ранеными Парижской Коммуны имело более глубокое объективное политическое значение, чем это может показаться при поверхностном взгляде; оно входило в ту систему мероприятий, которая была принята по решению революционного правительства.

К началу мая версальцы вплотную подошли к окраинам революционного Парижа и вскоре начали подготовку общего штурма. 21 мая контрреволюционные войска ворвались в Париж, и начались дни гибели Парижской Коммуны. Сопротивление Коммуны было окончательно сломлено 28 мая, когда под ударами версальцев пали последние героически сопротивлявшиеся кварталы Парижа.

Ковалевские уехали из Парижа до этих событий (они покинули Париж 12 мая), надеясь, что Коммуна еще продержится. Известие о гибели Коммуны застало их в Берлине. Началась страшная расправа Версаля с коммунарами. «На коммунаров надо устроить охоту, — писала одна из версальских газет, — мы должны обложить, как диких зверей, тех, которые попрятались!» Участников восстания расстреливали сотнями. Судьба Анны и Виктора Жаклар сильно тревожила Ковалевских. Первое письмо из Парижа было успокоительным; сначала создалось впечатление, что Виктор и Анна в безопасности. Но вслед за этим пришло новое письмо с известием, что Жаклар арестован. Ковалевские выехали в Париж спасать Анну Васильевну и ее мужа в тот же день, как получили это письмо. По дороге из газет они узнали об аресте Анны, но весть эта не соответствовала действительности.

По прибытии в Париж Софья Васильевна и ее муж начали лихорадочную работу по спасению двух коммунаров. Первой удачей Софьи Ковалевской и ее мужа было спасение Анны Жаклар. По донесению секретаря русского посольства Обрезкова графу П. А. Шувалову, управляющему III отделением, Анна Жаклар была «замешана в насилиях Коммуны, в арестах и последних неистовствах сопротивления». Ей в лучшем случае грозила каторга в Новой Каледонии, а Жаклару — смертная казнь. Софья Васильевна и ее муж твердо решили последовать за сестрой на каторгу, чтобы облегчить ее участь. Но, к счастью, этого не случилось — Анну им удалось спасти. Как именно? Что сделали они оба для этого, несомненно рискуя своей свободой и жизнью? Мы не знаем этого.

[30] *Ив. Книжник-Ветров.* А. В. Корвин-Круковская (Жаклар). М., 1931, стр. 63.

Может быть, когда-либо новые исторические документы прольют свет на этот замечательный подвиг двух русских людей.

Но этого было мало: нужно было спасти мужа Анны — Жаклара, еще более глубоко замешанного в событиях.

С. В. Ковалевская вызвала в Париж своего отца, генерала В. В. Корвин-Круковского, который был знаком с Тьером. Сначала удалось сделать кое-что для облегчения участи Жаклара, а потом организовать его побег из тюрьмы.

В мемуарной литературе широко распространена фантастическая версия о том, будто бы не кто иной, как Тьер способствовал побегу коммунара. Приходится в этом решительно усомниться — историки слишком хорошо знают Тьера. Сомнительна, равным образом, и особая «близость» русского отставного генерала с Тьером. Можно допустить, что генеральские просьбы могли способствовать некоторому ослаблению тюремного режима и последующего после побега розыска, но не больше. Точные обстоятельства этого побега неизвестны. Заслуживает всяческого внимания то обстоятельство, что Жаклар бежал с паспортом мужа Софьи Васильевны — Владимира Онуфриевича Ковалевского. Уже из этого факта следует, что роль Ковалевских в организации побега была активной. Я уже упоминала ранее, что Владимир Онуфриевич и ранее имел опыт в подобных делах; его паспорт давался политическим беглецам в 1860-е годы. Не приходится сомневаться, что и сама Софья Васильевна сделала все, что было в ее силах, для содействия побегу Жаклара [31].

Так обозначилась ведущая общественно-политическая линия жизненного пути Софьи Васильевны Ковалевской и развития ее мировоззрения.

5

Борьба за право женщины на высшее образование никогда не понималась С. В. Ковалевской как вопрос ее личной биографии, ее личного ус-

[31] Существуют по меньшей мере две противоречивые версии побега Жаклара: согласно одной, друзья организовали побег во время перевода его в другую тюрьму (о самом факте перевода Тьер упомянул в разговоре с отцом Софьи Ковалевской, в силу чего факт и стал известен друзьям коммунара); версия эта делает участницей спасения Жаклара его жену Анну Васильевну. Но последняя уже давно находилась в это время вне Парижа; поэтому версия эта не вызывает доверия. Вторая версия рассказывает о весьма смелом побеге из тюрьмы самого Жаклара, сумевшего переменить тюремное платье, прикинуться посетителем, пришедшим на свидание с заключенным, и обмануть тюремщика. Эта вторая версия носит явный характер авантюрной фантастики и едва ли заслуживает доверия. Можно предположить, что истинные обстоятельства побега Жаклара скрывались его участниками, желавшими по понятным причинам избежать позднейших подозрений и преследований. Надо обратить особое внимание на то, что первая, явно неправильная версия, передана в воспоминаниях А.-Ш. Леффлер со слов Софьи Ковалевской, которая, конечно, отлично знала истинные обстоятельства дела. Отсюда ясно, что Софья Ковалевская имела какие-то основания не распространяться об истинном ходе событий и считала нужным скрывать их.

пеха и только. Нет, она постоянно подчеркивала тут общественную сторону. Она боролась не только за себя и для себя; нет, она боролась во имя всех женщин, рвавшихся к свету. С самых первых лет своей активной борьбы за это она считала, что вообще прокладывает дорогу женщине — и в этом высокий общественный пафос ее борьбы и победы. Мы постоянно видим ее помогающей другим молодым женщинам, вырывающимся из быта старой, реакционной России. Трогательны ее заботы о Жанне Евреиновой, о Ю. Лермонтовой и многих других девушках. Подчас она просто силой вырывала своих подруг, а иногда и почти незнакомых ей молодых женщин из пут старого быта, из-под опеки семьи, пользуясь своим влиянием, личным обаянием, настойчивостью, неустанной активностью. Она не только внимательно и сочувственно следила за «женским вопросом» в России, но активно содействовала созданию высших женских курсов. Она подавлена, горько обижена и страстно возмущена тем, что косный строй царской России не дал ей самой возможности преподавать в родной стране.

Софья Ковалевская горячо любила Россию. Где бы ни работала она, она всегда оставалась русской патриоткой, глубоко преданной своей родине. В числе преступлений царизма — то, что эта выдающаяся русская женщина была лишена возможности работать в университетах родины. Мысли об общественном значении борьбы Софьи Ковалевской за высшее образование и профессуру никогда не покидали ее: «Я очень занята... заботой об упрочении моего положения в университете, чтобы открыть таким образом этот путь для женщин», — пишет она в январе 1884 г. своему другу Марии Мендельсон.

Сознание общественного смысла своего пути никогда не покидало С. Ковалевскую. К слову заметим, что в последние годы жизни Софье Васильевне пришлось пережить немало тяжелых дней в связи с ее любовью к Максиму Ковалевскому. Об этом приходится упомянуть потому, что вокруг этого эпизода сосредоточено в литературе немало выдумок и клеветы. Правдиво освещает эту полосу жизни Софьи Васильевны Анна-Шарлотта Леффлер, обращающая внимание читателя на неожиданное и возмущающее душу обстоятельство: оказывается, Максим Ковалевский требовал от Софьи Ковалевской прекращения ее научной деятельности и ставил это условием брака. Этому важному свидетельству позднейшая литература о Софье Ковалевской почему-то не уделила никакого внимания, между тем оно много поясняет в ее душевной драме. «Она сама не могла никак решиться, — пишет Анна-Шарлотта Леффлер, — сделать полный перелом в своей жизни, отказаться от своей деятельности, от своего положения, — это было то требование, которое он предъявлял к ней, — и примириться с мыслью быть только его женою» [32]. Конечно, решающее значение имело то, что у Максима Ковалевского не было к ней должного чувства.

[32] *А.-Ш. Леффлер.* Софья Ковалевская. Воспоминания..., цит. изд., стр. 268.

В 1870-х годах Софья Ковалевская написала свой роман «Нигилистка», который навсегда останется замечательным памятником ее политического мировоззрения.

В основу романа положен ряд действительных фактов, связанных с политическим процессом 193-х и реальной судьбой девушки, решившейся путем брака в тюрьме спасти революционера. Героиней событий была Вера Гончарова, к слову сказать, связанная свойством с А. С. Пушкиным (дочь брата Наталии Николаевны Гончаровой). Тюремный жених Веры Гончаровой — студент медико-хирургической академии И. Л. Павловский, привлеченный по делу 193-х. Реальная судьба действующих лиц, в которой приняла активное участие Софья Ковалевская, в корне отличается от хода событий в романе, но в данном случае нас занимает вовсе не это обстоятельство. Роман С. В. Ковалевской является важнейшим документом ее мировоззрения; художественные образы ее произведения надо проанализировать именно в этом аспекте. Приходится только удивляться, как странно повернут комментарий романа в имеющейся литературе: комментаторы заняты лишь сличением замысла романа с действительностью. Но гораздо важнее другое — какова идеология автора, как отразилась она в художественных образах романа.

Прежде всего повесть «Нигилистка» — одно из самых первых художественных произведений об истории русского революционного движения, произведений, высоко ставящих революционную деятельность, окружающих ее ореолом. Роман Чернышевского «Что делать?» открывает этот замечательный литературный ряд; роман Софьи Ковалевской занимает свое, — отметим, очень раннее — место в этом ряду. Собственно, не третий ли это по счету автор, создающий художественное произведение о революции, если учитывать творчество В. А. Слепцова? Роман Софьи Ковалевской, разумеется постоянно запрещавшийся царской цензурой, противостоит тому потоку клеветнических измышлений о русской революции и русских революционерах, который исходил как из реакционного, так и из либерального лагерей. В этом смысле роман надо оценить очень высоко; в широком смысле литературная функция ее произведения — это борьба не только против тургеневской концепции русской революционной борьбы, но и против «Бесов» Достоевского.

Повесть рассказывает о девушке-дворянке, вырвавшейся из пут, наложенных на нее аристократической семьей. Девушка приехала в столицу с целью поисков революционного дела; она горит желанием присоединиться к революционному движению, найти тайную революционную организацию и вступить в нее. Она находит тех людей, которых ищет, но уже во время судебного процесса над ними. Царские судьи уже судят революционеров за их тайную революционную деятельность — присоединиться к их борьбе уже невозможно. Но еще можно хоть что-нибудь сделать для облегчения их участи. Далее Софья Ковалевская создает в романе особую ситуацию, в силу которой участь женатого революционера, жена которого согласится пойти за ним на каторгу, будет несколько облегчена по сравнению с участью неженатого; участь послед-

него будет много тяжелее: революционер Павленков будет заключен на долгие годы в Алексеевском равелине, из которого не выходят живыми, если же он женится, его положение станет легче.

Героиня романа Вера Баранцова, впервые увидевшая Павленкова на суде и ни разу не сказавшая с ним ни слова, решается объявить себя его невестой. Ее «жених» даже не знает об этом. Вера добивается согласия властей на тюремный брак и этим путем заменяет для мужа Алексеевский равелин каторгой. Счастливая, она следует за мужем в Сибирь. Это не просто самопожертвование во имя избранного, любимого человека. Поступок Веры Баранцовой является несомненно служением идее: «Вера находит социализм единственным средством к решению всех вопросов» [33], — пишет Софья Ковалевская.

Конечно, говоря о преданности С. В. Ковалевской идее социализма, нельзя упускать из виду, что она, подобно своим современникам, была сторонницей не научного, а утопического социализма. Выросшая в эпоху после первой русской революционной ситуации, она отразила в своем мировоззрении и ряд слабых сторон развившегося в ее годы народничества.

Выше мы характеризовали основной замысел романа «Нигилистка», написанного Софьей Ковалевской; он несомненно должен быть изучен нашими литературоведами во всем ряду революционной литературы пореформенного времени, еще столь недостаточно исследованной.

Нельзя не отметить еще одного случая в биографии Софьи Васильевны — ее крайне спешного отъезда из России весною 1881 г. Дата засвидетельствована перепиской В. О. Ковалевского и биографами С. В. Ковалевской. Последующее изложение объясняет, на мой взгляд, нарочитую ошибку (указан 1882 г.), допущенную С. В. Ковалевской, в ее автобиографическом рассказе, застенографированном в редакции «Русской старины».

Факты говорят о том, что Софья Васильевна Ковалевская с маленькой дочкой не просто уехала, а несомненно бежала из Москвы весной 1881 г., — об этом свидетельствует необыкновенная картина, нарисованная ее биографами: все в квартире было брошено на произвол судьбы, даже чай на столе в столовой остался недопитым; вещи были разбросаны, шкафы открыты.

Объяснение этого спешного отъезда дается биографами или в плане характеристики некоторой эксцентричности Софьи Васильевны, способной на любые необдуманные выходки, или в плане ее «бегства с тонущего корабля», иначе говоря, бегства перед лицом полного денежного разорения.

Как известно, В. О. Ковалевский в поисках материального обеспечения для научной работы занялся в 70-х годах, будучи в России, постройкой домов для сдачи квартир, а также нефтяными делами и был втянут в денежные спекуляции. Полная неспособность вести коммерческие дела, удававшиеся подчас другим ученым (например, Вышнеградскому), при-

[33] *Софья Ковалевская.* Нигилистка, стр. 131.

вела Ковалевских к полному разорению, ставшему явным фактом, по признанию биографов, уже в 1879 г. Если так, то почему же понадобилось спешно бежать от разорения именно в 1881 г.? На мой взгляд, напрашивается совсем другое объяснение этого странного факта. Достаточно вспомнить, что именно происходило в России этой самой «весной 1881 года». Народовольцы готовили покушение на Александра II, и 1 марта царь был убит. Многочисленные аресты и поток репрессий обрушились не только на революционеров, но и на лиц, прикосновенных к революционным кругам, это общеизвестно. Не эти ли именно причины заставили Софью Ковалевскую спешно бежать за границу весною 1881 г.? Муж ее тем временем спешно перебрался к брату в Одессу, откуда, как известно, немало революционеров находили путь морем за границу.

Нельзя, вместе с тем, не выразить протеста против того принижения образа Софьи Васильевны, которое имеет место в специальной литературе, чтобы возвеличить ее мужа. Цель науки — установление истины, а истина в данном случае решительно противоречит подобному направлению исследования.

6

Драма Софьи Ковалевской «Борьба за счастье», написанная совместно с ее другом, шведской писательницей Анной-Шарлоттой Леффлер, также заслуживает внимания. Замысел, общая линия действия, даже черты характера отдельных лиц придуманы Софьей Васильевной, с большим энтузиазмом отнесшейся к этой совместной литературной работе. Но самый текст, его основная словесная ткань в основном принадлежит А.-Ш. Леффлер. Рассматривать эту драму также надо как документ мировоззрения Софьи Ковалевской.

В основу композиции драмы положена, так сказать, математическая идея; драма написана в двух вариантах: в одном случае рассказано, что было, в другом — что могло бы быть. Софья Ковалевская постоянно повторяла, что человеческое счастье — это функция, зависящая от многих переменных. Вариант первый ведет к несчастью людей, действующих в драме. Но изменив исходные поступки героев и получив в силу этого новые выводы из этих поступков, новую линию развития сюжета, авторы приводят своих героев к счастью. В этом втором варианте Софья Ковалевская хотела нарисовать, по словам ее друга, «картину будущего идеального общества, где все живут для всех, а двое любящих людей друг для друга» [34].

Сюжет драмы развивается в шведской обстановке и не имеет отношения к русской жизни. В одной из героинь, Алисе, как говорят комментаторы, запечатлены характерные черты самой Софьи Васильевны. Борьба Карла, любимого Алисой человека, инженера-электрика, стремя-

[34] *А.-Ш. Леффлер.* Софья Ковалевская. Воспоминания..., цит. изд., стр. 222.

щегося сделать электроэнергию двигателем фабричных машин, — за свое изобретение, и борьба Алисы за осуществление нового идеала социальной жизни находятся в центре замысла. Драма выводит на сцену рабочих, рисует их взаимоотношения с хозяином. Как одна из первых попыток осветить в художественной форме рабочий вопрос она заслуживает несомненного внимания. Мировоззрение, лежащее в основе драмы, отпечатавшееся на развитии ее событий, разумеется, несет на себе печать народнической идеологии. Отношения рабочих и хозяев рисуются довольно идиллическими, социальные конфликты даны затушеванно. Но, тем не менее, и эта драма несомненно представляет интерес для изучения творчества Софьи Ковалевской, в частности для вопроса о прямом влиянии математических теорий на ее художественное воображение. В драме заметны и те ограничительные черты «социализма» 1870—1880-х годов, о которых мы уже говорили выше.

Вопрос о безработице и техническом прогрессе в промышленности занимает немалое место в драме. Ситуация, в ней созданная, такова: одаренный инженер-изобретатель сумел (вопрос был новым в годы С. Ковалевской) применить электроэнергию для приведения в движение фабричных станков: попутно он разрешает и вопрос об электрическом освещении. Любимая им женщина, Алиса, мечтает о полном переустройстве социальной жизни, об уничтожении эксплуатации человека человеком. Она должна вскоре получить богатое наследство, но судебный процесс, связанный с ее богатствами, еще не кончен, она еще не обладает своим имуществом и терпит вместе с Карлом нужду. Изобретение Карла сокращает потребность производства в рабочей силе: число рабочих, потребных фабрике, сократится; многие рабочие будут уволены, их семьи будут выселены из домов, где жили долгие годы. Но этого нельзя допустить, это бесчеловечно. Как быть? Тут наступает счастливая развязка. Претендент на богатства Алисы отказывается от процесса. Алиса становится владелицей богатого замка и фабрики. Она может теперь осуществить свою мечту — «подарить завод рабочей ассоциации и жить здесь как их ровня». Все доходы от изобретения Карла, по его желанию, также пойдут в распоряжение основанной Алисой рабочей ассоциации. Прекрасный замок Герргамра также передается рабочим — гостиная превращается в класс для детей рабочих, а аристократическая библиотека — в общественную читальню. Занавес опускается в тот момент, когда Алиса сообщает обо всем этом рабочим.

Ограничительные черты мировоззрения утопического социализма отчетливо сказались в драме «Борьба за счастье». Социализм водворяется на фабрике благодаря счастливому совпадению обстоятельств и благородной самоотверженности пламенной личности. Типичная фигура благородного и богатого мечтателя — в центре утопического решения вопроса. Мировоззрением научного социализма авторы не овладели.

Интерес к политическим вопросам, ярко выраженная тяга к общественному движению всегда характеризовали Софью Ковалевскую. В суждении о буржуазном политическом строе тех стран, с которыми она

была знакома, ее никогда не покидало критическое чутье. Характерно в этом отношении одно место из ее опубликованного С. Я. Штрайхом письма к С. А. Юрьеву[35], в котором она высказывается о шведском государственном строе: «По внешним формам правления, — пишет Софья Васильевна, — Швеция одна из самых свободных стран Европы; здесь можно говорить и писать решительно все, что угодно. Но зато здесь так же, как отчасти и в Англии, очень сильно влияние старых традиций в обществе, и гнет общественного мнения давит здесь очень тяжело. Только в последние годы ворвались сюда всякие современные идеи об экономической несправедливости существующего строя общества, о равноправности женщин с мужчинами, о несостоятельности положений принятой теологии и т. под. ... В самые последние годы здесь развивалась целая школа молодых писателей, напоминающая мне несколько по своему страстному и живому отношению к вопросам то, что было у нас в России лет 15 тому назад...» Любопытно последнее замечание о том, что русское общественное движение шло впереди и осознавалось Софьей Васильевной, как обогнавшее Швецию.

7

Необходимо также отметить работу Софьи Васильевны как литературного критика и публициста. Ее литературное наследие в этом отношении еще далеко не собрано. Была она и в роли театрального критика; напечатала ряд театральных обзоров в раннем «Новом времени», в те годы еще не вступившем на свой реакционный путь. Ее перу принадлежит вдумчивый очерк, посвященный писательнице Джордж Эллиот. Но особо выделяется ее статья, посвященная творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина, память которого С. Ковалевская хотела почтить в год его смерти (1889). Эта статья, написанная на французском языке, была предназначена для заграничной печати и должна была познакомить передовых иностранцев с великим русским сатириком. Статья была опубликована в Швеции. На русском языке ее напечатали лишь в советское время. Софья Ковалевская разбирает в этой работе творчество Щедрина; она особенно останавливается на анализе его наиболее острых в социальном отношении произведений. Статья знакомит читателя с разоблачительным существом творчества великого русского сатирика; в ней дан, в частности, анализ «Господ Головлевых»[36].

Нельзя не сказать несколько слов об ее стихах.

Ранние стихи Софьи Ковалевской слабее по форме, в поздних стихотворениях техника выше. Но для нас любые ее стихи — страницы ее биографии и, вместе с тем, документ движения общественной жизни, в ко-

[35] *С. В. Ковалевская.* Воспоминания и письма. М., 1951, стр. 271.

[36] Статья опубликована в журнале «Литературное наследство»; см. «Неизданная статья Софьи Ковалевской о Салтыкове». Сообщение С. Штрайха. — «Литературное наследство», т. 13—14, стр. 543—554.

тором возникает такое сложное явление, как ученая женщина со своими особыми запросами и проблемами.

В «Жалобе мужа» Софья Ковалевская ставит вопрос в шутливой форме — да, отовсюду слышны «жалобы и стоны, как судьба печальна женщин, как неправы к ним законы...». А по мнению мужа, не женщины, а они, мужчины, являются страдальцами: «На беду мою девицу встретил я — очарованье! Молода, умна, красива, просто чудное созданье», — как тут не влюбиться? Но девушка, оказывается, «заразилась вредным духом, разных книжек начиталась, и на все мои моленья долго-долго не сдавалась». Она хочет сначала получить образование, потом лишь даст ответ: «в жизнь тогда вступлю я с мужем, смело, с равными правами»... Наконец, любящие сердца соединяются, муж надеется, что после свадьбы эти мысли выветрятся у нее из головы. Но надежды его не сбываются: «перетрусил я невольно, как услышал, что толкует обо всем она так вольно» И вывод: Нет, беда с женой ученой, Муж, не жди себе почтенья. Отвечай на все расспросы, Разделяй ее сомненья...

Научное творчество, жизнь в нем, наслаждение им — почти не отражены в ее поэтических произведениях, вероятно потому, что они сами несут в себе — порыв, утоление жажды, глубокую радость. Но сложность личности ведь и в том, что наука не исчерпывает призвания Софьи Ковалевской. Призвание ученой соединено в ее личном ощущении с общественным долгом. Этому посвящено глубокое стихотворение «Если ты в жизни, хотя на мгновение истину в сердце твоем ощутил...». Храни это чувство как святыню, говорит автор: «Тучи сберутся громадой нестройной, небо покроется черною мглой, с ясной решимостью, с верой спокойной бурю ты встреть и померься с грозой». А если уступишь врагам, не сохранишь святой искры — горе тебе: «Лучше бы было тебе не родиться, лучше бы истины вовсе не знать»... Другое стихотворение, «Груня», рисует образ мученицы за идею. Груню казнят, она гибнет на костре. Перед казнью Груня обращается к народу — он «потрясен ее могучими словами...» Но все это оказывается мечтой... Софья Ковалевская рисовала себя в этом образе и вдруг спохватывалась: ведь этого всего не было, «это все один пустой, горячий бред».

Тема любви звучит в ее стихах — любви неудовлетворенной и полной трагических нот. Рядом с этой темой — другая: тема одиночества, «бремя холодной вечной пустоты». В одном из стихотворений в прозе говорится об ужасе насильственной смерти: на берегу моря, поздно замеченная тяжелая волна догоняет ее, сбивает с ног и покрывает, шепча ей на ухо слова поэта: «Полно, о жизни покончен вопрос, больше не нужно ни песен, ни слез». В этом стихотворении есть отблеск и ее математических озарений: перед гибелью она полна веселья и жизни: «Ветер дул мне в лицо, вспоминались мелодии, которые в детстве наигрывала мне мать, мои любимые стихи приходили на память, математические теоремы с поразительной ясностью выступали в моем уме — мне становилось все веселее и веселее»... И вдруг обрушивается страшная нежданная смерть.

Стихи Софьи Ковалевской также рисуют многогранность ее натуры и раскрывают перед нами жажду ею общественного подвига.

Незадолго до смерти Софья Ковалевская работала над фантастическим произведением «Когда не будет больше смерти...»[37].

«Воспоминания детства», написанные Софьей Васильевной и широко известные советскому читателю, являются выдающимся произведением и как памятник мировоззрения автора и как свидетельство ее высокой литературной одаренности. Она многократно цитировалась в данной статье, являясь одним из ее источников, и поэтому нет нужды специально останавливаться на их характеристике.

Автор настоящего очерка не ставит перед собой, разумеется, цели исчерпать богатую тему. Пришлось остановиться лишь на узловых вопросах общественной и литературной деятельности Софьи Ковалевской. Она действительно была подлинным общественным деятелем по своей природе. Она была тесно связана и с передовым русским общественным движением, и русской революционной борьбой, и с Парижской Коммуной. Тем светлее для нас ее память. Она действительно была верной и преданной союзницей молодой России, идущей вперед, к новой жизни. Она, несомненно, способствовала движению своей родины вперед и обогащению русской культуры. Софья Васильевна Ковалевская навсегда останется славой нашей родины — России, которую она так горячо любила.

[37] *А.-Ш. Леффлер.* Софья Ковалевская. Воспоминания..., цит. изд., стр. 273.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА

[1] Печатается по тексту, впервые опубликованному на русском языке в журнале «Вестник Европы», 1890, № 7, стр. 55—98 (главы I—IV, подпись: С. Ковалевская), № 8, стр. 584—640 (главы VI—X, подпись Софья Ковалевская), с исправлением ошибок и опечаток по автографам.

До первого русского издания публикация «Воспоминаний детства» была осуществлена на шведском языке в книге: *Sonja Kovalevsky*. Ur ryska lifvet. Systrarna Rajevski. Öfversättning från förfs manuskript af Walborg Hedberg. Stockholm, z. Heggströms förlagsexpedition. ... 1889. 277 s. (*Соня Ковалевская*. Из русской жизни. Сестры Раевские. С рукописи автора перевел Вальборг Хедберг. Стокгольм, издательство и книготорговля С. Хегстрёма, 1889).

Кроме указанных, «Воспоминания детства» опубликованы в следующих изданиях:

«Литературные сочинения С. В. Ковалевской». СПб., типография М. Стасюлевича, 1893, стр. 1—163.

«С. В. Ковалевская. Воспоминания детства и автобиографические очерки». Отв. ред. С. Л. Соболев, ред. и прим. С. Я. Штрайха. М., 1945 (стр. 5—115, *159—178*) *.

«С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма». Издание исправленное и дополненное. Отв. ред. М. В. Нечкина, ред. и комм. С. Я. Штрайха. М., 1951 (стр. 7—131, *461—474*).

«С. В. Ковалевская. Воспоминания и письма». Издание исправленное. Отв. ред. М. В. Нечкина, ред. и комм. С. Я. Штрайха. М., 1961 (стр. 9—132, *459—471*).

«Воспоминания детства» были переведены на многие иностранные языки и опубликованы вместе с биографией С. Ковалевской, написанной А.-Ш. Леффлер. Отметим некоторые из этих изданий.

Английское: *Sonia Kovalevsky*. Biography and Autobiography. I. Memoir, by A. C. Leffler (Edgren), Duchessa di Cajanello; II. Reminiscences of Childhood, written by herself. Translated into English by Louise von Cossel. London: Walter Scott... 1895, 317 p., portraits (*Соня Ковалевская*. Биография и автобиография. 1. Воспоминания А. К. Леффлер-Эдгрен, герцогини Кайянелло; 2. Воспоминания детства, написанные ею самой. Переведены на английский Луизой фон Коссель. Лондон, Вальтер Скотт, 1895, 317 стр., портр.)

Одновременно этот же перевод был опубликован в Нью-Йорке издательством Макмиллана.

* Курсивом обозначены страницы, занятые комментариями.

Немецкое: *Sonya Kowalewsky.* I. Teil. Kindheitserinnerungen (von ihr selbst erzählt). Deutsch von M. Kurella, 136 S. II. Teil. Was ich mit ihr zusammen erlebt und was sie mir von sich erzählt hat. Von Charlotte Leffler. Deutsch von L. Wolf. 120 S. Halle... Otto Hendel, 1896 (Bibliothek der Gesamtlitteratur des In- und Auslandes. Nr. 935—938.) (*Соня Ковалевская.* I часть. Воспоминания детства (рассказанные ею самой). Перевод на немецкий М. Курелла, 136 стр.; II часть. Что я пережила вместе с нею и что она рассказала мне о себе. Шарлотта Леффлер. Перевод на немецкий Л. Вольф, 120 стр., Галле, Отто Хендель, 1896 («Библиотека всеобщей отечественной и иностранной литературы», № 935—938)).

«Воспоминания детства» вышли и в другом переводе (без воспоминаний А.-Ш. Леффлер): *Sonya Kowalewska.* Jugenderinnerungen. Aus dem Russischen übersetzt von Louise Flachs-Fokschaneanu. Berlin, S. Fischer, ... 1897, 205; S. (*Соня Ковалевская.* Воспоминания юности. Перевод с русского Луизы Флакс-Фокшаняну. Берлин, С. Фишер, 1897, 205 стр.)

Польское: «Pamiętnik Zofii Kowalewskiej». Przekład J. Szczawińskiej. Warszawa, Nakładem Księgarnia G. Centnerszwera. 1898, 321 str. («Воспоминания Софьи Ковалевской». Перевод Щавинской. Варшава. Издание книготорговли Г. Центнершвера, 1898, 321 стр.)

Французское: «Souvenirs d'enfance de Sophie Kovalewsky écrits par elle-même et suivis de sa biographie par M[me] A. Ch. Leffler, Duchesse de Cajanello». Paris, Librairie Hachtette et C[ie], ... 1895. ... X, 334 p. («Воспоминания детства Софьи Ковалевской, написанные ею самой и сопровожденные ее биографией, написанной г-жой А.-Ш. Леффлер, герцогиней Кайянелло». Париж, изд-во Гашет и К[о], 1895, 334 стр.)

В 1895 г. издание было повторено с пометкой «Nouvelle Édition» («Новое издание»), с такой же пометкой оно было выпущено и в 1907 г.

«Воспоминания детства» были изданы также на голландском, датском, чешском, японском и других языках.

В Архиве АН СССР сохранились черновики «Воспоминаний детства» и ряд дополнений к ним, написанных рукою С. В. Ковалевской.

I. Первые воспоминания

1 Приводим текст начала первой страницы из книги «Systrarna Rajevski», цит. изд. (перев. со швед. Т. И. Лебедкиной): «Все первые воспоминания Тани Раевской * были так или иначе связаны с поездками и дорожными приключениями. Позднее, когда она иногда, сидя с закрытыми глазами, старалась вызвать в памяти первые сознательные впечатления своей жизни, перед ней сейчас же возникала широкая, пыльная проселочная дорога, окаймленная по обеим сторонам березами и верстовыми столбами, а на ней громадная карета, такая большая, что в ней мог бы поместиться целый Ноев ковчег. На этом общем сером фоне выри-

* В шведском издании заменены имена: Соня Крюковская на Таню Раевскую, Василий Васильевич на Ивана Сергеевича.

совываются в виде светлых пятен несколько воспоминаний об особых эпизодах — собирание камешков на дороге во время остановок на станциях, выброшенная ею из окна кареты кукла ее старшей сестры Анюты, ночлеги на станциях с импровизированными постелями на узких, жестких диванах или просто на сдвинутых стульях.

Отец Тани, Иван Сергеевич Раевский, был генералом от артиллерии и по долгу службы часто должен был переезжать с одного места на другое, причем семья его по большей части сопровождала его».

[2] Фамилия отца Ковалевской, Василия Васильевича, встречается в трех формах: 1) Крюковско́й, с ударением на последнем слоге. Такая форма отмечена самой Ковалевской в «Воспоминаниях детства», изд. 1890 г. В настоящее время жители Полибино * (Великолукской области), говоря об отце своей знаменитой землячки, Софьи Ковалевской, также называют его: Крюковско́й. В юности Софья Васильевна подписывалась: Крюковская. 2) Круковский — в метрическом свидетельстве о рождении Софьи Васильевны. В церковной книге Знаменской церкви г. Москвы у Петровских ворот записано в 1850 г. под № 1: «Третьего ** января родилась Софья, крещена 17, от полковника артиллерии Василия Васильевича Круковского и жены его Елизаветы Федоровны, восприемниками были младший лейтенант Семен Васильевич Круковский и дочь провиантмейстера Василия Семеновича Круковского, девица Анна Васильевна» (МОА). 3) Корвин-Круковский. В ЦГИА хранится дело «О дворянстве Корвин-Круковских» (ф. 1343, т. 23, дело № 6550), которое велось Департаментом герольдии Правительствующего Сената. В нем Василий Васильевич именуется сначала Круковским, а затем Корвин-Круковским.

В 1843 г. группа дворян Круковских возбудила ходатайство об утверждении своего рода в древнем дворянстве.

Одним из документально установленных предков Ковалевской по отцу был запорожский знатный войсковой товарищ Иван Михайлович Крюковский. Но звание это прав дворянства не давало. В дворянском звании впервые утвержден был прадед Ковалевской, Семен Васильевич, по своему военному чину подпоручика, после выхода в отставку в 1823 г.

На неоднократные ходатайства отца Ковалевской и его братьев в Департаменте герольдии Правительствующего Сената об утверждении их рода в древнем дворянстве следовал отказ.

Лишь после выхода В. В. Крюковского в отставку в чине генерал-лейтенанта от артиллерии указом Сената от 10 февраля 1858 г. Василий Васильевич был утвержден в древнем дворянстве. В указе значится уже фамилия Корвин-Круковский. В 1858 г. был занесен в государственный гербовник высочайше утвержденный герб этого рода — польский Слеповрон, весьма сходный с гербом венгерского короля Матвея Корвина. В генеалогическом древе, украшавшем одну из стен Полибинской библиотеки, происхождение нового «древнего» рода относится к дочери Матвея Корвина и некоему польскому витязю Круковскому.

* Теперь пишут Полибино, а не Палибино.

** Старый стиль; по новому стилю 15 января.

Материал, который объяснял бы основания для подобного рода перемены фамилии и возникновения легенды о ее происхождении, в архивах пока не обнаружен.

3 Софья Васильевна Ковалевская родилась в Москве 3/15 января 1850 г. Умерла 29 янв./10 февр. 1891 г.

4 *Круковской Василий Васильевич* (1801—1875) родился в семье отставного провиантмейстера В. С. Круковского, помещика Псковской губернии, Невельского уезда. Василий Васильевич окончил Петербургское артиллерийское училище (впоследствии названное Михайловским).

С 1819 г. по 1858 г. служил в артиллерии: в 1828 переправлялся с артиллерийским полком через Прут, прошел Молдавию, Валахию до Бухареста, в 1829 командовал батареей во время похода к Силистрии и ее осады, затем до февраля 1830 г. участвовал в переходе через Балканские горы, во взятии города Месемврии (теперь Несебыр — Болгария).

Он был хорошо образованным человеком, в училище изучал математику, вел знакомство с видными представителями науки, искусства, литературы. В 50-е годы в его доме бывали профессор математики Артиллерийской академии, впоследствии известный идеолог народничества П. Л. Лавров, хирург Н. И. Пирогов, художник Ф. А. Моллер, писатель, профессор-арабист О. И. Сенковский.

В. В. Круковской был командиром Московского артиллерийского гарнизона и начальником арсенала до 1855 г.

Елизавета Федоровна Корвин-Круковская — мать Ковалевской (1820—1879) — дочь Федора Федоровича Шуберта (1789—1865), военного топографа, генерала-от-инфантерии, участника войн против Наполеона, внучка Федора Ивановича Шуберта (1758—1825), астронома и математика. Первый был почетным, второй — действительным членом Петербургской Академии наук. Ф. И. Шуберт — автор трехтомного курса теоретической астрономии.

5 Отец Ковалевской служил в Калуге с 1855 по 1858 г.

6 *Жаклар Анна Васильевна* (1843—1887) — сестра С. В. Ковалевской, выдающаяся русская женщина — общественная деятельница, талантливая писательница, первые рассказы которой высоко оценил Ф. М. Достоевский. Уехав с Ковалевскими за границу в 1869 г., она затем одна отправилась в Париж, работала в типографии наборщицей, вышла замуж за Виктора Жаклара — участника Интернационала, о котором упоминается в переписке Маркса и Энгельса. В. Жаклар был активным участником Парижской Коммуны.

В дни Парижской Коммуны, как свидетельствует в своих воспоминаниях Луиза Мишель, Анна Васильевна находилась в числе «женщин-организаторов народного обучения» *.

Большая часть афиш, выпущенных жительницами Монмартра, была написана Луизой Мишель, Анной Жаклар и писательницей Андре Лео. Андре Лео и Анна Жаклар основали ежедневную газету «La Sociale», которая выходила с 31 марта по 17 мая 1871 г. В ней печатались серьезные статьи по социальным вопросам.

Анна Васильевна была секретарем Комитета бдительности 18-го округа Парижа, принявшего решение о немедленном удалении из госпиталей и тюрем сестер-

* *Michel.* La Commune, 7me éd. Paris, Delamain, 1922, p. 222.

монахинь и об уничтожении уличной проституции. Во время боев она ухаживала за ранеными в госпитале. Ее непоколебимая преданность революции была известна версальцам. Полиция охотилась за ней, но ей удалось с помощью родителей и супругов Ковалевских скрыться из Парижа.

Она участвовала в работе Центрального Комитета Союза женщин, основанного Елизаветой Дмитриевой, последовательницей Маркса, посланной в Париж от Генерального Совета Интернационала.

[7] *Корвин-Круковский Федор Васильевич* — брат Софьи Васильевны (1855—1919). После окончания физико-математического факультета Петербургского университета (1878 г.) служил в одном из министерств.

II. Воровка

[1] В журнальном тексте и в тексте «Литературных сочинений» (1893) заголовок отсутствует. Он восстановлен С. Я. Штрайхом в «Воспоминаниях», 1951, по рукописи, хранящейся в Архиве АН СССР (ф. 768, оп. 1, № 21). В «Воспоминаниях», 1945, заголовок: «Марья Васильевна».

[2] Эманципация — освобождение крепостных.

III. Мисс Смит

[1] Заголовок дан С. Я. Штрайхом в «Воспоминаниях», 1945.

[2] *Малевич Иосиф Игнатьевич* (1813—1898) — первый учитель С. В. Ковалевской — чрезвычайно интересный тип домашнего учителя-наставника, исчезнувший вместе с крупными «дворянскими гнездами». Он родился в местечке Креславле, бывш. Витебской губернии, и посвятил себя обучению и воспитанию детей в семьях помещиков. Так, например, он последовательно подготовил к поступлению в разные учебные заведения шестерых сыновей помещика Семевского, среди которых были известный потом историк В. И. Семевский и редактор-издатель «Русской старины» М. И. Семевский. Малевич обучал детей по обширной программе и давал им сравнительно широкие и прочные знания. Он напечатал воспоминания о девятилетнем пребывании в Полибине, дающие представление как о его педагогическом методе, так и о способностях и трудолюбии его учениц (*И. И. Малевич.* Воспоминания. — «Русская старина», 1890, № 12, стр. 615—654).

[3] *Смит Маргарита Францевна* (1826—1914) — англичанка, гувернантка Софы и Феди. После Корвин-Круковских жила в семье Шубертов.

[4] В главе «Из времени польского восстания» С. В. Ковалевская, между тем, отмечает большое влияние, оказанное на нее Малевичем в «польском вопросе».

IV. Жизнь в деревне

[1] Имеется в виду издание «Русская хрестоматия, с примечаниями. Для высших классов средних учебных заведений. Составил Андрей Филонов». СПб., 1863 (т. 1 «Эпическая поэзия», т. 2 «Лирическая поэзия», т. 3 «Драматическая поэзия»). Под словом «поэзия» составитель понимал художественную литературу вообще.

О пользовании ею говорит в своих «Воспоминаниях» Малевич (стр. 625), но ни «Мцыри», ни «Кавказского пленника» в ней нет. С отрывками из них С. Ковалевская могла познакомиться по другому распространенному в то время пособию: «Полная русская хрестоматия. Составил А. Галахов (7-е издание)». М., 1857 (ч. I «Красноречие», ч. II «Поэзия», ч. III «Примечания»).

[2] Эти детские стихи не сохранились. До нашего времени дошло немного стихотворений С. В. Ковалевской.

[3] В Архиве Академии наук СССР, ф. 768, оп. 1, № 25, сохранились два отрывка, переписанные набело рукою С. В. Ковалевской, с подзаголовками «Первая вставка» и «Вторая вставка». Они предназначались для заграничного издания и в них изменены имена: вместо Елизаветы Федоровны — Елена Павловна Раевская, вместо Василия Васильевича — Иван Сергеевич, вместо Шуберта — фон Моллер.

Первая вставка. «Елена Павловна Раевская, урожденная фон Моллер, была родом из немецкой семьи, давно уже поселившейся в России. Дед ее был известный ученый, а отец занимал должность начальника военной академии. Его положение открывало ему доступ как в высшее военное общество, так и в ученые круги, и в доме его собиралось все, что было в то время самого интеллигентного и выдающегося в Петербурге. Жену свою он потерял рано, но хозяйством в его доме заправляли его многочисленные незамужние сестры, всегда жившие при нем, так что практическая сторона жизни совсем и не касалась Елены Павловны, пока она была девушкой. Воспитание она получила лучше большинства русских барышень того времени. Она была отличная музыкантша, прекрасно пела, говорила на многих иностранных языках и знала хорошо немецкую и французскую литературу. Кроме того, у нее было много и других артистических вкусов, но ни один из них не увлекал ее настолько, чтобы потребовать с ее стороны какой-либо жертвы или развиться в ущерб вкусам или удобствам ее домашних. Напротив того, по всему было видно, что все свои таланты она приобрела не столько для самой себя, сколько для удовольствия окружающих. В доме отца ее собирались все больше люди пожилые и серьезные, для которых поболтать с хорошенькой, смышленой девочкой было приятной забавой, отдохновением от трудов; и Елена Павловна с ранней молодости так и вошла в роль свежего душистого цветка, грациозно выделяющегося на сером фоне окружающей его академической премудрости. Для всех ученых друзей своего отца она была воплощением того идеального «das Kind» *, которого воспел Гёте и которому, кажется, положено судьбой быть во всяком обществе, где есть старые немецкие мыслители, так же естественно и неизбежно, как положено маленькому, быстрому личинкоеду порхать всюду, где покажется угрюмый, тяжеловесный носорог».

[4] Вторая вставка. «Нет никакого сомнения, что если бы Елена Павловна попала в патриархальную немецкую семью, она сама бы скоро сделалась образцовой хозяйкой. Но в доме своего мужа ей не легко было развить в себе домашние добродетели. Иван Сергеевич был уже вдовцом, когда женился на Елене

* Ребенок (*нем.*).

Павловне. Детей от первой жены у него, правда, не было, но в доме его уже были заведены прочные, установившиеся порядки. Прислуга вся была старая, крепостная, уже успевшая захватить всю власть в свои руки. Новая хозяйка, почти ребенок, кроткая и неуверенная сама в себе, разумеется, никому не импонировала, и между дворней скоро был заключен род невысказанного договора не выпускать ее из области гостиной и ни под каким видом не отдавать бразды правления в ее слабые, беленькие ручки.

В начале ее замужества Елена Павловна покушалась иногда стряхнуть с себя иго дворни; но всякое ее самостоятельное распоряжение по управлению домом или по части хозяйства встречало такое упорное, хотя и почтительное сопротивление, и если приводилось в исполнение, то с таким очевидным желанием все сделать навыворот, что результаты выходили, разумеется, плачевные. Бедной Елене Павловне не оставалось ничего иного, как сознаться в собственной непрактичности и отретироваться со стыдом. Таким образом, каждая ее попытка на возмущение служила лишь к тому, чтобы еще сильнее упрочить тиранию прислуги».

V. Мой дядя Петр Васильевич

1 Сообщаемые Софьей Васильевной в этой главе сведения о ее дяде не совсем точны. Петр Васильевич Крюковской-старший, брат отца Ковалевской, был артиллерийским подпоручиком в 1-й армии, вышел в отставку 24 июня 1826 г., имел двух сыновей — Андрея и Александра. В архиве С. В. Ковалевской сохранилось его письмо к ней от 5 января 1867 г., свидетельствующее об очень нежной привязанности Петра Васильевича к племяннице.

2 «Revue des deux Mondes» — французский научно-популярный журнал.

3 *Бер Поль* (1833—1886) — известный французский физиолог. Были известны его работы: «О прививке животных» (1863) и «О живучести животной ткани» (1866).

4 *Гельмгольц (Helmholtz) Герман* (1821—1894) — один из крупнейших немецких ученых прошлого века, физик, математик, физиолог, анатом, психолог. Упомянутая статья касается исследования Гельмгольца «О законе сохранения силы», т. е. сохранения и превращения энергии.

5 *Бернар Клод* (1813—1878) — знаменитый французский естествоиспытатель, оказавший большое влияние на развитие физиологии во второй половине XIX в., доказывал зависимость жизненных явлений от материальных причин.

6 *Михаил Васильевич Остроградский* (1801—1861) — член Петербургской Академии наук (с 1831 г.), автор многочисленных исследований в разнообразных областях математического анализа и его приложений.

7 В это время Софе было 11 лет.

8 *Страннолюбский Александр Николаевич* (1839—1903) — выдающийся педагог и общественный деятель, преподаватель математики в общих и специальных учебных заведениях.

Был сторонником преподавания без принуждения и наград, ввел в школе обучение ремеслам, экскурсии учеников на заводы и фабрики для знакомства с производством.

Большой популярностью пользовался А. Н. Страннолюбский в петербургских кружках радикальной молодежи 60—70-х годов. После высылки Н. Г. Чернышевского Страннолюбский давал уроки его детям, жившим у А. Н. Пыпина, двоюродного брата Николая Гавриловича.

А. Н. Страннолюбский четырнадцать лет выполнял обязанности секретаря комитета по доставлению средств Высшим женским курсам, преподавал на Аларчинских женских курсах, составил много хороших учебников и руководство по математике, писал статьи, рецензии. Состоял непременным членом Петербургского комитета грамотности, участвовал в работе русского технического общества, математической секции Военно-педагогического музея и др.

В некрологе («Русская школа», отд. II, стр. 89—90, 5—6, 1903) сказано: «А. Н. Страннолюбский был одним из образованнейших и благороднейших представителей блестящей плеяды педагогов 60-х годов... Это был человек честных, твердых и глубоких убеждений, не знавший, что значит идти на компромисс с своей совестью в каком бы то ни было деле. Его благородная осанка, сильный ум, широкое образование, редкая гуманность и изящество, которым дышала вся его личность, завоевали ему искреннее горячее расположение и глубокое уважение всех тех, с кем сталкивала его жизнь».

VI. Дядя Федор Федорович Шуберт

[1] *Шуберт Федор Федорович* (1831—1877) — дядя С. В. Ковалевской по матери. Ф. Ф. Шуберт окончил университет со званием кандидата (1852) и поступил на службу в канцелярию военного министерства.

[2] В шведском издании «Сестер Раевских» (см. (5) 1) приводится такой эпизод (перев. Т. И. Лебедкиной):

«К пирожному подано варенье из крыжовника. Федор Павлович положил себе на тарелку большую порцию; крупные зеленые ягоды, плавающие в густом сиропе, выглядят так аппетитно. Он смотрит на варенье, потом на Таню, затем опять на варенье, и вдруг как расхохочется таким веселым и заразительным смехом, что все остальные также начинают смеяться, сами не зная чему.

„Знаешь, Лиза, все время за обедом я сидел и думал, на что похожи Танины глаза“, — говорит, наконец, дядя, с трудом подавляя смех. „Теперь я знаю: они похожи на крыжовник из варенья, такие же большие, такие же зеленые и сладкие...“

Все находят это сравнение чрезвычайно удачным и приветствуют его новым взрывом смеха. Таня краснеет до ушей и готова обидеться, но дядя добавляет, смеясь: „Но очень красивые и очень зеленые“, и это несколько утешает Таню».

VII. Моя сестра

[1] Имеется в виду польское восстание 1863 г., поднятое прогрессивными буржуазно-шляхетскими кругами против царского самодержавия в Королевстве Польском. Оно было жестоко подавлено М. Н. Муравьевым-вешателем.

[2] У Перро в «Синей Бороде» (Perrault, Contes, Barbe-Bleue) вместо слов: «la

terre...» стоит: «le soleil qui poudroie», т. е. «солнце, освещающее пыль» (*E. Littré.* Dictionnaire de la langue française, t. 3. Paris, 1883, p. 1244).

3 Имеется в виду какой-то роман о Гарольде II, последнем саксонском короле Англии, погибшем в битве при Гастингсе (1066) с Вильгельмом I Завоевателем, герцогом Нормандии. В романе Бульвера-Литтона «Гарольд, последний саксонский король» развязка иная.

4 В шведском издании есть фраза:

«Этот перелом в миросозерцании Анюты отразился также и на младшей сестре».

5 «Подражание Иисусу» — сочинение, относящееся к началу XV в., приписываемое монаху Фоме Кемпийскому (1379—1471).

VIII. Нигилизм Анюты

1 В издании «Воспоминаний детства» 1890 г. эта глава занумерована без заголовка. Заголовок принадлежит С. Я. Штрайху («Воспоминания», 1945).

2 «Знаменская (Слепцовская) коммуна» была создана известным писателем-демократом Василием Алексеевичем Слепцовым (см. 527, *6*) в Петербурге на Знаменской улице. Члены коммуны, малообеспеченные молодые люди, жили на свои скромные средства, объединяя их в «общем котле», сами, без прислуги, вели свое хозяйство.

3 В шведском издании 1889 г. приведены имена этих людей: Чернышевский, Добролюбов, Слепцов.

4 «Русский вестник» основан в 1856 г. в Москве М. Н. Катковым (1818—1887) как орган умеренного дворянского либерализма. В 30-х годах Катков был близок к кружку Н. В. Станкевича. В «Русском вестнике» печатались «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина (1856), «Отцы и дети» Тургенева. В 60-е годы, особенно после польского восстания 1863 г., Катков повел ожесточенную борьбу с передовыми течениями в русской литературе и в общественном движении, выступал против Чернышевского, Добролюбова, клеветал на Герцена.

5 «Эпоха» — журнал Ф. М. и М. М. Достоевских — выходил с 1863 г. вместо закрытого правительством журнала «Время». И тот и другой были «самобытно-почвенного» направления.

6 «Современник» — журнал, основанный в 1836 г. А. С. Пушкиным в Петербурге. С 1847 г. им руководили Н. А. Некрасов и В. Г. Белинский. С 1854 г. при участии Н. Г. Чернышевского и с 1856 г. — Н. А. Добролюбова «Современник» становится органом революционной демократии. Закрыт царским правительством в 1866 г.

7 «Русское слово» — орган радикальной разночинной интеллигенции, выразитель «нигилистических идей» 60-х годов. В нем участвовали Д. И. Писарев, В. А. Зайцев, Н. В. Шелгунов и др. Закрыт правительством в 1866 г. за «развращающее влияние на молодежь».

8 «Колокол» — революционная газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева, издавалась в Лондоне с 1857 г. и в Женеве с 1865 по 1867 г., куда Герцен перевел основанную им «Вольную русскую типографию». Газету тайно переправляли в Россию, номера ее проникали в самые глухие углы страны. «Колокол» сыграл огромную

роль в истории русского революционного движения. «Герцен первый поднял великое знамя борьбы путем обращения к массам с *вольным русским словом*» (*В. И. Ленин*, Полн. собр. соч., т. 21, стр. 262).

IX. Отъезд гувернантки. Первые литературные опыты Анюты

[1] Повесть Анны Васильевны Круковской «Сон» напечатана в журнале «Эпоха», № 8, 1864; «Михаил» (название «Михаил» дано по требованию духовной цензуры вместо названия «Послушник») опубликован в журнале «Эпоха», № 9, 1864.

[2] В Архиве АН СССР (ф. 768, оп. 1, № 7) в рукописи С. В. Ковалевской читаем: «Женщина-писательница была для моего бедного отца олицетворением всякой мерзости. Он относился к ним с наивным ужасом и негодованием и считал каждую из них способною на все нехорошее. Я невольно вспомнила его, когда прочла у Некрасова в характеристике одного из его героев: „Он строго осуждал Жорж Занд за то, что носит панталоны“».

С. В. Ковалевская неточно приводит строки из стихотворения Некрасова «Прекрасная партия» (1857): «И строго осуждал Жорж Занд, что носит панталоны» (*Н. А. Некрасов.* Соч. в 3-х т. М., 1959, т. I, стр. 65—72).

[3] *Ростопчина Евдокия Петровна*, рожденная Сушкова (1811—1859) — поэтесса. Пушкин, Жуковский, Лермонтов ценили ее изящный по форме, звучный стих. Нашумело ее стихотворение «Насильственный брак» (1845), где изображено отношение русского царизма к Польше. Белинский, признавая поэтическую прелесть стиха и высокий талант Р., отмечал пустоту ее поэзии, ее служение «богу салонов».

[4] Из стихотворения Н. А. Добролюбова «Пускай умру — печали мало...» («Современник», № 1, 1862). Слово «боюсь» в первой и третьей строках вставлены здесь из других строк (*Н. А. Добролюбов.* Соч. М., 1964, т. VIII, стр. 86).

[5] После этого в рукописи (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 4): «Таково было содержание первой повести моей сестры; но главное достоинство ее заключалось совсем не в фабуле, а в той жизненности, в той реальности, с которой она сумела передать порывы своей героини. Она пережила их, расхаживая в ... Особенно хорошо удались ей тоже картины счастья, представляющегося Лиленьке. Она сама так четко рисовала себе эти картины; она так жаждала этого счастья, так верила в его возможность». Излагая по памяти содержание первой повести Анны Васильевны, Ковалевская несколько спутала ее со второй повестью своей сестры.

[6] После этих слов в рукописи читаем: «Иногда Елизавета Федоровна приходила к дочери и принималась ее уговаривать: „Анюточка, ну сделай ты папе удовольствие. Обещай не писать больше и займись чем-нибудь другим. Вот, я помню, когда я была молоденькой девушкой, мне вдруг захотелось учиться играть на скрипке. Но отец мой не позволил, он находил очень неграциозным, когда девушка водит смычком. Ну и что ж! Я, разумеется, не настаивала и вместо того начала брать уроки пенья“.

Почему же ты не можешь бросить эту противную литературу и взяться за что-нибудь другое?»

[7] В архиве Достоевского в Пушкинском доме при Академии наук СССР (Институт русской литературы) сохранилось письмо к нему В. В. Корвин-Круковского от 14 января 1866 г., из которого видно, что отец Анюты так и не познакомился с писателем и не изменил своего презрительного отношения к «журналисту и бывшему каторжнику», однако разрешил дочери встречаться с Достоевским в Петербурге под наблюдением матери.

X. Знакомство с Ф. М. Достоевским

[1] В рукописи глава называется «Мое знакомство с Федор Михайловичем Достоевским» (Архив АН СССР, ф. 768, он. 1, № 5).

[2] К этому месту «Воспоминаний детства» относится сохранившийся в рукописи С. В. Ковалевской на 17 листах рассказ о Достоевском (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 4).

В несколько сокращенном виде он вошел в шведское издание «Ur ryska lifvet...», 1889, цит. изд.

Текст рассказа см. здесь, стр. 358 и след.

[3] О. Ф. Миллер в «Материалах для жизнеописания Ф. М. Достоевского» (сб. «Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского». СПб., 1883, стр. 140) пишет о болезни Достоевского (эпилепсии) следующее: «Появившись еще до ссылки и не признанная за падучую самим Ф. М-чем, она окончательно развилась у него в Сибири и дошла затем до такой степени, что не было уже никакой возможности и ему самому не убедиться в ее настоящем характере».

[4] Этот рассказ Достоевский использовал в 9-й главе романа «Бесы»: он не был опубликован до революции. Напечатан в «Былом» в 1922 г. Во вступительном очерке к нему В. Л. Комарович полностью опровергает слухи о якобы биографичности приведенного факта.

[5] Речь идет об известном военном писателе и военном министре 60—70-х годов Д. А. Милютине. С ним и его семьей родители Ковалевской, а затем и она сама поддерживали добрые отношения.

[6] В рукописи стоит «дальний родственник» — полковник Генерального штаба, и сверху — «Андрей Иванович Косич не для печати». Потом все места, относящиеся к Косичу, изменены, он превращен в «немчика». В бытность начальником штаба Киевского округа, Косич ратовал о народном образовании. В 1890 г. он был известен как один из либеральных администраторов.

Позднее, 15 апреля 1893 г., В. Г. Короленко в «Дневнике» упоминает о жестоком «усмирении» при Косиче саратовских крестьян, оспаривавших право помещика князя Щербакова получать с них арендную плату за их же землю (*В. Г. Короленко.* Полн. посмерт. собр. соч. «Дневник» (1881—1893 гг.), т. 1. Полтава, 1935, стр. 261 и сл.). В. И. Ленин в книге «Что такое „друзья народа" и как они воюют против социал-демократов?» пишет о речах «знаменитых российских помпадуров, каких-нибудь Барановых или Косичей!» (*В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 1, стр. 270).

С Софьей Васильевной А. И. Косич поддерживал родственные отношения.

[7] Достоевский рассказал о своем сватовстве к Анне Васильевне своей невесте, Анне Григорьевне Сниткиной. Анна Григорьевна так передает слова Достоев-

ского: «Анна Васильевна — одна из лучших женщин, встреченных мною в жизни. Она чрезвычайно умна, развита, литературно образована, и у нее прекрасное, доброе сердце. Это девушка высоких нравственных качеств; но ее убеждения диаметрально противоположны моим, и уступить их она не может, слишком уж она прямолинейна. Навряд ли поэтому наш брак мог бы быть счастливым. Я вернул ей данное слово и от всей души желаю, чтобы она встретила человека одних с ней идей и была бы с ним счастлива» (*А. Г. Достоевская.* Воспоминания. М., 1971, стр. 89).

Уже после смерти Достоевского Анна Григорьевна, с которой Софья Васильевна продолжала поддерживать дружеские отношения, в 1887 г. по просьбе С. В. Ковалевской помогла В. Жаклару остаться подле больной жены. Ему предписана была высылка из России в трехдневный срок в связи с политической неблагонадежностью. Анна Григорьевна написала жене всесильного Победоносцева письмо с просьбой помочь через мужа получить разрешение Жаклару прожить в Петербурге еще недели 2—3. Такое дозволение по воле Победоносцева было дано («К. П. Победоносцев. Письма и записки и его корреспонденты». М.—П., 1923, стр. 682).

[6] В шведском издании «Воспоминаний» эта глава заканчивается такими словами:

«Они возвращались в Палибино, где их ожидала прежняя серая, однообразная жизнь; но в этот момент они чувствовали, что так продолжаться долго не может, и что скоро в жизни их обеих наступит перемена. Им чудилось, что краешек завесы, которая скрывала будущее, чуть приподнялся перед их взором, и они прониклись убеждением, что что-то новое, большое, необычное ожидает их».

ПОВЕСТИ

НИГИЛИСТКА

[1] Повесть была напечатана в книге: *Kovalevsky Sonja.* Vera Vorontzoff. Berättelse ur ryska lifvet. Stockholm, 1892.

Имея в виду цензурные стеснения, С. В. Ковалевская решила издать свою книгу за границей.

На русском языке повесть была опубликована впервые также в 1892 г. в Женеве, с предисловием М. М. Ковалевского (без его подписи): *Sophie Kovalevska.* Une nihiliste. Нигилистка. Софьи Ковалевской, цена 2 франка. Женева. Вольная русская типография, 1892.

В таком же виде повесть была два раза переиздана М. К. Элпидиным. Каруж-Женева, 1895, 1899, 128 стр.

В России повесть была напечатана под заглавием: «С. Ковалевская. Нигилистка. Роман из эпохи 60—70-х годов. Изд. П. В. Кохманского, Москва, 1906». На издание дала разрешение дочь С. В. Ковалевской, Софья Владимировна. На обложке книги помечено: «Литературный гонорар пожертвован наследницей автора в пользу административных политических заключенных».

Этому изданию в газете «Страна», 1906, 3/16 сент., № 151, посвящена статья академика Н. А. Котляревского, отметившего литературные достоинства повести и ее выдающееся значение как исторического памятника своего времени.

Повесть была издана харьковским издательством: «С. В. Ковалевская. Нигилистка». Харьков, изд. «Пролетарий», 1928, 157 стр., цена 75 коп., с предисловием М. М. Клевенского.

Повесть издавалась также на французском, немецком, польском и чешском языках.

В Архиве АН СССР (ф. 768, оп. 1, № 25, 27) хранится рукопись «Нигилистки», написанная рукой С. Ковалевской, но с большими вставками, сделанными другой рукой. В Великолукском краеведческом музее хранится часть рукописи «Нигилистки», в ней рукой Ковалевской написаны как раз недостающие главы.

Эти две рукописи составляют текст «Нигилистки», написанный рукой С. В. Ковалевской. Работа над повестью автором, видимо, не совсем была доведена до конца.

Здесь повесть печатается по тексту первого женевского издания 1892 г.

В рукописном тексте повесть «Нигилистка» написана в третьем лице, начинается она следующими словами:

«Татьяна Ивановна Раевская сидела однажды в своем кабинете. Это была молодая женщина лет 22, небольшого роста, с выразительным смуглым лицом. Стриженые волосы, короткими локонами падающие вокруг ее румяного лица, и худенькая, подвижная фигурка придавали ей вид девочки, и вид этот в особенности странно контрастировал с ее званием доктора философии».

В этом отрывке дается описание внешности самой Софьи Васильевны (с той лишь разницей, что ей было 24 года, когда в 1874 г. она вернулась в Россию). В шведском издании («Вера Воронцова») указано, что встреча с Гончаровой произошла в 1876 г.

2 С. В. Ковалевская сотрудничала не в журнале, а в газете «Новое время» А. Суворина, где в 1876—1877 гг. В. О. Ковалевский принимал участие в качестве редактора. В числе авторов, пока Суворин не проявил себя ярым реакционером, были И. С. Тургенев, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. Ф. Эрисман и др. С. В. Ковалевская писала для газеты театральные рецензии и научные статьи.

3 Высшие женские курсы были открыты в Петербурге в 1878 г. Комитет по доставлению средств Высшим женским курсам создан по инициативе активных деятельниц женского образования в России: Н. В. Стасовой, А. П. Философовой, М. В. Трубниковой и др. Секретарем комитета в течение четырнадцати лет состоял учитель С. Ковалевской по высшей математике — известный педагог-шестидесятник Н. А. Страннолюбский (см. 517, *8*).

4 *Баранцова Вера* — Вера Сергеевна Гончарова, дочь С. Н. Гончарова, брата жены А. С. Пушкина, родилась в 1850 г., была давней знакомой Софьи Васильевны.

В черновых рукописях «Нигилистки» Ковалевская называет Гончарову то Воронцовой, то Баранцовой. Есть сведения, что заменить фамилию Воронцова в русском издании пришлось из-за цензуры: было указано, что фамилия крупнейших русских аристократов-князей не должна присваиваться бунтовщикам-нигилистам.

На долю этого произведения С. В. Ковалевской выпало немало мытарств из-за цензуры.

До Октябрьской революции повесть «Нигилистка» была запрещена не только к переизданию в России, но и к распространению в переводах на другие языки.

В ЦГИА СССР имеется Дело Санкт-Петербургского цензурного комитета (ф. 779, оп. 4), в котором читается:

1) Заседание № 48, 2 дек. 1892 г. Доклад Г. Бюша о сочинении: *S. Kovalevsky.* Vera Vorontzoff. Решение: запретить.

2) Заседание № 13, 3 апреля 1896 г. Доклад А. Муравьева о сочинении: *S. Kowalevska.* Die Nihilistin. Решение: запретить (цензор граф А. Муравьев нашел, что «роман этот испещрен многочисленными местами, в которых рисуются в ужасающих красках участь политических преступников и жестокость в отношении их нашего правительства, а главное — высказываются симпатии нигилистическому движению 60 и 70-х годов»).

3) Заседание № 33, 20 августа 1908 г. Доклад г. Васнецовича-Макаревича о книге: *Kovalevská (Soňă).* Nihilistka. Z ruštiny prĕložila Ema Zenanová. Praha, 1908. Решение: Позволить (цензор полагает, что книга на чешском языке будет недоступна русской публике).

4) В 1915 г. на заседании № 4387 от 25 ноября опять рассматривался вопрос о немецком издании «Нигилистки», и снова вынесено решение: запретить.

Из предисловия к «Литературным сочинениям» Ковалевской упоминание о повести «Семейство Воронцовых» (на шведском языке), т. е. «Нигилистка», пришлось исключить по требованию цензурного комитета (см. стр. 995).

[5] 19 февраля 1861 г. — день оглашения царского манифеста (в действительности это произошло 5 марта 1861 г., а в провинциях еще позднее).

[6] Имеются в виду революционные события во Франции в 1789—1793 гг.

[7] Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Тишина» (1857).

[8] Неудачное покушение Д. В. Каракозова на Александра II в Петербурге 4 апреля 1866 г.

[9] *Спенсер Герберт* (1820—1903) — английский ученый, философ, психолог и социолог, один из видных представителей позитивизма.

[10] Подразумевается известный процесс пропагандистов-народников — так называемый «процесс 193-х», происходивший в Петербурге в октябре 1877—январе 1878 г. Главные обвиняемые И. Н. Мышкин, Д. М. Рогачев, С. Ф. Ковалик и другие были приговорены к каторжным работам. С. В. Ковалевская, находившаяся тогда в Петербурге, бывала на заседаниях суда.

[11] Н. Г. Чернышевский был арестован и заключен в Петропавловскую крепость 7 июля 1862 г. В мае 1864 г. был сослан в Сибирь, откуда вернулся почти через 20 лет — осенью 1883 г.

[12] Роман «Новь» был впервые опубликован в журнале «Вестник Европы», книга I—II, 1877.

[13] Вера Фигнер (Соч., т. V. М., изд. «Политкаторжан», 1929, стр. 182) писала: «При самодержавии политические процессы имели громадное агитационное значение. Отчеты в газетах, хотя и неполные, были единственным источником, который знакомил широкие круги читателей с идеями и ходом революционного движения и личностью тех, кого правительство преследовало и карало как врагов существующего экономического и политического строя. Подсудимые не скрывали своих убеждений, но открыто провозглашали их перед судьями. Они обличали все непорядки русской жизни: эксплуатацию народа государственной властью и привилегированными сословиями, полицейские стеснения, угнетающие все

население, и излагали революционные программы, ведя таким образом пропаганду через головы судей.

Быть может, из всех десятилетий революционного движения ни одно не было так богато политическими процессами и не волновало так молодежь, как 70-е годы».

[14] Прототипом студента-медика Павленкова был студент Медико-хирургической академии, пропагандист И. Я. Павловский (1853—1924). Он привлекался по делу «193-х». Ему зачли предварительное заключение. За участие в демонстрации по случаю оправдания судившейся Веры Засулич Павловский был выслан в Архангельскую губернию, оттуда вскоре бежал за границу.

Впоследствии был сотрудником и парижским корреспондентом суворинского «Нового времени», но оставил газету после конфликта, связанного с делом Дрейфуса.

[15] Алексеевский равелин до 1880 г. — секретная тюрьма в Петропавловской крепости, куда направляли с ведома царя особо важных узников. Часто сюда попадали без суда или вопреки решению суда, сидели без срока до особого распоряжения царя.

Исключительно тяжелый режим в равелине усугублялся сыростью и темнотой казематов.

В Алексеевском равелине содержались декабристы, Н. Г. Чернышевский и другие видные революционные деятели.

[16] *Гретхен* — героиня драмы Гете «Фауст».

[17] Так добивается разрешения на венчание героиня повести «Нигилистка». В подлинной же истории В. С. Гончаровой встречу с Павловским устроила С. В. Ковалевская. В письме ее Ф. М. Достоевскому, датированном 1876 г. (без указания числа и месяца), она писала: «...Имя девицы, о которой вы обещались похлопотать, Вера Сергеевна Гончарова (она племянница жены Пушкина). Просьба ее в том, чтобы ей дозволили свидание и переписку с ее женихом Павловичем.

Итак, надеюсь на вас, что вы будете так добры и передадите эту просьбу Кони» * («Воспоминания», 1951, стр. 247).

‹НИГИЛИСТ›

[1] Такое название своей повести о Чернышевском хотела дать С. В. Ковалевская, как об этом свидетельствует Эллен Кей (см. ниже).

В Архиве Академии наук СССР, где хранятся автограф (начало повести) и копия, считавшиеся ранее потерянными, повесть значится под заголовком «5 фунтов винограду...» — по первым словам повести (ф. 768, оп. 1, № 22 и 23).

* *А. Ф. Кони* (1844—1927) — видный юрист, судебный и общественный деятель, сенатор, член Государственного совета, почетный академик (1900), был председателем Петербургского окружного суда во время разбора дела о покушении В. Засулич на петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. Оправдательный приговор, вынесенный судом, правящие круги объяснили «либеральным» поведением А. Ф. Кони и отстранили его надолго от работы в уголовном суде.

Рукопись полностью публикуется впервые. Отрывки из нее были опубликованы Л. А. Воронцовой в журнале «Огонек», 1953, № 52.

В книге: «Sonja Kovalevsky af Anna Carlotta Leffler, D : ssa di Cajanello. Stockholm, 1892» (Соня Ковалевская, Анны-Шарлотты Леффлер, герцогини Кайянелло. Стокгольм, 1892) А.-Ш. Леффлер пишет (в русском переводе этой книги приводимый текст, относящийся к Чернышевскому, отсутствует): «Она рассказывала Эллен Кей, с которой больше всего виделась в последние дни (перед смертью), содержание многих своих повестей, которые у нее были уже почти совсем разработаны в голове. Одна из них, уже начатая, должна была заключать в себе характеристику ее отца, другая, на треть уже оконченная, составляла как бы подобие Веры Воронцовой („Нигилистки"). Она хотела назвать ее „Нигилист". В ней должен был описываться эпизод из жизни Чернышевского. Ее заключительную главу, еще не написанную, она рассказала Эллен Кей, которая по памяти записала ее следующим образом:

„Чернышевский из своей неизвестности стал внезапно знаменит в кругах молодежи, благодаря своему социальному революционному роману „Что делать?". На веселой пирушке его приветствовали как надежду и вождя молодежи. Он вернулся в свою маленькую мансарду, где живет со своей красивой молодой женой. Она спит, когда он возвращается домой. Он подходит к окну и смотрит вниз на спящий Петербург, где еще мерцают огни. Он про себя говорит с громадным ужасным городом, который еще является приютом насилия, бедности, несправедливости и угнетения, — но он, он завоюет его; он вольет в него свой дух; постепенно все начнут думать его мыслями, как это делала молодежь. Ему особенно вспомнилась молодая одухотворенная девушка, которая с горячей симпатией отнеслась к нему, — он начал мечтать, но отрывается от мечтаний и идет поцеловать свою жену, чтобы таким образом разбудить ее и сообщить ей о своем триумфе, и в этот момент раздается резкий стук в дверь. Он открывает — и оказывается перед жандармами, которые пришли арестовать его"». (Перев. С. Вл. Ковалевской).

2 Все обстоятельства жизни Ольги Сократовны — жены Чернышевского, выведенной под именем Марии Павловны, — автором изменены. В письме к М. В. Мендельсон от 7 октября 1890 г. Ковалевская сообщала: «... теперь я заканчиваю еще одну новеллу, которая, надеюсь, заинтересует тебя. Путеводной нитью ее является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы и филистеры читали ее с волнением и интересом. Я окончу ее через несколько дней, и если ты пожелаешь перевести ее на французский язык, то я пришлю тебе рукопись» («Воспоминания», 1961, стр. 308).

3 Герой повести Михаил Гаврилович Чернов — Николай Гаврилович Чернышевский.

4 Популярность журнала, в котором писали Чернышевский, Добролюбов и другие революционные демократы, была необыкновенно широка. Однако в действительности наибольшая подписка, какой достиг «Современник» в 1860 г., — 7 тысяч экземпляров.

5 Под именем *Залесского*, по мнению Л. А. Воронцовой, выведен польский поэт Залеский Александр Викентьевич, брат польской революционерки М. В. Мендельсон-Залеской.

[6] *Слепцов Василий Алексеевич* (1836—1878) — русский писатель, революционный демократ. Родился в Воронеже в старинной дворянской семье. Окончил в Москве 1-ую гимназию, учился около года на медицинском факультете Московского университета.

В 1861 г. в Петербурге сблизился с редакцией «Современника», занялся общественной деятельностью. Широкую популярность приобрел как горячий сторонник женской эмансипации; был основателем так называемой «Знаменской (Слепцовской) коммуны».

В очерках Слепцова реалистически и с большим сочувствием изображены нищета и бесправие русского крестьянства.

Повесть «Трудное время» (1865) явилась одним из наиболее характерных произведений русской революционно-демократической прозы 60-х годов.

В 1866 г. был арестован, заболел в тюрьме. В начале 70-х годов по состоянию здоровья был вынужден оставить литературную деятельность и уехать на Кавказ. В 1875 г. вернулся в Москву. Умер В. А. Слепцов в г. Сердобске, б. Саратовской губернии.

[7] Название статьи вымышленное.

[8] Официальное празднование тысячелетия России состоялось в 1862 г. В Новгороде был воздвигнут памятник «Тысячелетие России», скульптор М. Микешин (1835—1896).

[9] Несколько женщин, в том числе сестры Корсини и М. Богданова, были допущены в 1860 г. в качестве вольнослушательниц в университет, но в 1861 г., в связи со студенческими волнениями, университет был закрыт на год, а по возобновлении занятий женщины опять потеряли право слушать в нем лекции.

[10] *Суслова Надежда Прокофьевна* (1843—1918) — первая русская женщина-врач, шестидесятница. Дочь крепостного крестьянина, затем главноуправляющего имением графов Шереметевых.

С. В. Ковалевская была близко знакома с Сусловой в юности.

[11] Это событие произошло в среду, 27 сентября 1881 г., в ответ на нарушение честного слова, данного попечителем Петербургского учебного округа Филипсоном и начальником III отделения графом Шуваловым. Гарантировав неприкосновенность депутатов студенчества, они в ночь на 26 сентября арестовали как «зачинщиков» несколько человек, и в том числе Евгения Петровича Михаэлиса (1841—1913). молодого поэта, очень одаренного человека, к которому с большой теплотой и любовью относился Н. Г. Чернышевский.

[12] 6 июня 1867 г. выстрел в Александра II, находившегося в Париже, произвел участник польского восстания 1863 г. Антон Иосифович Березовский, который жил в Париже, работая в слесарной мастерской. Покушение было неудачно. На суде Березовский заявил, что выстрел в царя — его личное дело, месть за угнетение Польши и жестокость при подавлении восстания 1863 г.

VAE VICTIS

Вступление к «Vae victis» и фрагмент из первой главы повести опубликованы в книге «Литературные сочинения С. В. Ковалевской», 1893, и в шведском издании «Vera Vorontzoff. . .», цит. изд., стр. 522, *1.*

Здесь эти два отрывка даны по «Литературным сочинениям», 1893; с исправлениями, внесенными по оригиналу (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 10, 11).

Лето 1887 г. С. В. Ковалевская проводила у больной сестры.

Настроение у нее было подавленное. Она сообщила Леффлер: «... Я в таком подавленном настроении духа, что не хочу больше и писать. Единственное, что доставляет мне еще отраду, это мысль о нашей феерии („Когда не будет больше смерти“) и о „Vae victis“...

„Vae victis“ была ее идеей: она хотела создать большую повесть, содержание которой было бы в высшей степени характерно для нее, но считала себя не в силах написать ее самостоятельно, без помощи» (*А.-Ш. Леффлер.* Софья Ковалевская, что я пережила вместе с нею и что она рассказала мне о себе. Перев. со швед. М. Лучицкой. СПб., 1893, стр. 238).

Осенью 1888 г. С. В. Ковалевская, вернувшись в Стокгольм, принялась за переработку введения к «Vae victis», которое она дала перевести с русской рукописи на шведский язык. А.-Ш. Леффлер пишет:

«... Это — поэтическое описание борьбы природы при пробуждении ее к новой жизни весною, после продолжительного зимнего сна. Но здесь не поется хвала весне, как это бывает во всех описаниях весны; напротив того, здесь воспевается спокойная, безмятежная зима, между тем как весна изображается в виде грубой, чувственной силы, которая возбуждает массу надежд, но ни одной из них не осуществляет.

Роман должен был отчасти представить внутреннюю жизнь Софьи. Мало женщин пользовались таким почетом и такими успехами, как она, тем не менее, в этом романе она намеревалась воспевать не победителей, а побежденных. Потому что сама она, несмотря на все свои успехи в жизни, считала себя всегда на стороне тех, кто погибал, никогда — на стороне тех, кто побеждал. Это глубокое сочувствие к чужому страданию составляло у нее наиболее характерную черту, но это не было христианское милосердное сочувствие к страданию; нет, она в буквальном смысле слова сама страдала за других, принимала так близко к сердцу их страдания, как будто это были ее собственные, и относилась к ним не с видом превосходства, которое старается утешить, а с отчаянием по поводу жестокой судьбы».

Эллен Кей писала в предисловии ко второму шведскому изданию литературных произведений Софьи Ковалевской: «В журнале „Nornă“ (1890) появилось введение к „Vae victis“ — и это, к сожалению, все, что имеется от большого романа, в котором Соня Ковалевская намеревалась изобразить бурный весенний взрыв молодой России наряду с историей любви отдельных лиц».

[2] В Архиве Академии наук СССР имеются черновики рукописи (ф. 768, оп. 1, № 10, 11), из которых приводим два непубликовавшихся абзаца:

«Марья Петровна была не красавица, но и далеко не дурна собой; среднего роста, худощавая, но не лишенная грации фигурка, светло-каштановые волосы, правильные черты лица, умные серые глаза и темные дугой брови — все это было довольно красиво, портил ее только цвет лица, без румянца и слишком темный для блондинки. М. П. было теперь уже 27 лет. Но о годах ее было трудно судить по ее наружности. Издали, благодаря грациозной фигурке и живости движений, она казалась очень моложавой... Что же касается ее лица,

то, как у всех нервных людей, оно было и очень подвижно и очень изменчиво. Когда она была весела и возбуждена, оно могло казаться совсем молодым, если же устала и не в духе, вдруг словно разом прибавлялось лет 10.

Сама Марья Петровна до сих пор не особенно много думала о том, хороша она или нет. Ее забота о собственной наружности сводилась почти исключительно к тому, чтобы быть всегда чисто и опрятно одетой. Так как у ней было много прирожденного вкуса, то она всегда выбирала удачно и цвет, и покрой своих платьев, хотя при выборе ею руководила забота о прочности. чтобы не приходилось после чинить и зашивать».

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА, ПРОИСХОДЯЩЕГО НА РИВЬЕРЕ

Этот отрывок был впервые опубликован после смерти С. В. Ковалевской на русском языке в книге «Литературные сочинения С. В. Ковалевской», 1893.

Мы даем текст «Литературных сочинений». В Архиве АН СССР имеется черновик этого наброска, несколько отличающийся от опубликованного текста (ф. 768, оп. 1, № 9).

1 В упомянутом черновике пробуждение Марьи Николаевны описано иначе:

«Спала она так крепко, что даже не проснулась на стук горничной, пришедшей разбудить ее в 7 часов, и пропустила таким образом первый поезд. Зато в 10 часов она встала освеженная и ободренная. Лишь только она приподняла тяжелую занавесь на окне, яркие лучи солнца ворвались в комнату. Из ее комнаты открывался чудный вид на море, залитое золотистым сиянием. Окна ее выходили в сад с мраморным фонтаном, у подножия которого цвели фиалки и какие-то другие, неизвестные ей цветы. Две довольно высокие пальмы веером расставили свои причудливые листья на синем фоне неба. Вьющиеся розаны ползли вдоль всей стены, и одна ветка с полдюжиной крупных душистых белых цветов почти доходила до самого ее окна. „Какая прелесть!“ — невольно вырвалось у Марьи Николаевны. Как у всех нервных людей, настроения духа быстро сменялись у ней. Италия, встретившая ее так холодно и неприязненно вчера, сегодня и восхищала и пленяла ее».

2 В лице Михаила Михайловича Званцева представлен Максим Максимович Ковалевский (1851—1916), историк права. С 1877 г. доцент, с 1880 г. профессор Московского университета. В 1887 г. уволен из университета за прогрессивный образ мыслей и уехал за границу. В Стокгольме читал лекции о происхождении семьи и собственности. В 1901 г. Ковалевский организовал в Париже Русскую высшую школу общественных наук, где в 1902 г. прочитал курс лекций В. И. Ленин («Пролетарская революция», 1924, № 3, стр. 142). В 1905 г. Ковалевский вернулся в Россию, в 1906 г. был избран членом I Государственной думы. С 1906 по 1915 г. читал в Петербургском университете курс государственного права. Был близким другом С. В. Ковалевской.

3 В архивном экземпляре рукописи в этом месте имеется фраза: «Но первое марта положило конец этим надеждам». Имеется в виду 1 марта 1881 г. — день убийства царя Александра II.

ОЧЕРКИ

М. Е. САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)

Очерк «М. Е. Салтыков (Щедрин)» написан С. В. Ковалевской сразу после смерти писателя, последовавшей 28 апреля 1889 г. В июне того же года очерк появился в шведской газете «Stockholms Dagblad». Был в книге «Kovalevsky Sonja. Vera Vorontzoff...», 1892, цит. изд. (стр. 522, *1*).

На русском языке впервые опубликован С. Я. Штрайхом: «Неизданная статья Софьи Ковалевской о Салтыкове». — «Литературное наследство». М., 1934, т. 13—14, стр. 545—552, в переводе К. Локса с рукописного французского текста С. В. Ковалевской, предназначавшегося для опубликования во Франции.

Здесь приводим текст и значительную часть комментария, заимствованные из «Литературного наследства». Текст шведских изданий отличается меньшей полнотой, так как в нем не содержится высказываний С. В. Ковалевской, относящихся к Франции.

[1] Строки стихотворения П. Беранже «Падающие звезды»:

«Encore une étoile qui file.
Qui file, file, et disparaît»
(П. Ж. Беранже. Соч. М., 1957, стр. 196).

[2] *Хвощинская-Зайончковская Надежда Дмитриевна* (В. Крестовский — псевдоним) (1824—1889). Выступала в печати с 1850 г., была в 70-х годах популярной романисткой некрасовских и салтыковских «Отечественных записок». Познакомившись в конце 50-х годов в Рязани с М. Е. Салтыковым, сделалась его близким литературным другом.

[3] Когда весть о смерти Салтыкова пришла в середине мая 1889 г. в Париж, тамошние русские представители умеренно-радикальной политической мысли и научно-литературных кругов решили, что Ковалевская должна взять на себя организацию посылки венка на могилу писателя и сочувственной телеграммы его вдове. Во время переговоров по этому поводу с русскими парижанами Софья Васильевна встретилась с возмутившей ее их политической трусостью и негодование свое излила в письме к уехавшему на несколько дней из Парижа своему однофамильцу и другу М. М. Ковалевскому, который в 1885 г. принимал участие в издании собрания сочинений знаменитого сатирика. Письмо это, опубликованное С. Я. Штрайхом, не датировано: очевидно, оно было написано в середине мая 1889 г. Подлинник его находится в личном архиве М. М. Ковалевского (ИРЛИ, Архив АН СССР, ф. 103).

«Дорогой Максим Максимович,

Вчера вечером пришла, наконец, корректура первого листа ваших лекций. Я ее просмотрела и отошлю к Иоганну Леффлеру *, который, сравнив ее с той, которую получит от Вас, отдаст ее в печать. Леффлер пишет, что печатание не окончится раньше, как к осени.

Вы ругаете шведов, а я в настоящую минуту преисполнена негодования на русских и на их безграничное холопство. Третьего дня Де-Роберти ** и наш

* *Леффлер Иоганн* — один из братьев шведских друзей С. В. Ковалевской.

** *Де-Роберти Евгений Валентинович* (1843—1915) — социолог и философ-позитивист, умеренный либерал, сотрудник М. М. Ковалевского по устройству Высшей школы в Париже.

старый друг* пришли ко мне, и, на основании того, что я, якобы, пользуюсь большой популярностью в русской колонии, стали просить меня, чтобы я взяла на себя инициативу устроить подписку — венок Щедрину и послать сочувственную телеграмму его вдове от имени различных русских кружков в Париже.

По легкомыслию, свойственному не одной только юности, я охотно взяла на себя это поручение. Мне казалось, чего проще и невиннее, как изъявить, что мы все жалеем о смерти великого и вполне легального писателя. Но оказывается то, что это не так просто, что и в этом можно усмотреть потрясение основ.

Какую массу пошлости я насмотрелась в эти два дня, вы представить себе не можете! В результате почти полная неудача, усталость, неимоверная досада на самое себя, зачем я связалась с этими пошляками, и почти физическое ощущение, что я эти два дня провозилась с чем-то очень неопрятным. В будущую субботу (на 12-й день по смерти Щедрина, не слишком ли рано?) соберется комитет, в котором будут участвовать Боголюбов** и Коцебу***, чтобы обсудить, имеем ли мы право жалеть о его смерти!

Нет, как хотите, русские, как нация, никуда не годятся! Я хотела послать телеграмму от частных лиц, но нас не набралось и 10. Ваш милый друг Вырубов**** не считает себя вправе выразить свое сожаление о смерти Щедрина, ибо он теперь француз. Преданная вам С. К.»

[4] Подробный перечень переводов Щедрина на французский язык см. в библиографическом указателе («Литературное наследство», т. 13—14. М., 1934, стр. 692—694).

[5] «Господа Головлевы» (1875—1880) — роман, состоит из семи очерков. К образу главного персонажа — Иудушки Головлева неоднократно обращался В. И. Ленин (*В. И. Ленин.* Полн. собр. соч., т. 4, стр. 420; т. 5, стр. 302; т. 16, стр. 457).

[6] *Рабле (Rabelais) Франсуа* (1483—1553) — французский писатель, ученый-гуманист, сатирик.

[7] Рассказ «Больное место» («Отечественные записки», 1879, № 1, стр. 297 и сл.). Критика считала, что этот рассказ — один из кульминационных пунктов в творчестве Щедрина, в нем психологический анализ согрет глубоким чувством и освещен глубокой идеей. Ковалевская выбирает именно этот небольшой рассказ, расшифровывает его, желая показать французским читателям, для которых написана статья, оппозиционные тенденции русской подцензурной прогрессивной

* *наш старый друг* — Петр Лаврович Лавров (1823—1900).

** *Алексей Петрович Боголюбов* (1824—1896) — лейтенант флота, потом ученик Академии художеств; внук А. Н. Радищева, создал Радищевский музей в Саратове.

*** *Коцебу Александр Евстафьевич* (1815—1889) — один из лучших русских художников-баталистов, принимал участие в основанном Боголюбовым Обществе взаимопомощи русских художников.

**** *Вырубов Григорий Николаевич* (1843—1913) — химик, философ-позитивист и публицист, друг М. М. Ковалевского. После окончания Александровского (Пушкинского) лицея увлекся естествознанием, получил степень магистра естественных наук, был врачом. Участвовал в обороне Парижа в рядах национальной гвардии, а при Коммуне — в качестве врача военных лазаретов; был близок с А. И. Герценом в последние годы его жизни, а после смерти — первым издателем полного 10-томного собрания его сочинений (1875—1879). В 1889 г. Вырубов натурализовался во Франции.

печати, показать, что Щедрин был одним из самых талантливых представителей этого направления.

[8] *Леметр (Lemaître) Жюль Франсуа Эли* (1853—1913) — французский критик и писатель, член Французской академии.

[9] «За рубежом» (1800—1881) — книга, высоко оцененная современниками.

[10] *Луи Филипп* (1773—1850) — французский король (1830—1848).

[11] *Гизо (Guizot) Франсуа-Пьер* (1787—1874) — французский историк и реакционный политический деятель.

[12] *Сен-Симон де Рувруа (Saint-Simon de Rouvroy) А.-К.* (1760—1825) — французский социалист-утопист.

[13] *Кабе (Cabet) Этьен* (1788—1856) — французский утопический коммунист.

[14] *Фурье* (Fourier) *Шарль* (1772—1837) — социалист-утопист.

[15] *Луи Блан* (Blanc) (1811—1882) — историк, деятель революции 1848 г., представитель французского мелкобуржуазного социализма. Выдвинул утопический план преобразования капиталистического общества путем создания производственных ассоциаций с помощью государственной власти.

[16] *Жорж Занд*, правильно Санд (Sand) — псевдоним Авроры Дюдеван (1804—1876).

[17] *Дюшатель (Duchatel) Шарль-Мари* (1803—1867) — министр внутренних дел в кабинете Гизо.

[18] *Тьер (Thiers) Адольф* (1797—1877) — французский государственный деятель и историк. Душитель Парижской Коммуны.

[19] *Дуббельт Л. В.* (1792—1862) — управляющий III отделением (1839—1856).

[20] «*Ругон Маккары*» — двадцатитомная серия романов французского писателя Эмиля Золя (1840—1902) с подзаголовком «Естественная и социальная история одной семьи в эпоху Второй империи».

[21] «Проступок аббата Муре» (1875); «Жерминаль» (1885); «Мечта» (1888).

[22] Михаил Евграфович Салтыков окончил лицей в 1844 г. Свое первое стихотворение «Лира» («Библиотека для чтения», 1841, № 1, стр. 105) он посвятил памяти Г. Р. Державина и А. С. Пушкина. До 1845 г. напечатано там же и в «Современнике» еще несколько стихотворений Салтыкова. По выходе из лицея он больше ни одного стиха не написал.

[23] Салтыков был зачислен в августе 1844 г. на службу в канцелярию военного министерства. «Везде долг, везде принуждения, везде скука, везде ложь» — так характеризует он чиновничье-бюрократический Петербург (*М. Е. Салтыков-Щедрин.* Полное собрание сочинений, т. 1. М., 1941, стр. 122. Повесть «Противоречия» — «Отечественные записки», 1847, кн. 11).

[24] Повесть «Запутанное дело» впервые напечатана в «Отечественных записках», 1848, кн. 3, подпись М. С. Со значительными изменениями перепечатана в цикле «Невинные рассказы» (Н. Щедрин. Изд-во кн. маг. Серно-Соловьевича. СПб., 1863.) В 1889 г. вошла в первый том собрания сочинений.

Н. А. Добролюбов оценивал «Запутанное дело» как одно из интересных литературных явлений сороковых годов. «Ни в одном из „Губернских очерков“ его не нашли мы в такой степени живого, до боли сердечной прочувствованного отношения к бедному человечеству, как в его „Запутанном деле“, напечатанном двенадцать лет тому назад» (*Н. А. Добролюбов.* Собр. соч. в 9-ти томах. М.—Л., 1963, т. VII, стр. 244 — статья «Забитые люди»).

Написанная под впечатлением разговоров с петрашевцами, пронизанная страстным сочувствием к революционным настроениям той поры, повесть находила большой отклик у передовой молодежи 50-х годов.

25 Под ограничительными правилами для печати Ковалевская подразумевает деятельность «Негласного комитета», создавшего для русской литературы в последние годы царствования Николая I эпоху цензурного террора. Ссылка Салтыкова была вызвана докладом по поводу его повестей «Противоречия» и «Запутанное дело». Повесть «Запутанное дело» напечатана в марте 1848 г., а в апреле Салтыкова-Щедрина выслали в Вятку под конвоем.

26 В Вятке Салтыков был зачислен канцелярским чиновником при губернском правлении с понижением по службе. В конце 1848 г. был уже назначен старшим чиновником особых поручений, исполнял должность правителя канцелярии губернатора, в 1850 г. назначен советником губернского правления.

27 «Губернские очерки» (1856—1857).

28 «История одного города» (1869—1870).

ВОСПОМИНАНИЯ О ДЖОРЖЕ ЭЛЛИОТЕ

1 Очерк впервые опубликован по-шведски в газете «Stockholms Dagblad» в апреле 1885 г.; в России появился в журнале: «Русская мысль», 1886, кн. VI (июнь), стр. 93—108 (второй пагинации).

Текст дается здесь по «Русской мысли» с исправлением имеющихся в нем опечаток. Транскрипция иностранных собственных имен, применявшаяся у нас в 80-е годы (Джорж вместо общепринятого в настоящее время Джордж, Эллиот вместо Элиот, Люис вместо Льюис), сохранена, как отражающая орфографическую традицию самой С. В. Ковалевской.

2 «George Eliot's life as related in her letters and journals. Arranged and edited by her husband J. W. Cross. In three volumes» William Blackwood and Sons. Edinburgh and London, MDCCCLXXXV («Жизнь Джордж Элиот по ее письмам и дневникам. Приведено в порядок и издано ее мужем Дж. В. Кроссом. В трех томах». Вильям Блэквуд и сыновья. Эдинбург и Лондон, 1885) *.

3 Имеется в виду лейпцигское издательство Таухница, выпускавшее с 1841 г. серию произведений английской литературы в подлинниках под общим заглавием «Собрание британских авторов» («Collection of British Authors»). «Жизнь Джордж Элиот» была издана этой фирмой в том же 1885 г. в четырех маленьких томиках под номерами 2318—2321 указанной серии.

4 Воспоминания о Дж. Элиот написаны С. В. Ковалевской после выхода книги Кросса, цит. изд. (1885) о Дж. Элиот. Ковалевская несомненно познакомилась с этой книгой. Здесь, в письмах, Дж. Элиот с большой симпатией говорит о С. В. Ковалевской, и это, возможно, пробудило у Ковалевской желание поделиться с русским читателем всем тем, что удержала ее память об авторе «Адама Бида» и «Мельницы на Флоссе». ...«Читая ее письма, так живо вспоми-

* Цит. в дальнейшем по этому изданию как: *Cross.*

нались некоторые из наших разговоров с нею... что мне пришло невольное желание поговорить о ней и рассказать о моем с ней знакомстве», — пишет С. В. Ковалевская (см. стр. 231).

5 На самом деле, как явствует из дневниковой записи Дж. Элиот, начало знакомства ее с С. Ковалевской относится к периоду занятий Ковалевской в Гейдельберге (см. стр. 231).

6 *Рольстон Вильям (Ralston)* (1828—1889) — один из первых английских славистов, в третьей четверти XIX в. заслуживший известность в качестве переводчика с русского языка и неутомимого пропагандиста русской литературы. В 1853—1875 гг. Рольстон занимал должность библиотекаря и заведующего славянским отделом Британского музея в Лондоне.

Рольстон был знаком с представителями русского писательского журнального и ученого мира; после нескольких приездов Рольстона в Россию у него установились дружественные отношения с видными русскими писателями, особенно с И. С. Тургеневым (1866). По словам Боборыкина *, Рольстон помогал русским знакомиться с литературным и журнальным Лондоном (*П. Боборыкин.* Столицы мира (тридцать лет воспоминаний). М., К-во «Сфинкс», 1911, стр. 211—212). Рольстон высоко ценил творчество Элиот. Содействовал первоначальному знакомству писательницы с И. С. Тургеневым.

7 В книге «Vera Vorontzoff, 1893» (стр. 221—223) рассказ о событиях, предшествовавших знакомству С. В. Ковалевской с Дж. Элиот, изложен несколько иначе и подробнее. Часть текста перед словами «На беду...» до конца абзаца имеет там следующий вид: «Поэтому я очень обрадовалась, когда м-р Ральстон предложил представить меня ей. Но я, однако, колебалась, мое преклонение перед „гением" в то время было так глубоко, что я чувствовала себя совершенно смущенной при мысли о личном знакомстве с самой крупной писательницей нашего столетия. Какое удовольствие могло доставить ей мое общество? Наверно, ей покажется довольно смешным, что какой-то русской студентке пришла в голову нескромная мысль представиться ей. Мне вспомнились все забавные истории, слышанные мною в детстве об одном из моих родственников со стороны матери, Сенковском, весьма плодовитом авторе множества театральных пьес и многих чувствительных романов, в настоящее время почти забытых, но лет 50 тому назад пользовавшихся большой популярностью. Его известность постоянно привлекала к нему с визитами мелких провинциалок, которые приветствовали его неизменной фразой: „Я считала бы, что не использовала должным образом свое пребывание в Петербурге, если бы не увидела его величайшей достопримечательности — великого Сенковского". Мой дядя принимал их очень любезно, но, провожая их до дверей, всегда говорил: „Не забывайте, сударыня, что в Петербурге имеются гораздо большие достопримечательности. В Тиволи, например, показывают дрессированных лапландцев, настоятельно советую Вам посмотреть их. Правда, за это надо заплатить 5 копеек, тогда как меня можно смотреть бесплатно".

Все эти истории, очень смешившие меня в детстве, всплывали в моей памяти при мысли о том, чтобы представиться Джорж Эллиот. Я поделилась своими

* *Боборыкин П. Д.* (1836—1921) — бытописатель и драматург.

сомнениями и колебаниями с м-ром Ральстоном. Он всеми силами старался успокоить меня, но так как это ему не удалось, то он посоветовал мне написать несколько слов Дж. Элиот. Я так и сделала. Ответ Дж. Элиот не заставил себя долго ждать. Она писала, что мое имя ей небезызвестно, что она уже больше года тому назад слышала обо мне от м-ра Хилла, английского математика, встречавшегося со мной на лекциях профессора Кенигсбергера в Гейдельберге, и что с тех пор она всегда желала лично познакомиться со мной. Она назначила день, когда я могла бы посетить ее и поговорить с ней по душам.

Нечего и говорить, как я была счастлива, получив это письмо *. Джордж Элиот думала обо мне еще год тому назад! Мало было вещей в моей жизни, которыми бы я так гордилась». (Перев. С. Вл. Ковалевской.)

8 *Льюис (Lewes) Джордж-Генри* (1817—1878) — английский философ-позитивист и разносторонний писатель. Среди его сочинений: «История философии в жизнеописаниях» (1845—1846), «Жизнь Робеспьера» (1849), «Жизнь Гете» (1855) и т. д. Многие из них были переведены на русский язык. См. о нем: *В. Басардин, Л. И. Мечников.* Дж.-Г. Льюис. — «Дело», 1879, № 6, стр. 46—84; 138—175; некрологическую заметку в «Ниве», 1879, № 7, стр. 130—131 (портрет на стр. 137); *A. Th. Ritchel,* G. Lewes and G. Eliot. — «A review of records». N. Y., Day, 1933.

9 С. В. Ковалевская познакомилась с Дж. Элиот в Лондоне 3 октября 1869 г. Дата устанавливается на основании записи в дневнике Дж. Элиот от 5 октября 1869 г.: «В воскресенье нас навестила интересная русская чета, г. и г-жа Ковалевские: она — прелестное создание с чарующим скромным голосом и манерой речи, — изучает математику в Гейдельберге (по особому разрешению, полученному с помощью Кирхгофа); он — любезный и умный человек — изучает конкретные науки, по-видимому, специально геологию; собирается в Вену на шесть месяцев для этой цели, оставляя жену в Гейдельберге!» (*Cross*, vol. III, p. 101).

10 Известный дом писательницы, в котором она проживала с ноября 1863 по май 1880 г., находился не на St. John's Wood road, а вблизи этого шоссе (road), на North Bank 21, Regent's park — в северо-западной части Лондона.

11 По-видимому, имеются в виду слова Отелло в одноименной трагедии Шекспира (действ. IV, сц. 1; по изданию: *В. Шекспир.* Отелло, перевод П. И. Вейнберга. СПб., тип. К. Вульфа, 1864, стр. 107): «пением своим она вырвала свирепость из медведя!»

12 О знакомстве И. С. Тургенева с Дж. Элиот упоминается в письмах И. С. Тургенева.

В письме И. С. Тургенева от 30 ноября (12 декабря) 1872 г. к Вильяму Рольстону есть фраза: «Встречаете ли вы Джордж Элиот? Если встретите ее, напомните ей обо мне, ... а также Льюису» (*И. С. Тургенев.* Полн. собр. соч. и писем. Письма, т. X, 1872—1874. М.—Л., 1965, стр. 37, 367—368, № 3013.) Это письмо дает основание считать, что в 1872 г. И. С. Тургенев уже был знаком с Дж. Элиот.

* Письма Дж. Элиот к С. В. Ковалевской в печати неизвестны; последнее из них (относящееся ко времени второго замужества писательницы) в 1881 г. было подарено С. Аделунг, двоюродной сестре С. В., проживавшей в Штутгарте («Воспоминания», 1961, стр. 253).

В 1878 г. имела место встреча И. С. Тургенева с Дж. Элиот и ее мужем Льюисом в имении Беллока Холла *. См. *И. С. Тургенев.* Цит. изд., т. XII, кн. 1, 1876—1878, стр. 368. Письмо И. С. Тургенева Генри Льюису от 20 окт. (1 нояб.) 1878 г.

Историк и критик Оскар Браунинг, давний приятель Льюиса, в книге «Жизнь Дж. Элиот» также приводит подробное описание своих встреч в октябре 1878 г. с Элиот, Льюисом и Тургеневым «в гостеприимном сельском доме м-ра Беллока Холла в Сикс-Майл-Боттоме, неподалеку от Ньюмаркета» *(O. Browning.* Life of G. Eliot. London, 1890, p. 128—130; *B. C. Williams.* G. Eliot, N 4, 1936, p. 301).

Дж. Кросс, второй муж Элиот, пишет: «Вспоминаю, как Дж. Элиот рассказывала мне, что она никогда не встречала ни одного литератора, общество которого доставляло бы ей столь огромное наслаждение, как общество Тургенева. Их связывали неисчислимые узы симпатии» (*Cross*, vol. III, p. 290).

Дружеские отношения с Дж. Элиот Тургенев сохранил до конца жизни английской писательницы, еще в мае 1880 г. он писал письмо С. А. Юрьеву из Спасского, а в сноске — «скажите М. М. Ковалевскому, что я отсюда написал через Рольстона письмо к Дж. Элиот» (*И. С. Тургенев.* Цит. изд., т. XII, кн. 2, 1879—1880. М.—Л., 1967, стр. 248, 550, № 5159).

13 Книга Льюиса «Физиология обыденной жизни» («The Physiology of common life», 2 vols. Edinburgh, Black wood, 1859—1860) была в России в 60—70-е годы исключительно популярна. Она обратила на себя внимание вскоре после того, как Герцен в «Колоколе» (15 октября 1859, л. 54, стр. 446) рекомендовал ее русским переводчикам (*А. И. Герцен.* Полн. собр. соч. в 30 т. М., 1958, т. XIV, стр. 367). С начала 60-х годов эта книга выдержала в России несколько изданий в двух переводах: перев. Я. А. Борзенкова и С. А. Рачинского. М., 1861, два тома. Переиздания — 1863, 1864, 1867; перев. Л. Трейтера и А. Смирнова. М., 1866, два тома. Второе изд. 1876.

«Физиология обыденной жизни» была той «серьезной» книгой, которую прочла Соня Мармеладова из «Преступления и наказания» Достоевского.

14 Юношеский роман Льюиса «Ранторп» («Ranthorpe», a tale ** by G. H. E. London, Chapman a Hall, 1847). Криптоним раскрыт в лейпцигском издании Таухница, 1847; переиздан в Лондоне в 1881. В русском переводе «Жизнь поэта. Роман в пяти частях» — «Семейный круг», 1858, № 2—4; *Дж. Льюиз.* Жизнь поэта. СПб., 1859.

15 В книге «Vera Vorontzoff», 1893 (стр. 226—227) последняя фраза имеет другой вид, а за нею следует текст, отсутствующий в «Русской мысли»: «Я вынуждена была признаться, что не знаю, — честность, которая ему понравилась».

— Человек науки и художник всегда боролись во мне, — сказал он. — Я поседел, но борьба все еще не закончилась. Я всегда утверждаю, что в ней гораздо больше задатков ученого, чем во мне, — добавил он, улыбаясь и указывая на Джорж Эллиот.

Когда я спустя примерно час поднялась, чтобы проститься, Джорж Эллиот настоятельно приглашала меня приходить еще.

* *Беллок Холл В. Г.* — муж сестры Дж. Кросса.
** Tale — новелла, повесть (*англ.*).

— Я принимаю каждое воскресенье между 2 и 5 часами, — сказала она, — и хотя многих из моих друзей в это время года нет в Лондоне, я, однако, надеюсь, что Вы будете иметь возможность встретиться с людьми, которые несомненно будут для Вас более интересны, чем такая старая женщина, как я.

Я, конечно, не преминула воспользоваться ее приглашением прийти в следующее воскресенье, хотя, со своей стороны, предпочла бы видеть ее еще раз в интимной обстановке, а не окруженной массой замечательных личностей, из которых каждая требовала свою долю ее внимания».

16 Настоящее имя Джордж Элиот — Мария Анна Эванс (Mary Anne Evans) Мэриэн, как она себя называла, Marian Evans (1819—1880). Она родилась в религиозной семье сельского плотника, ставшего впоследствии управляющим у крупных землевладельцев. Он арендовал ферму, сначала «Арбери», где родилась писательница, а затем «Гриф-хауз» в графстве Уоркшир. В 1840 г. отец ее поселился в пригороде Ковентри, где Дж. Элиот близко познакомилась с семьями Бреев и Хеннелов, увлекавшимися литературой и философией и оказавшими большое влияние на умственное развитие будущей писательницы. Первым опубликованным ею произведением является поэма «Farewell» («Прощай»), напечатанная в январе 1840 г. в лондонском журнале «Christian observer» («Христианский наблюдатель») под криптонимом «М. А. Е.». Первым отдельно изданным ее литературным трудом был вышедший в 1846 г. анонимный перевод книги Д. Штрауса «Жизнь Иисуса». В 1851 г., приняв приглашение редактора-издателя «Вестминстерского обозрения» Джона Чепмена, Дж. Элиот переехала в Лондон и стала сотрудничать (1851—1857) в этом органе английских позитивистов, а в 1852—1853 гг. была его соредактором. В 1854 г. ею был издан перевод «Сущности христианства» Л. Фейербаха (единственный ее труд, на котором указано ее настоящее имя). Г. Спенсер, также сотрудничавший в «Вестминстерском обозрении», в октябре 1851 г. познакомил ее с Дж.-Г. Льюисом; знакомство это перешло в интимную близость. К этому времени у Льюиса уже произошел разрыв с женой, который был вызван ее неверностью. Но так как он простил жену, то впоследствии уже не мог добиться формального развода. Поэтому Дж. Элиот и Льюису пришлось вступить в гражданский брак. Они поселились вместе и открыто объявили себя мужем и женой.

Псевдоним «Джордж Элиот» впервые появился под «Сценами из жизни духовенства», в журнале «Blackwood's Edinburgh magazine», 1857. Широкую известность писательнице принес ее первый роман «Адам Вид» (1859), для которого прототипом главного героя послужил ее отец. Творчество Дж. Элиот делится на два периода. К первому относятся, кроме уже упомянутых «Сцен...» и «Адама Вида», романы «Мельница на Флоссе» (1860), «Сайлас Марнер» (1861), в которых она рисует хорошо знакомую ей по впечатлениям детства и юности сельскую жизнь Англии первой половины XIX в. Во второй период, когда непосредственные впечатления уступили место воображению и изучению описываемой эпохи, ею были созданы романы: «Ромола» (1863, из жизни флорентийского средневековья), «Феликс Холт, радикал» (1866), «Миддльмарч» (1871—1872, изображение провинциальной жизни Англии), «Даниель Деронда» (1876, посвящен еврейскому вопросу).

Особенной известностью в России произведения Дж. Элиот пользовались в конце 60—начале 70-х годов. В 1859 г. М. Л. Михайлов напечатал в «Современнике» (№ 11, стр. 103—130 второй пагинации) одну из первых у нас критических статей об Элиот, а в 1875 г. Чернышевский писал М. М. Стасюлевичу: «Из английских еще здравствующих писателей самое популярное у русской публики имя Элиот» (*Н. Г. Чернышевский*. Полн. собр. соч. М., 1949, стр. 585).

Передовая русская критика 70—80-х годов уже сумела распознать двойственный и противоречивый характер творчества Дж. Элиот и постепенно нараставшие черты упадочничества в ее реалистическом методе, связанные с философией позитивизма.

С. В. Ковалевская несколько раз подчеркивает в своих «Воспоминаниях» тесную идейную связь творческой деятельности Элиот с английским позитивизмом, но не делает по этому поводу необходимых выводов.

В творчестве Дж. Элиот Ковалевскую интересовали психологические проблемы женского писательского труда в их соотношении с жизнью известной романистки, ради них в текст и включено несколько критических замечаний относительно ее произведений, преимущественно поздних; эти замечания являются лишь иллюстрациями к некоторым общим наблюдениям Ковалевской относительно психологического склада Дж. Элиот.

В жизни и деятельности Дж. Элиот С. В. Ковалевскую также интересовала близкая ей самой, вполне удавшаяся Элиот, попытка женщины утвердить свою независимость и право поступать сообразно своим склонностям наперекор буржуазному «общественному мнению» и противодействию среды, — путем творчества, приносящего уважение, успех, литературную славу.

17 История любви Жорж Санд (1804—1876) — псевдоним Авроры Дюдеван — и Альфреда де Мюссе (1810—1857), относящейся к 1833—1835 гг., служила предметом оживленного обсуждения их ближайших современников. А. Мюссе изобразил ее в своем романе «Исповедь сына века» (1836 г.). Жорж Санд — его — после смерти Мюссе — в романе «Она и он» (1859), за которым последовал роман Поля Мюссе «Он и Она» (1860), вызвавший большой шум и длительную полемику.

18 До конца 80-х годов разнообразные «психологические этюды», посвященные Ж. Санд и А. Мюссе, оставались весьма популярной темой во французской печати. Поэтому С. В. Ковалевская и рассуждает об их отношениях как о предмете, хорошо известном читателям.

19 Так, например, родной брат Дж. Элиот, узнав о ее связи с Льюисом, прервал с нею всякие отношения и побудил к этому же одну из ее сестер.

20 С приведенным рассказом Ковалевской интересно сопоставить то, что говорит о Дж. Элиот П. Д. Боборыкин, познакомившийся с нею в 1868 г., т. е. незадолго до того, как произошло знакомство с нею С. В. Ковалевской. «Чета Люисов, — вспоминает он, — жила в пригородной местности Лондона, в красивом коттедже посреди сада. У них собирались, сколько помню, раз в неделю. Из дам приезжали, конечно, те, кто стоял повыше обыкновенных предрассудков. И Люиса и Джорж Элиот считали в респектабельном обществе вольнодумцами. Многим было известно, что знаменитая романистка — невенчанная жена Люиса. В 1868 г. она была уже немолодая женщина и смотрела очень похоже на тот тип англичанки,

какой попадался у нас в России, всего чаще среди гувернанток: такое же худощавое, некрасивое лицо с выдающимся ртом, такие же локоны на ушах и такая же манера одеваться. Держала она себя и как хозяйка гостиной очень скромно, почти застенчиво, говорила тихим голосом; могла довольно свободно объясняться и по-французски. Не зная, кто она и какое у ней литературное имя, — весьма трудно было предположить, что имеешь дело с таким умом и талантом. В этом смысле Джордж Элиот представляла собою резкий контраст с писательницами разных стран и эпох, с какими мне приводилось сталкиваться. Тогда ее слава достигла высшего предела, но самая личность оставалась в тени, не делалась предметом оваций и всеобщего поклонения в фешенебельных кругах Лондона. Зато все свободные мыслители, в особенности настоящие позитивисты, собравшиеся в доме Люиса, выказывали ей высокое почтение, род культа» (*П. Боборыкин.* Столицы мира. М., 1911, стр. 208—209).

21 *Герберт Спенсер* см. стр. 514, *8.*

22 В книге «Vera Vorontzoff», 1893 (стр. 227) вместо «несколько музыкантов и живописцев» стоит: «два или три живописца, музыкант и поэт», и указано, что присутствовало около 20 гостей.

23 Рассказ о встрече и споре С. В. Ковалевской с Г. Спенсером на вечере у Дж. Элиот и Дж. Льюиса воспроизвел М. М. Ковалевский в статье «Действенный феминизм», 1916 г. («Воспоминания», 1961, стр. 402). При этом М. М. Ковалевский замечает, что в то время (т. е. в 1869 г.) он еще не был знаком с С. В. Ковалевской. «Все сообщаемое мною я узнал от хозяйки дома, знаменитого автора „Адама Бида“ и „Мельницы на Флоссе“» (там же, стр. 402).

24 Ошибка Ковалевской, должно быть: «в Гейдельберг».

25 В книге «Vera Vorontzoff», 1893 (стр. 229—230) читаем: «Один раз, после моего докторского экзамена, я написала ей [Дж. Элиот] и получила в ответ несколько строчек сердечных поздравлений».

26 На самом деле 11 лет. Первая встреча произошла в 1869 г., последняя — в 1880 г.

27 Из трех сыновей Льюиса двое умерли еще при его жизни, причем младший бездетным. Из состояния Элиот в 40 000 фунтов стерлингов 12 500 было завещано двум детям Герберта, покойного сына Льюиса, а остальное (за вычетом небольших сумм, предназначенных разным лицам) — старшему сыну Льюиса — Чарлзу Ли, который был также сделан душеприказчиком Элиот.

28 Сведения, сообщаемые Ковалевской о возрасте второго мужа Элиот, не совсем точны. *Кросс (Cross) Джон-Уолтер* (1840—1924), один из совладельцев банковской фирмы «Деннистоун, Кросс и К°», познакомился с Элиот в 29 лет (в апреле 1869 г. в Риме). Свадьба их состоялась 6 мая 1880 г., почти через полтора года после смерти Льюиса (28 ноября 1878 г.). Кроссу в это время было около 40 лет, Дж. Элиот — 59.

29 Этим помещением был дом Кросса по Cheyne Walk 4, Chelsea, куда Дж. Элиот переехала в пятницу, 3 декабря 1880 г. В первую неделю, занятая устройством, она никого не приглашала.

Последняя встреча С. В. Ковалевской с Дж. Элиот состоялась, по-видимому, в воскресенье 12 декабря 1880 г.

[30] Некоторые произведения Дж. Элиот первоначально печатались в журналах или выходили в нескольких томах, издававшихся неодновременно. «Мидльмарч» выпускался в виде восьми отдельных книг.

[31] Предсмертная болезнь Элиот — воспаление легких с осложнением на сердце — длилась три дня. Дж. Элиот умерла 22 декабря 1880 г.

ТРИ ДНЯ В КРЕСТЬЯНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ В ШВЕЦИИ

[1] Впервые опубликовано на русском языке в журнале «Северный вестник», 1890, № 11, стр. 133—161. (В конце статьи помечено: «Стокгольм, май 1890 г.»). Переиздано в «Литературных сочинениях С. В. Ковалевской». СПб., 1893, стр. 197—243. Печатается по тексту журнала.

В своих «Воспоминаниях» А.-Ш. Леффлер писала:

«...Летом 1886, по возвращении из Парижа С. Ковалевской, мы отправились с нею путешествовать на несколько дней, проехали через Телемаркен и посетили высшую народную школу, которою Софья сильно заинтересовалась и к которой отнеслась с самою горячею симпатиею. Это посещение дало первый толчок для статьи о высших народных школах в Скандинавии, которую она затем написала для одного русского журнала» (*А.-Ш. Леффлер.* Цит. изд., стр. 204).

В письме Ламанскому (июль 1890 г.) Ковалевская писала: «Я так ленива, что за все лето написала только маленькую статейку о народном университете в Швеции для „Северного вестника“, да и ту еще не окончательно отделала» («Воспоминания», 1961, стр. 307).

[2] Города в Швеции. Ковалевская ехала в Терну, в крестьянский университет. Сведения об этой школе можно найти в книге Л. Шредера: «Скандинавская высшая школа». М., 1920, перевод С. Вл. Ковалевской.

[3] В Архиве Академии наук СССР имеется черновик рукописи С. В. Ковалевской (фонд 768, опись 1, № 13). Приводим из него два места, не вошедшие в опубликованный текст очерка.

«Но вот, к моему великому удовольствию, я узнаю на одной из скамеек сквозного вагона третьего класса человека, которого мне случалось встречать в обществе и который в настоящую минуту представляет для меня очень большой интерес: это Уле Андерсон, один из самых симпатичных представителей старокрестьянской партии. Его маленькая, тщедушная фигурка, худое лицо с жиденькой русой бородкой, с серовато-голубыми глазами представляют на первый взгляд мало замечательного. Не раз случалось мне встречать его в различных гостиных с претензиями на политический салон, куда его приглашают нарасхват, как одного из видных деятелей риксдага, но там он играет всегда довольно печальную роль. Видимо, ему там не по себе, он старается забиться в угол, и на лице его так и написано, кажется: „Ах, оставьте вы меня, пожалуйста, в покое!“

Но года три тому назад случилось мне слышать его речь в риксдаге, развивающую необходимость обширной государственной субсидии для дела высших народных школ, — и тогда передо мною предстал вдруг совершенно новый человек».

[4] Вторая вставка относится к молодому парню, встретившему Софью Васильевну:

«...один из учеников школы, о котором я много слышала от одной моей знакомой в Стокгольме... Это Пер Нильсон, сын фермера в имении одной моей стокгольмской приятельницы, которая уговорила его поступить в крестьянский университет, так как заметила в нем блестящие способности. Прощаясь со мной, моя приятельница именно просила меня обратить внимание на этого мальчика, который, по ее словам, отличается необыкновенными способностями и подает большие надежды на будущее».

[5] *Голмберг*, правильно *Хольмберг (Holmberg) Густав Хенрих Теодор* (1853—1935) — основатель крестьянского университета в Терне. Написал книгу «Шведская народная школа» (1897) и ряд других книг.

[6] *Голмберг (Хольмберг) Цецилия* (1857—1920) — жена Густава Хольмберга, шведская писательница.

[7] *Боот (Bååt) Альберт Ульрик* (1853—1914) — шведский поэт.

[8] *Грундвиг (Grundwig) Николай* (1783—1872) — датский педагог и философ. Основатель высших народных школ для крестьян в Дании.

[9] *Бьёрнсон (Björnson) Бьернстьерне* (1832—1910) — норвежский писатель, театральный критик, автор романов из крестьянской жизни: «Синневе Сульбаккен» (1857), «Арне», «Дочь рыбачки» и др. Всю творческую жизнь боролся за национальную независимость Норвегии. В 1903 г. получил Нобелевскую премию.

[10] *Гарборг (Garborg) Арне* (1851—1924) — норвежский писатель, автор романа «Крестьяне — студенты» (Bondestudentar, 1883).

[11] *Стриндберг (Strindberg) Август* (1849—1912) — шведский писатель, «Жизнь на шхерах» («Skärkarlsliv») написана в 1883 г.

[12] *Агрель (Agrell) Альдхильд Терезия* (1849—?) — шведская писательница.

[13] *Бенediktссон (Benedictsson) Виктория* (1850—1888) — шведская писательница, автор романов «Деньги» (1885), «Марианна» (1887) и ряда драм (писала под псевдонимом Эрнст Альгрен).

Ковалевская писала Глинскому 24/12 октября 1890 г.: «У Эрнста Альгрен есть несколько больших романов, одна очень хорошая и эффектная драма «Den bergtagna» («Похищенная духом»), которая, я думаю, отлично годилась бы и для русской сцены, если бы нашелся охотник ее переделать, а также прехорошенькие мелкие рассказы. Если вы пожелаете, я могла бы сказать одному из здешних книгопродавцев выслать вам какое-нибудь сочинение Стриндберга и Эрнста Альгрена, годящееся, по моему мнению, для перевода» («Воспоминания и письма С. В. Ковалевской». М., 1961, стр. 310).

[14] Рассказ Л. Толстого «Упустишь огонь — не потушишь» (*Л. Н. Толстой.* Полн. собр. соч. М., 1937, т. 25, стр. 46—58).

В БОЛЬНИЦЕ ШАРИТЕ

Гипнотический сеанс у д-ра Люиса

В БОЛЬНИЦЕ САЛЬПЕТРИЕР

Клиническая лекция д-ра Шарко

[1] Эти две статьи опубликованы в газете «Русские ведомости», 1888, первая — «В больнице „La Charité“», № 297, 28 октября, вторая — «В больнице „La Salpêtrière“», № 301, 1 ноября. Печатаются по этому тексту.

Шарите и Сальпетриер — больницы для бедных в Париже.

[2] *Льюис (Luys) Жюль-Бернар* (1828—после 1890) — французский медик, член медицинской академии (1877).

[3] *Берильон* — врач, главный редактор журнала «Гипноз».

[4] *Жаклар Виктор* (1843—после 1903), см. стр. 514, *6*.

[5] Газета «La Justice» («Справедливость») была основана в 1880 г. Жоржем Клемансо (Clemenceau) (1841—1929), который в буржуазно-республиканском движении примыкал к «крайней левой», а с 1881 г. возглавил партию радикалов; впоследствии стал реакционным деятелем.

[6] *Шарко (Charcot) Жан Мартен* (1825—1893) — врач-невропатолог и гипнотизер, в госпитале Сальпетриер с 1862 г. Опубликовал «Клинические лекции по нервным болезням» (1889) и другие работы по заболеваниям нервной системы — полное собрание сочинений в 12 томах.

[7] *Софья Нирон* — псевдоним С. В. Ковалевской.

В письме к проф. Миттаг-Леффлеру, написанном в июле 1888 г. из Парижа, Софья Васильевна сообщает: «Я видела много в области гипнотизма. Я присутствовала на сеансе Шарко, Люиса (из медицинской академии) и д-ра Берильона (главного редактора журнала „Гипноз“), который видел вас в Оране. Завтра я пойду на лекцию Вуазена, и меня ему представит Берильон. Признаюсь, однако, что все, что я здесь видела, поколебало мою веру в гипнотизм. Я очень подробно приметила все, что я видела, все записала, правда, по-русски, но я Вам переведу, когда мы увидимся».

В другом письме к нему же, от 4 июня 1890 г., Ковалевская говорит: «Я слышала от одного шведа..., что моя статья о гипнотизме уже вышла (газета «La Justice») и была перепечатана финской газетой. Г-жа Бекман обещала мне послать экземпляр ее, но я ничего еще не получила. Пожалуйста, дайте мне знать, что о ней говорят в Стокгольме». (С фотокопии писем из архива Миттаг-Леффлера; рукописный перевод сделан С. Вл. Ковалевской.)

ОТРЫВКИ

В Архиве АН СССР сохранились написанные С. В. Ковалевской страницы с набросками — очевидно, начало больших произведений: «На выставке», «Шведские впечатления», «Драма в шведской крестьянской семье», «Амур на ярмарке», «Путовская барыня», «Ивар Монсон», «Отрывок из романа».

В настоящем издании приводятся все эти отрывки.

НА ВЫСТАВКЕ

Отрывок повести «На выставке» публикуется впервые, по рукописной копии (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 19).

[1] Имеется в виду Парижская всемирная выставка 1889 г.

[2] Очевидно, и Ковалевской удалось получить пропуск. Она дала яркую и несколько ядовитую картину выставки накануне открытия. Публикуемый отрывок, возможно, является началом одной из двух повестей, о которых она писала

А.-Ш. Леффлер в августе 1889 г.: «Я уже кончила свои воспоминания детства и написала введение к «Vae victis!», а кроме того, начала писать две новые повести» (А.-Ш. Леффлер, 1893, стр. 274).

3 «В это самое время она, — сообщает А.-Ш. Леффлер, — встретилась в Париже со своим кузеном, которого не видела с юности. Это был крупный землевладелец одной из внутренних губерний России, живший в деревне счастливою семейною жизнью с женою, которую любил, и с целою кучею подраставших детей. В молодости он носился с планами художественной деятельности..., и когда он теперь увидел ее во время ее триумфа, окруженную всеми, героинею дня в этом Париже, где всякое личное торжество действует более опьяняющим образом, чем где бы то ни было, им овладело некоторое чувство сожаления о своих погибших надеждах. Она достигла всего, о чем мечтала, — но он остался тем чем и был, землевладельцем, не представлявшим никакого особенного значения, и счастливым отцом семейства».

«Эту встречу и свое настроение по этому поводу она хотела изложить в повести, содержание которой передавала мне. Сожалею от души, что эта повесть осталась ненаписанною, потому что она представила бы самое полное изложение ее воззрений на жизнь» (там же, стр. 268, 269).

4 ***Фрейсине (Freysinet) Шарль*** (1828—1923) — инженер и политический деятель.

‹ШВЕДСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
(письмо в неизвестную редакцию)›

«Письмо в неизвестную редакцию» опубликовано в книге: «Литературные сочинения С. В. Ковалевской». СПб., 1893.

Сохранилась рукописная копия (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 8), из которой приводим два отрывка:

1 Драма Ибсена «„Дикий селезень“, составляющий в настоящую минуту главное событие дня, главную тему всех разговоров в Стокгольме. Об этой драме я напишу Вам еще подробнее, но сначала постараюсь еще яснее выставить Вам на вид все особенности шведского общества».

(Драма Ибсена «Дикая утка», которую, очевидно, имеет в виду Ковалевская, появилась на норвежском языке в 1884 г., на русском — в 1892 г.)

2 «Вообще вопросы», не связанные непосредственно с вопросами о личном благосостоянии, играют в здешней жизни очень важную роль. При данной врожденной консервативности шведов, с одной стороны, и при их честном, добросовестном отношении ко всем серьезным вопросам жизни, и в особенности при отсутствии здесь всяких внешних насильственных преград, воздвигаемых в других государствах на дороге развития всякого нового принципа, идущего вразрез с установленным порядком, — с другой, крайне интересно проследить, каким образом так называемые современные вопросы, играющие роль столь ‹*не разобр.*› злобы дня не только в нашей русской жизни, но и в жизни Западной Европы вообще, отразились на шведском обществе».

ДРАМА В ШВЕДСКОЙ КРЕСТЬЯНСКОЙ СЕМЬЕ

Отрывок «Драма в шведской крестьянской семье» публикуется впервые, по рукописи (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 17).

В августе 1887 г. С. В. Ковалевская писала Миттаг-Леффлеру: «...В настоящее время я живу в деревне в непосредственном соседстве с Гюльденами (*Гюльден Юхан* (1841—1896), шведский астроном. — *Прим. ред.*). Мой адрес: Норрзунд, Веддэ, Седерзунд, у хозяйки К. И. Эриксон... Мои хозяева очень приятные крестьяне» (фотокопии писем из архива Миттаг-Леффлера).

Отрывок очень интересен и по его литературным достоинствам, и по характеру восприятия Ковалевской шведского быта.

АМУР НА ЯРМАРКЕ

Набросок повести, задуманной С. В. Ковалевской в 1889 г. Печатается впервые, с черновика французской рукописи (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 20). Перевод с французского Л. А. Воронцовой.

Шведская писательница Эллен Кей пишет, что у С. В. Ковалевской «было несколько набросков о Франции... из них два („Амур на ярмарке“ и „Собаки“) ее очень занимали».

1 *Нейи* — предместье Парижа.

2 *Батиньоль* раньше была деревней, принадлежавшей департаменту Сены, присоединена к Парижу в 1859 г., теперь это наиболее населенная часть города.

3 *Выставка* (см. стр. 542, *1*).

4 *Поль де Кок* (*Paul de Kock*) (1794—1871) — французский романист.

‹ПУТОВСКАЯ БАРЫНЯ›

Этот фрагмент публикуется впервые, по рукописи (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 27/3).

1 *Гейдельберг* — город Германии, в нем имеется старейший университет (1386).

‹ИВАР МОНСОН›

Отрывок публикуется впервые, по рукописи (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 27/3).

1 *Упсала* — город Швеции, имеет старейший университет (1477). До 1523 г. столица Швеции.

2 *Бьёрнсон* см. стр. 537, *9*.

3 *Бертло, Бертело (Berthelot) Пьер Эжен Марселен* (1827—1907) — французский химик и общественный деятель.

4 *Пастер Луи* (*Louis Paster*) (1822—1895) — великий естествоиспытатель XIX в., основатель учения о заразных болезнях.

5 *Арлекин* и *Коломбина* — герои французской комедии и персонажи итальянской

комедии масок. Арлекин — влюбленный, постоянно находящийся в затруднительном положении слуга. Коломбина — ловкая, веселая крестьянская девушка-служанка.

ОТРЫВОК ИЗ РОМАНА

[1] Публикуется впервые, по рукописи (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 2, № 2).

СТИХОТВОРЕНИЯ

[1] Напечатано в «Воспоминаниях», 1951, с подлинника, стр. 241—242.

[2] *А. В. Жаклар*, муж которой был полковником в войсках Парижской Коммуны.

[3] Сын А. В. Жаклар.

[4] Ф. В. Корвин-Круковский.

[5] Ю. В. Лермонтова — друг С. В. Ковалевской.

[6] «Пришлось ли...» впервые опубликовано в «Вестнике Европы», № 2, 1892, академиком Я. К. Гротом. Французский перевод стихотворения в прозе сделан самой С. В. Ковалевской для Фритца Леффлера и отправлен ему со следующим письмом на шведском языке (перевод письма на русский язык сделан дочерью С. В. Ковалевской, Софьей Владимировной. См. «С. В. Ковалевская. Воспоминания», 1951, стр. 518):

«Дорогой г. Фритц. Вы вчера просили у меня какой-нибудь образчик моих юношеских поэтических проб. Вчера вечером я попыталась восстановить в своей памяти и перевести на французский язык одну из них, которую я лучше всего помню. Я не могу отрицать, что в этом отрывке есть нечто лично пережитое. Было бы приятно, если бы Вы захотели перевести этот кусочек на шведский язык... Преданная Вам Соня».

Это стихотворение на шведском языке опубликовано в книге А.-Ш. Леффлер.

[7] «Неизвестный певец» печатается по тексту, опубликованному в книге «Воспоминания», 1951, стр. 320 и след. в переводе С. Вл. Ковалевской с французского автографа. Текст этого стихотворения в прозе сходен с стихотворением «Пришлось ли...».

[8] «Если ты в жизни» было напечатано как автограф С. В. Ковалевской в журнале «Женское дело», № 2, 1899, стр. 3—4.

[9] «Стихотворение в прозе» напечатано впервые в «Воспоминаниях», 1951, стр. 322, с подлинника из архива С. В. Ковалевской.

[10] Из стихотворения И. С. Никитина «Вырыта заступом яма глубокая».

[11] «Хамелеон» — по поводу этого стихотворения А.-Ш. Леффлер пишет следующее: «...когда я однажды, по случаю дня ее рождения, отправила ей <С. В. Ковалевской> поздравление в стихах, она ответила мне на это следующей самохарактеристикой, которую я передаю со всеми особенностями ее речи. В ней она удачно рисует себя». Ответ написан по-шведски в стихах.

[12] После смерти Софьи Владимировны Ковалевской (13 июня 1952 г.) среди ее бумаг была найдена тетрадь, в которой оказались стихотворения, написанные рукою С. В. Ковалевской: «<Груня>», «<13 апреля>», «Жалоба мужа». Тетрадь

находится в Архиве АН СССР, ф. 768, он. 2, № 2. Произведения из этой тетради не были известны ранее.

Названия стихотворений «‹Груня›» и «‹13 апреля›» даются редакцией настоящего сборника: первое — по имени героини, второе — по имеющейся дате в тетради.

ГЛАВЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В РУССКОЕ ИЗДАНИЕ «ВОСПОМИНАНИЙ», 1890 г.

‹*Палибино*›

1 Глава на русском языке впервые появилась в «Воспоминаниях», 1951, цит. изд. в переводе С. Вл. Ковалевской (дочери С. В. Ковалевской) из шведского издания «Systrarna Rajevski» (1889, гл. 7, стр. 100 и сл.). Название главе дано С. Я. Штрайхом.

В настоящем издании почти вся глава, за исключением последних семи строк (они остаются в переводе С. Вл. Ковалевской) представляет подлинный текст самой С. В. Ковалевской, обнаруженный в Архиве АН СССР (ф. 768, оп. 1, № 27/2). Там же имеется ряд вариантов, из которых приводим ниже три вставки к французскому изданию, написанные рукою С. В. Ковалевской на французском языке. Отрывки даются в переводе Ю. Л. Тарасевич.

Первая вставка. «Местность, в которой было расположено имение Раевских, носила дикий и живописный характер, совершенно не свойственный центральным губерниям России. Литва — красавица-бесприданница, как прозвал ее император Николай, не может соперничать богатством со своими сестрами — Псковом, богатой купчихой, Малороссией — краснолицей фермершей, кормилицей всей святой Руси.

При разделе имущества бедняжка Литва получила, как „Ослиная шкура“ *, всего одну овечку в виде своей доли. Но надо признать, что мантия из темных лесов, украшенная двумя широкими серебряными лентами — Дунаем и Неманом и затканная бирюзовыми звездами глубоких озер с лазурью волн, — действительно одеяние, достойное королевы. И не является ли истинной королевой та, которая произвела на свет и была воспета такими сынами, как Мицкевич **, Красинский *** и Словацкий? ****».

* Персонаж французской сказки.

** *Адам Мицкевич* (*Adam Mickiewicz*) (1798—1855) — великий польский народный поэт, выдающийся деятель освободительного движения. Лирико-драматическая поэма «Дзяды», которой увлекалась С. В. Ковалевская, содержит резкое обличение крепостничества, социального неравенства, предательства аристократии.

*** *Зигмунд Красинский* (*Zygmunt Krasiński*) (1812—1859) — польский поэт-романтик. Сын знатного вельможи. Он видел слабость аристократии и силу народа, предчувствовал гибель своего класса, но отрицал способность народа к созиданию, верил в «чудесное» спасение аристократии.

**** *Юлий (Юлиуш) Словацкий* (*Julian (Juliusz) Słowacki*) (1809—1849) — один из выдающихся польских поэтов-романтиков прошлого столетия. Его взгляды отличаются ненавистью к шляхте, демократическим отношением к крестьянству, резким антиклерикализмом. Как и другие представители польского романтизма, впоследствии он зашел в идейный тупик и обратился к мисти-

Вторая вставка. «В ночи полнолунья „русалки“ — эти девы с длинными зелеными волосами — поднимаются со дна озер, чтобы покачаться на ветвях деревьев и согреть свои прозрачные тела в бледных лучах ночного светила. Иногда, чтобы разнообразить развлечения, они забавляются тем, что, подражая крикам тонущего ребенка, привлекают какого-нибудь неосторожного прохожего, чтобы защекотать его до смерти.

Во время зимних посиделок, когда на дворе сильный мороз, и вся деревенская молодежь собралась в избе богатого крестьянина, женщины прядут, мужчины плетут лапти, — при свете лучины (факел из смолистого дерева), раздавшийся вдруг внезапный шум, словно пушечный выстрел, из соседнего леса приводит в ужас собравшихся; каждый крестится, так как знает, что означает этот шум: это леший — истинный властелин леса, совершающий обход в своей зеленой шубе и ломающий шутя столетний дуб или мачтовую сосну, чтобы сделать себе легкий посох.

Когда испуг проходит, начинаются рассказы о лешем. Здесь, в теплой избе, можно свободно говорить о нем. Но было бы неосторожно сделать это ночью в лесной чаще, так как он не любит, чтобы его называли по имени. Худо приходилось иногда многим девочкам, заблудившимся в лесу в поисках грибов, когда перед ними появлялся внезапно великан в зеленой одежде, и не помня себя от страха, они восклицали: „Это леший“.

Но леший не всегда бывает злым. Если уметь обращаться с ним, называть его „батюшкой“, он, в свою очередь, проявляет великодушие и доброжелательство, и не приходится жалеть о знакомстве с ним. Вот спросите лучше у этой старой колдуньи Груни, что случилось в прошлом году с толстухой Анной дяди Семена. Нет, лучше не спрашивайте, а то, сев на своего конька, она уже не сможет остановиться, и ее рассказы продлятся до ночи. Но как ни хорошо и основательно доказано существование этих фантастических хозяев леса, но рассказы о людях, „стоящих вне закона“, которых там можно встретить, еще более многочисленны».

Третья вставка. «Они инстинктивно понимают, что готовится что-то важное и необычное. Их умные глаза превратились в вопросительные знаки. Веселым лаем и безумными прыжками они стараются показать хозяевам, что отлично понимают положение. Радость их, впрочем, не совсем искренна, так как в глубине сердца остается сильное сомнение, примут ли они участие в предстоящем увеселении. И в самом деле, уже случалось, что в момент отбытия имели жестокость их запереть. Наконец, в изнеможении от прыжков и нервного возбуждения они тяжело опускаются среди двора, но вся их поза выражает величайшее внутреннее напряжение. Они дышат шумно и беспрерывно виляют хвостом; глаза следят за каждым движением хозяев с выражением тревоги и подобострастья. Чувствуется, что они готовы вскочить и побежать по первому зову. Вся сила их собачьей природы сосредоточена на одной лишь мысли — возможно ли, чтобы хватило духу уехать без нас».

цизму, но крайне левые взгляды поры его расцвета остались в памяти не только у друзей поэта, но и у его врагов. Даже в 1930 г. католическое духовенство упорно сопротивлялось переносу праха Словацкого из Парижа в Краков.

Кузен Мишель

[1] Эта глава публикуется впервые, по черновику рукописи С. В. Ковалевской, хранящейся в Архиве Академии наук СССР (ф. 768, оп. 1, № 24).

[2] Роман Шпильгагена «Один в поле не воин» появился в 1867 г. Вера Фигнер (1853—1927) в книге «Очерки, статьи, речи» (Полн. собр. соч. М., изд. «Политкаторжан», 1929, т. V, стр. 97—98) пишет: «13-летней девочкой я испытала влияние двух книг. То были роман Шпильгагена „Один в поле не воин“ и „Евангелие“; жить как Лео, умереть как Иисус — вот вывод, к которому приводило чтение этих двух книг».

[3] На этом рукопись обрывается.

Воспоминания из времен польского восстания

«Воспоминания из времени польского восстания» опубликованы в шведском журнале «Nordisk tidskrift» в 1891 г. под псевдонимом Таня Раевская: *Rajevsky Tanja.* Ett barndomsminne från polska upperesningen. — «Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri», Ny foljd 1891, andre hâften. Stockholm, Kristiania, Helsingfors, Kobenhavn (*Таня Раевская.* Воспоминания из времени польского восстания. — «Северный журнал содействия науке, искусству и промышленности», новый выпуск 1891, второй номер. Стокгольм. Христиания. Гельсингфорс. Копенгаген).

Они переиздавались после смерти С. Ковалевской в кн.: *Kovalevsky Sonja.* Vera Vorontzoff. Berättelse ur rýska lifvet. Stockholm, A. Bonnier, 1892; andere upplagen 1893 (*Ковалевская Соня.* Вера Воронцова. Рассказы из русской жизни. Стокгольм, А. Боньер, 1892; второе издание 1893).

Здесь эта глава дается в переводе С. Вл. Ковалевской со шведской публикации 1891 г.

По первоначальному плану С. В. Ковалевской глава должна была входить в «Воспоминания детства», но была исключена из них по цензурным соображениям.

В ЦГИА СССР, в бумагах Санкт-Петербургского цензурного Комитета (ф. 777, оп. 4, ед. хр. 145) говорится о деле, связанном с книгой Ковалевской, вышедшей в 1893 г.:

«По бесцензурной книге «Литературные сочинения С. В. Ковалевской».

Началось дек. 12 1892, окончено дек. 19 1892 г. Отпечатано 2000 экз., 320 стр. в 8 долю. Приостановлено печатанием из-за предисловия: «К сожалению, не зависящие от нас обстоятельства не позволили нам напечатать двух произведений С. В., «Воспоминания о польском восстании» и «Семейство Воронцовых» *, которые недавно изданы были за границей и встречены с большим сочувствием».

Эти слова предисловия (написанного М. М. Ковалевским) издатель сочинений Ковалевской С. И. Ламанский обязался выбросить, о чем имеется его подписка от 17 декабря 1892 г.

* Т. е. «Нигилистка», см. выше.

О Достоевском

[1] Печатается по рукописи С. В. Ковалевской (Архив АН СССР, ф. 768, оп. 1, № 4).

[2] «Бедные люди» впервые опубликованы в «Петербургском сборнике» Некрасова. СПб., январь, 1846.

[3] *Сенковский Осип Иванович* (1800—1858) — профессор восточных языков в Петербургском университете, журналист, писатель, редактор журнала «Библиотека для чтения» (1834—1856). Был известен под псевдонимом «Барон Брамбеус».

[4] *Кукольник Нестор Васильевич* (1809—1868) — романист и драматург, пользовавшийся защитой III отделения от прогрессивной критики, сотрудничал в журнале «Библиотека для чтения».

[5] Сенковский в молодости путешествовал по Азии и Африке, знал быт и историю народов этих стран, но свои экзотические романы и повести наполнял главным образом подробностями, заимствованными у европейских писателей («Воспоминания», 1961, стр. 470).

[6] Журнал «Библиотека для чтения» был хорошо поставлен в коммерческом отношении, так как пользовался поддержкой правительства. В 30—40-х годах XIX в. — это самое распространенное издание. Имел 7000 подписчиков — цифра небывалая для того времени; отсюда непомерное преувеличение в передаче Ковалевской.

[7] Несмотря на отрицательное отношение к Некрасову как своему политическому противнику Достоевский ценил большой поэтический талант Некрасова. В 1845 г. он написал вместе с Некрасовым и Григоровичем шуточное произведение (фарс) «Как опасно предаваться честолюбивым снам» (*Н. А. Некрасов.* Полн. собр. соч. и письма под ред. В. Е. Евгеньева-Максимова, А. М. Еголина и К. И. Чуковского. М., 1949, т. V, стр. 557). По мнению К. Чуковского, «Достоевскому принадлежат главы III и VI, Григоровичу главы II, IV, VII. Стихотворные главы I, VIII и стихи в остальных главах принадлежат Некрасову» (*Некрасов.* Цит. изд., стр. 639).

[8] Журнал «Современник», см. стр. 519, *6*.

[9] *Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич* (1821—1866), сын известного в свое время врача-хирурга, мелкопоместного дворянина б. Псковской губ. М. В. Петрашевский учился в Александровском царскосельском лицее и за «строптивый характер и либеральный образ мыслей» прослыл вольнодумцем. Целью жизни поставил проповедь социализма (фурьеризма). Кроме бесплатных юридических советов беднякам, охотно давал читать книги из своей большой библиотеки, принял участие в издании второго выпуска «Карманного словаря иностранных слов», который был конфискован и сожжен «за крамольные идеи». С 1845 по 1848 г. устраивал у себя собрания, где обсуждались социалистические теории, общественно-политические вопросы. В своем имении в 1847 г. пытался неудачно устроить фаланстер. За Петрашевским был установлен надзор, на его собрания направлен провокатор Антонелли. В ночь на 23 апреля 1849 г. Петрашевский и все участники его кружка были арестованы и заключены в Алексеевский равелин. После замены смертной казни бессрочной каторгой Петрашевский находился в Сибири и умер в с. Вельском, Енисейского уезда. До конца жизни был верен своим юношеским идеалам.

[10] О детском увлечении Тани Раевской (т. е. Софьи Корвин-Круковской) знаменитым писателем рассказывалось также в наброске (на русском языке) для автобиографической повести «Сестры Раевские», сохранившемся в рукописях С. В. Ковалевской.

«Но о будущем она никогда не думала, — писала Ковалевская. — Настоящее было так прекрасно, богато и полно. Нет сомнения, что если бы Достоевский мог заглянуть ей в душу и прочитать ее мысли, догадаться хоть наполовину, как глубоко ее чувство к нему, он был бы тронут тем безграничным восторгом. который она к нему испытывала. Но в том-то и беда, что увидеть это было нелегко. На вид Таня была совсем еще ребенком.

Если бы Достоевский мог заглянуть в Танину душу, он бы, наверное, был глубоко тронут тем, что там бы увидел; но в том-то и заключается главное несчастье того переходного возраста, которое переживала Таня: чувствуешь в это время глубоко, почти как взрослый, а выражается всякое чувство смешно, по-детски, и трудно догадать взрослому о том, что происходит в душе иной четырнадцатилетней девочки. Таня понимала Достоевского. Чутьем догадывалась она: сколько в душе его заложено чудных, нежных порывов. Она благоговела не только перед его гениальностью, но и перед теми страданиями, которые он вынес. Ее собственное одинокое детство, постоянное сознание, что она в семье менее любима, чем другие, развили ее внутренний мир гораздо сильнее, чем это обыкновенно бывает у девочки ее лет. С самого раннего возраста сказывалась в ней потребность к сильной, исключительной, всепоглощающей привязанности, и теперь с той интенсивностью, которая составляла сущность ее характера, она сосредоточила все свои мысли, все силы своей души на восторженном поклонении первому гениальному человеку, которого она встретила на своем пути. Она постоянно думала о Достоевском. Оставаясь одна, она повторяла мысленно все сказанное им в течение их последнего свидания, придавала глубокий смысл каждому его слову, старалась понять, развить каждую наудачу брошенную им мысль. Именно своеобразность этих мыслей, богатство и новизна вызванных ими в ее воображении картин и представлений пленяли ее более всего. Случало ей тоже предаваться по поводу Достоевского самым фантастическим мечтаниям, но странное дело — мечтания эти всегда касались прошедшего, а не будущего. Так, например, она целыми часами сидела, бывало, и представляла себя самое на каторге вместе с Достоевским» (*С. В. Ковалевская.* Воспоминания и письма, 1951, стр. 131).

VITA

(Жизнеописание)

[1] Представлено С. В. Ковалевской в Геттингенский университет в июне 1874 г., при диссертации на степень доктора философии (по математическому факультету). Написано по-латыни. Напечатано Г. Миттаг-Леффлером в его статье «Weierstrass et Sonja Kovalevsky», стр. 147 и след. («Acta Mathematica», Bd. 39, № 3—4, 1923, 133—198).

[2] По официальным документам дата рождения С. В. Ковалевской 3/15 января 1850 г.
[3] *Копп Г.-Ф.-М.* (1817—1892) — немецкий химик.
[4] *Дю Буа-Реймон (Du Bois-Reymond) Поль* (1831—1889) — профессор математики в Гейдельберге.
[5] *Гельмгольц Г.* см. стр. 513, *4*.
[6] *Кирхгоф (Kirchhoff) Густав Роберт* (1824—1887) — немецкий физик и механик.
[7] *Кёнигсбергер (Königsberger) Лео* (1837—1921) — немецкий математик.
[8] С. В. Ковалевской не сразу удалось получить разрешение на посещение лекций по физике и математике. Гейдельбергские профессора поначалу изумились необыкновенному желанию женщины посещать лекции и не решались дать на это свое согласие (см. письмо к Ю. В. Лермонтовой. — «Воспоминания», 1951, стр. 237).
[9] *Вейерштрасс (Weierstrass) Карл-Теодор-Вильгельм* (1815—1897) — знаменитый немецкий математик, учитель С. В. Ковалевской.
[10] На самом деле Ковалевская представила три работы и получила степень доктора философии summa cum laude (с похвалой).

АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЙ РАССКАЗ

[1] Печатается по тексту журнала «Русская старина», № 11, 1891, стр. 450—463. Представляет собою стенографическую запись рассказа С. В. Ковалевской в мае 1890 г. в редакции названного журнала. Просмотрено и подготовлено к печати братом Софьи Васильевны Ф. В. Корвин-Круковским.
[2] *Корвин-Круковский П. В.* см. стр. 517, *1*.
[3] *Остроградский Михаил Васильевич* (1801—1861) — математик, академик.
[4] *Страннолюбский А. Н.* см. стр. 517, *8*.
[5] *Малевич И. И.* см. стр. 511, *4*.
[6] *Бурдон (Bourdon) П. Л.* (1779—1854) — французский математик.
[7] *Тыртов Н. Н.* — физик, профессор в Морском корпусе.
[8] *Паскаль (Pascal) Блэз* (1623—1662) — французский математик, физик, философ.
[9] *Вейерштрасс Карл* см. стр. 550, *8*.
[10] *Крелль (Crelle) Август-Леопольд* (1780—1855) — немецкий инженер и математик.
[11] *Абель (Abel) Нильс-Генрих* (1802—1829) — норвежский математик.
[12] *Якоби (Jacobi) Карл-Густав* (1804—1851) — немецкий математик, один из создателей теории эллиптических функций.
[13] См. «Письма Карла Вейерштрасса к Софье Ковалевской». М., 1973.
[14] «Новое время» см. стр. 519, *2*.
[15] *Эрмит (Hermite) Шарль* (1822—1901) — французский математик, с 1896 г. почетный член Петербургской Академии наук.
[16] *Пуанкаре (Poincaré) Жюль-Анри* (1854—1912) — французский математик.
[17] *Пикар (Picard) Шарль-Эмиль* (1856—1941) — французский математик.
[18] *Ламе (Lamé) Г.* (1795—1870) — французский физик.
[19] Только в советское время были изданы в переводе на русский язык ученые труды С. В. Ковалевской:

1) «К теории уравнений в частных производных»; 2) «О приведении некоторого класса Абелевых интегралов 3-го ранга к эллиптическим интегралам»; 3) «О преломлении света в кристаллических средах»; 4) «О распространении света в кристаллической среде»; 5) «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна»; 6) «Задача о вращении твердого тела около неподвижной точки»; 7) «Об одном свойстве системы дифференциальных уравнений, определяющей вращение твердого тела около неподвижной точки»; 8) «Мемуар об одном частном случае задачи о вращении тяжелого тела»; 9) «Об одной теореме г. Брунса». (В книге: «Научные работы». М., 1948. Пер. П. Я. Кочиной, Л. А. Телешевой, Ц. О. Левиной.)

20 *Миттаг-Леффлер (Mittag-Leffler) Магнус-Густав* (1846—1927) — шведский математик, член шведской Академии наук. С 1926 г. почетный член Академии наук СССР. С. В. Ковалевская была в большой дружбе со всей семьей Леффлеров.

21 «О движении твердого тела вокруг неподвижной точки под влиянием силы тяжести» — работа С. В. Ковалевской, удостоенная премии Бордена Парижской Академии наук в 1888 г.

22 *Эйлер (Euler) Леонард* (1707—1783) — знаменитый математик, действительный член Российской Академии наук.

23 *Лагранж (Lagrange) Жозеф-Луи* (1733—1813) — французский математик и механик.

24 *Пуассон (Poisson) Simенен-Дени* (1781—1840) — французский математик.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМЕ

Эта статья, отчасти автобиографическая, опубликована в книге А.-Ш. Леффлер «Воспоминания», 1893, цит. изд., стр. 230 и след.

Предполагалось, что статья будет помещена в качестве предисловия к драме С. Ковалевской и А. Леффлер «Борьба за счастье», после того, как ее доработает А.-Ш. Леффлер. Прислала ее Софья Васильевна при следующем письме:

«Дорогая Карлотта, помочь тут уже больше нечем: написать лучше я не в состоянии. Если ты можешь связать эти отрывочные мысли, то и прекрасно. Если же ты будешь не в силах справиться с этим, то. пусть книга выходит и без объяснительной статьи. Можно будет и позже выступить с объяснениями, когда драма наша вызовет нападки. Твоя Соня».

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ

Драма «Борьба за счастье» была впервые опубликована в книге A.-C. Edgren-Leffler. Kampen för Lyckan. K. L. Stockholm, 1887. На русском языке в книге: «Борьба за счастье». Две параллельных драмы. Соч.[инено] быв. проф. Стокгольмского университета Софиею Ковалевской совместно с Алисою * Карлоттою Леффлер. Перев. со шведского М. Лучицкой. Киев, изд-е книжного магазина Ф. А. Иогансона, 1892.

* Алиса — ошибочно, должно быть Анна.

Здесь принят русский текст, в который Т. И. Лебедкиной внесены уточнения по шведскому изданию, так как перевод, сделанный М. Лучицкой, не везде точен (Т. Л. Щепкина-Куперник отмечала слабость перевода М. Лучицкой. — *Т. Л. Щепкина-Куперник.* Памяти С. В. Ковалевской. Сборник статей. М., 1951, стр. 138: «О первом представлении драмы С. Ковалевской и А.-Ш. Леффлер «Борьба за счастье»).

В книге имеется «Предисловие»:

Два инициала на одной и той же книге! Они требуют объяснения.

Имя, стоящее вверху обложки, означает лицо, написавшее драму. Инициалы внизу означают коллективную личность, сочинившую собственно все произведение, обработавшую всю драму, сцена за сценою, обдумавшую каждое положение, каждый характер и мысленно пережившую все то, что изложено в настоящем произведении.

Вследствие различных обстоятельств, о которых здесь не место упоминать, эта коллективная личность желает остаться неизвестной.

1887 г. А. Ш. Эдгрен-Леффлер *.

* Примечание переводчицы М. Лучицкой к предисловию.

Драма была издана на шведском языке под следующим заглавием: «*А.-Ш. Эдгрен-Леффлер.* Борьба за счастье, две параллельные драмы. К. Л.», т. е. Корвин—Леффлер, девические фамилии обеих писательниц — г-жи Леффлер и Ковалевской. Как видно из статьи герцогини ди Кайянелло-Леффлер, «Воспоминания о совместной жизни в Стокгольме с Софьею Ковалевской», помещенной в «Киевском Сб. в пользу пострадавших от неурожая», изданном под редакцией И. В. Лучицкого. Киев, 1892 г., Софья Ковалевская задумала написать вдвоем с шведской писательницей нечто вроде двойного романа, в котором судьба и развитие одних и тех же людей изображались бы с двух противоположных сторон: «как оно было» и «как оно могло бы быть». «Кому не приходилось в жизни раскаиваться в важном необдуманном шаге, — говорила она, — и кто не раз желал начать жизнь сызнова». С свойственной ей потребностью объяснять явления жизни научным образом, она желала положить в основание своей работы научную идею. Она была убеждена, что все действия и поступки людей заранее предопределены, но признавала в то же время, что могут явиться такие эпохи в жизни людей, когда представляются различные возможности для тех или иных действий, и тогда уже жизнь складывается различным образом, смотря по тому, какой путь кто изберет. Она основывала эту гипотезу на работе Пуанкаре о дифференциальных исчислениях, о которой целый год читала лекции в Стокгольмском университете.

Г-жа Леффлер нашла неудобным писать по чужой идее роман и предложила написать драму. «Роман — это как бы жизненная исповедь, — говорила она, — которая может вылиться из одной только головы, из одной только души. Драма — искусственное здание, воздвигнутое по известным объективным законам. Две пары глаз не могут видеть одинаковым образом, два сердца одинаково биться, но две пары рук могут оказать друг другу взаимную помощь для возведения одного и того же здания». Ковалевская согласилась на это предложение, и в результате вышла драма «Борьба за счастье».

«Главное значение этого произведения, после смерти одной из писательниц, — говорила г-жа Леффлер, — заключается в тех многочисленных чертах его, которые являются выражением ее собственных чувств и мыслей. В героине драмы, Алисе, Ковалевская обрисовала самое себя, и многие из произносимых Алисою фраз, многие из ее выражений были взяты, так сказать, целиком из собственных уст самой Софьи».

В письме Г. Банга * к П. Нансену от 2 апреля 1885 г. дается меткая характеристика С. В. Ковалевской. Приведем ее в переводе С. Вл. Ковалевской: «Самые приятные люди собираются вокруг г-жи Эдгрен: здесь как бы кусочек Европы в стране варваров. В особенности интересна г-жа Ковалевская: она профессор математики, и, со всей своей алгеброй, все же настоящая дама. Она смеется, как ребенок, улыбается, как зрелая и умная женщина, и обладает волшебным искусством сначала высказать свою мысль наполовину, затем помолчать, и этим молчанием досказать все. На лице ее происходит такая быстрая смена света и теней, оно то краснеет, то бледнеет, я почти не встречал раньше ничего подобного. Она ведет разговор на французском языке, свободно изъясняясь на нем, и сопровождает свою речь быстрой жестикуляцией. Это могло бы действовать утомительно, если бы не было очаровательно; она похожа при этом на кошечку. Слушая одновременно ее и Анну-Шарлотту, испытываешь своеобразное ощущение. Размеренные слова Анны-Шарлотты, произнесенные холодным тоном, разрезают как бы ножом блестящее кружево речи Ковалевской» (*П. Нансен.* Герман Банг. Годы скитаний. Вена, 1924, стр. 57 и сл.).

Анна-Карлотта (Шарлотта) Леффлер (1849—1892) — шведская писательница, сестра математика Геста Миттаг-Леффлера, привлекшего С. В. Ковалевскую к профессорской деятельности в Стокгольме.

В 1872 г. А.-К. Леффлер вышла замуж за советника (начальника округа) Г. Эдгрена. Первые свои произведения, которые были посвящены театру, она написала анонимно: пьесу «Актриса» (1873), драму «Викарий» и комедии «Под башмаком» (1876), «Бесенок» (1880). В 1882 г. она выступила под собственным именем со сборником повестей «Из жизни», являвшихся изображением тогдашней действительности и выдержавших несколько изданий. Вторая часть книги «Из жизни» подверглась жестоким нападкам со стороны критики и части шведского общества, но сделала А.-К. Эдгрен-Леффлер очень популярной.

В доме Эдгренов собирались деятели культуры и в особенности литературы. Уменье остроумно, блестяще вести беседу сделало С. В. Ковалевскую центром общества. Анна-Карлотта и Софья Васильевна стали друзьями. В результате их сотрудничества появилась драма «Борьба за счастье».

В 1889 г. Анна-Карлотта развелась с Г. Эдгреном и вышла замуж за итальянского математика П. дель Пеццо, ставшего после смерти отца герцогом ди Кайянелло. Вскоре у них родился сын. В последние годы жизни Анна-Карлотта написала повести «Летняя идиллия», «Семейное счастье» и др., в которых трактуется вопрос о сохранении индивидуальности женщины в семье и в замужестве.

После смерти С. В. Ковалевской Анна-Карлотта написала воспоминания о ней, которые, как и другие ее произведения, были переведены на многие иностранные языки.

Значение пьесы «Борьба за счастье» как материала о личной биографии Софьи Васильевны отмечено в книге А.-Ш. Леффлер, 1893, цит. изд., стр. 227 и след.

А.-Ш. Леффлер (цит. выше изд., стр. 229) приводит отзыв Германа Банга о драме «Борьба за счастье». «Я люблю эту необыкновенную драму, которая

* *Банг* (Bang) *Герман* (1857—1912) — датский писатель, театральный деятель.

с математическою точностью доказывает всемогущую силу любви, доказывает, что только она, и одна она, составляет все в жизни, что только она придает жизни энергию или заставляет преждевременно блекнуть. Она одна дает возможность развиваться и сделаться сильным и могучим. Только благодаря ей можно неуклонно идти вперед, исполняя свой долг».

Драма эта появилась в свет в 1887 г., но в Швеции не шла на сцене. «Ковалевская хотела непременно, чтобы ее давали в одном и том же театре два вечера кряду, чтобы играли обе пьесы одна за другой, но ни один из театров не соглашался принять пьесу на этих условиях... Ковалевская намеревалась перевести эту драму на русский язык и была твердо убеждена, что в России лучше поймут положенную в ее основание идею, чем в Швеции. Но в течение тех двух лет, которые ей оставалось еще жить, она была так поглощена своими обширными математическими изысканиями и новыми литературными занятиями, что ей не удалось привести своего намерения в исполнение. А.-К. Леффлер отмечает, какова доля участия С. Ковалевской в написании драмы: «Она, правда, не написала ни одной реплики, но она обдумала не только весь основной план драмы, но и содержание каждого акта в отдельности; кроме того, она доставила мне массу психологических данных для обработки характеров» (*А.-К. Леффлер*, 1893, цит. изд., стр. 221).

Т. Л. Щепкина-Куперник делилась впечатлением о пьесе: «На русской сцене в театре Корша пьеса шла в середине 90-х годов (только вторая часть)» (*Т. Л. Щепкина-Куперник.* Цит. изд., стр. 135). «...Пьеса имела большой успех» (там же, стр. 142).

«Пьеса рисует мир аристократов с его предрассудками, праздностью и презрением к окружающим; затем она рисует мир капиталистов, с их стремлением эксплуатировать рабочих, с их недобросовестностью и беззастенчивой жаждой наживы; наконец, в пьесе показан мир трудящихся-интеллигентов и рабочих, презираемых аристократами и угнетаемых капиталистами» (там же, стр. 142).

«В борьбе русской прогрессивной мысли за революционные идеи эта пьеса занимает скромное место, — она, однако, заслуживает быть отмеченной в истории театральных постановок Москвы в средине 90-х годов» (там же, стр. 143).

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН*

* В указатель не введены имена литературных героев, для которых не найдены прототипы.

СОДЕРЖАНИЕ

ОТРЫВКИ

СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОПОЛНЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ

С. В. КОВАЛЕВСКАЯ



ВОСПОМИНАНИЯ
ПОВЕСТИ

Утверждено к печати редколлегией серии «Литературные памятники» АН СССР

Редактор издательства
Н. А. Алпатова

Художественный редактор
Т. П. Поленова

Художник
В. Г. Виноградов

Художественно-технический редактор
Т. В. Полякова

Корректоры
Е. Н. Белоусова и Л. Ю. Розенберг

Сдано в набор 8/VII 1974 г. Подписано к печати 4/X-1974 г.
Формат 70×90¹/₁₆. Бумага № 1.
Усл. печ. л. 41,5. Уч.-изд. л. 41,4.
Тираж 50000. Тип. зак. 1329.
Цена 2 р. 97 к.

Издательство «Наука»
103717 ГСП, Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

1-я тип. издательства «Наука»
199034, Ленинград, В-34, 9 линия, д. 12

ОПЕЧАТКИ И ИСПРАВЛЕНИЯ

Страница	Строка	Напечатано	Должно быть
64—65 вкл.	3 сн.	Л. Брюллов	А. Брюллов
509	14 св.	Великолукской области	Великолукского района
514	19 сн.	(5), I	стр. 507
520	21 св.	995	544
528	7 св.	1800	1880
535	16 св.	стр. 514, *8*	стр. 520, *9*
552	10 св.	Л. Брюллов	А. Брюллов

С. В. Ковалевская

